

И. КАЛЛИНИКОВ

МОЩИ

РОМАН В ВОСЬМИ
ПОВЕСТЯХ



Йошкар-Ола
Марийский
полиграфическо-издательский комбинат
1995

ББК 84Р6
К 17

Под общей редакцией
Н. И. Сазонова

Консультант по изданию
профессор Академии печати
А. А. Говоров

Роман И. Каллиникова «Мощи» составлен из трех отдельно выпущенных книг автора в 20-е годы после революции 1917 года. В нем автор с откровенной достоверностью отобразил жизнь и быт одной из монастырских обителей в период ее разложения накануне революционной смуты.

К $\frac{4702010100 — 750}{Д12(03) — 95}$ Без объявл.

ISBN 58798—058—4
ЛР № 010069 от 10.10.91

© Марийский полиграфическо-
издательский комбинат. Составление.
Оформление.

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ НАМ КАЛЛИНИКОВ

Его творческий путь начинался на древней Орловской земле, там, где веками зарождалась колыбель исконной русской цивилизации, которую прославили великие Тургенев, бессмертный Лесков, известный композитор Калинин, почти однофамилец писателя... Сегодня вы не найдете о нем ни одной биографической справки, кроме хулительных заметок в давнишней советской прессе. Молчат архивы, хотя в них и письма, и воспоминания, и огромное неопубликованное литературное наследство писателя.

Иосиф Федорович Калинин родился 13 января 1890 года (н. ст.) в семье телеграфного служащего. Фамилия, как будто, указывает на церковное происхождение писателя, а столь библейское имя на то, что были Калининны склонны к мистике, к духовному созерцанию. Воспоминания родных рисуют нам талантливого русского мальчика, которому до всего есть дело: он и стихи пишет с 9 лет, и красками рисует, он и жизнь монахов изучает в обители «Белые Берега», где с семьей они жилали летом.

С годами пришли увлечения и посерьезней. Подросток Калинин шагает с красным флагом во главе демонстрации гимназистов, за что и был исключен из Орловской Алексеевской гимназии, где учился. И только невероятными усилиями матери удалось его устроить в частное реальное училище Н. А. Томашевской.

Есть свидетельство, что юноша Иосиф писал Льву Толстому, о чем? Конечно, о проблемах мирового порядка, и великий старец будто бы ответил ему.

Мы не задавались целью дать здесь подробную литературную биографию Каллиникова, пусть этим займутся другие. Начиная серию изданий «Библиотека забытого романа» с одобрения профессора, писателя Александра Говорова, мы выбрали именно это произведение исконно национального характера и с типичной судьбой, еще при жизни автора безоговорочно признанное если и не гениальным, то во всяком случае высокоталантливым во всех отношениях произведением. Написанное в эмиграции (столице Чехословакии, Праге), оно было опубликовано на родине сразу в двух изданиях кооперативным издательством «Круг» в 1925 и 1927 годах и тут же разошлось. И хотя никаких намеков на антисоветскую агитацию, даже с тогдашней изуверской точки зрения ГПУ, в книге нет, роман был изъят и не публиковался. Первое издание советской «Литературной энциклопедии» вообще обвиняет роман во всех грехах, как мы бы теперь сказали «в чернухе и порнухе». Впрочем А. К. Воронский, руководитель кооперативного товарищества «Круг», старый большевик и видный советский, чиновник, по-видимому и сам был иного мнения, когда санкционировал два подряд издания «Мощей». За это же выступали М. Горький и В. Вересаев.

Если вернуться к жизнеописанию Иосифа Каллиникова, то он учился одновременно в Политехническом институте и на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета — так практиковалось в ту эпоху безудержной погони за знаниями. За интенсивную исследовательскую работу студент Каллиников получил стипендию академика А. А. Шахматова, великого русского филолога, который был тогда еще жив и возможно лично руководил его устремлениями. В 1915 году выходит первая книга И. Ф. Каллиникова — сборник стихов «Крылья буден». Иосиф печатается в «Ежемесячном журнале» В. С. Миролюбова, в журналах «Жизнь для всех», «Голос жизни» и других. Живя летом на родине, он занимается собиранием фольклора Орловской губернии: сказок и легенд, народных примет и детских игр, песен и частушек, загадок и прибауток. Правда, крестьяне иной раз принимали его за колдуна. Однако общественность г. Орла, например, благожелательно встретила его публичные лекции о русском фольклоре. Он и сам сочиняет сказки в стихах в пушкинском стиле: «Иван Царевич у Водяного царя Балалая», «Елена Премудрая», «Кобылин сын» и другие.

Грянувшая война 1914 года перевернула все планы Каллиникова. Ему не удалось закончить учебных заведений. Он был мобилизован, окончил военное училище, но на фронт не попал. На родине, в Орле Иосиф женился на подруге детства Наталии Александровне Рюриковой. Разразилась революция, белые шли против красных, а молодые Каллиниковы каким-то образом оказались в среде эмигрантов, сначала в Турции, в Египте, потом и в Чехословакии, где в то время располагался центр русской литературной эмиграции. Мы не знаем, как складывалось их материальное положение, ведь у них уже была маленькая дочь, но именно в Праге Каллиников заканчивает роман «Мощи преподобного старца и схимонаха Симеона, пустытника Бело-Бережского», который известен нам под именем «Мощи».

В эмиграции наиболее ярко проявилась кипучая деятельность этого действительно высокоталантливого и многогранного человека. Он пишет произведения под названиями «Хаос» («Заживо погребенные»), «Гражданин Советского Союза», «Бобры», выступает как переводчик с чешского языка. Пробовал себя и в драме — сохранились тексты его пьес: «Любовь для власти не покорна», «Венцы вечности» и другие.

Иосиф Каллиников умер в 1934 году в санатории г. Теплице, в Чехословакии, творчески еще совсем молодым. На его родине, кроме указанного выше, выходил лишь один его сборник повестей «Баба-змея» (М., 1927). А ведь он был и очеркистом, и автором книг о Л. Н. Толстом («Сексуальная трагедия Льва Толстого»). Этот драгоценный клад еще лежит, ждет своего часа.

Воскрешая память об этом удивительном человеке, мы хотим именно с Каллиникова начать нашу серию изданий «Библиотека забытого романа».

*Наталия Чекрыжова,
книговед.*

ЖИТИЕ БРЕННОЕ

I

Мохом сырым, от снегов еще непросохшим, по лесу тянет, валежником мокрым, зелеными иглами хвои смолистой — дух по лесу благодатный.

А лес — не продерешься в нем — руки в кровь исцарапаешь.

Подле монастыря он прочищен только,— положена богомольцу пищей духовною жить, красотою обители дальней, для того и лес прочищали и сосну берегли каждую, за елкой ходили бережно.

Храма-то богомольцу для воспарения помыслами в обитель горнюю мало,— выйдет от ранней — пока поют среднюю, дожидаться ему надо до молебствия собором владычице в соборе новом, вот и пойдет он на пустыньку, к колодцу основателя, а ежели там побывать успел — так и в лесу полежать можно,— поразмыслить о своем житии бренном, вот лес и расчищали за этим самым.

Осенью да весной послушание было такое от игумена установлено: всей братии лес прочищать,— только иеромонахи да старцы не ходили работать.

А отойти за полверсты от обители, тут и зверю-то не пройти лютому — гущина да темень.

Николаю с Васей блаженненьким — всюду дорога.

Весь лес ими исхожен верст на пять, а может и больше — не меряли, а шагали себе по валежнику, по кочкам, по тряскому моху.

Потрапезуют с братией, до вечерни и делать им нечего. По лесу бродят, в амшару самую заберутся.

В лесу благодать — сосна, точно ладан, на солнце фимиам воскурят смолистый.

Растянулся плашмя дурковатый — лежит, сопит.

— Вася, ты чего сопишь?

— Елей от нее воскуряется,— ты только понюхай — умилительно...

— Человек ты божий,— блаженненький.

— Ты не верь, брат,— это про меня говорят только...

— А ты думал — я тоже дурак?!

— Чего ж ты ругаешься на меня,— на меня и так все ругаются, игумен меня костью бьет!

— Ничего ты, Вася, понимать не можешь...

— Я-то — я все чувствую, чувствительный я...

— Оно по тебе и видно, что чувствительный,— иссохнешь ты скоро от чувствований своих, исчувствуешься.

— Это я беса изгоняю...

— Сгинешь, Васька, ты от своего беса жилистого — вот что.

— А ты сам попробуй, разок только, один разик попробуй — он и не подступится больше.

— Бабу мне нужно, девку хорошую беса моего укротить.

— Господи помилуй, сохрани-спаси,— что ты это коришь только — наваждение сатанинское в женщине, в каждой бес блудный.

Заохал, закрутился по траве, по моху блаженненький, замахал руками корявыми.

А Никола лежит — на весь лес гроыхает, хохочет. Скачет по соснам эхо горластое, по всему лесу прыгает. Передохнет капельку — опять заливается.

Голос у него — баритон сочный, бархатный,— как начнет выводить по верхам величание с певчими — сам себя даже слушает, недаром же исполатчиком был архиерейским.

Со второго класса духовного взяли его в хор архиерейский, исполатчиком сделали — баловнем купеческим, любимчиком.

На обед позовут свадебный либо поминальный солистов, исполатчики с ними увяжутся, без них и хор не держится, ну и брали с собой всюду.

Николая-то брал с собою всегда Моисеев — октава сольная.

— Пойдем, Колька,— без сопранов октаве нельзя быть.

— Да я, Николай Васильевич, боюсь с вами...

— Чего, дурак?

— Опять перепьете вы.

— Тезка ты мне, а боишься,— дурак,— говорю пойдем, значит слушайся, а не то получишь затрещину.

Сперва Кольке боязно было, а потом и понравилось: наливочкой угостят сладкою, по головке погладит вдова купецкая и двугривенный сунет новенький.

— Возьми, Коленька, на гостинчики, возьми, душенька.

Октаве целковый пожалует за вечную память либо за многолетие молодым.

Октава и сам здоровый детина, и голосище у него — стекла трескаются,— с протодьяконом тягался не раз — после стекольщиков призывать требовалось.

Протодьякона не все и позвать могли — без красненькой его не заманишь наливками разными, а октава и за целковый пойдет — украсит собою свадьбу купецкую, чтоб молодые помнили да гордились днем торжественным.

Октава пропьет целковый свой с приятелями в местах непотребных — к Кольке идет.

— Деньги есть?

— Что вы, Николай Васильевич,— все истратились.

— Куда ж ты деваешь их?

— На мак проигрался.

— Брешешь, сучий сын,— чтоб был двугривенный похмелиться, а то с собой не возьму больше.

А как не дать октаве двугривенный? А если и вправду не возьмет с собою? — достанет из рундучка,— достает — трясется весь, жалко ему,— достанет, отдаст Моисееву.

— Вы отдайте только, Николай Васильевич.

— Чего жадничаешь,— говорят, отдам...

— Это я только для памяти вам — не забыли бы. Так и научился Колька Предтечин по купцам ходить с Моисеевым и денежки стал собирать по двугривенничкам,— жадничать научился сызмальства.

На похоронах побудут с октавою, на девятый да на сороковой сами пожалуйт выпить да закусить по памяти старой, а потом и начнут похаживать ко вдове купческой.

На сороковой-то успокоится капельку женщина, затоскует без ласки мужниной — октава и жалуется с Колькой утешать сиротство вдовье, когда спевки нет в архиерейском.

Сидят, чаевничают с наливочкой, и Колька ее потягивает — сладкая, лакомая, а потом до ужина в шестьдесят шесть время проводят.

Раза два-три побудут — на четвертый октава молитвенник тащит с собою, чаю напьются — Колька с сестрой незамужней либо с тетенькой обедневшею — приживалкою — в дурачка поиграть сядет, а октава пойдет ко вдове в молельную спальню поучать молитвам, что положены по уставу на сон грядущий женщине вдовствующей,— к ужину только и выйдут из спальни тихенькие, с щеками пополовевшими,— вот оно что значит помолиться во спасение души праведной в духоте натопленной!..

Привык Колька с октавой таскаться, наука-то училищная и на ум не шла, в каждом классе по два года сидел, а перешел в третий, и три проваландался,— выгонять смотритель хотел, да епископ шепнул регенту:

— Смотрителю скажешь, чтоб в четвертый перевели его, голос ангельский...

— Другого, ваше преосвященство, не найти такого...

— И я думаю так-то,— не забудь только, смотрителю передай, скажи, владыко мол благословил.

Восьми лет был Колька в духовное привезен дьячком сельским, а четырнадцати в четвертый осилил попасть.

В четвертый перевели Кольку — один по гостям хаживать стал, по домам купеческим поест сладенького.

Побудет с октавой на поминках и заявится на сороковой псалтирь почитать!

Голосок звонкий, на все хоромы слышится,— проснется вдова, заслышит, как речисто старается он... «Господи, воззвах, услыши мя...», умилится слезою крупною и заснет успокоенная.

Наутро его чаем поить станет...

— Коленька, приходи, голубчик, я тебе подарочек приготовлю.

Из поддевки мужниной сукна аглицкого ему курточку приготовит, штаники...

Щеголяет Колька обновами,— суконце-то у купцов доброе, по семи с полтиной за аршин плачено было.

В одном месте как-то псалтирь под сорокоуст читал Колька у вдовы молодой, а вдова-то и на похороны луком глаза натирала, чтоб люди видели горе тяжкое, да не сказали бы, что рада схоронить старого.

Воззрилась на Кольку она еще в девятый день и позвала его сама почитать псалтирь под сорокоуст самый.

После спевки пришел, читать начал — она сидит на диване мягком,— сидит-умиляется, а в мозжечке так и крутит, так и надавливает похоть плотская.

— Коленька, иди-ка чайку выпей, голосок промочи ангельский.

Зовет, а у самой в голове: — несмышленный еще, как птенчик неопытный, не познавший страсть женскую.

— Спасибо, Олимпиада Гавриловна.

— Иди, миленочек, попей с крендельками, пирожка поминального скушай.

Чайком его поит, сама про мальчонку думает — бес ее полунощный соблазнами путает.

Чайку попили, до ужина почитал...

— Иди, Коленька, поешь, поужинай.

— Дочитаю псалом только...

— Успеешь его дочитать, миленький,— ночь-то долгая еще впереди, иди, скушай.

Посадила его подле себя рядышком...

— Кушай, голубчик,— икорки возьми себе — свежая...

По головке погладит его, умиляется, а самой жарко.

— Божий дар у тебя, Коленька,— голосок небесный.

А сама все поглаживает,— наливочки налила сладенькой, и у самой глаза сладкие, как блины маслом намаслены.

— За упокой души, Олимпиада Гавриловна.

— И я с тобой помяну его,— царство ему небесное.

Сидит, обнимает его, к грудям прижимает — волнуется.

— Пять лет прожила я с покойником, не дал господь деток мне,— полюбился ты мне, как сыночек родной, Коленька.

Поужинали,— Колька к поставцу образному в гостиную, а она...

— Почитай ты, Коленька, у меня в спальне,— покойник-то мой в спальне молился всегда, так ему радостней будет у себя услышать слово божие, душенька-то его там нынче будет, последний денек со мной будет.

Духота в ней, натоплено,— не то ладаном панихидным, не то духами какими голову закружило Кольке, не то выпотом женским.

Стал он читать — она раздевается, спать ложится, а его так и тянет поглядеть на нее,— не видывал никогда еще естество женское. Лист переворачивать станет — рука затрясется, голос срывается, а все оттого, что натоплено жарко,— рукой со лба пот вытирает.

— Коленька, жарко тебе,— сними курточку...

Сама подошла,— босая, в рубашке одной — помогать ему стала, по голове погладила, по плечикам тонким, обдала теплом жарким, а потом ни с того, ни с сего и поцеловала его.

— Сыночек ты мой маленький!..

Понравилось Кольке, не видал никогда, не целовался еще с женщиной, только слышал про это — солисты друг другу рассказывали, когда спать ложились,— исполатчики вместе с солистами спали и слышали, и Колька слышал про это, про все слышал, и самому захотелось испробовать.

И потянуло его к ней поцелуями, целовать ее стал, а она-то обрадовалась и впилась, присосалась — гладит его, прижимает головой к грудной мякоти — ему и дышать нечем,— к постели его подвела, на кровать села, на колени к себе посадила.

— Коленька, дитеночек ты мой ласковый...
— Олимпиада Гавриловна, я читать буду...
— Отдохни капельку, посиди со мною,— да сапожки сними свои, ножки заморились, должно, стоять.

Раздела его, и сапожки сама сняла, а потом на руки подняла с улыбочкой и в перину бросила, навалилась вся с хохотом, и потонул Колька в перинах, и поплыли перед глазами круги красные, хмель от наливки в голову бросился; до утра ему спать не давала,— измучила, затомила.

Провожать утром стала...

— Коленька, ты приходи ко мне,— слышь?!
— Если можно,— приду — Я приду, Олимпиада Гавриловна!
— Приходи, приходи, миленький,— когда захочешь, тогда и приходи ко мне — ждать буду.

Целый месяц ходил Колька и еще б ходил, да несчастье стряслось с ним негаданно,— стал он в двенадесятый пред амвоном «Елице во Христа креститесь...» выводить, а голос возьми да и сорвись — такого козла запустил, аж регент ухватился за голову.

С того раза и голос грубеть стал, как с женщиной побывал впервые; говорит, бывало, с ней, говорит, да вдруг басок и прорвется.

Регент и говорит ему:

— Ну, Предтечин,— теперь дожидайся баритона аль баса.
Обедня кончилась, епископ его — в алтарь.
— Ну, раб божий,— учись теперь да береги голос, окрепнет, выравняется — опять в хор возьму.

А Колька и учиться-то не привык, да и купчиха-то вдовая от себя не пускала.

Смотритель смотрел, смотрел, да и вызвал отца.

— Сына бери, никуда он не годен,— нерадивый малый.

Дьячок к архиерею прямо.

— Не погубите мальчишку, один ведь он у меня, сколько, чай, вам старался, дайте ему за четыре свидетельство, место ему передам свое.

Дали ему за четыре свидетельство.

В селе у отца пожил месяц, — отец и помри, а он службы не знает — по селу повадился, с солдатками гонял, насвистывал, а под конец, когда отец-настоятель не согласился дьячком оставить, он — к епископу.

Приехал в губернский у архиерея место просить отцовское...

— Ступай-ка ты в монастырь, службу учи, а потом я поставлю тебя на отцовское место, за тобою оно будет, а пока — поди поучись в монастыре, ну, а коли голос будет хороший — возьму в хор, сказал тебе.

С тех пор вот уж сколько лет Николка в монастыре послушником, в хоре стал петь — баритон у него бархатный.

С тех лор и купчиху забыть он не может,— как только приедут говеть из уездного, так все глаза проглядит с клироса на телеса пухлые. Ипполит, регент,— строгий монах,— Николка на людей уставится, глаза пялит, а он...

— Еже соблазняет тя око твое — изыми его...

— Что я, монах, что ли, и поглядеть нельзя даже?

— Послушание несешь господу.

— Ну да, как же,— вот побуду немножко еще да и поеду просить себе место дьяконское, да еще и женюсь на купчихе, а тут и поглядеть нельзя?!

Ипполит и говорить потом перестал,— плюнул только от искушения.

Николка-то выравнился, стройный стал, волосы у него завитками, кольцами, лицо умиленное, только глаза жадные.

Заглядываются на него богомольцы.

И теперь Николка о купчихе мечтает.

Грохочет по лесу голос зычный, скачет по соснам эхом раскатистым.

— Молчи, Васька, теперь скоро богомольцы к нам понаедут — лафа будет.

— Господи, помилуй меня, раба недостойного.

— Такую купчиху найду себе, да и тебе сосватаю.

— Беса-то тешишь,— сохрани господи от искушения адова, от наваждения сатанинского!..

— Дурак ты, Васька,— а я себе девку найду хорошую, женюсь на ней — на купеческой, да еще и настоятелем в соборе уездном буду,— тогда чай пить ко мне приезжай...

— Сатана-то как силен, что с человеком он только делает,— изгони его от себя, раб Николай, изгони — понеже не одолел тебя князь преисподней.

II

Грохочет по лесу баритон Николкин, громыхает по лесу зычно, точно леший по верхам скачет горластый.

От земли дух вольный — живым пахнет, травным.

Мягко на мху лежать Николке.

Под голову подрясник свернут, скуфейка на суку болтается.

— Каб ты знал, Васька, житье вольное, так часу бы тут не остался.

— В обители благодать божия,— куда ж без нее денешься?

— Забыть не могу я купчиху ту,— мальчишка я был, дуропляс — теперь бы мне подвернулась, я бы ей дал гону, завертелась бы, а то и пятнадцати не было мне — на сосунка позарилась. Я бы теперь маху не дал, денежки-то у ней дочиста б вымотал, показал бы дорожку им.

— Тогда в душу-то ангельскую к тебе сатана вселился, а ты и теперь не поборешь его...

— Брось, Васька, не удивишь меня этим,— слышали,— ты это богомольцам разводи ахинею, а я прожженный,— всех вас насквозь вижу.

— Что ты, Николка, что ты — я ж по совести...

— Ну и ладно!.. Помнишь ты, летом-то прошлым была тут одна из губернского?

— Это та, что змею распустила с жалом двуострым, про дьяволицу ты помнишь во образе девьем?..

Она, брат, самая, про нее говорю, из ума не идет.

— У ней-то не косы, а змея в них жалящая, я сам еще видел, как брызгала она каждую ядом смердящим.

— Духами пахло от ней, а у тебя все зловоние сатанинское!.. От тебя самого воняет псиной.

— Так ты про нее?

— В соку девка, вот бы сюда ее мне — и про купчиху забыл бы свою. Ты глянь только, лес-то у нас какой — куда хошь ведем, джуже здесь хорошо... А пойдет ягода — по ягоду с ней пойду,— приехала б только.

— А сказать тебе что-нибудь?..

— Говори, Вася, послушаю...

— Я сон видел!

— Какой?

— Будто она приехала уж, а на тебя и глядеть не желает, потому ты рогатый будто.

— Врешь ты, Вася,— выдумываешь что-то.

— И сон-то вчера этот снился,— чудной такой, а косы-то ее ужалить меня хотели, я и прибежал к тебе вечером.

— Приехала, что ль,— говори толком?!

— Кучера вчера лошадей водили,— играют на солнышке — чудо господне!

— Приехала, что ль,— говори!

— У кучеров расспроси,— я ничего не знаю.

— А хочешь я на тебя мамашу ее направлю,— баба мясистая.

— Акиндин вчера бегал к ней,— аж вспотел от хотения блудного.

— Приехали, значит,— давно бы сказал, а то развел околесицу.

Благодать в лесу — теплота сочная, по верхам только ветер шумит, и ветра-то нет, одно дуновение легкое, а шумят по верхам сосны темные хвоей колкою.

Золотой лес — стволы ровные в чаще медной, отбивается чешуя, а сверху хвоя темная и прогалины в ней голубые, и плывет лес, коли в прогалину посмотреть подольше,— глядеть в нее, и будто не облака в них плывут, а лес движется.

От этого и голова у Николки кружится.

В белом лежит — рубаха посконная, портки такие ж и сапоги опойковые.

Голова кружится и мысли кругом пошли, никак не поймать их за хвост, точно ящери.

— В старой, ай в каменной стали?

— У игумена были — благословились на лето все в Дачах пожить.

— Чего ж не сказал сразу? — выжимай из тебя дурь твою по каплям.

Поднялся Николка, потянулся,— хрустнули кости лениво; подрясник одел, пятерней кольца волос перекинул к затылку и скуфейку одел бархатную.

— Пойдем, Вася!

— Куда ты, Никола, куда ты? — я не пойду с тобой, один ступай, — сатана ты, Никола, ты сатана, ты искушаешь,— на солнышке полежу, я погреюсь.

По лесу напрямик, по чутью, зашагал Николай.

Хрустят ветки по кочкам, сапог по трясине хлюпает, папоротник по ногам шмыгает...

Только глянуть разок Николке на Феничку, дочь купеческую,— глазком увидеть бы в окно только разик ему.

Шагает — песню поет вольную.

— Опять ты, Никола, бесовское затянул?

— Хорошая песня, старая,— в деревне поют у нас про клюшника Ваньку, про боярыню молодую, а тебе все бесовское, сам-то ты бес —

святоша,— глядеть не хочу, а сам вприпрыжку, небось, бежишь глянуть.

— Вечером я приду к тебе,— можно, Никола? Боюсь я один в боковушке,— как затемнеет, так она и появится, с прошлого года ходить стала.

— А ты не смотри, плюнь в нее — рассыпется.

— Изгоняю ее с молитвою, а она все лезет.

— Я тебе средство скажу от нее.

— Какое,— скажи, я попробую.

— Сходи к бабам на Полпинку.

И опять смехом грохочет лес монастырский.

Шли по лесу, шли, а Васька, как заяц, рванулся в сторону. Николай его звать — куда там, и след простыл; один пошел Николай, — обошел задами гостиницы и — напрямик к дачам — в оконушко заглянуть на девушку.

Приехала Гракина,— с дочкой Феничкой на лето пожаловала в монастырскую дачку и подружку с собой захватила — Галкину, приехала — к игумену прямо. Просить дачку.

Радетелям обители дачки отдавались на лето отцом Саввой,— придут перед вечерней в приемную, выйдет он шажками мелкими, благословит посетителя...

— Помолиться в обитель пожаловали?..

— Благословите, батюшка, лето пожить с дочкою.

— А сами откуда изволите быть? — память-то у меня слабая, немощная, не упомнишь благодетелей всех.

— Из губернского,— Гракина, вдова с дочерью.

— Бог благословит, матушка,— отчего ж господу и не благословить благочестие вдовье, живите себе со Христом, спасибо, что нас, скудоумных, не оставляете своей милостью.

И опять благословлять станет, заторопится, заспешит, а хитрые глазки так и бегают, так и выпрашивают.

Ждет Савва на благолепие обители скудной лепту посильную от вдовы Гракиной.

Три катеньки на стол выложила.

И брат не хотел, а на елей да на свечи взял «троеручице».

— А молочка можно нам на скотном брать?

— Этим не ведаю я,— благословить недугующему бог повелел, а есть ли у скотниц остатки,— к отцу эконому сходите узнать.

Отцу эконому на благоустройство обители катеньку сунула Антонина Кирилловна,— вот ей все лето и молоко, и сметану, и творог, и масло приносить будут.

Такой уж заведен порядок в обители,— ежели богомолец почетный,— почет ему воздают по достаткам его,— такому и порадеть братия любит, а попроче — тот и с квасом обойтись может, — коли ты в обитель пожаловал, так значит поститься должен, а разносолы разные — это дома требуй, а Гракиной можно — вдова почетная, с братьями дело ведет миллионное, одних трепальщиков кормит не одну тысячу, с заграницей дела ведутся у них, и Николе это известно доподлинно,— не только игумену.

Зарится сын дьячковский на Феничку,— невеста богатая, от дядьев обиды не будет сделано.

А пожить ему хочется,— вот как хочется, что и сказать он не знает как.

По первому разу как Гракины были — за вдовой впустую охаживал, а прошлое лето на дочку воззрися,— как манны небесной дожидался Николка Фенички.

И Афонька теперь игуменский тоже за ней — вдвоем гуляли,— ни тот, ни другой уступать ее не хотел и ходили целый месяц за нею без толку.

Под оконцем прошелся, удостоверился лично, и к лавочнику заглянул — за елеем зашел дьявольским.

Косушку в штаны сунул и опять мимо окон прошелся медленно.

Прошелся разок и в келию.

Цену себе знает Никола,— парень красивый, загляденье послушник, роста повыше среднего и не худощав очень, волос каштановый в кольцах по плечам крутится, голос бархатный, только и есть изъянец — глаз жадный, увидит что — залипает, забегает, так и взял бы — да руки короткие.

Глаз у Николы жадный, с тех пор и стал жадный, как исполатчиком копил двугривеннички новые, а копил для жизни безбедной, пожить захотелось в достатке, в спокойствии.

И теперь они у него целы,— новеньких-то, правда, и не осталось давно, зато старых утроилось, росли они у него да плод приносили.

Зимою-то доходов у братии никаких,— летом богомольцы им жаловали; либо ложками кто — в подарки носил в гостиницу приезжим знакомым и получал на отдаренье толику малую, а зимой — зима бездоходная,— проживут осенью запасы летние и потянутся к Николе займы брать.

Никола всегда даст,— отчего не дать, не помочь братии?..

Целковый даст до лета,— под залог инструмент ему принесут, а весной ложкарить начнут — товаром расплачиваются вдвойне, либо втройне.

К лету-то и собирается у Николы дюжинок тридцать, он и ходит с ними дарить на память богомольцам в гостиницу,— отдарят ему, после угощения припасами городскими,— отдарят за каждую ложку кленовую двугривенничком, а то и полтинником — кто побогаче.

Так и росли у Николы двугривенные,— процентов не брал с братии, а деньги росли да росли, и поливать их не требовалось.

Ложкарила братия к весне поближе, когда настанет день долгий; чурбачков понасушат кленовых зимою, а весной и сидят колупают стамесками; пригревать станет солнышко — олифою кроют по цветам незабудкам да розанчикам.

И Васька ложкарил с утра до вечера и относил все Николе,— в долгу у него был неоплатном, а долбил аккуратно, лучше и делать таких никто не умел — на ручке-то всякую штуку мог вырезать: либо троеперстие выточит, либо златоперицу-рыбу вырежет, а не то в троеперстие яичко вложит.

Пришел Николка в каморку свою, косушку на веревочку — и в подполье, а сам — к рундучку: из Васькиного рукоделия выбирать покрасивее парочку.

Только что выбрал — на повестку ударили.

Новый подрясник достал люстриновый, скуфейку новую, волосы расчесал гребнем широким, потом на него маслом розовым капнул и опять по волосам прошелся.

Вечерню стоял — поглядывал, глазами играл черными, на Феничку пялился.

Из собора Феничка вышла с мамашей — подошел степенно,

— С приездом вас, Антонина Кирилловна,— погостить, помолиться пожаловали в обитель нашу?

— Фене отдохнуть нужно,— в седьмой перешла, вот и приехали к вам пожить летом.

— А я вам, помните, обещал с златоперицей ложечек,— полюбоваться извольте.

— Зачем вы, батюшка, балуете нас?!

— Кушать будете ими, вспоминать обитель нашу да братию.

Проводил до самого дома,— чай пить позвали.

— Если воля на то будет ваша, сочту своим долгом провести вас после трапезы.

— Приходите, батюшка, приходите, рады вам будем.

Поклонился степенно, на Феничку сверкнул жадно и пошел медленно.

По дороге забежал на огород монастырский лучку сорвать потихоньку зеленого,— про косушку вспомнил.

В каморку вошел свою — на постели Вася сидит, дожидается.

Вытянул из подполья косушку холодную...

Молчит Вася, только на косушку поглядывает.

Стаканчик лампадный осушил дочиста, и язык развязало ему.

— А я смутный хожу все, испугался я!

— Чего ж ты, Вася, испугался так?

— Рассказать страшно.

— Ты выпейка-ка еще лампадный один, вот и страх, как рукой, снимет. Расскажи, друг милый.

По другому выпили, хлебом посоленным с луком зеленым закусывать стали.

— Ну, Вася, рассказывай, что случилось такое?

— Как только сатана не является, в каком только образе ни искушает меня!

— Ну?

— Мать Евстафию знаешь?

— Сестру Никодимову, что ль?

— Ее самую, Николушка, да только ее не было — приходил бес блудный.

— Какой бес?

— На траву меня посадила, — после вечерни сегодня просилась со мною святые места поглядеть, — ты, говорит, человек божий, в тебе благодать незримая, пойдем, говорит, со мною.

— Куда ходили-то?

— На колодезь пустынника дальний ей захотелось, на тот, что под лесом казенным.

— В глушь самую?

— Я житие ей пустынника сказывал, а она на травку села и говорит мне, — слышу я плохо, Васенька, сядь поближе, касатик мой. Я ей рассказываю про пустынника, а она — и ну целовать мои руки, я говорю — недостойн этого, а она — ты человек божий, благодать в тебе... Ножки твои поцеловать нужно мне, грешной, откровение господь посылает мне через тебя, Васенька, благодать Божию.

— Чего ей от тебя нужно-то было?

— Не знаю, Николушка, чего ей нужно было, — не она ведь была — бес меня водил по лесу, — беса потешил я. Ножки, говорит, поцелую твои, а сама, — через тебя благодать на меня прольется всевышнего, — а сама — Евстафия-то эта — и полезла в портки ко мне — испугала меня до смерти, затрясся я с испугу, убежал даже, а она как заплачет, глядеть на нее жалко стало, а все бес проклятый, а плачет-то — трясется вся, — блаженного жития ты, говорит, лишаешь

меня напрасно, бог тебе судия будет!.. Дай ты еще мне лампадник один, Николаша,— дашь лампадник?

— Евстафия-то куда ж делась?

— Пропала, Николушка, сразу пропала,— как я побежал от нее, так и пропала,— вернулся потом поглядеть — пропала, только травка примята осталась, убежала она в глушь самую.

— Ну, моя, брат, Евстафия не пропадет теперь!

— А ты ее видел, в лесу видел, что ли?.. Я не пойду от тебя теперь, а то в келию еще ко мне заберется утопшая. Я ж ее после искал, по всему лесу ходил, все закоулки обегал, до болота самого добегал,— поглядел на него, а там,— яма, провалина черная... померещилось может — правда, Евстафия там была, из провалины плач до меня слышался — так и хотелось глянуть туда, так и хотелось, да я закрестил место поганое. Сразу и плач притих, и яма пропала, а все бес, все он искушает меня,— боюсь я его, паскудника гаденького, бегают он за мною за ряску цепляется,— я не пойду от тебя, Николушка как хочешь, а не пойду от тебя, не гони только, а то опять придет ночью Евстафия, опять искушение на меня напустит — не гони, не гони, Николушка!

— А моя, брат, у вечерни была сегодня!

— Ты б закрестил ее, они ведь креста боятся,— ты б закрестил — слышишь, Николушка!

— Поцеловать ее надо, а крест не поможет мне.

— Дьяволицу-то целовать, Николушка?!

— Да не дьявола, а Феничку Гракину,— видел? Сам же сказал про нее.

— Феничку изгони веничком, веничком...

— Ты, Васька, как лизнешь из лампадки, так совсем идиотом становишься,— ты бы сходил к фельдшеру. Конец тебе скоро, Вася,— скоро конец, а ложки твои, брат хорошие,— без ложек ты оставишь меня.

— Изгоняй, Николушка, беса,— изгоняй его!

— Ложки-то понравились им,— чай завтра пить звали пойдем? Чаёк-то с елеем должно быть, а елей-то у них крепенький.

— А лампадки есть у них?.. Ты свои возьми — у тебя большие.

— Ну, допивай да и проваливай к себе,— беса изгоняй а то Евстафия оторвет, тогда не изгонишь, в нутро он войдет

— Не пойду я, Николушка,— я боюсь, не пугай меня дьяволицей...

— Уходи, говорят тебе.

— Только в келию не пойду к себе, Евстафия там дожидается,— не пойду я туда.

— Повесишься ты, Васька, скоро,— догниешь ещё капельку, и конец тебе,— заживо догниешь, лучше тебе вешаться, я и веревку тебе дам на угощение, а то уже очень тебя жаль стало,— на-ко вот еще напоследок лампажник тебе, Васенька.

— Я пойду, Николушка,— я пойду, не гони только сам пойду — страшен бес полунощи,— ох, страшен как

Веревку достал Николка, Васеньке подал, на порог проводил, а сам на лавку разлегся о Феничке помечтать Гракиной,— ночь-то месячная, соловьи в саду монастырском щелкают, и жизнь-то у него впереди вся — и Феничка-то перед ним как живая стоит, улыбается.

По монастырю сонному бродил Васенька с веревкой Николкиной, места себе не мог найти и думал, что беса он не изгонит, коли повесится, петлю на шею наденет.

Растрепанный, пьяненький от келии к келии по мосткам деревянным слонялся.

Мысли кружились, как бесы, чадные:

«Бес возрадуется, беса потешу веревкой этою, опоганю естество божие... изнурением тела блудного изгонять его надо,— веревочка-то пригодится для паскудного тела милостыню просящего, яко слепец на паперти».

— Господи, воззвах, услыши мя... услыши мя, господи! - запел фальцетом пьяненьким и побрел к звонарю наведаться.

Не закрыта колокольня монастырская,— лестница телная, а под лестницей логово звонаря старого.

В темноте глухой дребезжал тенорок пьяненький, ударялся в колокола сонные, и темнота зазвучала шепотом медным.

— Бес полунощный нисходит на раба твоего окаянного,— да расточатся врази мои, боже, буди мне милостив, буди мне милостив, окаянному.

Под лестницей закопался в сено душное, боялся вздохнуть, слушал шум медный и заснул с веревкой, в руке скрученной.

Подумал Николка еще раз про Васеньку, перевернулся на другой бок и опять замечтался в охмелевшей дремоте о Феничке Гракиной,— не раздеваясь, так и заснул в подряснике новом, люстриновом.

III

За обеднею соловьем заливался Николка, регента радовал...

Сердце играло хмельное.

Предвкушал встречу с Феничкой после трапезы.

Косил с клироса, искал в люде молящемся завитков золотистых, локончиков Феничкиных.

Не пришла к обедне она,— отдыхает, зря только старался выводить голосом сочным.

За Васенькой не зашел,— Афоньку позвал долговязого, игуменского послушника, надеялся у него раздобыть ключика от лодки по озеру покатать Феничку. Николка с Афонькой — приятели, друзья закадычные.

Долговязый Афонька, и руки-то длинные по сторонам болтаются; и пучеглазый, а нравится купчихам рыхлым: нос длинный с горбинкой, кудластый весь, Авессалом библейский,— увалень несуразный, а до купчих — ходок, дока парень. На всю губернию славился, шепотком про него подле печек натопленных говорили, что такого-де во всем свете не сыщешь, уж так ублажит — лучше некуда.

Николай красотой славился, Афонька — носом к горбиною, и дружба у них крепкая, не раз и условия заключали друг с другом — по-приятельски делили купеческих: один гуляет с дочкою, другой — за мамашею: глаза отводит.

И теперь Николка на Афоньку надеялся, на помощь дружескую, и позвал его чаевничать к Гракиной.

Через двор конный — и к дачам...

Николка в дверь постучал, по привычке молитвил скороговоркою:

— Молитвами святых отец наших, господи Иисусе Христе, помилуй нас...

Из-за двери певуче мамаша, звеня чашками, отозвалась:

— Войдите, батюшка!

— Я с товарищем к вам, с приятелем...

— Входите, входите...

Вошел, на Феничку глянул — и говорить не знает о чем. С другими привычнее было, когда ненадолго знакомство водил,— так, на недельку, другую, чтоб только покрутить молодую купчиху, либо дочь купеческую, да и бросить, а тут и не знает, с чего начинать ему, — на всю жизнь собирается окрутить Феничку со всем имуществом; с капиталами — тут и слов не хватает — завязли на языке, прилипли к гортани, и кашлем их не собьешь.

Для разговора начала Антонина Кирилловна:

— Тишина у вас тут, батюшка!

Афонька на стол поглядывал, жадно, на закуски скоромные,— сам в растяжечку.

— Благорастворение воздушных,— это правильно.

— В нынешнем году весна теплая,— май месяц, а как уже тепло, совсем будто лето.

— Летом еще теплей будет.

— В городе душно, пылица, а тут не надышишься,— свежесть такая...

— Духота каменная...

— Закусите, батюшка.

— Не употребляем скоромного.

Николка про Афоньку подумал:

«Чего, скотина, ломается?»

И сказал тут же:

— Святитель Тихон Задонский у мирян все вкушал.

— А вы рыбки, отец Афанасий.

После рыбки — балычка, осетринки купеческой и колбаски попробовали под романею английскую, а потом и языки развязались — разговаривать стали. Афонька с Галкиной и прошлое лето припомнил, как по лесу водил по малину с компанией.

— Теперь мы надолго, отец Афанасий...

— В прошлом недельку пожили.

— Теперь надолго.

Сказала Галкина и подмигнула долговязому одним глазом.

Чай стали пить — Николай осмелел, про училище вспомнил духовное и заговорил с Феничкой — разговор нашел подходящий.

— У вас, что же, Фекла Тимофеевна, без конца?

— Что вы, отец Николай, разве гимназия без конца бывает?

— Дальше науку проходить будете?

— Не знаю,— мама меня отпускать на курсы не хочет, а учиться без толку — лень мне.

— А я так жалел, когда из училища духовного уходил; в семинарию мне хотелось, да у родителей на меня денег не было, по недостатку и дальше не пришлось доучиться мне.

— Мне только подруг жалко, а так и надоело уж, восемь лет пробыла, два раза на второй год оставляли,— скучно.

— Вам с капиталом ученье совсем лишнее — это правильно — без него веселее, а то здоровье испортить можно.

Об одиночестве Николке говорить хотелось, о том, что от мира он отрешился, в монастырь по призванию сам пошел и знал, что не к

месту, рано еще, об этом один на один, в лесу, говорить надо, чтобы чувства в ней вызвать, а тут и не знал, что сказать дальше...

А подружка-то Гракиной сидит заливается — переконфузила Николая с Афонькою, хоть и бывалый и в прошлом году ее видел, а вот же — сконфузила.

Выручил Акиндин — лавочник монастырский, постучал в дверь и рысцою к столу подбежал. Маленький, щупленький, бороденка черная с проседью клинушком, нос острый, глаз юркий — до всего доглядчивый — вертлявый монашек.

— Опоздал я маленечко, ну да я наверстаю свое. С приездом вас, матушка, с благополучным прибытием, еще раз поздравляю вас с радостью.

— Садитесь, батюшка,— ничем не опоздали вы, закусите садитесь.

— Люблю городского покушать, полакомиться, а то щи да квас, квас да щи — разносол наш, а рыбка-то у вас какая славная — севрюжка; хорошая рыбка, люблю ее, скоромятины я не ем,— это вот они могут, а рыбку люблю,— по уставу разрешается братии.

— Кушайте, сколько хотите, батюшка.

— Надолго вы к нам пожаловать изволили?

— Думаем лето пожить.

— Вот хорошо,— а я знаю места ягодные, ягода подойдет — непременно проведу вас,— ягода у нас не то, что городская какая-нибудь, земляничка-ягодка, в казенных порубках страсть сколько, да крупная, а душистая — ладан чистый.

Затараторил Акиндин по привычке,— не первый год чаевничать у богомольцев ему, у дачников,— по привычке и сел к хозяйке на диване поближе — занимать разговорами начал.

— А у нас этой зимой медведь одного монашка задрал в лесу,— только летом медведь никого не трогает, летом медведь завсегда сытый — ягодой питается всякой; в прошлом году отец Феогност,— знаете, тот, что с кружкой ходит за поздней на украшение храма? — в малиннике медведя встретил и не испугался даже, а снял скуфейку свою и раскланялся,— приятного вам аппетита, Михаил Иванович, разрешите составить компанию с вами,— медведь на него поглядел, поглядел — не понравился ему отец Феогност — взял да и ушел к себе в лес.

— Этого быть не может, батюшка!

— Истинная правда, матушка,— медведь, он летом всегда ручной, да тут их и нет поблизости, версты на две они еще попадают, а тут им чугунок мешает, недолюбливают они машину эту, а раньше,

бывало, и в обитель заходили; к одному иеромонаху в келию даже один стучался весною,— привратник-то испугался, маловерный, убежал в келию, а он через святые ворота в обитель прямо,— братия перепугалась вся,— такая суматоха была!..

— Я вам еще стаканчик налью.

— Из ваших ручек с преобладающим удовольствием даже выпью,— чаек у вас славный, ароматический. А ты бы, Никола, гостей покатай на лодочке да покажи бы барышне озеро наше,— у нас, барышня моя, чудесное озеро, и цветочки водятся на нем — кувшинчики да лилии, это вы попросите отца Николая,— живо смастерит вам, он на это ходок у нас, отец Афанасий и ключик даст.

По привычке Акиндин тараторил, как заведенный, и к купчихе вдовой тянулся после романеи аглицкой,— та отодвинулась на край самый, а он ближе да ближе,— глазки у него совелые стали, масляные, и рукою ее по плечу стал поглаживать, бородашкой подергивать.

— Я не люблю этого, отец Акиндин.

— Вы мне простите, матушка,— я от всего сердца к вам с расположением, и не знаю даже, как вымолвить,— пожалуйста ручку вашу облобызать с благоговением.

Целовать руку ей стал,— поцелует, погладит ее и опять целует.

Афонька в землю уставился, на Акиндина косится зло — ревность в нем разыгралась, сам еле дождался приезда Фенички.

Акиндин в лес погулять позвал.

— Теперь благодать в лесу,— сосна смолу гонит, дух от нее благодатный, я тут место одно знаю — чудесное место, красота господня,— елка стоит на поляне, зовем ее царской,— поистине царская,— над всем лесом царствует — неопишущей красоты елка,— художники приезжали из столицы, списывали елочку эту.

Повел елку смотреть царственную Акиндин купчиху вдовую с веселой приятельницей, и Николай с Афонькою подле Фенички.

Акиндин один подле двух распинается.

До вечерни ходили, до вечерни Акиндин тараторил и все до купчихи старался дотронуться: через канавку ей помогал перейти — за талию подержал, в одном месте кочки попались болотные помогал с кочки на кочку переступить Гракиной.

Николка губы кусал от зависти да от злости, слова выдать из себя не мог, только на Феничку все поглядывал, любовался ею и думал упорно, что лето велико, успеет своего добиться, не упустит ее, никому не отдаст,— зато Афонька всю старался.

Афонька с Николкою вдвоем возвращались, всю дорогу молчали, — первый раз у них вышло так, что за одной и той же гулять начали, и злились друг на друга — ни один уступать не хотел приятелю — без слов это обоим было ясно.

К монастырю подошли — Николка, будто ничего не заметив:

— Выпьем, что ли, Афонь?! А?..

А тот нехотя:

— Угостишь — буду, на свои — денег нет.

— Подожди у ворот конных, махом сбегаю.

С бутылкою Николай вернулся, а бежал — всю дорогу думал: угостит Афоньку как следует, нальется тот, тогда и разговор он начнет особенный, и план в голове копошился, и тоже особенный — приятеля удивить, соблазнить его, только бы соблазнить, а там все хорошо будет, соблазнить бы его особенным, — дубистый Афонька, а слово держать умеет, только бы вырвать его, слово это.

В каморку пришли, копеечную свечку восковую зажгли и молча в приножку по лампаднику вылили, — крикнули, по другому стукнули и тоже молча, только кудластая тень Афонькина на стене колебалась судорожно от копеечной свечки канатной, да нос горбиной торчал, и казалось, что не Афонька сопит, задохнувшись водкою, а тень шуршит по стене, захмелевшая.

Налили по третьему — не выдержал Николай:

— Поделим-то как?

— Кого?

— Феничку?

— Эта моя будет.

И ответ Николай знал этот, а спросил-таки, потому и спросил, что не знал, как начать про особенное, и начал:

— Друг ты мне или нет, Афонь? Ну, скажи, друг мне? Нет, ты постой, я тебе сперва расскажу, ты послушай только, а потом сам скажешь, что друг. Собираюсь я из монастыря уходить, совсем, чтоб никогда в него и не вертаться больше, голос у меня — дай бог каждому, с таким голосом мне архиерей не то что дьякона, протопопа даст, да не хочу в селе торчать да на поповне, а может, и на дьячихе жениться. Наливай-ка еще, Афонь, выпьем... Тебе все равно в монастыре оставаться, а мне — невеста нужна, — подожди, дай до конца скажу. С капиталами мне нужно, понимаешь — безотцовская, Феничка Гракина...

— Моя будет.

— Ты стой, Афонь, подожди, я тебе такое скажу — ахнешь: хочешь я тебе отдам половину приданого,— а? — Твоя половина, и жить у меня по-приятельски будешь, а не то торговлю открой. Наливай-ка еще по лампаднику,— выпьем.

— Сперва моя, а там что хочешь с ней делай — отдам тебе.

— Я тебе серьезно, Афонь, не смейся, а то...

— Мало останется, что ль? Тебе деньги — мне девка. Поделили, что ли,— говори! Ведь поровну.

— А то!..

Поднялся Николай, взял бутылку за горлышко и опять поставил,— Афонька вскочил, и сцепились два взгляда жадные, и глаза налились кровью. Афонька руку в карман — за ножом полез, Николай опять за бутылку взялся.

— Ну?..

— Ну!..

Не удалось Николаю удивить Афоньку особенным; для него отдать половину приданого — особенное, а для Афоньки, коли забьет себе в голову что, ничего нет на свете особенного.

И опять повторили:

— Ну?..

— Ну!..

И оказалось, что особенное-то Афонька сказал Николке и озлил его до зверелости.

— Давай концы тянуть.

— Жеребий?

— Да...

— Ладно!

И у обоих надежда явилась, что непременно он вытянет конец счастливый, и отлегла кровь от висков горячая. Достал Николка платок, завязал узелок,— руки тряслись, когда завязывал. Еще налил по лампаднику, еще выпили — тянуть стали — Николай узелок вытянул — счастье свое, Феничку.

— Видишь, судьба мне.

— Судьба!.. Только я...

— Что?

— Не отдам тебе.

— Так я ж тебя... Сволочь!

Разлетелась бутылка о нос Афоньки, раскровянил горбинку его до кости — захлебнулся Афонька жижей красною, повалился на стол, повалил свечку и в темноте заохал, а потом замолчал, только слышно было, как губы чмокали, обсасывая кровь с усов рыжих, и

отплевывали. Николай по углам тыкался, огарка искал, с перепугу и хмель пропал. Из корца водой поливал голову, рубаху новую разодрал — обвязал голову, а когда тот в себя пришел, умолил его не говорить никому, не рассказывать, боялся — епитимью наложит игумен, не бывать счастьем, не видать Феничку; добился под конец своего — побожился Афонька не мешать Предтечину, убедил его, что жребий своему счастьем он вытянул,— коли б не жребий, не вырвал бы слова этого.

С того дня Афонька и не выходил никуда из келии — Николка радовался, казенки ему приносил, только чувствовал, что не простил ему Афонька Феничку, по глазам видел, а ключик от лодки раздобыл-таки у него, а вернул новый — старый замок в воду, а новый купил с двумя ключиками, один себе, а другой приятелю.

IV

И пришел Николка к Феничке с ключиком на озеро звать кататься в лодке.

— А я ключика раздобыл, Афоня дал, после трапезы к вам зайду.

Галкина про Афоньку вспомнила.

— Отца Афанасия с собой приводите.

— Несчастье с ним, лежит он,— послал его отец игумен рой караулить на пасеку,— он и заснул на солнышке, рой вылетел и на сосну взвился, он за лестницей — влез — не хватает ее, карабкается по сучкам, до верхушки долез, за ветку взялся и не видел, что сухая, повис на ней, перехватить не успел — она и тресни, с самой вершины слетел с этой веткою, как только господь хранил, истинно чудо божие,— невредим остался, только нос проломил немножко, и то на тот самый сук, с которым летел вниз.

Заохали Гракина с Галкиной, а Николай свое:

— Я другого приятеля приведу,— монашек хороший, застенчив только, зато душа золотая, добрая.

Развязался язык у Николки, как только почувствовал он, что нет ему противника, точно счастье в руки далось ему без Афоньки.

За трапезой есть спешил, тыкал ложкой во щи со снитками, поймать ничего не мог и хлебал впустую; рыбного супу есть не стал: была рыба костная да соленая — зачерпнул одну, поковырял пальцами и бросил ее на деревянной тарелке разбросанной, каши не ел, только хлеб посоленный запивал квасом.

Благодарственную петь стали, толкнул квасника Михаила сзади, кататься позвал вместе.

— Пойдем, Мишка, на лодке катать, толк и для тебя будет...

Разбитная такая, веселая,— ветрогон-баба; до монахов падкая с мужем старившимся — Марья Карповна Галкина зальется закатиисто — ямочки на щеках прыгают, телесами поводит, вздрагивает, глазами зовет, поигрывает, точно сказать хочет: погляди ж какая я мягкая.

Антонина Кирилловна, та себе на уме баба,— подразнить любит братию, а чтоб до чего другого,— ни-ни, строгая, цену знает себе, чтоб языки не болтали досужие, потому дочь у ней на возрасте стала, а пример плохой долго ли показать девушке,— выйдет замуж, тогда другой разговор — сама за себя ответчица, и мать не указ.

А с Машенькой подурить, подурачить любит братию.

Галкина женщина слабая насчет пола мужеского, поиграет недельку и не выдержит. Братии монастырской давно известна.

Михаил с Николаем пришли, Михаил увидел и шепнул приятелю:

— Эта-то, ай не знаешь,— в прошлом году погуливала.

Через обитель прошли, на луга вышли и пошли к лесу.

Михаил — круглый детина, увалень, рыжеватый волосом, засмеется, прищурится, а хохотать начнет — всхлипывает, заходится, а насупится — бровями поведет к носу, а нос — лепешка сплюснутая, — насупится и загудит басом, точно не из горла, а из этой лепешки гудит трубою.

Застенчив и похотлив Михаил с купчихами.

Прилип Михаил к Галкиной, смущает его кисея легкая — глянет глазком одним на плечико жирное, другой — за кофточку опустит.

— Что вы заглядываете, отец Михаил? *

— Материя у вас легкая, и не холодно так-то?

— Ничего, отец Михаил, я сама жаркая, вот мне и холодно никогда не бывает, вы попробуйте.

Схватила руку его, положила ниже шеи своей, в вырез, откуда груди расходятся, подержала минутку, отбросила и залилась хохотом...

— Правда, ведь жаркая? Теперь верите?

В жар Михаила бросило, промычал несвязно:

— Температура сильная.

— А вы говорите — холодно?! Вы расскажите-ка мне — кто вам нравится из дачников?

— Маша, да ты не пугай отца Михаила, он с испугу еще убежит от тебя.

— Не убежит, Тоня,— у меня для него приворотное зелье есть.

Мычал Михаил растерянно, Николаю смешно даже стало, и Феничка улыбалась застенчиво, и ей смешно.

— Вы, отец Михаил, вечером приходите ко мне, наливочкой вас угощу.

— Я не хожу вечером,— у нас ворота закрываются рано.

— Что я не знаю, что ль, ворота ваши, не первый я год в монастыре живу,— через ограду не лазили разве ни разу на конном дворе?

— Я не хожу вечером, отец игумен меня не пускает.

— Как хотите, а только жалеть будете.

— Вы надо мною смеетесь только.

И опять замолчал Михаил хмуро.

Николай подле Фенички.

Феничке непривычно говорить с монахом, а спросить хочется, почему он в монастырь пошел, отчего не живет в городе. Никуда ее не пускали одну, без призора боялись оставить и подруг не поваживали, только в гимназии с ними виделась и фантазировала по вечерам одна,— в книжках читала, сама слышала, что от любви неудачна в монастырь часто уходят,— думалось, что и Николай тоже. Хоть и сказал он, что у родителя средств ему и ученье не было, а может другое что, чего рассказать не может. По наивности Феничка помечтать любила с романах трагических, все ей казалось, что у каждого любовь пылкая к тому, кто взаимностью отвечать не хочет.

В книжках она читала про любовь такую и полюбила она книжки эти. Где любовь по-хорошему кончится — такая ей скучной покажется, а вот, где влюбленный либо убьет соперника своего, либо с собою покончит,— такие книжки любила Феничка.

И самой ей хотелось такой же быть, как и те, что любовь отталкивали, чтоб самой от любви пострадать, помучиться и его тоже помучить. Казалось, что такая любовь и есть настоящая, а то что за любовь это, когда встретятся, про любовь скажут друг другу, поцелуются и к венцу идут, про такую любовь и читать скучно, да и любить неинтересно очень. Сколько она ни знает людей, все женятся и от любви не стреляются и с ума не сходят а живут себе год за годом — торгуют, в чиновниках служат, ребятишек нянчат, зимой вечерами на карта про судьбу гадают, что и гадать-то, когда все уже угадано. Замуж вышла — значит и угадано все, как ни раскладывай карты, все одно скажут: сплетни, болезнь, удача, с королем свидание, и на самом деле и сплетни плетут небывалые, и болеют болезнями разными — у бабок лечатся, и удача в делах бывает, про это и гадать скучно, а чтоб встречи какие с королем были,— разве что с городовым в престольный праздник — поздравлять придет, да с знакомыми на базаре встретится, а так, чтобы с любимым — не знала

про это Феничка. Да что и за встреча, когда замуж вышла, тут не до встречи уж, от мужа все равно идти некуда. Вечера осенние долго тянутся, и в губернском они по-уездному, конца им не видно Феничке, почитает она, почитает роман страшный и пойдет спать ложиться. Свернется под одеялом стеганым, согреется и не спится ей, лежит и мечтает.

Такую паутину в дремоте запутает, что и конца не найдет, и начало забудет.

И герой у нее знатный с титулом, как полагается, и дары ей приносит всякие, убежать ее уговаривает, а она непреклонная,— оттого и непреклонная, что подольше ей помечтать хочется, придумать еще что-нибудь удивительное. Она тоже любит его, только гордость никак не позволяет сознаться ему в чувствах своих. И разговоры даже придумывает,— точно книжку читает.

— На край света я увезти готов,— разве я недостойн любви вашей?

— Я не могу полюбить вас, поверьте мне.

— Дворец вам построю роскошный, окружу вас забавами, заботою...

— Мне ничего не нужно от вас, не мучайте меня только,— вы другую полюбите, знатную, а я ведь небогатая девушка, некрасивая, меня любить не за что.

— Клянусь вам,— прекраснее вас на земле нет, к богатства я не ищу, у меня своего очень много.

И жалко Феничке, что она полюбить не может, себя даже жалко становится,— она хоть и чувствует, что любит его, а сознаться не хочет, и жестокая с ним, непреклонная.

Дрема затомит Феничку мечтаниями бесконечными подкрадется сон сладкий, и не хочется ей засыпать без любви, и жестокость ее. и гордость исчезнут, и дает ему поцеловать свою ручку, потом и сама обнимет за шею и целуется с ним в саду дивном, где соловьи поют ночью, и луна светит, и цветы пышные. А потом он ведет ее в дом свой, а потом... а потом жутко станет Феничке оттого, что не знает, что потом будет с нею, а чувствует только, что жутко и хорошо, так хорошо, что сердце замирает у ней оттого, как он в доме своем целовать ее будет.

И хотелось Феничке быть такой же, как барышни в книжках бывают, подражать им старалась.

Из гимназии выйдет — навстречу ей Никодим Александрович и пойдет провожать ее до дому и все про чувство свое говорит, только она непреклонна с ним, жестокой с ним хочется быть, помучить его.

Смеркнется — Феничка и не знает сама, идти ей или не ходить на Почтовую, и пойти-то ей хочется, и помучить его тоже приятно, а потом боится она — не узнали бы дома.

Посидит, посидит, повертит, повертит учебник какой-нибудь, и покажется ей, что забыла она, что на завтра задано, оденется и пойдет к подруге спросить и маменьке скажет, что забыла, что задано.

Только щелкнет калиткой — Петровский точно из-под земли вырастет и пойдет рядом.

— Я долго вас дожидался, не выходили вы.

— У нас на завтра уроки трудные заданы,— я к подруге иду спросить, что учить надо.

— Можно, я провожу вас, Феничка?

— Как хотите, только с глупостью приставать не смейте и слушать не стану вас.

— Феничка, вы не поверите, как тяжело одному жить,— будемте хоть друзьями только.

К подруге зайдет — посидит, поболтает, посмеется, а Никодим,— точно сторож, по переулку шагает — на холоде ждет Феничку.

Обратно идут, Петровский про чувство свое и говорить боится, так из пустого в порожнее пересыпает слова нерешительно, тянет их, мямлит.

И опять скучно Феничке станет идти с Никодимом, идет и сердится на него, отчего у него слов таких нет красивых, как в книжках написаны, отчего он не знаменитый, не знатный, а всего лишь ученик института учительского.

А так хочется ей особенного чего-то, и нет его до сих пор,— у других же бывает — обидно ей. Целую зиму Петровский поджидал Феничку Гракину, провожать ходил, о своем одиночестве говорил, а дальше и не решался, поцеловать ее не решался, может только и нужно было поцеловать Феничку, поцелуем мечты разогнать книжные, и она бы его поцеловала потом крепко как только первый раз от любви целуют, а вот не решился же Никодим, и у Фенички в сердце туманно осталось.

А в мечтах-то ее почему-то всегда лицо Никодима мелькало, и у знатных, и у богатых, у всех отчего-то лицо его было, и всегда оно наклонялось к ней с поцелуем в дремоте сонной.

Тлелось у Фенички чувство первое, а разбудить его настоящей любовью еще не умел, боялся он.

Так с этим чувством тлеющим и на лето в монастырь приехала.

Николая встретила, и опять захотелось ей особенное услышать, как в книжках было.

В прошлом году раза два он гулял с нею в лесу, да тогда еще ей в голову не пришло это. А теперь вот и захотелось спросить его, отчего он в монастырь ушел,— особенное услышать ей.

— Батюшка, отчего вы в монастырь ушли?

— Людям не верю я, Фекла Тимофеевна.

— Зовите Феней меня, так лучше.

— Ни разу я не нашел чувству своему удовлетворения в людях, а здесь хорошо, станешь молиться — и люди хорошими кажутся, добрыми.

— Разве у вас было что в жизни, от чего вам тяжело стало?

Вздыхнул Николай, в глаза заглянул с выражением и сказал тихо:

— Рассказывать тяжело, лучше не спрашивайте.

Глаза встретились, на секунду одну, на мгновение, и точно искра упала и обожгла сердце Фенички.

— Если вам тяжело говорить об этом — лучше не надо, вы простите меня, что я спросила у вас.

— Может быть, я расскажу вам потом когда-нибудь.

А сказал Николай искренно, оттого и сказал так, что почувствовал чистоту и наивность Феничкину, и про себя вспомнил про то, как купчиха его на колени сажала мальчишкою, и потом по ночам ненасытностью своею мучила, и тяжело ему стало, захотелось настоящего,— такого, чтоб жизнь почувствовать и самому жизнь отдать несуразную.

Оттого искренно и сказал Николай Феничке, оттого и у Фенички искорка осталось в сердце яркою,— рядом легла с Никодимовой — с тлеющей.

Думал-то Николай о богатстве Феничкином, когда мужем ее быть решил, а тут она сразу и всколыхнула в нем чувство первое, от него ему еще сильнее захотелось Феничку взять вместе с любовью девичьей и с деньгами купецкими.

Любовь загорелась в нем жадная.

К мельнице подошли, за веслами сбегал Николай, оттолкнул лодку, черпаком воду выгреб и садиться позвал.

Михаил с Галкиной сел назади, нарочно потесней выбирал лавочку, а Гракина с Феничкой против Николая устроились.

Медленно плыли, ловили лилии белые, кувшинчики рвали...

Николай веслом доставал крупные, старался для Фенички и, засучив рукава по локоть, стебли срывал длинные.

— Я вам длинных нарву.

— Мне самой хочется.

— А как хорошо здесь! Какое большое!

Часа два бродили по озеру, в осоке застряли и вернулись на мельницу, когда в монастыре повесть ударили.

Заторопились Николай с Михаилом, из леса вывели, дальше не пошли вместе.

— Опоздаем мы,— простите нас, мы побежим.

— Тут не страшно идти, дорога лугом спокойная, все время богомольцы ходят.

Антонина Кирилловна опять Михаила позвала:

— Отец Михаил, так у меня для вас приворот есть,— приходите-ка вечером как-нибудь.

И опять засмеялась Галкина — опять ямочки задором запрыгали.

Феничка, с Николаем прощаясь, тоже позвала его,— только неуверенно как-то, точно боялась чего.

Замотались подрясники черные по траве сочной, запрыгали гривы лохматые, в разные стороны разлетаясь от ветра, и пропали за бугром ближним.

Гракина с подругой пошла, Машенькой, а Феничка сзади тихонько.

— Ну и монахи!!

— Они все, Тоня, такие,— не первого вижу, я ведь их не одного пробовала.

Не слушала Феня, не слышала, перебирала мысли свои и стебли сырые лилий белых.

Шла и в золотых сердцевинах лилий глаза Николаевы видела.

И захотелось ей узнать то, что и в книгах-то написать не сумеют, а самой пережить только можно.

Узнать захотелось — отчего Николаю жить тяжело.

Глаза ей сказали такое, отчего грустно Феничке стало и захотелось еще раз взглянуть на них.

V

Повадился Николай к Гракиным чаи распивать.

От трапезы до вечерни и от вечерни до вечера, как не закроют ворота монастырские, иной раз и через ограду лазил.

Чайку попьют — и в лес по тропам нехоженным красоты смотреть монастырские, а то в лодке по озеру колесят, ключик-то пригодился, не даром и четвертак отдал лавочнику.

И слова нашлись лживые о душе, в мире непризнанной, тоской-одиночеством спутанной,— иной раз сам даже верил словам этим жалобным.

День за днем оплетал паутинкою сердце Феничке,— жалость ласковую разбудил в нем; сперва-то слова неуклюжие были, смутные, несуразные, а потом, как елей, заволакивающие теплотой искренней.

В каморку вернется вечером, на топчан ляжет жесткий и сверлит темноту глазами жадными — стоит перед ним Феничка Гракина с тысячами купеческими, с довольством сытым, с почетом да жизнью вольною.

С ними-то, с тысячами, мир повернуть вспять можно, в кулаке покрепче зажать и надавливать, чтоб сок из него капал медленно, как мед из сот переполненных,— ему самым вкусом насытиться хочется.

И боится, что рано еще,— надо в срок уловить наивность девичью, да так, чтобы и выхода ей не было больше из омута взбаламученного.

Все б хорошо, да мамаша поглядывает, без себя дочь никуда не пускает.

Погулять выйдут — сзади с Галкиной и мамаша следует,— хорошо, хоть полупшепотом говорить можно, а чтоб один на один остаться пришлось с Феничкой — ни разу еще не удавалось.

По глазам видит Феничкиным, что только и осталось ему один на один побывать, своего добиться,— всему она верит, каждое слово за правду считает, только теперь о любви бы сказать с поцелуями жаркими, от которых голова пойдет кругом и повалит на землю истомы жуткая.

Зовет уже не Феней, а Феничкой...

Говорит, говорит и закончит, что сказать ему хочется про такое, от чего сразу легко ему станет, если только Феничка скажет.

И Феничке тоже узнать его тайну не терпится.

Как-то даже сама попросила:

— Батюшка, скажите, не бойтесь,— я никому не скажу, вам будет легче.

— Тут ведь душу раскрыть надо, а разве можно, когда кто-нибудь посторонний есть?

И глазами ей говорит жадными, так говорит, что потупится Феничка от взгляда встречного, и сердце забьется, в глубину падая — покраснеет вся.

Ягода поспевать стала, все озеро заплели лилии белые, утка дикая птенцов вывела, в камышах звонко крикает, а ему один на один побывать не пришлось.

Подбежал Михаил к нему.

— Знаешь, что скажу-то тебе?

— Про Галкину, что ль?

— Какое про Галкину,— Гракина, брат, сегодня уехала.

Сердце в нем оборвалось, заглодел от испуга весь, и мысль пробежала — упустил, значит, счастье свое сам упустил.

— Да ты что испугался-то? — одна, брат, уехала, дочка с Машенькой в оконце поглядывают,— не надолго значит.

— Что ж не сказал прямо?

— А тебе что, ай Феничка не дает покою?

Не ответил ему, только в клетушке своей заметался от радости,— не упустить бы теперь!

— Мишка, уведи Галкину, куда хошь уведи...

— Мне-то что — увести можно.

— Неделю поить тебя буду...

— После трапезы уведу нынче,— смотри, не сбреши только.

— Да ты подольше ее...

— Ладно, скажу — заплутались, дорогу забыл,— вернусь к вечеру.

Сам не свой за обеднею пел, голос срывался, дожждаться не мог и за трапезу не пошел даже, а в лес побежал к дачам, поодаль все дожидался, когда Галкина с Михаилом гулять выйдут,— ходил — думал,— удастся ли увести Галкину, не догадалась бы пройда, а то никуда и не выйдет без Фенички, сама-то охоча гульнуть по-купеческому, а девчонку-то от себя не отпустит, коли правду почует, — у них по купечеству все так: бабе и погулять можно, а за девчонкой доглядывают, беды бы не вышло какой девушке.

Целый час промотался, прождал Николай, а увидел Галкину с Михаилом — в лес поскорей прятаться, не увидела б только.

Подождал, пока скрылись, побежал к Феничке.

— Денек-то какой нонче?.. А у вас никого нет?

— Марья Карповна с отцом Михаилом в казенный пошли, а мамаша домой поехала.

Я было на озере покатасть вас хотел, был я вчера там, да и нашел в лесу место ягодное,— поедемте, Феничка.

— Как же без мамы я?

— Мы недолго там будем.

Согласилась Феничка, и страшно ей, что согласилась, и хочется расспросить Николая, узнать особенное.

Дорогою шли по лугу, рассказывал ей про монаха лекаря, что народ травами лечит всякими, про лес говорил, про разбойников, что в урочище жили старом да зимой на дороге купцов грабили,— разговорами Феничку отвлечь все старался, чтоб не боялась она, не подумала что плохого, не почувствовала бы. Может, и не подумает, а почувствовать может она — испугается, насторожится опасливо, и тогда уже трудно добиться чего-нибудь будет, нужно, чтоб неожиданно захватить всю и прикончить сразу, не дать и опомниться.

К мельнице подходить стали — про озеро рассказывал медленно.

Феничка раз только подумала,— может, сегодня расскажет ей...

Размашисто весла сверкали, толчками быстрыми лодка в осоке пряталась,— перешло озеро в речку лесную — медленней двигались берега, мохом облипшие.

В воду сосна повалилась позеленевшая, у сосны привязал лодку, по сосне на берег за руку повел, осторожно и крепко руку держал теплую.

— Хорошо здесь и страшно,— темно; должно быть медведи есть.

— Летом их нет, Феничка,— вы здесь не бойтесь.

— Даже холодно тут.

— Зато ягод здесь много,— крупная, сладкая.

В тишину темную по топкому моху пошли, держал за руку, говорить стал:

— Феничка, я не ушел бы от вас, никогда б не ушел...

Испугалась Феничка, и не слов испугалась этих, а гулкового сердца стало ей страшно, и не думала, что жутко ей, а вся чувствовала, телом всем ощущала чувство пугающее...

Ягоды рвать стали,— на стеблях тонких крупные, спелые, духовитые...

На коленях Феничка рвала их и губы от темного сока красного горячей стали, окрасились широкой каймою влажною,— глядел на них Николай, и его губы жадно вздрагивали.

Вместе с нею собирать стал ягоду лесную, касался рукою пальцев, когда брала у него из руки зрелые.

Волнуясь, шептал, и шепот волновал Феничку,— чего-то ждала, услышать ждала особенное и волновалась вся.

— Феничка, так тяжело одному жить, ведь и мне счастья-то хочется.

— Скажите мне, вы сказать мне хотели что-то...



— Давайте сядем,— я расскажу вам, все расскажу Феничка...

Сел, близко к Феничке сел, обнял ее тихо, точно испугать боялся, и прижимать стал,— жутко и хорошо было Феничке, не оттолкнула даже, только один раз слабо откачнулась вся, а потом приникла вся, и сразу — голову ей запрокинул, в губы, пахнущие лесной земляникой губами впился и, не давая сказать ни одного слова, целовал долго, отрывался на миг, шептал одно только слово — люблю, и целовал жадно...

Не сама, а губы ответили, сами, как лепесток открылись поцелуем,— голова закружилась, и поплыла волна медленно, сердце падало, колотясь.

На мох повалил хрустнувший, и только инстинктивно еще ноги пытались противиться, становились тяжелыми, неподвижными. Суковатым коленом вдавил — раскрылся.

Слышала, как рвет полотно, и когда телом ее придушил — дышать стало нечем, сердце не чувствовало, и не то умолять она стала не трогать ее, пощадить, не то просить не мучать безысходностью жуткой, а скорее освободить ее от чувства этого, чтобы дышать можно было легко и свободно и шептала: «Коля, Коля!!!»

Вскрикнула, дернулась как-то, и томящая боль острая но такая странная, оттого что с болью радость проснулась в теле, какой никогда еще не было, всю охватило ее жаждою странной чего-то бесконечно жуткого, жутко-покорного.

Темно потом стало и тихо, и чувствовала, как горячо и медленно по всем мускулам разливается кровь струйками облегченности, и воздух стал свежим, радующим и не сдавливало больше затылка острой тяжестью.

Потом только, когда успокоилось тело, и мысль стала ясною — поняла, что случилось страшное, после которого все дороги потеряны.

— Что ты сделал со мной, Коля!

— Хочу, чтоб женой мне была.

— Ты монах, Коля!

— Не монах я, а послушник...

— Как же маме скажу я!

— Ни о чем говорить не нужно.

— Коля, но ведь от того же дети бывают?

О детях сказала, и мысль у него закопошилась назойливая и упорная,— будет ребенок, тогда все равно отдадут за него, тогда уж

не уйдет, никуда не уйдет, и захотелось, чтоб был он непременно, теперь же...

— Феничка, не бойся, ничего не будет, не бойся,— я знаю.

— А если мама узнает?

— Ничего не узнает,— никто не узнает.

— А сказать-то хотел ты мне про себя,— расскажи Коля, теперь ведь все мне сказать можно — и я ведь люблю, никогда не любила еще, и теперь вот люблю.

— Ничего со мной, Феничка, и не бывало, а люблю я тебя, еще с прошлого года, как в лесу мы гуляли, того самого времени и позабыть не могу я тебя, целую зиму ждал да гадал — приедешь на лето, ай нет.

— Ждал меня, да?

— Как еще ждал, Феничка, знала б ты только.

— И всегда любить будешь?

— До самого гроба, и детей, если будут, любить буду.

До жестокости хотелось, чтоб был, теперь же, с этот дня был,— и опять целовать стал Феню, пока опять не забилося у ней безысходностью сердце и пока опять я стало хватать воздуха и опять чувствовала и теплоту, и легкость и не ослабело утомленное тело и снова, и снова, пока не обессилела вся, и еле встала с потеплевшего моха, когда стало совсем темно в лесу от смолистых сумерек...

Ровно и сильно взмахами поднимал и опускал широкие весла, и смотрел в глаза Феничке, точно спрашивал — будет он, теперь будет?

Причалил к берегу, лодку глубоко врезав в землю илистую.

Вывел из лодки, обнял за плечи и повел по траве влажной, и шептал о том, как хорошо будет им, лишь бы только любила его.

Еле двигалась Феничка — и хорошо было слушать голос бархатный, заволакивающий, и домой идти было страшно: а вдруг как узнают, тогда и счастьем конец, и весь век без любви мучиться. И не верилось, что не сбудется, казалось, что как в романах читанных конец будет хороший, даже жестокою быть не хотелось,— это с Никодимом только такою была. Вспомнился Никодим, а почувствовала, что за плечи держит любимый ее, и пропал, потух, потускнел Никодим, будто и не было никогда, даже страшно стало — а вдруг разлюбит ее Николай?

Довел до комнаты — Марья Карповна не вернулась еще.

Поцеловал на прощанье и позвал шепотом:

— Завтра приходи, Феничка, после трапезы в пустыньку,— смотри приходи, ждать буду.

Зашел по дороге к лавочнику, взял две бутылки казенной, спрятал в карманы подрясника, прошмыгнул в ворота и заперся в своей клетушке — дожидать Мишку.

Доволен был, что наконец-то нашел он купеческую, и размышлял, как будет он протопопом соборным.

Феничка да Марья Карповна спать легли,— та поздно возвратилась.

Спросила Феничку:

— Ты что ж так рано легла?

— Скучно,— спать хочется.

И солгать легко Феничке стало,— тайну свою сохранить первую...

До полуночи Мишка у Николая казенную пил, закусывая хлебом соленым, а уходя — пьяным голосом прогудел:

— Сколупнул девку?

— А тебе что?

— Не сквалыжничай только, когда богатеешь будешь.

Утром Феничка прятаться старалась от Марии Карповны, придумала к средней идти; побыла в средней, напилась чаю и ждала, когда ударят к трапезе.

Идти было жутко, боялась и тянуло ее, удержаться не хватило сил, пошла ждать Николая на пустыньку,— боялась,— не придет, если разлюбит ее, он, как рыцарь красивый, его полюбить за красу каждая может.

И опять, истомленная, обессиленная, затемно домой возвратилась.

Марья Карповна спросила ее:

— Ты где пропадаешь, девка?

— Гулять, Марья Карповна, ходила.

— С кем?

— С батюшкой, отцом Николаем.

— Ты смотри, девка!..

— Уморилась я, далеко ходили, спать хочется.

И опять легла, пока огонь еще не был зажжен.

— Ты смотри, Фенька, потерять себя это плевое дело, а вот потом как?

Спящую притворилась.

— Слышишь, что ли?

Не ответила Феня.

— Они, брат, тут, святоши-то эти, все одинаковы,— ты на меня не смотри, что я кручусь с ними — я баба, да еще вдовая, а тебе беречь себя надо: тебе замуж идти придется, а с изъяном-то тебя не возьмет

никто, а возьмет — в могилу тебя вобьет колотушками — ты смотри, девка.

И на третий день побежала Феничка Николая ждать, сама побежала, потянуло всю, первый раз потянула разбуженная ненасытность, и на третий день Николай хотел, чтобы был непременно, непременно ребенок чтоб был — иначе не быть ему женатому на Гракиной Феничке, иначе не быть ее капиталам Предтечинскими.

И опять возвратилась поздно.

Марья Карповна лампу зажгла, чай ждала пить Феничку.

Свет испугал Феничку, переступила порог, глаза опустила, идти не решалась дальше.

— А я тебя чай пить ждала,— ты где пропадаешь?

— В казенный ходили,— далеко это очень.

— Я вот матери расскажу, как приедет,— она тебя живо осадит,— ты смотри, Фенька.

Села на стул медленно, чашку взяла налитую и все время боялась взглянуть на Марью Карповну. Боялась, что взглянет она, и солгать у ней силы не хватит, а говорить-то нельзя — не велел, да и самой не хотелось тайну свою выдавать жуткую.

Марья Карповна выпила чашку, другую наливать себе стала и взглянула на Феничку.

— Фенька, да ты глянь, на тебе и лица-то нет, чтой-то с тобою,— а?..

— Далеко мы ходим, Марья Карповна,— утомилась должно быть...

— Да ты не брешь, девка,— говори, спуталась с ним?

Не двинулась Феничка, вздохнуть было страшно.

— Под глазами-то синяки какие!

И начала — выпытывать начала, правды доискиваться:

— Да ты с ним полюбовно, али силком тебя взял? Ну, говори, что ли! Чего как воды в рот набрала, меня-то, брат, не надуешь — я баба, я все вижу, гляну только — сразу узнаю. Этакие синяки-то при другом не бывают, аж глаза провалились,— хоть бы в зеркало глянула на себя, подожди, я сейчас покажу тебя...

Побежала за зеркалом, принесла — против Фенички поставила, та глянула, и ей стало страшно.

— Пропала ты, девка, совсем пропала,— как мы матери-то говорить будем, а не сказать — нельзя, надо же тебе от плода избавиться, долго ли забрюхатить?

— Марья Карповна...

— Что Марья Карповна,— набедокурила, да теперь и Марья Карповна. Ну, говори, что ль, рассказывай, от плода-то избавимся,— можжевельничка-то придется попить, скинешь его, пока не расперло тебя, а там уж как-нибудь выдадим тебя за кого-нибудь, только уж на себя пенять будешь, коли молодой колотить по ночам тебя станет, а что колотить тебя будет, это как бог свят, они этого не прощают нам, ну а ежели за старого выйдешь, так тогда полбеда еще, только за старым не сладко быть, я вот тоже попала за старого, колотить — не колотит, а мучать — мучает...

Заплакала Феничка, тихо заплакала и часто-часто закапали слезы, прижалась к Марье Карповне, как ребенок, беспомощно голову на грудь положила ей.

— Я люблю его, Марья Карповна...

— Я брат, тоже любила, любить-то не диво, на то и живем мы, чтоб любить ихнего брата,— а вот дальше-то как после этого,— не подумала, чай, когда себя допустила до этого?..

— Замуж за него пойду...

— Что? За него?! Да кто ж тебя за него выдаст? Скажи ты, пожалуйста, мне, кто за него тебя выдаст,— мать, что ль, твоя? А? Она баба твердая — камень-баба, ей для дела человек нужен, чтоб и сам был покряжистее, да и капиталом ворочал бы,— дело-то у вас, чай, знаешь, не маленькое, с заграницей торгуете! Дядья тебя, что ль, за монаха выдавать будут?.. Да Петр-то тебя и на порог такую не пустит, не то что выдавать за него будет,— он по-старинному, брат, живет, ну а Андрей-то Кириллыч, он хоть и в институтах учился, и на инженера выучился и книжки читает всякие, а семьи-то придерживается. Ну кто ж тебя выдавать-то за него будет? Ну, говори, что ль?!

— Он меня любит...

— Да ты что из любви-то веревки вить, что ли, будешь? Его-то любовь псу под хвост — вот что! Эх, девка, жаль мне тебя, вот что! А матери-то говорить надо, как ни вертись — говорить надо. И как это тебя бес спутал? Я-то, дура, не укараулила как?! Когда он тебя обесчестил-то? А?

— Во вторник...

— Это когда, значит, я с Мишкой в казенный ходила Я виновата, никто больше — мне быть в ответе твоей матери,— не уследила, паскудница, бес одолел блудный. А ловко они это меня одурачили,— один это, значит, в лес увел потаскуху, а другой и нагрянул; да заблудился еще проклятый, дотемна водил самого!.. Ну, реветь

нечего тут, не поможешь слезами, ты выпей чайку-то, да пойдём спать ложиться, утро-то вечера мудреней,— может, и придумаем что!

Допивать села Феничка чашку остывшую и, слезь глотая, жевала с хлебом,— проголодалась с утра, с утра ничего не ела. Как было все на столе, так и оставили,— спать пошли.

Марья Карповна сердито раздевалась, бросала на стул,— Феничка тихо, еле шелестя юбкой,— раздевалась медленно. Свечу потушили и заснуть не могли: каждая думала о случившемся, каждая — по-своему, комаров слушая.

Феничке казалось, что все пропало, вся жизнь пропала ей: увезут ее теперь от Николая, всю жизнь до замужества попрекать будут, а потом выдадут за нелюбимого, за чужого, и никогда она Николая не увидит больше. Полюбила его, отдала себя всю, и не думала ни о чем — жила утомлением, ласкою, впервые греховным жила — отдалась этому, покоренная утомлением жутким, и мечты все исчезли книжные, и не вспомнила ни разу о них и Никодима не вспомнила — уплыл в сумраке, в девичьем прошлом, и ждала с Николаем встречи, и о завтрашнем дне думала — ждать будет ее, велел приходить к скиту после поздней, и не пустит ее Марья Карповна, никуда с глаз не пустит теперь, а потом никогда не увидятся больше, а с чужим, нелюбимым,— как подумала только об этом,— сжалась от ужаса вся. Придумать хотела что-то и не знала, придумать что.

Марья Карповна тоже думала, как ей придется в глаза Антонине Кирилловне только глядеть после этого,— понадеялась, на хранение оставила,— сберегла, сохранила?!

И Феничку жаль было,— про себя вспомнила, про свою жизнь, про свою любовь первую, вспомнила, как силком в церковь ее повезли, за старого выдали на мучение долгое. Феничку жаль стало, что и ей вот придется муку перенести страшную за старым,— измучает тело все, вымажет лаской слюнявой и уйдет дрыхнуть, только измучает всю бессилием дрыхлым, а прогнать, не дать — чем попадя бить станет, попрекать, что позор покрыл своим именем, а благодарности никакой.

Тихо лежали,— думали, только сверчки по углам скрипели, да через окно открытое колотушка потрескивала.

— Ты спишь, что ли, аль нет еще?

— Не сплю, Марья Карповна. Марья Карповна, как же мне быть-то? Вы добрая — сами ведь знаете, как с нелюбимым-то жить плохо, помогите мне... Марья Карповна, милая, помогите мне...

— Вот затвердила сорока про Якова... Спи лучше — подумать надо. Жаль тебя, девка,— ты думаешь что — разве я ругать тебя

стану, сама ведь из-за этого жизнь целую мучаюсь. Ты ведь баба теперь, может, и поймешь меня — в монастырь-то я езжу зачем,— затем я и езжу сюда, чтоб утолить себя, лес-то тут темный — никто не увидит, никто не расскажет,— было — не было — никому дела до этого нет, народ тут прохожий, молящийся — кому до тебя дело? А дачники-то эти — из губернского больше господа, до нас им дела нет никакого, да и сами не хуже, а из купечества — чужим тоже до тебя дела нет, а свои — занесет если летом, так ненадолго,— зимою говеть ездят, а летом варенье варят, наливки настаивают,— вот и езжу я утолять себя, чтоб поклепа на мне не было в городе нашем, чтоб языки не чесали досужие, чтоб старик-то мой не знал ничего, а лес — он не скажет, темный он, глухой лес. Про себя подумаю — тебя жаль станет. Ну, да спи-ка, а я подумаю.

С надеждой заснула Феничка, поздно заснула и проспала — к достойной ударили за поздней. Проснулась и вспомнила, что ждать ее после трапезы будет: заторопилась.

Марья Карповна увидала.

— Ты куда собираешься?

— Марья Карповна...

— Не пущу тебя больше,— хоть ты что тут — не пущу я.

— Марья Карповна — на минуточку только, может в последний раз,— глянуть на него хочется.

— Мать приедет сегодня вечером, а на тебя и так глянуть страшно.

— Ей-богу, я на минуточку,— Марья Карповна...

— Ну, ладно, ступай, да смотри, чтоб в последний.

Уходить Феничка стала, остановила ее Марья Карповна...

— Вот что, девка,— приведи-ка ты его ко мне, повидать его нужно, соколика-то этого.

Через монастырь пробежала, через речку мост перешла и к скиту пошла торопливо,— давно и трапеза кончилась, давно ждет, должно быть.

Подле сосны стоял — злился, со злости ногти обкусывал до крови.

Подошла,— спрашивать стал зло:

— Ждать заставляешь,— а то не приду больше, чего опоздала?

— Марья Карповна не пускала.

— Пойдем в лес. Чего она не пускала?

— Знает она.

— Сказала, что ль? Зачем говорила? — я просил же, молчать просил.

В лес вошли,— обнимать его стала, поцеловать хотела.

— Коленька, милый,— может, в последний мы раз видимся.

Обозлился,— испугался, что пропало все, жизнь пропала,— не видать капиталов Гракинских, и оттолкнул Феничку.

— Целоваться-то после будешь,— говори, зачем говорила?

— Она сама догадалась,— по глазам узнала,— потемнели они от этого, вот и узнала,— я не подумала, что потемнеть могут, не знала про это.

— Что ж теперь делать? Конец, значит?

— Коленька, милый, поцелуй меня,— может, еще не конец,— ну, поцелуй, только раз поцелуй. Марья Карповна добрая, она поможет мне. Не верю я, что в последний мы раз видимся, и боюсь все-таки, а вдруг в самом деле последний?..

— Зачем говорить надо было,— просил кто?!

Поцеловал ее жестко, от злости сдавил всю, даже больно Феничке стало.

Никогда я тебя не забуду, Коленька,— никогда...

— Пойдем в лес, а то некогда мне сегодня долго гулять с тобою...

Жалась к нему ласково, ласки ждала последней, от любви плакала, а он только поглядывал зло и нехотя целовал, чтоб не плакала больно. А потом мысль у него мелькнула, что, может, в последний раз в самом деле и не придется побыть с нею больше, а другую не сразу найдешь, только ходить надо, пока своего добьешься, и стал целовать ее жадно и зло с досады, что надеялся только на жизнь хорошую, и ничего не вышло из этого, только мечтал зря, зло целовал, жадно, впивался до боли в губы Феничке, пока опять голова не пошла у ней кругом, пока сама не позвала, пока сама просить ласки не стала,— ломался, не хотел долго, напоследок хотелось помучить ее, а потом, как и в те разы, утомил бесконечным желанием назло, чтоб ребенок от него остался, пусть после возьмется с ним — зато помнить будут...

Поднялся с хрупкого моха,— сказал:

— Ну, что ж — не приходить, значит, больше, в последний раз видимся?

— Может, и нет, Коленька. Может, еще вместе будем жить, всю жизнь.

— Это как же?

— Тебе Марья Карповна придти к ней со мной велела.

— Зачем это?

— Не знаю, милый — пойдем, Коленька, она добрая, она нам поможет.

Пошел с ней и думал дорогой — идти или нет, а потом и поверил, что, может быть, еще и выйдет что-нибудь, может, и в самом деле устроит она что-нибудь, и опять ласковым стал с Феничкой, обнял даже ее и шептать стал:

— Ты прости мне, что я разозлился,— уж очень обидно мне стало, что и любить-то нельзя нам, а все оттого, что монахом стал, за монаха считают все, а какой я монах?..

Опять утомленная пришла Феничка к Марье Карповне и Николая с собой привела,— та как увидела, так и накинулась на него,— отчитать захотелось его.

— Ты, паскуда, что с девкою сделал, зачем опорочил невинную? — ты думаешь, что монах, так и управы нет на тебя,— живо в Соловки запрячут.

— За этим-то и звали только?

— Ты еще огрызаться смеешь?

— Да вы говорите толком — зачем звали? — Ведь я ее не силком же — спросите! И опять же люблю ее,— жениться на ней хочу.

— Жениться он хочет?.. Да тебя на порог к ним не пустят! Знаешь ты это?

— Из духовного я,— женюсь, архиерей дьякона мне даст — жить будем.

— Ну, чтоб духу твоего тут не было больше, и девку ты мне трогать не смей — не видать тебе ее больше, пока женою не будет тебе,— слышишь, что я говорю тебе? Ты думаешь что? — девку мне жаль, для нее буду стараться, может, и выйдет что,— хоть мать-то у ней и камень, а все-таки мать ей, может и выйдет что, только чтоб духу твоего тут не было, когда нужно будет — сама позову. Дён через пять приходи, когда сама будет — гулять приходи. Да слушай, что я говорить тебе буду: как в обедне поздней стану подле клироса самого, значит приходить гулять нужно. А теперь вон убирайся!..

И зло, и надежда в Николае жили. С досады зашел водки купил по дороге в келию свою, в каморку Михаила позвал:

— Миша, приходи вечером.

— Угостишь, что ли?

— Раздобыл я казенки.

— Разбогател значит,— ладно, приду.

После трапезы вечерней, когда стемнело совсем, Михаил пришел. Огарок зажгли церковный и пить стали, до утра самого пили, закусывали хлебом соленным.

С досадой Николай пил, боялся, что потерял все, всю жизнь потерял, а другой раз разве подвернется такой случай?..

Пьянел медленно...

Михаил на топчан повалился и храпел, всхлипывая, а Николай остатки еще допивал и — когда зазвонили к утрени — повалился на стол и, сползая с табуретки, повалился на пол, стукнувшись головой о топчан.

VI

Феничка и деваться не знает куда, под подушку голову спрятать бы, так и лежать бы, пока гроза не пройдет страшная, и не двинуться, не шелохнуться, до тех пор не шелохнуться, пока не почувствует, что дышать можно воздухом чистым.

Марья Карповна мимо пройдет, поглядит на нее и про себя будто скажет:

— Так-то, Феничка, так-то, а ты думала еще как бывает? Думала — сразу вот в руки дасть тебе счастье-то человеческое! Сама так-то валялась по целым дням... Ты не сплошай только, девонька, когда мать вернется,— может, еще по-хорошему будет все.

Вечером Антонина Кирилловна возвратилась, повидалась с Феничкой и пошла разбирать свертки с припасами.

Наутро Феничка встала и пошла подле дачи погреться на солнышке, только чтоб с матерью не встречаться, не видеться.

Жизнь-то какая кругом Фенички,— теплынь по лесу бродит, ягоду из земли гонит спелую, ветерком подсушивает, алым цветом раскрашивает, так и тянет из лесу ягодой спелой, так и слышится из него переклич бабий, от сосны до сосны прыгающий.

А из лесу идут степенные, с лукошками полными, точно и не рвали в лесу, и не аукались,— с дождем понасыпало ягоду спелую.

— Ягод не надо ли?

— Купите ягодок...

— Сунички купите... све-жая!..

Феничка в платок носовой плетушку высыпала вместе с мать-мачехой, гривенник отдала за них.

Сидит, по одной подбирает помельче. Сперва недозрелые, под конец крупную.

Каждый день выходила на лавочку посидеть, чтоб не видела, не спросила бы мать, отчего невеселая, что задумчивая.

Поглядеть на него, повидаться хотелось — в глаза поглядеть, черные кудри погладить мягкие, поцеловать разочек, а там чтоб пошла голова кругом от поцелуя этого. Думала — мимо пройдет,

издали поглядит на него — сколько дней тут сидит, дожидается — не прошел ни разу — обидно Феничке.

Спать спозаранка ложилась, чтоб лишний раз глазами не встречаться с матерью, боялась, что взглянет она — по глазам узнает, а либо сама себя выдаст,— не выдержит и зальется слезами крупными. И сны она видела странные, снился ей Николай,— идет, будто, по улице подле дома ихнего, а навстречу ему из-за угла Никодим, увидит его Николай и потемнеет весь, а потом, от страха или еще от чего, глаза выпятит и как удавленник посинеет, а Никодим остановится, в упор на него глянет,— от этого взгляда и Николай до синевы темнеет, и глаза на лоб вылезают. Мучили Феничку сны эти,— под утро снились, а утром у ней грудь давило, точно камень лежал с остреями — дышать не давал, и плакать хотелось ей и убежать, чтоб никого не видеть, и мысли вразброд — суетились беспомощно. И о мечтах своих позабыла,— перед сном теперь не думалось о злосчастьях любви отверженной. И Афонька ей снился, и не кудластый, а ежиком путаным волосы острижены в скобку, и опять Николай перед Афонькою багровел и синел, и глаза выкатывал. Проснется она, и ясно вспоминается прошлогоднее лето, когда она с Марьей Карповной и с Афонькой подле мельницы монастырской у озера дожидались лодку с катающимися,— и почему-то теперь вспоминается Феничке, как Афонька хотел все за руки ее взять — она только смеялась, была еще девочка и не понимала, не чувствовала, зачем Афонька брал ее выше локтя, брал выше локтя потому, что она прятала назади их и прислонялась к Марье Карповне, — брал Афонька их выше локтя и перехватывал с двух сторон, наклоняясь к ее груди, к лицу почти, и до сих пор она помнила запах от подрясника, от волос его и дыхания: смешанный запах свечей восковых затушенных, ладана, масла лампадного и черного хлеба с луком своим, и когда брал он ее за руки — чувствовала, как сползают, щекоча, широкие ладони грубые по локтям и берут за кисти и стараются расщепить цепкие пальцы ее,— помнит, как смеялась она — и смешно было, и щекотно, и Марья Карповна тоже смеялась, потому что когда его руки за спиной были Феничкиной, то будто нечаянно касалось и ее около бедер и щекотали до нервности, от которой по всему телу дрожь разбегалась хохотом. И когда Афонька почти рознял руки Феничкины — к мельнице подходили катавшиеся, Николай подошел — красота послушник, и Афонька, и Феничка, и Марья Карповна, покрасневшие от возни и хохота, застыдились как-то. Тут-то и Афонька, чтоб как-нибудь вывернуться, подозвал Николая и с Феничкой познакомил. Запомнился Феничке с

того раза Николай черноглазый. Не пошел он знакомых молельщиков своих провожать, остался подле Фенички и, не говоря ни слова, выгреб корцом воду из лодки, выбросил стебли лилий, ряски, травы болотной и позвал Афоньку с Феничкой и Галкиной, и почти ничего не говорил все время, а только поглядывал с улыбочкой хитрой на Феничку, отчего та все время краснела и старалась с Афонькой говорить,— ясно ей вспоминается эта встреча с Николаем, с этой встречи и Николай стал ходить к ним с Афонькою, и ей было приятно встречаться с ним, глядел на его красу иноческую. Сама она не знала почему, когда сны ей жуткие снились — вспоминался и тот день солнечный, и первая встреча с Николкою. Давило ей грудь мучительно невысказанным, боялась она матери высказать и любовь свою к Николаю, и, главное, о том, что в омуте она неизжитого и зовущего, и безысходного.

Ждала Феничка по утрам на скамейке подле монастырской дачки, что пройдет Николай, пройдет обязательно, и мучилась, и страдала, и боялась на глаза попасться матери. Одна только Марья Карповна знала, каково Феничке, да все караулила удобные минутки поговорить с Гракиной. В один день и решилась после обеда минутку урвать, а вышло так, что Николай сам поведал о любви своей матери, руки у ней просил Феничкиной. Может, этим все дело испортил, не дождавшись условленного с Галкиной, может, и дождался бы, да приятель ему совет добрый дал самому пойти к Гракиной.

Угостил Николай Михаила вечером как-то за услугу дружескую и решил пойти проведать Афоньку, приятеля своего. Пришел к нему выпивши да еще и с собою принес полбутылки.

Подле прихожей игуменской каморка была, вроде кладовушки, с окном слуховым в сад монастырский, в этой каморке Афонька отлеживался с носом забинтованным и тоже о Феничке думал. Сколько времени не показывался он в монастыре, боялся, что братия разузнает правду — засмеет его, а тогда не только в этом году, но и в будущем стыдно ему показаться к дачникам, и отлеживался целыми днями в каморке полутемной, и целые дни, чтоб скучно не было, мух ловил, спать ему не дававших,— в коробку их из-под мармелада дешевенького складывал по счету и угольком на стенке изо дня в день число записывал.

Перед вечером только спокойно от мух ему,— лежит, закрывши глаза, подремывает и с какою-то злобой притупленной рисует себе Николку, как тот Феничку в лес повел и как он ей про любовь нашептывает — берет ее исподволь и как только дойдет до того момента, когда Николка кладет ее на траву, так и зайдет у него

серди злобою. Досадует, что пришлось уступить ее Николаю, может, и не уступил бы, да куда показаться с рассеченным носом, и ждал, что, может, придет кто сказать ему новости про Феничку с Николаем — подглядит, может, кто за ними в лесу из послушников и расскажет.

Не мог он забыть того дня, когда прошлым летом подле мельницы на бревнах играл с Феничкой, дразня Галкину: до сих пор и дыхание ее чувствует, антоновскими яблоками пахнувшее, и запах волос и кожи вдыхает, как аромат вина крепкого, только сердце ухает в пустоту, как вспомнит, что не ему вино это выпить крепкое, а Николке жадному.

И теперь он лежит перед вечером, про Николку думал, а вошел он — обрадовался Афонька.

— Мириться к тебе пришел, Афонь,— теперь бы и тебе уступил ее, коли б знал, что ничего не выйдет из этого.

Афонька обрадовался, даже подумал, что не удалось Николке взять Феничку,— любопытно стало расспросил его, и с насмешечкой встретил его по-приятельски.

— Не дается тебе,— ну девка, а я думал — уж ты того — сколупнул ей печаточку.

И засмеялся смешком дробным, и смешок-то бы тихенький, затаенный.

Николка насупился, не ответил Афоньке и молча на деревянный ящик сел из-под свечей и стал казенную посуду доставать из кармана.

— Тоска у меня, Афонь,— такая тоска... давай с тоски выпьем, не знаю сам, что и делать теперь.

— Эка невидаль — не далась, другую найди, только меня из-за ней изуродовал — показаться куда — засмеют наши; игумен — и тот насчет этого, что я об камень в реке разбил,— не верит, слышал, должно, кто-нибудь, когда мы с тобой шумели — донес Савве. Ты вот про Феничку расскажи мне, про нее знать хочется. А что водчонки принес — спасибо, давно я не пил зелья этого.

Откупорил ее по-мужицки Афонька — об ладонь толкнул — пробка вылетела, пригубил, сощурившись.

— Так я, Никол, полежу,— одурел я тут, а ты рассказывай, по порядку, значит.

— Да что говорить-то?!. Ягодки-то я собирал с нею, один на один собирал, и того, значит, было, как полагается,— не девка, а что твоя казенка белоголовая, дух от нее заходится...

— Значит печать сколупнул? Ну, говори, что ль?

— Обабил ее...

— Ну?

— Вот тебе и ну. Она это в рев — утешил ее... Люби она — веревки из нее вить можно, да только проболталась она, Галкиной рассказала, ничего не выйдет. Я тебе, Афонь, по секрету, никому что — ни-ни...

Крякнул Афонька, привстал даже, на локоть оперся и впился глазами в Николку — сверля его до нутра, точно хотел знать больше того, что за словами Николки таится в душе темной.

— Испугалась она, насчет ребеночка сказала, а мне и приди в голову, чтоб и взаправду он был, забрюхатила чтоб, тогда, может, верней будет, отдадут, может. Просил я ее про любовь нашу не говорить никому, а баба-то и узнала у ней по глазам, дока она — сразу разглядела глаза, та и не выдержала — девчонка! — испугалась и в слезы. Галкина вызывала меня, напустилась сперва, под конец только помочь обещала.

— Эта поможет — дожидайся! Отвязаться она от тебя хочет. Не верь ей. Как кошка блудлива, а такие, брат, ничего не сделают, напортят только...

И по-дружески будто Афонька говорить стал приятелю, наклонился к нему, шепотком, а у самого огоньки в глазах бегали злые — в темноте разглядеть не мог Николай огоньки эти в глазах прищуренных. Нарочно и посоветовал:

— Самому, Николай, нужно это дело обделать, не верь Галкиной, брехло баба, а ты после обедни, что ль, али подкарауль где, да и подойди к ней, к самой, к Гракиной, и расскажи, как на духу ей сознайся — разжалобить ее надо, только б разжалобить, а тогда и крой сразу, что де Феничка, дочь ваша, жена мне, а я-де мужем ей буду, и теперь муж.

— С чего же я начну говорить с ней? Ай сразу, что ль?

— Тебя-то учить с чего начинать?! Да хоть бы с того — разукрась ей житье прежнее и о будущем воспари ввысь, а потом и вали — выкладывай. А Галкиной этой — тебя замануть только, поводить за нос, а там и — свищи — лови, когда след простынет — уедут, и Фенички не видать.

— А правду ты говоришь? По-честному?!

— Я тебя, Николай, тож спрошу... Друг ты мне или нет?! Коли друг — верить должен. Ты не смотри что подрались мы, мало ли что бывает между приятелями... Лютость во мне говорила, взревновал я — уступить не хотел. Как другу тебе говорю, к самой ты ступай.

До плеча дотронулся даже, в глаза ему заглянул глазами окаменевшими, и поверил ему Николай. Караулить стал Антонину Кирилловну — два дня бегал: то в скит, то к елке царственной, то на

дальний колодезь основателя пустыни, то на пустыньку — во все места, куда дачники ходили прогуливаться, на трапезу не ходил, на братию не глядел. Обманывался сколько раз, покажете ему — идет Гракина, между сосен не распознать сразу и давай бежать напрямик — потом остановится и зашагает к ней, подходить станет, раздосадует и опять назад.

Два дня ходил — отыскивал, и два дня тревожился о мечтах своих,— боялся, что уплывут от него капиталы Гракинские вместе с Феничкой, уж очень пожить ему захотелось, деньжонок скопить — к своим двугривенничкам прибавить да и в банк — процентики получать, и не на Гракинские капиталы — на Предтечинские, не бегать за ними, как за ложками — сами к тебе пожалуют с уважением да с почетом.

Один раз побежал после трапезы на пустыньку глянуть — нет ли, — через Свинь по лавам с полотенчиком идет Гракина — прохлаждается, испулавшись.

Разулыбалась ему издали.

— К нам отчего не заходите, отец Николай?

Сама начала первая.

— Погулять бы куда нас сводили...

— Хотел я, было, Антонина Кирилловна, об одном деле поговорить с вами.

Сразу начал Николка — решился.

— Не успею сказать, назад бы немножко вернуться... а мне бы хотелось сейчас, а то в другой раз не решусь я...

Нахмурился Николай, точно слова изнутри выжимал каменные.

В закатник дубовый повернули, насторожилась Гракина будто предчувствовала — пытливо ему в глаза заглядывала.

— Я как матери вам, как на духу — до капельки. Мать-то в гробу лежит и отца нету — сказать некому, так я вам. Из духовного я: деды, прадеды — протопопами благочиннили, а мой-то родитель — в бедности, горели два раза, оправиться не могли, тут и мать померла...

Задумался Николай, сломал ветку сухую, обламывал, сучки обгрызал и остановился, запутался, не знал, какие слова подобрать; точно суковинки изо рта сплевывал, точно они ему говорить мешали.

— Один ведь я, Антонина Кирилловна, один. Не по своей воле в монастырь пошел, епископ послал, службу учить велено, место мне обещал дать, а я-то тут сколько годов...— на восемнадцатом я пришел, и как в прорву, восемь лет в прорву. Не монах я... В болото попал, трясину,— не выдерешься из ней. Все в прорву...

Ничего понять не могла Гракина — тревожно стало ей, думала, что просить ее хочет о чем-нибудь, либо в любви ей признаться, не про Феничку, а ей, вдове, молодой вдове — пожалела чтоб. И в самом деле жалко ей стало, видела ведь, что мучается человек, и не то, чтобы любовь, а жалость, бабья жалость, руку ему на плечо положила, сказала слово душевное.

— Ну да что у вас, что?! — пододвинулась даже,— говорите!..

— Феничку я люблю, уж так я люблю ее, Антонина Кирилловна...

Не положила бы руку на плечо — не сказал бы ей, а тут, точно дух перевел, вздохнул как-то всем телом и выпалил, и понес, как сорвавшись, боялся, что перебьет, говорить не даст. И о капиталах не думал, оттого и не думал, что говорить было трудно, а говорил искренно, может, во всю жизнь так искренно говорил Николка только один раз, покоя ему захотелось, от суеты монастырской отдохнуть потянуло.

Точно в промерзшем окне заиндевелом свет прорвался, и душу страдную на свет потянуло...

Гракина глаза удивленно на него вскинула, свет от зрачков его в ее брызнул и в сердце упал холодное и заледенел, камнем лег и от тяжести своей дыхание ей прервал. Молчала она, и глаза молчали холодные.

— С прошлого года покою себе не знал нигде, всю зиму во сне до весны снились косы ее да глаза. Дождаться не мог приезда вашего, дождался — сам я не свой хожу. Антонина Кирилловна, я бы сан принял, епископа попросить — место в городе даст,— на руках бы носил, и не нужно бы ничего было, только б Феничку. Нет, вы подождите, дайте сказать мне, я ведь сам знаю — монах, потаскун, дармоед,— молиться?.. Да может я и молиться бы научился в миру, а тут — жадность одна, мирская зависть. С прошлого лета я...

— Учиться ей надо, а не замуж...

— Антонина Кирилловна, ученье-то ей ни к чему это потому любовь-то человеку важней всего, а ведь она...

— Девчонка!

— Коли б она не любила меня, а то ведь она любит, сказала, сама сказала, что всю жизнь любить будет, не томите вы нас...

— Сказала?.. Когда?!

— Да вот вы уезжали тут, без вас и сказала, катались мы, на лодке катались по озеру вдвоем!..

— Вдвоем?

— Ведь я как на духу теперь перед вами,— женой обещала быть, на всю жизнь, мне и капиталов не нужно..

Так вот и сказал Николка — капиталов не нужно, побоялся, что подумала Гракина — на капиталы польстился, и сказал, и передернуло Антонину Кирилловну от этих слов, потому с выкриком она вырвалась у Николки.

— Антонина Кирилловна, как жену полюбил и ребеночка, ежели будет, и его буду любить,— один ведь я, один и больше ее никого и на свете нет у меня теперь. Ведь жена она мне, перед богом жена, Феничка, до смерти. На всю жизнь жена...

Как щебень с горы дребезжали слова его в душе Гракиной, как лавина какая давила ей голову, и руки, отяжелев, опустились.

— Жена?..

И не смотря на него — с ужасом и на ты:

— Так ты ее погубил?! Посмел?

— От любви я, не силком, как на духу вам, как матери, теперь и я вам как сын, по-честному жить...

— По-честному?! Честь погубил?.. Феничку?.. Посмел? Ты?

Не взглянула, повернулась, перед глазами темно было, шатало всю — шла молча.

Вдогонку Николай, как пес, скулил жалобно:

— Как матери, как на духу я... Антонина Кирилловна — на всю жизнь, счастье ведь, ее счастье, наше... отдайте Феничку.

Обернулась она, и как прорвалось что, в пропасть ухнуло:

— Мерзавец! Слышишь ты,— мерзавец! Думаешь, грозиться буду? Жаловаться к игумену, к архиерею пойду?.. Жениться он!.. Сан принять. Без капиталов ему Феничку! Плюну я тебе в богомазную харю, и все тут.

И плюнула, глаза обдала слюною горькою и ушла опять.

Стоял Николай, думал, что кончено — теперь кончено. Не мать — камень. Не человек — зверь. Жадность лютая. Испугалась за капиталы свои, и в закоулке только где-то в мозгу мелькнуло: а все-таки хорошо, что не будет жаловаться, и опять досада сверлила,— как на духу ей — всю душу, а она — мерзавец. Плюнула, в глаза плюнула.

Глаза протирал подрясником и от обиды стал злобствовать,— на траву лег, с корнями горстью выдергивал, отшвыривал. Зрачки загорались насмешкою, веки ширились.

Заскрипела мысль злобою.

— Пускай-ка теперь замуж ее выдаст?! Таковую-то муж бить будет, — пускай-ка она ее на мученье отдаст. Пускай-ка, пускай! Она выдаст — капиталы помогут. За капиталы и бить не будет.

Думал, лежал, злобствовал, сам себя тешил словами злобными, а в душе все время скребло...

— Кончено. Вся жизнь кончена. Не удалось мне.

До вечера пролежал, дотемна и, крадучись через конский двор, по задкам к Афоньке, и всю ночь пили горькую. Афонька с топчана встал, приятелю место свое уступил, уложил пьяненького, сам на полу подле топчана на зимнем подряснике развалился и радовался, что совет добрый дал.

Как в бреду просыпался Николка и с икотою, со слезами пьяными бормотал, захлебываясь:

— В глаза плюнула... На духу я ей — в глаза прямо. Оплевала всего. Отмыть бы... Афонь, отмыть надо,— плюнула, мерзавцем меня, а я ей душу всю, понимаешь ты — душу, а она плюнула. Как матери ей,— мать плюнула. Это она в нее, в Феничку...

Распочал Николка двугривеннички, с Афонькою, с приятелем, запил горькую.

А Гракина не помнила, как к даче пришла, и где шла, не помнила — не в себе вошла в комнату,— клокотало в ней все, только голос был ледяной, жесткий и слова от горя жесткие.

Марья Карповна с Феничкой чай пили с просфорками с земляничкой.

Взглянула Галкина — поняла сразу все, приготовилась.

— Ты что это? Говори? Ну?!

Вплотную подошла к Феничке.

Заколотилось сердце у девки, руки похолодели — пот выступил.

— Выгоню паскудную. Спуталась! Говори — где?

И шепотом — голос пропал от страха:

— Маменька... маменька...

— Целовал тебя?

— Целовал...

— А еще что? Насильничал? Нет?! Сама! Ай не знаешь, что бывает от этого? Лишил невинности, говори!

— Сама я, люблю...

— Да ты еще отбрехиваться?!

И по щекам, по обеим, обеими руками ее, размашисто, так что голова покачивалась из стороны в сторону. Загорелись щеки быстро, слезы брызнули, по щекам потекли градом и к ладоням налипали материным. Галкина из-за стола вскочила, бросилась отнимать Феничку.

— Не смей ее бить, не смей, не дам я — не смей. Ты меня лучше, меня. Моя вина, с меня спрашивай. Меня бей.

Над столом руками закрылась Феничка, чай остывший с земляникой размятой пролила на стол с блюда, и по скатерти ручейки красок расплескались пятнами, точно слезы кровавые на стол падали от содроганий, от всхлипов Феничкиных.

Отошла Гракина, побоями облегчила душу свою, и безнадежно, без слез, каменно:

— Уберечь не смогла девушку... Тебе бы путаться с ними. За тем и едешь. Моя вина, сама знаю, что моя. Понадеялась. А с нею что делать, а? К бабкам водить плод вытравлять, в Москву отвозить — будто гостить к тетушкам. Все равно ведь не спрячешь, не зашьет прореху. Деньгами грех покрывать. Тоже жених отыскался. В глаза ему плюнула, жениху этому. Протопопом быть хочет на капиталы наши. Не первую он ее. Не видать ему капиталов наших и девки ему не видать больше. Как добрый, подошел говорить о деле.

— Да ты на меня погляди, меня тож силком выдали — грех покрыли. Сама знаешь, как... Отдай ты ее. Любит ее, пускай любит. Приказчик у нас был, любилися... Помнишь ведь, Тоня — сама надо мной разливалась, как братцы мои в чулане его придушили. Слышала я, охал Вася-то, всю ночь охал. Кончили б лучше, сразу б кончили, а то все почки отбили ему, а потом в беспамятстве во двор зимой выбросили. В месяц зачах. Выдали — потом выдали. Слезу проливали, что Вася-то мой помирает,— убийцы! Так ты не губи свою, слышь, не губи, Тоня. Меня тож вот старику отдали,— измучает, разбередит всю, а не может от старости... так до утра-то и пролежишь затомленная, только подушку вымочишь всю. А утром попрекать — почему в невинности не пришла к нему, за всю жизнь свою радости не видала. Хоть бы слово сказал ласковое! Кроме попрека-то весь век от него ничего не слышала. Тело-то что, его утолить можно, а вот душу-то, ее ничем не утолишь, душа мается. Ты не смотри, что я лясы точу, да с чужими баблюсь, не от радости я, а как пьяница, запой у меня такой бабий,— у других по-иному, а у меня свой запой, душу мне утопить хочется, чтоб не помнила ни о чем она в грехе прародительском. Отдай ты ее — пусть любятся. Жить-то один раз... Сама знаю, что моя вина, меня казни. Сама приезжаю сюда... Молиться, что ль?.. Тело свое утолить. Мать ты ей или мачеха?.. Молодого найдешь — бить будет.

И замолчала Галкина. Всю правду свою рассказала и умолкла.

Феничка тихо над столом всхлипывала, слипались глаза от слез, и не плакала, а текли они по щекам сами на рукавчики мокрые.

Поднялась Гракина и вслух высказала решенное:

— Завтра уедем мы! Там видно будет...

Без Галкиной Антонина Кирилловна с дочерью собралась наспех, на станции из вагона крикнула:

— Напишу тебе... Видно будет!.. Оставайся тут.

VII

Осталась Галкина душу свою толить смрадную.

К обедне пошла, подле клироса стала, как с Николкою уговаривалась.

Еле дожидаться могла, когда обедню кончат, сердце от радости екало.

Кудрями тряхнул, обежал с солеи после креста,— к Галкиной.

— Твоя-то краля уехала, мать увезла сегодня с первым.

Глаза на нее выпучил.

— Да ты постой, погоди,— с братьями говорить будет, отдадут еще, может писать будет, заходи узнавать.

К приятелю побежал, к Афоньке, выслушал тот заспанный, и стали решать, судить да рядить. Афонька и вправду подумал, что выгорит у приятеля дельце начисто, призадумался, как ему быть, не в монастыре же вековать до старости.

— Никол, я с тобой пойду к Галкиной, обещал же ты не забыть меня, на хлеба взять вольные, может, и у меня что выйдет — попробую.

А сам думал, что помрет же старик Галкин, еще в прошлом году говорила, что недолго ждать; полюбила б только. Я уж ей по совести ужожу. Сколько их уезжало плакало, только допнуться, а там сама не отстанет да еще и полюбит, тогда все, что хочешь, делай. Недолго ведь старику чужой век заживать, что ль, а не то и попасть чем можно — очочурится.

И Николке сказал:

— Недолго проживет старый и на мой век ее хватит. Так, что ли? Так ты заходи, делать так вместе, вместе и поедem в губернский к ним.

И только в глубине где-то (и не мысль даже, а так, вроде тумана будто) в голове полезло бессознательно,— к Феничке ближе. Ходить к нему буду, к приятелю, другу милому. Забыть того не могу, как на бревнах руки ее ловил, и будто невзначай Николаю сказал, чтоб рассеять у него подозрение, что не к Феничке он приставал, а заигрывал с Галкиной,— на будущее время рассеять хотел подозрение у приятеля и сказал:

— Помнишь, как в первый раз еще, когда ты с Феничкой познакомился, я и тогда начал гулять за Галкиной.

Только мысль скреблась тайная, точила ему сердце как мышь, по капельке да по капельке и камень не выдержит, не то что сердце молодой бабенки, и подточу я у Фенички в свое время сердечко словами ласковыми. И приятелю невдомек будет, потому жить буду Галкиной — в нос не клюнет, вот как... А Феничка-то должно ласковая, полюбит кого, что хочешь делай.

Уговорились приятели дело обделать, чтоб комар не подточил носу, и Мишку отшить условились по-келейному. И на горбину с пробоиной не поглядел Афонька рыжий, пошел к Галкиной. Не с первого чаепития начал купчиху ласкать, а полегонечку. Первые разы и Николка сидел вместе, только больше молчал, пригорюнившись, опечаленного из себя разыгрывал, утешения ждал — помощи.

Потом и письма приходил писать к Галкиной.

И не в ящик просил бросать, что подле двора конского на столбе сосновом прибит, а на руки ему отдавать, потому соблазняется братия житием мирским богомольцев и дачников и не то, что открыточки, а и клапаны у конвертов открывает искусно и прочитывает над огарком рукописание о делах и делишках, о любви многоскорбной и радостной и за особую плату и докладывает почтарь, кому из братии знать полагается, для провидения чудотворного во врачевание душ уловляемых. Спокон века заведено так,— а игумену, как на духу, почтарь рассказывает с подробностями.

На станцию Николай бегал с письмами к почтовому, четыре версты гонял по болоту (боялся, что по дороге встретит еще кого — расспросы начнутся, тогда не открутишься) и дожидал не на станции (собственно не станция была, полустанок с одним подъездом, а называли станцией), а на противоположной стороне за щитами прятался; подойдет почтовый, вынырнет Николай, перескочит через площадку, письмо бросит в вагон — и назад: в суете незаметно было, мало ли по каким делам к поезду приходит братия. Отсидится в лесу, пока линейки монастырские не уедут с гостями, и опять лесом.

Один раз и ответа дождался, Антонина Кирилловна писала Галкиной:

«Машенька, друг мой, и делать не знаю что. Заговорила о Феничке с Алексеем, говорит, подожди Кирилла, старшего. Он и ученый у нас, и старший, и дела он ведет наши,— как он скажет. И ждать-то не знаю сколько, потому с весны уехал он в Англию по делам нашим, на будущий год пеньку запродать хочет и машины собирается привезти шпагатные — сам выпускать фабрикат хочет,

писал, что к Успенью будет. Хоть бы божия мать мне помогла. С Фенькой и делать не знаю что: целые дни молчит, ходит, в рот ничего не берет, говорит — тошнит ее, не идет пища в рот, воротит ее от всего. Не забеременела ли? Вот беда! Полюбился он ей, что ли, вправду?! Я уж, на нее глядя, на все согласна, да без брата, сама знаешь, не могу решить. Он хоть и по-новому все: и машины там, и фабрики, а как что — на старинку поглядывает. Ты поругай его, Николая-то: и девчонку, и меня измучил он».

И не на конский двор, не по адресу монастырскому ответ пришел, а на станцию — «до востребования». Шкапчик висел подле билетной кассы, зашнурованный проволокою, и ключик хранился от него у начальника, почтарь монастырский поглядит на письма, зубами пощелкает, а достать нельзя — дудки-с. Потому и написано было Галкиной по станционному адресу. Только и знал, что Николай с Афонькою.

Ответ пришел — зачастил Афонька к Галкиной, опоздать боялся, не прозевать окрутить бабенку лютую: потихонечку, полегонечку, с подходцем — возрыдал, заплакался о счастье земном и не то, чтобы разжалобил слабость женскую,— а решилась Галкина закон преступить с иноком в послушании, напослед, перед отъездом,— недаром же прошлое лето за ней гулял. Мишка-то был от веселости невоздержанной, утолить с ним душу хотела и утолила, и не свою, а девичью, неповинную, а теперь в смятении горестном не только на весь год, до весны новой, а на всю жизнь зарекалась она не ездить в монастырь каяться, а согрешить перед святынею и закаяться, зарок дать в обители. Еще и потому напослед и в последний хотела, что точил ее червячок тайный,— на всю губернию среди купчих славился могутой неутомимой Афонька послушник,— любопытно было на Афоньке зарок дать. Тот возрыдал, заплакался, а она и поддалась будто, и пожалела его рыжевласого и не только душу свою утолила, но и сама утопла, на всю жизнь погрузилась в бездонное.

Через неделю домой собиралась, да и запоздала на две.

День за днем, да капля за каплей долбил ей Афонька, мозг заволакивал.

— Машенька, я бы последним дворником к тебе пошел, лишь бы с тобой быть, на тебя глядеть и не то что за деньги служить, а, как Лазарь, питался бы в конуре с собакою, а работал бы — старику твоему угождал вот как!..

— Боюсь я, Афонечка, боюсь, милый — у старика глаз острый, чутьем чует...

От нежности растомленная Афонечкой звала и рыжие кудри гладила, в лесу лежа на мху бархатном, а у самой екало сердце думую,— а может и можно... Страшно: придушит Касьян и кончено. Сонную и придушит. А хорошо-то как с ним... Голова кругом. Попробовать разве?

И не выдержала — сказала:

— В чайную чем-нибудь, половым, что ли?

— За хлеб буду жить, только видеться.

А в нутре говорило ему,— подле Фенички буду. Придет она, непременно придет к Галкиной, а придет — и начну с этою.

Сам и уговорил потом Марью Карповну поехать, самой помочь Николаю, приятелю.

Напослед, как прощались, шептала ему и голос дрожал от страха, потому знала, что предает старика своего, мужа, нелюбимого пусть — зато пред господом, перед людьми всеми — обрекаю его и себя на муку вечную.

— Придешь наниматься к нему — говори, что в миру соблюсти лик ангельский послушания монастырского больший подвиг, чем в пустыню от людей скрыться. Угодишь ему — говори так-то. Это его слова. Он говорит, что в миру соблюсти себя от соблазна во сто крат тяжелей, чем в монастыре-то. Ты вот устой перед соблазнами, творя молитву иноческую — и слава, и честь тебе. Говори, Афонечка, что потрудиться хочешь. Угодишь ему — сидельцем в трактир поставит, доверенным человеком будешь, и никаким наветам не будет верить, а тогда мы вольные будем. Николаю устрою я, с ним и приезжай вместе.

Как зачумленная поехала Марья Карповна к Гракиной.

Стали приятели в путь готовиться.

Николка с утра до вечера ектеньи зудил: и про себя, и вслух, и нараспев по-дьяконски, измусолил требник весь — готовился.

По всей обители разнеслось:

— Николка в дьякона готовится, на купеческой, на миллионщице женится — плохо не думай.

За трапезу не ходил — смеялась братия, завидовала и смеялась злобно. Пожитки свои собирал, пересматривал,— про долги зимние вспомнил — ходил собирать ложки монашеские. Встретит кого, подойдет и до келии покоя не даст.

— Брать-то вы все мастера, а как отдавать — дудки?!

— Ты же богатей, скоро на перинах валяться будешь, в довольстве жить,— прости ты мне ложки эти, всего я пять штук не отдал тебе.

— А мне-то задаром достались они, деньги-то эти? Ты б сам зарабатывать попробовал их, а то на хлебах монастырских на гульбу только чужие тратить умеете!

— Так и ты ж хлеб монастырский жрал.

— Что я вам дался, что я монах, что ли? — я из духовного звания, а вы сиволапые водохлебы тут, привыкли зажиливать, так и думаете, что и я вам дался такой же!

Женихом его братия звала, дьяконом,— запирается в каморке стал, по целым дням никуда не ходил — выводил только баритоном густым ектении разные, дотемна нараспев выкрикивал. Мимо окон проходили насмешники, Николаю покрикивали:

— Жених, не сорвись смотри...

— Лопнешь!..

— Отец диакон, с натуга воздух испортишь...

Вспомнил, что Васенька должен ложек пять штук,— в окно смотрел, караулил его, упустить боялся блаженного. Увидел его перед вечером раз, навстречу пошел, из келии выйти решился.

Васенька увидал Николая, головой затряс, руками замотал, побежал от него.

— Васенька, подожди!

— Сатана в тебя вонзился,— убегу от тебя, зловоние бесовское от тебя во образе смрада адова на меня нисходит,— камо убежу от тебя, камо пойду от лица сатанинского?

— Ложки отдай, слышишь ты, сволочь вонючая, пять штук отдай!..

— У леса убегу дремучие,— беса вижу в тебе — прилепился он в образе жены-грешницы,— камнями побей ее очи змеиные, вырви уд твой, яко жало змеиное, и спасен будешь.

Кричал Васенька по монастырю сумеречному.

Монахи из келий на крылечки выбежали поглядеть — отчего кричит блаженный Вася, Николку увидели — загалдели сразу:

— Отец дьякон, ошибся малость...

— Это Васенька,— невеста уехала!

Побежали через двор монастырский,— мимо пекарни неслись, Васенька шмыгнул в дверь открытую и запел оттуда:

— Се жених грядет во полунощи,— се жених грядет во полунощи, аки гад бесноватый.

Кулаки сжал Николка, а Васенька дверь прихлопнул, одну щелочку оставил и закричал напослед:

— Бес обуял тя, изгони его, изгони, Николаша,— обретешь рай небесный благодатью божьей...

Не решился в пекарню пойти Николка, кулаков побоялся крепких.
— Ложки отдай, паскуда!

И ушел опять в келию, и опять заперся, а спать ложился — попробовал, одет ли крючок на двери, на окнах задвижки закрыты ли, — боялся, что ночью ограбить придут, в последние дни и придут окаянные.

И в непогоду раннюю в августе, через двор конный крадучись, с котомкою ушел из монастыря Николка с приятелем в губернский к Феничке.

Письмо за два дня до ухода получил от Галкиной, и в письме написано: «Отец Николай, приезжайте, теперь можно — дядя согласен; не один,— с приятелем приезжайте, с отцом Афанасием,— скажите ему — и ему можно».

И написано было Николаю, чтоб не было подозрения в будущем на нее с Афонькою.

Подле станции под щитами товарного дожидали, когда на запасной поставят пропускать курьерский.

За двугривенный на площадке всю ночь тряслись, мокли до самого города.

VIII

Дождалась Гракина братца своего старшего Кирилла Кирилловича и тоже не решалась ему рассказать про напасть-беду, ждала минуты удобной, чтоб под дух попасть.

На Феничку тот глядел, глядел да и заметил неладное с ней.

— Что у тебя, Феня, неразделенная любовь или больна чем?

За обедом спросил. Алексей Кириллович усмехнулся, на сестру глянул и в полусшепот, чтоб слышно было:

— Не могла в монастыре грехов отмолить...

Чуть не заплакала, скраснела девушка.

Антонина Кирилловна:

— Мне с тобой, Кирилл, поговорить нужно.

— Ну, так и есть — влюбилась племяннушка. Значит, на свадьбе гулять?!

Раскурил трубку с табачком душистым, перетерев его меж ладонями, и позвал в кабинет сестрицу.

Антонина Кирилловна, как вошла,— на что камень? — а прямо в слезы и не в бабьи, со всхлипами, а по-мужски заплакала — слеза за слезой из-под век покрасневших падала.

— Садись, говори, Тоня.

В кресло сел, по привычке ладонью по щекам провел — гладко ли выбрит. Спокойно ему рассказать хотела, а вышло вразброд; с одного на другое перескакивала, начала с середины, началом кончила, а про конец забыла:

— На даче в монастыре были. Прошлый год ездили. И опять поехали с Галкиной. Ты ее сам знаешь... С монахами погулять любит, а мне горе. За провизией на три дня домой ездила. Приехали мы — на лодке катались с монахами, один красивый был, молодой. Певчий.

— Ну, и Феня влюбилась в него?.. Это не горе еще, на то она и девчонка!

— Приехать к нам хочет, руки просить.

— Монах? Руки просить Феничкиной?! Ну и потеха.

— Да не это горе, не это, а то, что, понимаешь ты, Галкина не уберегла ее. Сама — в лес гулять, а девчонку оставила. Он и сманил ее покататься на лодке. Женой она ему стала.

— А это вот хуже. Женой монаха!..

— Он из духовного, не монах — послушник. Если б попросить кого — дьякона получить бы мог...

— Феничка — да дьяконица?!

— Так научи, что делать. Любит она его... Понимаешь?..

— Подожди, подумаю...

И опять трубку набивать стал табаком душистым и прищурившись выпускал клубы — думал.

— Вот что не девушка она — плохо, жаль Феню. Милая девушка, фантазерка, а милая.

— Я бы выдала ее за Николая этого, пусть живут. Я напишу ему, пусть приедет.

— Пусть приедет. Интересно поглядеть на претендента из духовного звания в образе инок. Он, что же, семинарию кончил?

— Нет... Из училища. Хороший он...

— Ты сама не влюбилась ли?

— Тебе шутить только. Феня забеременела от него.

— Пусть приедет, посмотрим, а там видно будет. А с Феничкой я сам поговорю.

Улыбался когда — глаза щурились и огоньки загорались от затаенной мысли.

Проводил сестру, в себя улыбнулся, сощурился, провел по щекам ладонями, в кресло сел, ноги вытянул — думал.

Потом встал резко, к столу подошел, и в чековую книжку — десять тысяч вписал, позвонил в контору.

По лестнице стрелой прибежал секретарь снизу.

— Получите завтра и телеграфом «Европейская» Петербург, Михайловская. Техник приедет — поставит машины, до меня не пускать — сам буду. Через десять дней дома. Все. Подождите... Беговые мне заложить. На станции Степан лошадь примет.

И еще написал письмо. Полным титулом.

«Госпоже начальнице Л...ской гимназии.

Моя племянница Гракина к началу занятий явиться не может, ввиду осложнения аппендицита, требующего оперативного вмешательства.

Примите и прочее... К. Дракин».

Веселый из кабинета вышел и на старую половину, где не выходил ладан столетний и паутины дрожат по углам пыльным, а в коридоре от сундуков кованных махоркой с нафталином тянет и шуршат накрахмаленные юбки приживалки последней Евдокии Яковлевны. К Феничкиной подошел комнате.

В комнате белой с голубыми цветочками на обоях, с кисейными занавесочками — тоже с цветочками, в подушку уткнувшись белую, без слез и без мыслей с закрытыми глазами лежала Феничка.

Не отозвалась, когда стучал дядя.

Вошел.

— Ты спишь, Феня?

— Нет, дядя.

— Можно к тебе? Я тебе радость принес.

Приподнялась — золотая коса рассыпалась. Ждала и надеялась — разрешил дядя.

— Я и не знал, что у тебя жених есть. Будь счастлива. Только зачем же не есть, не пить? Фантазерка ты!.. Хочешь кататься?.. На беговых... Вся тоска пройдет, все от ветра захватит. Поедем?

Нерешительно, точно счастьем своему не веря еще, без улыбки, одними заулыбавшимися глазами на дядюшку поглядела. Перекинула косу на плечо и нерешительно также прядь за прядью перебирать стала и быстрее, все быстрее заплетала косу и от движения пальцев вся ожила.

Нежданный гость у ней дядюшка, да еще гость радости. Случалось — катал на беговых ее, да и то случайно, а так чтоб самому приходить — не бывало этого, может обрадовать захотел?

Не верила...

А он подошел, положил на голову руку ласково, пахнущую и табаком английским, и ландышем, и еще прибавил:

— Позволил приехать к тебе.

И про то, что тошнота подступала к горлу тягучая, и про то забыла.

— Надень с горностаем шубку белую... далеко поедem... за город... еще дальше.

Пенька да канаты, мужики да деньги, трепальщики да машины,— а тут вспомнил о родной племяннице.

Антонина Кирилловна из окна глянула — на образ перекрестилась, вздохнула.

И за город на вожжах натянутых, во весь дух — день выпал золотой сентябрьский — дорога накатана...

Между ушами жеребца глядел и говорил, бросал слова коротко,— на ветру хватала:

— Дьяконицей будешь — не придется больше. Духовной особе не полагается. А хорошо,— простор-то какой! Правда?

Сам думал: «Чтоб за монаха отдать?! Никогда! Жадные низкопоклонники. Женится, а там подай деньги».

— Твое золото да к с собою?! Красота! Художнику любоваться...

Мысль своя, как шарманка заведенная.

— Через пять лет о миллиардах мечтать можно... Да чтоб отдать из дела куда? Кому б еще — монаху?! Хочешь портрет свой иметь?.. Знаешь — у меня приятель был, академию кончил — точно поэт — волосы выются, глаза черные... Видела ты когда-нибудь беретку? — Беретку носил бархатную...

— Ни за что. Пусть лучше сама на баловство тратит, причуды выдумает, а выдумать нужно их — в обороте лишние. Молода, не истратит много.

— Дьяконицей будешь — нельзя будет. Наденут тебя салоп, ребят куча,— деньги?.. На них не купишь волю. Ты еще ничего не видела, за морем не была. Хорошо за морем!.. А дьяконицей просидишь весь век под оконушкой. Соборную знаешь? Хороша?! — Твоя участь.

И заскребло, и защемило у Фенички, вспомнила, как Николай злился, когда сказала, что Марья Карповна знает все, и подумала:

— Не посмел ударить тогда.

Сердцем почувствовала, что мог бы, избить мог и может, а мысль допустить не хотела — не верила.

Кирилл Кириллыч свое долбит:

— Мне хочется иметь портрет твой: волосы золотые на меху черном и шелк зеленый.

Фантазировать стал, заманивать и жеребцу отпустил вожжи — пошел шагом взмыленный. Засмеялся весело...

— Давай, Феничка, удерем с тобой.

— Куда, дядя?

— Куда хочешь! В Питер. А?.. Мать будет ждать — пропали. Гонцов посылать — нету. А мы ей телеграмму срочную — в Питере веселимся.

И Феничке показалось с дядей удрать забавно.

— Последний раз ведь. Выйдешь замуж — не пустит муж, сама от ребят никуда не поедешь. Я говорю попросту. Ты, кажется, и теперь не одна. Так едем значит?

На часы посмотрел, подумал:

— За полчаса... доедем к курьерскому.

Понеслись с окриком на прохожих, на мужиков встречных.

Оглядывались, говорили вслед:

— С барышней...

— По-ученому обдирать может.

— Не чета старику.

Не ответила, согласилась Феничка, покорила словам дядиным. Вторым классом укатила в Питер. От езды сумасшедшей, от ветра дух перехватывающего, покачиваясь, заснула и до Твери не встала. И дядюшку закачало с улыбкою, на губах застывшею.

Через Знаменскую под звонки трамвайные на лихаче, по Невскому...

Растерялись глаза в сутолоке,— примолкла Феничка.

В шелках, в обновах — от витрины в театр, с островов в музей — с дядюшкой.

Одно — тошнота мучила.

— Дьяконицей будешь — не увидишь Питера. Я бы на твоём месте отложил свадьбу, подождал бы. Выйдешь за дьякона — на курсы думать нечего. С семнадцати лет и на всю жизнь...

За ужином в зале светлом, на хрусталь с вином щурясь пел дядюшка, подливая и ей розовой влаги, кружившей и путавшей желания, мысли...

— Я тоже, когда студентом был — полюбил простушку, спасибо отец спас — на Кавказ погулять послал. Спасибо ему, говорю. Двадцать лет — молодость,— ни за что б пропал, а тебе семнадцать.

Дернулась, рот зажала платком, убежала в номер — остановить не могла спазмы.

Вернулась к столу побледневшая.

Всю неделю с утра до вечера подтачивал Кирилл Кириллыч мысли Фенички, про курсы ей, про житьё вольное, бесшабашное, про любовь золотую свободную рассказывал, а под конец шепотом:

— Что же, Феня, все-таки будешь дьяконицей?

— Не знаю, дядя, сама не знаю. На курсы мне захотелось теперь, и его-то люблю,— жалко, себя жалко, не любви, а себя. Не умею сказать я...

— А ты отложи свадьбу. Может — ждать будет, а нет — будешь свободная, другого полюбишь, студента встретишь,— со всей России здесь молодость жизнь празднует. Вот если бы твой Николай мог студентом быть?

— Вот Петровский собирался.

— Так у тебя не один!.. Значит, и еще есть кого полюбить. Всегда вспоминается неожиданно и другой человек,— всегда так. Решено значит,— на курсы!..

— Только у меня вот... тошнит все время.

— Я тебе как племяннице, любя, скажу,— хочешь, не будет тошнить, и ничего не будет, понимаешь, ничего, только скажи, что хочешь — я помогу, устрою.

Вырвалось, не думавши, вырвалось:

— Хочу, дядя!

На лихаче, вечером, на Васильевский, в особое заведение для секретных, за две с половиной тысячи, с удобствами, с пансионом полным и не по объявлению газетному, а по предварительной справке у специалиста врача — отвез дядя Феничку.

Поцеловал ее, даже перекрестить хотел, радуясь успешному завершению прогулки в Питер с племянницей и пьяной вишни в шоколаде коробку сунул.

— Через две недели за тобой приеду.

На Николаевской, к скорому, даже английского не купил табаку,— пускать машины новые, о миллиарде мечтать; по дороге послал сестре срочную: «Еду, всё хорошо».

На диване потягивался, не выпуская изо рта трубку, от Москвы в ресторан перешел и опять цифры, вычисления, расчеты и только сердце сильнее стучало...

«На полный капитал разверну дело. Гракинские да дракинские ставить цены на бирже будут. До замужества они должны быть общими, а потом отдам монастырскому дармоеду?.. Одна и пяти процентов с чистого не истратит, а замуж не выйдет,— фантазия только».

Домой прилетел, к сестре прямо, на старую половину, не раздеваясь.

— А Феничка где?

— Оставил в лечебнице. Ты не волнуйся — прекрасно сделают. А любовь, что весенняя птица,— тепло — живет, а помянули края

заморские — улетела осенью и не вспомнит больше. На курсы ей захотелось. Свадьба отложена.

— Как же быть, приедет он, написала я.

— Пускай приезжает, любопытно поговорить с ним.

— Феня-то, Феня как?

— И телом и душой здорова будет — вылечу. Машины поставлены? Алексей — с людьми, я — с машинами. Электричество свое будет,— динамо пустим. За Фенею — сам поеду.

Радовалась Антонина Кирилловна и плакала и от радости, и от горя; матча слушала Евдокию Яковлевну, одевшую траур по любви загубленной: платье черное кашемировое и косынку шелковую и не в накрахмаленной юбке ходила, чтоб не шуршать, не шуметь, не волновать благодетельницу. Вечером шепотком утешала скороговоркою:

— Со всеми бывает, матушка, такая уж жизнь человеческая — от сумы да от беды не давай зарока, а свою беду — выживешь. Не гневайтесь на меня, от всей души я... Такого найдем ей красавца, вроде братца вашего Кирилла Кириллыча,— ученого, питерского. Живучи, как кошки, мы,— сословие женское, уж так живучи!.. Перетерпится — перемелется, мука будет, из этой мучицы бражки наварим, жениха потчевать Феничкина. Не монашка чай, чтоб за инока выходить. Только вот напрасно, моя благодетельница, к доктору ее отвезли — помогают травки — ничего б не было, а то боль-то какую, муку примет, а травка бы безболезненно исцелила девушку. У меня и бабка была на примете,— опытная, по купцам она больше; а все это братец ваш. Ну да бог не без милости. Травкой бы лучше, право...

И без травки настоящей, а положили на стол белый зачавшую в утробе девичьей, прикрутили, распяв теплые ноги ремнями жесткими — не шелохнулась чтоб, не дернулась и вместе с кровью, с слизняком дышавшим душу исполосовали Феничке, из нутра в лохань выплеснули.

Без боязни, покорная шла, не думала, что по-звериному завизжит корчась: точно в душе скребли, выскабливали прокаленной сталью жизнь девичью.

Без кровинки на простынях недвижимая, безучастная: и Николай и Никодим Петровский как призраки мертвецов казались. Соседки шептались:

— Девочка... Измучилась — трех месяцев. Любовь — без жалости. А, может быть, обманом?..

По ночам бредила.

Фельдшерица до утра в головах сидела... По секрету неспавшим рассказывала:

— Дядя привез. Богачи страшные... Миллионы.

— Неужели с дядею?

— Не знаю, ничего не знаю. Только страшные богачи. Должно быть — секрет. Из губернского привезли. Пенькой торгуют...

И целую ночь от скуки судачили — догадки строили, на другую ночь от болтливости про себя, про знакомых рассказывали полупшепотом, а под конец — фельдшерица:

— Знала я пару... В одном доме мы жили... Дверь в дверь... В бедности жили, и я, и они-то тоже... Студент с бесприданницей. Хорошая была девушка, — как девушка была, тихая, такая покорная. Поженились только что. От венца ее привез прямо в эту комнату, — в подвальной жили и сырость была, и темно — окно-то ниже земли, только и видно, как ноги шмыгают по мостовой. Привез от венца — подарочек ей... Кружку ей подарил промываться, в первую же ночь, сам перед этим и воды нагрел и гвоздочек вбил над стенкою. Сама мне рассказывала. Прибежала как-то за горячей водой, а у самой веки красные. Зачем вам, Олечка, вода нужна? И не выдержала, на моей постели выплакалась, да сквозь слезы: милая, Марья Ивановна, не могу я так, понимаете, — не могу больше. Вы женщина, вы поймете, — наболело тут, а сказать некому. Люблю его и не могу больше. По любви выходила, мечтала о жизни, — трудилась бы, только б ребеночка, одного бы. Потом пускай бы всю жизнь как хотела бы, за ребеночка б все позволила. А теперь заставляет меня воду греть, раньше сам... После венца мы пришли в комнату, попили чайку, смотрю — он еще греть воду. И не знала зачем, не понимала я... а как вынул кружку... и тут не поняла сразу, только жутко стало чего-то... Легли мы — ласково, хорошо было, любила ведь я его... А он — я покажу тебе, как надо. И огонь не тушил, при огне — стыдно было, только сперва я стыда не чувствовала — любила его, а когда любишь — нет стыда, а как встал потом... я, говорит, покажу тебе, как надо... Хотела обнять его, приласкаться, заснуть рядышком, а он... сам... и воды перед этим нагрел, и сам... медик. Тут-то только и стыд почувствовала, и противно мне стало, его противно и своей наготы перед ним... Марья Ивановна ведь первую ночь так-то!.. И потом первое время грел сам воду. Как начнет... не раздевалась бы я, ушла бы... А теперь меня заставляет, меня... Перед тем как ложиться — скажет: Оля, воды нагрей; от слов его закаменею вся, люблю, а души нет у меня, из груди он у меня ее смысл дочиста, может и любви теперь никакой нет к нему, и с ним я — пластом лежу и потом —

пластом, как хочешь, сам промывай, если нужно. Только воду теперь сама грею.. Теперь — все равно, воду и самой греть можно... Как мертвая стала. А сегодня вот... у нас керосину нет, греть не на чем, так он к вам послал воды нагреть. Ему все равно!.. Хочу, говорит, любви твоей... И пошла к вам. Не выдержала, не могла больше, вы мне простите, Марья Ивановна... И не плакала уж, заикалась только, когда рассказывала. Я уж ей нагрела воды сама — как собачонка избитая — понесла ее.

Кончила — и тишина темная.

Никто не сказал ни слова.

Задумались...

И еще страшней бред Фенички:

— На край света... Любви недостойн... дворец роскошный... В золотой парче... лилии на воде... Не богатство ищу... Никодим — непреклонная... Ника! Ника... Николай... монах с кудрями... В последний раз — Коля. Поцелуй — в последний! Целовать в саду дивном... соловьи, цветы пышные... Рыцарь мой. Никого нет... и все, все!

Наутро синева в глазах засветилась.

После обхода врач, с пушистой бородой, в пенсне, успокаивая себя, сказал вслух:

— Все хорошо, — был кризис, теперь жить будет.

Вместе с вином по глотку впивала силы — перерождалась.

В приемную вечером за племянницей с пьяными вишнями в коробке бархатной и под платочком шелковым — перстенок с рубином...

Через Васильевский мимо Исаакия по Невскому на бесшумном форде с веселой песенкой рожка шоферского на Михайловскую.

И лукаво, как женщина:

— Дядя, Кирюша — жениху отказать решила, сам только, при вас — хорошо?! Помогать будете?..

— Расцелую, тебя, моя умница. Проси чего хочешь?

— Есть хочу.

За фруктами после ужина оживившаяся:

— Теперь я ненавижу его, за все, за все ненавижу. Мне кажется, что я сама другая стала после этого... А жить буду — хочу жить.

Не договорив, поежилась — ощутила боль пережитую, вспомнила и, качнув головой вверх, точно решила что, весело и с расстановкою:

— А я, дя-дя Кирюша, на курсы по-е-ду... И знаете зачем?.. Жениха найду интересного. А главное — жить буду.

— Теперь ты свободная, твоя воля.

И опять с курьерским — на старую половину к матери, только не под занавески кисейные с цветочками, а под драпри тяжелое в новую комнату с электричеством, поближе к новой половине, на английский манер дядюшки, и не сидеть взаперти монашеской — фантазерской; а звенеть смехом с подругами подле кабинета Кирилла Кириллыча.

IX

На запасных путях на товарной станции, от вокзала за версту с площадки слезли вагона товарного и в темноту между фонарями зажженными стрелок в подрясниках, с котомками, как у странников, пошли к городу.

В чайную, где люд переходный греется.

Афонька вкрадчиво:

— Уж ты, Николай, свои трать.

Пальцами не показывали, а с удивлением поглядывали гости редкие.

Николай озирался, под столом котомку ногой все время щупал. По сторонам глядел, прислушивался.

В семь часов от гудка повалили трепальщики — галдеж подняли:

— Ну-ка мне, человек, чайку, дракинским,— слышь парочку.

Начатый разговор кончали...

— Дела!..

— Привез рыжего, не поймешь ничего, пальцами только тыкает. Смеху с ним.

— А сам укатил опять? За племянницей, значит!.. В Питер?

— Кучер мне сказывал, земляк мой,— велел говорить, ето он жеребца к беговым подать, а самому — на станцию. Да... Ну, хорошо... Ждал я, говорит, ждал — подлетает с барышней. Выскочил, вожжи бросил, ссадил Феклу Тимофеевну (как перышко на руках поднял), на землю поставил. Носильщики ето ему шапки долой,— на чай дает хорошо, и на ходу из кармана сотенную и — два, второй, в Питер. Мне ето антиресно, чего дальше будет. Укатали — увез барышню. Потом говорит, сказывала мне одна женщина,— сестрица-то его, благодетельствует, по старинке,— так ето Евдокия Яковлевна и сказывала, как отвозил я ее в шарабанчике в монастырь девичий,— спрашиваю, говорит, куда ж это барышня-то, Фекла Тимофеевна, с дядюшкой укатила, зачем же в Питер-то, и сказала она мне по секрету — лечиться будто, операцию делать — пиндицит резать, с лета ещё привезла, как в монастыре гостила с мамашей, да с

Галкиной, с купчихою. А он и спроси,— какой же это такой пиндицит, — мешаночка-то его, Евдокия Яковлевна, с улыбочкой ему,— какой от вашего брата у девушек неразумных пиндицит бывает,— знамо какой — скидывать будет в Питере.

— Ну, и дядюшка,— до всего мастер.

Афонька прислушался, Николая ногой под столом поталкивал.

— Слышишь?

— Уехала, слышу.

— Как же ты теперь?

— «Сама» писала приезжать мне, пойду.

— Ты расспроси-ка у этих,— может, еще что знают, чтобы наперед знал, что говорить нужно.

Николка и стал приглядываться, в упор смотреть на трепальщиков, и те на него уставились.

Тех все равно кто подталкивал заговорить с монахами.

— Вы что за отцы, по какому делу? Откуда, а?

— Из пустыни...

— То-то у вас проходу нет честным девушкам! Уж не вы ли так-то купеческих дочерей в грех вводите?

Да на всю чайную, так что все уставились на Николку с Афонькою. Не ждали они — скраснели. Николай даже за котомку свою ухватился; соседи и это приметили.

Загототала чайная.

— Да ты, отец, не спеши, Расскажи-ка про подвиги?!. А?! Как было дело с Гракиной. Ну-ка!

Николай Афоньку толкал, шептал встревоженный:

— Пойдем, как бы чего не вышло — народ аховый,— пойдем, Афонь?

И не дождавшись — котомку схватил — и к двери. Половой за ним:

— Отец, а платить-то,— забыл, что ли?..

Кричали трепальщики:

— Перепугался маленько, пущай идет, заплатим.

Еле из дверей выскочил, улюлюкали вслед хохотом.

За угол повернули — а деваться некуда.

В мелочной лавочке спросили, где переночевать можно. На вдову казали на Ситной.

Николай до утра не заснул — не мог понять, отчего же это Феничка в Питер уехала,— духом пал.

— Неужели не отдадут?!. А звала!.. Писала — брат согласен,— взял да и увез ее. Как же так? Ждала и уехала. И насчет ребеночка тоже — операция.

Высчитывать стал — сколько месяцев, и решил, что трех нельзя скинуть. Сам не знал, отчего решил так,— для успокоения, должно быть.

И чаю не пил — побежал к Гракиной и не с парадного, а во двор вошел и по сторонам стал оглядывать.

И опять навстречу трепальщик, что вчера в чайной его на смех поднял.

Как к знакомому подошел.

— Здорово, отец,— ты что?

— По делу мне, к Антонине Кирилловне.

— Уж и в самом деле — не ты ли? Смотри, отец!.. Вчера это к слову пришлось, а ты и вот он, точно накликал тебе. Ты б с главного, а? Верней будет. А барышни-то нету нашей... Да ты что, как воды в рот набрал! Не то ребят позову,— поглядим кто такой.

Задом пятится Николай к воротам и слышит, как на резинках подъезжает кто-то.

Разулыбался мужик, замолчал, шапку скинул. Оглянулся Николай — Феничка: шапка соболья, шубка белая,— задрожало сердце.

И, не боясь уже трепальщика, навстречу к ней, как к знакомой, как к своей, к близкой.

— Фекла Тимофеевна, здравствуйте,— а я к вам!..

— Дядя Кирюша, это отец Николай...

— Очень приятно встретиться. Значит, приехали?..

И от безнадежности, нерешительности — к нахальству развязному — напропалую — напролом — будь что будет — один конец, почувствовал просто, должно быть, что не то что протопопом, и дьячком не придется быть в городе.

Но даже в развязности нахальной боялся Кирилла Кирилловича, и не его, может быть, а внешнего вида — выбрит иссиня, под сухими губами усы подстрижены и вечная трубка — говорил — в левый угол трубку и, опустив правый угол нижней губы, отчего казался и рот покосившимся, с придыханием бурлили слова горлом, а из-под широкого козырька кепки — острями глаза сверлили.

Вперед его пропустил с Феничкой.

По лестнице в новую половину с парадного поднялись: в скуфейке бархатной, несмотря на холод, в том же подряснике люстриновом и — в белой шубке и шапочке: одного роста, а казалось, что Николай выше — сутулый и длинный в черном, и рядом,

неузнанная иная — в белом вся и от белого — легкая и живая,— худенькая.

Даже боялся нечаянно задеть подрясником, не упала чтоб, не запачкалась.

И не знали, что говорить: почувствовал Николай, что иная теперь, чужая, совсем чужая, и все-таки шел, напролом шел, трусливая злость подымалась в душе, не на нее даже, а на неизвестное, путь ему преградившее.

Испуганно как-то, торопясь, шепнул:

— Феничка!..

Не ответила, не взглянула, только голову опустила ниже, а потом побежала быстро, быстро, точно боялась, что в темноте схватит и не отпустит, измучает, как в лесу летом мучал ласкою, и на лету, матери встретившей, с хохотом:

— Маменька, я с женихом, жениха привезла с собой.

— Еще какого жениха нашла?

— Отца Николая, маменька.

Скуфейку в карман сунул, пятерней по волосам провел и озираясь, как затравленный неожиданным смехом Фенички, у дверей притолки остановился в гостиной.

С грязью налипшею на сапогах нечищенных (от растерянности забыл вытереть), так топтался на месте, два шлепка сбросил на ковер старинный.

От обстановки не купеческой, а дворянской (сам Кирилл Кириллович из Москвы привез) оробел еще больше.

Точно толкнул кто сзади:

— Не стесняйтесь, отец Николай,— жениху стесняться не полагается.

И опять, точно от слов этих, с развязным нахальством и до конца уже так, до последней минуты:

— Антонина Кирилловна, мне поговорить нужно с Феничкой.

Дядя ответил, Кирилл Кириллович:

— С Феничкой?! Хорошо. Она придет сейчас. Пойдем Тоня, не будем мешать.

Посреди комнаты, в тишине, один — дышать даже трудно было и каждый толчок сердца, как бесконечное тиканье маятника, длился смертно.

С высокой прической уже коронкою, с напущенными завитками волос на висках к ушам пышными и углубленными глазами от пережитого и не девочка, а женщина, и не та, что в монастыре плакала, на скамейке подле дач со слезами землянику евшая, а

смеющаяся (плевок жизни) всему, переступив пропасть, выбежала к Николаю.

— Я не ждала вас, отец Николай, и не думала, что придете к нам. Вы зачем к нам в город?

— К тебе, Феня, теперь совсем,— из монастыря ушел.

— Монахом, значит, не будете больше, да? Да вы сядьте, и я тоже сяду. Я на диван, а вы — в кресло, у нас протоиерей всегда садится в кресло.

— Мать твоя написала, что дядя согласен. Завтра я к епископу, просить благословение место занять в городе дьяконское. Будто не понимаешь, зачем приехал?! Феничка...

Приподнялся, протянул руки, обнять хотел, поцеловать ее.

— Не трогайте, не смейте. Я вам чужая — не люблю больше и не любила, знайте — не любила, обманом взяли меня.

— Как же так обманом? Я женюсь и дядя согласен, и мать написала.

— Зато я ничего не писала. А теперь говорю — уходите, отец Николай, не люблю... хотите знать — ненавижу!

— Да ведь ты не невеста — жена мне, а я муж твой, а муж все может... Я прощу, все прощу... Беременна, да? Говори, слышишь, говори мне! А то ведь я прикажу. Приказываю. Муж я.

— Никто мне теперь приказать не смеет. И не жена я теперь — нет ребенка. Говорите о другом, о чем хотите, не смейте на ты называть. Или сейчас же уходите от нас,— слышите, отец Николай, сейчас уходите!

Сердце рвалось от злобы, на последнее решился, как в омут бросился.

За плечи взять хотел — оттолкнула, хотела бежать — схватил за талию и, не рассчитав силы, опять на диван села, падая, он упал на колени и, все еще держа руками ее, точно вползти пытался и между руками хотел просунуть на грудь к ней голову и без звука, без слов, одними движениями короткими боролись, и когда лбом локти разжал ей — откачнулась вся, сползая на пол, и одним движением в лицо ему вытянутыми руками ударила и сжала скулы его пальцами, закрыв глаза ему,— от боли опустил руки и, точно хватаясь за что придется, чтоб не упасть,— ноги схватил руками под коленками.

И от щекотки, истерично смеясь, крикнула:

— Дядя Кирюша, спасите!

Отскочил Николай, на кресло сел. Багровели щеки от следов ногтей врезавшихся.

Дракин вошел, Кирилл Кириллыч,— не торопясь, спокойно.

— Дядюшка, он за ноги меня хватает.

Ни слова не говоря, подошел к Николаю с кулаках сжатыми.

— Уведите вы его отсюда, дядя!

Глазами на дверь показал молча.

И еще острее в Николае злоба.

— Она мне жена. Хозяин я ей. Не мешать нам. Что хочу с ней делаю.

— Так ты еще тут разговаривать?!

И точно мысль промелькнула, родилась идея у инженера Дракина.

— Феня, пойдй позвони в контору, все равно кого.

Николай глухо и зло:

— Пойду я...

— Никуда не пойдешь. Сядь в кресло. Ну?!

Правым углом рта говорил, дымя непрерывно трубкою.

Какому-то счетоводу вбежавшему, коротко:

— Послать понадежнее двух трепачей сюда, живо!

Те самые и оказались надежными, что в чайной на смех подняли, один-то из них еще на дворе Николая признал и за ворота выставил.

— Вот этого на вокзал отвезти, билет ему взять и отвезти в монастырь (в пустынь), игумену сдать на руки. Понимаете?.. Да чтоб!.. Письмо ему от меня передать это.

Трепальщикам письмо передал и на проезд деньги.

И зло, и беспомощно жалко закричал Николай фистулой, срываясь:

— А ты, а ты не жена больше, проклиная тебя, проклиная! Гадина ты! Ребенка моего скинула, теперь знаю я, зачем в Питер ездила. Потаскухой быть хочешь!

И уже не к инженеру Кирилл Кириллычу, в том же тоне, захлебываясь, обратился, а к мужикам-трепальщикам, порываясь бежать к двери:

— Что я разбойник какой, грабитель, с провожатыми, с полицией меня провожать, я ведь хотел по-честному,— когда целовал ее — говорила, что любит, в лесу говорила, бог слышал, и ребеночка сама хотела, никому не верьте, что я хотел, она, она его выпросила, а потом убила его, слышите — сама убила, а вот этот помог, черт помог, сатана этот! Я и сам уйду!..

Все это скороговоркой, с выкриком, до истерики, и когда Кирилл Кириллыч молча мужикам показал на него — набросился, почти с плачем, растерянно:

— Да я квартиру снял в городе...

— Квартиру?..

— Вперед заплатил, имущество мое там, нельзя же так — потратился я на поездку, за квартиру, хоть вещи-то взять, одежду.

И, точно боясь испачкаться, выхватил из бумажника Кирилл Кириллыч сотенную и швырнул ее, смятую, Николаю.

— Без разговоров на вокзал ведите, а будет безобразничать по дороге — поучите его.

Потом к Николаю:

— А ты смотри у меня, в Соловки запрячу. Ну, марш!

И к мужикам опять:

— Да чтоб ни гу-гу,— слышите?

— Это мы понимаем... Спокойны будьте!.. Ну-ка, отец, пойдем!

Под руки взяли, порывался из кармана скуфейку достать и рукой дергал.

Проклинать начал Феничку, вскочила, отбежала к двери и, точно цепляясь за что, к притолке прислонилась и ладонями оперлась, тяжело дыша, и закаменела, откинув назад голову, расширенными глазами, стекловидными, глядела куда-то в стену.

Уходя, закричал ей в прихожей:

— Проклинаю тебя! Проклятая!

И этот крик, дикий, разбудил в ней смех всхлипывающий, закатистый.

Кирилл Кириллыч, точно вспомнив что, быстро пошел в прихожую и по лестнице вниз крикнул:

— Зайдите на квартиру с ним, пусть вещи возьмет, черт с ним!

Повели его мужики, пересмеиваясь, переглядываясь.

С последним выкриком напряженным потерял Николай силы и безучастно шел, куда вели подталкивая.

Спросили его:

— За вещами пойдешь, што ль?..

— Пойду.

— Так веди,— куда знаешь.

И чем ближе подходил к домику вдовы машиниста в слободе привокзальной, тем больше не хотелось показываться на глаза Афоньке, на позор себя выставлять перед приятелем, на посмеище, а все-таки шел — расстаться с ложками жаль было, с подарками купчих-молельщиц — с колечками, с перстеньками, с брошками разными — камушками,— годами их собирал, богатство нажил на жизнь вольную. Про ложки подумал, что пригодятся еще на будущее, а подарки жаль было — прежде всего — золото, а второе — взглянет на какой — купчиха вспомнится богомольная, сердобольная,

немощная податливостью на кудри его волнистые. От Фенички только ничего не осталось на память, не вещичку хотел получить от ней, а капиталы гракинские, да не удалось, сорвалось, место поповское, житье вольное. Как прибитый пес, шел понурясь.

В домик вошли — хозяйка навстречу:

— Ваш-то приятель сошел от нас.

— Как сошел?!

— Говорил, что место получил в городе и пожитки с собою взял.

— Котомка моя должна быть.

— Ничего не оставил, ничевошеньки, с собою унес все, велел сказать, коли отец Николай вернется, скажите, мол, он знает, куда пошел, и за комнату заплатил дочиста. А про вас говорил, что вы прямо к нему пойдете, такой у вас уговор был. Извольте сами, батюшка, посмотреть в комнате — ничего нет, все с собою взял отец Афанасий.

Огорошило Николая, забежал в комнатушку, под столом, под постелями поглядел, одеяла подымал — тряслись руки, не верил, не хотел верить, что последнее достояние утащил Афонька, оползал углы все, закоулки — нет котомки.

Мужиков-трепальщиков,— глядит,— смех разбирает.

— Чего уж там, отец,— пойдём, видно.

— Пропало твоё дело, совсем пропало,— приятель-то у тебя хороший, видно.

— Одно слово, что один, что другой,— пара!..

— Пустите меня, сбегая, отыщу его, знаю, где он — пошел к Галкиной.

— К кому?..

— К купчихе, к Галкиной.

— Так вы, тово, по купцам промышляете?.. Занятие!..

— Ей богу вернусь,— пустите, в один миг сбегая.

— Ну, нет, отец, нам тоже ответ держать — не велено.

— Боже ты мой, а я-то глядела что, и не знала, кабы знала, ни за что не пустила бы, городского б крикнула, а не выпустила б. Он-то, как добрый,— приятелю, говорит, передайте, хозяйюшка, к знакомым я — отец Николай хорошо знает куда идти.

— Пустите меня, сотенную вам отдам, только б найти его.

— У тебя что ж там такое?

— Ложки... вещицы разные.

— И сотни не жалко... ишь, ты ведь как,—должно, вещицы?!. А все-таки не можем пустить — не велено, у нас анжинер беда,— человек сурьезный,— нам тоже хлеб есть.

— Сто рублей дам, понимаете — сто!

И скомканную бумажку из кармана достал, тому, что со двора собирался гнать, совал в руку. Хозяйка рукам всплескивала, охала:

— Пустите его, сто рублей вам дает — не валяются на земле, я б взяла... годились бы, уж вот как годились бы денежки эти, вам и греха-то не будет...

— Собирайся, отец, а то уведем силою,— не велено. Видал барина?.. То-то.

А другой за руку без разговоров взял:

— Ну-ка, пойдём, что ли!

И повели из комнаты.

Кричать Николай хотел...

— Посмей только! А то и проучим тебя, у нас недолго его.

— Тоже купцы?! Сволочи!.. И девка-то ихняя...

— Ты не тронь ее!.. Ишь, соколик какой?! Иди, куда говорят...

Поджав губы, хозяйюшка, как горох сыпала,— раскудахталась.

И повели, повели его с зуботычиной, в потылицу подталкивая.

Присмирел Николай, видел,— не в шутики трепачи, говорят, надежные. На станции в сутолоке не спускали глаз с него, на платформу вывели,— один с Николаем, другой за билетами, на дорогу калачей купил.

В вагон посадили — беспомощно ногти обкусывал, в уголок отвертывался — намокали глаза, краснея...

А Феничка целый день не находила места себе, точно в пустоте из угла в угол по всему дому ходила, как потерянная: сама не знала, что лучше б было — ненавидя жить дьяконицей или о жизни мечтать вольной, питерской,— хорошо жить, когда жизнь не узнала, когда она манит неразгаданным, телом, еще греха не вкусившим, тогда все пути ровные, по какому ни пойдёшь — все прямые: ведут в обитель, преисполненную тайны любви непознанной, а нет тайн — и любви не будет: — пустота, жизнь потерянная, не жизнь, а призраки.

Ложилась — дрожала всем телом, хранившим ещё в себе звук голоса Николая: оттого и дрожало оно,— был близким и звучал, во всю проникая, голос его в минуты жуткие, когда и кровь звучит голосом близкого и на всю жизнь, до смерти, хранит его. И сегодня, когда о любви молил,— хотя и знала, что не любит его, а сказал только слово, и проснулась волна ответная. Всем телом, ложась, дрожала.

Легла и заплакала.

Днем смеялась над ним, а ночью плакала и не о счастье потерянном, не о любви, которой и вовсе-то не было,— была только фантазия, воображение книжное, а об распятой душе и теле, оскотпленных прокаленной сталью, потому знала, вся чувствовала — не видать, не узнать счастья, не отдать души чистоте ясной ложа брачного грядущим ей в жизни человеком.

И свечка дотлела и сероватыми окна стали — не спала, от слез в забытии до утра лежала.

МИРСКОЕ СТРАНСТВИЕ

I

Николай за дверь, Афонька ее на щеколдочку, да еще, постояв минуточку, послушал — не идет ли кто, хозяйки нет ли. И прямо за котомку приятеля своего. С утра раннего на нее поглядывал, потому и поглядывал, что Николай ночью два раза вставал, ощупывал ее. Когда спички искал по памяти, на столе шаря, разбудил Афоньку, только тот притворился, что спит, любопытно было, зачем такое приятель котомку смотрит, а тот открыл ее, даже и руку засунул, попробовал — на месте ли все, цело ли, и загремел ложками деревянными, а потом будто зазвенело что-то,— показалось Афоньке, что зазвенело что-то; лежал, думал:

«Ишь ты, ведь сколько набрал ложек, две недели ходил за ними, собирал у братии, и не одни, должно, у него ложечки, еще что-то звенит».

А когда второй раз Николай вставал и опять в котомку лазил и опять разбудил приятеля — Афонька и решил:

«Так и есть, не одни у него ложки. Только что... Поглядеть бы...»

Утром встал Николка, собираться начал к Гракиной, от волнения и на котомку свою не взглянул, о встрече с невестой думал, о том, сколько просить приданого, прикидывал в голове сумму и округлял ее постепенно, пока не дошел до ста тысяч. Под конец только попросил приглядеть за котомкою. Ночью и в голову не пришло подсчитать приданое, потому напугали его в чайной трепальщики, еще там имущество свое потерять боялся, с этим чувством и лег спать, и просыпался — казалось, что сидит в чайной, спросонья, и к котомке два раза кидался...

Не спеша Афонька подошел к котомке, а все прислушивался,— поднял ее, на стул положил, отстегнул ремешки — выперло. Ложки высыпал, тряпье вынул и на самом дне, в белье, в кружевах, запутался и опять, как и ночью, звякнуло.

«Вот это и есть самое. Кружевчики-то зачем только...»

Вытягивать стал — за крючок зацепился — полотно затрещало — перстенок выкатился.

«Ишь ты, ведь, какая у него штучка».

И разворачивать стал — рубашка женская, батист чистый, валансьен кружево — метка выпорота.

— С кого ж это он снял ее?.. На память берег, видно. Ну и Николка — забавник.

За перстеньком и еще такое ж, с камушками, браслетки с бирюзой, с жемчугом.

— Это и мне пригодится про черный день. У того теперь приданое — капиталы будут, а мне пока и того хватит про черный день. А черные дни у меня будут, может и не угадаешь, как придут они, да и теперь — на авось, на авось пришел к Машеньке, а перстеньки да браслетки забавные... должно, деньги плачены и работа ж — тож делать, и выкручивали фестончики, завиточки... забавные.

Вещицы разглядывал, разбирал, а где-то внутри толкало:

— Все равно не отдадут за него Гракину. У нас они все добрые, а придут домой — монах, мол,— не отдадут. Коли еще и дядюшка взялся — и думать ему нечего о Феничке.

И опять где-то шептало тайное:

— Не отдадут ее — еще может и встретимся. Галкина-то верней будет. А только и мне уходить надо. Котомочку-то прихвачу, годится — не оставляю ему, еще наживет красотой своею. Перебуду на постоялом где-нибудь деньков пять,— не найдет, с тем и останется. Потом и к Галкиной можно будет, к старику ее понаведаюсь.

Собирался дней через пять, чтоб следы замести с котомкою, а знал, что сейчас пойдет, из каморки мещанской выйдет на улицу, дохнет свежим воздухом и пойдет на базар перед окнами потолкаться, себя показать Машеньке,— увидит — не выдержит.

Пособрал вещицы опять, закатал в рубашку ту же, положил все, расчесал кудлы рыжие и позвал хозяйку: за двоих расплатился — понес котомку.

Не было у Афоньки подарочков от купчих богомольных, не выпрашивал себе памятки, не обдаивал всех домочадцев ложками, а попросту — заведет в лес темный, и все тут,— знал, что такая про него у купчих слава: рост высокий, нос горбиной, непомерно сила неудержимая в любви плотской, и заводил наверняк в лес темный, потому и наверняк, что каждая, когда шла,— знала, зачем идет. Подарков на память не брал, не выпрашивал, а ел да пил вволю, чтоб силы своей не терять православной. Бывало и дочек заманивал, и это случалось, зато уж тогда отдавался весь, с ума сходил от любви

дикой, на рука носил по лесу, зацеловывал. Все равно знал — не видать ему женой девушку. И о богатстве не мечтал, жил себе изо дня в день с пятнадцати лет в монастыре, в пустыне Симеоновой.

Если б не Николай, не приятель, может, и до старости бы монахом дожил, а собрался приятель в мирское странствование, и самого потянуло на волю, глянуть — житейское перейти море. К тому же и Галкина подвернулась,— не упустил случая и окрутил бабу, дыхнуть ей не дал — затомил ласкою. Сама позвала, а уж если позовет баба при муже старом, да еще купеческая,— сдержит слово, не даст пропасть с голоду, потому от силы мужской не потянет к старому, а привяжется к молодому вся и телом, и душой, и мыслью. И пошел за ней, за Машенькой Галкиной, в большой город преодолеть пути странствия и причалить на ладье утлой к берегу благополучия своего.

За ночлег расплатился — пошел искать трактир Галкина.

На сенной площади в неделю три дня сутолока: в понедельник на ларях, да в лабазах, что в стороне площади подле хлебных ссыпок Собакинских, до обеда торг мелочной для приезжих из деревень ближних всякой овощью, крик, да кудахтанье, пороссячий визг; по средам — подле трактира и красной лавки с бакалеей Галкина — скот ревет, ржут лошади, прасола о зипуны, о поддевки мужицкие руками хлопают, а в пятницу подле весов городских посреди площади сено да солому с телег растрясаят.

В среду Афонька, будто закусить, чайку напиться, в трактир зашел Галкина,— пришлось так. Сперва под окнами помотался, заглядывал — не увидеть бы Машеньку, да с улицы днем ничего, кроме занавесок да цветов на окнах,— может, и видала, да ему неведомо.

Всякого народу набилось в трактир в день базарный, и не заметили его в углу заднем. А ему все видно, и от двери совсем близко, что не то во двор, не то в кухню, не то еще куда вела. Заманула его дверь эта и сел подле нее в уголку за столик,— заскрипит блок, и Афонька повернет голову.

Боялся только, не пришел бы Николай, приятель,— еще и поэтому забился в угол.

Мотались половые с закуской горячею — моталась голова Афонькина.

И стряпуха выбегала к прилавку два раза за приправою к приказчику и на его кудлы поглядела рыжие,— ухмыльнулась ему — смешон больно.

А потом какая-то, точно барышня, выбежала, этак глазами на него морг и тож с улыбочкой,— стала у двери отворенной и пальчиком его поманила, и головой мотнула даже — показала: иди, мол.

Поерзал на стуле, по сторонам поглядел — не заметили ль и тоже ей головой мотнул,— сейчас, мол, приду, подождите капельку.

Без слов поняла, за дверью стала.

Один только и заметил сиделец-приказчик, потому хоть и два у него глаза, а во все стороны смотрит — на каждого, такой закон — на всех глядеть сразу и все видеть.

Ну, там стряпка еще зачем придет, а то — сверху горничная, ей-то зачем? — должно, не без дела послана. И не глядел на нее, а видел, как монаха кудластого поманила пальчиком.

— К самой, значит...

Сообразил сразу и подумал тут же:

— Сам-то в лавке сидит за кассою, так она через двор послала,— баба.

Нырнул Афонька в дверь, скрипнула блоком,— не пошевелился сиделец, будто и не было ничего.

— Марья Карповна вас позвать велела.

Мимо кухни по темному коридорчику и по крутой лестнице деревянной повела наверх.

Отлегло на душе у него.

— Николка-то струсит, не пойдет узнавать к самой, побоится старого,— а раз позвала — не найдет теперь, дудки-с.

Пока взбирался по лестнице, и барышню расспросил эту, на всякий случай:

— А вы чем же будете у Марьи Карповны?

— В комнатах я — за горничную.

Про себя подумал:

— Может, еще пригодится зачем...

И не в комнаты повела, а через кухню опять коридором каким-то в боковую комнату, где ненужные вещи складывали — старье всякое, мебель ломаную, сундуки, изъеденные без петель, без крышек.

— Подождите тут, сейчас придет...

Не улыбнулась,— повела только, уходя, глазами хитро.

— Знать не знаю зачем позвала тебя, а раз по секрету — значит, не без греха тут! Недаром торопила в трактир сходить привести, если

сидит рыжеволосый, нос горбиной проломленный, и старику не велела сказывать.

В капоте вошла, колыхалась вся.

И, не думая, облапил ее клещами костистыми, дыхнула теплом на него, к губам присосалась и сейчас же руками о плечи его оттолкнулась с силою.

— Подожди, Афонь, не тронь меня — твоя ведь, теперь все равно твоя — не обману, не бойся. Коли пошла на то — один конец. А вот Николая-то в монастырь отправили...

— Как? — вырвалось у него, дух захватывая от радости.

— По телефону мне говорила Гракина. Ухитрился как-то дядя ее увезти в Питер, там и выкидыш сделала, оттуда другая совсем приехала. Сегодня только. С поезда и Николая встретила. Он с наскоком на нее, сразу, а дядюшка с двумя трепальщиками к игумену его отправил. Я с утра еще знала, что ты приехал. И заметила сразу тебя на площади,— хорошо, что зашел в чайную. А теперь вот что, Афоня, найди себе комнату в слободе, денег я дам, пока там поживи, да каждый день ходи,— тут кладбище есть Крестительское, при нем церковь, приход наш, так ты к вечерне ходи, ко всенощной,— мой-то старик ктиторм, каждый день ходит. Ты и молись получше, и до последнего человека дожидай — все молись, он это приметит тебя и, вот посмотри, непременно расспрашивать станет, а ты тут-то и говори ему, как в монастыре учила еще. А теперь поцелуй разок, да и ступай себе. Дуняша тебя через постоянный двор проводит.

Говорить не дала, за шею обвила руками, прижалась вся и голову на груди у него спрятала, а потом опять отскочила, вспомнила и четвертной сунула в руку, за дверь вывела. В конце коридора Дуняша ждала.

По крутой лестнице, опять коридорчиком и на ходу спросила:

— Чтой-то она нашептывала? А?

— А тебе что?!

— Любопытно мне...

Засмеялась, глазами сверкнула, с Афонькиными встретилась.

Подумал:

— Ничего себе девка из себя выглядит. Успею еще...

В самом конце слободы, где частоколы из досок, на реке пойманных вразброд вколочены и домики-то в два — три окна покосились, вскинув крыши дырявые набекрень — за три рубля нашел комнату: стол со стулом, кровать — повернуться негде.

Изо дня в день на погост к Крестителю ходил к вечерне и, пока поп не уйдет, отбивал поклоны земные, крестился истово, дожидаясь, пока ктитор не сосчитает медяки поминальные,— против свечного ящика становился, чтоб на примете быть, на виду. Один раз так разбухался, что сам не заметил, как Касьян Парменыч подошел к нему и с минуту стоял молча, на него глядел:

— Уходить пора, храм закрывать сейчас буду.

— Простите меня, не заметил, как служба кончилась. Молиться тут хорошо, тихо, сама душа возносится в обитель горнюю ко всевышнему.

— Не видал что-то раньше тебя, откуда ты?

— Из обители я, ушел в мир из обители.

— Чего ж ушел оттуда,— прогнали, что ль, за какие художества?

— Спаси господи... что вы, за что прогонять?.. Сам я... В обители каждый спасается,— на то и обитель поставлена. А вот в миру, среди искушений, в суете сует человеческой, вот где иноку подобает искать спасения. Когда кругом действо адово — вот где спастись! Затем и ушел из обители Симеона старца. В миру буду иноком — тернистый путь странствия земного тут хочу выдержать, как искус старческий.

— Живешь-то чем?..

— Сам спаситель в своем учении заповедал иноку: воззрите на птицы небесные — не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а отец их небесный питает их. Много ли надо мне?.. Может, и работу найду какую. Последний человек на земле буду, лишь бы о госпде потрудиться. Мне бы все равно что, лишь бы кормиться как. Здоровому человеку побираться грех — нашлась бы работа! — за двух бы, как послушание нес смиренно.

Не вставая с колен, говорил, опустив голову, вполголоса, точно боялся нарушить тишину храма кладбищенского, и умилил старика Касьяна.

Решил ему работенку дать у себя на дворе постоялом.

— А ты сам из каких будешь?

— Мещанин города Брянска.

— Грамотный?

— Три класса уездного, а как сиротой остался,— отец помер,— так меня в монастырь потянуло, с одной странницей убежал, с пятнадцати лет в пустыни.

— Ну, поживешь, посмотрим, а теперь тебе двор убирать и келью тебе найдем — под лестницей комнатуха есть — там будешь,— вместо сторожа.

Поднялся Афонька и опять в ноги Касьяну старику бухнул:

— Яко игумену поклонюсь повелителю моему на земном пути и возблагодарю господу за чудесное обретение заступника и благодетеля.

Умилил старика,— с колен его поднял, утешать стал и поверил ему, сразу поверил, уж очень искренне говорил человек: в душу влез.

Двери церковные запер, занес протопопу ключи и пошел с Афонькою.

— Только тебе волосы-то остричь придется, а то засмеют и меня, и тебе не будет проходу на дворе от мужиков заезжих,— не народ — звери, да и поддевку какую купи, что ли.

И дал ему вперед красный билет в зачет жалованья. Афонька не уговорился о плате, не за тем поступал к Галкину, не из-за денег шел дворником на постоялый двор. И раньше, и теперь о деньгах не думал, не скаречничал. Есть деньги — гуляй душа, а нет — без них хорошо, когда баба есть на примете,— сытно с нею, пожалеет его — накормит. И в город пошел не из-за денег — из-за любви к Феничке. Полюбилась ему краля писаная, хоть и приятелю досталась, а любовь осталась; может, потому и осталась, что не пришлось ему первому целовать девушку. И еще сильнее загорелась душа, как узнал, что не выдали за Николку Феничку. Машенька-то ему пригодится, через нее и повидать и поговорить с ней придется, может,— в монастырь ездили вместе, значит и в городе живут — знают. Пока что и Машенька хороша, Марья Карповна, а подойдет время — долго ли по боку жену мужнюю,— что он, что она,— друг у друга вольные — без отчета жизнь ихняя.

К площади подходить стали,— старик Афоньке:

— После обеда приходи завтра, перед всенощной,— пожитки приноси, а потом пойдем к Крестителю. И мне-то с тобой теперь лучше, а то одному ходить по субботам не того,— слободские тут пошаливают. Народ аховый. Так, слышь, приходи завтра.

Доволен был Касьян, что сделал дело доброе, человеку набожному приют дал.

Через площадь по камушкам, по кирпичам переступал насланным, думал:

— Теперь и не встретишь таких. Да разве уверишь мою? Ей хоть что, все — хи-хи, да ха-ха. Из окна бы глядеть все, а не то богу молиться по монастырям ездить, хорошо хоть его не забыла еще, а то совсем никуда...

И сейчас же в голове промелькнуло:

— Ну да на такого красавца и не позарится,— чего стоит один нос проломленный, да и морда... а человек-то какой — душа ангельская!

А ей только смехотунчики, пригожие ей нужны, а на человека и не взглянет даже,— зверь-баба!

Даже про себя улыбнулся успокоенно.

Издали еще Марья Карповна услышала шаги мужнины, по походке знала настроение старого,— тверже ступает,— доволен чем-то, благодушествует, а не спеша поскрипывает половицами — изъест поедом, как ржа скрипучая.

Вошел — по глазам поняла, из-за самовара разглядывала.

— Машь, дворника я нашел, и не дворника, а человека...

Те же слова, что и дорогой в голове были, сказал жене:

— Теперь и не встретишь таких.

Поняла Машенька, как только упомянул о дворнике, так и поняла, про кого разговор будет, и, чтобы ему в голову не пришло, наперекор сказала:

— Тебе сперва все хороши, а поживет месяц-другой — увидишь, что за соколик.

— Сам бог мне послал его, в церкви на него указал господь.

— Смотри, Касьян Парменыч!..

— Не человек — душа.

И добавил, чтоб уколоть жену, посмеяться над нею:

— Только и страховит же!.. Тебе и поглядеть не на кого будет.

Радовалась в душе Марья Карповна: удалось перехитрить старика Касьяна.

А он будто к слову:

— Может, и видала когда, монах из Симеоновой пустыни,— ты ведь ездишь туда.

И точно кольнуло что в сердце ее:

— А ну как узнает что, а может и узнал уже... Задушит тогда. Сколько раз собирался задушить ночью. Пальцы костлявые, сухие руки...

На другое перевела разговор, боялась выдать себя пустяком каким, подозрение заронить словом оброненным, часто ведь одно только слово нечаянное погубить человека может.

На ночь в постель ложилась — об Афоньке мечтала и, лежа навзничь, вспоминала про житье монастырское дачное — ждала и смеялась, как старика-то обвела вокруг пальца святостью да молитовкой.

И радость сильнее еще была, потому старика под боком не было — пятница: по старозаветному к ней старик хаживал,— понедельник — богоматери день, среда с пятницей — страстей господних, а под праздник и подавно не велено.

Засыпала — вздрагивала и на мгновение, несколько раз в голове мелькало и счастливо, и тревожно:

— Некрасив — зато ласков... Не выдать бы завтра себя чем?!

II

Перед всенощной к чаю пришел Афонька и не по задворкам искал дверь, а с главного. Дунька ему отворила, взглянула на него и припомнила, шепотком ему:

— Ишь ты ведь как вырядился... К кому тебе: к самому, либо к Марье Карповне?

— Касьяна Перменыча надо мне повидать по делу.

— К не-ему?..

И опять улыбнулась одними глазами:

— Знаю, мол, не проведешь меня,— я тоже хитрая.

Волосы остриг в скобку, из-под картуза топорщились лохматые рыжие,— водой примачивал — не помогло. Когда шапкой до плеч ложились — не так нос был замечен, а теперь выпер и проломина видней стала, лоб оголился, раздалились скулы, и глаза вылезли. На плечах лежали копной — складней казался, а подстриг — разнесло плечи в сторону. Сам на себя с непривычки оглядывался, боялся, что пальцами указывать будут на улице. Глянул в прихожей в зеркало и подумал, что коли б дубинку в руки, и под мост на большую дорогу выходить можно.

Вышел старик — разулыбался на Афоньку:

— Ну и страховит же ты! Входи — гостем сегодня будешь, а уж завтра — не гневайся.

Пол некрашенный белый с коврами домотканными с подстилками деревенскими и, как полагается, поставец с иконами, по-старинному с аналоем в черном бархате и крестами серебряными.

Истово на образа крестился, глядел восторженно:

— Яко в корабль вхожу в дом ваш переплыть море житейское.

Чуть было не поперхнулся, когда вошла Марья Карповна. И со смущенным видом издали поклонился в пояс.

— Хозяйка моя, жена,— Марья Карповна.

За руку взял, видаясь, и огонек пробежал в глазах лукавый.

— Ну, как, хорошо ломаю комедию? — для тебя только!

А с понедельника потекла у Афоньки жизнь будничная в каморке под черной лестницей. С утра в дни базарные до вечера с метлой да с лопаткой ходил по двору, а вечером в каморку придет и ну распевать

псалмы — старика ублажать Галкина, ляжет на постель, из досок сколоченную, прикрытую матрацем соломенным, и, пока не одолеет сон,— поет, потому над клетушкой его старикова молельня, так чтоб слышал, не забывал бы о подвиге иноческого мещанина Афанасия Тимофеевича Калябина. И по двору ходит — завидит старика или еще кого, и ну под нос молитвы нашептывать.

Жалел старик Афоньку:

— Тебе и помолиться теперь некогда.

— Я по ночам, Косьма Парменыч...

— Слышу я, слышу... Истинный инок ты.

Тот только поджимал губы, да в землю глядел со смирением.

По субботам только и ходил Афонька к Крестителю со стариком, против свечного ящика становился — поклоны бухал. Всю дорогу о святом подвиге иноков Соловецких рассказывал старому — умилял его душеньку...

А через два месяца поехал старик за товаром в Москву — Дуняшка послана к Афоньке от Марьи Карповны.

Вбежала к нему перед вечером — пятилинейная лампочка с пожелтевшим от копоти стеклом сопит тускло, и Афонька лежит, похрапывает.

Растолкала его со смехом и на ты: потому знала, зачем зовет купчиха дворника, и сразу на ты — сближает секретное, делает заговорщиками против людской совести. Взглянула Дуняшка на сонного — жуть взяла.

— Афанасий Тимофеич, вставать надо.

Не разобрал спросонья.

— Ты, Машенька?..

Вскочил, глаза заспанные на Дуняшу вытаращил.

— Ишь ты как ее зовешь,— Машенькой?..

— Тебя б Дунюшкой звал — хочешь?

И засмеялись вместе, оттого и засмеялись, что обоим жутко стало: одному — оттого, что идти к Машеньке и в тайну свою посвящать Дуняшку, а другой — как назвал Дунюшкой — сердце заколотилось, и страх обуял в камерке крохотной, где кроме лестницы черной да коридора темного — убежать некуда, если вздумает что Калябин, а в темноте-то еще страшней бежать — не уйти пожалуй. И сразу у Афоньки родилась мысль задобрить чем, покорить, рабой сделать Дуняшку, чтоб старику не выдала,— а в случае — глаз отвести Касьяну от Марьи Карповны: соблазнился, мол, в мирском странствовании не женой благодетеля, а прислужницей: за это и простит скорей.

Закопошилось у Дуняши досужее любопытство:

— И чем только прельстил ее урод этот?! Ужли не нашла покрасивее какого? А то эфиоп какой-то страшный. Узнаю ужотко, у самой спрошу, теперь скажет, коли за ним послала...

— Наверх пойдем, позвать велела — самого нет.

— Знаю, что нет.

— С монастыря, что ли, вы?

И, к двери шагнув, вперед ее выпустил и нагнулся к ней, будто чтоб голову не разбить о притолку.

— С монастыря, Дунюшка, знакомы.

По коридору вела темному — и на лестницу шли, молчали, и от близости девки смешливой по-звериному сердце прыгало, — все равно кто бы ни был Афоньке, лишь бы прижать, да облапить — тело чувствовать. Феничка — то особ-статья, как о святыне думал теперь о ней Афонька — всей завладать ею хотел — на всю жизнь. И знал, что все равно не удастся, не полюбит его, а мечтал. Хоть знает человек, что напрасно все, а все-таки живет в глубине надежда призрачная: а может быть, может быть, еще не все кончено?

Без любви шел — от голоду к Марье Карповне и зачуял дорогою свежинку девичью, Дуняшкину; ноздри даже как у жеребца вздрагивали, а ее жуть обуяла; за перила цеплялась, спешила добежать поскорей до двери, ухватиться за скобку, а ноги тяжелые назад волокли всю, на порожках спотыкались, как пьяные.

Войлоком зашуршала дверным — вздох вырвался, точно от смерти избавилась, и про себя решила:

— Никогда не пойду больше, пусть сама за ним ходит, коли нужен ей. А то надругается в чулане этом и не пикнешь даже.

Нараспашку в поддевке вошел в горницы, с лампой в руке навстречу вышла и деловым тоном к себе позвала в комнату, будто старик велел ему приказать что-то, — при Дуняшке так; та только подумала:

— Ишь ты, ведь, как — по делу. Ну, да я расспрошу... не скроешь.

И почти до зари у ней пробыл: затомил Машеньку; провожала его — нашептывала приходить до приезда старого, не бросать ее на тоску бабью, поразмыкать с ней тишину ночью, чтоб не страшно было в пустом доме оставаться с Дуняшкою, и обещала у старика попросить ночевать кого присылать наверх к ней, когда уезжать будет в отъезд надолго; надеялась, что Касьян непременно его пришлет, страховитого, на кого никакая не польстится дура, а пришлет его — не нужно будет из тепла уходить ему под утро: спи тогда, пока не

разбудит солнце под перинами с разлюбезною. Напослед попросила его растолкать Дуняшку, чтоб на крючок дверь закрыла.

Не наткнись на нее, Афонишка, в коридоре она, на сундуке там спит.

Постояла минутку еще, поглядела вслед и ушла, вздохнув.

Наощупь по коридору шел и, озорства ради, пошутить захотел над девкою — нащупал сундук и наобум под одеяло к ней засунул руку, будил шалый за груди.

— Ой, не трожь, ты!

— Не добудишься!.. Поди дверь закрой за мною.

Озлилась девка — змеей зашипела:

— Дай приедет Касьян Парменыч, я ему про тебя выложу. Ей-богу, вот те крест, расскажу. Попомни ты!

В темноте шептала зло, в спину по коридору поталкивая, в одной рубахе шла босиком. Довела до двери, закрывать хотела — взялась за скобку, а он за руку хватить и опереться ни за что не успела — на черную лестницу выдернул, другой рукой дверь прихлопнул и привалился — припер...

Обнял ее — без озорства всякого, всерьез будто, потому, как сказала, что старику скажет, подумал — и вправду тогда беда: как Николку с понятым в монастырь сошлет, а тогда до смерти и Фенички не увидеть ему, и давай шептать Дуньке:

— Пошутил это я, не трону тебя, дура!.. Я ведь еще с того раза, как ты в трактир прибегала за мной, тогда еще полюбил. Ты думаешь, по любви я хожу к хозяйке,— как же! Она еще в монастыре меня в город сманула, житье обещала, человеком сделать, в люди вывести, а тут и заперла в чулане этом. Терплю я,— потому и терплю, что я через нее, может, в люди выйду. Она-то давно известна, как же — богу ездит молиться, всем монахам на шею вешается. А мне что монастырь? По сиротству я пошел в него. Отец помер, мальчишкой был, а у матери еще и сестренка была, ну и посоветовала ей богомолка одна в монастырь меня отвезти, кормиться. Вот и жил я там; может, и не ушел бы, кабы не сманила меня твоя купчиха.

От холода дрожала, слушала, зубами стучать начала.

— Холодно мне, пустите.

— Прикрою тебя, рассказать дай.

И прикрыл ее под поддевку свою, плечи закутал, и сама прижалась от холода и конец поддевки даже рукой держала, закутывалась, сама не знала, отчего слушала — не одно любопытство бабье и еще в душе разгоралось что-то.

— Ты думаешь, в монастыре святость?.. Для кого святость, а для нас — грех один. Мы тоже люди!.. Издали-то еще сильнее разжигает баба. За каждой там молодые монахи гоняют, как псы язык высунут, не надышатся, а зима подойдет — зверье-зверьем. А все эти купчихи, они в грех вводят. А я-то что, каменный, что ль, по-твоему?!. И я человек... Да только лишил меня бог красоты. У нас больше купчих красотой берут, а на меня ни одна и не глядела — прокаженный я. А эта вот и накинулась. Она ведь, я тебе говорю, на кого зря кидалась, лишь бы мужик поздоровей был. За то и понравился ей, что силен, и стала она меня сманивать к себе на житье хорошее. И старика своего научает обманывать. А как увидал тебя — полюбил сразу. Вошла ты сегодня в чулан мой — испугался я, подумал: сама пришла, а это ты, — коли б не идти наверх — не пустил бы тебя, будь чтоб было б, а не ушла бы ты. Полюбил я тебя. Сам знаю, что страшен, а страшного кто любит?! Разве девка полюбит страшного? — ей красивого подавай, кудреватого...

А потом прижал ее к себе крепко и распахнул поддевку сразу.

— Ступай, Дуня,— я разве силком хочу?! Силком не дожدهшься любви. Так-то... А что хожу-то я к ней — нужда ходит.

Отошел от двери, ощупью по ступенькам сходить стал, оставил ее наверху, в рубаше одной, на холоде и как зачумленная от слов этих подле двери стояла, думала, а потом сразу рванулась к лестнице и чуть не закричала ему:

— А вправду ты говоришь?..

Дверь закрывать стала, слышалось будто ей:

— Правда...

Сама не знала: не то крикнула, не то только хотела крикнуть вслед ему.

Так бы и кинулась к нему от слов этих, за сердце взяли они деву-чернаву. Целый век понукали только и ласкового слова не слышала от людей. Как мать привезла из деревни в девчонки четырнадцати лет, так с места на место по домам и ходит. Попала к Галкиной и прижилась у ней,— одно беда: приказчики да работники не дают житья,— на возрасте стала — округлилась, как яблоки спелые груди колышатся и от самой пахнет яблоком. Встретит какой в пиджачке, сейчас это заигрывать: за бок ущипнет, за грудь ухватит,— хозяйке жаловалась — посмеялась только.

— С красивой девкой, Дунь, всегда парни заигрывают, а старую будешь — никто тебя пальцем не тронет, и рада б поиграть когда, да поздно будет.

Ушел, не позвал, не вернулся. Дверь на крючок, и легла на сундук под одеяло стеганое: так и не заснула до утра самого. Целый день думала, работа из рук валилась.

— Правда, аль нет?!. Пошутил только...

Под вечер опять позвала Марья Карповна Дуньку, будто помочь перебрать комод. Белье разобрала — принялась в сундуке за платья, и не перебирала, а искала, что дать Дуньке из старого, подарить за молчанье, за секрет ночной.

— На-ка тебе, перешить годится, не буду носить — из моды вышло.

А потом и не выдержала:

— Только ты, Дунь, никому чтоб про Афанасия Тимофеича. Томно мне жить со старым, не маленькая — понимать должна. Будет все по-хорошему — дарить тебе буду, и замуж выдам, жениха найду.

— Что вы, Марья Карповна, чего ради мне говорить про вас, разве мне нужно это?

— Поставь-ка самоварчик, позови его чайку попить, а сама, если хочешь, погулять пойдешь, небось, и у тебя есть знакомые?

— Куда мне ходить, Марья Карповна, сами знаете...

— Так позови его.

Афонька перед вечером зажег коптилку и опять лег дожидаться, когда наверх позовет Дуняшка, — Дуняшку ждал.

Самовар ставила — руки отяжелели, еле подняла его. Боялась идти за Афонькой в кладовку, и тянуло на него поглядеть: может, опять такие слова скажет, от которых у девушек голова кружится. Собирала на стол — еле двигалась, хотелось оттянуть время до той минуты, когда через порог к нему переступит. Точно приговор произнесла над собой:

— Барыня, самовар подан.

И пошла опять по лестнице темной наощупь. В коридорчике казалось, что стены ее придавить хотят — обеими руками опиралась, шла. И не вошла, как вчера, сразу — постучалась. Не спал Афонька, лежал, услышал стук — приподнялся, сел.

— Ты что, Дунь, опять за мной?

— За вами, Афанасий Тимофеич, чай пить идти велела.

До того как о любви ей сказал — на ты говорила, как и всем на своем дворе и приказчикам, и работникам, а как тревожное чувство закопошилось в груди — начала на вы. В первый раз, когда, как прислужница, в господскую входила тайну — за панибрата с ним, а сказал про любовь — ожгло ее и на вы застенчиво.

— Да ты сядь, не бойся. Расскажи, говорила что про меня сегодня?

— Платье мне подарила, старика боится, А только идемте, Афанасий Тимофеич, не подумала б что...

— Помнишь, что вчера говорил?.. Не забудь, смотри. Шутить не умею я — серьезно. А что неловко разбудил вчера, не сердись — не буду больше. Пальцем тебя не трону, пока сама меня не полюбишь.

— Идемте уж, ждать будет, заругается.

Не тронул ее — повеселела Дунька: точно камень с души свалился. Вечером на сундуке своем спать укладывалась и будто что-то скребло в сердце — не ревность, а обида ревнивая, и не любила еще, чувствовала, что тянет ее к Афоньке, от слов ласковых к нему захотелось спрятаться — к несуразному, плечистому, на голову почти ее выше — под поддевку его, как прошлой ночью, чтоб никто не посмел тронуть... И опять разбудил ее Афонька, растолкал за локоть. Теплом от него веяло, одеколоном ее слегка пахло, и опять захотелось к теплу, под защиту крепкую. А он и не тронул, и не сказал ничего ей ласкового. И каждый вечер ходила она звать его к Марье Карповне, и почти каждый вечер он говорил ей, что любит и неволю несет от купчихи жадной,— для того и говорил, чтобы приручить ее, покорить сердце, помощницей своей сделать на всякий случай, а трогать не трогал, ни разу не обнял даже — Дуньке и то обидно стало. Афонька и Марью Карповну уговорил, чтоб посылала за ним Дуньку, потому де, хоть и любит он, а не хочет настырным быть, а позовет — значит видеть рада. Две недели ходил до приезда Касьяна — ни приказчики, ни рабочие не знали про то, потому жили они во дворе в особом помещении вместе с прислугой, а что в доме — никто не знал. На Афоньку смотрели, как на полоумного за вечное распевание псалмов до полуночи, за бормотание на дворе молитв, и Афонька их сторонился — жил в конуре, молча, мечтал о Феничке, думал — придет же она когда-нибудь с матерью к Галкиной, а не придет — дожидался он своего времени и сам может по делам от старика пойдет к Дракину и увидит ее.

Приехал старик — расплакалась Марья Карповна: и по ночам не спала от страху, казалось все, что по комнатам ходит кто-то.

— Хоть бы на ночь кого спать присылал наверх, а то заберутся воры, что мы тут на весь дом вдвоем с Дунькою, и не пикнешь, как топором прихлопнут.

— Ладно, уезжать буду — пришлю кого.

И опять изо дня в день с лопаткой на дворе Афонька, а вечером — псалмы распевал до полуночи. Целые полгода старик без выезда

жил, целые полгода в конуре дожидал своих дней Афонька, только по субботам и говорил с Касьяном Парменычем, когда от Крестителя домой возвращались вечером.

И вспомнил старик один раз про Калябина: пожаловался ему сиделец трактирный, что неумоготу управляться одному в дни базарные, за народом уследить трудно, утечка в деньгах большая.

— Постой, Петрович, у меня на примете есть человек один,— верный, ручаться могу. Грамотный он, как раз тебе в помощь будет.

— А кто такой, Касьян Парменьгч?

— Да ты, должно, видел его,— Афанасий дворник.

— Как же, Касьян Парменыч,— видал...

— Не нравится? Страховит?

— Не нравится он мне что-то... Дело хозяйское, самим виднее, а только — не нравится.

И так это с растяжкой говорил сиделец. Еще в тот раз заприметил его, как еще кудластый в подряснике нырнул с горничной. После того и ее расспрашивал — ничего не сказала, потому тогда еще толком и сама ничего не знала. Никто про него не сказал дурного, смеялись только над его песнопениями. И взяло сомнение Наумова, сидельца трактирного...

— Может, и в самом деле ничего нет?!. Только зачем же сама-то за ним присылала? Тут непременно что-то есть. Или с придурью, или прожженный жулик,— пройды монахи эти,— не пойму что-то. Богомолен больно,— уж не хочет ли старика обойти? Непьющий и работает, говорят, хорошо — не пойму я...

Глаз у Наумова наметался, сразу человека узнает — только взглянуть стоит; сколько лет за прилавками стоит в трактире базарном: всякий народ перебивал у него, и делишки всякие не раз обделывал: и покупателей сводил с лошаdnиками, и жуликов выдавал полиции, и с прасолами водил дружбу. И Афоньку приметил сразу.

Старик от всенощной шел — Афоньку порадовал:

— В людскую перейти можешь, к приказчикам,— Петровичу за стойкой помогать будешь, приглядывать за народом.

Ничего не ответил Калябин старику Касьяну.

— Ты что ж молчишь,— недоволен, что ль?..

— Не знаю, благодарить как заступника моего, хозяина, только не хочется из-под лестницы мне уходить, вот что!.. На людях-то и помолиться нельзя будет, псалом пропеть... Надо мной за это и так смеются.

— Я тебе хотел лучше — в людскую-то... По мне и под лестницей оставайся, как хочешь...

И начал Афонька с Наумовым стоять за прилавком, привыкать к делу, за народом доглядывать, чтоб хозяйской копейки не заел кто. И все молчком, все молчком, что бы ни сказал ему сиделец — молчком исполнял. Невзлюбил помощника своего Наумов, и Афонька почувствовал это и всегда начеку был.

Один раз Касьян Парменыч спросил сидельца:

— Ну, как, Петрович, помощник твой?

— Сказать ничего не могу, а только не нравится он мне... Где вы только нашли его?..

От всенощной шел с Афонькой,— сказал ему:

— Не любит тебя Петрович,— с чего это?

— Я ему, Касьян Парменыч, ничего не сделал, кроме как уважение оказываю. Я как на духу вам, по совести... Уж если так говорить, так и он по мне нехорош. Может, он у вас и давно, и верите вы ему оттого, что давно он, а только мне ближе теперь видно... нехорошие он дела делает, не божеские. Может, это я по глупости своей ничего не разумею еще, может, и полагается так в торговом деле!..

Прислушался старый, может, и правда за Петровичем водится, и не перебивал Афоньку, спросил только:

— А что?

— Да я не пойму что-то. Я вам лучше потом, когда уразумею, расскажу все.

— Не верит тебе он, говорит — молчалив больно.

— Я, Касьян Парменыч, как послушание несу, кому поставил игумен — не прекословлю, а своего что сказать — скудоумен еще по младости.

Пришел старый домой — на столе телеграмма — собираться в путь дальний. Марья Карповна опять возопила, что страшно ей одной оставаться в пустом доме с одной девкой.

— Афанасия ночевать пришлю. Страшен, да зато троих уложит.

— Ты б другого кого, я сама боюсь его.

— Другим страшен,— а в своем доме овца... Дунька!.. Сходи-ка в трактир, позови Калябина.

И опять Дунька с усмешкою лукавою Афанасия поманила пальцем. Наумова аж всего передернуло; как и в первый раз, показалось ему в усмешке недоброе. Дожидался Афоньку назад, расспросить хотелось, кто, да зачем звали, и он точно чувствовал, что неспроста Наумов не доверяет ему, и захотелось подразнить сидельца. Вернулся к стойке — перетирать рюмки стал, будто и не было ничего, и еще больше разбередил Петровича.

— Чтой-то наверх тебя, Афанасий, звали?..

— Хозяин, по делу.

— Ишь ты ведь как?! Я сколько лет тут, и то ни разу к себе наверх не пускали. На что деньги, и то приходят принимать вниз, а тебе почет какой!

— Ночевать в доме без хозяина буду — от воров караулить Марью Карповну.

Еще больше задал задачу Петровичу. До самого почти закрытия трактира стоял, думая, и решил, что тут хозяйкины штуки — вокруг пальца старика обводит, и решил последить за Афонькою, подкараулить как-нибудь, да старику сказать, от позора избавить.

Старик, уезжая, через трактир выходил и на ходу сказал зло, на Петровича не взглянув:

— Афанасия, Петрович, отпускать будешь раньше времени ночевать наверх, слышишь?!

— Слушаю, Касьян Парменыч.

Ни слова не сказал больше, дверью хлопнул. Бывало, про новости расспросит трактирные, про выручку, а тут и не взглянул даже.

И опять Дуняшка заскрипела дверным блоком и не у двери остановилась помануть, а к стойке подбежала с усмешечкой, на Петровича усмехалась хитро.

— Афанасий Тимофеич, Марья Карповна наверх приказала звать, спать ложиться, запираяться будем.

Через двор прибежала и увела через двор мимо кладовки его по коридору темному и на лестницу. Точно обидная ревность заговорила в ней, как узнала, что Афонька ночевать будет с хозяйкой; не на половнике в передней, где для виду ему приготовила, а с самой, с Марьей Карповной.

— Вместо мужа теперь будете?.. Небось рады?!

На последних ступеньках перед дверью войлочной, в темноте наугад обнял девку — к себе прижал, даже кости хрупнули, и в губы ее, — не знала сама, отчего прижалась к нему, ответила.

— Дунюшка, говорил я тебе, — не веришь ты. Каб женился я на тебе сейчас — все б мое дело пропало. Подождать надо. Либо тебя с места сгонит, либо меня сама сживет. У Петровича я теперь в помощь, — придет время, и сам на его место сяду, обсижусь год, другой и свое заведение открою... Тогда никто нам не будет помехою.

— Правда ли, Афанасий Тимофеич? Не верится...

— О тебе думаю, когда с ней бываю, вот что, а ты верить не хочешь, — люблю ведь.

Сказал так-то ей нехотя, поверила и сама к губам потянулась ласково.

А сказал — с расчетом, чтоб верней была, не выдала б и чтоб ревности не было, если любит, а в случае чего и на помощь пришла для отвода глаз старому.

И стал Афонька по зову Дуняшкиному без хозяина с восьми до восьми караулить купчиху Галкину и каждый вечер на лестнице целовал девку. Кроме поцелуев никак не трогал ее, хоть и чувствовал, как грудь ее в нею упирает туго. И она ждала поцелуев этих, чтоб потом до полуночи на сундуке в коридоре ворочаться, про любовь мечтать.

Только Петрович не мог успокоиться, дознаться хотел и придумал раз самому наверх идти сдавать хозяйке выручку, да так подойти, чтоб подглядеть, да подслушать.

Афоньку позвали наверх, и Петрович через полчаса следом и тем же путем через черную лестницу,— в темноте чиркал спичками и сейчас же бросал, чтоб свет не заметили. Выбрался наверх — дверь не заперта и опять по коридору в комнаты, а из столовой в замочную скважину полоса светлая — на нее пошел. И Дуняшки не было — в кладовую за вареньем послана. Подошел к двери, пригнулся к скважине — Марья Карповна за самоваром сидит, Афонька сбоку чаек пьет с блюдечка. Прислушался — говорит хозяйка.

— Сегодня от Фениной матери письмо получила, просит насчет денег со стариком поговорить моим. Братец ее Кирилл Кириллыч, инженер-то, еще задумал новое. Перед тем как отцу Николаю приехать — шпагатную выстроил на капитал Гракиной, а теперь задумал канатную строить, а денег нет. Алексеевы и свои в пеньку вгоняет, не то что с нашей губернии, из соседней у мужиков на корню скупает, и все ему мало,— теперь канатную. Корпуса хочет строить новые, за машинами ехать в Англию, ну и просит под залог моего старика дома взять, а дома-то Фенины. Мой даст, отчего не дать, только дома-то к рукам приберет: святой человек, а в трубу пустит, либо еще что... перепродаст векселя кому.

Дожидался Петрович, стоял, не скажет ли Афонька что, не назовет ли ласково. Видел, что глядит на него — глаза сияют, а говорит постороннее. Спина заломила согнувшись стоять подле скважины, не слышал ничего, не чувствовал — впился, прилип к скважине, слушал — слова проронить боялся... и головой и носом о дверь ударился. В потемках с разлету Дуняшка бежала с банкою и по спине ею Петровича. Наткнулась — кричать с испугу не своим голосом.

Марья Карповна из-за стола к двери, Афонька следом, и на коленках в сюртуке длинном в смородине сиделец трактирный ползет.

— Чего ты кричишь, кто тут? Дуняш?!

С перепугу ей со слезами:

— Стоял тут... до смерти испугалася!..

— Зачем вы, Петрович, тут?

И, обтирая фалды сюртука своего рукавами клейкими, сказал глухо:

— Выручку отдать...

— А стояли подле двери зачем? Подслушивали? Да?! Что же, по вашему, хозяйке служащего своего чаем напоить нельзя?! Афанасий Тимофеич, помогите ему в трактир сойти, у него из носу кровь течет.

И чтоб не измазаться — за ворог держал Афонька Петровича, сводя с лестницы. До трактирной двери довел...

— Что, Петрович, не удалось подслушать,— черт попутал. Не пойду я с тобой в трактир, ступай один — половые тебя оботрут, обмоют.

И назло ему крикнул, приоткрыв дверь:

— Эй, кто там, Василий, пойдя Петровичу помощи варенье с сюртука очистить.

Сиделец только и мог прошипеть Афоньке:

— Твоя взяла... Ну, ладно ж... попадешься ты. Припомню я...

Вернулся старик. Марья Карповна и войти не дала, накинута,— про Петровича рассказала, про обиду кровную, что де, мол, либо сам он подглядеть хотел, да подслушать, либо муж подослал его.

— Что ж, мне чаем напоить нельзя Афанасия? Не человек он, что ли? С утра до вечера на ногах и ночью бог знает как в передней валяется, а тут вот тебе.

И решил Касьян Парменыч мещанина Калябина посадить в трактир сидельцем, а Петровича на постоянный двор за приезжими наблюдать, если еще не хочет уходить от него на четыре стороны. Больше прежнего доверять стал Афоньке старый и по старой привычке ходить начал в трактир посидеть за прилавком вечером и позвал даже как-то Афоньху молельную поглядеть свою.

III

Марья Карповна старику про письмо Гракиной, а тот:

— Дома, говоришь,— дома знаю, пятьсот не дам, а триста тысяч вложу. Работает инженер, ничего себе и на свои и на сестрины, да еще и на сиротские хочет.

Сам не пошел, а верного человека послал отнести ответ да и насчет подписи поговорить Феничкиной: потому в летах девушка, и сама при свидетелях с поручителем подписать может.

Призвал на другой день вечером Калябина Афанасия завел в молельную и ну поучать, что да как говорить надо.

— Доверяю тебе, понимаешь ты,— смотри лишнего не скажи что. Из двенадцати годовых, мол, дам, на три года. В письме тут прописано. Да чтоб согласие Феклы Тимофеевны было — ее дома. Домики-то и побольше трехсот тысяч стоят, а мы их и за триста к рукам приберем. Векселечки получим, а через годик и передадим кому следует. С моей стороны свидетелем будешь, а процент тебе три тысячи.

— Касьян Парменыч, что я — нехристь какой, деньги брать?

— Такие дела задаром не делаются,— молод ты, поучить надо. Ступай с богом.

— А я, Касьян Парменыч, все на иконы гляжу ваши,— перед такими образами душа сама молится...

— Уеду когда, ночевать будешь,— приходи, молись.

И стал Афанасий Тимофеич верным человеком у Галкина. Первый раз когда в молельной был, ничего разглядеть не успел как следует, а на этот раз, кроме икон старинных в жемчугах, да в яхонтах, и конторку приметил ореховую. Подле аналая стоит и тоже прикрыта бархатом с крестами нашитыми, а приподнять крышку — капиталы Галкинские, векселя сторонкою и свои и чужие, в уголку и чернильница, а в самом низу книга толстая: приход-расход, а под линейкой — чистое. Денег Касьян не держал дома — в коммерческом банке в бумагах да на текущем, а на расход мелочишки — было: разных колеров пачками, веревочками перевязано подле передней доски в один ряд, а подле боковых стенок — золотые стопками. Еще прадеды постоянный поставили подле конского и с конюшнями, и людская для приезжих, и чайная, и с бакалеей красная лавка выстроена, а все для того, чтоб мужику не заботиться,— лошадок продал и могоарыча тут же пропей, и бабе купить что — под боком лавка. Свои прасола у Касьяна Парменыча по торгу ходили и скупали у мужиков лошадей для поставок военных за границу, а не то и своим — ремонтной комиссии. Вот на расход и нужна была старику мелочишка. А главные доходы у Галкина — ссужал под заклад деньги, ничем не гнушался: и в слободе хатенку брал, и под имение не раз

выдавал, господам дворянам, и своего брата не забывал — купца. Не только что деньги, а в срок не заплатит процентов, и пошла писать,— глядь через несколько месяцев и пошло с молоточка, свои же, подставные, за дешевку и купят, и опять продадут с процентами. И выходило, что не двенадцать брал божеских, а всех двадцать пять выходило с расходами. И теперь на сиротские нажать захотелось Галкину. Понять не понял Афонька всего, да нашелся человек добрый, разъяснил ему.

Таскался в трактир с портфелем, небольшого роста, один человечек в пальто поношенном и в брюках навывпуск с бахромкою — Иван Матвеич Лосев, частный поверенный. Нет работы, сидит, мужикам в трактире Галкина кляузы строчит, а специально — сводничал: кому что продать, купить, заложить ли дом, под залог ли устроить деньги. Своим человеком в трактире был и с полицией за одну душу.

Пришел Афонька за стойку, в руках письмо и сам задумчив, стоит, на все стороны пакет поворачивает, а напротив в уголку,— в том самом, где Афонька в первый раз монахом сидел,— приглядывается на него Иван Матвеич. Точно нюх у него,— почуял, что не простой пакет у сидельца, а должно от старого поручение, потому раньше Наумов ему исполнял все, а теперь, значит, доверие к Калябину, Афанасию Тимофеичу.

Подошел, будто рюмочку пропустить, а сам:

— Ай в первый раз вам, Афанасий Тимофеич, по такому делу идти от хозяина?..

— В первый...

Не подумавши и ответил, озадаченный поручением, да не к кому-нибудь, а к Гракиной, да еще имеющему отношение к Феничке.

И опять не подумавши:

— К Гракиной...

— По денежному делу, значит, идти. Слышал я, как же, Дракин-то инженер деньжонок ищет. Вы не изумляйтесь, Афанасий Тимофеич,— такая у нас профессия,— понимаете — поверенный, значит доверять можно, потому под присягою царю и богу. Да-с... И нам все известно — потому что поверенному по секрету-с все доверяют.

И захотелось Афоньке расспросить у него, в чем тут дело, почему подпись нужна Феничкина, и как так дома старик прикарманить может? Соблазнился узнать у Лосева, потому ближе Фенички человека у него в душе не было, как звезда Вифлеемская на путях земного странствия. Странно старик говорил Галкин, чуть прищуривая и без того свои глазки бесцветные,— так что даже

Афонька тревожился за судьбу Фенички. А если он охранять ее будет спокойствие — хоть на шаг, да ближе к цели, пристанищу жития бренного.

— Хотел я спросить вас, господин Лосев, да семь скоро, идти с этим пакетом нужно.

— С превеликим-с удовольствием готов услужить моем кормильцу новому, потому как при Николае Петровиче у меня кредитор был небольшой, так я и теперь надеюсь получить его у вас. Не всегда-с при деньгах, уж такая наша профессия-с: сегодня густо, а завтра пусто-с. С превеликим удовольствием даже услужить вам готов. Кроме хорошего, ничего от меня не услышите. Уж такое положение-с наше сообща с сидельцем коммерцию наводить. Каждый человек у вас на глазах, всех видите и опять под началом половые — насчет этого они народ верный, с первого слова гостя насквозь видят, народ смекалистый. Процентик им маленький и будьте-с спокойны... они это вам, а вы-с мне только глазом моргните, уж я знаю как подойти к делу-с. Так вы-с, Афанасий Тимофеич, выйдите к столику, удобней там поговорить будет...

Василий половой сразу смекнул, что обрабатывает Лосев сидельца нового, и без предупреждения поверенному селянку с графинчиком маленьким и с закуской:

— Для начину-с, Афанасий Тимофеевич, прикажете вам подать?

— Некогда!

Рассказал ему Афонька про заем Дракинский, про старика Касьяна и про то, что Феничкина подпись нужна зачем-то, и осторожно спросил:

— Никак не пойму я, в чем тут дело?

— Одну только минутку-с обождать извольте, сейчас я селянку свою кончу и провожу вас немножечко, а то и вы опоздать сможете; Касьян Парменыч насчет таких дел человек строгий, да и на людях говорить — и стены-с теперь уши имеют, а я вам, Афанасий Тимофеевич, один на один-с объясню все. Только вам бы следовало вперед выйти и там, знаете, подле лабаза на углу обождать капельку, — я мигом-с.

Сдал Афонька Василию кассу и пошел ждать Лосева на угол.

Темная ночь, по-весеннему, когда лед на реке ломает и ветерок легкий подмораживает ручьи на улицах.

Вынырнул Лосев, за собою идти велел и на втором проулке обождал Калябина.

— Так вы говорите-с, триста тысяч собирается дать старик?! А много ж он вам обещал,— не секрет-с?..

— Три тысячи.

— За такие-с денежки маловато.. Меньше десяти брать нельзя. Ну да на первый раз что делать?! А как домики-то улетят от барышни Гракиной, это я расскажу вам сейчас. Да-с... Получит господин инженер денежки-с, ухлопает в дело, а про черный день и не оставит — да-с, а такой день подойдет, обязательно-с. Поверьте опыту моему, — придет такой денек обязательно-с... В три срока платить придется, да процентики. Подойдет первый — а у него, глядь, несчастье — либо пенька сгорит, либо на фабрике пожар какой,— в такой день обязательно-с несчастье случится: всегда уж бывает так. Подошлют человека с угла керосинцем пеньку полить и керосинцу немного нужно, всего-всего на полтинничек, куда там, и на двугривенный хватит,— небольшой расходец ведь, а?.. А тут либо закуривать станет кто подле, либо незатушенную папироску-с обронит,— обязательно в этот день подле политого курить будут, такой уж закон-с — недорого и возьмут за это — красную и готово дело — товар такой, что через полчаса и сарая нет, и пожарные не успеют доехать, как одни балки останутся. А тут платеж завтра-с... да-с, денежки-то есть, конечно, а пожар потребует пополнения, либо перестраховки какой, а если на фабрике произойдет несчастье — ремонт,— не останавливать же из-за этого всего дела! Ну и выйдет, что в срок и не сделан платеж. Законный срок Касьян Парменыч выждет и предъявит векселек куда нужно-с, домики-то и ухнули барышники. Может, и не сам Галкин заниматься станет таким делом, а продаст векселечки эти кому, а тот и устроит что полагается. А может и сам, а только вскселечки-то будут проданы для отвода глаз. Векселя-то, разумеется, не уйдут от Галкина, на то и подставные люди у него есть для таких случаев, а домики-то ухнут. И не с инженера уплаты требовать будут, а с барышни-с, потому как над ними теперь опеки нет, вышли из такого возраста, а только попечительство, так сказать надзор за имуществом на случай расточительства, а попечителем-то у ней маменька-с. Другой бы, может, и успел что придумать, а женщине — куда ж?! Инженеру не до того будет — своя работа!.. А чем платить барышне, ежели дядюшка не внесет деньги, ведь в полном здравии и разумении векселек подпишет с дозволения попечительницы и при свидетелях. Да-с... И полетят домики... Была невеста первейшая-с и вдруг — бесприданница. Несколько тыщенок может останется про старость, а уж домики-с — тю-тю-с... Тут, Афанасий Тимофеевич, дело тонкое-с... Старик-то не даром дает денежки. Мозговатый

старик... А дело-то верное, не было б верным — Касьян бы не дал. Понимаете-с теперь, почему я говорил, что три тысячи тут не деньги? Уж если послал — значит и в будущем помогать по этому делу будете: человечка найти курящего, либо еще что. Только вы никому-с про меня ни словечка. А если еще в чем понадобится, либо человечка найти какого нужного — с превеликим-с удовольствием посоветую-с и человечка укажу нужного, потому вы теперь вместо Наумова кормилец наш. А затем до свидания, Афанасий Тимофеич, не смею задерживать вас своим присутствием, мне тут-то-с сворачивать. Извольте оставаться счастливо-с!..

IV

Задал Афоньке задачу частный поверенный, всю дорогу продумал он.

— В первый раз уступил ее,— сам, можно сказать, Николке отдал, сам его познакомил подле мельницы, и теперь предаю Касьяну — на нищенство ее обрекаю пакетом этим.

В кармане пакет щупал и руки горели — разорвать, уничтожить его, чтоб и помину о нем не было, и знал, если разорвет, другого надежного найдет человека Касьян Парменыч, а он ничего и знать не будет о судьбе Фенички.

— Если буду следить, может и помогу чем, из беды ее выручу как-нибудь.

Не заметил, как подошел к дому Дракинскому, что почти на самом конце города с трепальными и фабрикой,— спокон века стоял — кирпичный, нештукатуренный, точно острог новый или богадельня мещанская. На пенях, подле самой железной дороги поместье Дракинское. (Был в старину лес темный, а пришли времена новые, и лес вырубил, и остались одни пенушки, пеньки, и стали мещане на пенях селиться, и оттого вся слобода звалась Пеньки).

Звонил когда — руки дрожали и, пока со второго этажа сбежали отворять по лестнице, все время сердце выстукивало:

— Предатель, предатель... Сам предаешь, сам предаешь, сам, сам...

А по лестнице подымался...

— Увижу ее, сейчас увижу, сейчас, сейчас...

И увидал ее с репетитором — провожала его в передней, Никодима Александровича Петровского, ученика последнего класса Учительского института,— того самого, что в мечтах рыцарем был недоступным. Только теперь уже не мечтала о нем по-девичьи —

разорвали перед ней завесу познания ласки Николкины, и мечты и фантазии улетели сказочные,— был перед ней: роста среднего, с резким лицом угловатым — без усов, бороды, с папироскою и с большими глазами серыми. Может, и теперь мечтала, да по-иному только: не о рыцаре, что в прекрасном саду ей соловьем про любовь расскажет и поведет в волшебный замок, а о человеке смертном, в грехе рожденном, ласки которого и хотела и боялась, оттого и боялась, что теперь поняла только, что и раньше любила его, да не та уж любовь девичья, а любовь греха смертного. И сама не та Феничка, и любовь иная, и мечты по ночам в сновиденьях всем телом вздрагивающим томительны.

Не застенчивость провожаний к подругам за уроками позабытыми, а лукавый смех женский, привлекающий и отталкивающий.

Афонька взошел, сперва не узнал Фенички, и она его не признала в поддевке синей, с короткими волосами, с бородкой клинушкой.

Вошел в горницу дожидать Антонину Кирилловну и слышал, как Феничка говорила с Петровским.

— Без хорошего сочинения нельзя, Феня, на курсы ехать,— стыдно в седьмом классе не знать Рудина и Базарова: это ведь первые типы будущих революционеров.

— Как вы, Никодим Александрович, до сих пор не можете понять, что на курсы я собираюсь, чтоб интересно пожить,— это вы только мечтаете о революциях, а мне и без того хорошо. Ишь вы какие волосы отпустили, хоть заплетай косу... Любая ваша курсистка стриженная позавидовала бы...

— Теперь и курсистки прическу носят... А все-таки надо уметь писать сочинения.

— Научусь, Никодим Александрович, и на курсах буду, вы за мной потом и ухаживать будете, как студенческую фуражку оденете.

— Ухаживать кавалеры могут, а мне некогда. Вас не волнует, что 130 миллионов людей до сих пор у царей в рабстве, а я живу этим, понимаете?!

— А разве я уж так неинтересна, что за мной и поухаживать нельзя?

— Ну, до свиданья, Феня,— об этом мы говорить не будем...

— Как всегда, удираете, точно красная девица...

Уходя, Петровский еще раз невольно заглянул в горницу на Афоньку и встретились глаза их, и скользнул огонек в них жуткий: встретились и почувствовали, что враги, на всю жизнь враги заклятые. Может быть, больше никогда и не увидят друг друга, но

врагами на всю жизнь останутся. У Петровского ни одной мысли не мелькнуло об неуклюжем человеке рыжем, только чувство вражды ощутил странное,— зато у Афоньки загорелась в душе ревность и ненависть. Почувствовал, что не ровня Никодиму Александровичу и не может запросто говорить с Феничкой: кроме любви упорной не о чем ему рассказать девушке, не придумать ему комплиментов вежливых, не рассмешить ее забавным чем, а без этого он и не человек для ней, а так — сиделец в трактире Галкина; оскорбленная злоба легла против репетитора с шевелюра пышной. И тут же подумал, что Николкиной красоты позабыть не может и теперь длиннокудрого ищет. За каждым движением следил Фенички.

Дверь за Петровским закрыла сама и с улыбкою задорно, пробегая в свою комнату, спросила:

— Вам кого нужно?

— Антонину Кирилловну, маменьку вашу, Фекла Тимофеевна, и дядюшку тоже — Кирилла Кирилловича, господина инженера.

— Маменьку я сейчас пришлю, подождите.

Сама Гракина узнала Афоньку, сторонкою слышала, что прижился он у Марьи Карповны и у старика в почете и доверии.

Целый час о письме старика Касьяна Парменыча проговорили они вместе с самим инженером Дракиным, и согласился Кирилл Кириллыч хоть и триста тысяч получить от Галкина, и день назначили, где условия подписать, и ответ вручили Афоньке.

Подписали, как полагается, векселек под дома Феничкины с ее подписью собственноручной, и запер его Касьян в конторку ореховую в молельной и, перекрестившись благодарственно Казанской в жемчугах с яхонтами, повесил старик за икону на киот ключик.

Только не спал по ночам Афонька в кладовке под лестницей — ломал голову, как Феничку из беды избавить — добыть векселек подписанный. Поет псалмы — сам думает. И еще стал смелее со стариком Касьяном.

Иной раз и в молельную заходил с ним после всенощной, и не то, чтобы помолиться образам стотысячным, а получше посмотреть на конторку ореховую да послушать восторженно стариковы сказания про образа трехсотлетние, про каждый у старика была своя летопись: от пожара избавили, от воров спасли, из воды в половодье на берег вывели.

Как-то уехал старый по делам в уезд и оставил опять его Марью Карповну караулить, а он перед сном грядущим помолиться вздумал, лампадку возжечь угодникам, и Машеньке сказал, что пойдет помолиться. Достал из аналоя бутылку с маслом, налил лампадки,

фитили заправил, стал тянуться ставить их, пошатнулся нечаянно и задел киот Казанской — с места сдвинул. И показалось ему, будто за киотом что-то звякнуло, закачалось. Что такое может постукивать за киотом? — заглянул — не видно, руку подсунул — ключик.

— Что за история? Ключик какой-то на бечевочке... От иконы — велик, от чего ж бы он мог быть?

И как что осенило его:

— Уж не от конторки ли?! А что если от конторки?.. Спасти ведь могу Феничку. Захочу и спасу! Тогда век будет благодарна мне. И не ключик паршивенький, а судьба ее в моих руках,— вся жизнь ее тут, в этом ключике.

Вспомнил, что купчиха его дожидается, и обратно повесил его за Казанскую.

— Береги ты его, пресвятая богородица, никому не показывай.

Неласковый был с Марьей Карповной, все про ключик думал; спросила его — отчего сумрачный, и ответил, что не по себе что-то, тоска гложет, и в первый раз почувствовал, что и вправду он по обязанности с ней любится. Сперва, как приехал, озорство было старика надуть,— и от озорства даже вроде любви что-то жило в теле — жадность несытая, а как цель свою подержал сегодня в руках — ключик этот, так и понял, что ради ключика, ради Фенички он лежит с Галкиной. И раньше знал, что цель — Феничка,— повидать ее, а, может, и поговорить когда, да только далеко эта была, а под боком-то жила Марья Карповна, потому благодаря ей, может, и Феничку повидать придется, а сегодня вот и уразумел и почувствовал, что Феничка-то ближе стала ему. И все-таки до самого приезда Касьянова не уходил от Галкиной, потому, если уйти, и в молельную тогда не придется зайти поглядеть на ключик. До приезда еще не один раз побыл, точно удостовериться хотел,— висит или нет? Еще раз и рукой пощупал его, и Казанскую поровней поправил, чтоб старик не заметил чего. По монастырской привычке и перекрестился несколько раз.

Приехал старик, и потекли дни будничные. Целые дни за стойкой Афонька сидел, думал про ключик тот,— даже Лосев заметил.

— Чтой-то вы, Афанасий Тимофеевич, сумрачны-с? Или хозяин что?..

— Ничего, по-старому все...

— Должно, денежки-то не получили еще за то дельце? У Касьяна Парменыча всегда так — любит потянуть, пока особая-с нужда не подойдет ему в вас, знаете — человека к сроку подыскать курящего, — помните, я говорил вам еще-с тот раз? Он вам к рождеству-с, к

праздничкам-с в виде особой милости пожалует, а после Нового-с года и напомним, что де, мол, задаром-с ни одной копейки не дают теперь, а извольте-с, мол, к весне (в марте-с векселек-то был, так?) устроить пожарец у купцов Дракиных. Только вы, Афанасий Тимофеевич,— я вам хочу дать совет добрый-с, неопытны-с вы еще, уж вы извините мне, что я вперед забегаю-с, события-с, так сказать, опережаю-с, — не продешевите, когда на расходы брать будете; понимаете? — угостить кого нужно, сводить под пьяную руку в слободку к девочкам,— конечно-с, простому человеку не первого сорта и угощение, и девочки нужны, и за труд, а все-таки-с расход, потому, изволите ли видеть, в один день такого человека не найти вам, может, и не одного испытать придется,— не сразу к нему подойдешь — тюрьмою-с пахнет, уголовщиной, ну, а придется вам поискать человечка такого, а найдете — и с тем провозитесь не одну неделю,— ведь раньше-с, чем осенью, да еще поздней, пока мужичок-то не посвезет пеньку, и несчастного случая нельзя устроить, а вот когда фабрика-то на полный ход пущена, тут-то и придется позаботиться. Так я изволил говорить с вами, что и с найденным человечком и то не одну-с недельку повозитесь, потому как он заломит с вас цифру круглую, и придется с ним поваландаться. А уж тут,— я по секрету-с вам ради особого уважения-с, холостой ли, женатый, а найдите вы ему-с под пьяну-с руку получше-с девочку, чтоб по вкусу пришлась,— понимаете-с?.. По вкусу придется, сам вас потащит к ней,— вы и стакнитесь с ней насчет цены, а ей за это дадите сколько,— не возьмет много, кто-кто, а они цену деньгам знают-с, а уж кого нужно уговорить насчет цены, улучит такую минутку тайную и уговорит его. А там и делу конец. Так вы-с, Афанасий Тимофеевич, на расходы не прогадайте у хозяина взять. Тут не тремя тыщами пахнет, а если умеючи-с и еще пять заработать можно. У Наумова, я по секрету скажу вам, и на собственное питейное заведение хватит, и никак я не могу-с понять, чего он остался дворником,— тут тоже не без каверзы-с на ваш счет. За ваше-с здоровье, Афанасий Тимофеевич,— за успех предприятия-с, а с успехом поздравлю-с особо вас... Наумова остерегайтесь только, прознает про это дельцо — наперед старику пойдет, чтоб только вам напакостить, и денег не пожалеет своих на того человечка, что вы трудами-с долгими найти-с соизволите. За ваше здоровье, Афанасий Тимофеевич!

Вечером в кладовку пришел свою из трактира, только ложиться хотел — будто дверь кто трогает, раздеваться стал — опять будто стук легкий.

Приоткрыл — Дуняшка стоит.

— Тебе чего?

— По делу к вам, по секретному. Еле дождалась, когда уляжется, — к ней сегодня пошел и пост не соблюл — пошел к хозяйке. Насчет вас история у них вчера вышла.

— Заходи, говори в чем дело.

И не обнял ее — заколотилось сердце, как услышал про старика с хозяйкою.

— Неласковый вы сегодня!..

— Неласковый? Ты говори, Дунь, что случилось?..

— Петрович ему наговорил вчера про вас чего-то, а чего — сказать али нет, уже не знаю сама, — говорить ли?!

— Не мучай ты меня, говори, Дунь!

И с досадой на колени к себе посадил, в первый раз. За шею его обняла и шепотом, и не на вы, а на ты, Афоню:

— Видел он тебя в спальне у ней, сама слышала, — говорит, — не занавешено было и ставни не было, сам видел, как сиделец-то новый ваш, так это в десятом часу, зачем-то в хозяйкиной спальне был и Марья Карповна с ним, а он-то уже без поддевки, только потом, говорит, ставни заставил, сам заставлял, хозяйственно. Я это к Марье Карповне — рассказала ей, — говорит, скажи, что отпущена была — ходила в цирк поглядеть, а я, говорит, скажу своему, не могла ставню сама поднять и позвала Калябина, а что без поддевки был, так в передней скинул ее, прикрывается ночью, мол, так уж перед сном было. И к тебе за этим послала. А еще послала к тебе за тем, чтоб до утра я у тебя пробыла, ты говорит, Дунь, спаси меня, — побудь у него, будто любовь у вас, а я приду, искать тебя буду, найду, тут и старик успокоится: не со мной, мол, живет, а с Дунькою. Так мне, Афонь, оставаться? А?..

И вправду его обняла, когда согласился, чтоб оставаться на всю ночь до утра.

— Сама прислала, Афонь, к тебе. Не пришла б, может, а теперь — судьба.

— Ложись, Дунь, а я посижу тут, а может, и на пол лягу.

— Я тебе было еще рассказать хотела, а ты, вишь, какой, точно не любишь. Может, и вправду не любишь, говоришь только?

И от волнения, от тревоги за судьбу свою — за подпись Феничкину, за ее судьбу, через силу целовал ее...

— Каб не любила тебя, Афонь, не пришла бы, — ради тебя согласилась придти. А еще я тебе скажу — пытал меня сегодня Наумов, в тياتер звал. А что, говорит, Афонька-то с хозяйкой как

дружно живут, душа в душу. Смеется, окаянный, точно чувствует,— нух у него, как у собаки гончей. Я ему говорю: а тебе что, завидно, что ль, что из сидельцев тебя согнал хозяин? А в тиятер-то я и с Афанасием Тимофеевичем пойду, коли надобность будет. Пусть и он знает, чтоб старому не набрехал чего.

Еще ночью по дому Марья Карповна подняла гомон: Дуняшку искала, за дворником самого Касьяна Парменыча послала, чтоб и Наумов знал, что чиста она, как агнец; понадобилось ей в коридор, глянула на сундук (со свечой шла) — Дуняшки нет, дверь попробовала — не заперта, и знала, что нет, да хотелось комедию разыграть получше и самой войти в роль возмущения. Самого Наумова и в кладовку к Афоньке послали, и привели с повинною девку к самому старику.

Наумов за дверь, Марья Карповна и давай старику вычитывать:

— Видишь теперь, с кем твой сиделец-то новый любовь крутит, попал в трактир, подле водки засел,— небось и выпивать стал, а стал выпивать и до этого дошел. Вот тебе и монах, и святой человек, а ты меня поедом ешь, человека ставень позвала закрыть, а он не бог весть что придумал, только меня-то измучили, а все это твой Петрович злобствует, что из сидельцев прогнал, и не то что на Калябина, а на весь свет злобствует, и на меня тоже, а я-то тут при чем, ну, скажи, Касьян?

Старик только покрякивал да головой крутил. И вычитывала-то Марья Карповна при девушке, чтоб старика застыдить сильнее. А Дуняшка чуть не в причет, будто и вправду перед барыней провинилась:

— Заманил он меня, Марья Карповна, барыня, голобушка,— не сама я. Я, говорит, люблю тебя; как на место сюда пришел, так и полюбил,— женюсь, говорит, на тебе.

— Я вот его оженю завтра, а ты ступай, не голоси тут,— прикажу — так женится.

И опять пошел Касьян к Марье Карповне,— добродушно посмеивался:

— Все они святоши, дай только им до вашего брата добраться, и святость свою потеряют. Ложись, Дашенька, до утра еще долго.

— Ты не гони его, Касьян Парменыч,— был монахом, а в город попал, и потянуло его житье, как и все живут. Трудящийся он, смирный.

— Жениться заставлю на ней, а не женится — прогоню.

Наутро Афонька за стойкой сидел сумрачен, дожидал, что хозяин ему говорить будет,— до обеда не дождал, пришел только к вечеру.

— Ты что это вздумал?! Монах да распутствовать, да еще у меня в доме?

Молчал Афонька, молчанкою решил отделаться, дать старику выговориться.

Под конец отошел Касьян Парменыч, только жениться ему приказал на девке.

И начал Афонька опять ото всенощной старика провожать, и о святости по-прежнему говорил, и о том, что жениться-то он, конечно, на Дуняшке женится, а только надо сперва деньжонок на житье да хозяйство себе заработать, одному-де и в каморке жить можно, а как дети пойдут — не запрешь в кладовку. И старик настаивать под конец не стал, когда от Марьи Карповны узнал, что не Афоньке столкнуть девушку с пути истинного, а как узнала Дуняшка, что хозяин ему приказал жениться, так и с ним только на людях видится.

А Марья-то Карповна и в самом деле Дуняшку расспрашивала, от ревности и выпытывала:

— Ты по правде мне говори, не тронул?!

— Вот перед истинным, Марья Карповна,— что ж бы, я далась ему, что ли, да ни в жисть, на что он мне сдался-то! Что я не знаю, что ль, что он с вами живет, так что ж я себе, что ли, враг, коли пойду против вас? Да мне он и того не по душе, страшный, а здоров-то, аль не страшно,— навалится, так задушит, что ж враг себе, что ли?..

И опять потекли дни за днями, субботы за субботами, отъезды Касьяна да возвращения, только еще зорче Наумов следить стал и за Афонькою, и за хозяйкою, и за Дунькою.

К Рождеству, как по-писанному, подарил хозяин Афоньке за труды, за свидетельство и за будущее половину обещанного, а вторую посулил, когда конец будет успешный, а если он хочет, чтобы успешный был, так и дальше поможет хозяину, ради своей же выгоды. И почувствовал Афонька, что подходит для всего время страшное — решать судьбу Феничкику.

V

На масленой и призвал хозяин блинка поесть Афанасия Тимофеевича, а потом, после ромanei аглицкой (первый раз разрешил Афонька старинку вспомнить), разморило ему душечку, и пошел он с хозяином в молельную отдохнуть. Разные разговоры были,

только под конец перед чаем начал Касьян про дома Дракикские и перевел на пенечные склады инженера Дракина.

— Я тебе, Афанасий, что скажу,— надо нам домики в оборот пустить; я ему первый взнос на второй только год просил сделать, осенью этой, только я смотрю, деньги прах тленный, не в деньгах дело, и у него-то они лишние, потому — фабрика новая, так либо фабрику, либо дома береги, а то на чужие денежки и то, и другое подай. Домики-то не его, собственно, племянницы, да это все равно, одним миром мазаны, а вот как у него пенька сгорит осенью,— а ведь может сгореть, мало ли каких не бывает случаев, недобрый человек подвернется — и пеньки нету. Тут уж либо завод держи, либо дома, а то моими деньгами работать кому не лень, а мы с тобой, Афанасий Тимофеевич,— так, кажется? — Тимофеевич? — Так мы их и приумножим во славу божию, и тебе они не лишние будут,— такой потом откроешь трактирчик — беда просто, за пояс заткнешь нас, стариков... ха-ха-ха... Сам себе был бы хозяин, не смотрел бы из рук Касьяна Парменыча, и опять дело доброе, народ кормить будешь. А подле фабрики-то Дракинских ни одного нет, а народу у него — тысячи, нет-нет да и зашел бы какой-нибудь душу чайком промочить, водченкой побаловаться, я б тебе и помог, у меня рука легкая. Да что ж ты молчишь, ай не нравится, что не так говорю, как сам думаешь,— а ты Расскажи, вдвоем и надумаем,— может, еще что получше придумаем.

— Не пойму я, Касьян Парменыч, речь вашу, попрямей бы как,— может, и понял что.

— Так ты говоришь попрямей,— изволь и попрямей можно. Нужно, чтоб к платежу у Дракина пенька погорела, либо на фабрике пожар случился, что будет выгодней, а тогда либо на сколько все дело останавливай, либо денежки-то, что приготовил в уплату, опять в оборот пускай. Понял, что ль? А тебе только человечка подыскать верного с огоньком на склады либо на фабрику и весь труд; а за работу, уж я говорил тебе заведение открою и деньгами дам. Ты не забудь, Афанасий,— три петрушки получил... За мной еще три.

— Что уж, Касьян Парменыч, нанялся — продался, придется уж видно кончать дело.

Точно рак вареный Афонька вышел из молельни чай пить, а сидел, старика слушал в молельной, из стороны в сторону ерзал, не по себе было от слов Касьяна Парменыча ему. Ждал, когда старик скажет, и не верил, что скажет,— сам себя утешал, концу своему отсрочку делал, и подошло время. Так и подмывало наперекор старику пойти, да знал, что в конторке ореховой под бархатом

черным с крестами нашитыми лежит судьба Фенички, а может, и его тоже, и ключик от судьбы этой висит за Казанскою. Заглянуть даже хотелось — на месте ли, не перевесил ли куда старый на другое место... И согласился ему помочь, не обедняет, если дома целы будут сиротские,— что ему триста тысяч?..

За чаем хозяин сидел благодушествовал, косточки перемывал соседские, и не перестал бы, если б не звонок в передней.

— Кого это бог принес?.. Да ты, Афанасий Тимофеевич, оставайся,— без тебя Василий в трактире справится.

Не ведали гостей, а пришли, любы — не любы, надо потчевать Антонину Кирилловну с братцем инженером Дракииным.

Марья Карповна встречать вышла, а старик подмигнул Афоньке:

— Ишь ты, легки на помине... Чутье у них — гончее. Поглядим, чего говорить будут,— слушаем... Вот, помяни мое слово, заговорят про деньги.

Обрадовался Афонька, что, может, что-нибудь да услышит про Феничку,— хоть несколько слов да скажут, если не Дракин, так мать не вытерпит.

Старик, будто добрый,— дела хвалил дракинские, только глаза щурились, когда смеялся, и огоньки злобные бегали:

— А здорово ты, Кирилл Кириллыч, пустил фабрику,— англичанке-то, небось, не по вкусу? А? Недовольны, что не пенькою, не сырьем, а пожалуйста канатики у нас покупать. Одного народу у тебя сколько кормится.

— Денег, Касьян Парменыч, на такое дело много нужно,— если б еще набрать полмиллиончика, осенью и в Калужской губернии можно было бы закупить пеньку, послать понадежней людей, и гони через Коммерческий,— треть внес, а две трети кредиты.

— Ты, что ж, монополию, что ль, на пеньку думаешь взять на всю Россию? Смотри, не сорвись, Кирилл Кириллович!.. А то в полгода загудишь.

— Вы только подумайте, наша дает 18%, да Курская — 16, а если еще прихватить и Калужскую, так всех 50 процентов и наберется. До монополии далеко, конечно, а конкуренцию создать можно. Пусть на мою долю тридцать выпадет, и то можно цену поставить на рынке, а по копеечке сбавлю против остальных, и не угнаться за мной никому. Только б деньги!.. Я и то хотел попросить вас отсрочить мне на полгода взнос первый, а сезон отработаю, оберну деньги, тогда сразу вам за полтора возвращу и проценты за остальные вперед отдам.

— Никак не могу, Кирилл Кириллыч, сам знаешь, голубчик, осенью ремонтной на два полка поставка, да за границу надо отбой сплавить,— лошадки, брат, тоже чего-нибудь стоят.

Только Афонька видел, как старик радуется, бороденку растрепанную пощипывает,— первый признак — как начал подергивать волосенки реденькие — доволен, злобствует. И стариков разговор слушал, и к женскому прислушивался, с левой стороны сидели к сердцу ближе и слова-то о Феничке.

— Осенью, вот, Маш, на курсы поедет Феничка, в Петербург хочет, соблазнил се дядюшка Петербургом — все время бредит.

— И одну отпустить не боишься?

— Теперь бояться мне нечего за нее, сама знаешь.

— Не надоело еще учиться?

— Насчет ученья не знаю, а поживет и жениха найдет. Не выходить же ей, в самом деле, за купца,— теперь купцы-то своих посылают за границу даже, или вот еще за репетитора что ли своего, — может, он и хороший человек, да только у полиции под надзором, и не скрывает даже — героем себя чувствует.

Одно только и понял Афонька, что осенью Феничка в Питер укатит, да что с репетитором у ней не ладно что-то. Вспомнил, как в передней они разговаривали,— с того раза и запомнилось, как глядел на нее репетитор этот. И почувствовал, что конец близится: спасти Феничку от старика Галкина и самому за ней следом — пока не поздно. За каждым шагом следить надо старика Касьяна, каждое слово знать, и опять об Дуняшке вспомнил.

— Пригодится она, теперь и пригодится. Может, сама и не говорит всего, свой интерес соблюдает, а Дуняшка скажет, ей беречь не для чего.

В тот же вечер по коридору проходя в кладовку свою, мигнул на дверь Дуньке,— вышла за ним.

— Что надо?

— Что ж ты, Дуняшка, ко мне никогда не придешь?!

Обнял ее с поцелуями...

— Да что ж приходить-то, ночью была и то ни к чему,— ославили только, каб вправду — не обидно бы было...

— Тогда ведь я знал, что была послана, знал, что каждую минуту придут искать,— приходи сегодня, ждать буду.



И ушел к себе вниз по лестнице, и ответа не стал ее дожидаться, из темноты вниз опять повторил:

— Приходи, Дунь.

Будто и обида еще в душе жила, и от поцелуев-то надежда опять проснулась, и ушел-то, сорвался точно — не знала, что делать, и, цепляясь за надежду последнюю — вскрикнула тихо:

— Приду.

Шла — было жутко, а вошла — душа оборвалась, как играть с нею стал, дразнить ласкою с поцелуями, на коленях у него сидела — на руках лежала, запрокинув голову, а он целовал ее, целовал и давай шептать:

— До осени ждать нам, теперь недолго, Дуняша,— всего до осени, свое заведение открою осенью, сам старик обещал — дельце одно ему надо обладать, не надул бы только меня, этого и боюсь я, а тогда и осенью не придется.

Прислушалась к шепоту и точно очнулась Дуняша.

— До осени?.. А я, Афонь, думала...

— Да ты слушай, глупая!.. Как же теперь-то можно? Узнает ведь, сама узнает и взревнует тебя. Взревнует — тогда выгонит, а помочь-то и некому будет. Без помощи тут ничего не выйдет. Я тебе теперь как свой говорю — знаешь Дракиных?

— Ну, знаю...

— Так хочет их старик в трубу пустить, а я что вздумал... самому в это дело вступить, потому наобещает Касьян много, а к чему придет — шиш маслennyй, а если сам возьмусь — такие капиталы нажить можно, не то что трактир — откроем гостиницу на главной улице. А без твоей помощи — ничего не выйдет.

— А мне-то что делать?

— Каждое слово Касьяново слышать. Сама-то, ты думаешь, расскажет что,— дождись! Пока не надоем — живет, а свой интерес — во как блюдет — ни слова не скажет, продувная. И с ней-то я из-за этого дела, понимаешь? Взревнует — конец тогда,— от кого я узнаю что, а тут ты, своя,— не любил бы, не сказал бы тебе, не доверился. Да так нужно, чтобы и про нее со мною старик ничего не знал, узнает — тогда мне конец,— так и тут не обойтись без тебя. Ее то ж надо от старика беречь — не узнал чтоб, а то Петрович выслеживает, местечка-то жаль ему, ну и не дождется, когда старику про меня наговорить можно. Сама знаешь, один раз было уж. Понимаешь, Дунь?..

— Как не понять — понятно, только боюсь я, Афонь — возьмешь ты на себя кровь Касьянову. Так, что ли, будет?

— Вот те Христос, пальцем не трону, ничьей души не загублю — не возьму на душу греха такого. А что я теперь такой-то так сама пойми, сладко, что ль, нам урывками-то, как ворам, видется, коли б я принял тебя теперь? Разве ж я не люблю тебя?! Самому держаться трудно, а надо, а ты обижаешься...

— Не любила б, не пришла б к тебе тогда ночью, а ты как бесчувственный. Ладно, буду стараться, не разлюби только.

И на лестницу проводил с поцелуями, а вернулся — до утра не заснул, продумал.

Опять Дунька девкой вернулась на сундук к себе, и жутко ей стало, что затеял Афонька недоброе что-то, а в то, что замуж возьмет ее — поверила, оттого и поверила, что заодно будут действовать, а раз заодно — на всю жизнь связаны — все равно не уйти от нее Афанасию, на всю жизнь будет в ее руках.

А Касьян Парменыч наутро к Афоньке в трактир пожаловал. Бороденку почесывал, ехидно щурился и посмеивался:

— Слышал вчера? А? Гостечки милые! И еще б взял, коли б дал. Ушел рано ты, а он говорит, что и шпагатную-то заложит к осени... Теперь наш, не зевать только. Так ты, Афанасий Тимофеевич, займись-ка теперь, подыщи человечка верного!..

— Да я, Касьян Парменыч, и не знаю как!

— А ты поучись!.. Не мне ж учить тебя этому. Расспроси кого-нибудь.

— Кого ж про такое дело спрашивать?..

— Таскается тут один,— небось, знаешь,— кляузы мужикам строчит.

— Поверенный, что ль? Лосев?

— Поверенный, брат, поверенный!.. Он самый. Ну, а мне некогда, пойду я... Да ты не зевай, поскорей надо, надо все обстроить за полгода, чтоб в августе запасы-то старые пустить по ветру, да к самой работе-то и на фабрике петуха пустить. Расходы будут какие, за деньгами сам приходи, да не в лавку, смотри, а наверх вечером. Ну, с богом!

Понял Афонька, что начинается мирское странствие для него, и путь-то порос репьем, да волчцами. А Лосев после того раза, как поучал сидельца Калябина, глаз не спускал с него, караулил, выжидал, когда работка ему выпадет по делу дракинскому, и каждый вечер садился за столик в углу подле двери кухонной, против стойки Афонькиной. В базарные дни по трактиру таскался, работенки искал случайной, а по вечерам без дела ходил, посидеть просто против Калябина. И дождался на масленой маслены. В тот же вечер велел

Афонька Василию блинками угостить Лосева и графинчик подать маленький, и Василий смекнул что неспроста захотел Афанасий Тимофеевич угостить кляузника,— от хозяина разрешение, значит, получил особое. Запросто селянку ел Лосев задарма, а тут — блины с закуской и выпивка. Лосев тоже понял, что начинается, значит, работа, и подошел будто Калябина за угощение поблагодарить особо.

— Премного-с вам благодарен, Афанасий Тимофеевич, блинки-с у вас удались нынче,— такие блинки-с, что и еще бы в охоту скушал, одному только скучно-с...

— Ладно, я за компанию съем с вами, все равно ужинать буду, так с вами.

И вторые подал Василий с закуской и даже икорки принес кетовой.

— Ну, как насчет домов дракинских?

— Коли уж начали говорить, кончу я! Нужно мне человечка найти...

— А что я вам говорить изволил? — как по писанному-с...

И рассказал Афонька поручение старика Лосеву.

— Будьте-с спокойны-с, с удовольствием-с, Афанасий Тимофеевич. Такое дельце и у старика не каждый день, да-с... Дельце-с крупное-с, осторожно-с начинать надо-с... Да-с... Ну, да время-то до осени короб-с, девать некуда, а что заработаем мы с вами на нем — будьте-с покойны, только извольте-с моими указаниями не брезговать. За ваше-с здоровье, Афанасий Тимофеевич, за доброе начинание-с...

И целый вечер слушал Афонька причитания Лосева, пока пора стало трактир закрывать Галкина.

На другой день и Наумову через Василия стало известно, что сиделец блинами кормил Лосева,— значит, какое-то поручение от старика есть Калябину.

Каждый день Петрович Василия спрашивал:

— Ну, как рыжий-то?

— Сидит, Николай Петрович...

— Никаких дел не заметно?..

— Никаких.

И стал Наумов целые дни на скамеечке подле ворот просиживать, выжидать — не пойдет ли куда Калябин,— пойдет — и он следом. По пятам ходил издали вечерами, потому больше вечерами по таким делам и сам хаживал, и с Лосевым. Одна выuka что для него, что для Калябина. Наперекор пошел и Касьяну Парменычу, и Лосеву, лишь бы сжить сидельца нового.

VI

Зима, не зима, в марте — ростепель, на несколько дней подморозит — опять холода, сидеть бы дома, либо за стойкой в трактире Афанасию Тимофеевичу, а тут гоняй вечерами с ребятами слободскими по веселым заведениям,— постом-то. Выбирай человечка нужного. Указал Лосев на трех человек, что в базарные дни на лошадей набивали цену, а сам, говорит, некогда, не мое дело, я только советец подать добрый, а чтоб в уголовщину пускаться, на то я и присягу принимал, чтоб честь свою охранять.

А тут опять хозяин уехал — по ночам караулить, ублажать Марью Карповну. Раньше хоть дома сидела, а теперь в баньку с ним ходить выдумала, потому в тепле, да в прародительском образе точно в раю человек пребывает, и что на земле-то живет, и про то забывает, когда любовною лаской объят греха смертного. Один раз после омовения возлежала в предбаннике с ним и говорит:

— Афонишка, а ты знаешь, раньше-то я была дура, мы б и при старике тут могли бывать, и в нос бы не клюнуло,— теперь умней буду, и при нем любиться будем, еще слаще любовь, когда постоянно в опасности.

Приехал старик, спросил только:

— Ну, как, подыскал кого?

— Трех человек нашел, о цене не говорили еще,— узнать хорошенько надо.

— Смотри, чтоб к сроку готово было.

И Дунька по вечерам с вестями бегала, всякое слово передавала ему, а уходить станет — прижмется к нему ревниво и поцелуями дышит, вздрагивая:

— Скорей бы, Афанасий Тимофеевич, ваше дело кончалось, кажется — до осени-то невесть сколько время еще, а терпения моего нет на ваше житье смотреть с хозяйкою, обидно мне, силу-то свою тратите,— ей на забаву только, а мне бы — на всю жизнь с вами, а сила-то уйдет, растратите все, а мне-то что ж?..и ласки не останется вашей...

— Теперь скоро...

— Что ж, что скоро, а с хозяйкою по-прежнему, да еще в баню ходите. До мяса не ест, постится, а с мужиком ублажаться в бане — и поста нет. Старик бы знал?!

— А тебе-то что?

— Как же что, она и мне говорит, я теперь и при старике буду с ним в Зайцевское ездить, только и будешь знать одна ты, чтоб на случай какой найти где нужно, а то и выручить.

Один раз вечером прибежала:

— Говорили сегодня насчет Гракиных, не то Дракиных, под дверью стояла, всего не расслышать было, а только говорили, что не знает как с векселем быть, не то продать с обратным, не то у себя держать. Не шутка, говорит, в чужие руки триста тысяч передать, хоть и своему дам на время, а как улизнет куда, либо еще что выкинет.

— На чем порешили?!

— Конца-то я и не слышала, ушли к окну... Старик только бурчал все время...

И опять Афонька целые дни мучился — продаст или нет, уплывет векселек из конторки ореховой — конец тогда, целый век придется за стойкой сидеть, да ублажать купчиху. Ехал к Марье Карповне и не думал, что тяжесть от этого на человека ложится, потому наголодается за зиму на монастырских хлебах, летом и рыщет по лесу, купчих высматривает, как зверь лютый. А тут хоть и передышка ему, а все будто убавляются силы плотские. Дождался свободы своей Афонька, своими руками ее схватил за глотку и не пускал, чтоб не вырвалась, — мечтал, как он избавителем будет Фенички. Как еще будет, не знал, думать некогда было, а только ждал дня страшного.

В слободке таскался с ребятами по разным домикам, в картишки играл с ними и проигрывал для поощрения и намекал, что дело к ним есть, петуха пустить Дракину, — отговаривались все — страшно, мол, в остроге сидеть и дорого стоять будет работа. Один даже трепальщиком нанялся и про базар позабыл: во все закоулки — на фабрике и на складах совал нос.

— Караулы там, Афанасий Тимофеевич, строгие, запоры крепкие — тяжело будет.

— Цену мне говори...

— Меньше двадцати тысяч не возьмусь, неохота в остроге сидеть, карьеру портить свою, — в паспорте-то пропишут, если с поличным захватят, — хорошо улизну, а нет — на всю жизнь арестант крапленный.

Афонька с ребятами, и старый сиделец следом Василия подсылал свидание устроить, — пойти — пошли, а толком ничего не сказали Наумову.

— Не договорились еще, в цене никак, должно, не сойдется.

— Уступи половину, а половину я дам.

— За что ж это?

— Афоньку подвести под тюрьму, мое место занял и с купчихою занимается, поймать не поймал — перехитрил бестия,— только знаю, что старик дураком ходит. Хочу доконать его...

Посмеялись ребята над Петровичем, а только так и не сказали ничего. Встретили Лосева — к нему за советом,— так, мол, и так — наперекор Афанасию Наумов идет, на чью сторону становиться.

Лосев смекнул в чем дело.

— Дурачье вы, вот что, с молодого-то по неопытности содрать можно будет лучше, и волынку тянуть сколько выйдет, так-то, ребята, дельце-то во сколько лет одно попадетсЯ такое,— надо пользоваться человека... Да-с... А Петрович обстрелян на этом, шиш вам за это масленый. Да-с... Вы только уши развесите — ослы этакие — обведет вас Петрович-то вот как-с, за мое почтение-с...

Так и не вышло у Наумова ничего, хотя и не переставал он следить, и через Василия у ребят узнавал, что нужно, потому Василий приятелем прикинулся Афанасия Тимофеевича, так и ребятам сказал, — заодно, мол, действуем, вы уж не очень-то наседайте на него — человек хороший.

Как белка крутился Калябин по этому делу и от купчихи не отставал, когда в баньку просилась с ним. И при старике стала ходить в Зайцевское, на другой конец города, на Дворянскую. С одного конца улицы баня в три этажа кирпичная, а с другого — острог новый и тоже без штукатурки, а через всю улицу господа дворяне в особняках с палисадами. Простой народ почти и не хаживал в эти бани в дни будние, поблизости только и была одна слободка Новорецкая, а ходили из ней под гору, в Бакинские. Наумову и невдомек было за хозяйкой следить, а Афонька когда в баню шел — на трамвае через весь город ездил, а раз сел на трамвай, значит, еще по какому делу — не по Галкинскому, и следить нечего.

Перед страстной седмицей Касьян говеть, а Марья Карповна — в баньку вздумала. Призвала Дуняшку:

— Пойди, Дунь, скажи Афанасию Тимофеевичу, Марье Карповне, мол, в баньку хочется. Он знает куда.

Прибежала Дунька в трактир к Афоньке и передала шепотком просьбу хозяйкину. Вышел из трактира — после дыму табачного, запаха винного и захотелось по апрельскому вечеру пешечком пройтись. Наумов глянул — Калябин пешком пошел и — следом. Ежели через гору идти слободою — совсем близко, глухими переулками подле заборов, садов мещанских, приятно даже — почка листву гонит, и ветерок землю пахотной с полей тянет. И дошел

Афонька дорожкой ближнею, а следом, по другой стороне, в отдалении Петрович. Взошли на гору, повернули к Дворянской, подле бань Афонька прохаживается.

Петрович подле ворот чьих-то в потемках стоит — думает:

— Зачем же это в бани ему?.. Ждет кого-то... Поглядим кого.

И полчаса не прошло — на легковом Марья Карповна подкатила.

По походке узнал Петрович, а подошел к ней Афонька, у него дух захватило от радости.

— Теперь-то ты мой... С поличным, можно сказать.

И пустился под гору во весь дух. Прибежал к дому, глянул — огонь у старика, от вечерни пришел, молится. Попробовал дверь — не заперта, по лестнице — позвонил, Дуняшка встретила, увидела, что запыханный и передохнуть не может, — глаза горят, заикается...

— Вам что, Николай Петрович?

— Касьяна Парменыча повидать, срочно.

— У себя молится, от вечерни пришел только что, беспокоить нельзя.

Рвется в дверь, отталкивает девку — проскользнуть хочет, — поняла, что неладное что-то, недаром выпытывал про хозяйку да в цирк звал. Пустила его, а сама не к себе в коридор, а за дверь поглядеть, что дальше будет.

Старик из молельни на стук рассерженный вышел.

— Тебе что?

— По секрету, Касьян Парменыч.

— Говори тут, никого нет. Какие там завелись секреты?

— И сказать-то не знаю как, говорить страшно. Насчет Афоньки я... Тогда говорил про него вам, что в хозяйкиной спальне видел, а теперь — того хуже.

— Ну?..

— Подле бани их сейчас видел, вместе пошли.

— Этого быть не может! Брешь ты!

— Хрест истинный, — в Зайцевских.

— Вели заложить, сам поеду, а ты тут будь, с тобой срамиться только. Погляжу — вернусь.

Петрович во двор, старик в молельную, а Дуняшка накинула кацавейку, покрылась платком и через парадное и не заперла даже — во весь дух через слободку на гору, опередить старого. В номерной этаж влетела — к коридорному, чуть не плачет, указать молит номер ихний...

— Знаешь ведь ее... Галкину, бывает часто... видеть нужно, несчастье у нас... покажи в каком...

А тому все равно, показал Дуньке. Стукнула... Из-за двери сама...

— Кто тут?

— Марья Карповна, я, Дуняшка, отворите скорей, беда!

Мыться еще не начали, прохлаждались в предбаннике,— в юбке еще была, только Афонька, должно быть, разделся, потому слышала, как звенел тазом.

— Говори — что?..

— Петрович выследил, прибежал запыхавшись,— хозяин велел заложить, сейчас тут будут. Одевайтесь поскорей.

— Как же быть теперь?..

— Я тут останусь, скажу хозяину,— Петровичу померещилось; пускай мне отвечать и теперь на себя приму. Коридорному не забудьте дать.

Торопясь одевалась Галкина, позвонила банщику, на рысях прибежал, кланяясь,— сунула красную...

— Спросит кто — меня не было. Понимаешь? Другой раз еще на чай получишь. Потребуется показать — покажи их.

— Спокойны-с будьте, знаем-с... Счастливо оставаться...

А бани, что мертвец, молчат и банщик, как исповедники немощи человеческой. Отец семейства придет уважаемый, а нажмет номерному два раза и вместо банщика в предбанник девица явится, только и нужно два раза кнопку нажать, и банщику за услугу на чай от барина и от девицы процентик. Специально дежурили и девицы на сей случай из благородного заведения, а нет свободной — на извозце в слободку слетает к фонарю красному. На другой — третий день мамаша с дочками в номера, а банщику все равно, будто и не знает, что супруг ее был с банщицей. А если по секрету от мужа с возлюбленным — на чай красную и будто рот на весь век замазали, тут хоть сам следователь, не то что муж.

— Не знаю я, мало ли бывает господ у нас, не запомнишь всех.

Приметы рассказывать станет банщику, походку опишет, и нос, и глаза — один ответ:

— Такой барыни никогда не видел, не знаю.

Никогда и не скажет, потому: первое — узнает хозяин, что гостей выдает, дохода лишает от вина да фруктов — выгонит, а второе, и самому жаль доходное место — такие гости не скупятся на чай, за совесть нечистую откупаются, такими посетителями и жили только.

Только за угол в темноту повернуть успела — на дрожках подлетел Касьян Парменыч.

Дорогою шла — ревновала девку, знала, что девка,— как на духу ее сколько раз пытала после той ночи, когда послала сама к Афоньке,

а теперь даже губы кусала — сама осталась, выручила. О старике и не думала, оттого что в темноте страх пережит сразу,— не застал, не поймал,— цела-невредима, и Петровичу несдобровать от хозяина — не пойман — не вор, а что думать будет, так Дунька с поличным в номере. Одного и боялась, что заставит-таки Афанасия жениться на ней, а тогда опять на богомолье в монастырь ездить, либо еще как устраиваться.

А Дунька бежала — придумала: ходила к нему — ни с чем на сундук возвращалась зацелованная, а теперь — один конец, либо и вправду не любит, а либо женится.

Хозяйка за дверь — раздеваться Дунька: и замирала-то вся от страха, белье сбрасывая, и думать боялась о чем-нибудь, а как в пропасть кинулась, когда дверь на замок закрыла в номере.

Слышал от слова до слова Афонька и сказать хотел что-то и не успел выйти, боялся из парной прародителем,— двум показаться — стыд смертный. Захлопнулась дверь — ждал, что будет. И тут в голове носилось — губить, изуродовать буйством девку,— не трогать, не связываться, а как вспомнил, что хозяин придет и нужно ему ради себя выручить купчиху,— не знал делать что. А потом со злобой и решил — пусть будет, что будет — сама лезет, от ней тож подобра не отвяжешься,— одной веревкой все спутаны, и без нее быть нельзя — помощница! — Коли придется, без хозяйки в отъезд хозяина зайти в молельную ключик пробовать, что за Казанской висит, от конторки, да вексельк найти Феничкин — по гроб не выдаст, коли будет знать, что невеста ему, жена верная.

Ополоумев от страха, вбежала, к нему бросилась и с закрытыми глазами на шею повисла, ожгла его тело холодком кожи розовой — и не выдержал близости естества смертного...

А потом уходить не хотел от нее, когда старик забарабанил в дверь — обо всем позабыл: и о Феничке, и о хозяине с хозяйкой — самого себя позабыл с девкою. Очнулась от стука Дуняшка первая.

— Сам пришел. Ступай, Афонь, отвори ему. Пускай теперь ищет.

Касьян подлетел на дрожках — в номера прямо, банщика вызвал...

— Тут хозяйка моя?

— Какая такая?

— Купчиха Галкина!

— Мало ли тут народу бывает, не упомнишь всех.

Побежал Галкин к пятому — в дверь дубасить.

— Ты смеешься, что ль, надо мною? Говори, а то полицию позову, скандал сделаю.

— У нас скандалить не полагается и вывести можно.

Распалился старик, бороденку дергает; пятерку достал — сует в руки...

— Не одна она тут, мужчина с ней — рыжий такой, высокий...

— Этого я заметил, это точно — в пятом с кем-то.

Побежал Галкин к пятому — в дверь дубасит.

Народ из номеров выглядывает, перешептываются — посмеиваются на старика. Лабазница из одного вынырнула и соседке по номеру выкладывает:

— Ишь ты ведь, когда опомнился,— всем купчихам этот рыжий сатана памятен, такую силу забрал над бабами — в монастырь к нему на поклон гоняли, а Марья-то Карповна всех перехитрила — к себе привезла. Только сам до сих пор не знал, что кружится она с рыжим, надоумил кто-то...

Номерной, как мумия, стоит подле пятого, только смешливые огоньки в глазах бегают.

Из-за двери отозвались зло:

— Что нужно?

— Отворяй, хозяин твой, Касьян Парменыч...

— Не один я, нельзя сюда.

— Отворяй, тебе говорят,— дверь выломаю!

— Сейчас, дайте хоть простыней прикроюсь,— что вам?..

Захлопнулась дверь — по коридору смех, а номерной только поглядывает ехидно...

Касьян Парменыч свое в номере:

— Показывай, где она?.. Марья Карповна, выходи сюда, а не то сам пойду...

Афонька стоял подле двери парной...

— Касьян Парменыч, не пущу, не ходите лучше, никакой тут Марьи Карповны нет, слышите!..

— Пока не пустишь, не уйду отсюда. Машка, слышь ты, иди, выходи, а не то прикончу.

— Стыдно вам,— ну, согрешил я,— в трактире-то и не до того можно... а чтоб бесчестить хозяина, да что я сам себе враг, что ли? Доверие-то ваше мне дороже всего, потому как я в хлопотах целые дни гоняю с ребятами по девкам, ну и сам дошел до точки, а чтоб бесчестить хозяина... Постойте тут — я хоть простынку снесу ей прикрыться.

Не выдержал старик, пошел в парную.

— Опять ты тут, проклятая! Ты ж дома была?

— Вы молиться, а я сюда.

— Петровичу ж отворяла?..

— Я ж говорю — отворила ему и сюда прямо.

— Афанасий, ступай сюда!

— Я, Касьян Парменыч, женюсь на ней осенью,— невеста моя.

— Не про то я... Скажи: была тут?.. Была? Хозяйка моя, Марья Карповна?

— Вы что ж думаете, Касьян Парменыч,— втроем, что ли, тут были?!

— С вами черт скружит голову.

Вернулся домой — один Петрович сидит, дожидается...

— Хозяйка вернулась?..

— Один я тут...

И напустился Касьян на Петровича, потому нужно было излить хоть на ком-нибудь досаду да злость накопившуюся.

— Так ты, что ж, срамить меня хочешь, чтоб на весь город прохождению не было. У тебя, как с Афанасием какая баба пойдет,— хозяйка мерещится?.. Нечего сказать, перед причастием удружил!

— Истинный Христос, хозяйку с ним видел...

— Ты еще разговаривать?!.

С кулаками на него, да по чем попадя — по глазам, по носу, по губам — кровянил.

— Да чтоб твоей ноги на дворе завтра не было!

Больше полчасика по горницам проходил, пока Марья Карповна не вернулась. Бороденку свою теребил — думал:

— Была, непременно была... Не поймана... С Дунькою заодно...

Сбивало с толку его:

— Как же так?.. Дунька ж невеста его... Ужли допустит? Прогоню пакостницу, а свою — не помилую...

И тут же вспомнил закон свой:

— Не поймана — значит не вор... Теперь сам поймаю... Дождется она... Поймаю...

В то же время вспомнил про дело:

— Дуньку прогнать — Афанасий нагадит, продаст Дракину. А дело-то, кажется, к концу скоро — о цене уж торгуются...

Под конец решил:

— Осенью прогоню и Афанасия, и Дуньку с ним. Выкину последние полторы — ступай на все четыре стороны, сучий сын,— прости меня, раба окаянного...

И такая обида шевельнулась в душе,— всем стариком завладела, о другом и не думал...

— Из грязи вытащил человека, к делу поставил. Через десять бы лет сам был хозяином, а он тебе вот что. Лоб расшибал — молился, псалмы распевал до полуночи...

А потом и раскаяние проснулось, потому и проснулось, что исповедался — о грехах, о душе вспомнил.

— Может, и правда трактир его погубил,— не первый в трактире с пути истинного совращался, народ больно аховый,— базарный, да и дело-то его ввело в искушение — поскользнулся гульбой с ребятами... Женю его. Упираться будет — сам отведу к попу. Хоть одно доброе дело сделаю...

В глубине где-то, бессознательно:

— Женю его, с рук сбуду, и о своей думать тогда не придется — от сраму избавлюсь.

Не заметил, как Марья Карповна возвратилась. Вошла в горницу — в первый момент даже взглянул на нее удивленно, а потом только спросил глухо:

— Где была долго?..

— Говорила тебе, сам знаешь, что за покупками в город ходила, на причастное платье себе выбирала.

И опять повторил, как и в первый раз:

— Смотри, Марья, не пойман — не вор, а поймаю — на себя пеняй!

И до полуночи перед Казанской молился, а Марья Карповна в подушки всхлипывала, потому, может, и не любила она Афоньку, а привыкла к нему, по-особому свой был — ласковый; успокоенная жила с ним, и со стариком была добрая,— придет — не осилит, помучает, а обиды и нет, оттого и обиды нет, что утоленная плоть спокойна, а когда плоть спокойна и человек добрей по человеческому и все обиды готов забыть, зарождающиеся от греховной немощи, бесом мятущейся. Горько было расставаться с Афонькою,— потому знала, что любит Дунька его, потому и осталась с ним в бане, что любит. Знала, что и в ту ночь, когда посылала к нему,— не тронул девку, сама говорила ей, и почувствовала Марья Карповна в словах Дунькиных обиду женскую отверженной,— горше этой обиды, особо для девушки, пришедшей отдаться к любимому и отвергнутой, и на свете нет,— такой обиды только любовь беспамятная позабыть может да решимость отчаянья на последний шаг. Когда в номере одевалась она, а Дунька с себя все сбрасывала, по глазам видела, что на последнее человек решился в отчаяньи, и не то, чтобы победительницей на хозяйку смотрела Дунька, а глазами ей говорила, что девичье превосходство в ней, а в этом над мужчиною сила

тайная, побеждающая. И знала она, что не выдержит он наготы девичьей, а тогда — потеряет она безмятежное житие плоти немощной.

К полуночи и Афонька вернулся в кладовку свою с Дунькою, и сам ее до утра ночевать оставил, и не потому, чтоб любил, а просто, как пьяница, упиться хотел невинностью.

Марья Карповна утром только и спросила у Дуньки:

— Взял тебя?.. Да?..

Не ответила ей, глазами на хозяйку зло вскинула, точно вопросом своим Марья Карповна в душу залезть хотела лапой грязной, и не обида, а ненависть проснулась в Дуньке.

Марья Карповна еще ночью чувствовала, что было с Дунькою в номере, и спросила-то от ревности оскорбляющей, и ответ ей не нужен был — по глазам прочла.

И все-таки — подошла к комоду и достала старинный ларчик окованный, села на скамеечку подле печки, открыла — позвала Дуньку.

— Иди сюда, Дуня, выбирай что хочешь, ничего не жалко! Жизнь ты спасла мне вчера... Понимаешь ты — жизнь...

— Не возьму я... на что мне?..

— За жизнь не хочешь, бери как подарок брачный.

Дрогнул голос, когда говорила — вся горечь сказала в словах этих, и Дунька это почувствовала, и нехотя, а подошла взглянуть и выбрала с простой бирюзой колечко.

Обе почувствовали, что — враги и близкие.

VII

Касьян Парменыч будто совсем позабыл про случай банный, по-прежнему либо днем, либо вечером приходил посидеть в трактир — насчет дела своего расспросить Афоньку. И с ним попросту был, о Дуньке и не вспоминал — будто не было, только приказывал суше, — в голосе строгость, не отцовская, как прежде, а хозяйская звучала холодно. И с Марьей Карповной в мясоедные дни по ночам бывал и, засыпая подле тепла бабьего, толкал в спину:

— Подвинься, задавишь!..

И сквозь сон Марья Карповна дыхание его на спине чувствовала и слышала, как бурчал старик ее, засыпая.

— Тебе б молодого сюда, небось не повернулась бы спиною...

С того дня и Дунька каждую ночь уходила в кладовку Афонькину, — сама Марья Карповна разрешила, и каждый вечер дверь на крючки

запирала за ней и в дни постные засыпать не могла — ревновала и плакала, а в мясоедные — опять со стариком мучилась.

Рассказала Дунька любовнику своему про ларец кованый, про сокровища: жемчуга да яхонты. Когда перстенок выбирала себе — не волновалась брала, понравился и взяла, а рассказывать стала и дух захватило — вспомнила перелив радужный, теперь бы и не отошла от шкатулки, каждую б вещицу перебрала.

— Эх, Афонишка, и откуда только у ней набрано, еще бы разок глянула, уж очень-то хороши камушки,— одни мне сережки понравились, и теперь жалко, что не взяла сдуру,— с подвесками и висюлички-то синенькие — фешками. Во сне даже снятся... И что в перстеньке этом... позарилась на него. А еще тебе скажу — гранатки у ней — ну прямо вишни, а через две-три — жемчужинки. Вот бы под венец мне одеть их или в гости куда,— будем ведь ходить когда в гости,— одеть бы их — позавидовали б. И что не взяла дура! Вишь ты ведь — понравились незабудочки... Люблю я незабудочки эти — цветочки и перстенок с незабудочкой, ну и взяла. А ей что, хоть бы когда одела, лежат без призору, как сироты...

И целые дни ходила Дунька, про сережки думала, про гранатки. Станет спальню ее убирать и нет-нет — на комод глянет. Марья Карповна и при ней постоянно в него лазила и ключи не прятала, а бросит их на комод и пойдет по хозяйству куда. И Дуньку соблазнять стали ключики эти,— не было мысли украсть, а всего — поглядеть бы на камушки. Уходить куда собирается Марья Карповна — ключи не берет, либо в коробочку сунет какую на комод, либо просто — за зеркало положит, чтоб не соблазнили кого, не валялись как придется. И об этом знала Дунька. В субботу придет Дунька постель готовить,— хозяйка ко всенощной... Так и тянет ее посмотреть за зеркало — лежат или нет, уходить станет — вернулась бы, да берет страх. Один раз и не выдержала, думала посмотреть только, на одну минутку открыть комод, достать ларчик и опять назад поставить. Ларчик открыла — на самом верху сережки с подвесками. В руки взяла, и жалко назад стало класть. К ушам поднесла против зеркала и сама себе показалась красивее,— оттого и показалась, что горели глаза тревогою и с завистью на сережки поблескивали. Сама не знала, сколько перед зеркалом простояла... В передней звонок хозяйский. Бросила на комод сережки — скорей ставить ларчик на место, комод закрывать, за зеркало, как было, ключ прятать. Вспопеках и про сережки забыла... Глянула одним взглядом,— в порядке ли все,— лежат сережки... Подумала даже, что как же это она забыла их опустить в ларчик, схватила, в карман сунула и решила, что в другой

раз положит обратно. А ночью пришла к Афоньке, показать захотелось,— одела, примерила...

— Хорошо, Афоничка,— а?..

— Сережки-то хороши,— что и говорить, отличные, и цена-то, должно, за них хороша, кому не то что дом, и хозяйством обзавестись можно...

— Идут ко мне,— нравится?!

— Подарила еще, что ль?

— Ко всенощной шла — подарила,— хороши сережки!..

Показала ему,— спросил,— правду сказать — стыдно, и соврала, да так соврала, что самой жалко стало расстаться с ними: леглась в постель — одела даже, утром сняла и попросила Афоньку поберечь, куда-нибудь спрятать. А у Афоньки своя мысль,— сразу решил, что задабривает хозяйка невесту его — соскучилась без Афоньки, стосковалась без дружка со стариком Касьяном и — чтоб не ревновала особо — наперед задаривает. Думать стал, куда прятать, и сразу про вещицы Николкины вспомнил,— два года почти провалялась котомка его под постелью, и не вспомнил ни разу, а теперь вот на вершок пылью покрытую достал и к вещцам его в рубашку ту сунул, а запихивал под кровать ногою — подумал, что как уходить будет, и их оставит Дуняшке, чтоб проклинала меньше.

Случилось Касьяну на три дня в отъезд ехать. Подошел вечер — Марья Карповна не своя ходит,— посылать или нет за Афонею караулить на ночь: если послать, да с Дунькою ночевать оставить в горницах — еще обидней, еще больней, и такая тоска ее захватила — душу мучила, сердце разрывала на части, а если к себе позвать — знать будет Дунька, ревновать будет — сама не знала что делать.

Дунька пришла постель ей стлать, Марья Карповна и не выдержала,— просящим голосом, почти шепотом сказала ей:

— Афанасия позовешь караулить?..

— Сейчас позову.

Сбежала в трактир и тоже шепотом ревниво:

— Караулить звала,— пойдешь?..

— Пойду напослед,— ты ж от ней вперед получила подарочек, так что тебе и говорить нечего,— откупилась она за меня, молчи уж... Ну, да последние дни,— потерпи, видно.

Точно в сердце кольнуло Дуньку...

— Ну, да я тебе и вправду теперь не отдам сережки те. За него будут выкупом...

И Афоньке сказала:

— Твоя правда, ступай, Афоня, только в последний чтоб...

— Я же тебе говорю — в последний...

Захотелось ему на купчиху поглядеть горемычную, а второе — нельзя не пойти к ней, караулить обязательно нужно, и не ее, а за Казанскою ключик, а не пойти караулить и не убоготворить хозяйку — в другой раз не позовет наверх, тогда, значит, и ключика не видеть, и векся не добыть. Пошел наверх к Марье Карповне.

Она тож не решалась сразу позвать его без Дуняшки, без ее разрешения, так сказать,— и придумала: позвала Дуняшку и велела послать его закрыть ставень и опять с тревогой злобною,— скажет что или нет Дунька.

Пришла в переднюю к Афанасию Тимофеевичу:

— Ступай, велела послать заложить ставни ей...

Зло говорила, ревностью,— обнял ее и шепотом с поцелуями:

— Последние дни, Дуняшка,— последние, потерпи,— сказать я тебе не могу, секрет, а только без этого никак нельзя...

Не ответила ему ничего, целую ночь проворочалась на сундуке в коридоре — целую ночь в темноте слушала, и казалось, что через семь стен слышит, как целуются,— через семь стен все видела.

Марья Карповна тоже не спала до зари: забудется с поцелуями грехом смертным и опять очнется слезами горячими,— с груди Афонькиной волосами их вытирает, губами сухими, горячими просушивает.

— Афоничка, вот когда я поняла только, что дорог ты мне, милый,— сама отдала, уступила ей. Судьба уж такая уступить было. Раньше и не знала, что люблю тебя, а как ушел от меня,— сама знаю, что ушел, не говори лучше,— тут-то и стал дороже жизни. Раньше-то по привычке,— старик уедет — поживем, а там опять дожидаюсь я,— по-заведенному, никогда и в голове не было, что уйти от меня можешь, потому — баба я, и не вдовая, а мужняя. Ведь разлюбил,— ну скажи? Не бойся! Мне теперь все равно... скажи только, правду скажи,— разлюбил?..

И не жалость, а ласка да любовь женская родила в сердце слова Афонькины:

— Я тебя люблю, Машенька!

— А ее — тоже любишь?..

— И ее люблю.

— Как же так, сразу двух?!

— Обоих люблю за любовь вашу. Она ведь сама осталась в бане, — может, за тем и пришла тогда тебя спасти. А тебя — отдыхаю с тобой,— может, в первый раз только и отдыхаю сегодня, Машенька,— близкая ты...

Искренно говорил, оттого и искренно, что и в самом деле — мучался с Дунькою любовью ее и оттолкнуть боялся, не выдержал — взял, и победила любовь девья, а с хозяйкою — не любя, отдыхал и только сейчас понял, что она любит его, только сам-то он не любил ее никогда,— оттого и казалось, что и она не любит, а ублажается только; а слезы ее отогрели сердце ласкою — про двух говорил с чистым сердцем, а в душе мысленно сияла звезда Вифлеемская — Феничка. И на другую, и на третью ночь, как и в первую. Сама не своя Дунька ходит, на хозяйку шипит змеею, на Афанасия не глядит, а в спальню войдет к Марье Карповне — колотится сердце, стоят перед глазами гранатки с жемчугом и не украсть хочется, а отомстить за Афоньку барыне. И опять не выдержала — достала из ларчика и не примеривала, а прямо в карман сунула и опять вечером принесла к Афоньке.

— Чтой-то она тебе?.. И в другой раз позовет — идти придется, ничего не поделаешь, видно.

Опять к вещцам Николкиным положил в рубашку.

Дело к осени — беспокоиться стал Касьян Парменыч, то и дело спрашивает:

— Ну, как, уговорились, что ли?

— Уговорились, Касьян Парменыч, на той неделе должно дам задаток.

— За сколько ж?..

— Просил двадцать, за пять торгуемся, а под конец и за тысячу, зато расходу четыре сделано — пятьсот Лосеву, при свидетелях — верней.

Получил на задаток, в сентябре обещал несчастье на фабрике; надеялся — хозяин опять в уезд за лошадьми, а он за ключиком, и до приезда еще на волю вольную. Сам еще не знал, что с векселем сделает.

Перед самым отъездом собрался старик в гости с хозяйкою, а гости-то званые — на Успение, и попросил старик побрякушки одеть, лицом в грязь не ударить перед другими купчихами. Стала она собираться... Застегнула ей на шелках Дунька кнопки, полезла в комод за ларчиком — ни сережек любимых с подвесками, ни гранаток... Взглянула на Дуньку — скраснела та...

— Ты взяла, говори?!

— Что, Марья Карповна?

— Сережки с гранатами...

— Не брала я, зачем они мне!..

— Приду из гостей, чтоб были, а то иначе с тобой разговаривать буду.

Не струсилa девка, в глаза про Афоньку ей:

— Не брала я, может Афанасий,— он и ночует с вами, и все ваши порядки знает,— небось, сами дели куда, а на меня говорите. Хоть и хозяину скажите, что украла — молчать не буду, все расскажу по совести, что я вам — служу сколько лет — не знаете, что ли?..

И не знала Марья Карповна, что делать ей,— вещи — стариков подарок, хватится куда делись, что говорить тогда, а про Дуньку сказать — отомстит из ревности, и про баню, про все Касьяну выложит, чувствовала, что злоба у ней от ревности, а узнает старик — конец ей. Из гостей вернулась,— хотела по-сердечному расспросить Дуньку, а увидала, что та окрысилась,— прогнала от себя:

— Чтоб в спальню ко мне ни ногой больше!..

Август на исходе — хозяин дома, Афонька и делать не знает что, — в сентябре палить фабрику, а тогда закатится звезда Вифлеемская в Петров град, и жизнь его кончена. В трактире сидит сумрачен и с Лосевым не говорит ничего, тот ест да пьет хозяйское, про дело спрашивает. Афанасий Тимофеевич только поглядит косо, буркнет нехотя:

— В сентябре велел.

— Трудно-с вам, Афанасий Тимофеевич, по первому-с разу приходится... Привыкнете-с, на всякое дело сноровка-с нужна. А только вы ко мне напрасно-с не обратитесь за советом-с. Я бы вам до подробности, по порядку-с все изложил. Так, значит, к хозяйскому-с возвращению готовите люминацию?

Подскочил даже Афонька...

— Когда он поедет?..

— Должно, скорешенько-с, потому давно разослал подручных людей,— через недельку воротится — к люминации,— ведь тоже волнуется... На этот раз — всего недельку в отлучке-с будет, то бывало — две, а то и все три раскатывает, а тут только товар проглядит, расплатится и домой-с...

Настали тяжелые дни, смутные Калябину, Афанасию Тимофеевичу. Дождался отъезда хозяйского и опять ждал — позовет или нет Марья Карповна наверх к себе.

И в первый-то раз шевельнулось недоброе в ней,— а ну как Афоня-то этот заодно с Дунькою, а ей только пускает туман в глаза,— заодно, значит, и про ожерелье, и про сережки знает, а может, и спрятали вместе где-нибудь. Думала — и не верила, потому ласков

был с ней в последний раз, так ласков, что за сердце взяло, облегчило душу ей темную. Целый день мучилась — звать или нет караулить на ночь, до позднего вечера из комнаты в комнату проходила без толку — искала чего-то все, в спальню вошла,— тоска без него, пусто,— знает, что стоит Дуняшку послать, и опять закружится голова снами жуткими. Так и не решилась, что делать — со слезами заснула за полночь. Дунька ждала, что пошлет опять в трактир за Афонею, а как услышала, что кровать скрипит, на пружинах ворочается — обрадовалась и про себя шептала радостно, что не хочет откупаться хозяйка яхонтами, стоят дорого.

Прошел час положенный — десять, не позвала, Афоньку — как обухом по голове ударило: что значит такое, отчего не прислала, а что если и все дни не пришлет — тогда пропадать ему: не спасти от беды Фенички; понять не мог, отчего не позвала. На половых кричал, на Василия, и по делу даже решил не идти завтра с Лосевым к Ваньке Каину, поджигателю, уговор делать последний,— решил подождать, что дальше будет. Утром до девяти провалялся, пока Василий на сдачу не пришел просить мелочи,— сказал — нездоровится, голова болит. И целый день до сумерек пролежал в своей кладовке. Вышел в трактир,— Лосев ждет...

— Что ж вы, Афанасий Тимофеевич?!. А я с утра-с жду вас. Василия спрашивал,— говорит — больны-с, хотел навестить вас. так сказать, провести вас самолично-с...

— Сегодня я не пойду и завтра тоже,— болен.

— Болезни-с гуляют теперь везде-с, Афанасий Тимофеевич,— беречься надо-с, особенно вам в такие дни, а то недобрый час подойдет, без вас-то и кончать нельзя. Совет-то я дам, а исполнить-с его, приказать-с, припечатать, как говорится, и некому-с, а вы полечитесь перцовочкой,— я, как что, пропущу рюмочку и никакая меня болезнь не берет,— прыгаю-с воробушком...

Любил Лосев тирадами говорить, начнет и конца не дождешься, он бубнит, а Афонька про свое думает:

— А что если его спросить?..

Сам не знал, о чем спрашивать будет, а как беспокойство обуяло его, так и казалось,— стоит только спросить кого-нибудь, и сразу все переменится. И крикнул Василию:

— Господину поверенному селянку с котлетами, на закуску селедку с яишенкой и мне то же, и перцовки большой,— две рюмки дашь.

Сел за столик и начал спрашивать:

— Иван Матвеич, что человек должен, по-вашему, сделать, когда, ну скажем, к самой цели он подошел, до чего целый век добивался, может испохабился через это, лишь бы своего добиться, чтоб всю жизнь потом жить счастливо, а под конец самый и не вышло из этого ничего, и себя-то втоптал в грязь, и других тоже, а на самом-то деле — впустую все?..

— Я бы вот что сказал-с... За ваше здоровье, Афанасий Тимофеевич, за успех предприятия-с нашего... Духом не падать-с, а бить в стену каменную — поддастся, особливо, если тут особа замешана полу женского... Долбить и долбить — и непременно поддастся, не выдержит...

— Не то, Иван Матвеич, не то... А если уж поздно, понимаете — поздно будет?!

И еще б спрашивал и еще б говорил, да вдруг — Дуняшка пришла,— глаза разгорелись, щеки пышат, со злостью к столику подлетела и не стесняясь Лосева:

— Ступай, Афанасий, наверх зовет...

Ждать не стала его, повернулась,— только и слышал, как дверью хлопнула.

Встал из-за стола Афонька...

— В другой раз, Иван Матвеич, когда выпьем, хозяйка зовет...

А тот глазки прищурил, сам руку трясет ему, а сам полушепотом по-приятельски интимно:

— Вот и добились своего-с, Афанасий Тимофеевич, и не поздно-с, — десяти нету... Ведь добились своего-с?.. Да-с?..

— Добился, Иван Матвеич, теперь добился...

И всю ночь до зари кровь чадела перцовкой бурно.

Истомленная спросила ласково:

— Пил сегодня ты?.. Да?..

— Думал, что разлюбила меня,— с горя я,— думал, что не поверила, о чем в прошлый раз говорил,— горько мне стало — хлебнул перцовки.

— Зачем ты?..

— Да, ведь может, в последний раз, и не позвала меня, может после как дело-то кончу одно, никогда и быть не придется вместе... оженит Касьян на Дуняшке.

— Какое дело?

— Разве не говорил старик?

— О делах — редко когда, а какое скажи, Афоничка, скажи,— знать буду, и мне легче будет.

— Поджог Дракиных.

И хмель отошел греховный, как о Феничке вспомнила...

— Дома Фенины?.. Да?..

— Они.

— Нельзя ли спасти? Как-нибудь!..

— Можно.

— Помоги ты, спаси ее...

— Люби только, от себя не гони.

— Что хочешь делай со мной,— спаси Феню. Опять я тут, и тогда не уберегла девушку, и теперь, будто, через меня погибнет. Были друзьями мы, а с той поры — врозь, а тут опять я.

И вся отдалась ему покорно, как пьяную шатало днем от усталости, и не к десяти, а как зимою — к семи позвала чай пить. Сама и постель после чаю готовила, чтоб Дуньки не видать только, и дверь на ключ закрыла в горницы, чтоб один на один в последний раз любовью измучиться.

Пошла спать, Афанасий вслед...

— Я помолюсь пойду к старику твоему в молельню... Тоже, может, в последний раз на образа гляну.

— Что хочешь делай, Афоня,— без него в последний раз ты хозяин... Ступай.

По памяти у старика на аналойчике копеечную свечку нашел и сбоку нащупал серники, и свечкой зажег лампадку большую синюю. Стал на скамеечку стариковскую становиться, чтоб не тянуться и за Казанскую просунул руку,— на старом месте висит ключик на веревочке. Конторку открыл ореховую и в кожаном бумажнике отыскал подписанный векселек Фенички, и в карман его сунул. По-старому все положил и ключик повесил, и даже для чего-то земной поклон перед Казанскою положил, и пошел к Марье Карповне такой же спокойный, как и в молельную к старику входил,— только глаза по-особому блестели, точно смерть перед ним прошла только что.

— Чтой-то с тобой, Афоня?..

— А что?

— Бледен ты как, смотреть жутко! Страшный какой-то.

— О спасении Фенички помолился я...

И точно без слов поняли, что совершилось последнее, и в последний раз всю ночь и смеялась, и плакала Марья Карповна, а когда уходил от нее утром, спросила шепотом:

— Спас ты ее?..

— Спас...

И может, в мысль не пришло, а только искрою сердце прожгло на секунду, на одно лишь всего мгновение, как догадка, для чего с

приятелем человек пошел в мирское странствование, из-за кого отдавал себя, не любя,— так и ответ Афонькин обжег Марью Карповну,— почувствовала, что больше не нужно звать, незачем, и целый день с глазами почерневшими от любви потерянной просидела над своим ларчиком,— теперь поняла, что не он ваял — Дуняшка украла сережки с гранатами...

И Афонька ходил, как в чужом доме, и не знал, что ему делать с этим векселем.

Послала хозяйка Дуняшку перед вечером в монастырь женский за бельем, что отдала вышивать еще летом, а сама, как во сне, перебрала рундучок ее и не нашла вещей своих, и как во сне сошла по лестнице темной к чуланчику, Афонькину, постучала,— никого нет, и опять, как во сне, зашла в трактир и сама позвала Афоньку,— половые переглянулись только.

— Я к тебе, по делу... К тебе нужно, в твою... комнату.

Вошли в темноту,— зажег коптилку свою и взглядом спрашивал:

— Зачем ко мне пришла?.. Что нужно?! Жалеешь теперь, что спас...

И, торопясь, точно прощенья прося, точно уверяя, что не затем вовсе, а по своему делу:

— Пропажа у меня, Афонь,— такая пропажа, что узнает старик — в гроб вгонит... вещи у меня пропали... сережки одни да еще...

— Ты ведь Дуняшке их подарила?

— Я?

— Ты! Она мне поберечь отдала их. Я думал и правда подарок,— откупаешься, мол, перед нею...

— Украла она... Не давала я ей — неправда. Разве б стала я откупаться за любовь свою. Баба я, сама знаю, что баба, а коли любовь придет — гордая. Дарила я ей, правда это, перстенок подарила, правда, а только откупаться я не хотела,— вышло так, чтоб молчала, может и гордости не было, тогда не было,— а теперь я другая, другая я стала, теперь гордая.

— Прости ты меня. Плохое думал... Я отдам тебе вещи...

И опять пыльную котомку из-под постели выволок и, не думая ни о чем, достал рубашку женскую в кружевах и с потемневшими пятнами буроватыми и сережки с подвесками, и гранаты с жемчугом. Вскрикнула Марья Карповна, увидав перстеньки да брошки...

— Откуда у тебя это?.. Так и ты вор, значит?! У кого накрал? А говоришь, и про мои вещи не знал...

— Не мои вещи!

— А чьи же они, когда под кроватью у себя держишь?!. А рубашка чья,— говори: чья?..

— Николкины вещи, помнишь Николку,— его, он собирал. И ложки его тут, он ведь раздаривал богомольцам ложки. Осталась сумка его, до сих пор лежала...

— Может, и правда Николкины?.. Николкины, да?.. И ты мне прости, прости, Афоня — душа у меня разрывается, голова помутилась... Прости...

А потом опять на рубашку взглянула — опять вскрикнула:

— А рубашка чья, говори?..

А потом вспомнила про Николку да Феничку и упавшим голосом сказала тихо:

— Может, ее...

На Феничку намекнула, и Афонька подумал тоже,— берег что...

Больше ни о чем не расспрашивала, только уходя сказала:

— Спас ты ее?.. Спас?..

— Спас!

— Уходи, если спас. К ней иди!

Как близкие брат и сестра и как чужие разошлись — спокойно, только у обоих, у каждого про свое клокотало в сердце.

Сказала Афоньке уходить к ней — осенила его, сразу дорога ясная обозначилась. Вернулся в трактир, спокойно до закрытия досидел, взял выручку и в последний раз пошел в свою кладовку собрать пожитки. Собрал котомку свою монастырскую и Николкину, еще с теми же ложками резными монашескими и не в рубашку девичью с кружевами завернул вещички, а в старый носок ссыпал и бросил на дно котомки, а рубашку под самый низ в свою положил и, оставив на столе выручку, запер тем же замочком погнутым свою конуру и через двор, мимо дворницкой на Пеньки пошел,— к ней, к Вифлеемской звезде — к Феничке. Через Оку шел по мосту, оглянулся кругом — ни души, и оросил в воду котомку приятеля. Сперва, когда у Николки украл, думал, что про черный день пригодятся вещицы его, а теперь, в такой день, когда звезда поднялась подле станции со стороны Пеньёв,— показалось, что ничего кроме нее и нет на земле сумрачной, и отряхнул прах тления монастырского — кинул котомку черную.

VIII

Дунька вернулась вечером, белье принесла, гладью шитое, и подивилась, что караульщика нет ночного — Афонички, с радости у

хозяйки на низ попросилась, подбежала к кладовке — замок и подумала, что по делам пошел на всю ночь в слободку с ребятами.

Наутро постель прибирать Марья Карповна позвала, вошла в спальню Дунька...

— Возьми перстенок свой...

И подала ей колечко с незабудочкой. Та рот даже раскрыла от ужаса.

— Откуда у вас?..

— Афанасий Тимофеевич велел передать.

— Как передать?! А где ж он?..

— Не знаю. Ушел.

— Куда ж он ушел?

— Не знаю.

— А вернется когда?

— Никогда.

— Как?!

Тут же и опустилась на пол — ручьем залилась, приговаривая:

— Как же так это вышло?.. Свадьба у нас к Покрову... Да неправда ж это... На четвертом оставил меня... Что ж я с ребеночком делать буду?.. Как же это так?.. Да я самому Касьяну Парменычу расскажу: отыщет его, жениться прикажет... А колечко-то как же?.. откуда ж оно у вас взялось?.. Как же это так?.. Что ж теперь делать-то?..

И, ополоумев, волосы клочьями растрепала, за ворот кофты тянула себя — отлетали пуговицы белые и рубашка треснула, а голову положила в колени — до полу перегнулась, и поползла к ногам Марьи Карповны, хотела молить ее — возвратить, вернуть, потому горела голова мыслью, что она, хозяйка, повинна во всем, и знает наверное, ушел куда, сама, небось, отослала, спрятала, чтоб только от нее избавиться.

Точно до слезы выплаканные в последние ночи перед концом, с Афонькою перед разлукою, не от злобы и уж не от ревности, а от горечи за свою муку — вынула Марья Карповна из кармана сережки с подвесками да гранаты и, побрякивая над ухом у ней,— шепотом:

— И ожерелье отдал с сережками... Не знал, что краденое,— думал, от тебя откупалась подарками... Вот они... Погляди... Ты погляди только... Красивы яхонты... Он ведь принес, Афоня мой, и не твой, а мой, и все время моим был... Сережки-то вот они... Он принес.

И глубоко где-то у Дуньки шевельнулось на миг, что ни ее, ни хозяйки не любил Афонька, а что-то еще тут было, а что — не знала и почувствовать не могла,— но только на миг чувство такое было, а

потом — резанула по-звериному ревность — подпрыгнула с полу и вцепилась ногтями в глаза Марье Карповне,— та только охнула, руками вскинула и ухватилась за ее руки — оторвать от лица хотела. — резала боль глаза, не замечала сама, что своими же руками Дуньки руки на глаза надавливала и тоже по-звериному от боли рванувшись зубами впиалась в руку ей.

От злости повизгивала, говоря хозяйке:

— Это ты... Ты, блядь, спрятала от меня?.. Говори, куда его дела?.. Живой не пущу,— говори, где он?

И, как у безумной, конвульсивная сила свела руки Дунькины, кинулась во второй раз — кадык сжала пальцами Марье Карповне, перехватила дыханье ей, на постель опрокинула,— инстинктом в один миг почувствовала Марья Карповна в чем спасение — ногами отбиваться стала, в живот ей бить изо всей силы. И Дунька от боли, всего только от толчка первого, еще судорожной пальцы сжала, даже чувствовала, как концы горят и покалывают, а другою от хозяйкиных рук отбивалась, отмахивалась, а Марье Карповне уж только казалось, что и ногами-то она колотит Дуньку и руками по глазам, по лицу бьет, оттого и казалось, что по глазам у самой еще боль резала остро, а на самом деле — только мускулы в ногах вздрагивали, а сами-то ноги повисли плахами, и руки не двигались, а только пальцы у ней шевелились, и казалось, что падает она в пропасть куда-то, в пустоту, и вот только бы нащупать, за что ухватиться и спастись, удержаться б от падения можно. И каждое ощущение, мысль каждая пробежала молнией, ударяла в сознание, а за нею еще и еще бежали стремительней и последней вспыхнула — смерть.

И, только услышав последний хрип, поняла Дунька, что задушила хозяйку,— дернула руку, от горла ее оторвала, потому — затекшие пальцы глубоко впились, и выступили на шее кружки красные — счетом пять,— загорелись багрово иссиня, а потом лиловеть стали.

Целый день до темноты, растрепанная, с разорванной кофтой, просидела в спальне подле кровати, уставившись на хозяйкины ноги, повисшие в черных туфлях лаковых, а с полу зачем-то подняла сережки и ожерелье, выпавшее из рук Марьи Карповны, когда Дунька ей вцепилась в глаза, и, зажав в кулак серьги, одними пальцами, как четки, перебирала гранаты с жемчугом.

Не слышала, как и хозяин, точно чувствовавший, что безо времени вернулся и, входя, сердито сказал:

— Что вас тут, придушили, что ль?

Очнувшись от слов хозяйских, опять как безумная Дунька вскочила с пола.

— Это я, я, Касьян Парменыч,— я ее придушила.

В полумраке не мог еще ничего разглядеть старик и спросил гневно:

— Кого придушила?!

— Марью Карповну придушила, хозяйку вашу...

— Как придушила?..

— Сама я ее, руками... Афоньку она моего к себе допускала. И после того, как невестой его, женой ему стала, и тогда к себе призывала, ночевал с нею... За это ее... сама... руками...

Руками размахивала и позвякивала гранатками и про них вспомнила:

— Кабы только жила с ним, а то откупалась, подарки давала, вот эти сережки дала перед тем, как вам, Касьян Парменыч, на три дня уезжать было,— на, говорит, тебе, Дуняшка, память будет... Это, чтоб я про Афоньку молчала, отпустила б его к ней ночевать. Я и спрятать ему отдала,— пусть, думаю, напослед побудет с хозяйкою, без вас перед свадьбою моей пусть уж она, от одного раза последнего не убудет мне, и в другой раз она тож подарила гранатки эти,— вот они, — теперь вот, совсем недавно, я и их отдала Афоньке спрятать и опять допустила его до Марьи Карповны, чтоб совсем в последний побывал, да и кончено, и опять он без вас ночевал тут,— Наумов-то правду говорил тогда, да Афонька меня улестил: подожди, говорит, Дуня, все равно не люблю я ее, тебя только одну, а нельзя мне у ней не бывать, потому, говорит, дело у меня важное с хозяином есть и должен я быть при хозяйке, чтоб доподлинно знать все про дело-то это,— подожди, говорит, о Покрове повенчаемся, сами будем хозяевами, тогда с места сойду и ни ногой к хозяйке. И в бане-то она с ним была,— опять и тут меня улестил анафема этот,— коли что, спасай, говорит, свою барыню,— пока дело не кончу с хозяином — помогать должна. С того дня и я от него понесла,— в бане, значит, слюбились мы,— на четвертом я, Касьян Парменыч,— что ж делать-то мне?.. Афоньки-то нет моего...

— Как нету? Куда ж деться он мог?

— Сама сказала, что не вернется больше... А он что, подлюга!.. Надругался надо мной, а сам убежал... Заодно они были, она услала его... Потому подарки-то ее — сережки с гранатами — воротил ей — с подарками-то было расстаться ей жаль... Заодно были. Вчера убежал, вечером... Услала меня за бельем к монашкам, а сама и обделала,— чисто обделала, да еще издеваться давай надо мной утром,— сережки

с гранатками показывать... Взяло меня за сердце... Говорит,— и Афонишки твоего нету, не видать больше, а сережки-то вот они, и гранатки тут, да еще что,— я с горя плачу сижу, а она потешается... перед глазами ими поматывает... Не выдержала... в глаза ей вцепилась, а она меня цап за руку и укусила... Я и не выдержала, в глотку ей вцепилась, и сама не знаю, как придушила — гляжу, кончилась... Сама ее... Касьян Парменыч,— всю правду вам, как на духу,— теперь что хотите делайте...

Молчал старик, бороденку свою теребил, глазки щурил, усмехался зло... Кончила Дунька...

— Туда и дорога ей...

— А мне-то что будет?.. Касьян Парменыч, батюшка!..

— Замуж ее взял — грех покрыл, клялась честною быть, а жила курвою... А тебе,— посмотрим,— может, и ничего не будет... Поглядим еще... Василия позови, ступай... Чаю мне принеси! Да пока — сама хозяйствуй, не первый год живешь тут, порядки знаешь. Не бросать же мне из-за ней хозяйство в доме.

В столовую принесла чаю и вместе с Василием из трактира вернулась.

— Сиделец где?..

— С утра не был и на сдачу ничего не оставил,— бегал к нему — замкнуто...

— Вчера был?..

— До конца досидел... А сегодня его не видал никто.

— Замок сорви, пойді к нему, погляди.

Пошел, а на столе в кучке мелочь серебряная с медяками и бумажками, а в стороне конвертик с надписью — «Хозяину Касьяну Парменычу, по делу поджога Дракиных, сдачу».

Принес Василий, подал пакетик,— старика в жар бросило...

— Удрал, мерзавец,— теперь ясно... Ступай, позову тогда...

А Дунька опять причитать:

— Она это, она с ним орудовала... Истинно ваше,— мерзавец!..

И пронеслось у старика в голове, уж не Гракиной ли помогла с Афонькою, оттого и жила с ним, и дела не кончил — водил за нос, и опять пронеслось новое,— ну, видно, придется на второй взнос отложить пожарец, опять Петровича, видно, брать помощником... И как что подсказало пойти посмотреть в конторку ореховую,— сердце екало от предчувствия, когда шел в молельню,— Дунька со стола убирала посуду,— в стакан слезы скатывались со щеки половевшей и от злобы, и оттого, что задушила она Марью Карповну.

Копеечную свечку зажег и тот же лампад синий,— только поплавок повыше выдвинул... По привычке на скамеечку стал и за Казанскую просунул руку,— ключик нащупал и даже подумал, что на том же месте висит, значит все в порядке, и все-таки отомкнул конторку. И в конторке порядок — мелочь не тронута — лежит пачками. Кожаный бумажник достал — рыться начал и не мог доискаться векселечка Гракиной, Феклы Тимофеевны.

Голову как ожгло...

— Она это... Ох!..

И грохнулся перед образами замертво и аналойчик на себя повалил вместе с лампадиком синим, новый сюртук облил маслом; выпали свечи, в ногах рассыпались... Дунька услышала грохот — вбежала с лампой... Лежит хозяин... Послушала сердце — стучит,— жив значит. Сбегала за водой в кухню, голову ему поливала, сама раздела и на постель уложила,— очнулся старый и замычал, шевеля рукою, будто к себе подзывал — подошла... Глазами показывать стал на хозяйкину комнату и на себя, глаза закрывая с силою.

Хотел и другое, может, что показать знаками, да была перед этим мысль на себя вину принять Дунькину, потому ему, как мужу, ничего не сделают,— свидетели на то есть, а как начала Дунька, смекнула по-своему, догадками говорит старику Касьяну, так мысль к нему давешная воротилась и стал кивать головой утвердительно.

— Говорить, что не я?.. Хозяйку?..

Головой качнул.

— Сами ее, значит, кончили?!

Опять мотнул...

На колени подле него стала.

— Да чем же я, батюшка, заслужила милость вашу?! От каторги, от тюрьмы спасаете... Век за вас буду бога молить, за благодетеля моего... Рабой вам буду по гроб покорною...

Касьян старым подбородком подергал, отчего бороденка затряслась седенькая, и глазки сощурил, даже сборочки у переносицы собрались мелкие.

Василий зачем-то назад вернулся из трактира, видит, в горнице нет, в молельной чего-то Дунька вопит, вошел — только руками развел, а старик и давай ему на Дуняшку глазами показывать, она, мол, расскажет все и тут же она при хозяине рассказала, чтоб сам слышал и помычал бы хоть в подтверждение, что не врет, а всю правду говорит, как свидетелю. И рассказала, как старик нежданно-нечаянно и, через верного человека узнав про ночного караульщика Афоничку, собственноручно хозяйку свою задушил, и не слышала

даже как,— не пикнула, значит, а потом и пошел в молельню свою зачем-то, да и упал подле конторки, и аналойчик завалил на себя, и сюртук залил деревянным маслом и ни словечка больше, только мычит; говорила Василию, а Касьян на каждое слово ее мычал утвердительно,— правильно, мол, все правильно и пальцами шевелил костлявыми. Только никак они не могли понять, почему старик в угол глазами показывает и мычит все время,— может потому, что аналой повален, да конторка открыта, и постарались утешить хозяина и бумажник положили в конторку, и закрыли ее, и бархатом завесили, и аналойчик поставили, пособирали все свечи копеечные, лампадик вправили и зажгли даже, а пакетик-то Афонькин и остался лежать незамеченный под конторкой, из бумажника выпав.

Василий сбежал вниз растерянный, кричит половым:

— Трактир закрывать, несчастье в доме, гостей уходить просите!..

Потом подозвал одного и шепотом:

— За доктором поскорей бежи, бери первого, какой попадется, да скорей — на извозчике, с хозяином плохо...

А подле двери в углу за столиком Лосев сидит, Афанасия Тимофеевича дожидается, потому последний день сегодня — по уговору при нем, как при свидетеле, половину платить поджигателю, а тут трактир запирают, и так наймиты тянули два месяца, торговались, у девки под красным фонарем спаивали,— заартачится, тогда начинай сначала тянуть волынку.

— Василий Карпыч, нельзя ли мне подождать, тут остаться как исключение-с... По хозяйскому делу Афанасия Тимофеевича повидать надо,— по важному...

— Где же вы, Иван Матвеевич, раньше были?..

— А что?

— Вчера еще сбежал рыжий.

— Как сбежал?.. Быть не может... Куда?..

— Не сказался нам, не знаем... Через него и несчастье у нас... по секрету вам... Марью Карповну задушил хозяин... А после и сам грохнулся... Без языка лежит, обе руки не движутся... Мычит только... Послал за доктором.

— Нельзя ли, Василий Карпыч, наверх мне?.. Может, тут и не один доктор нужен... Дело-то у меня с беглецом этим хозяйское-с, не терпящее-с отлагательств... я б на одну только минуточку-с...

— Без языка он... Ну да я спрошу про вас, самого спрошу...

— Так я подожду тут?..

Доктор приехал, поглядел и говорит Василию:

— Отчего это с ним?..

Дуняшка и давай опять, как и старику, с подробностями.

— Возможно, что и от этого,— страшный все-таки случай... А бумага у вас есть, рецепт написать?..

Василий услужливо:

— Сейчас я в трактир сбегаю...

И убежал, а доктор-то городской, при всяких делах бывал, всякие виды видывал, и оглядел опытным глазом комнату: заметил под конторкою,— бархат не доставал до полу,— пакет небольшой с надписью, и поднял его — писанье Афонькино прочитал — «Хозяину Касьяну Парменычу, по делу поджога Дракиных: сдачу»,— раскрыл его, рукописание достал, оторвал кусочек белый и написал рецепт, а конверт с содержимым в карман сунул,— один со стариком оставался в комнате,— и этот в забытии лежал.

Василий принес из трактира и бумажку, и чернил, и перо...

— Только извинить просим, перушка не нашел нового.

— Да я тут нашел клочок, вот рецепт, карандашом написал... все равно... А теперь покажите мне хозяйку задушенную, мне все равно придется вскрытие делать, так, может, что до следователя увижу сам...

Бумагу-то давал Василию Лосев и вместе с ним наверх пришел к Галкину и всего-то на пять минут опоздал,— попала его расписочка Афоньке по тому же делу к доктору и замазала рот про вексель — в тот же день нарочито извещен был за полночь в квартире собственной тем же доктором.

На Марью Карповну поглядел доктор — все в порядке, как полагается — задушена, разглядывать не стал, на извозчика поскорей и к Кирюше Дракину, к закадычному другу с рукописанием мещанина Калябина...

После доктора Лосев против старика простоял с час, пока тот опять не очнулся, пить не попросил, губами шлепая,— подала ему Дунька, выпил, взглянул — стоит Лосев,— обрадовался, подле переносицы складочки обозначились от улыбки радостной...

— Отчего это с вами, Касьян Парменыч?..

На конторку головой мотнул...

У Лосева и зашевелилось в голове про Афонькино бегство, когда понял, что старик на конторку кивает и мычит отчаянно...

— Хотел бы я один на один, Касьян Парменыч, побыть-с,— вопросец у меня один в голове вертится... Без прислуги-с вашей...

Опять кивнул старик...

— На минуточку-с... Я скоро...

Вышла Дунька за дверь, хотела послушать, может, главный секрет узнать про Афоньку, а Лосев наклонился к старому и давай шепотом:

— Не пропало ли что у вас?..

Качнул утвердительно.

И осенило тут сразу Лосева...

— Уж не векселек ли барышни Гракинской?..

Замычал старик и опять дернулся.

— Говорил я вам,— вы уж простите-с мне, Касьян Парменыч, иде в такой час для вас страшный, говорю об этом, а все-таки зря вы тогда советом моим пренебрегли-с, по старинке-с, все по-домашнему векселек писали-с, а мой-то совет был под закладную-с бы дать их, под домики прямо... да у нотариуса, копейка б и была у нас, а теперь-с... ухнули-с денежки. Оно правда-с, не заработать бы на закладной, как по векселю с комбинацией. Ну, да я-с... вот перед господом-с, отыщу его, прощальгу-с этого... Не уйдет от меня...

Впустил Дуньку, и ему она по порядку опять рассказала, чтоб лишний человек знал, что не она Марью Карповну придушила, а сам хозяин прикончил ее, собственными руками, и старик промычал опять, и головой кивнул, и глазами.

— Поздно-с, Касьян Парменыч, я уж завтра-с чуть свет прибегу, сообразим-с что до следователя, а теперь простите, домой побегу, к своим ребятишкам-с, к супруге-с...

Домой прибежал на Мещанскую за полночь, постучал в ставню, чтоб знали, что сам идет,— жена выбежала.

— Ваничка, к тебе какой-то доктор зачем-то,— срочно, говорит, видеть нужно... Может, сказать, что домой не придешь?.. Он говорит: дожидаться будет хоть до утра — дело важное...

— Какой доктор, откуда?

— Ни разу такого не видела, не знаю...

И раздеться не успел в передней, навстречу к нему Болотов и говорить не дал Лосеву:

— Не раздевайтесь, я ухожу, проводите меня немного.

И на улице в темноте, раздельно и коротко:

— Слушайте, Лосев, я сейчас от Дракина. Существует пакет, оставленный сидельцем Калягиным по делу о поджоге фабрики... Надеюсь, вам это дело очень хорошо известно, потому что в этом пакете находится ваша денежная расписка по этому же делу и в расписке задатка Ваньке Каину, тоже, вероятно, хорошо вам известного, есть также ваша подпись, затем ваши расходы на знакомую вам Маньку Галченка и так далее... Понимаете?.. Все

подробности известны, до мелочей... Выяснено, что о векселе знают только: Калябин, вы и еще одно лицо, может быть, вы его и помните со стороны Дракина. Так вот слушайте,— если вы не хотите попасть на скамью подсудимых по делу о поджоге фабрики Дракина, как одно из главных действующих лиц,— а чем это пахнет, надеюсь, вам хорошо известно, как поверенному,— так запомните хорошенько — никакого векселя, выданного Феклой Тимофеевной Гракиной купцу Галкину, не существовало, иначе... сами знаете, что будет. Ясно вам?.. Надеюсь, возражать не будете!

Как пришибленный, Лосев начал:

— Не буду-с, господин доктор... Сами-с изволили видеть мою семью-с...

Не дал говорить, торопясь, перебил Ивана Матвеевича:

— Верю, что будете молчать. А это вам за труды по неоконченному делу о поджоге фабрики три тысячи и без свидетелей и расписок, а затем имею честь кланяться.

Обескураженный, вернулся в избенку свою Иван Матвеевич,— ничего не мог понять, каким путем даже такая мелочь известна, как угощение Маньки Галченка в слободке под красным фонарем гулящим, а больше всего обрадован подарку трехтысячному; пока дошел до дому, все время вертелось в голове, что вот бы с кем какое-нибудь дельце сделать, заплатил бы не по-Галкински, а сколько спросил бы.

На другой день и к Касьяну Парменычу не пошел, до девяти часов провалялся в постели, чего никогда не бывало с ним и в праздники, и жену от себя отпустил только в восемь,— ласковый был, точно в первый день свадьбы мальчишка влюбленный,— жена удивлялась и радовалась...

— Да что с тобой, Ваничка, точно праздник у тебя какой или именинник ты?.. Давно такой не был и я-то с тобой одурела... на старости.

— В тридцать пять лет в старухи записываешься? Что ты, Шурочка!.. А праздник у меня большой,— можешь поздравить,— какой — не скажу, секрет-с, а только правда твоя, именинник я... Поневоле именинником станешь, когда попало в карман три тысячи...

* * *

Галкин мычал, на дверь показывал, дожидал Лосева и не дождался его до смерти... На второй месяц и рукой начал двигать и писать каракули, и нотариуса призывал завещание делать в

присутствии доктора и священника,— торжественно, чтоб и подкопаться не к чему было, и написал его в полном рассудке и памяти в пользу Евдокии Семеновны Денисовой, сироты крестьянской.

А доктор, что лечил его (не городской врач, а знаменитость губернская) — изо дня в день трешницы получал, после чая торжественного с закусочками, когда уже разошлись все, в передней серьезно сказал Дуньке, поглядев на ее живот распухший,— подумав, что не без греха, де, старик насчет полу женского, иначе бы и завещание бы не написал на ее имя:

— Только вы смотрите, с Касьяном Парменычем теперь в половые сношения нельзя вступать, иначе вы будете в его смерти виновны... Понимаете?..

Та на него только посмотрела, ничего не поняв, и головой отрицательно покачала.

— Понимаете, вместе с Касьяном Парменычем вам пока нельзя спать.

Покраснела вся и про себя подумала:

— Думает, что от него у меня...

И так слова эти врезались,— покою ей не давали — захотелось поскорее хозяйкою быть полной. Все время за ним ухаживала, с первого дня, как сказал ей хозяйствовать, и в самом деле хозяйкою стала,— Евдокией Семеновной величали все, и ларчик покойницы берегла как собственный, и с сундука на постель перешла в спальню, — мучило только, что и Афонька на ней же валялся с хозяйкою. И не каждую ночь ночевала в спальне, а через день: один день сама себе барыней, а на другой,— подле старика на полу, чтоб не скучал со своими богами. А как сказал доктор, так и не через ночь, а почаще в молельной молилась и при лампе (все время по ночам с того дня горела), не торопясь раздевалась, чтоб и старый поглядел на нее, потому хоть и распух живот, зато сама по-купчески округлилась кралею. Один раз старик глядел, глядел, да и подозвал ее, заикаясь:

— Хо-оть бы при-ла-а-аскала меня ста-а-аро-о-го...

Улыбнулся, глазки сощурил и морщинки сдернулись подле переносицы...

И приласкала его, да так, что наутро язык отнялся.

Приехала знаменитость губернская, поглядела и, одевая шубу в передней, шуточкой Евдокии Семеновне:

— Сознайтесь-ка... согрешили с хозяином?..

А сам будто не про то, отчего язык мог отняться, а глазами на живот показывал.

Через месяц и хватил Касьяна Парменыча третий, и отнесли старика к Крестителю.

И осталась Евдокия Семеновна Денисова к родам сына своего, Василия Афанасьевича Калябина, хозяйкой полною, купчихою первогильдейскою по всем законам Российской империи.

ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМСКАЯ

I

Фонарь подле дома, самый обычный фонарь, водруженный на корявом дубку с керосиновой лампочкой поманил Афоньку, как только на Пеньки вышел. Слякоть под ногами хлюпает, поддевка в стороны разлетается — в темноте и крючка не найти; под картуз залетает дождь мелкий, и ни души — ни встречного, ни поперечного, путь вольный. Через площадь перешел и уперся в фонарь прямо.

Разглядел — дом двухэтажный каменный и склады кирпичные, — значит дракинские.

— Чего тебе нужно?

Окрысился Ванька Каин на Калябина в темноте.

— Ай не узнал?

— Афанасий Тимофеевич? Чтой-то вы поздно как? А мы-то вас ждали с Лосевым. Теперь караулю тут, а через недельку фабрику караулить буду.

— Карауль, Вань, дело хорошее. Спят или нет?

Мотнул головой на окна.

Звонился — сам не знал сколько, пока не забежал свет в окнах. Вышли со свечой отворять.

— Кто тут?..

— Феклу Тимофеевну повидать, либо самого инженера.

— Да кто?

Ванька Каин свой человек, — прибавил:

— Отпирайте, знамый человек, — к хозяину дело срочное...

Загремела доска, заскрипела дверь, — поддевка на размах, с сумкою — ввалился в переднюю.

Слышал, как через две комнаты инженер возился, харкал, сплевывал, чиркал спичками и, наконец, шлепая туфлями, в халате и с трубкой, с помятым лицом заспанным, выходя в переднюю, ворчал сердито:

— Что нужно? Кто тут?

— Калябин я, сиделец Галкина,— еще вексель Феклы Тимофеевны при вас надписывал,— помните, от себя я по делу к барышне либо к вам,— секрет, один на один нужно.

И опять ворчащим голосом заспанным, дымом фыркая:

— Скорей только,— в чем дело?.. Тут говорите...

— Дело большое, не скажешь сразу.

Уходить хотел инженер, Афонька шепотком ему:

— Насчет поджога пришел к вам...

Сразу и глаза открылись заспанные.

— Какого поджога?

В кабинет его ввел.

И рассказал Афонька ему правду всю, как хозяин через него людей нанимал перед уплатою поджечь канатную фабрику и склады спалить под одно и про то, что караульщик-то их и есть тот самый человек нанятый, и про каждого. Лосева прихватил, как сводника, и про Маньку-Галченка, как за деньги спаивал Ваньку Каина у себя по ночам под фонарем красным, и про ребят слободских...

— А только самое главное-то при барышне я скажу, потому, собственно, ее это дело, а вы только ответчик за нее будете... Побудить ее надо...

— Уезжает завтра она в Петербург, должна выспаться... Говорите мне.

— Дело ваше, а только все равно ее разбудить надо... Не уйду без этого.

И злость на гостя ночного, и любопытство самое важное услышать заставили разбудить Феничку.

Слышно было, как Дракин бурчал, возвращаясь с племянницей:

— Черт его знает, сумасшедший какой-то... требует, чтобы главное при тебе рассказать...

Вошла в кабинет — халатик запахивала,— в чулках да в юбке; на спине топорщились две косы жирные, из-под чепчика, точно рожки, торчали папильотки бумажные и тоже глаза были заспанные и, от снов неоконченных, мечтательные. И руки еще были от подушки теплые.

— Вот вам барышня, говорите...

— Не признаете меня, Фекла Тимофеевна,— позабыли?..

— Совсем не знаю... Не помню.

— Ну да ничего, придет время, может и вспомните, а только я вам бумажку одну принес, прочтите ее, получите, и ввек не забудете... Правду говорю... сейчас я...

И Феничка, и Кирилл Кириллович смотрели на него удивленно, инженер про себя думал, что либо идиот, либо жулик какой, и нетерпеливо дергал трубкою.

Поддевку распахнул и из жилетного кармана бумажку, вчетверо сложенную, протянул Феничке; Кирилл Кириллович в нее заглянул и взял у Фени.

— Откуда у вас вексель Фенин?

— Так что назад Фекле Тимофеевне принес его, чтоб не забыла никогда Афанасия Калябина.

Рванул вексель из руки Дракина — оторвал половину и подал ее Феничке.

— Так что теперь конец ему, извольте получить, барышня. Вот это и есть главное, а затем я уж пойду, а то и меня хватятся, тоже уезжать надо...

Ничего не понимая и не сказав ничего, ушла Феничка; Афоньке обидно стало, что даже и спасибо ему не сказала,— жизнь ей спас, она хоть бы что...

Инженер деловитым тоном:

— Садитесь, Калябин. Сколько за вексель вам?

— Ничего не возьму.

— Да ведь тут триста тысяч.

— Знаю, лучше вашего все дела знаю, а только денег не нужно мне. Не за тем пришел.

— Двадцать тысяч довольно?..

— Сказал же я, ничего не возьму... Отпустите лучше. Ста бы не взял, коли б не... ну да что говорить?.. Ухожу я.

— Ну, да черт возьми, говорите же, сколько вам?.. Пятьдесят довольно? Нечего ломать комедию.

— От самой барышни взял бы тысячу, чтоб на первое время обернуться было.

— Опять от самой?.. Ничего не пойму. Сейчас, сидите тут.

И опять привел Феничку. Задремать не успела и костерчик мечтаний не затух еще о Петровском, халатик одевать пришлось снова...

— Что ему от меня нужно?..

— Из твоих рук благодарность принять хочет... я тебе дам, подай ему пять тысяч...

Вошла, огоньки злые, досадные в глазах заспанных, на Афоньку не смотрит.

Открыл инженер стол письменный и привычной рукою отсчитал сотенными, в пакет сунул и заклеил, да так, чтоб не видал Калябин,

будто Феничке показывает где деньги лежат и незаметно ей в руку пакет подал, шепнул, чтоб спасибо сказала.

— От вас только, Фекла Тимофеевна, и возьму,— ни от кого б не взял больше...

Пакет взял, а другою рукой схватил руку и поцеловал ее. От поцелуя Феничка беспомощно рукой дергала и беспомощно на дядю глядела, без слов просила ее защитить, точно в этом поцелуе ее судьба затаилась, а дядя стоял и, как на неизбежное, смотрел спокойно, думая, что, должно быть, ненормальный человек Калябин. Поцеловал и отбросил ее руку с отчаянием...

— Проводите меня, пойду... поеду...

И спасибо сказать не успела,— от испуга забыла. Осталась в кабинете дожидать дядю. Сам в полумраке утреннем со свечой проводил на лестнице, дверь хотел отворять — остановил Калябин и шепотом:

— За Ванькой Каином присмотрите — раз, а второе — совет мой, дайте через кого-нибудь Лосеву тысячи три,— по весь век ему по этому делу рот замажете, потому старик ему бы и пятьсот за работу не дал,— не забудьте, спокойней будет,— кроме него про вексель никто не знает.

И ушел в полусумрак, к станции.

Инженер Дракин по дорожкам ходил, медленно — кружил в голове бурелом, и никакие комбинации не укладывались в голове, одно только думал, что непременно тут не обошлось без крови, а про Афоньку...

Вошел в кабинет и Фенички не заметил, про себя говорить начал:

— За триста тысяч пять отдать... Это больше чем двести тысяч выиграть... Идиот какой-то...

— Кто идиот, дядя?

— Ты не ушла?.. Да этот Калябин. Почему он тебя знает? Где ты его могла видеть?..

— Не знаю, дядя Кирюша... Одну минуту и мне показалось, что где-то видела, а припомнить никак не могу...

И в первый раз умиленный дядюшка обнял за плечи Феничку и поцеловал в перемятые от сна губы, такие теплые, как и все полусонное тело бывает дремотным и теплым, и в первый раз почувствовал не девочку в ней, не племянницу, а женщину, и даже мысль отогнал соблазнявшую, и не мысль, а ощущение тела, родившего желание в мыслях...

И каким-то голосом, слегка нервным, трясая ее за руку, говорил весело:

— Ну, Феничка,— поздравляю тебя... триста тысяч выиграла... дома, деньги... самая богатая невеста теперь... Точно предпраздничный сон... Теперь я тебе должен, без малого, триста тысяч... Может быть, вексель выдать?

— Ничего мне не нужно...

— Так, значит, завтра придется ехать... иди, спи... Легла — не спалось больше, самой себе притворялась, что спит, думала, как известить попутчика своего Петровского, что на другой день едет. Комнату ей обещал найти, все-таки будет не одна в большом городе. Первые дни страшной всего потеряться среди чужих, а тут свой, и в мечтах по-особому близкий: и по-женскому, и по-девичьи еще в мыслях ее неразлучный. И не фантазии рисовала, стараясь заснуть, в дремоте, а жизнь вольную. Хотелось по-разному любить Петровского: к душе приковать любовью, а самой быть свободною, и так, чтоб не ревновал к ее свободе — захочет любви, позовет, отдастся вся до конца, до последнего, расскажет и мысли свои до подробности, но только сегодняшние, те, что в ласке его родились, а не те, что в будни живут серые, да так расскажет душу, чтоб ни вперед ни назад не заглядывал, а жил бы с ней днем сегодняшним и не спрашивал. Больше всего пугалась, если о прошлом спросит, когда почувствует, что не девушка. И знала, что всегда говорит ей о свободной любви безбрачной, о сегодняшнем дне счастья земного краткого и девственность зовет предрассудком древним,— может, оттого и зовет, что или сам девственник, или никогда не познавал девственной. И хотела верить словам искренним и боялась чутьем доверить, когда любовь его к ней столкнет с правдою, может, и не скажет ни слова, а обида западет в душу, что кто-то другой,— не его полюбила первого, а еще раньше кого-то, и сказать, намекнуть боялась о правде, чтоб не ушел и не от нее, а от любви своей. И вот этот-то первый, к которому и не было ничего, и не осталось, и была свобода ее, за которую в браке законном, может, и заплатить можно чем, а в любви — никакой не заменишь лаской. И все-таки близким ей был — единственным, оттого и единственным, что девчонкою ее провожал за уроками и книжки носил, и в тетрадки, как в душу, заглядывал. Потом изменился,— возмужал, сознательным, разумным стал, и к жизни холодно стал относиться, как по шахматной доске людей расставлял, говорил, что и чувство его — в игре королева, а король разум и что разум захочет, королева выполнит, собою пожертвует, а выполнит. И все-таки не верила, что любовь, как пешка в игре разума. Закутавшись лежала, думала, и помимо желания перед глазами выплывал Афонька рыжий, позабыть хотела и в то же время

припомнить старалась — где его видела: чувствовала, что видела где-то и не знала где. Точно камень, голова рыжая придавила мечты ее, не были они отчего-то ясными, позабыть хотела и не могла... До сих пор, как лишай, на руке губы чувствовала. И чуть слышала, как по комнатам ходить начали, халатик накинула и наспех Петровскому написала коротко, что просит его завтра ехать с тем же Ростовским, и отослала на квартиру к нему прислугою.

До вечера из угла в угол, ничего не делая, проходила, потому если собрался куда человек — и пустячное дело из рук валится, а тут еще этот гость ночной таинственный, про которого Антонине Кирилловне братец рассказал по-своему. К вечеру утихомирилась жизнь суетная — сели в последний раз чайку попить семейного на старой половине, по желанию матери, и даже с Алексеем Кириллычем, потому нелюбимый он был, на чесальне огрубел с трепальщиком и жил-то не в законе с простой бабою в конторе и в дом почти не показывался. По стакану не успели выпить — дребезжит звонок в передней.

Антонина Кирилловна приказала никого не пускать, хоть бы кто был.

Девка бежит обратно.

— К молодому барину, к Кирилл Кирилловичу доктор... говорит, не уйду,— скажи, Болотов.

С досадою привести разрешили.

Вошел взволнованный...

— Пойдем, Кирилл, в кабинет, дело есть — ахнешь!

И опять ему в кабинете один на один:

— Понимаешь ты, как на исповеди, прислуга ее,— как ее, Дуняшка,— и рассказала, как старик Галкин от ревности к сидельцу своему задушил жену свою, а сам-то вернулся в молельню и грохнулся,— без языка лежит, мычит только... Прибежал за мной половой... Поглядел... паралич... Да и нашел пакетец. Понимаешь ты?..

— Ничего не понимаю, какой пакет?

— Читай,— «Хозяину Касьяну Парменычу, по делу поджога Дракиных, сдачу»... подпись... «мещанин Афанасий Тимофеевич Калябин»... ты посмотри только...

А потом и Кирилл Кириллович, тоже ошарашенный (хотя и знал все), другу своему поведал правду...

— Лосева этого видел я... представился, как поверенный старика, физиономия, я тебе скажу... подозрительная, недаром, видишь тут, и

счет на девку какую-то... Надо заставить его замолчать про вексель... А как?..

И вспомнил Кирилл Кириллович совет Афонькин, и мысль даже мелькнула, что лучшего человека, чем друг Болотов, и не найти для такого дела, и сказал сразу:

— Рот замазать деньгами...

— Как?

— Ты друг мне, Ваня,— да?

— На кражу бы не решился, если б не был другом, а просто передал бы следователю.

— Понимаешь ты, такое дело доверить никому нельзя, а самому мне, инженеру Дракину, миллионщику, на такое дело идти...

— Хочешь, чтоб я?..

— Да.

И замолчали, точно себя проверяли в тайном,— потом нервно:

— Ну?..

— Что?

— Можешь?..

— Что?

— Дать ему?..

— Кому?

— Тому, Лосеву?

— Давай,— все равно.

Точно гора с плеч свалилась — заговорили весело, когда полез в стол письменный за деньгами и о постороннем совсем, хотелось друг перед другом скрыть, что в самую грязь окунули совесть.

Подавал деньги ему, и будто и дела нет никакого, а только была между ними беседа приятельская, позвал чай пить.

Отказался приятель, проводил его сам и дверь запер, и на прощанье молча пожал ему руку.

Вернулся в столовую и, точно оправдываясь в чем, без Алексея уже:

— По делу приходил Болотов... опять относительно этого Калябина.

И у каждого пробежало жуткое чувство, каждый по-своему про Афоньку вспомнил.

Антонина Кирилловна спросила только:

— Еще что-нибудь?..

— Старик Галкин Марью Карповну задушил из ревности к Калябину и самого удар хватил.

Сказал и почувствовал сразу, что, может, из-за векселя задушил старик жену, может, из-за векселя и удар был.

А Антонина Кирилловна в ту же минуту приятеля Николки вспомнила — монаха рыжего.

— Страшное дело, Кирилл, вот что...

— Спать пора, ступай, Феня...

Феничка дядю упрашивать стала вместе с матерью ее на вокзал проводить... В кабинет пришел и решил, что нельзя ему племянницу провожать ехать, а лучше пораньше у Болотова узнать, удалось или нет ему видеть Лосева, если не удалось — уголовщина запутает имя Дракина и пошатнет кредит в Лионском.

Из угла в угол ходил, сосал трубку, подергивая губами, а потом подошел к столу, открыл и, увидав к платежу приготовленные кредитки пятисотенные, сказал сам себе,— шальные... И Феничку тут же вспомнил, и захотелось из шальных подарить девчонке,— сознаться даже себе побоялся, что на нее поглядеть хочется, поцеловать племянницу, а на забаву без матери сунуть ей втихомолку.

Подошел к двери, постучал...

— Не спишь, Феничка?..

— Раздеваюсь, дядя Кирюша...

— Я к тебе попрощаться... забыл, что завтра дело срочное...

— Сейчас...

Слышал, как халатик зашуршал шелком...

— Можно теперь?..

И как в прошлую ночь — в губы Феничку и опять, точно опомнившись, в душе обругал себя.

— Как вы, дядя Кирюша, целуетесь крепко...

— А это вот тебе... на что хочешь... все равно шальные... трать... мало тут... только не говори матери, напиши, что на театр не хватает... мигом вышлю, все равно шальные...

Перед утром проснулась и опять не заснула — подумала про Петровского и про Калябина вспомнила — чувствовала, как на руке от поцелуя лишаем сидит. И на вокзале успокоиться не могла — вспоминала все, где она видела рыжего, и, прощаясь на площадке с матерью, спросила ее тревожно:

— Мама, кто этот Калябин, вспомнить не могу, а мучит... кто?

Мать тоже испуганно шепотом, целуя в щечку:

— Приятель... того. Монах рыжий...

И точно от радости, что могла, наконец, вспомнить, и оттого, что вспомнился ей на бревнах рыжий, хватавший за руки, а теперь и поцеловавший руку — вскрикнула:

— Помню!

II

Спозаранку забрался на вокзал Афонька, еще в полумраке мигали фонари слепо, и носильщики не выходили к поезду. На прилавке весовщик похрапывал, а в третьем на лавках мужицкие свитки от дыхания подымались ровно. К скорому зашевелился вокзал и мужики проснулись — надо не надо, а стал каждого с кокардой расспрашивать, скоро ли почтовый на Мценск будет.

Вместе с мужиками Афонька напился чаю, за одним столом, из одного чайника. Как пакет сунул дракинский, так и не дотрагивался, про черный день хранить собрался и не посмотрел даже сколько, а из засаленного гамана кожаного достал мелочи, еще из тех полторы тысяч, что от Галкина получил в задаток.

— А вы из каких будете сами?..

— Приказчиком был...

— Куда ж ехать изволите?..

— В Питер.

— Сами, ай от хозяина зачем посланы?..

— По своему делу, сам...

— У меня там тоже сынок работает.

И ухватился Афонька за мужика, чтоб хоть кого-нибудь да знать в чужом городе.

— Где?

— На пристанях был... грузчиком... Поклонник бы ему отвезли... вот гостинчика никакого нет...

— А где он живет?.. Я ему сам отвезу гостинчик.

Замусоленный конверт достал из-за пазухи и подал ему.

— Тут прописано...неграмотный я...

И поехал Афонька с адресом в столицу за Феничкой до Москвы с почтовым; в Москве проболтался день и на Николаевский пришел к вечеру, опять дожидать почтового. Осмелел, огляделся и залез во второй класс ужинать; поезда громыхали, носильщики бегали за господами и важными, и неважными,— сидел за бутылкою пива, поглядывал, будто дожидал кого.

Со смехом компания ввалилась веселая.

Господин, что с Афонькою сидел рядом в широкополой шляпе мягкой, с волосами, раскинутыми густыми космами, чтоб только сказать что-нибудь, начать разговор от скуки, обратился к Калябину:

— Молодежь едет, смеется, им и война нипочем — веселы, до японцев и дела нет никакого...

Встрепенулся Афонька, как про студентов услышал, так и подумалось, что Феничка тут с ними.

Глянул, издали увидал ее и к стойке пошел — выпить будто рюмочку. Потом около нее прошел и картуз снял, как знакомый.

— Фекле Тимофеевне почтение-с... Тоже в Питер-с?.. вместе, значит...

Обернулась она и отшатнулась к Петровскому, ужас пробежал по всей и беспомощно ухватилась за рукав Никодима — спрятаться, убежать куда-нибудь, второй день ее мучил, в каждой мысли преследовал, а теперь наяву, как знакомый, обращается к ней,— так и встала перед ней мельница и бревна, раскидавшиеся у ворот, и в черной скуфейке монах рыжий, на Марью Карповну ее клонивший, тогда еще понять не могла, что не за Галкиной, а за ней, за Феничкой, ухаживать начал Афанасий Калябин.

— Что вы, Феня, что с вами?..

— Этот, опять этот, Никодим Александрович.

— Кто этот, где?..

— Вон там стоит, рыжий... поклонился мне...

— Да кто это такой?..

— Так, ничего, пройдет это...

А сама к Петровскому прижималась и тянула его за рукав:

— Пойдемте в вагон... опоздаем...

И компания в Афонькину обернулась сторону, и расспрашивать стали Феничку.

— Это так, господа, ничего... идемте, я вам расскажу... Были у нас еще в позапрошлом году на святках ряженые, и он был — не то монахом, не то странником, не помню уж, и так меня напугал, что с тех пор позабыть не могу этих волос рыжих,— так и кажется, что схватить хочет за руку, как тогда...

И все это скороговоркой, с улыбкой нервной, обращаясь все время к Петровскому, точно ему одному рассказать хотела. И в вагон вошла, посадила его рядом с собою и, чтоб не остаться наедине с мыслями, продолжала, теперь уже посмеиваясь:

— Пришли они к нам ряжеными, и я из задних комнат девкой деревенской выбежала, кто в масках,— знаете, такие бывают картонные,— а кто и без масок, и я без маски тоже, а он, этот монах

рыжий,— я сперва думала в маске, уж очень страшный,— и давай оглядывать,— нет ли новых кого, увидал меня с Галкиной...

А кто-то спросил из землячек:

— Это что муж задушил старый из ревности к буфетчику или сидельцу трактирному?..

И еще больше заволновалась Феничка, и еще торопливей рассказ фантазировала, и еще больше от этого испугалась:

— Он, он задушил, мне тоже так кажется... Так вот, я с нею стою, болтаю, а он сзади меня хватъ, обернулась,— рыжие волосы, брови рыжие и нос проломленный, прямо ужас какой-то, как маска страшная, и хохочет в лицо,— новенькая говорит, да еще без маски, какой деревни? — я от него к Марье Карповне, а он и давай нас обеих руками обхватывать,— не уйдете, говорит, красавицы вы мои... Марья Карповна говорит: «Оставьте, Калябин, довольно вам...»

И опять даже вскрикнула...

— Так это сам Калябин?.. Что ж ты, Феня, раньше мне не сказала, — я бы хоть рассмотрел получше.

И сразу Феничка замолчала, оборвала свою фантазию и еще больше придвинулась к Петровскому в полумраке синеватом,— плацкартный пассажир на верхней полке фонарь задернул.

Феничка не закончила, и другие никто не спросил больше — по вагону разошлись укладываться, только остались вдвоем Петровский с Феничкой. Никодим чувствовал, что встревожена Феничка, только не знал чем, отчего, хоть и правдоподобна была история с ряжеными, а что-то в ней фальшивило и тоже, припоминая, сидел, где он мог видеть его, и сказал вслух:

— Где я его видел?.. Отлично помню, что видел, а где?..

Все еще взволнованно, хотя и полупшепотом, сказала Феничка:

— Прошлой весной, помнишь, приходил к нам,— мы стояли в передней после урока.

И опять замолчали...

Под стук равномерный, в тишине сонной, и полудреме, плечом к плечу, как за крепкой стеной подле Петровского, точно он защищал ее от Калябина, сидела Феничка, постепенно и об Афоньке уплыли мысли, и только осталось чувство, что одна теперь, и даже какая-то беспомощность разлилась в душе, отчего еще крепче к плечу прилегла Никодима. И он сидел молча, не двигаясь, чувствуя плечом через косоворотку тепло баюкающее.

Давно, еще когда две косы на одной ленте широкой носила, и тогда подле дома вздыхал, дожидался — не выйдет ли, за два переулка, почуя, из гимназии шла, узнавал по походке и бежал

навстречу, а потом — понять не мог отчего! — съездила прокатиться с дядею в Питер, и переменялась вся,— та, да не та: и застенчива будто, а нет-нет, да и сверкнет глазами и смех заиграет разливчатый и глаза стали не те — наивность исчезла девичья и не то тоска, не то бесшабашность отчаянья блеснет заманчивая, и походка — не семенящая горошком дробком, а вольнее — в коленях с подкидцем, резкая; и о любви заговорила, как о будничном, посмеивалась над влюбленными. А как начал ходить уроки давать, учить писать сочинения и с литературных тем на личное перекладывал,— даже показалась шаблонною, оттого и показалась, что ни в какие идеалы не хотела верить. Уже в то время Петровский (в последнем классе учительского института был) народником и революционером себя считал, и фуражку одел студенческую, после аттестата зрелости, и вошел в партию. После этого еще обыденней Феничка ему показалась, и гулял иной раз с нею летом, и на студенческом вечере на рождестве у колонны просидел в дворянском собрании весь концерт,— все еще найти в ней хотел что-то, и не нашел, а только еще не умершее к ней сентиментальное чувство ребячье привязывало любопытством. А теперь вот задумался, когда в правдивом рассказе про ряженных чутьем уловил и болезненное, и жуткое. Когда ходил репетитором — не мог понять,— не то влюблена в него, не то играет только, отталкивая и дразня, а теперь — сразу почувствовал, что не влюблена, а любит, и не отталкивает, а прячется, и самому захотелось заглянуть поглубже — отчего человек от какой-то встречи, не то чтобы содрогнулся, а растерялся неприлично. И, не отодвигаясь, тихим и ровным голосом спросил:

— Почему на вас, Феня, так повлияла встреча с этим... Калябиным?.. Почему?..

Не ответила сразу, а сперва жуткая мысль про Николку мелькнула, точно боялась, что в тишине заставит ласкою, может всего одним поцелуем, душу раскрыть и опять надорвать ее отчаянием, оттого, что самое страшное рассказать страшно, сил не хватит любовь пережить к Петровскому и может потерять ее навсегда, и замкнулась в себя, и опять заиграл смех дразнящий и не отодвинулась, а только ближе стала в глаза заглядывать, точно сказать хотела: «Зачем тебе прошлое? — вот она я, теперь вольная, одна, без матери, люблю и свободна, в Питер едем...», опять, как утром вчера, те же мысли витали.

— А зачем вам, Никодим Александрович, знать нужно?.. Думаете, что романтическое было какое-нибудь?.. Да?..

И все еще тем же ровным голосом:

— Мне кажется, что вы прячете себя и еще что-то за своим смехом и за своей, ну как бы сказать, не за глазами, а за своими взглядами.

Рукою дотронулся до руки ее, до того места, где сидел еще поцелуй Афонькин, отдернула и засмеялась громко.

— Никодим Александрович, что вы?..

А потом с тем же смехом почти шепотом:

— А если б земляки наши видели?..

И опять громко, поднимаясь:

— Спать надо, поздно...

Откинул волосы назад рукою и встал резко, точно от сна очнулся.

— Поздно, пора, вы правы... Пойду курить... А вы ложитесь...

На площадке стоял у окна, в темноту всматривался и через окно видел открытые фонари мелькавшие, и старался думать о Питере, о работе, о партии.

Легла Феничка и долго лежала, не шевелясь, не двигаясь,— не спала, не думала, а чувствовала, что жизнь началась — и только глаза, крепко сжатые, были без слез горячими. Слышала, как вошел, развязал ремни, короткими движениями одеяло раскинул — и лег, вздохнув глубоко.

III

За Васильевским островом на плавнях ютились в хатенках грузчики и всякий народ, с бору с сосенки собранный, изо дня в день с хлеба на квас перебивались и у баб гулящих, что подле казарм толкались за пятак с ночевкой, лохмотье свое штопали и с ними же в пивной пропивали заработки, пятаков не давали, а за угощение ублажались прелестями поношенными. К обеду нашел Афонька Якова Рябина — коренастого парня, в плечах косая сажень — мешками да ящиками разъело, раздало плечи. В хатенке жил, черным людом набитой...

— От родителя вам поклон низкий.

— Сами откуда?

— Из города,— все равно земляки, одной губернии.

— Кабы денег прислал, выпили бы для знакомства, а то ждет, чтобы ему послали.

— Сказать правду — прислал красную...

Из своих Афонька решил дать, чтоб разузнать получше про город, про порядки разные...

— Это дело... На Васильевский сходим, там и девки куда лучше наших,— не видали еще, небось, питерских...

Усадили под граммофон полдюжины под хрустики сушеные с солью, под бараночку, и языки развязались. Афонька, хоть и рассказывал приятелю новому, а на уме держал — не выбалтывать, а главное, чтоб не показать, что деньжонки водятся.

— У нас тут народ трудящийся, пролетарии, как в листочках-то господу пишут.

И Афонька, чтоб лицом в грязь не ударить, замолол по-своему, что еще от Лосева слышал, когда от скуки к нему подсаживался по вечерам в трактире:

— Что и говорить, Яков Петрович, времена трудные, возьмите у нас хоть бы, в рабочую пору за полтинник работает мужик с лошадьё, а сколько одра прокормить стоит?.. А в городе рабочему человеку и говорить нечего... Слышали, может, купцы у нас есть — Дракины, миллионами заворачивают,— народ чуть с голоду не подыхает, как же тут жить-то,— заводы выстроил, за границу канат гонит...

И почувствовал, что правду он говорит; когда у Галкина в трактире сидел и целый день гул слушал мужицкий — неприметно было; разговоры мужицкие проходили мимо, все равно было,— о своем думал, и слова пролетели мимо ушей и теперь вот только зазвучали явственно, когда говорил с Рябиным, из нутра выходили, и сам не чувствовал того, что правду говорит, а вышла-то правда, самая настоящая, даже Рябин спросил:

— А вы, Афанасий Тимофеевич, не от тех, что министров караулят с бомбами? У нас тут одного здорово прихватили — вдребезги разнесло и кучера-то ни за что ахнули...

— Это я к слову, потому разговор зашел. А интересно бы повидать их... этих господ...

— Да вон там в уголку компания,— чего ж глядеть-то...

— Это студенты.

— А вы думаете особые,— студенты и есть. Уж если правду сказать вам,— хороший народ, правильный... Что других баламутят... а больше все оттого, что сами-то они баламутные, как неприкаянные мечутся. А сколько их по острогам-то... И хоть бы што — другие б оставили это дело, а они-то... сажают их и все нипочем, как грибы вырастают, так и прут. Я только что думаю, должно вправду они стараются за нашу братию. Уж ежели б за работу платил кто, а то ведь по охоте они, сами, народу, говорят, жить трудно и нам тож от того не легко, душа у нас мучается.

И сразу Афоньке пришло в голову, что, должно, и тот, что с Феничкой был,— тоже из таких, у кого душа за народ мучается, с ним бы сойтись как, может и Феничку через это повидать можно, побывать когда. Квартиру себе не стал искать, с Рябиным сперва поночевать пошел, на другую ночь опять по случаю выпивки и угощения барышень Василеостровских некуда было деться, наутро вернулся к Якову, а там и привык. Работы искать не спешил, еще галкинские не растаяли. А потом изо дня в день по пивнушкам слонялся по вечерам, выбирал, где студентов побольше, и садился поближе,— может, услышит что одним ухом и присоседится. С Васильевского забрел и на Петербургскую сторону, на Малый проспект — все искал, не встретит ли того, что с Феничкой ехал. А чтоб говорить о чем было, и газетки почитывал — в каждое слово вникал... Сторонились его,— подойдет, сядет — и замолчат, переведут разговор на пустотное. Один раз зашел на Малую Спасскую и, как всегда, оглядел столики и встретил черноволосого с компанией и подсел поближе. Целый месяц он искал его, целый месяц по трактирам ходил, по пивнушкам и его-то искал, и мысли стали бродить несуразные, всплыли они из глубины откуда-то про неправду темную, и Касьян вспомнился, и мужики базарные с лошадьми, и лошадаики прасолы, ради хлеба выколачивающие из мужика кровное, и стал он искать по пивным, по трактирам таких людей, что за правду стоят, к студентам приглядывался и все расспросить хотелось ему, не знают ли такого, что подле барышни Гракиной,— может, и он стоит за правду эту. И потянуло его к нему, даже Феничка и та стала ему еще дороже, если она с такими людьми знается,— значит, и она за правду стоит.

Дождь моросил, когда раз как-то к Рябину плелся по плавни, по окраинам пустынным, и только впереди один человек шел, повиливая в пальтишке легком с пуговицами блестящими. Показалось, что студент, шагу прибавил, поравнялся с ним и захотелось заговорить ему, расспросить студента.

— Погодка-то нынче какая, молодой человек, а? Занятная... А вы тоже изволите проживать тут?..

Не ответил ему, подумал, что по пьяному делу пристаёт, на водку двугривенный хочет выпросить.

— И вам нелегко живется, вижу ведь я,— не жили б тут-то, в дыре этой. А только и мне тоже... А что я спросить вас хотел... Не подумайте что... Я ведь по-честному... Навидался и я этого... А теперь вот ищу я таких людей, что за правду стоят, целый месяц хожу по

трактирам, да по пивным. Честное слово, господин студент. Да вот и решил я, счастье мне видно, в темноте расспросить. Ни вы меня, ни я вас не знаю, и лица в темноте не распознать после, так и останется в темноте промеж нас... Скажите вы мне. Хочу я найти, понимаете, таких людей, что за правду стоят, послужить им хочу, потому видел я эту неправду, вот как нагляделся ее, и теперь как волхв хожу за правдою, за звездой Вифлеемскою... Уж очень я знать хочу,— может, и вы из тех, что стоят за правду? Сказали бы мне, указали б путь, где таких людей мне искать?..

— Вы правильный путь взяли, в трактире да в пивных скорей всего таких людей встретите и ищите там, а я хоть и студент, а людей таких не встречал.

И повернулся за первый угол господин студент, чтоб отвязаться от навязчивого проходимца, да к тому же и подумал про него,— либо пьяный какой, либо шпик дурачком прикинулся.

Пошел Афонька опять искать по трактирам да по пивным таких людей, что за правду стоят,— того искать, что подле Фенички был Гракиной.

Встретил в пивной на Спасской и подсел поближе.

Один шепнул товарищам:

— Господа, шпик пришел...

Оглянулся Петровский...

— Где?

— Рядом сидит, рыжий,— ну и морда... новенький.

Петровский сразу узнал Афоньку и улыбнулся, и не ему, а тому, что его за шпика приняли, и сказал приятелям:

— Это не шпик, господа,— наверное знаю.

И Афонька ему улыбнулся, точно знакомому, обратился, чтоб разговор начать:

— Земляки, кажется?..

— Кажется, да...

— А я, по правде, вот уже целый месяц по пивным вас поглядываю...

— Меня?.. Зачем я вам нужен, Калябин? — кажется так, Калябин?

— Афанасий Тимофеевич Калябин. Не то, чтобы у меня дело к вам, а интерес особый по особому делу. Если не заняты очень, побеспокоил бы вас на минуточку за свой столик.

И постучал, чтобы подали пару светлого.

Опять улыбнулся Петровский, мелькнула мысль у него, что, может, сама разгадка дается в руки, сама судьба помогает разгадать

секрет Фенин, недаром в вагоне тогда стала совсем другая: и пересел за Афонькин столик.

— Видите ли, господин студент,— имени, отчества вашего не имею честь знать...

— Никодим Александрович.

— Так видите ли, Никодим Александрович, по разным путям странствия жизнь меня водит, и не думал я никогда в такой махине обитель жития обрести, а вот взошла звезда в полночи и повела к Вифлеему, как волхва библейского,— в Петербург, значит, прямо. И не так, чтобы без дела блуждал, не подумайте этого, а у каждого человека предначертан путь, и я себе предначертал его; прежде всего, надо вам сказать, ни в какую судьбу я не верю, а сам ее, по книжному говоря, выковываю. Сам и звезду свою отыскал, там,— и неопределенно ткнул пальцем не то в потолок, не то по направлению к двери,— и иду сам за нею, она движется себе по своему пути, а я следом за нею. Еще в трактире сидел у Галкина, среди люду базарного, гомонящего, каждый грош друг из друга выколачивающего, и нагляделся я этой самой неправды. Один купец чего стоит, коли б вам рассказать правду,— ну, вот каждый грош из человека вытягивает, за глотку только не душит, а можно б было, за полушку бы любого мужика придушил...

— Он и на самом деле придушил, не знаю только точно за что...

И не обратив внимания на слова сказанные, увлеченный своим рассуждением, спросил, как говорится, для порядка, чтоб, может быть, найти подтверждение своей мысли.

— Кого придушил?..

— Жену, Марью Карповну... разве вам ничего не известно?..

Вглядываться Петровский стал в Афоньку — знает или нет, или притворяется только. Сказал — Калябин привскочил даже и в замешательстве стал наливать пиво в стаканы.

— Марью Карповну придушил, да за что ж хоть?..

Чуть не вскрикнул Афонька,— только вид сделал, что не соразмерил пива налить, и на стол пролил, будто нечаянно.

— Как же это я разлил-то?.. Да... Хорошая была женщина, добрая...

И чтоб еще больше Афоньку смутить, может, если и не на откровенность вызвать, а только заставить говорить к правде больше, наклонился к нему и полушепотом, будто чтоб не слышали соседи, с расстановкою:

— Говорят, что из ревности к вам, Калябин...

И опять потянулся за стаканом и, закрыв глаза, без передышки стакан выпил.

— Ко мне?.. А говорил-то кто, кто говорил про это?..

— Может, вы хотите знать, от кого он узнать мог?..

— Вот, вот... Это самое,— от кого, если бы было что (ведь ничего и не было), про такую вещь тайную узнать старик мог?..

— Прислуга ему рассказала, девка, а доктору одному с подробностями...

— Доктору? Зачем же доктору?

— А затем... Вам и это неизвестно, Калябин?..

И опять пытливо заглянул в глаза Афоньке,— сказал, остановился и заглянул, чтоб посмотреть, что будет с Афонькою, потому что почувствовал, что, вероятно, правда не знает этой истории,— может, перед этим ушел, чтоб не знать и не видеть.

— Что после того, как он Марью Карповну задушил, пришел к себе и грохнул — удар его хватил, без языка лежит, руками шевелить не может...

Афонька от неожиданности потерялся, глаза вытаращил и даже руки смешно расставил, ладони вывернув.

— Его?.. кондрашка?.. Касьяна?.. Пар...ме...ны...ча?..

— Ну, теперь вижу, что правда не знаете ничего.

— Честное слово, не знал, ей-богу...

Товарищи дожидались Петровского и удивленно поглядывали и на него, и на рыжего в поддевке синей, а потом стали на часы смотреть...

И, точно вспомнив что, Петровский приподнялся, а потом опять сел, боясь упустить такой случай, когда человека на откровенность можно вызвать, попав в самую точку, задев за живое, и про Феничку узнать хоть что-нибудь, и сказал, почти не оборачиваясь, отодвинувшись только слегка, чтоб не упустить ни одного движения, ни одного взгляда своего собеседника:

— Идите одни, господа, позднее приду...

Афонька тоже оправился, собрал мысли и улыбнулся в душе тому, что без языка старик, без движения,— без движения и дело будет, и про вексель не сразу узнают, и когда Петровский снова к нему придвинулся продолжать разговор начатый, Афонька откровенность на себя напустил простодушную и первый заговорил:

— Ну, история... Так теперь я дальше вам говорить буду — задерживаю, спешить изволите,— я покороче. Прежде всего, уж если у нас такой случай, что пришлось вам первому мне про историю рассказать эту, так сказать, вроде того, чтобы огорошить,— не думал

я, что выйдет этак,— так и я вам по правде говорить буду... Я покороче... не задержу долго... Было дело с купчихой, скрывать нечего, а только и то правда, что и с Дунькою я тоже жил, с прислугою, вот она-то и возревновала меня и старику, значит,— выложила дочиста. А у меня другой путь свой... Правды я хочу доискаться, почему простому люду живетсЯ голодно? Целый месяц и расспрашивал я людей разных,— на студентов указывали,— они, говорят, знают правду, у них спроси; и вспомнил я вас,— как еще в Москве на вокзале увидал с Феклой Тимофеевкой, так и заприметил. Я и раньше вас один раз у них видел,— по делу я приходил к господину инженеру и встретил вас. Так вот ищУ правду я: отчего один человек другого душить может и ничего ему, только брюхо растет да мошна тяжелеет. Неужели простой человек не может и слова сказать, а как что — в кутузку его волокут?..

— Что, собственно, вы хотите, Калябин?.. Говорите прямо.

— Я, Никодим Александрович, хотел бы послужить таким людям, что за правду стоят. Не умею я сам, не знаю как,— а вы, говорят, знаете,— студенты т. с., ведь вы тоже студент?..

— Студент... Ну?.. Может, и знаю... А что вам нужно?

— Может, вы знаете таких людей, что за правду стоят... Хотел я познакомиться с ними,— может, вы меня с ними познакомить можете?.. Даже не то, чтобы познакомить, а указать, я уж сам познакомлюсь как-нибудь...

— Я?.. Не знаю... Сейчас, по правде, некогда мне, а если хотите — в другой день...

— Познакомите?..

— Поговорить можно,— может, и найдем таких людей... Сам незнаком, а у товарищей могу спросить...

Боялся Петровский, что если и не шпик Афонька, то проболтаться в трактире кому не нужно может, в поисках этой правды, и не по глупости проболтается, потому что хорошо видел, что неглуп Калябин, повидал людей, а только необтесан еще, неопытен, попадетсЯ шпику и конец — угрозами заставят указать и самого запутают — окунут в грязь собачью, ищейкой сделают. И упускать не хотелось Афоньку: первое — что народ хорошо знает и при известных условиях может быть кое в чем полезен, второе — про Феничку узнать захотелось, почему она испугалась его и что за странный рассказ про ряженных. Собрался уходить было Петровский, а Афонька еще заказал пару и налил в стаканы.

— Никодим Александрович,— теперь уж для знакомства давайте вот эти выпьем и до свиданья-с... не буду задерживать больше, ни

минутки, и разговорами занимать не буду время. Теперь я нашел, можно сказать, путь к звезде Вифлеемской, дойду до ней и в Вифлееме буду. За десять минут опорожним, живо...

И, выпивая стакан, чтоб освободиться скорее, думая уже о своем, спросил, чтоб не сидеть молча:

— Это у вас, Калябин, Вифлеем что же, так сказать, цель, идеал?..

— Я, Никодим Александрович, не отвык еще по-монастырскому говорить, хоть и два года в городе пробыл, пришлось с простым народом больше, ну, и путалось с деревенским, а по-городскому...

Быстро, точно боялся, что Афонька ничего не скажет про монастырь, спросил, не донеся пиво к рту:

— Вы разве монахом были?..

— Был... послушником...

— Монахом?..

И про себя dokonчил,— рыжим... и подумал, что, может, в этом-то и есть какой-то секрет отгадки перемены Феничкиной, и опять на стул уселся.

— Послушником...

— Никогда не бывал в монастыре... делать мне там нечего...

— Это правильно, мужчине там делать нечего...

Почувствовал, что, может, самое главное теперь расскажет, и хотел наводить Афоньку вопросами к главному...

— А женщинам что же — молиться?..

— Правильно ваше,— молиться...

— И городские бывают?..

— Бывают, только больше простого народу...

— Говорят, монахи за богомолками ухаживают?..

— Не знаю... не видал, у нас деревенщина больше...

И Афонька почувствовал, что неспроста Петровский про монастырь стал расспрашивать, то спешил, уходить собирался и пива допивать не хотел, а теперь сам в стаканы подливает и ему и себе,— чутьем угадал, что про Феничку расспросить что-нибудь хочет,— может, и слышал что, да не знает наверное, потому и расспрашивает и уперся — про свой монастырь ни слова, понес околесицу про баб деревенских, про другие монастыри, а про свой и про себя ни слова...

— Это вот в Троицкой лавре, да в Киево-Печорской... там всякий народ бывает и пешком, и машиною, там и монахи не те, что у нас, у нас... послушание да молитва, а там они жалованье от монастыря получают,— работа — языком брехать с богомольцами во славу обители...

Петровский тоже понял, что поспешил,— не с первого бы раза начинать, а постепенно и зная уже, что Афонька про главное ни слова не скажет, недаром монахом был, и стал опять собираться, допивать пиво...

— В другой раз вы расскажите мне, Калябин,— хоть и не был — интересно знать, как живут тунеядцы, а теперь,— я и забыл было,— идти надо...

— Расскажу, Никодим Александрович, отчего не рассказать... Любопытного много... В другой раз обязательно...

Вместе из пивной вышли и на порожах, на свету попрощались и опять, как и в первый раз, Афонька почувствовал, что враги, навсегда враги, из-за Фенички, и решил ничего не говорить про нее, про монастырь, про Николку и про Марью Карповну Галкину, помолчать лучше будет, чтоб Феничка и не знала, что он через Петровского путь к ней прокладывает сплетнею; лучше если увидит его с Петровским по иному делу, через это верней ходы будут.

Петровский не заметил взгляда Афонькина, завладела им мысль про Феничку, почувствовал, что самое главное тут, в Афоньке, а узнает от него, тогда и Феничку разгадает, уловит такую минуту искреннюю и заставит самую собой быть, не прятаться от него. Всю дорогу шел, думая про Феничку, и разбираться стал в ней, может, и не пустая, а в пустоту прячется, может, и смех разбитной игра только, маска, а в душе — надорванное и больное. Казалось, что ошибался в ней раньше и пожалел, что думал о ней плохо. И все время не шел из головы рассказ ее и на вокзале в Москве, и в вагоне, когда она хотела к нему спрятаться, за руку испуганно схватила, в вагон звала и в вагоне притихшая придвинулась к нему близко и, может быть, мучилась, недаром потом сразу опять начала смеяться нервно и вопрос задала почти истеричный: «Думаете, что романтическое приключение было какое-нибудь?» Если и не выдала себя ничем, то на мысль навела,— теперь только и понял Петровский этот смех и вопрос, глаза ему открывающий к главному. И тут же подумал, что недаром и Калябин искал его. Но эта мысль промелькнула на миг и потухла, потому что о главном Петровский думал — Феничку разгадать, захотелось человека в ней увидеть, не маску,— от этого и чувство стало к ней разгораться снова. И Феничке решил Петровский не говорить ничего, чтоб не замкнулась, в себя не ушла бы еще больше, а пока не узнает у Афоньки, до тех пор по-прежнему оставаться с нею.

На другой и на третий день до закрытия Калябин просидел в пивнушке на Малой Спасской,— только в субботу дождался

Петровского. Как и в тот раз, с компанией пришел и прямо за столик к Афоньке подсел и прямо к делу с первого же слова:

— Говорите правду, Калябин, иначе и разговаривать ни о чем не буду,— вы не шпион, не сыщик?..

— Истинный бог, Никодим Александрович... ей-богу...

— Верю. Теперь слушайте. Если хотите иметь дело с такими людьми, что за правду стоят, прежде всего надо работу найти, чтоб не стали следить за вами, а то слоняетесь без дела по городу — сразу подозрение, на завод поступите куда-нибудь...

— Что ж я делать там буду, Никодим Александрович? Окромя как за прилавком сидеть в трактире ничего не умею.

— Поступайте к Лесснеру, на Выборгской. Силы — хоть отбавляй у вас, молотобойцем проситесь, научитесь, немудреная штука клепать. Присмотритесь к товарищам новым, а там посмотрим. А в субботу я постоянно бываю здесь. Только надо вам эту поддевку бросить, а то к рабочему не подходит, точно купец какой...

Петровский рассказал про Афоньку вечером на собрании и из прошлого кое-что, и указал, что знает хорошо простой народ, полезен может быть — сведения в будущем будет давать точные о настроении рабочих, а в случае и послать можно куда будет. И решили испытать, ничего не говоря Калябину про тех, кого он искал целый месяц, а работать начнет — сам поймет, разберется. Петровскому только руководить поручили и ответственность на него возложили за поступки Калябина.

Сменил Афонька на Сенной у старьевщика поддевку свою с приплатою на пиджак и с жилетом, бутылками сапоги да картуз оставил и пошел на Выборгскую искать завод Лесснера.

Одели на него фартук синий, кувалду в руки и отвели в мастерскую болванки плющить. За два дня закоптился, обуглился, въелась сажа да пыль в морщины, и стал прислушиваться, что говорят товарищи. Яшке Рябину сказал, что съезжает, на Выборгской угол нашел дешевый...

И с новыми приятелями по пивным да по чайным за газетками, больше всего в трактире «Свидание друзей» просиживал. В комнатухе вдвоем стоял с слесарем и жил скромно, из Галкинских на выпивку добавлял только и то не на себя, а на приятеля: помнил, что говорил Петровский.

В одной комнате жить — вместе и клопов давить, и досуг расхлебывать.

— Тяжело, Афанасий?..

— Поясницу за день разломит — не разогнешься вечером, все тянет...

— Не за даром хлеб ешь...

— Что и говорить — трудимся.

— Кому труд, а кому по Невскому расхаживать.

С этого и разговор начался, с этого и приятелями стали, и стал давать слесарь Калябину и листовки и книжечки почитать вечером.

— Ты прочти, Афанасий,— сразу поймешь, отчего рабочему человеку лучшего хочется. Трудиться нужно, от труда не уйти человеку, а только хорошо трудиться, когда ты все права имеешь, равный... Капитал ограничить нужно, а то буржуй, хозяин, акционер — с тебя наживают двести процентов чистого, по заграницам катаются... Как в песне-то говорилось — «твоим потом жиреют»...

— Сила солому ломит... А этот капитал — сила...

— Увидим еще, чья сила, на чьей стороне. Ты возьми, Афанасий, — войну начали... кому эта война нужна с японцами? — народу?.. Какой интерес народу драться, было бы за что?.. Кричали — шапками закидаем, а вышло, что не шапки нужны, а шимозы. Закидывают наших солдат шимозами, зарылись в землю... Это, видно, не с турками воевать.

И в мастерской про то же говорили рабочие, и по капле подтачивало душу Афонькину, сперва для своей цели работал, чтоб через Петровского побывать у Фенички и не по делу, а как знакомому, повидать ее, о себе напомнить, чтоб не забыла про то, что спас ее — вернул вексель трехсоттысячный, а потом и стал понимать, если и убивают министров, то есть за что — не задарма поясницу ломило, на что была сила, и той стало мало. Каждого городского стал ненавидеть и на каждого человека осторожно оглядывался — не подслушал бы что, да в полицию не донес бы, и на мастера поглядывал искоса, как и все,— думал, интересы блюдет хозяйские. Сколько лет среди разных людей толкался и в монастыре, и на постоялом дворнике, и сидельцем в трактире, а теперь попал на завод и сразу жизнь почуял,— там еще в губернском городе не видал такого труда каторжного, не случалось видеть, и понял, что, может, не даром и Дракина не хвалят трепальщики. Кузьма старый продувной был жулик, да и Дракин тоже — по-ученому с капиталом выжимал из рабочего по копейке, и пожалел даже, что вернул вексель,— если б не Феничка,— ей бы и теперь отдал,— а Дракину — никогда бы. По субботам на Малую Спасскую приходил прямо с завода — закопченный, просаленный и пива брал пару — дожидаясь Петровского.

— Ну, как, Афанасий Тимофеевич?..

— Как?.. У каждого в уме одинаково. Сколько ни слушаю — все одно говорят, сами знаете что.

— Так я вам теперь скажу,— слышали о партиях,— ну, так вот, и мы с нею работаем. Сразу вас труд привел в христианский вид, и не мы, а этот труд проклятый.

— Работу давайте, теперь сумею.

— Никакой вам работы мы не дадим, придет время... обождать надо... А вот листки насчет войны если возьметесь в мастерской раскидать, вот вам и работа. Только смотрите, осторожнее,— теперь сами знаете, что товарищ тот только, кто в партии, только этому и верить можно.

— А нельзя ли и мне в партию?

В следующую субботу и в партию приняли под ответственность Петровского за его поручительством и явку получил и кличку — монах. Одна только и осталась у Афоньки слабость — девки с Выборгской да работницы с трикотажной. К девкам иной раз ходил с слесарем, а за работницами ухаживал, только лясы точил, знакомства заводить было некогда да и пугались его — рыжего в картузе синем, еще в том, что у Галкина за прилавков одел.

В мастерской говорить стали, что народ собирается к царю идти, сам пойдет, говорить будет, просить милости, как в старину ходили — с крестом да с хоругвями, и не одни пойдут, а с попом — петицию подавать, на министров, на генералов жаловаться.

Передал Афонька разговоры Петровскому... явка у него с ним была постоянно, с поручителем.

— Знаю, монах,— ничего из этого не выйдет, и это знаю, а начинать надо,— с этого и начнется, никогда еще не было, а как будет, и сами не знаем,— всколыхнуть трудно, понимаешь ты, всколыхнуть,— после само пойдет, как половодье, а вот всколыхнуть?..

В морозы рождественские, когда и рабочему люду в кабаке греться приходится либо в пивнушке граммофон слушать осипший за парюю пива, чтоб хоть какой-нибудь свет увидеть на людях, а не в конуре своей прокопченной коротать вечер в тоске смутной, и разговор вольнее, откровеннее. Один если и придет в комнатку с обоями выцветшими от туманов да сырости питерской, глянет в окно — кроме фонаря газового да сутулых людей ничего и не видно, и пойдет отвести душу с приятелем, и все будто легче станет. На свету под ацетиленовый фонарь шипящий и в душе светлей — надежда

закопошится на лучшее. И по пивным, по трактирам разнесся слух, что народ собирается на поклон идти к самодержцу, просить милости усмирить разгулявшихся господ да министров. Заядлые только не верили, говорили, как Петровский, что толку не выйдет,— прогуляются к Зимнему, ни с чем и воротятся. Но у каждого надежда жила, и каждый думал, что авось что и выйдет,— не пробовали, надо попробовать. И старая сказка про старинку, когда московские цари сами и батогом колотили, и суд чинили, и со всякого звания людьми говорили запросто, и теперь жила у каждого,— как-нибудь наладится, когда, по пословице, царь до правды дознается, и солнце выглянет. И пословицу приплетали в сказке, и выходило так, что, небось, после этого и солнце выглянет. И дня никто не назначал особого,— сам собой и день вышел — по-сказочному. И пошли, горланя до отчаяния «Спаси, господи, люди твоя», точно отчаяние и молитву заставляло петь, чтоб не погасла надежда на милость царскую, да не родило страха отчаяние, когда человек и обратно повернуть может по своим конурам в трущобы питерские.

С самого утра раннего и Афонька, после явки с Петровским на улице почти подле квартиры его студенческой, толкался по городу, на народ посмотреть вышел. И, сам не зная зачем, на Малой Спасской прохаживался, точно дожидался кого. А вышло так, что и дождался Феничку,— из ворот вышла почти рядом с пивною, где по субботам сживал с Петровским. Сперва показалось, что Феничка, прибавил шагу, на другую сторону перелетел и узнал Гракину. И следом пошел в отдалении, просто захотелось поближе быть к своей звезде Вифлеемской. Шел и думал, что, должно быть, живет тут и Петровский, если не в одном доме, то поблизости,— оттого и в пивнушке бывает этой.

И Феничка пошла на народ поглядеть — вышла из ворот — течением понесло через Тучков мост по Первой линии к Николаевскому,— Неву перешла — по Конногвардейскому и до Зимнего близко. Еще вечером уговаривал ее Петровский не ходить: из верных источников было известно, что встреча готовится, потому и из партии почти не идет никто — одни наблюдатели посланы. Не послушала,— никогда еще не видала волну людскую, неудержимую и в отчаянии, и в надежде. В потоке, глядя на лица ясные, и у самой ясней на душе стало, и день-то выпал ясный, солнечный — от этого еще светлей было. На Конногвардейском народу гуще и полицейских тоже — и тоже сияют парадные, пересмеиваются с казаками, подмигивая. На Конногвардейском и Афонька шел за ней шагах в

трех, чтоб не потерять из виду. И у самого радушие дню праздничному на лице сияло — на дворников поглядывал, что у каждых ворот сняли бляхами, как на парадах слюнявками господ офицеры. Ни о чем не думал, а шел, куда вела его за собой Феничка, — оттого и не думал, что первый раз видел одну в многолюдьи, где все и враги, и братья.

Под арку сенаторов с Миллионной зашли и в стороне стали — слушали, как гудела издали молитва над толпой серою, — как стена надвигалась она к колонне гранитной, — может, и дальше бы двигалась — колонна остановила, предел указов желаниям человеческим, надеждам тщетным.

Заслонила толпа от Афоньки и Фенички штыки солдатские, за молитвою голов обнаженных не видали винтовок, на прицел к замкам вскинутых, и не слышали, не уловили мгновения, когда самое главное началось, — вещей слов не слышали:

— Рота-а-а... пли...

Услыхали только вой звериный людей шарахнувшихся, и как искра зажглась — спастись, и через ту же арку парадную побежали по Невскому и не к Адмиралтейству, потому что и оттуда бежали с криками, — а к Казанскому.

Локтей не жалея, растолкав мешавших, бежал Афонька подле Фенички, заслоняя телом своим девушку. Гнались по пятам казаки, нахлестывая по головам, по спинам. Поскользнулся Афонька, шатнулся в сторону и увидел, как нагайкою у Фенички отшвырнуло шляпу и как она в ожидании второго удара пригнула голову, и в один миг заслонил ее спиной широкою и вместо головы ее рассекло ему плечо до кости — с мясом вырвало, а он, не чувствуя боли, схватил ее за плечи и с середины улицы на тротуар и к Казанскому, в переулок — приподнимал на бегу под мышки, чтоб только ноги переступить могли скорее. И только у каких-то ворот глухонемого дома желтого в пять этажей казенных оглянулся назад и остановился от боли, чувствуя, как трет плечо мокнущее, и Феничка очнулась от ужаса. Когда побежала с площади, ничего перед собой не видела, — знала только, что бежать надо, и не сворачивая за толпою следом, на бегу, и резинка лопнула, и один чулок сполз до щиколотки — не почувствовала, и без шляпы, с мокрыми волосами от запорошившего снега, с прической растрепанной от рывка, шляпу сорвавшего, и от бежания — на Афоньку взглянула и, не придя в себя, не узнав еще, не опомнившись вскинула руки ему на шею и поцеловала в небритую щеку рыжую, исколов губы.

— Спасли вы меня, спасибо, товарищ...

И товарищем назвала по-студенчески.

— Судьба, Феничка...

От неожиданности, что незнакомый назвал по имени — взглянула испуганно, пробуя пальцами ладонь липкую, и растерянно смотрела то на Калябина, то на ладонь, в кровь вымазанную. И, точно спохватившись, все так же испуганно, заговорила быстро:

— Это он, вы, Калябин, Афанасий Калябин?.. Да?..

— Я, Фекла Тимофеевна,— такая судьба, значит...

И, все же пальцами ладонь пробуя, взглянула на него...

— В крови, посмотрите — кровь... отчего это?..

И вспомнила, что обняла его, когда целовала...

— Это у вас, Калябин, у вас кровь...

— У меня, Фекла Тимофеевна...

Пробуя плечо рукою и от боли сжав мускулы на лице, чтоб не охнуть, зубами поскрипывая, тихо:

— Пройдет... Ниче-го... До кости.

Пот даже на лбу выступал, когда плечом шевелил мерзнувшим. Когда бежал — потный был, а у ворот — застыл и плечо саднело.

— Вы без пальто?..

— Когда бежал — сбросил... чтоб легче было...

— Завязать надо чем-нибудь... Завязать...

И, точно на себе что ища, на ноги посмотрела, увидала чулок спустившийся и покраснела, стыдясь Афоньку, а потом с решимостью расстегнула шубку, чулок вздернула и, приподняв платье, стала отрывать подол в нижней юбке, обрывая кружева. И под воротами глухонемого дома, уже в полусумраке, в безлюдной тишине переулка, перевязала ему плечо, неумело просовывая под рубашку холодные руки, и пиджак даже потом подала сама, а у самой зубы стучат нервно-продрогло и от холода ломило намокшую голову...

Блуждали по улицам незнакомым, у Пяти Углов на Владимирской свернули к Лиговке и уже молча шли, от холода вздрагивая. Не догадывались извозчика взять, все еще подавленные и ужасом, и встречей. В одном переулке подле трактира остановился Афонька и, точно что важное вспомнил, сказал Феничке:

— Подождите... Сейчас...

И через минуту выбежал с полбутылкою.

— Пейте. Согреться надо.

Как приказание исполнила Феничка, несколько глотков обжигающих сделала и, закашлявшись, отдала Афоньке.

— Не могу больше...

— Довольно с вас, остальное я допью.

Горячо разлилось в груди, перехватывая дух у Фенички, и бодрее с Афонькою пошла рядом.

Через Литейный от Сампсониевского опять по глухим переулкам на Петербургскую...

Видел Афонька, что еле идет Феничка, и, ни слова не говоря, опять взял сзади под мышки и поддерживал, идя сбоку, только правая рука слабела, сильнее ныла.

И Феничка, ослабев, покорила молча, а потом уже, подходя к Малой Спасской, сказала тихо:

— Ведь вы меня почти несли через Невский...

— Если б нужно было, на руках бы донес куда захотели только.

До той самой пивной, где с Петровским по субботам встречался, дошли молча, и через два дома остановилась Феничка.

— Спасибо вам, Калябин... Спасли вы меня...

— Такая судьба наша, Фекла Тимофеевна,— во второй раз, теперь — в третий должен.

— Я пришла... Прощайте.

Опять назвал ее полуименем:

— Прощайте, Феничка...

И, взглянув на ворота, нагнул голову, зашагал Афонька домой, о судьбе своей думая, счастливый от ее поцелуя, незастывшего на щеке небритой.

Простила с Афонькою и опять ослабела, еле взошла на третий этаж в свою комнату и, переступая через силу по порожкам, почувствовала силу Афонькину, которой она покорила невольно, когда шел с нею по глухим переулкам, и подумала даже, что с таким человеком спокойной можно быть и за жизнь даже, и, вспомнив про вексель, про то, как руку ей поцеловал,— вздрогнула, хотя уже не чувствовала на руке пятна противного,— оттого и не чувствовала, что такие дни, как сегодняшний, примирить могут с неизбежным. И, встретив в своей комнате ожидавшего ее Петровского, сбросила шубку и обессиленная ничком на постель легла и, вздрагивая, рассказала полусловами, намеками и про Афоньку сказала:

— Знаете, кто спас?..

— Кто?..

— Калябин... Он, он спас... Собою спас, загородил меня...

Только не сказала, что поцеловала его и что заставил ее водки выпить. А потом замолчала и ждала — судьбы ждала, что может быть

подойдет, обнимет, поцелует ее обессиленную, утомленную душу отогреет ласкою и отгонит навязчивый образ монаха рыжего.

Не понял Петровский молчания, не почувствовал, о своем думал, о том, что началось, кровь пролита, и о том, что самое главное в Афоньке,— надо только подойти к Феничке ближе и разгадать этот рассказ с монахом рыжим.

И, не дождавшись, что подойдет, сейчас вот, когда душа раскрыта, обнажена пережитым, сказала, сдерживая слезы, в подушку:

— Идите домой... Утомилась. Спать хочу.

— Я завтра приду, Феничка...

— Да... завтра...

От обиды, что не смог понять, когда душу взять можно и всю покорить можно одним словом, одним поцелуем, одной лаской маленькой — навсегда покорить, в рабство,— заплакала, вздрагивая, оттого, что опять — он, рыжий монах, а не родной и любимый своим телом заслонил от смерти.

IV

На Выборгской, на Старом Невском, на Васильевском по глухим переулкам озирались по сторонам люди молчавшие, от фабричной копоти дымом кашляя, а в пивных и трактирах рабочий народ сгрудился и, озираясь на пальто гороховые, свое думал.

Пролилась кровь — всколыхнулась волна бурная и то затихая у берегов гранитных, то разливаясь огнем-полымем по деревьям курным, под ядреные пули солдатские покатила по широкому морю людскому, ударила о хребты горные и затихла, пока снова не взошли семена, брошенные в океан-море.

В первую ж субботу встретил Афонька в пивной Петровского и не смотрел обывателем простоватым, а насупился, затаил в душе тайное после крещения первого нагайкой казацкою. На Никодима взглянул — и опять почувствовал в нем врага кровного. Только связала его с Никодимом одна воля к простору буйному, из Половецких степей занесенному еще до татар, когда звонили на площадях колокола вечевые. А ненависть стала из-за Фенички — от ревности ненавидел товарища. Взглянул на него и понял, что про 9-е разговор начнет, и не о том, что слышал и видел, а как случилось, что Феничку встретил — узнал, откуда восходит звезда Вифлеемская.

— Да вот после, как с вами-то утром виделись тут, вышел я из пивной, рано еще, ну и опять в пивную, выпил бутылку, только что

вышел — они идут, Фекла Тимофеевна, и пошел я за ней, и сам не знаю зачем,— должно, судьба; они это через Тучков, и я тоже,— вижу, куда все идет, и мне туда ж, и захотелось подле своего человека побыть среди людей чужих, и стал поближе, а как случилось это, вижу что выручать надо,— куда ж ей одной-то бежать было в сутолоке, ну и подставил свою спину вместо ее головы под нагайку казацкую,— до кости пропороло и теперь еще ноет. Вот как и вышло, вот где и пришлось с землячкой опять встретиться.

— Хорошо, что так вышло,— я ей говорил, чтоб не ходила: любопытство женское.

И будто что подтолкнуло Афоньку, подзадорило спросить Петровского:

— А вы-то что ж не пошли с ней, коли знали, что не послушает вас? Если б казак голову размозжил Фекле Тимофеевне, тогда что?

— Раз не случилось этого и говорить не о чем.

— Ну, а если б случилось?..

— Сама виновата была бы. Сама должна отвечать за свои поступки, как взрослый человек.

— И все равно бы вам было, Никодим Александрович?..

— Что вы, Калябин, допрашиваете, что ли, меня?.. Вам-то что?..

— Я ничего... А только нам она не чужая... землячка...

— Ну, оставим об этом... спасибо, что случилось так, и вам спасибо, что не бросили девушку.

Петровский посидел, помолчал и опять спросил неожиданно:

— А где вы, Калябин, первый раз встретили Феклу Тимофеевну?

— Известно где, в доме у них, по делу от хозяина был и вас тоже там встретил и тоже тогда в первый раз.

— Разве ряженым вы приходили позднее?..

— Каким ряженым? Что вы, Никодим Александрович?..

— Деревенскую девку помните?..

— Никакой не знаю.

— Так вы никогда не приходили к ним на рождество ряженым?

— Первый раз от вас слышу.

И еще больше запутался Петровский: чувствовал, что за Феничкиным рассказом какая-то правда кроется,— недаром монахом его видела рыжим в скуфейке бархатной,— вот в этом-то монахе и есть отгадка, а выходит, что никогда и ряженым не был, а в монастыре действительно послушание нес, познакомился же, т. е. скорее в первый раз видел ее вместе с ним, а тогда у купца служил и монахом уже не мог быть. И не зная, кто из двух говорит неправду, может быть, оба лгут,— только что же у них ближе к истине? Хорошо

видел, что и Феничка не лгала, когда прижималась к нему испуганно, увидав в Москве Калябина, и, рассказывая, больше всего упирала на монаха рыжего — или раньше что было у ней с монахом рыжим? И опять уверял себя, что не могло быть, и Афонька искренно ему говорил, что в первый раз увидал ее в городе, а что ряженым не был — ясно.

— Давайте о деле теперь говорить, Калябин. В командировку поедете?

— Куда?..

— В командировку от партии в другой город.

— А завод как же?.. За прогул...

— Заплатят. На три дня. Отказываться нельзя. Поняли?

— Ехать-то куда, Никодим Александрович?

— Узнаете, когда поручение вам дадут. А теперь я пойду. Опять в субботу.

Не допил пива и все о своем думая, не попрощавшись, из пивной ушел. Афонька вслед подумал, что не попрощался даже, должно быть, какая причина есть, и, вспомнив, что нет-нет да и начнет заговаривать о Феничке, интересоваться, когда познакомился, да где видел ее, и решил, что неспроста расспрашивает о ней, что-нибудь да говорила ему Феничка про него,— только что, и захотелось знать, что могла говорить ему Гракина, и стало досадно, что уезжать в командировку придется, отказываться нельзя,— и сейчас же мелькнула мысль, что, может, нарочно его усылают, и еще острее пробудилась ревность,— не мог позабыть поцелуя ее, нежданного, когда рванулась к нему и по-человечески поцеловала его, может другой поцелуй и не повлиял бы на Афоньку так глубоко, как в благодарность простой поцелуй, от души, искренний, сразу почувствовал в ней доброту душевную, и тело потускнело — осталась одна красота ясная, и еще ярче стала звезда Вифлеемская, в крови очистила душу его человеческим, и, когда клочком от юбки нижней ему плечо перевязывала рассеченное, такую чувствовал радость от прикосновения руки и пальцев,— ни одна ласка не могла дать такого счастья, как простое ощущение руки теплой, и теперь готов был даже калекою из-за нее стать, лишь бы еще раз почувствовать утешающую боль руку Фенички. Может быть, один раз во всей жизни и пришлось пережить сильному зверю человеческое, может, и пережил его только в ту минуту, когда и сам шел к Зимнему и с надеждою, и с верою в тот момент, когда погасла надежда, жившая в ту минуту не у одного его, а у всех людей, доверчиво шедших на казнь, захватившая и его одним чувством с толпою, с массою, вот в эту-то минуту, все

еще готовый и верить, и собой, может быть, жертвовать во имя надежды общей, и пришел человек, ради которого жертвовал почти жизнью, пришел и простым, человеческим, врачующим боль надежды не погасил эту надежду, а снова зажег ее любовью к тому, кого мог случайно, и к тем людям, которым служить начал во имя правды, опять-таки из-за спасенного человека, за которым мысли, как за звездой Вифлеемской.

Из пивной прямо к Феничке Петровский зашел, зашел разгадать загадку путаную, и, как всегда, услышал вопрос Фенин:

— Говорите, Никодим Александрович,— голодны? чай пить будете?

— В пивной был, пива выпил опять с Калябиным.

— Есть хотите?.. Посылка из дома.

И без разговоров наложила ему пастерушек любимых своих — на меду прослоенных и тепловатого чаю налила, а сама подобрала ноги и поуютней на кушетку уселась, накинув на плечи платок вязаный, и смотрела, как, сперва будто нехотя, а потом с удовольствием, уплетал Петровский, расспрашивая о курсах.

— Ничего я не знаю, Никодим Александрович, всегда ведь я вам говорю — не спрашивайте меня — приехала я сюда не за тем, чтобы в каких-нибудь ваших партиях участвовать, а жить, только вот и жить я не умею, а с дядей бы Кирюшей — весело б было... Сама все боюсь еще, не умею и в театре-то одной сидеть,— вы не хотите ходить со мною, некогда все, все дела. А учусь точно в гимназии училась, репетитора б взяла, если не было б смешно. Мне и на курсах скучно...

— стыдно, Феня,— кровь пролилась, а ей все равно. Людей в Маньчжурии ни за что убивают, а ей все равно. Рабочему человеку дышать нечем, а ей все равно...

Допил чай и пересел на кушетку, согнулся немного и, думая, как подойти ближе к ней, чтоб хоть немного узнать человека, монотонным голосом говорил совсем о другом.

— Научите меня, Никодим Александрович,— хоть может, тогда и ваше любить научусь. Ехала я пожить, повеселиться и этого не умею.

— Надо почувствовать жизнь, тогда и полюбите ее, а научить жить невозможно, не почувствовав ее близко.

И точно его глубоко задело это желание жить, точно он почувствовал, что действительно человек не умеет понять жизни, почувствовать ее и себя в ней частицею вечного движения, повернулся к Феничке, взял ее руки, под платком спрятанные, к себе притянул, сжимая в своих широких и грубых, так что она тоже к нему

наклонилась и взглянула тревожно в глаза, все еще задумчивые и серьезные.

— Феня, ну как я вас научу жить?.. Как?.. Скажите?.. Полюбите кого-нибудь,— может быть, любовь научит и жизнь любить... Да так полюбите, чтоб себя позабыть...

Без слов человек чувствует, что кроется иногда за такими словами, и Феничка почувствовала, что еще крепче руки ее сжимает и, может быть, уже не замечая сам того, и наклоняется и больше еще старается ее придвинуть к себе. Посмотрела на него и почувствовала, как в глазах у него пробегают искры, увидала, как, не моргая, пытливо всматривается и только веки слегка вздрагивают и, не думая о его словах, боролась с собою, решалась и, быть может, и не решилась бы, если бы он еще ближе не наклонился к ней и не потянул руки к себе настойчиво,— одно только это движение и решило — пассивною стала Феничка, и только росло напряженное ожидание,— а дальше что, дальше?.. И, не отвечая на его вопрос, глубже дышать стала — сердце как все равно останавливалось, чтоб забиться толчками частыми, волнуя тело жутким.

После того вечера, когда Афонька ее проводил и ничком лежа ждала, что подойдет к ней Петровский и возьмет всю... всю, осталась на душе тяжесть, томительная недосказанность чего-то самого главного в жизни и опять проснулось жуткое чувство к Афоньке, бессознательный страх давящего — тоска смутная и безразличность к любви Никодима, если бы она была в нем,— пассивность податливая и не было для нее жутким, как в тот вечер, ожидание поцелуя, ласки, а волновал он ее по-женскому, и пассивность была отдающаяся, ждущая телесной близости и не жуткая, когда человек отдается весь, а острая от толчков, падающих в сердце ждущем.

— Меня полюбите, Феня...

И поцеловал ее, тетерь уже весь наклонившись к ней и выпустив руки, обняв; без слов отвечала, откинувшись на спинку кушетки и ноги высвободила, полулежала вся и сама обняла за шею — отдавалась ему ждущая, когда возьмет ее и заставит задрожать ее всю с глазами закрытыми, чтоб не видеть ни его, ни себя, а только лишь целовать, пока не забьется утомленное сердце медленней, тише, успокоенней...

Целуя ее, не почувствовал, что отдается ему сама, а оттого и не почувствовал, что мысль у него была ясная, и сверлило в ней желание разгадать загадку — начал спрашивать:

— Любишь?..

— Ты разве не чувствуешь?..



Порывисто прижал к себе крепко и сразу оторвал губы, будто очнувшись от обморока.

— Феня, почему ты на вокзале в Москве испугалась Калябина, ты мне тогда ничего не сказала, скажи?..

Все еще ждущая, отдающаяся, обняла его и шепотом:

— Спаси меня от него, спаси...не знаю сама, отчего боюсь...

Точно ждала спасения оттого, что отдастся ему и, став близкою, освободится от давящего страха перед Афонькою и еще сильнее обняла и сама искать губы его стала.

— Он уедет скоро...

— Куда?..

— Командирован партией.

— Совсем?

— На три дня...

И еще нежней, еще ласковей прижималась к нему.

— Нельзя ли сделать, чтоб совсем, надолго?..

— Не знаю...

— Сделай, для меня сделай...

— Подожди, Феня... Случилось у тебя что-нибудь с ним? Отчего ты его ряженым монахом испугалась?.. Он ведь и на самом деле был монахом и в партии ему дана кличка «монах»! Зачем ты хочешь, чтоб он совсем уехал?..

Может быть, одно только слово «подожди» или то, что о монахе заговорил Петровский — в одно мгновение остыла Феничка и все еще покоренная любовью не отодвинулась от него, хотя опустила руки, и вспомнила сейчас же Николку, даже подумала, что, может быть, и знает или слышал или еще что, но только не наверное, а подозревает Афоньку в чем-то и хочет войти в прошлое и одновременно, вспомнив скребущую боль в теле ножами острыми, отодвинулась от него.

— Подожди, неудобно мне...

И уже холодная, в себя ушедшая, хотя и обнимал ее, нехотя позволяла целовать, а потом, не ответив ни на один вопрос, встала и, поправляя волосы, сказала спокойно:

— Без него мне спокойнее будет. Если можешь, исполни мою просьбу.

И посмотрела на часы:

— А как поздно уже... одиннадцать. Опять будет недовольна хозяйка.

Прощаясь в передней, спросил Петровский:

— Придешь ко мне, когда Калябин уедет?

— Если надолго — приду.

А потом вернулась в комнату и рассмеялась, точно чувствуя, зачем позвал к себе, а засыпая — не обида уже, как в первый вечер, а досада была в душе на Петровского, что и теперь не понял, не захотел любить такую, как есть, не почувствовал, что проснулась в ней женщина отдававшаяся.

Вернулся Петровский и тоже в постели, раздумывая об Афоньке и все еще ощущая ее губы на своих и крепко сжимавшие шею руки, пожалел, что так вышло, что не взял ее, потому что теперь казалось, что если бы она сегодня была его, то рассказала бы про Афоньку все, и решил, что устроит командировку Калябина надолго и возьмет ее, когда к нему придет, и узнает, все узнает.

И опять в субботу все в той же пивной с Калябиным встретился и наскоро деловым тоном:

— Отвезете литературу и шрифты, передадите на канатную Дракина Степану Грушину, мастеру. За прогул будет вам заплачено. Получайте деньги, расписывайтесь, а завтра придете на Зеленину за материалом. Кроме того, ввиду особого доверия, по следующим адресам сходите и возьмите письма, а кроме того постарайтесь где-нибудь там устроиться на заводе, чтобы таким образом мы имели постоянную связь из центра. К осени необходимо все подготовить. Понимаете, Калябин?..

— Как не понять, Никодим Александрович,— все понятно, только зачем же мне в том городе-то оставаться? — я из него, можно сказать, бежал и опять туда ж?..

— Ничего не поделаешь, Калябин. Я вам говорю, ввиду особого доверия партия вам поручает более ответственную работу, как наиболее исполнительному и верному члену ее. А иначе,— сами знаете, что может быть.

— Ладно, Никодим Александрович, поеду,— только выходит, что высылаете вы меня отсюда, вот что,— зачем только?..

В глаза не смотрели друг другу,— чувствовали, что хотя и связаны одною работой, а враги.

— Ну, прощайте, Калябин,— желаю успеха. Провожать будет вас «сапожник».

— С провожатым-то зачем?.. Ай не верите, что уеду?

— Таково постановление комитета. Ну, прощайте.

Уезжал Афонька и чувствовал, что отправляет его Петровский подальше от Фенички, может быть, и не из-за ревности, а чтоб

спокойнее без него было, не попадался бы на глаза, когда не нужно. И опять вспомнил вопрос Марьи Карповны — «спас ты ее?» — подумал, что не только один раз и во второй пришлось от смерти избавить. Не мог позабыть прикасавшихся рук к плечу рассеченному, и еще сильнее горела в душе ненависть к Петровскому. Решил ни за что не оставаться в городе, откуда ушел за звездой Вифлеемской, а только исполнить поручение.

После отъезда Афонькиного, на другой день Феничка получила письмо от Петровского, звал ее к себе вечером и в конце P. S. было приписано, что Калябин, может быть, совсем в Петербурге не будет,— просьба ее исполнена.

Знала, зачем зовет, и пошла, а в душе было чувство, что ни за что не отдастся ему в этот вечер, может быть после, когда само придет, и чувство это было неясное, шла, и не знала, что может случиться, потому что все-таки любила его, но во всем теле ощущение было ясное и спокойное, даже самая жуткая ласка не могла бы разбудить звериного.

И позвонила спокойно, уверенно, сам отворить вышел — ожидал ее.

— Ну, вот я пришла к тебе.

Петровский тоже уверенно подошел к ней, оттого и уверенно, что решился переступить границы, где весь человек распахивает, обнажая душу и близким, до покорности принимает каждое слово с верою. Уверенно к ней подошел, хотя ожидание близости волновало его. Целый вечер, как друзья, говорили, вспоминали город родной, подруг и приятелей, и все-таки напряженность была, недоговоренность и даже неискренность и задушевность от напряженности искусственной. В десять часов Феничка собираться стала, и в этот момент подошел к ней Петровский, обнял и не выпускал до последней минуты, пока не почувствовал, что бесполезно оставлять ее.

— Не уходи, Феня.

— Почему?..

— Останься у меня сегодня, я хочу быть с тобою,— останься.

— Зачем, Никодим?..

— Разве ты не понимаешь?.. Хочу, чтоб моя была...

— Я понимаю, знаю, я останусь, но только знай — о себе я тебе ничего не скажу, не спрашивай,— у меня нет прошлого, только настоящее, только сегодняшней день, только любовь к тебе,— хочешь — останусь и такая как есть, такую как видишь, какую знаешь, какую

сможешь понять и любить — твоя буду, а прошлого нет у меня, а буду вся твоя, до конца, и если будущего захочешь,— вместе его создадим, без прошлого.

Говорила ему, ластилась, точно, в эту минуту, действительно, остаться решила, может быть и осталась бы, если бы не были у обоих головы ясные, если бы не пытали ее душу вопросами.

— Феничка, понимаешь ты, понимаешь, милая, когда человека знаешь всего — всю его жизнь, ни одной минуты в нем и после сомневаться не будешь. Я не зверь, чтоб ревновать тебя к прошлому, если оно у тебя было, но, понимаешь, останется обида в душе, может быть, на всю жизнь останется оттого, что в такой час не будешь до конца человека знать и чувствовать.

— Разве тебе мало, что я люблю тебя и не спрашиваю о твоём прошлом? — ты для меня настоящий дороже, чем прошлый, потому что я сама пришла; то, что позвал меня — это ничего не значит, я ведь знала, зачем иду к тебе. Хочешь такую? — твоя буду...

Прильнула к нему, точно хотела сказать, чтоб не отталкивал, потому что потом поздно будет, потом, может, никогда не придет, хотя и любить будет. Замолчали оба — ждали друг от друга, кто уступит, кто сдастся — неподвижно просидели с минуту и чувствовали, что никто уступить не хочет, поднялась Феничка и сказала спокойно:

— Я не останусь, Никодим, у тебя сегодня. Если потом когда-нибудь придет само — твоя буду, а теперь нет. Проводи меня. Одна идти боюсь,— поздно.

Всю дорогу молчали, только у ворот Никодим спросил:

— Поцеловать тебя можно?

— Сам знаешь, что люблю, так зачем спрашивать?

— И приходить к тебе можно?

— Конечно. Какой ты глупый!

И, не дожидаясь, поцеловала его сама первая.

Обида какая-то, какое-то чувство горечи осталось у Фенички от этого вечера, от третьего, и неясно в мысли носилось, что не отдастся ему, ни за что,— не знала даже почему, а только чувствовала, что и не чужой, близкий и в то же время неродной, по-любимому. В мыслях себе говорила, что может потом, когда-нибудь, но не теперь.

И, засыпая, не зная сама почему, шептала:

— Какой глупый, какой глупый...

За Афонью вслед по всем городам полетели гонцы и с багажом, и без багажа, и в избы курные, и на заводы дымные, и на фронт в поезда и подкидывали и вручали литературу и вместе с иконами, что вагонами отправлялись христолюбивому воинству в назидание с акафистами и душеспасительными книжечками, катилась волна непокорная. И выползли в трактиры, в пивные, в поезда пассажирские и на улицы в пальто гороховом и в крапинку, в котелках и в картузах просто люди охотливые до всего, что шепотом говорится, по секрету под честное слово приятелю дорогому, и в одиночках, и в общих камерах стали от параш задыхаться смертники и заключенные, и Владимирская запылила снова.

Приехал Калябин — прямиком на Пеньи, разыскал кого нужно в слободке и остался пожить недельку и на завод заглянул к Дракину и такой вышел тучей — инженера самого встретил и пришлось раскланяться. Позвал в дом Калябина.

Захотелось Афоньке Антонину Кирилловну навестить,— может, и в самом деле такой случай выпадет, чтоб с глазу на глаз Феничку повидать в Питере.

Как полагается, накормили обедом его, еще раз расспросили, где он встретил ее, да как было, не болит ли плечо, а то и на лечение бы помогли, а про Марью Карповну, про Касьяна ни полсловечка, будто и не было ничего. Уходить стал — Антонина Кирилловна зайти просила, когда уезжать будет — посылочку взять с домашностью дочери. Инженер, с своей стороны, тоже благодарить хотел сотенными, Афонька только подумал, что поглядим де, что осенью скажешь, сколько за труд заплатишь — не взял денег. Прокружил Калябин неделю в городе по делам от партии, собрал от кого нужно было письма в Питер, и захотелось ему еще на Феничку поглядеть, самолично у ней побивать в комнате с глазу на глаз и зашел за посылкою со всяким снадобьем. Захотелось ему поскорее в Вифлеем на звезду глянуть и поехал с плацкартой ускоренным; всю дорогу пролежал на верхней полке, на посылку поглядывал. Перед Питером на Любани к проводнику в каморку самовар из буфета втащили и кофейник с грелкою, на Любани и человек без билета в котелке подле окна уселся. Разбудил Афоньку кондуктор,— видит чай и себе взял стаканчик, слез вниз — сверкнул на него котелок глазами, улыбнулся чему-то и, ни к кому не обращаясь, скорее даже ко всем сразу, начал ругать порядки казенные:

— Представьте себе, на службу спешу, опоздать — места лишишься, а тут и есть, а не дают плацкарты, пришлось сунуть, ну и без билета еду, а за границей?.. Порядки!.. Разве это одно,— да на

каждом шагу: газету я себе выписываю, начальство спрашивает — почему политикой занимаешься,— да как же, господа, не заниматься, когда на фронте черт знает что! Из-за чего мы войну ведем с японцами, ну, скажите мне, из-за чего?..

И опять на Афоньку взглянул и улыбнулся, обратился теперь уже к нему:

— Ведь правда, товарищ?

— Правильно...

Одним только словом и воспользовался котелок прилизанный и уцепился за него, сейчас же к Афоньке подсел и, будто своему человеку, обрадовался, что хоть в одном человеке сочувствие вызвал, и не так уж громко, а только будто ему одному и даже иной раз шепотком на ухо:

— Я вам, товарищ, расскажу один случай, можно сказать и случай-то совсем пустячный, брат у меня и не родной, двоюродный, добровольцем пошел — теперь на фронте, собрался я ему послать посылочку, пару чулок да белье теплое...— и на ухо: казенное шлют, застревает в дороге и на Александровском за полцены сколько хотите...— и опять негромко: — вот я ему собрался послать посылочку, чуть со службы не вылетел — ей-богу...

— Почему?..

Подморгнул и даже посмотрел, не заметили ли соседи, что подморгнул рабочему, и начал говорить шепотом, будто и вправду доверился:

— Положил я ему будто газеток, и хоть бы много — всего с десяток,— знаете, что из Женевы приходят, ну конечно знаете,— так за это... спасибо начальник у нас добрый и тоже не брезгует газетками, а то пропадать бы...

Помолчав, будто вспомнил что и опять шепотом:

— А у вас, товарищ, при себе нет новенькой?

Афонька исподлобья смотрел недоверчиво,— слушая болтовню сумрачно, а как начал он шепотом — интересно стало — шпик или нет, а как сказал:

— Разве все отвезли и себе не оставили почитать?.. Недельки две назад уезжали, правда,— с поручением, еще вас провожал «сапожник». Он всегда провожает. Да вы, товарищ, не бойтесь — свой.

Развесил уши Афонька по неосторожности и сболтнул:

— Ничего не оставил, все отвез.

— Теперь, значит, отчет давать?..

До самого Питера разговаривал и, не доезжая нескольких верст, из вагона исчез.

Только вышел, а вслед и сказал кто-то:

— Это шпик был, о чем вы с ним говорили?..

— Так, кой о чем.

— Смотрите... Он всегда от Любани садится, его все знают.

Спohватился Афонька да поздно. С вокзала пошел — а следом котелок до квартиры проводил Калябина и у дворника пошел расспрашивать: кто, на каком заводе работает, а в это самое время Афонька из дома вышел — и к Феничке; не уследил котелок, не успел. Афонька и не думал про него, только в сердце скребла досада, и всю дорогу продумал про Феничку, про то, как один на один встретится, на жите-быте взглянет, только из головы не шло — опять ушлют и ушлет Петровский, уверен был, что не без него и этот раз.

Позвонил — сама вышла, откачнулась даже, как увидела.

— Что вам, Калябин?

— Посылочку вам привез, Фекла Тимофеевна, — от маменьки.

— Вернулись?..

— Вернулся, Фекла Тимофеевна.

От растерянности и к себе впустила в комнату. Вошел, пальто снял, картуз повесил и сел на кушетку, на ту самую, где Петровскому отдавалась вечером. Сел и, как тяжесть давила голову, решил в первый раз говорить начистую все, что думает, — не знал только, начать как. Может, после и случая такого не выйдет, чтоб один на один сказать, что годами скоплено.

— Как же так?..

— Так вот и вышло, что приехал назад. Не ждали меня?

— Не ждала.

— Думали, что надолго послан, — так ведь вам говорил товарищ Петровский?

И все еще растерянная, не думая, отвечала правду.

— Да, так.

Эта откровенность врасплох еще больше озлобила Афоньку на Петровского, и говорил медленно:

— Спровадить меня хотелось, зачем только, никакой такой причины не было? Уж не вы ли просили его или он сам это придумал?

Взглянул на нес — побледнела, спохватилась и вспоминая, что невпопад сказала, сидела матча, и оттого ли, что ее стало жалко, или, может, оттого, что придет в себя и не даст высказать — вздохнул

быстро и начал с каждым словом забывая, что и Петровский есть, и Николка был, а может оттого и говорил так, что один был, а другой с нею:

— Еще с монастыря помню вас, вот как. С того самого раза, как на бревнах сидели,— помните, хотел руки ваши поймать. Помните?.. Позабыли, может?..

И опять не собрала мысли — взглянула испуганно в даже руками всплеснула как-то беспомощно от страха.

— Брехал тогда, что на то я прибыл — за медом лазить на сосну... Знаете кто перебил?.. Николай. Бутылкою. Жребий тянули на вас, достались мне, а он бутылкою. Стал собираться он к вам,— жениться, и я не вытерпел... Еще с той поры там на бревнах сидела — насквозь вы меня пронзили, а тут подвернись Галкина. И не она, я ее спутал к себе,— позвала, из-за вас жил с нею, чтоб про вас хоть словцо знать. А тут это дело с векселем. Да чтоб на нищету допустить?.. Старика обвел вот как вокруг пальчика, и с Марьей Карповной из-за вас жил, Фсничка...

Занемела от ужаса Феничка, сердца не слышала своего, не отрываясь смотрела на Афоньку и ждала, что дальше скажет, что случится,— не думала, что просто говорить только будет, выскажется.

— И в Питер поехал за вами, как за своею звездой путеводною,— ведь вы для меня, Феничка, звезда Вифлеемская: куда вы, туда я, а Вифлеем мой, земля обетованная, град царственный — хоть деревня, хоть городишко последний, хоть столица сама — лишь бы вы там были! Я сперва и в партию-то из-за вас попал — вижу, вы с Никодимом Александровичем как свои, и разыскал я его, целый месяц по пивным да трактирам ходил, весь Васильевский обошел и на Петербургскую перебрался — нашел-таки, потом уж я увидел, что за народ они борются, и пошел с ними, а сперва из-за вас, чтоб к товарищу Петровскому быть поближе, а через него и вас видеть. Вы думаете — я Николка, обманывать стану,— в монастыре, может и обманом бы в лес увел, а теперь не то — через огни-воды прошел — сам знаю, не быть милу, коли нет любви в вас ко мне, а только куда вы, туда и я,— такая судьба мне подле вас быть, Феничка. Лица на вас нет, а чего? Разве я за глотку душить пришел?.. Только всего — сказать,— не вытерпел, а тут случай такой — посылочка. Как маменька-то сказала, что посылочку дает отвезти, так и собрался. Товарищу Петровскому не говорите про это. А что судьба — сам знаю, хоть вы что, тут — судьба, и вексель тот — тоже судьба, и девятого — уж тут совсем судьба. Урод я для вас рыжий — вот что, как на разбойника смотрите, а ну, как Николка, я не в лесу, а вот в этой

самой комнате — и не пикнешь... Так, что ли, Феничка?.. Вот и сказать нечего?.. Ужли нечего?.. А я вот сказал — пришел в Вифлеем свой и поклонился, как волхв, звезде своей Вифлеемской. Да я буду помнить до смерти поцелуй ваш, Феничка!

Много говорить собирался ей, а начал — пропали слова, из головы вылетели; хотел складно, а вышло вразброд, как сами слова цеплялись; кончили и уставился в нос, ждал — может, скажет что, и сидели молча. Так и не дождался Афонька от Фенички ни полсловечка, встал...

— Так и сказать вам нечего?

Все еще сидела не двигаясь, может, думала, а может, ждала — что будет. И не было ничего: поднялся, молча картуз одел, пальто враспашку и в дверях только:

— Все равно пойду за вами, куда вы, туда я — одна у нас судьба — попомните. А товарищу Петровскому, коли видеть будете раньше меня, скажите, что повидать его срочно надобно.

Домой возвращался — подле ворот котелок встретился: дожидался видно.

— А я к вам, Афанасий Тимофеич, насчет газетки,— уж так почитать хочется, что и на службу не пошел через это,— нет ли дома у вас?

— Пойдемте, поищу.

На черную лестницу провел и кулачище поднес к самому носу, так что и маленькие глазки заслонил ему.

— Ты, сволочь, смотри, попадешься мне — видишь, так помни...

За шиворот — кубарем котелок и хозяин его турманом.

А в пивной вечером спокойный сидел, будто и не было ничего, и у Фенички не был, никуда и не ездил, и котелка не встречал.

Распаленный Петровский вошел.

— Почему так скоро?.. Здравствуйте.

— Никаких дел не было, Никодим Александрович,— все, что говорили, сделал, а места себе не нашел, и не то чтобы не нашел, а не искал его,— почему спросите,— а потому и не искал, что причины на то имею особые.

— Привезли письма?

— Все сделано, я же сказал вам.

И вздрогнул, когда случайно взглянул в сторону: даже Петровский заметил. На шпику указал, рассказал про него Петровскому:

— Дожидал он подле квартиры меня — попросил почитать газетки, я и завел его потемней на черную и пустил кубарем.

— Не беда, ничего не сделает, а следит — пусть. Явку переменяю. Оставляйте тут пиво пить, я пойду — поглядим, когда следить будет.

Каждое слово рывком говорил Петровский, оттого и говорил так, что пришел вечером к Феничке, а она чуть не со слезами к нему, измученная:

— У меня был он, он был, рыжий...

— Какой рыжий, Калябин?..

— Посылку привез, приехал.

Про разговор ни полслова, а только положила ему руки на грудь и ослабевшим голосом, от напряженности пережитой:

— Опять он тут, приехал... Спрятаться от него куда-нибудь. Сама не знаю чего, боюсь его, преследует он меня. Домой уехать готова,— боюсь, что и он за мною.

Сказать ничего не сказала, а только намеками непонятными перед Афонькою страх свой высказала, и Петровский ничего не понял,— только опять почувствовал, что неладное у ней с Афонькою. А когда сказала ему, что непременно сегодня хотел его видеть в той же пивной по делу важному, еще больше взбесился Петровский на Калябина, подумав, что поручение не выполнил да еще свидание требует, и решил сегодня же расквитаться с ним, да котелок его спутал, все мысли перебил, перепутал.

Из пивной вышел и пошел след заметать — крутил переулками, через проходные нырять и чтоб удостовериться — зашел опять в пивную, просидел с час подле окна, на тротуар поглядывая, на другую сторону и успокоился, и с другого конца вернулся к Феничке.

Спросила за дверью тревожно:

— Кто там?

— Отвори, Феня,— я.

— Боюсь я, все жду, что придет опять... он может.

— И я знаю, что может. На шпика налетел дорожного, не знаю, что делать с ним будем. Услать куда-нибудь надо.

— Не поедет он.

— Почему? Говорил что?

— Не знаю почему, а так кажется, что никуда не поедет он.

Целый вечер фразами перебрасывались нервными, а под конец у обоих напряжение ослабло нервное и замолчали.

— Иди ко мне, Никодим. Сядь сюда.

Подозвала к себе на кушетку и как мать приласкала и сама затихла ласково. По волосам его молча гладила и на поцелуи отвечала тихими. Потом спросила:

— Ты ел сегодня что-нибудь?

Спросила, и почувствовал тошноту, даже слюна брызнула. Последний месяц ни уроков, ни корректурных листов не было, и в институт не ездил — на паровичек не было и кое-как — иной день одним чаем питался: отдался работе, напрягал силы к осени. И к Феничке забегал редко,— от этого и теперь, после Афоньки, опять стал близким, и если потом не спросил бы ее о прошлом, может, и решилась бы судьба ее. В этот вечер близким был ей, единственным, и заботливая была, как к близкому. Ответил ей Никодим:

— Ничего не ел.

— Подожди, подожди, я сейчас... Это ничего, что он посылку привез... Правда... и я тоже съем домашнего. Разбей ее, посмотрим, что тут.

До этого никогда не расспрашивала, как живет, чем питается, а почувствовала близким его и захотелось расспросить,— о близком всегда забота житейская пробуждается.

— Из дому тебе посылают что-нибудь?

— Некому посылать... один я.

— Чем же живешь ты, уроками?..

— Ничего не скажу. Видишь — жив.

И резкости не обиделась,— подошла к нему, когда есть кончил, и сказала ласково:

— Не обижай меня, скажи.

— А ты говоришь мне о себе?.. Так почему я говорить должен?

— Разве я тебя о том спрашиваю, о чем ты меня?..

— Это все равно, Феня.

— Неправда, не все равно... сам знаешь. Ну, скажи, ты скажи... А когда придет само — я и о том скажу: нужно, чтоб само пришло. Сейчас я могу и говорить правду,— один раз было так, что могла б сказать, и еще раз было, другой и в тот бы, может, под конец сказала — не почувствовал этого сам, а было.

— Скажи когда, скажи...

— Не помню уж, а только было. Видишь — я говорю правду, а ты не хочешь.

Рассказал ей правду голодную, как иной раз за пять копеек в день питался да покрепче поясом живот стягивал, чтоб не тянула тошнота голодная. Рассказал — глазами сверкнула радостно, точно нашла что или придумала. Вышел в переднюю табачку из

высыпавшихся папирос собрать в пальто в кармане — в один миг отодвинула ящик в столе письменном и из того пакета, что дядюшка подарил на забавы питерские, несколько бумажек в карман боковой в пиджак сунула и как провинившаяся на кушетку села и лукаво поглядывала на него, когда крутил папироску из крошек сорных...

На другой день утром прибежал к ней, догадался, что она сунула.

— Возьми обратно, не могу этого ни за что...

— Любишь?

— Люблю, а денег твоих не возьму, как хочешь...

— И я не возьму, рви их, ну, рви...

Как девочка, подбежала к нему, выхватила и не разорвала, а за ворот засунула с поцелуями.

Только это ребячество Фенино и взять заставило, а потом, когда либо в пальто совала, либо в тужурку, говорил ей, волнуясь от неловкости:

— Зачем ты, Феня?.. Опять?..

Это и сблизило их, сроднило, и не спрашивали ни о чем друг друга, и о деньгах не говорили ни слова, только Петровский первое время стеснялся Фенички. И Феничка волновалась за него каждый день, по ночам думала и сама забежала на минутку, когда не приходил подряд дней пять,— возвращалась от него ночами белыми, на тени людей оглядывалась боязливо — не идет ли, не следит ли тот, рыжий... И на курсы не шла, а бежала, и вместо той жизни, о которой мечтала, в Петербург ехавши, не жила, а в клетке билась между любовью и страхом. Надеялась, что чем дальше, тем ближе станут и, может вернется опять такая минута, когда раскроется душа, и всю жизнь отдаст неразлучному. А Петровский, чем дальше, тем горячее говорил о революции, о войне, о партии, и себя позабыл, и чувство загасло к Феничке. На лето одна уезжала Феничка — Никодим оставался работать в Питере и проститься к ней не зашел — некогда. С обидой уезжала к матери и, отправив на Николаевский посыльного с багажом, все-таки забежала к нему — дома не было, вошла в комнату и сунула, приоткрыв корзину, пакет дядюшкин с оставшимися деньгами, и на пакете написала карандашом наскоро — «какой ты глупый, какой глупый», и, может быть, оттого только, что слова эти врезались ясно, от того вечера, когда хотела ему отдаться, ни о чем не думая, и по-новому ей показались милыми — улыбнулась, и радостно стало от надежды вернувшейся. И в вагоне, с посыльным за багаж расплачиваясь, сказала вслух,— «какой ты глупый, какой глупый» — тот только глаза вытаращил на барышню. Сообразила, что

сморозила чепуху, и рассмеялась радостно, точно в этих словах счастье скрылось.

VI

До самой осени гулял котелок за Афонькою, до самой осени и поручений от Петровского не было Калябину. И только осенью, когда холода начались с бурями и бурные вести с полей Маньчжурских всколыхнули людское океан-море, снова явка по субботам началась у Афоньки с Петровским не на Малой Спасской в пивной, а в трактире «Свидание друзей» на Выборгской. Загудели гудки на заводах тревожные: в мастерских сперва молотом у станков, а потом громче да громче под завыванье ремней загудели голоса, огрубевшие ропотом. В университетских коридорах полицейские с утра дотемна и на улицах патрули конные променады делали. И за каждым почти не только сознательным, но и здравомыслящим слежка была господ в штатском, и каждый день на докладах и в партиях, и в жандармском люди нервничали: начинать или рано, на улицы выходить или в одиночки запрятать. И про Афоньку от котелка известно стало, что-де явки у него опять начались с главарем каким-то в студенческом, и порешили его припугнуть как следует: налетели архангелы в рейтузах синих и повели в участок и не допрос чинили, а по-благородному поручили поговорить котелку с ним.

— Так что видите, господин хороший,— у вас как там?.. Товарищ?.. ну, так видите, если хотите на свободе гулять, отечеству и престолу оставаться верным, пожалуйста на службу к нам, а в противном случае не хотите ли в централ отправиться, так-то-с... Это вам не с лестницы верных сынов пускать турманом. Подумайте денька два да и пожалуйста с ответом к нам, а теперь пока на свободе погулять можете — поразмыслить так сказать.

Озверел, ошетинился Калябин, еще сильнее забурлило нутро прокопченное и почувствовал, что не вырваться ему из лап цепких, заметался по Питеру и на Садовую прямо в адресный стол добывать Петровского.

Квартиру нашел — нет дома, уселся на стул проломанный и до вечера просидел не двигаясь, пока хозяин не вошел в одиннадцать. В потемках сидел — испугал Петровского.

— Кто тут?

— Я, Никодим Александрович.

— Что вам нужно, зачем?..

И рассказал ему до словечка.

— Как же быть?

— Подумаем.

— Три дня сроку дано,— когда ж думать?

— У меня ночевать будете, а я завтра скажу, что делать.

Наутро проснулись.

— Сидите тут, никуда не ходите, чтоб меня не выследили...

Перебирал книжки, брошюры перелистывал, газеты читал — до вечера время тянулось: умереть можно раза два, и в сумерках постучал кто-то и не дожидаясь вошел, каблуками постукивал.

— Почему ты в темноте сидишь, Никодим?..

Взглянул — Феничка.

— Обознались, Фекла Тимофеевна,— это я, Калябин,— дожидаюсь сию хозяина. Не ждали встретить тут, а пришлось,— такая судьба наша.

— Будет дома?

— И ночевали вместе, и теперь жду вот — вернется...

— Скажите, что была... Прощайте.

— И не останетесь?..

Вошла не видаясь и уходила — не подала руки.

В первый раз у Афоньки мелькнуло, что хорошо бы избавиться от Петровского, да как только, и вспомнился котелок и предложение, и как червь заточило предательство,— не дело предать, во имя которого сам дошел до ненависти к предержащим властям, а человека, путь ему пресекающего к звезде Вифлеемской. Заточил червь искушенья и в нутро заполз маленький, надоедливый...

Петровский пришел.

— Ну, что?

— Соглашайтесь.

— Как соглашаться?

— Партия поручение вам дает, Калябин,— будете узнавать и на явках, укажем где и с кем, передавать, кому грозит заключение, за кем следят и кто следит, и относительно обысков и арестов доносить будете. Выдавать никого не смейте, пока партия не укажет. Поняли?..

— Так, значит, в соглядатаи? Провокатором?

— Если все приведет к одному — желанному, то почему эта работа, более нужная для нас и ответственная — провокаторство?

— Прощайте, Петровский. Пойду явлюсь. Видно, такая судьба.

— Видно, судьба...

— Судьба, значит...

По лестнице спускался и думал, что значит судьба,— сама Феничка, сама звезда Вифлеемская указать приходила ему путь

новый, и он сам послал, на кого указывала судьба с пути восхождения звезды столкнуть в одиночную камеру в централ. И пошел с тою же ненавистью к пролившим у Зимнего кровь неповинную. А в душе сам себе клялся правде служить и только червь точил предать Петровского.

Раньше дня назначенного пришел в жандармское и писцов, и вахмистров усатых, и господ в котелках расспрашивал:

— Повидать надо тут господина мне — в котелке он ходит, только у него усики черненькие растопыренные да глазки маленькие.

— Кого?..

— Не знаю фамилии, а только у него волосы приглажены на рядок.

В какую-то комнату приоткрыли дверь...

С аксельбантами, напмаженный, носки в сапогах узкие, ляжки — чуть рейтузы не лопнут и с подусниками надушенными.

— Ваше благородие, Калябин пришел... согласен.

— Чтоб себя оправдать перед законом и самодержцем должны указать кого знаете,— не сразу, конечно, а все-таки одного сейчас же. Хлюшин, с кем у него явки были?

— С каким-то студентом.

— Так вот студента этого. Должны через своих разузнать, когда его с поличным взять можно... Понимаете?.. Ну, когда какое-нибудь доказательство будет — вещественное — литература, шрифт.

Выходил из правления — глазами по сторонам шмыгал, не видал ли кто из людей,— казалось, что все знают, зачем приходил — приходил предать, от кого верить научился по-новому, учителя своего назвать. И домой шел, думая, что Иудой стал евангельским, и на сожителя своего не взглянул — лег на постель, обернулся к стенке и не встал до утра,— спал — не спал лежал молча, и утром не на завод, а в пивную выходил — котелка не было. Одному только и радовался, что никто больше следить не будет. До обеда полдюжины выпил, обедать в трактир с водочкой,— все равно мол, один конец, не воротишь теперь, назвал его и почувствовал, что потускнел вифлеемский путь,— испугался даже, а ну как не добьется он своего, только ненависть вызовет, если узнает предателя, и тут же подумал — да кто скажет ей, и успокоился. Пошел в трактир, в такой чтоб пообедать посытней вкусного, читал вывески, размалеванные снedyю всякой и с половыми с салфеткою и не решался в какой зайти и сам не знал, как против правления очутился, точно тянуло его еще раз

посмотреть на дверь грязную, захлестанную и рядом другую приметил — скромную, только и была над ней надпись — кухмистерская, зашел туда и котелок встретил. Сам от себя точно бежал, и чтоб одному не быть — подсел к нему.

— И вы к нам обедать?.. Тут дешево и в кредит верят.

— Ничего, Афанасий Тимофеевич, бывает, если б не я — не служить бы нам вместе, а для приятного знакомства, так сказать, примирения — поставьте-ка графинчик царской с закусочником.

Знал, что придется сдружиться с кем-нибудь, чтоб подноготную узнавать к явкам, и прикинулся святой наивностью. Один раздавили, другой поставил и в сумерки приятелем был Хлюшина.

— У меня сегодня, Афанасий Тимофеевич, вечер свободный, я ведь с Любани с утренним через день,— завтра в городе за одним пассажиром гулять вчерашним, вроде вот как за вами тогда я.

На ушко ему шепотом:

— К девочкам хотите? Две сестры тут, вольные, от себя работают и котов нет — спокойно, одна от нас ходит — студенческая, безбилетные, а насчет здоровья спокойны будьте. У нас ведь одно только и развлечение — девочки; спросите наших — у каждого есть, — либо из вольных, либо из работниц давалки честные, те тоже с нами работают — не хватает на шпилечки, на булавочки и подрабатывают...

Больше года Афонька постил, а тут, не то чтобы не выдержал, а любопытно на сотрудниц поглядеть было, к делу подойти ближе, знал — через баб легче всего разузнать можно про дела Хлюшина и его приятелей, недаром похвалился ему, что верней жены, хоть и марьяжной вечером.

Утром его провожала, позднее Хлюшина пускать не хотела, тот день звала вечером, недаром у купчих он славился, и тут угадил,— как с цепи сорвался — без удержу, целую ночь заснуть ей не дал.

— Приходи, миленький, приходи сегодня.

— Я б и сейчас у тебя остался, спать хочу.

— Иди, иди, выпишь, и я тоже посплю с тобою, а вечером чайку попьем с наливочкой, со сладенькой, чтоб и потом было сладенько...

Как пропойца прокрутил у сестер три дня, оттого и прокрутил, что знал — недостижима Феничка, как ни как — барышня, только в мыслях — все равно добыюсь, судьба такая — только когда?.. Так чего ж в миру-то хранить целомудрие, кому оно нужно? — за грош его никто не купит, а тут — кишки вывернет с требухой, а через сестру либо у подруг разузнает, когда что нужно будет товарищам.

Три дня прокутил, на четвертый прощались — плакала...

— Эх, кабы не марьяжить мне сегодня,— с голоду подышать страшно,— я б не пустила... Завтра жрать нечего.

Остановился Афонька у двери, взглянул ей в глаза почерневшие...

— Верна будешь?..

— Да за тебя любая ухватится, голяком ходить будет — до копеечки выложит, не ушел бы только.

— Сегодня приду. Жди. Не помрешь с голоду.

И достал из пакета дракинского, что про черный день сберегал, одну катеньку,— та только глаза выпучила, не от ней, а ей принес миленький...

И слесарю в глаза посмотреть боялся, сожителю своему — ночевать не ходил домой, у сестер жил и марьяжить своей не велел. А чтоб Хлюшин не подумал что — сказал, что медовый справляет месяц. Кормил-поил сестер и расспрашивал, а по субботам в пивной, и на квартире Петровского как только узнавал что,— рассказывал, в глаза ему не взглянув ни разу, и приходил, когда дома не было — поглядеть — нет ли чего подходящего ротмистру: под кровать заглядывал, по углам шарил — везде пусто.

Как говорил Петровскому — в точности, скажет — и следов не найдут вахмистры с котелками, еще больше доверять стали в партии, а на докладах ротмистру об одном твердил: «нет, ничего не держит дома, не простой студент — из главных».

От Петровского уходил — на Малую Спасскую сворачивал в пивную и просиживал у окна за кружкой, вглядываясь в прохожих — не увидит ли ее, хоть один раз, хоть глазком на нее глянуть,— глаза начнет резать — подымался и ночевать к сестрам, по дороге бутылочку захватит сладенькой.

Месяц к концу пришел — в правление вызвали.

— Ну, Калябин, как студент Петровский?.. Пора уж.

— Ваше высокородие, ничего нет, верно знаю.

— Если нет,— должно быть! Подложить должны.

Понес к сестрам два тючка Афонька и положил денька два полежать в сохранности, а сам к Петровскому. Пришел в сумерки... Как удавленный дожидался в последний раз товарища. Блуждал глазами по комнате, папиросами дымил, и закуривая следующую, невзначай на столе Фенину увидал карточку,— только что появилась, и потянулся взглянуть на нее,— со всех сторон оглядывая, и прочитал

надпись нежную близкому и родному и сразу решил: судьба значит... принесу завтра... под кровать положу... судьба.

Петровский вошел — поставить не успел карточку...

— Что вы тут, товарищ Калябин?

— На фотографию посмотреть захотелось... не узнал, землячка ведь.

— Какое вы имеете право рыться тут?.. Привычки новые?

Сверкнул глазами, насупился и захотелось напослед, на прощание порадовать Петровского:

— Раньше вас Феклу Тимофеевну знаем... Как еще в монастыре гостила летом...

Взглянул Никодим на Афоньку, понял, что задели слова насчет привычек новых, и сразу почувствовал, что недаром про монастырь заговорил,— тайну раскроет Фенину, недаром боится монаха рыжего, и помог ему расспросами:

— В монастыре?.. Когда?..

— Что ж вы,— написала близкому, должно ближе некуда, а ничего не знаете.

— Все знаю, все.

— А про Николая вам рассказывала,— монах такой был у ней, послушник кудрявистый, загляденье одно — на картине писанный. Нет?..

— Не знаю.

— А говорите — все знаете?

— Любопытно послушать...

— Я знаю и, если пожелаете, расскажу товарищу. Вы думали — боится меня, ведь знаю, что боится, меня боится... У меня-то с ней ничего не было, я больше с бабами по лесу кружился, бывали девчонки, как не бывать, да только по дурости сами лезли, а мне что — одно удовольствие печаточку сколупнуть сургучную,— не зевать же было, когда сама дается в руки. А Фекла Тимофеевна — особь статья. Вдвоем мы за ней, за красотой несказанной.

— Так это не вы?

— Николка Предтечин, послушник... любила его, да как еще.

Все равно как по темени колотил Петровского — рассказывал, тот только спрашивал сдавленно.

— Леса-то у нас темные, озеро цветное с купавками, земляничка, ягода сочная, все равно что девушка несмышленная.

— Не дурак был Николка, выбрал ягодку и сорвал, подлюга, спелую. Мох-то у нас — перина, дух в лесу пьяный,— захмелела поцелуями.

— Довольно, Калябин.

— Так не я был, Никодим Александрович,— обознались. А тот и жениться хотел — да выгнали, не выгорело.

— Довольно, говорят вам.

— А насчет общих дел говорить будете?

— Завтра придите.

— Приду, Никодим Александрович, завтра-то обязательно.

По комнате ходил — мучился, понял, отчего не хотела вспоминать о прошлом, и обида и горечь грудь заполнили, оттого что говорила ему — любит первого, а сама любила, не его, не первого, а монаха, какого-то Николку, говорит только, что его первого, оттого и шептала ему с поцелуями — «вот такая есть — вся твоя», и прошлого нет, настоящее только. Волосы на голове ерошил, карточку со стола несколько раз подносил к окну — разглядывал, точно на лице прочесть хотел, больше чем тайну разгаданную, и, перечитывая — близкому и родному, думал, что еще ближе был, первый — самый близкий. Как с цепи сорвался, побежал к Феничке.

На кушетке сидела с книжкой, в платок куталась, а мысли бежали стаями о любимом: давно не ласкалась к нему и он не целовал Феничку — приходил сумрачный,— целые дни из института в кварталы рабочие и до вечера, а вечером забежит на минутку, накормит его, расспросит, и убежит Никодим в свою комнатку темную. И не женой его быть хотелось, а любимой, ласковой; жить по-любви не думал и не спрашивал, что завтра будет,— и мучило, что не осталась тогда у него — говорить не хотела про Николку, со дна муть поднимать темную, и ждала, когда сам подойдет, возьмет и не спросит. И сейчас вот сидела, мечтала о нем, как женщина — телом хотела чувствовать, руками голубить нежными...

По лестнице Никодим всходил и решил, если не скажет сама всей правды — кончено, сегодня кончено, выскажет ей обиду свою ревнивую и кончено, и хотелось, чтоб сказала — оживила любовь уснувшую, горевшую только ревностью и досадою.

Позвонил коротко. Открыла и опять с ногами взобралась на кушетку.

Спокойно подошел и спокойно сел и за руки ее взял и, не целуя, все так же спокойно и сурово заглянул в глаза:

— Феничка, я пришел решить сегодня, нельзя дальше так жить,— или мы, правда, должны быть близкими и родными, или мы по разным путям пойдем. Не могу я так, — понимаешь, измучился!

Вот когда сердце замрет и голос тихий, упавший, задушевный, покорный, ласковый.

— И я измучилась, Никодим... измучилась, милый.

На минуту и любовь вспыхнула ласкою, рванул к себе за руки, обнял крепко, так что и хорошо и больно было, и до боли, всего один раз, поцеловал в губы.

— Скажи мне, всю правду скажи. Любила кого-нибудь?

— Никого не любила, одного тебя...

Искренно сказала, правду, и в самом деле кроме Никодима никого никогда не любила.

— Не верю. Скажи правду, сама скажи.

Отодвинулся, оттолкнулся, только руки не выпускал еще, а сжимал настойчиво.

— Правду говорю, милый, правду.

— Неправда, лжешь!.. А Николка послушник?

Руки вырвала, с кушетки вскочила, подбежала к столу и, точно падая, ухватилась за стул, опешив, слушала.

— Не любила его, нет? Неправда, любила,— не первого.

Крикнуть хотела, что никогда, никогда, никогда не любила его и не могла, и не было.

— В лесу отдалась... Не любя не отдашься,— любила, и жениться хотел на тебе — не позволили. Ну, говори, правда? Говори, Феня.

И когда руки похолодели у Фени, став влажными, и сердце, как камень, холодное падало тяжело и ровно, гордость проснулась женская.

— Мне не верил, что только тебя люблю, одного тебя, как расспрашивать стал,— у него расспросил, да?.. И считаешь, что это достойно любимого? Разве я тебя спрашивала хоть когда-нибудь, кого ты любил, с кем жил? Если ты о равенстве говоришь, так и я в этом имела полное право, а я тебя никогда, ни о чем, ни о ком не спросила. Говорила — такая, как есть, вся тут, и ты был нужен мне такой, как есть... Подожди, теперь я скажу. Все равно ведь кончено, сам сказал, что кончено,— так последний раз тебе выскажу. Я верила тому, что ты говорил мне, и мне довольно было того, что ты говорил сегодня, а вчерашнего не нужно мне было, оно умерло. И кого расспросить пошел!.. Теперь и я знаю, что кончено... молчи... Оставь в моей душе хоть то, что может остаться чистым, не касайся меня — уходи.

Оторвалась от стула и, пройдя к двери, приоткрыла ее и до тех пор, пока не ушел, говорила:

— Уходи, уходи, уходи...

Захлопнула дверь — уткнулась в шубку, подле двери висевшую, и беззвучными слезами проплакала, пока не подкосились от усталости ноги.

В комнатушку вернулся свою — пусто стало в ней и противно, думать ни о чем не хотел, не раздеваясь на постель лег и до утра позднего тяжелым сном проспал, а проснулся — тряхнул головой и подумал, что некогда теперь о любви думать — работать нужно, всему отдался партии, кто хочет другим счастья — не должен своего иметь, и на карточку взглянул безразлично, уходя из комнаты...

А перед вечером с двумя тюками Афонька пришел, под кровать сунул, оглядел еще раз комнату и карточку со стола взял, в карман сунул и пошел в пивную сказать котелку, что готово — могут брать с поличным, а когда карточку прятал — подумал, что судьба значит.

До вечера котелок промотался. Вернулся Петровский — котелок на извозчике в правление доложить ротмистру... Ночью взбудили, спокойно под кровать залезли, вынули, посмотрели при нем...

— Литература и шрифт... Понимаете?

Понял и молча вышел за ротмистром.

VII

Ходили по улицам толпы сияющие с плакатами и знаменами, на всех перекрестках манифест читали, на каждом заводе ревели гудки, в коридорах студенческих непрерывные митинги дотемна звенели ладошами, и Афонька забыл, что с котелками по одной лесенке, в одну дверь ходит — гомонил на заводе больше всех. Гомонил и чувствовал, что оторванный от всех теперь. Позабыл и дорогу в правление, и о нем позабыли, в филеры не приняли — приметен очень — мальчишки указывать будут пальцами. С своего завода на соседние бегал о жизни послушать новой и к сестрам наведывался редко, — заскучал даже.

К Феничке телеграмма пришла от дядюшки и перевод трехсотенный, — домой велено приезжать немедленно. С того дня, как с Петровским покончила — вся заледенела, будто и не любила его никогда, повеселела даже, — стала жить спокойнее. На телеграмму ответила: «приеду» и не поехала — бегала, как овца за стадом, по лекциям будущих депутатов думских, и в театре бывать стала. Подруженьки появились случайные. К рождеству собралась домой. Посыльному десятку — и билет плацкартный. Ночь проспала, наутро проснулась — стоит поезд в лесу за три станции до Твери, и ни с места. Вагон не качается — спать спокойно и все пассажиры до

девяти проспали. Проснется какой, посмотрит в окно, разузнает, что путь занесен, а что и как и насколько — не все ли равно, если тепло и спать можно? — и лежит дремлет. Только голод заставил на нижние полки слезть. Известно, какая еда дорожная: сардинки, колбаса, консервы рыбные, ножовая с хлебом, и не сыт, и не голоден, а червячка заморил, только вот после этого пить запросил червячок — беда пришла, кто от Питера запас с вечера и не допил, сидит в ус не дует, хлебнул из носка, чтоб не попросил кто, и поглядывает, как соседи во рту язык пережевывают.

И Феничка закусила, а запить нечем, пососала конфеток, еще сильней к воде потянуло, и обратилась к соседу своему — студенту:

— Коллега, нет ли воды у вас?..

С этого и разговор начался.

Воды не нашлось, предложил снежку принести в стакан. И все из вагона потянулись за снегом... Кто со стаканом, кто с чайником, кто с кофейником.

Потом беспокоиться начали, долго ли стоять придется,— по десять раз в час проводника расспрашивали, всем отвечал одно и то же:

— Не меньше полусуток, занос большой и обратно на станцию не принимают,— забито.

Занялись разговорами — проводить время.

Земляком оказался сосед Фенин. О всем говорили... О войне, о политике, о свободе и, как всегда, под конец литературу прихватили новую — половой вопрос, и на любовь перешли. На любовь перешли — играть начали и словами и нервами, а когда вместо газовых рожков огарочки принесли на вечер вставить — солидная публика, еще раз пожевав сухомятки и снежком запив, улеглась дремать, а молодежь, из Питера домой разлетевшаяся на праздники, побалагурила и начала шептаться парами.

После того как Феничка разошлась с Петровским, не начинавшееся кончила и стала бегать с подружками новоявленными по лекциям, по театрам — кокетничала и с горняками, и с путейцами, и с гражданскими,— с кем придется, от скуки забавляться стала. И теперь с гражданским ехала, так сказать, аристократом из студенчества, и захотелось пощекотать нервишки, и когда почти в темноте придвинулся к ней, обнял за талию — не капризничала, не вертелась — примолкла только и, думая не о любимом, а о своей любви к нему, о ласке не пережитой вместе одним горением, приникла к незнакомому, к чужому, шептавшему «хочу быть дерзким, хочу быть смелым». Все равно, кто бы ни был сейчас для Фенички и

дерзким и смелым, после любви растоптанной — отдохнуть захотелось, все равно было, что будет делать с нею студент в темноте среди людей посапывавших, лишь бы в теле волна закружила голову и хоть на минуту бы убаюкала.

Шептались ласково, и слова ему повторяла ласковые, что берегла Петровскому, и ближе чувствовала волнующую, взасос целуясь, и только когда умолял границу перейти запретную:

— Спят все, не бойтесь, Феничка...

— Уйдите, с ума вы сошли?..

— Не бойтесь, темно...

Из рук вырвалась и потом не давала прикоснуться к себе, не отталкивая, а только дразня дерзость.

И, поняв, что все равно ничего не выйдет — спать улегся, и Феничка первый раз без мыслей легла, без желаний, только чувствовала, как тело ноет сладостно... а наутро ждала, чтоб поезд поскорее тронулся, чтоб мужики, расчищавшие, на веревках бы его, что ль, потащили, лишь бы двигаться. И только к вечеру заскрипели колеса, и не только Феничка, но и все легко вздохнули.

На третий день, подъезжая к городу, с земляком простилась и, глазами сверкая, сказала весело:

— Увидимся на балу. Будете?..

— Обязательно, Феничка, непременно, милая...

На студенческом вечере ждала, что подойдет, ухаживать будет, и собиралась даже к себе позвать,— но всегда так бывает — любовь вагонная забывается, как только человек с багажом усядется поудобней на извозчика домой ехать...

Продавала цветы за столом с коллегами и курсистками и даже была хлопотливою, и с каждым инженером, адвокатом, доктором кокетничала, а когда подошел дядюшка Кирилл Кириллыч,— заставила выложить за цветы катеньку.

Купил дядюшка и ей же приколот ландыши.

— Хочешь, я тебя познакомлю с одним гимназистом?

— С гимназистом?.. Дядя Кирюша... Вероятно, с четырехклассником?

— Пойдем покажу.

И, проводя между колонн зала дворянского, говорил, улыбаясь каждому:

— Ты не смейся, Феничка... Интересный человек будет. Нам бы побольше таких в России.

— А в какой он партии состоит, дядя?

— Ни в какой, Феничка. Думаю, что и никогда состоять не будет.

— Тогда знакомьте.

— Борис Василич, это моя племянница, Феничка,— так и зовите Феничкой.

И тут же после вальса с поручиком, мечтавшим о гвардии, у подруг разузнала за цветочным столом, что Борис Смолянинов больше всех успехом пользуется у восьмиклассниц и у курсисток первокурсниц: все увлекаются, только он никем. Товарищи смеялись ему:

— Чистоту блюдешь, Боренька?..

— Чистоту, господа...

— И в слободке никогда не был?

— И никогда не буду.

— И ни одной не поцеловал гимназистки?

— Ни одной.

Как анекдот разговор этот передавали девицы — и с недоверием, и с любопытством. Оттого и хотелось каждой, чтоб ее поцеловал первую; расставят сети кокетства игриво — разорвет их спокойствием и уйдет в другие расправленные.

И у Фенички любопытство загорелось, и не просто девичье, а инстинктом — женское, пошла искать его в залу. По всему собранию обошла — на хорах сидел один.

— Почему вы удрали, Борис Василич?

Будто знакомы давно — говоря просто и мягкий голос грудной певучестью волновал душу, в самые потайные уголки проникал ласково.

— Вы ушли танцевать, Феня, а я о себе не хотел напоминать больше... Меня зовите полуименем: буду стариком, тогда поневоле к отчеству привыкать нужно будет.

— Как?..

— А вы сами придумайте,— как захочется, так и зовите. Никогда вам не казалось, что людям дают имена не подходящие к их внешности и к их душевному складу?. Вот посмотрите: направо сидит студент, Аркадий Гвоздиков, здоровенный, сильный и — Аркадий, Аркашка, да еще Гвоздиков, гвоздик маленький, а я бы ему дал имя — Петр Молотов. Почему? — крепкий, как камень, сила и твердость,— Петр — камень, и молотом его не разбить, он сам может — Молотов и не только по внешности,— взгляните в лицо — энергия, чувствуется спокойствие — характер узнать по лицу можно. И каждому человеку так можно изменить имя.

— Меня зовут Фекла Тимофеевна, Фекла,— как вы мне переимените имя?

— Вам?.. Елена, и звал бы вас не Леля, не Лёна, не Леночка, а Лена.

— А почему вам Феня не нравится?

— Фекла — торговок так зовут, баб деревенских; Феня, Феничка — прислуг молодых, монашенок клирошанок, а вы — стройная и невысокая,— вся в меру; волосы золотые зачесаны наверх густо, и вот эти, не знаю назвать как, около ушей от висков, как снопы с тяжелым зерном,— колосы — рожь спелая,— вы не смейтесь, что поэтично,— говорю, что кажется. Если б я художник был — лето бы рисовал с вас благодатное: на снопах в белой рубахе, в паневе праздничной волосы положил бы двумя косами вокруг головы венком. Понимаете — лето — Лена, широкое и просторное, как в новях золотое раздолье.

Для первой встречи необычайный был разговор и до конца вечера не прерывался — увлек Феничку простотой задушевною,— чувствовала: что думает, то и говорит человек, и мысли красочно ясные, необычные. Не про любовь, не про половой вопрос, не о политике, что было главною темой споров студенческих, а пришел будто человек из другого мира, где спокойная мысль была радугой семицветною. И Феничка позабыла, что кокетничать собиралась, увлекать Смолянинова, смеялась искренно, когда говорил:

— Посмотрите вниз, как потешно люди семянят переваливаясь,— вот там толстый студент идет — каждую секунду упасть может. Если на себя посмотреть могли, никого на хоры бы не пустили... А я никогда не строил бы нарядных зал с хорами...

И смешного ничего в словах не было, а вниз посмотрела на студента толстого и рассмеялась, сначала весело, и не как в вагоне, когда поиграть захотела нервами, чтоб отдохнуть, позабыться, а вот тут, в первый раз услышав человеческие слова простые, не было скрыто за ними ни желания, ни ревности, ни будущего, ни прошлого, ни игры в любовь без игры,— простые слова от мысли ясной — самую собой была, оттого и душой отдыхала.

Марш заиграли — вниз сошли.

— До свиданья, Феня...

— Я распорядительница, и вы моим гостем будете,— поужинаем вместе со всеми,— хорошо? Согласны?

Без всяких предисловий остался. Сошли вниз — старшекурсники Дракина уговаривают:

— Кирилл Кириллыч, оставайтесь с нами, вы питерский, наш — с нами ужинать...

Желторотые тоже галдят галчата:

— Оставайтесь, оставайтесь, не пустим...

И курсистки пищат, в петличку просовывая гвоздику красную:

— Идемте, идемте ужинать, с Феничкой вместе.

Феничка подошла.

— Дядя Кирюша, оставайтесь и вы, моим гостем будете.

— Только разрешите мне, господа, курить трубку, я целый вечер постился папиросами.

Доедали из буфета своего остатки непроданные и пивка притащили корзиночку, а Кирилл Кириллычу дали шампанское, предложили непроданное, недопитое.

— Разрешите, господа, из буфета мне заказать виски...

Кивнул головой лакею, и когда подавал тот,— из-за стола встал, отошел в сторону.

— Ужин из четырех блюд с закусками приготовьте.

— Поздно-с уже... два с половиной...

— Для меня не должно быть поздно, так и повару скажите,— сосчитайте, сколько особ тут.

— Слушаю-с.

И когда стали петь гаудеамус — поднялся Кирилл Кяриллыч, прервал песню:

— Ну, молодые товарищи, Феничка приглашает вас поужинать,— там и я с вами запою нашу песню.

Хозяйкою села за стол Феничка,— рядом дядюшка, а с другой стороны Смолянинов Борис — студент будущий. И не пивко, а царское и заморские пили с песнями, под конец — революционные опьяневшими голосами, про Петровского кто-то вспомнил и до Фенички донеслось:

— Петровский Никодим арестован, нашли и литературу и шрифт — сошлют, наверное.

Как далекое что-то вспомнилось, обидное — и, чтоб не вспоминать, не думать — вполголоса Смолянинову:

— Борис, с вами чокнуться хочет Лена...

И когда двухсветные посерели окна — не прощаясь, встал дядюшка, Феничку взял под руку и — обращаясь к Смолянинову:

— Борис Васильевич, поедemте с нами?... пора... проводите...

В вестибюль доносились выкрикивания и вразброд — «Вышли мы все из народа»... Порою с пристяжной бубенцы звенели — на собственных понесли на Пеньи.

Подкатили...

— Семен, отвезешь домой барчука Смолянинова.

— Дядя Кирюша, я хочу проводить Бориса...

- Замерзнешь, Феничка.
- Ничего, не замерзну, дядя...
- Как хочешь... я подожду.

Опять через весь город на Дворянскую и не с дядюшкой, а вдвоем, с Борисом.

Певучий слушал голос, фантазирувавший о реальном, и, не зная почему, спросила:

— Расскажите мне, Борис, что-нибудь о Вифлеемской звезде... что знаете.

— Три волхва поклонились ей — телом, душой и разумом,— каждый по-разному; оттого и нашли они рожденного, умершего и воскресшего,— звезда померкла. Только тот, кто ищет всем существом нераздельно: телом, душой и разумом — для того никогда не померкнет звезда Вифлеемская, будет она всю жизнь вести ищущего бессмертного... всю жизнь...

- А человек может быть звездой Вифлеемской?
- Так ведь мы в человеке звезду свою ищем.
- И я, значит, звезда Вифлеемская?..
- Для кого-нибудь... да, Лена.

Задумалась Феничка, показалось ей, что и у ней должна быть своя звезда, и захотелось, чтоб этой звездой ясною был Смолянинов Борис.

И неожиданно повернулась к нему, протянула руки.

- А если б я поцеловала вас?..
- Я этого не позволю вам.

И возвращалась домой одна, почти засветло, смотрела по сторонам, не хотела ни о чем думать, а в голове неслось — Калябин телом поклоняется, и передернулась, Никодим — разумом, и позабыла, а этот — душой,— кому только? О, если бы для этого и телом и разумом и душою — звездой быть Вифлеемской?..

ОТРОЧА НЕПОРОЧНЫЙ

I

К обеду проснулся, решил никуда не ходить больше, не пленять никого рассказами фантастическими,— для девиц — забава, а у него — пережитое. Каждое слово рождалось образом, как тайною дорожил каждым и не мог себя сдерживать, когда был с кем-нибудь. Одиночество, как ноша, оставалось у дороги лежать, уходя с человеком в его глубину, и встречал глаза девичьи. Никого не любил и каждой соловьиное пел,— искренне, потому что сразу любить хотелось не одну,— а всех. Один раз и про это рассказал девушке синеглазой — Линочке.

С детства ходил с матерью к Ольге Григорьевне, с детства и Лину знал девочкой. Возмужалость пришла — оставался дома. Казалось, что с девочкой,— в памяти осталась такую,— взрослому юноше делать нечего.

Мать к старинной подруге одна ходила. В институте влюбленными были друг в друга, а пришла любовь, жизнь волнующая — дали слово друг другу в один день замуж выйти. В один день венчались, да только вдовой осталась Гурнова с трехлетней Линочкой, а Смолянинова, Анна Евграфьевна, мужа радовала сыном Боренькой, и подруги своей не забыла — Оленьки.

В восьмой перешла Линочка — рождение захотела справить зимой раннею и захотелось Бориса у себя видеть,— от подруг слышала про него и самой захотелось и пококетничать и забраться в сердце и одним взглядом растопить лед звонкий.

Глаза синие, а кругом — иней пепельный, зима, а зимой — горят звезды теплые и каждому, кто взглянет на них — тепло становится, не хочется от тепла уйти, от Линочки.

Весь вечер две матери просидели вместе, слушали смех молодой гостей Лины.

Зима началась ранняя и балконная дверь до декабря, до рождения не была вставлена, а печи топились у Гурновых с вечера — не докоснуться утром.

На рождение пришел, Лина весь вечер его от себя не пускала, подруги шутили:

— Не влюбись смотри, Лина.

И когда после ужина в гостиной, натопленной, повели любовь парами, загляделся Борис в глаза синие и рассказал про них Линочке:

— Иней, как волосы у вас тоже иней и сегодня — густой, пепельный и сквозь узор кружевной — глаза синие. Бесконечный сад девичий. Хорошо в нем идти влюбленному, все в инее и завитки мягкие волнами. Раскрыть широко, широко руки и почувствовать, как ладони щекают локоны и русые, и каштановые, и золотые, и черные с теплом земли мягкой, и пепельные, как ваши, Лина, и сквозь волосы эти — глаза ясные и серые и черные и вдали, в конце этого сада волос девичьих — голубые — как у вас, Лина. И кажется, что все глаза в одном взгляде, в голубом сливаются, в далеком, и волосы от одной на всех падают пепельными, а после разлетевшись становятся разными, и хочется к одной подойти, чтобы всех почувствовать, чтоб все взгляды в одном слились — голубом, ясном,— только зимой такие сны снятся, когда иней пепельный и звезды морозные, как глаза горят синие.

Как сказку слушала, и когда широко развернул руки — наклонилась к нему невольно, чтоб ладоней коснулись волосы, и он, своею фантазией увлеченный, провел по волосам рукою и, опомнившись, показал на дверь:

— Иней сегодня там,— в конце аллеи, далеко, далеко — глаза синие, как ваши, Лина.

Может быть, оттого, что захотелось фантазию превратить в жизнь и в одном своем взгляде слить множество и взглянуть ими Борису в душу, чтоб увлечь ее — дикарку непокорную, не из тщеславия — покорить непокорную, а из-за того, что глаза ему отдали синие, когда говорил ей — распахнула дверь балконную и в шелковом платье белом, в туфельках — по снегу, в конец аллеи бежала заиненной и осыпала на себя ветки белые, звала и смеялась:

— Далеко, далеко будут глаза синие,— идите взглянуть на них... позову, когда загорятся... Слышите, стойте там, я крикну.

Все еще собственными увлеченный словами и взглядом глаз голубых, послушно остановился и только когда белую фигуру от веток заиненных отличить не мог, испугался, что простудится, и побежал вслед.

Идти не хотела,— на белом снегу белая, как снег хрупкая.

— Ну, посмотрите, Боря, горят или нет, как звезды?..

— Загорятся, когда любовь придет,— без любви не зажгутся звездами...

— Зажглись, посмотрите, Боря, зажглись...

И, тяжело переступая по глубокому снегу, дрожа, прижималась к руке его и заглядывала в лицо ему.

— Простудитесь, Лина...

Уходить не хотелось — ждала, что и в нем зажжется свет горний, и не дождалась,— как всегда, были глаза спокойными.

На балкон мать выбежала.

— Лина, Лина, Борис,— сумасшедшие, разве можно?..

— Сказку он мне рассказал зимнюю, я и побежала в сад ее посмотреть, в саду она.

Смолянинова сказала сыну:

— Вечно у тебя, Борис, фантазии,— не можешь ни на минуту без них жить...

Пришел к обеду в столовую после бала студенческого...

— Борис, у Лины воспаление легких,— ты виноват, твои фантазии.

— Я не виноват, что они мои фантазии слушают,— я не кавалер, чтоб занимать барышень специальными разговорами, а что придет в голову, то и говорю.

За сладким от Фенички принесли записку:

— Это еще что?..

— На вечеринку зовут, к Дракину. Никуда не пойду.

С пристяжной, пара бубенцами звать прилетела, вернулась без гостя к Феничке.

— Дядя Кирюша, сама привезу поеду.

— Неудобно... что ты, Феня?

Услыхал бубенцы — отмахнулся досадливо и когда из передней услышал смех задорный и понял, что мать ведет к нему в комнату, лег на тяжелый диван турецкий и стал серым, сумрачным.

— Не хотели добром — увезу силою.

— Я не поеду, Феничка, не могу...

— Лена приехала, лето ваше.

— Теперь зима,— зимой холодно, сделайте лето — поеду... Я шучу, Феня,— просто никуда не хочу ехать... простите.

Чуть не в слезах, обиженная — в переднюю, и опять бубенцы звякнули — понеслись дико.

— Свинья ты, Борис,— как не стыдно, обидеть девушку!

— Я не виноват, мама.

А в девичьей комнате в бреду лежала.

— Иней густой... пепельный... пришла... зажглись звездами... смотри, Боря... голубые... горят...

Целую ночь повторяла, кутаясь в одеяло, шепотом, а к утру тело сгорело, по кровати металась; как сквозь сон слышала слезы матери и доктора спокойный голос:

— Пока ничего не известно... посмотрим, что завтра будет.

Неделю в бреду лежала,— диагноз — крупозное...

По телефону звала подругу Ольга Григорьевна.

— Иду, Оля... иду.

И дни и ночи посменно дежурили, имя сына своего слышала, и когда приходила отдохнуть домой — укоризненно говорила Борису:

— Стыдно, Боря, тобой бредит,— все твои фантазия наделали.

Зачастили доктора разные на консилиумы.

— Что с нею, что, скажите?..

— Осложнение... небольшое... в легких...

Не матери, а подруге сказали в январе, Анне Евграфьевне Смоляниновой:

— Подготовьте мать, может быть скоротечная.

— Неужели спасти нельзя?..

— Безнадежно... Чудом только, если бывают еще чудеса.

— Когда же?..

— Умрет? Неопределенно, от четырех до семи месяцев... Наверняка к осени.

В слезах вернулась домой и опять сказала Борису:

— У Лины — скоротечная... Ты виноват, Борис, ты...

И в первый раз с отчаяньем вырвалось у него:

— Неправда, мама. Неправда...

— Только чудом спасти можно,— понимаешь... чудом...

С этого дня фантазировать перестал — задумался.

Кризис прошел, поправляться стала,— посеребренные дни морозные опять усыпали ветки жемчужным бисером белым,— загляделась в окно в сумерки синие и вспомнилась сказка опять про глаза, захотелось увидеть, как горят они звездами в волосах пепельных — в форточку загляделась на звезды ясные и думала, думала про Бориса и опять слегла к вечеру — охватило студеным ветром,— и скоротечная.

Зажглись глаза синие звездами, заиграл на щеках румянец жаркий — сгорала кровь в кашле звенящем, не хватало воздуху —

дыхание прерывалось и, как в дереве шашель, хрипела в груди червоточина.

Ярче звездони разгорелись, оттого что зажглись от любви первой. И в ту еще ночь, когда в тепле дрогла прозябшая, на душе легко стало — любовь проснулась. Бредила им, тайну выдала в бреду сгоравшая.

И приговоренная мечтою жила о милом — запечалилась, загрустила.

Спросила мать:

— Линочка, что ты, девочка, такая грустная?..

— Не знаю, мама, сама, отчего тоскливо.

— Доктора говорят — здорова будешь.

— Мама, я ничего не боюсь...

— Ну, скажи отчего, детка?.. Любишь кого?.. Да?..

— Люблю...

— Кого? Скажи мне.

— Бориса люблю, Смолянинова.

— Ты им бредила, голубчик... бредила.

А когда Анна Евграфовна подругу пришла подготовить к смертному, начала с Бориса:

— Борис виноват мой. Его фантазии с ума сводят девушек. Скверный мальчишка.

— А ты знаешь, Аничка, она любит его, Бориса,— бредит им в жару.

— И я слышала, Оленька. Заставлю его лечить Линочку. Пусть вылечит, исцелит,— ты знаешь, любовь, Оля, она чудеса творит, может и тут нужно чудо; мне сказал один доктор после консилиума, если бывают еще чудеса, так чудо вылечит, а любовь — чудо, первая любовь — чудо.

— А что у ней, что, скажи?.. Почему только чудо вылечит? Чахотка у ней, да,— я сама чувствую, только самой себе не могу признаться в этом — она моя жизнь, последнее, что осталось в жизни.

— Чудо спасти может, Оленька, чудо... А я знаю, что любовь — чудо, силы дает счастье первое.

— А он ее любит, твой Борис ее любит? Да?..

— Должен ее полюбить, если погубил — пусть чудо творит, спасает...

В тот же вечер к себе позвала Бориса.

— Еще раз тебе скажу, ты виноват, Борис... фантазии твои погубили девушку.

Молча сидел — мать слушал и у самого от боли, от горечи виски сжимало.

— Что же я могу, мама, сделать? Разве я хотел этого?

— Знаю, что не нарочно — не хотел,— тем тяжелей, тем хуже.

— Ну, скажи, скажи, что сделать?

— Сотвори чудо.

— Как? Скажи? Какое?

— Если твои фантазии с ума сводить могут, так значит и чудо сотворить можешь. Я этому верю,— верю, Борис.

— Если б я это мог сделать?..

— Можешь. Полюби ее...

— Полюбить?..

— Да...

— Без любви полюбить?

— Она тебя любит, понимаешь ты, тебя... Тобой бредила... и маме сказала, Оленьке, что любит. Не любишь, обмани, скажи, что любишь ее, поцелуй ее, приласкай — любовь чудеса творит, человека воскресить может... Воскреси ты ее, воскреси любовью. Сотвори чудо. Искупви вину.

— Вину свою искуплю, мама, но без любви не будет чуда,— я никого не люблю, и ее тоже.

— Только свои фантазии?..

— И их теперь не люблю.

— Все равно,— скажи ей, что любишь, собственная любовь ее сотворит чудо, а если умрет — счастливою умирать будет и смерть будет от любви светлою.

Целую ночь не спал — думал, не верил, что без любви о любви сказать можно. Никого никогда не любил, только свои фантазии. Они его радовали, когда оживал человек от них, за ними шел слепо и влюблялся в него и любил, а он — уходил без любви счастливый, что может заморозить человека словом. Никогда не писал, а сочинения классные были лучшими и учитель восхищался ими,— привычка была у словесника лучшие сочинения всему классу вслух читать в назидание. Принесет тетрадки, аккуратно сложенные, а сверху — в особую папку две-три отложены.

— И на этот раз, господа, Смолянинова — лучшее. Вот послушайте, как писать нужно.

И к парте, прочитав, подносил и от переполнившего чувства за вихор драл больно.

— Лентяй эдакий, талантливый...

Домашние писал гимназисткам — с головой выдавал девиц.

— Сознайтесь, не сами писали?.. Кто писал — Смолянинов? Да?.. Увлечлись юношей или он вами?

До корня волос краснели, плакать хотелось от досады, и все-таки гордились, что написал Смолянинов. Не каждой писал,— только тем, кому изливал фантазии.

Под утро решил:

— Что делать,— пусть эта игра в любовь будет моей последней фантазией.

II

В первый раз навестить пришел,— один на один вдвоем оставили, поверили матери, что сотворит чудо, и боялись входить в ее комнату, чтоб не нарушить творимого чуда в сердцах звучных.

В первый раз стало грустно ему, Борису, сидел против нее и видел, как глаза ему говорят, шепчут ласково, и сам загляделся в них, и без любви проникали в душу лучистые.

Любовь девичья — тишина пугливая, предчувствует тайну греха смутного и бежит от него к ласке голубиной нежности, зовет он непознанным, неизведанным и пугает поцелуем радостным.

Приласкаться хотелось Линочке,— иного не знала, не чувствовала, а поцелуй ждала, замирая вся.

Смотрела в глаза и опять сказку слушала. Сама просила:

— Расскажите мне что-нибудь... Я до сих пор помню ту, первую.

— Жизнь моя — сон непрерывный и живу — сны вижу и сплю — живу ими. Не знаю отчего — сейчас один вспомнился: ладья узкая, дно острое — весел нет, крылья белые, взмахивают широко — волны пенят. По озеру,— шевельнуться страшно, покачнись — на дно, в глубину, в водоросли, как в сети запутаешься и неба не видеть синего. Машут крылья — дышать трудно, захватывает. Озеро уже и лес сдвигается, берега растут и ниже все, ниже — ушел лес в вышину, утесы сдвигаются и в подземелье — мрак, а чувствую свет, и может, все вижу, а различаю каждый кристалл, и кажется, что они, камни, излучают свет. И не ладья машет крыльями, а у меня они выросли, от ладьи приросли, и я взмахиваю и, не шевелясь ни одним мускулом, лечу в глубину. Зелено-черная муть студенистая неподвижно блестит, как смола; в глубину глянуть — прозрачная, и тянутся из нее водоросли и чем дальше, тем больше и зацветают цветами белыми и цветы — тоже светятся, и свет не от скал кристальных, от этих цветов белых, а скалы черные и только далеко-далеко, как в ущелье — огонек, и будто я лечу на огонек этот —

доплыву, значит жить буду, счастье найду свое, а шелохнусь в ладье — погибну и знаю, что крылья мои распластятся на этом студне черном и тоже светиться будут, только меня не будет. И чем ближе к огню, тем он не ярче, а гуще и тоже становится белым, потом пепельным и синеет, звездой загорается, а потом голубой, голубой, как глаза чьи-то... В глаза заглянуть — лечу, теперь уж знаю, что не огонек, а глаза горят голубые...

— Чьи, Боря?..

И, наклонившись к ней близко, смотрел в глаза и чувствовал, как лучатся они в душе и зажигают душу.

— Не знаю еще, не знаю... Может быть, ваши...

Вернулся домой — приснился сон рассказанный и во сне уже чувствовал, чьи глаза голубые светятся, и потянуло посмотреть на них.

Каждый день ходить начал к Лине, не знал еще, что любит, но не мог оставаться дня без нее. И когда не приходил почему-нибудь, и в комнате Лине пусто было, и у Гурновых в доме без него пустота была, и Ольга Григорьевна чувствовала эту пустоту давящую. Заходила к Лине в комнату, смотрела на нее печальными глазами, от слез сдерживалась и спрашивала:

— Отчего, Линочка, не пришел сегодня Боря?

— Не знаю, мама...

— Хочешь, я пошлю за ним?

— Пошли, мамочка.

И ему стало одному пусто — слонялся по комнатам, заглядывал в шкаф книжный, перебирал, перелистывал книги и ложился на диван свой и ждал, когда мать позовет чай пить. А когда прибегала за ним горничная от Гурновых и говорила: «барышня вас прийти просила... скучно им»... бежал, не застегивая шинели, и ждал, когда увидит голубые глаза в пепле белом.

С детства жила в темнице Лина, за каждым шагом следила мать и оберегала от слов грубых, от книг недозволенных, молиться учила и верить; и верила и молилась, монашенкой жила в комнате и только, когда встретила Бориса девушкой — загорелись глаза синие, зажглась душа и непорочная жила любовью чистою.

— Я ваш сон записала, Боря, в дневник...

И кашлем, улыбка прерванная, глаза печалила...

— Только у меня ничего интересного в дневнике нет...

Точно хотела сказать, что чиста душа непорочная, не познавшая даже поцелуя первого.

Ростепель землю набухшую зачернила и влажные ветки тяжело качаться начали — начались выпускные экзамены.

Просили начальницу за восьмой свидетельство выдать Линочке, перед смертью порадовать, что окончила и может начинать жизнь новую.

И когда из лесов деревенские девки в корзинках принесли в город ландыш белый — зашел Борис студенческую фуражку в магазине одеть и по просьбе Гурновой в гимназию за свидетельством Лины и на углу Дворянской полную корзинку купил ландышей.

Через сад по аллее липовой к окну подошел ее и по одному букетику бросал из корзины ландыши, а когда глаза синие выглянули — на подоконник выложил остальные.

— Боря,— уже студент?..

— А вы, Лина, курсистка...

Вбежал в ее комнату с свидетельством за восьмой...

— Посылайте на курсы, вместе поедем...

И в сумерках перед вечером у окна сидели и слушали, как шумит город и засыпают яблони цветами белыми.

— Посмотрите, Лина, как тогда зимою — опять иней пепельный...

— А звезды там горят голубые?

Волнующим шепотом из губ в губы:

— Горят, Лина,— от любви зажглись звездами.

И поймав его руки в ладони прозрачные...

— Чьи, Боря, чьи?

И от неотрывного поцелуя первого зашлась кашлем, захлебываясь, и, отдышавшись, ослабевшая, голову ему на грудь положила.

— А у тебя, Боря, там не хрипит...

— Где, Лина?..

— В груди... А у меня — звенит, как струна лопнувшая. Знаешь, когда во время игры струна лопнет на скрипке, заскрипит по струнам звучащим и в скрипке заскрипит гулко. У меня так же... Послушай... Хочешь послушать?

На колени стал, обнял и долго слушал, как дыхание звенит хрипами и сердце от любви падает в глубину. По волосам его тихо гладила и к сердцу ладонями прижимала голову.

— Ничего, Боря, это пройдет у меня.

— А как у тебя сердце бьется?..

И голову целовала ласково:

— Хорошо мне с тобой, Боря. Так хорошо! Я самая счастливая девушка на земле... Правда?..

И в первый день любви ясной, когда зажглась она, переплетаясь лучами двух дыханий, двух взглядов и смерти, сказала с надеждой испуганной:

— Я хочу быть счастливая, я не умру. Ведь я не умру, Боря? Правда?

— Не умрешь, Линочка, нет, милая, нет. Теперь не умрешь...

— Я сама знаю, что не умру — мне лучше... Я уже в сад выходила. Пойдем сейчас,— теперь тоже иней, теперь ты увидишь, как горят мои глаза голубыми звездами.

И, долгие поцелуи прерывая кашлем долгим, сгорала от любви и от румянца чахоточного.

Для него была тоже первой, никогда, никакой не целовал ни женщины, ни девушки, и не мать, не отец хранили его от соблазна смертного, а собственные фантазии спасали — от девушек уходил влюбленных и не знал, что плакали потом нецелованные губами сказочными. И к Лине, когда наклонился, спокоен был, хотел жизнь вдохнуть радостью, сотворить чудо, а почувствовал на своих губах жаркие — опьянел ласкою, и не он, а Лина над ним сотворила чудо — волна захлестнула душу и белые крылья выросли и стремительно понеслась ладья по рекам крови бурной. А когда слушал, как в груди звенит струна порванная — всю почувствовал и от любви уже захотел, чтоб жила, к жизни вернулась, воскресла от счастья, от любви первой. Домой возвращался — кружилась голова от счастья и не верил, что умереть может,— чудо совершить хотелось.

Ждали отец с матерью студентом, поздравляли с вином за ужином.

Матери показался странным Боря, не от вина широко раскрылись глаза блестящие.

Проводила его до комнаты.

— Какой ты сегодня странный, Боря? Случилось с тобой что-нибудь?

— Да мама...

— Скажи, милый, что?.. Ты у Линочки был?.. Да?..

— Мама, люблю ее. И ей сказал...

Отчаяние прозвучало, безнадежно из сердца вырвалось:

— Боренька, милый...

Только тут поняла, что на страдание обрекла сына, приговоренную полюбить заставила. Каждый день дома не был. Только ночевать Борис приходил поздно вечером и чтоб не думать ни о чем — спать ложился. И у Гурновых привыкли к нему, родным был и для матери, и для Лины. Ожила Лина от счастья первого, будто силы

прибавилось, и мать поверила в чудо любви первой — издали любовалась счастьем дочери.

Гудела пчела медвяная, кружилась у лип расцветающих...

Мечтала с Борисом в аллее липовой:

— Ведь ты не уйдешь от меня, Боря? Не уйдешь, милый?

— Никогда, Линочка...

— И всю жизнь будем вместе? Правда?

— Всю жизнь, Лина... Поправишься,— к осени поедem в Петербург вместе.

— Вместе поедem, Боря, вместе.

— И комнаты рядом будут... вместе будем.

Целуя ее, шепотом:

— А весной... моей будешь... женою...

— Твоей, Боря,— ничьей больше.

Липы цвели — тяжелей кашляла, глуше... пустота звучала в груди и только билось от любви сильной сердце и кровь сгорала — сгорала девушка.

Мать свою спрашивал:

— Мама, будет Лина жива?

— Не знаю, голубчик, не знаю...

— Я тоже умру, не выдержу.

Две матери плакали и на чудо надеялись.

Каждый день прибегал утром. Один раз через сад подбежал к окну — в капотике белом, волосы по плечам волнисто и руки закинута к затылку... На коленях стоит, глаза закрыты — не шелохнется, замерла, молится и только досиня бледные губы шевелятся в шепоте.

Простоял у окна не двигаясь,— поднялась, открыла глаза, поглубже вздохнуть хотела и зашлась кашлем.

В подушку кашляла, чтоб не слыхала мать, и, отдышавшись, встала, опять руки вскинула и к окну подошла, а на глазах синих голубые наплыли слезы...

Куда-то далеко, в бесконечность смотрела и шепотом:

— Милый мой... Боря... Боря!..

— Что, Линочка?..

Испуганно от головы протянула руки вперед...

— Как ты меня испугал, милый...

Руки поймал в окне, целовал долго...

— О чем ты молилась, Лина? О чем? Скажи?

— Чтоб бог меня сохранил тебе... Не хочу умирать... Раньше, может быть, все равно было, никому не нужна была и мне никто не был нужен... а теперь — не хочу, Боря. С тобою хочу быть, милый...

И чтоб через дом не шел, не прерывал в душе больной радости — позвала:

— Через окно иди, Боря; иди ко мне.

Опять спрашивала умоляюще:

— Ведь я не умру, Боря? Нет?.. Я каждое утро молюсь так и вечером,— о своей жизни для тебя, милый. А ты молишься?

— Нет.

— Ты не веришь в него?.. Нет?..

— Не верю.

— Хочешь, я тебя научу верить, научу молиться?

— Этому нельзя научить, Лина... Как я буду молиться, если не верю, ни во что не верю?..

— А как хорошо, когда помолишься... И жить легче... И умирать будет легче. Когда я умирать буду,— но только я не умру, ты не думай,— благодарить буду его, что он и мне послал на земле счастье. Счастливая умирать буду, и ты будешь рядом, возьмешь мои руки, чтоб до последней минуты я могла тебя чувствовать, и будешь в глаза мне смотреть, а я буду молиться ему о тебе, чтоб ты на земле был счастлив, и благодарить его за любовь посланную.

На коленях стоял подле нее, положив ей в колени голову. Полупшепотом говорила, чтоб не раскашляться, дышала тяжело, медленно, точно воздух не могла набрать и по волосам его гладила прозрачными, без кровинки пальцами, отклоняла голову, в глаза смотрела и опять гладила.

— А только я не умру, я это знаю, Боря... Это я только так думаю, как умирать буду.

Не умел плакать, слез не было, а грудь давило камнем тоски тяжелой.

— Молиться я тебя научу, милый...

— Нельзя этому научить...

— Научу, Боря... научу молиться... Научишься молиться и верить будешь. Ты скажи только, хочешь научиться этому?.. Я знаю — как научить... Слышишь, хочешь?..

— Научи, если можешь. Мне иногда самому кажется что если б я молиться умел, верить... жить было бы к легче, и проще. Но этому научить нельзя, Лина.

— Я научу тебя, милый...

И весь день ходила задумчивой, погруженной в себя мыслями, дышала медленней и почти не кашляла.

Просила читать до обеда Тургенева и не слушала, а только напряженно о чем-то думала.

За обедом сказала матери:

— Мамочка, поедem в деревню, в наши Рябинки...

— Нельзя, Линочка...

— Мне так хочется еще раз побывать в нашей церкви, помолиться там... поедem, мамочка, и Боря поедет с нами.

— Нельзя, Линочка,— мужики имения жгут, у Белопольских сожгли усадьбу. В городе остались многие...

— На один день только...

В сумерки попросила поиграть на рояле маму и вместе с Борисом слушала Грига.

А потом подошла к ней, обняла...

— Мамочка, разреши мне самой поиграть... Я немножечко... мне теперь лучше... я не утомлюсь...

Не могла отказать единственной.

— Ты иди, мама... Я Боре играть буду.

Покорная желанию каждому, с вечно теперь от слез глазами горячими, ушла в соседнюю комнату и плакала, слушая,— плакала оттого, что не могла исполнить ее желания в деревенской помолиться церкви, в тишине, в сумерках, когда десяток старух поклоны бухают, шепча молитвы, и две-три свечи перед иконостасом горят, а попик хозяйственный торопливо говорит возгласы и поет за дьячка и выбегает читать на клирос, потому — дьячок сено спешит до дождя убрать, и служить-то пришлось из-за барыни,— молиться пришла с барышней,— глядь, в благодарность лишний пуд муки перепадет в новину.

Осеннюю песню Чайковского не окончила...

— Не могу больше, Боря... сил нету...

Повернулась к нему, протянула руки, и, целуя их, отвел ее в кресло.

— Мне тоже тебе сыграть хочется...

И пока ужинать не позвала Ольга Григорьевна, в темноте, на память, изливал безнадежность, тоску, любовь.

После ужина всегда Борис уходил домой,— а в этот день его остановила Лина:

— Пойдем, Боря, ко мне на минуточку.

Ольга Григорьевна сказала тревожно:

— Поздно, Линочка... ты утомилась сегодня... музыка утомляет...

— На одну минуточку, мамочка... Позволь мне?... Позволь...

В комнату к себе привела... Постель приготовлена к ночи белая и от зеленоватой лампадки зажженной, от цепочки на полу крест брошен — в комнате полумрак тишины светлой.

Положила ему руки на плечи и тихо, ласково:

— Давай вместе помолимся, милый...

Взяла его за руки...

— Я научу тебя. Боря...

Покорно пошел за нею.

— Стань на колени со мной рядом...

Опустил ее, поддерживая.

— Теперь обними меня,— вот так... Глаза закрой, закрой обязательно...

Голову на плечо к нему положила.

— И повторяй за мной,— что я буду говорить, то и ты говори тоже.

И чувствовал, как тяжело с трудом дышит и как тяжело, глухо сердце падает.

И тихо, почти шепотом, слово за словом повторяя медленно и чувствуя ее близко, как никогда близко, замер, хотел ее в себе чувствовать и голос ее будто в нем звучал и не молитва, а любовь стала молитвенной — под конец не знал — молится или нет, только понял внутренне как-то, что молится — ощутил в себе молитву чистоты девичьей и хотелось, чтоб без конца молилась с ним.

— Повторяй, Боря...

На мгновенье только задумалась...

— Господи! Мы вдвоем тут, одни... Ты знаешь, как люблю его... И он меня любит, милый... Оставь нам на земле счастье это... Ты можешь... мы в твоей воле и твоя воля — жизнь наша... Мне так хочется жить... В этой комнате жить вместе... Оставь меня для Бориса... Посмотри... Он тут со мной... молится... Ты знаешь его... Простишь... он грешный... Мне так хорошо с ним... Он мой... милый... Ты добрый... Ты видишь, как я люблю его... Одного его. Оставь это счастье нам... Господи, он мой будет любимый... мой будет... мой...

Губы искали других, близких, и молитву прервали и дыхание, и до самой глубины потаенной в поцелуе проникла любовь молитвенная и молитвой стала.

Сил не хватило, дышать стало нечем, откачнулась к нему на руки и кашель глухой, хрипящий наполнил комнату, чувствовал, как в груди у ней клекочет и рвется: все, дыхания перевести не могла и кровью харкнула...

Упали на руки ему горячие сгустки темные и задыхаясь, роняла с губ капли теплые.

На постель ее положил...

Бросился бежать к матери...

Заслышала — с лампой навстречу выбежала.

— Что там случилось?.. Что?

— Идите скорей... Идите...

Вбежала — и на простыне, на подушке кровь сгустками...

Без шапки, по улицам спящим, к доктору.

Не догадался даже извозчика взять дремавшего.

Прохожие оглядывались на него удивленные.

Знал только, что поздно, за полночь,— не заметил, как после ужина пробежало время...

С постели стащил... Торопил, умоляя:

— Скорей, доктор... скорей... Умирает... Умирает...

— Кто умирает?..

— Гурнова Лина, Гурнова...

И спокойным от профессии голосом, говорил медленно:

— Что хоть случилось?.. Скажите толком...

— Кровь хлынула, горлом...

— Теперь вижу, у вас на руках даже осталась...

Только теперь увидел и опомнился, в себя пришел...

— Доктор, ради бога, скорее...

— Иду, иду... Не могу же я в ночном белье бежать...

— Скажите, умрет она? Умрет...

— Сегодня — нет... Сосуд порвался... Это всегда бывает... Вы медик?..

— Нет, доктор... Я только принят...

— Ага... Но умереть должна. Теперь, вероятно, скоро...

— А спасти ее нельзя, доктор?..

— Мы бессильны...

— А чудо — может быть?..

— Чудес, молодой человек, не бывает.

— Чудом?.. Понимаете, доктор, чудом?..

И когда в передней одевал шляпу, в жилетный карман пятерку пряча, сказал Борису:

— Вы жених этой девушки?.. Да?..

— Да... доктор.

— Вам я скажу. К августу — все будет кончено.

— А чудом спасти можно?..

— К сожалению, чудес нет...

— Есть, доктор...

Ничего не говоря, только серьезно посмотрел на Бориса, закуривая папиросу.

Вернулся Борис еще раз взглянуть на нее, проститься... глотала маленькими кусочками лед и — когда вошел — взглянула на него печально. Уходить хотел, матери сказала шепотом:

— Мамочка, пусть Боря посидит со мною... Разговаривать я не буду... позволь, мама...

И теперь не могла отказать дочери и тоже сидела до утра в слезах.

Рассветало, сквозь штору свет пробивался ранний... горела лампа на столе непотушенная...

Взяла его руку в свои — холодными, без кровинки бледными, исхудавшими, держала крепко и дремала, закрыв глаза, счастливая, успокоенная.

Не шелохнулся — до утра просидел молча и повторял мысленно: господи, оставь это счастье нам...

III

Через несколько дней встала и кровь точно очистила болезнь тяжкую, сухим кашлем кашляла без мокроты и каждый день повторяла Борису:

— Вот, посмотри, Боря, теперь я поправлюсь скоро, мне стало лучше и не болит ничего. Я знаю отчего это... Сказать тебе?..

— Скажи, милая... отчего?

— А помнишь, как молились мы... Я верю, что он молитву услышал нашу. Я и теперь молюсь, каждый день и за тебя и за себя. Хочу, чтобы он простил тебе. Ты не веришь ему, а он все-таки услышал твою молитву. Теперь ты веришь ему? Молишься?

— Не знаю, Лина, может и верю... вчера я молился.

— Боря?.. Ты молился?.. Ему?..

— Да, молился, Лина... Если он всемогущ — сотворит чудо. Если человек не может сотворить чуда — Он может. Наука бессильна, я — тоже, а если существует Он — и чудо есть. Он сотворит его. Я хочу чуда.

— Хочешь вместе молиться будем, каждый день, вечером...

— Тебя это, Лина, волновать будет.

— Теперь нет... я знаю... Это в первый раз так было и, вероятно, должно было случиться так, чтоб Он услышал нас, это знамение чуда было, — эта кровь — знамение.

И каждый вечер, перед тем, как уходить Борису, молились вместе. На колени становиться трудно было, сидя, обнявшись, при лампаде в тишине ласковой, влюбленные в свое счастье первое.

Отдыхала душа Бориса, когда повторял простые слова души чистой и с молитвой вошла глубоко вера.

Домой возвращался любовью своей счастливый и, смотря на небо, повторял те слова, что только что говорил с Линой.

А дома — становился на колени перед окном, чтоб звезды видны были, и шептал о любви, о счастье своем и просил сохранить для него Лину и тревожное неверие боролось с верою.

— Если ты существуешь?.. Слышишь меня... Я хочу, чтобы ты существовал... Ты должен ее оставить мне. Счастье один раз бывает... Я хочу до конца быть счастливым и только с нею... Сотвори чудо. Разве ты не творил чудес, когда на земле был?.. Разве ты не помнишь дочери вдовы Наинской?.. Ты воскресил ее мертвую,— Лина жива еще,— оставь ее мне живою...

Один раз спросила Лина:

— А у тебя, Борис, тоже горит лампадка, когда ты молишься?

— Нет...

— А как же ты, кому молишься?

— Открою окно, перед окном на колени стану и молюсь... В бесконечности Он. Там, где эти звезды горят... Везде... повсюду...

— Образка нет у тебя Спасителя?..

— Нет, Лина.

— Сделай себе, купи,— с лампадкой так хорошо, тихо...

И образок купил и зажег такую же лампадку зеленоватую перед ним вечером и в первый день боялся, что мать или отец войдут, стыдно станет, а потом привык и просил мать масло ему покупать.

Дни были жаркие, вечера душные и молитвы безгрешные с Линой поцелуями наполнялись горячими.

Иногда днем совсем не кашляла, а ночью душили приступы долгие, откашляться не могла — рвалось в груди с хрипами, а под утро меняла мать простыни и рубашку мокрую, и, ослабевшая, с трудом сидела днем в кресле.

— Детка, не целуйся с Борею... Ты видишь, как плохо тебе ночью бывает, всегда после того, как уйдет он — кашель у тебя начинается.

— Не буду, мамочка...

И все-таки целовала его, обнимала, отпускать не хотела, точно хваталась за его здоровье и силу и в себя хотела вдохнуть с поцелуями.

Ольга Григорьевна просила его:

— Боренька, не целуйте, голубчик, Лину, это так волнует ее, что она по ночам от кашля заходится, каждую минуту кажется, что опять случится, как тот раз было...

— Не буду, Ольга Григорьевна...

— Целовать, Боря, можно... Я не хочу лишать ее этого счастья... Только не надо долго...

Запечалился, загрустил и, придя домой, молился и при лампаде,— не требовательной, а покорной молитва стала его. Молитва верить его научила. И всегда повторял: господи, оставь это счастье нам... Ты можешь...

И еще раз случилось — целую ночь не спала Лина, целую ночь кашляла — мокрота отходила с пленками кровавыми и опять приглашали доктора,— а наутро — не поднялась с постели.

— Скажите, доктор, скажите, хоть какая-нибудь надежда есть?..

— Должен сказать вам, Ольга Григорьевна, правду,— никакой нет.

— Умрет она?.. Да?.. Скоро?..

— От легких уже ничего не осталось... По-моему... через две недели все будет кончено.

Наутро пришел Борис и до вечера простоял на коленях у постели ее, только руки ей целовал, пальцы, ногти белые.

— Плохо мне было сегодня ночью, Боря... Неужели я умру скоро?.. Ведь мне последние дни лучше было...

— Нет, Линочка, нет... ты не умрешь... я не хочу этого... Я молюсь ему... Верю...

Села в подушки и в чепчике белом еще прозрачней стала.

— Как мне волосы надоели, Боря... Я остригусь... Можно?..

— Что ты, Лина, зачем?..

— Они вырастут, еще будут лучше. Поеду на курсы и сразу буду на курсистку похожа стриженную. А волосы я тебе подарю, милый. Помнишь, ты говорил, что они как иней белые?.. Хочешь, подарю тебе?..

Мать позвала, сказала, что остричься хочет.

— Боря мне разрешил, мамочка... Я остригусь... А волосы ему подарю...

А когда парикмахер ушел...

— А ты меня не разлюбишь такую, Боря?..

— Что ты, голубчик, что ты?..

— Так поцелуй меня... крепко, крепко, чтоб я почувствовала, что ты любишь меня и такую.

Еле касаясь губами, прикоснулся к губам холодным один раз и опять на колени стал около.

Посмотрела на него запечаленными глазами...

— Ты сегодня ни разу не поцеловал меня, раньше всегда приходил и помнишь, как целовал крепко... А сегодня не хочешь...

— Вредно тебе, Линочка... Поправишься... тогда...

— Тогда... Тогда... Это мама тебе не велела целовать меня? Она? Да?

Обедали вместе и в сумерках опять молились.

— Боря, исполни одну мою просьбу, милый. Пообещай, что исполнишь?..

— Говори, все исполню...

— Я сколько раз просила маму поехать в Рябинки наши хоть на один день помолиться в церкви нашей... Не пришлось... Тут у нас в городе тоже есть одна церковь, Успенская,— на деревенскую нашу похожа... Не знаю почему мы были в ней с мамой... Давно, давно когда-то... Сама я не могу пойти... Сходи ты, Боря, помолись там, и я буду с тобой молиться, и просфору вынь, а на записочке напиши: о здравии жениха и невесты — рабов Бориса и Елены. Напишешь так? Да?.. Ведь, правда, я невеста твоя?.. Да?..

— Да, Лина, да... Я в церкви не помню когда был, а завтра пойду и помолюсь за тебя... К ранней пойду, а к чаю просфору тебе принесу.

Чуть стемнело — Ольга Григорьевна принесла лампу...

— Линочка, ляг, милая... Посмотри, какая ты утомленная...

— Только ты, мама, разреши Боре поцеловать меня, тогда лягу... Пусть он при тебе меня поцелует, как невесту. Ведь он мой жених, мама... Правда, Боря? Можно при тебе, мамочка?.. Один разочек...

Руками за голову его обвила из всей силы и не хотела пустить, шептала, лукаво и радостно улыбаясь матери:

— Еще, Боря, еще хочу... мама позволила...

А потом, повеселевшая, сказала матери:

— Я, мамочка, только один разик... Я теперь при тебе его целовать буду. При тебе — можно. Какая я, мама, счастливая...

В передней Ольга Григорьевна шептала Борису:

— Ночью сегодня пришлось доктора звать, было так плохо... Сказал, что только две недели проживет Линочка...

И заплакала...

— Бедные вы мои, детки... Ей так хочется жить... В первый раз она сегодня сказала, что твоя невеста...

И отчаянье и надежда боролись в душе Бориса, и чем сильнее отчаянье охватывало, тем горячее молился, не замечал, как по часу простаивал перед иконою.

Утром встал, когда слабыми голосами будничные колокола звонили к ранней, записку написал, как просила, и, когда писал — невесту, почувствовал, что и правда, теперь невеста, поцеловал при матери; раньше и не думалось, что она невестой ему может быть, любил и не думал об этом, а теперь, когда сказала ему сама, что невеста, еще стала ближе.

Всю обедню молился, знал, что и она, невеста его, молится, и чтоб никто не видал — в дальний угол забился за плащаницу, поставленную в приделе до надобности.

Вечером от Лины домой вернулся, спросила мать:

— Куда ты, Боря, сегодня так рано ходил?..

— К ранней обедне...

— Ты в церкви был?..

— Лина просила...

А потом с тяжелой тревогой сказал матери:

— Вчера ей опять плохо было... Доктор сказал, что всего только проживет две недели...

И обманывая самого себя:

— Она говорит — ей лучше... Я все-таки верю в чудо... Я не могу сотворить чуда... я грешный... я человек... А Он может... Я верю этому. В последнюю минуту его сотворит.

— Я рада, что ты молишься за нее... Ее не будет — веру тебе свою оставит в бога... Ты неверующий был, ничего не хотел признавать... А бог тебе послал испытание — любовь дал, счастье, а когда ты вернулся к нему, пришел — он берет у тебя твою Линочку. За неверие твое тебя наказывает... Испытание посылает...

— Ведь она, мама, невеста моя...

— Невестой и к себе берет, чтобы только там соединить вас... высшее дать блаженство... И тут его воля...

Последние дни иногда оставался ночевать у Гурновых, в гостиной спал на диване.— Ольга Григорьевна, как жениху, ему разрешила. Просыпался, прислушивался, слышал, как не может остановиться от кашля, и когда затихала — молился в душе, все еще веря, что в последнюю минуту сотворит господь чудо и, вспоминая слова своей матери, думал, что, может быть, правда за неверие его бог карает, испытание ему посылает земное, чтоб на небе дать блаженство высшее.

И перед смертью за день, когда, как всегда, молились шепотом вместе, сказала ему примиренно Лина:

— Завтра я умру, Боря...

— Не умрешь, Линочка, нет... Ты ведь моя невеста...

— Я чувствую, что умру... умру, милый, завтра. Ты не бойся... Я и там о тебе буду думать. И там невестой тебя ожидать буду. А когда ты придешь туда — встречу тебя и поведу к богу, скажу ему: он верит теперь в тебя, господи, прости ему, позволь ему быть здесь со мною...

Задумалась не о земном счастье, а о небесном, а потом, еле слышно, сказала шепотом:

— Сядь ко мне на постель, милый... Вот так... Ты теперь веришь в него?

— Верю.

И опять подумала...

— Обними меня, Боря... Поцелуй еще один раз без мамы... в последний раз поцелуй живую... Не бойся... Сегодня со мной ничего не случится, я это знаю. Поцелуй крепко, крепко...

Обняла, и бессильные руки ему показались тяжелыми и только чувствовал, как напрягаются слабые пальцы прижать голову, и сам боялся обнять ее крепко.

Не отпускала губы от своих холодных...

— Еще, милый, еще, еще... В последний раз... Без мамы...

Чувствовал, как дышать тяжело ей, и слышал, как звенит гулко в груди струна лопнувшая.

А потом, счастливая, сияя голубыми глазами, радостно:

— Хочешь, Боря, я к тебе приходить буду?.. Ты веришь в загробную жизнь?

— Не знаю, Лина... Никогда не думал об этом...

— А хотел бы ты, чтоб я к тебе пришла?..

— Хотел бы, милая...

— Я приду к тебе... Обязательно... Ты меня жди, Боря... я приду и поцелую тебя, чтоб ты знал, что я и там люблю тебя и жду... Будешь ждать меня?.. Да?

— Буду, всю жизнь буду...

— А теперь, Боря, поцелуй меня еще раз, в самый последний... Завтра уж не будешь меня целовать... завтра я умру, милый... Знаешь, я не боюсь умереть, мне не страшно, жалко только тебя оставлять одного... Я умирать буду счастливая от твоей любви... Я ведь твоя невеста и там буду ею... вечно... а это самое большое счастье невестой быть вечно. Я сама знаю, что я самая счастливая девушка и мне не смерти страшно, а своего счастья, милый. Ну, а

теперь поцелуй меня, Боря, еще один раз поцелуй — последний и иди домой. Подожди... Я хочу тебя перекрестить, милый, и ты меня перекрести — хорошо? А потом, еще раз поцелуй меня живую, в последний раз...

Перекрестили друг друга... Сдерживая слезы, нахлынувшие комком к горлу, и не думая, что больно сделает, ни о чем не думая, точно вырвать хотел ее из могилы, обнял крепко и целовал в губы не отрываясь и опять чувствовал, как селятся ее пальцы прижать голову, и, когда сил больше не стало у ней, откинулась на подушки, шепнув ему:

— Я приду к тебе, Боря... Жди...

И когда не хотел из комнаты уходить, точно чувствовал, что в последний раз живую видит, в последний раз поцеловал невесту,— махнула рукой ему, улыбнулась радостно и сказала:

— Иди, милый,— иди, я приду...

Передалось и ему чувство приближавшейся смерти, домой шел как во сне и чуда не ждал,— поверил, что послано ему испытание не только за неверие, а наказал его бог еще и за то, что первое слово о любви пришел сказать не любя любившей, хотел сотворить чудо последней своей фантазией.

Ночью просыпался несколько раз тревожно и ждал чего-то и, засыпая, повторял — иди, милый, иди, я приду, и видел глаза ее синие.

А когда к ранней звонить начали, проснулся от резкого звонка в передней, в голове пронеслось — умерла, выбежал отворить — от Гурновых горничная...

— Умерла?.. Да?..

— Нет еще... просит вас поскорей, прийти...

Ночью опять зашлась кашлем и целый час передохнуть не могла, мокротой задыхалась с кровяными пленками, и, только когда рассветать стало, успокоилась, попросила посадить в подушки и сказала матери:

— Мамочка, пошли за Борею... Я умираю...

— Что ты, детка, что ты?..

— Пошли, мама...

И когда издалека зазвонили к ранней, сказала:

— Как в Рябинках у нас звонят... Правда?..

Слушала и ждала Бориса...

— Отвори окно, мамочка... Я послушаю.

И на звонок в передней:

— А вот и Боря пришел.

Ольга Григорьевна Бориса встретила:

— Не могу я, Боренька... Сил нет больше... Иди к ней... Я тут буду... Не могу... Не выдержу...

Подошел, хотел сказать что-то,— остановила его и чуть слышно сказала шепотом:

— Не говори... сядь...

Указала глазами подле себя на постели...

— Умираю, Боря...

И, боясь пошевелиться, нарушить ровное замирание затихавшего сердца, опять — одними губами:

— Дай руки...

И стала смотреть не моргая, останавливающимися глазами куда-то поверх головы его, в пространство; чувствовал в своих тяжело лежавшие руки, холодные и сухие, и тоже боялся нарушить тишину смертную и видел, как стекленели глаза синие, и только в последнюю минуту, в последнее мгновение показалось ему, что по всему лицу улыбка пробежала счастливая, может быть в последнее мгновение промелькнуло сознание,— показалось, что даже шевельнулись губы и даже послышалось:

— Милый...

Может быть, и еще что хотели шепнуть бескровные губы и не успели — покачнулась голова, падая на плечо.

IV

Без слез проводил на кладбище, дождался пока не сравнили с землей могилу и вернулся домой, на поминки не пошел с матерью. И целые дни не выходил из комнаты, по вечерам только просиживал у могилы на кладбище — ожидал, что придет к нему, поцелует, и вся жизнь в ожидание превратилась, мучительно напряженное. По ночам также молился и ждал, а когда просыпался ночью — в темноту вглядывался, ждал, что в фате с венком миртовым, как в гробу лежала, появится невеста его, прозрачная в чистоте девичьей, неосязаемая в непорочности и положит руки ему на сердце, чтоб не знало оно времени, наклонится к подушке целовать жениха, чтоб душу вынуть его и показать ей обиталище неземное, где несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

В молитвах просил бога простить ему неверие и разрешить прийти его невесте. По имени ее не называл, а всегда говорил одно только слово — невеста...

Мысли мелькали — уйти от мира, в тишину обители и там ожидать и ее и своей смерти и только случайный разговор с отцом толкнул на иной путь.

Следили за каждым шагом родители и — когда вечером приходил с кладбища — пили чай вместе. Боялись прикоснуться к больной ране — не спрашивали, не тревожили, — отец молча сидел с газетою, а мать бичевала себя, глотая слезы, за то, что сама толкнула единственного на страдание, зная наверное, что любовь не могла сотворить чуда, воскресить обреченную.

Как бы случайно отец бросил:

— Так, значит, скоро в Питер ехать?..

В первый раз вспомнил, что и уведомление получил из института и деньги посланы и что, действительно, надо решить, что делать — отшельником быть или в миру одиночество хранить до смерти.

Ни к кому не обращаясь, продолжал отец:

— Самое хорошее время в жизни, никогда не забуду первый год своего студенчества. Новый мир мне открылся, когда слушал первые лекции... Всего захватывало... Казалось, что и сам бы взошел на кафедру. Сотни глаз тебя пожирают, каждое слово ловят, как истину.

Решая про себя, что делать, сказал отцу:

— Я бы тоже теперь хотел быть ученым, профессором...

Мать и отец ухватились сразу:

— Я бы, Боренька, рада была видеть тебя ученым...

Подказала ему:

— Ученые — как затворники, не от мира сего.

Отец продолжил:

— Один раз мне пришлось, не помню почему, на дому у профессора сдавать предмет, — кажется, болен был... Громко говорить боялся, боялся нарушить тишину кабинета, на каждый листок на столе письменном с благоговением смотрел. Как сейчас помню, — одно окно, стол письменный, черный диван кожаный и стен не было — сплошь книги и только на столе недопитый стакан крепкого чаю, исписанные листки и фотография какой-то девушки. Понимаешь, Борис, уходить не хотелось...

Нарисовал будущий кабинет Бориса, а когда он ушел к себе в комнату, Анна Евграфовна сказала мужу:

— Как ты, Вася, хорошо сумел подойти к нему...

— Подумает и решит ехать...

— Правда, Вася, если даже другой девушки никогда не встретит, то все-таки не в монастыре будет, а у него должно быть была эта мысль...

И опять ждал Лину, что придет, путь жизненный укажет ему, и думал о словах отца, и в первый раз уснул, не просыпаясь до утра, а за чаем сказал:

— Я тоже, папа, хочу быть ученым...

Последние дни проводил на кладбище. Углубленный в себя, не замечал никого, и когда по застенной дорожке шел днем от могилы к воротам, окликнула его девушка,— даже вздрогнул:

— Здравствуйте, Боря...

С гражданским студентом шла, с тем, что еще в вагоне на Рождество ехала.

— Я не узнал вас, Феня... простите...

— Я слышала, Боря, знаю... Знаю, как тяжело вам... Что делать?..

И студент повидался, молча пожав сочувственно руку.

Не знал, что сказать, что сделать, как виноватый смотрел на Феню.

— Я только повидаться хотела с вами, Боря...

Потом сзади до него донеслось:

— Ты не можешь себе представить, какой он оригинальный...
Никогда еще не встречала такого...

Повернули на глухую дорожку в зарослях скамейки искать, чтобы дотемна целоваться среди тишины кладбищенской.

С того вечера не могла забыть Смолянинова, и до сих пор еще обидно было, что даже вместе с ней на вечеринку не поехал к ним. И про звезду Вифлеемскую с поклонявшимися волхвами не могла забыть. Раза два зимой встретила, озабоченный прошел, не заметил.

Приехала на Рождество домой и осталась дома до осени — дядюшка не пустил, Кирилл Кириллыч, в смутное время в столице жить.

— Если б у тебя благоразумие было, а то одни раз под нагайку попала — не пущу, пережди эту зиму, а там куда хочешь.

А дома на вечеринке, пронесаясь через весь город в пустых санях с бубенцами дикими, от досады нервничала капризно.

За ужином и себе и студентам наливала крепкого, а после в своей комнате сказала приятельнице — Журавлевой Вале, в последние дни по Питеру вместе бегали и сдружились:

— Целоваться, Валька, мне хочется... Ты думаешь оттого, что выпила — ни капельки... с досады... Сама за ним ездила... Упрямый какой-то...

— Конем не объедешь... Я тебе по секрету скажу... Про него говорят, ни одной не целовал девушки...

— Пойди хоть тебя обниму, Валька...

Захмелевшая целовала подругу в завитки ниже уха щекотно и шептала:

— А ты целовалась, Валька, с кем-нибудь?..

— Надоело уж...

— А больше у тебя ни с кем ничего не было?..

— В седьмом классе еще с кадетом было, а с тех пор одни поцелуи только.

— Так мы с тобой тезки, значит...

— А у тебя с кем было?..

— Было... секрет... А вот сейчас опять целоваться хочу... Понимаешь как?.. с Смоляниновым...

Не пустили в Питер подруженек — стали вместе вечера коротать зимние.

Придут с Московской с гулянья — гадать сядут...

— Гадать не о ком... Слякоть тут, Валька. Гимназисты с реалистами осточертели уж... Им бы целоваться только...

— А ты слышала?.. Ивина мне говорила... Кружок тут есть... Там и гимназистки, и реалисты, и гимназисты, и гусары бывают... По вечерам собираются.

И рассказала подружке, что на Нижних улицах, за казармами, почти в слободе, квартира у акушерки нанята для собраний тайных и нанимал «маленький» гусар Игrevич, и обстановка у них особая: широкие скамейки вокруг стола, а на стол подают любовный напиток в широких мисках и напиток этот варят у самой акушерки, при ее участии, господа гусары: для посвященных — круговой, застольный с коньяком, с ликерами, для вступающих — с травами, с корешками пьяными и подают новенькой в бокале серебряном. А перед тем как носить любовный напиток на стол — огонь тушат и зажигают синий — жженку палят гимназисты с гусарами, всю ночь огонек этот блуждает по столу огнем путеводным. Из мисок же черпают ложками, как причастие, пока на скамейке не спарятся, — очнутся, отодвинутся и опять, пока не заснут в объятьях до утра. А места не хватит — на полу вповалку кого только пьяные губы в темноте отыщут. Бывает так, что и в один вечер не с одним, а с разными, кто кого схватит, уснет, и не знают, с кем даже были собственно. А если забеременеет какая — акушерка от всего избавит. Гимназисты даже пятиклассниц приводить ухитрялись, девочек, и всегда они почему-то гусарами посвящаются в члены общества. Любовь общая и касса общая: с

каждого взнос ежемесячный по целковому, а что стоит напиток с акушеркою — гусарам ведомо. Гимназисты даже сходку устраивали, товарищей в глаза обличали, а все впустую. Весь город знает, и сделать ничего не могут. Один раз послал родительский комитет надзирателя из гимназии, а к нему навстречу Игrevич вышел:

— Вам,— говорит,— что угодно?

— Тут,— говорят,— учащаяся молодежь присутствует.

— Ничего подобного, тут господа офицеры с дамами,— можете не беспокоиться.

Тому и сказать нечего — от ворот поворот, не солоно хлебавши. Жандармскому донос, что тайное общество у акушерки на Нижних,— сам ротмистр пошел с жандармами и опять навстречу гусар «маленький».

— Чем, господин ротмистр, служить могу?

— У вас, корнет, говорят, тайное политическое общество тут,— имею поручение лично удостовериться.

Гусар его под руку и интимно:

— Ничего подобного: просто наши гусары с девочками тут забавляются от скуки.

— А все-таки я удостовериться должен лично.

— Очень приятно, рады вам будем, как гостю,— только, пожалуйста, господин ротмистр, прикажите своим людям уйти в правление.

И ротмистр до утра загостился,— действительным членом приняли и пообещали невинную пятиклассницу для него найти специально.

Так и сделать ничего не могли ни родители, ни блюстители, пока гусарам не надоело транжирить деньги, а как сами гимназисты остались одни — разбежались от них к весне возлюбленные, на сухую с казенкою не понравилось, да и акушерка заявила, что без гусаров в квартире своей собираться не позволит больше и помощи никакой не будет оказывать.

По секрету и рассказала Журавлева Фсничке.

— А ты и не знала?..

— Ей богу, Валичка, не знала...

И разгорелись у Фенички глаза любопытные.

Подружку свою провожала опять с поцелуями пьяными, за ушком целовала с шепотом:

— Валичка, целоваться хочется.

— Мне тоже...



Целую ночь промечтала о грехе смертном, обнимая подушку вместо Бориса Смолянинова. О нем вспомнила, когда про тайное общество думала. С ним себя в объятьях представляла грешных от напитка любовного.

На другой день опять Журавлева прибежала гулять за Феничкой.

Дорогою таинственно:

— Хочешь познакомиться с одним гимназистом?.. Ивина мне сказала, что он тоже там...

До семи на Московской про любовь свободную говорили, спорили.

У гимназиста и философия особая по этому поводу была:

— Почему человек должен вечно одну любить? — душа свободна, ей одного человека мало, а свободная любовь познает многих...

А под конец и договорился:

— Разве человек не такой же зверь, только разумный,— но звериное в нем до сих пор живет, иначе ему не хотелось бы размножаться. А если человек животное, да еще разумное, то почему он должен с одной только жить? — это всем законам природы противоречит.

На другой вечер и приятеля с собою привел, и пошли по темным улицам на скамеечку целоваться, а потом, как тайну, поверили про общество и с собой привели на Нижние,— гордились, что не с гимназистками пришли, а с курсистками. Игrevич с приятелем посвящали в таинство и в трезвом виде еще домой проводили поздно вечером, а возвращались обратно — на Нижней встретились и захохотали:

— Нарвались мы с тобой... я думал — девочки?..

— А я б женился на Гракиной, ей-богу... Самая богатая невеста в городе.

Сам Игrevич посоветовал ей не ходить в общество, чтоб дядюшка не узнал, Кирилл Кириллыч, а закрутил с ней любовь на частной квартирке, а когда ее начало тошнить — предложение сделал и просил познакомить с дядюшкой. В театре с ним познакомился. А Феничка в тот же вечер и спросила дядю Кирюшу:

— Дядя Кирюша, Игrevич мне предложение делал...

— Что?.. Когда ж он успел это?..

— И с вами из-за меня познакомился.

— Ну, так скажи ему, что твои деньги не для того, чтобы прокутить с любовницами...

Не плакала, не волновалась, а попросила у дядюшки денег и сходила к той самой акушерке на Нижние, что помощь оказывала членам общества. Та успокоила Феничку и денег не хотела брать, а

дома за труды — не отказалась. Всего с утра и прожила у ней до вечера, а вернулась домой — головные боли появились для виду и в голову никому не пришло, что за болезнь такая,— втихомолочку отлежалась.

Журавлева пришла провести...

— А ну их к черту, я тоже сбежала! — разврат один...

Весною опять потянуло Феничку смутное. Из любопытства зимою пошла на Нижние и целоваться-то хотелось очень — пустота после Питера потянула к греху смертному и пустота-то образовалась после того, как с Петровским кончила: еще в вагоне целовалась взасос оттого, что в душе было пусто, и хотелось про все позабыть, лишь бы хоть на минуту голова пошла кругом. И с Игrevичем просто кончила, — знала, что никакой любви нет к нему, и сразу, как сказал дядюшка, рассказал про корнета — ножом отрезало. Письма писал ей о любви беспредельной на батистовой бумаге надушенной, к небывалому счастью звал, манил благородным обществом — ничего не помогло, ни строчки ему не ответила, заперлась дома.

А весна подошла — опять захотелось окунуться в омут от пустоты смертной.

Вернулись студенты — на бульвар пошла с Журавлевой слушать музыку и опять того самого студента встретила, что в вагоне се целовал. Может, от скуки и подошел к ней. Пошел провожать вечером и вспомнил свои права вагонные и поцеловал опять Феничку. А потом точно поняли, что им нужно друг от друга весною, и про любовь говорили с неделю и целовались на лавочках по темным улицам, а потом — пошли вместо бульвара вечером в рощу за город и вернулись утомленные к полночи...

И тошноты не боялась, помнила совет еще той акушерки с Нижних: хину принимать перед месячными в теплой ванне.

Целое лето гуляла с ним: в роще бывала и на лодке каталась и на кладбище соловьев слушала — надоедать даже стало,— прискучило.

И опять Смолянинова встретила.

От Журавлевой и про него узнала. Вся молодежь восторженно говорила о его любви к Гурновой. И захотелось опять с ним встретиться. Забыть не могла того вечера на балу студенческом, когда рассказал ей про звезду Вифлеемскую, и захотелось Феничке, чтоб поклонился ей как волхв евангельский. С студентом своим гражданским рассеянной стала и только тянула гулять на кладбище и, проходя мимо могилы Лениной, видела, как сидит склонившись на руки. А потом и на свидания перестала ходить к студенту,— так и

роман летний кончился — без слез, без упреков, а поняли, что прошла весна — успокоиться пришло время к осени, пора пришла улетать в столицы на зиму.

Осень пришла, и тоска после омута проснулась в душе Фениной. Захотелось хоть чем-нибудь пустоту заполнить и заполнила ее мечтой фантастической о Смолянинове.

На вокзале уезжала, будто в шутку сказала дядюшке:

— Дядя Кирюша,— в этом году я жениха себе найду в Питере.

— На свадьбе буду гулять...

Решила во что бы то ни стало за Смолянинова выйти замуж, очиститься его чистотой и начать жизнь новую, чтоб хоть кто-нибудь наполнил ее счастьем утраченным.

V

У каждого человека своя фантазия и у каждого — своя жизнь и жизнь как фантазия, кто волеет в нее свою волю, кто сумеет марионетки переставить вовремя красочней, у того и жизнь наполнена, и чем больше найдет душа персонажей для своей фантазии, тем больше она будет страдать и мучиться и любить и сумасшествовать в недостижимой фантазии: каждый миг рождает иную радость, каждый взгляд по-иному преломляет в себе видимое и рождает новое чувство, и никогда человек не сможет завершить своей фантазии и сказать — теперь кончено, дальше ничего нет, только смерть обрывает фантазию человека — жизнь. И если, оставаясь наедине с собой, человек мучится и страдает и любит и сумасшествует, и каждый порыв рожден душою, то и падение в омут и восхождение к совершенству нужны для человека — без них неполна фантазия — и человек нецелен.

А тот, кто творит свою жизнь-фантазию, отдаваясь ей до конца, не заглядывая ни назад, ни вперед, и стремительно несется дальше, переживая каждый миг всей полнотой существа тленного, тот сменяет тоску — радостью, любовь — падением, фанатизм — кощунством, ненависть — страстью, счастье — отчаяньем, и полна его жизнь, ярка фантазия.

Жизнь — ни прошлое, ни будущее, а сегодняшний день, им наполнена душа ясная, и чем полнее живет человек сегодняшним, тем душа полнее и жизнь — фантазия.

От Петровского в занос снежный, от Игrevича с Нижних улиц к студенту института гражданских инженеров за город в рощу и от

Николки-инока к невинности Смолянинова, и каждый раз фантазия и с головой в нее — только жить,— пусть и мучиться, и любить, и в омут падать, и радость сменять отчаянием, и крик, разрывающий тело выкидыш — поцелуями, и тоску слезную — звериной радостью, но только сегодня — ни будущего, ни прошлого,— прошлое — для сегодня, а сегодня — для будущего.

Очиститься невинностью, чистотой телесной, чтоб сгорело в душе смрадное.

В рыцарских замках, болезнь с востока, невинностью девушки очищалась кровью — фантазия.

Очищение души смрадной с невинным юношей — жизнь.

И жизнь и фантазия — невинностью очищение.

Женщину творят в девушке ночи брачные, и женщина в юноше — волю сильную жизни.

Нevinность — в фантазии, а жизнь — в невинности.

Вагон, гремющий на стрелках, и стрелочники и проводники вагонные — жизнь, а в вагонах — фантазия: на один час, на один день и встреча, и расставание, и любовь, и ненависть.

И опять встреча — друг против друга в плацкартном Феничка с Смоляниновым.

Влюблявший фантазиями девушек и женщина, творящая жизнь фантазией.

Замкнулся в себе печалью, мукою, ожиданием и передал инстинкту женскому ожидание, муку, печаль свою.

Чувствовала — прикасаться нельзя к незажитому, самой заболеть — тогда только войти в душу можно.

Не о любви, не о невесте, не о душе мятущейся, а о простом, о будничном.

Повидались и сели по своим углам молча.

Сходила за кипятком на станции, натирушки достала, коржики, домашность всякую.

— Боря, хотите чаю?..

И погруженный в себя, увидав машинально стакан налитый, к себе придвинул.

— Спасибо, Феня.

За Москвой, вечером — вместе ужинали.

— Вы где, Боря, жить думаете?.. Если против моей комнаты не занято будет... хорошая, светлая... Хотите, Боря?..

— Хорошо. Мне все равно... Я согласен.

До самого Питера молча.

На одном извозчике на Малую Спасскую, и тоже молча.

— Значит соседи будем?

С утра на лекции, а до позднего вечера за книгами. Прогулка — покупать книги,— мечтал о кабинете, где кроме книг и стола и дивана черного — ничего не будет. Книгу приносил домой, как возлюбленную, разрезал бережно и с отметками на полях на этажерку клал.

Следила за ним, ждала в коридоре встретиться вечером будто случайно — аккуратно приходил в шесть.

Безразлично видаясь, уходил в комнату и запирался на ключ работать.

И по-прежнему молился и ждал невестой в фате Лину, а когда занимался — отдыхал, взглядывая на ее карточку.

Через день Журавлева бегала к Феничке и всегда из студентов с кем-нибудь.

Спрашивала:

— Не влюбилась еще в затворника?

До установленного хозяйкой часа — до десяти — колобродили, чай пили, кокетничали.

По вечерам в субботы — гостей принимала: Журавлеву и Ивину со студентами. И опять о пустяках спорили, пили чай — с печеньем, конфетами и с закуской, потом пели песни и расходились в двенадцатом.

А Борис по субботам — в Казанской ко всеобщей и чтоб гаму не слышать — возвращался домой пешком, медленно,— приходил в двенадцатом.

На улицах — ни родных, ни знакомых, ни близких — все чужие, если и взглянет кто — через секунду забудет тут же,— спокойно: и ото всеобщей любил возвращаться и ходить по магазинам за книгами.

По праздникам утром — к Нерукотворному.

Мучило иногда только: хорошо ли сделал, что поехал учиться и не ушел в обитель тихую, и только за книгами забывал про это.

Жизнь — фантазия, творит с человеком неожиданное.

С гололедками началась зима ранняя, наводнением дуло с моря, захлестывая лицо ледяной крупой.

От Казанской в летнем шел через Марсово — до костей прохватывало, нарочно и пошел путем дальним, чтоб не слышать у Фенички гаму субботнего, и в двенадцатом подломила ногу у самого дома — вышиб правую руку и навихнул ногу. До крыльца дополз и ни с места — на порошках сел. Феничкины гости наткнулись и внесли наверх.

Доктора привезли...

— В больницу надо... Нога пустяки, а руку — в лубок придется.

— Не хочу, доктор, в больницу. Разрешите тут.

— Если имеете средства — и тут можно, придется только нанять кого-нибудь вам в помощь...

— Я ему помогу, он — земляк мой...

Остальные повторили хором:

— Мы, доктор, поможем.

— Тогда, конечно, и дома остаться можно.

И сама жизнь дала Феничкиной фантазии раздолье.

Заботливо в постель уложила и до утра не ушла — просидела около. Ждала, что очнется утром, а наутро огнем-полымем загорелось тело, заметался в постели — сдерживала, чтоб руку не сбил с лубка, и чувствовала, что близкий лежит, ближе никогда и никого не было. Днем Журавлева пришла, сменила Феню.

Хотела в шутку сказать:

— Повезло тебе, Феня...

— Замолчи, Валька... Стыдно. Ты думаешь, что я и в самом деле такая?..

— Влюбишься... Влюблена ведь?

— Если б знала, что не тоска у него, а чудачество — влюбилась бы и голову б закружить сумела... До сих пор ее любит и мертвую, как живую... Такого, Валька, полюбить можно, а влюбиться?.. Нет, полюбить, и так, чтоб навсегда. Про всех и про все позабыла бы, жизнь начала б по-новому.

Две подружки — души смутные... Одна днем, другая — от сна и до сна просиживали.

И захотелось Феничке любви ясной, — ночами подле него сидела.

Одну только ночь бредил: здоровую руку перед собой протягивал и, глаза открыв широко, невесту звал:

— Ты придешь?.. Вот она... Тут. Со мною... Поцелуй... один раз только. Как тогда... в последний раз... крепко, крепко...

Чужие поцелуи взяла радостно, от полымя в горячие губы целовала долго. Ответил ей в забвенье поцелуями. Как самая нежная целовала кротостью и задремала с думами, на его груди склонившись, чтоб не мог пошевелинуться, но дрема была чуткая — каждый вздох чувствовала, как сердце толчками кровь гонит — слушала и думала, что не ее целовал, а близкую и умершую, знала, что обманула душу чистую, и обманывала, чтоб чужим поцелуем к душе приблизиться. И все-таки была счастлива, что ее, ее первую поцеловал, забывшись. О той, что умерла — не думала, будто никогда и на земле она не жила,

а была только мечтой его бестелесною. Оттого и бестелесною, что не могла целовать его от томления тела смутного, когда и душа скована одним желанием тела, а как причастница жизни вечной — непорочное сердце раскрывала, отдавая душу чистую. Думала, что никто не отдал ему еще в поцелуе всего существа своего нераздельно, и он никого еще не почувствовал желанием греха смертного. Оттого и считала, что ее первую поцеловал — первая целовала его, прошедшая пути смрадного, и счастливая была чистотой жениха безбрачного. И не мутная кровь всколыхнула поцелуй ее, а глубина души, сходявшая в омут падения и взлетевшая к чистоте, к очищению невинностью.

Дремала и просыпалась поминутно, всматривалась, в каждом движении хотела уловить желание и когда шевелил сухими губами, поила ложечкой, бережной ласкою поднимая голову.

И опять забывался и бредил и руку протягивал, и опять долго и тихо целовал в губы и видела, как появляется на лице улыбка блаженная.

Потом всю жизнь помнила поцелуи эти, один раз в жизни целовала безгрешной ласкою.

От бессонницы глаза ушли в глубину — загорелись огнем ярким.

В сознание пришел — глаза встретил серые...

— Почему вы здесь?..

— Не смейте двигаться, Боря...

Вспомнил, как поскользнулся, упал, руку вывихнул, и как принесли, и доктора вспомнил, и слова Фенины, что поможет ему, и принял с покорностью.

— Ничего, Боря — вы не стесняйтесь меня, сейчас я вам — сестра ваша, от сестры бы приняли помощь... От сестры милосердия тоже?.. Да?

Один, в себе замкнутый — ни товарищей, ни друзей. С застенчивой благодарностью протянул руку левую.

— Спасибо вам...

Сестрой ему стала,— не видела тела, белье сменяя, не чувствовала волнения тревожного, когда помогала подняться, обеими руками обхватывая, и только тепло согревалась душа, близостью непорочного.

Журавлевой сказала, что одна справится, не хотела, чтоб даже самый друг близкий прикасался к ней словами праздными, и ревниво оберегала на мгновение жизнь затихшую. Ни о чем не спрашивала, к заболевшему в нем не касалась и только хотела, чтоб сам заглянул в душу. И первые вечера сидела молча, даже не взглядывала на него и

все время вспоминала поцелуи, в бреду взятые — со дна, с глубины души выпали ей они; может, только в самой глубине и жило еще ясное,— придавила его Николкина жадность беспутная, на Васильевском зародыш его залила кровью черною и загасил его обидою пытки ревнивой Никодим Петровский, и смешалось все это и с поцелуями, и с гусарским причастием Игrevича, и с хиною, после студенческих ласк, в вагонах выпитой, а когда прикоснулась к цельному — ясное пронизало все пережитое и зажгло своим светом в душе любовь пожирающую. Счастьем с Николкой бредила — замучена,— душу хотела отдать Никодиму в рабство — в пропасть брошена; хотела себя заласкать телом пьяным — жизнь не дала фантастическим,— от чужих поцелуев очищение приняла, и сгорело прошлое, навсегда сгорело, и почувствовала, что покается непорочному обнаженной душа человеческая, дойдя до безумия, лишь бы спасти последнее и единственное — жизнь свою.

Принесла книгу новую.

— Я книгу принесла, читать вам буду. Василия Фивейского. Хотите, Боря?

И начала...

Вырвалось у него:

— Бог только чудеса творит, а за неверие — карает нас. И тут покарал бог.

— Василия Фивейского?..

— Да, его, Феня...

Лоб сжал рукой здоровою, и тень горечи по лицу пробежала.

— Помогите подняться мне...

Почувствовала, что к чему-то прикоснулась мучительному, больному,— уловила инстинктом в голосе и к надрезу горячему прильнула, чтоб всю муку обнажить разом.

Приподняла и задержала руки.

— Боря, голубчик, милый...

Сказала душа Фенина, заглянула в душу.

— И меня покарал бог...

— За что?.. Боря?..

Любовь потаенною осталась в сердце, а душа распахнулась от горечи на один миг, почувствовав голос из глубины горящей, и опять замкнулась.

— Я разумом поверил в чудо, не веря требовал от господа его, а когда он призвал мою душу к себе,— понял, что я только его творение в его воле карающей, смертный. Вот и теперь он меня покарал.

— За что, Боря,— за что?..

— Профессором хочу быть... ученым... А он покарал — лежу вот.

— А что было сделать нужно?.. Что?..

— В монастырь уйти.

И закрылась душа, сказал спокойно:

— Это все не то, Феня; не то, чего хочется, чего человеку нужно... Хорошая вещь, сильная. Купите мне ее.

— Зачем же в монастырь идти?.. Зачем?.. Там...

Вспомнила пустынь, и не только Николка, а вся жизнь ее содрогнулась.

Задумались... Молчали...

И ответом на все:

— Я сегодня один обойдусь... идите спать, Феня. Спасибо вам... Измучил я вас за эти дни.

— Хорошо. Я пойду, Боря. Спите.

Заснуть не могли, продумали о бренном житии в обители тихой.

Вспомнила Феничка и Николку, и лизоблюдство монашеское, и поглаживание сладострастное мантиейными купчих богомольных, и еще острее встало прошлое; забывала, когда жила настоящим днем, а когда сказал, что уйдет в монастырь, в обитель тихую, где за стенами белыми содом мужеложства и бесовское радение во имя святых отец Онана со братией — закричать хотелось, чтоб Боря услышал, как в лесу иноки растлевают девушек во спасение души православной и во славу обители старца и схимонаха Симеона пустытника Бело-Бережного.

А Борис молился до глубокой полуночи и, как сон, вспоминал бред ночной,— показалось, что она приходила, невеста вечная, только не мог ее видеть, а чувствовал, что приходила, в сознании где-то глубоко было, что непорочная была незримою, и не понимал, отчего, когда губы сжимал плотнее, точно поцелуи на них дремали жаркие, чувствовал их, не знал чьи, казалось, что она его целовала, незримая, может и увидал бы, если б в сознании был полным, и не только обманное ощущение на губах ощущал, а чувствовал бы прикосновение лепестков алых и в глаза заглянул ей синие и сказала бы ему, что, может, затем и приходила, чтоб сказать, указать путь новый. И решил, что была, как ангел, послана отвратить его от пути ложного и направить на путь истинный — затвориться звала в обитель тихую.

Как испытание принял помощь Фенину; даже мелькнуло, что искушение ему послано, она же, она испытать его душу хочет. И замкнулся в себя еще глубже, только внешне общительней стал, не

чуждался, когда помогала белье сменить, кормила заботливо и вечерами просиживала с книжкой.

Каждый вечер хотела ему рассказать про монастырь мужской и не могла, чувствовала, что не хватит сил до конца всю правду сказать о себе.

Привыкла читать ему, и он слушал и рад был, что говорить не придется.

И один раз — не выдержала,— читала и про него думала:

— Я об вас, Боря, все дни думаю... Не могу позабыть ваши слова — в монастырь уйти. Зачем, Боря?.. Зачем? Ну, вот слушайте... Я девушкой была там, совсем еще девчонкой... Если б вы этих монахов видели?.. Теперь для меня стало все понятно,— опытом поняла... Вы думаете, у меня жизнь маленькая?.. Я двадцать лет прожила всего, а я ведь старуха... Это не слова, Боря... Перед вами мне рисоваться нечего... Если я вам чужая, то вы-то мне близки стали... Помните, говорили мне о звезде Вифлеемской?.. Я никогда не забуду этого. Можно... я поклонюсь вам?..

Вскочила с кресла, подбежала к постели, схватила за руку, на колени стала.

— Я знаю, что я чужая вам, и то знаю, что никогда ее не разлюбите, ее, Лину.

На карточку показала Гурновой.

— И все-таки я поклонилась...

Стукнулась лбом о кровать железную...

— Поклонилась волхву мудрому... Не побивайте камнями душу грешную... Я ничего от вас не хочу. Только все расскажу вам. Вы чисты... Мы ведь почти ровесники, а я знаю, что вы непорочны. Может, только вам и скажу... Измучилась я... а с вами мне хорошо, тихо... отдыхает душа...

Смотрел на нее испуганно и чувствовал, что оттолкнуть нельзя человеческое, и руку не отдернул здоровую.

— Вот так... Я вот так расскажу вам...

Положила на его здоровую руку лицо, чтоб не видеть Бориса, а чувствовать его близко, проникая в сердце, чтоб легче душу ему передать через тело, чтоб через тело вошла она.

— Увел меня... Боря... Он... монах... в лес... А в лесу сколько дней мучил тело... Шатало всю, а шла... о любви говорил... он... монах... Николаем зовут... А другой... большой... рыжий, тоже меня хотел. Приятели были... Рыжий и с ним знакомил. Понимаете, Боря?.. в келье, перед иконами, в монастыре, в обители... рыжему нос перебил бутылкою. Меня уступить не хотел рыжему. И в город вдвоем бежали

за мною... И все они, все такие... В монастыре на даче мы жили... Ходили чай пить к нам... Хватали за руки... за плечи... не меня, а другую женщину... в лес водили, а потом в соборе поклоны бухали, о чудесах рассказывали мужикам, а к нам?.. мучить нас приходили. Правда, все правда... И вы, чистый — хотите к ним!.. Хуже притона. Вы непорочный, Боря, и с ними жить, чтоб измучили вас, душу измучили!.. Разве вы не будете мучиться?.. Они всех мучают, пока не согрешит человек с ними грехом постыдным. И вы?.. Боря...

А потом о себе... До конца решила — всю жизнь последнюю... облегчить душу:

— Не любила бы вас, не сказала бы... Знаю, что никогда не полюбите... а все-таки говорю... Вам говорю, чистому... Только такому сказать можно, чтоб и у самой душа очистилась. Никогда никому не говорила первая, что люблю, и вы чище девушки... Потому и говорю все... Душа у меня замучена, сперва другие ее, а потом сама,— деваться ей было некуда... Утопить хотела... Я ведь не девушка, Боря... После Николая, монаха того, стала женщиной, он сделал... Боль приняла... Тут... в Питере... дядя водил... очистилась... И потом еще раз полюбила... Хорошо полюбила, искренне... верила ему. Хотела его только быть, а он знать хотел... Правду. Всю правду. Прошрое.

— Феня, вы знаете, что не могу никого любить, а говорите мне, а любили и не могли сказать?..

— Оттого и не могла, что и меня он любил. Потом бы сказала... все сказала... Я хотела, чтоб такую любил, как есть, а не какой ему меня хотелось видеть и знать... Чтоб такую узнал, какая к нему пришла... Когда позвал — пришла; знала, зачем зовет, и пришла отдаться, потом бы сама сказала, все, до конца, всю правду, а он хотел сперва знать, а потом любить... Любил бы — не спрашивал. Должно быть, думал, что любит, а душа была мертвою... Потом... потом разошлись мы. Хотел правду знать и узнал через рыжего... он тут... в Питере... меня ищет... монахом был... Потом, Боря — деваться было некуда... одного любила и он любил... говорил так... иногда только чувствовала, что любит, когда ему тяжело было... и осталась нищая и пошла просить милостыню и не душа, а тело голодное пошло междворничать... Целовалась, тело свое отдавала, чтоб, как пьяница, позабыться, позабыть, что душа есть... И вас встретила... С огарками горела, неделю горела, а потом стало все равно с кем... А встретила опять вас на кладбище... про волхвов вспомнила. Я не хочу, чтоб душа погасла... погасла во мне звезда Вифлеемская... Сама судьба привела к вам, Боря... А теперь я — чистая. Вам, непорочному,

открыла душу и чистотой вашей чиста стала — оттого и открыла, что знаю, что не любите, а вот такую... чистую теперь... Ведь женщины тоже бывают чистые... Чистую любить можно... Только чистота и ребенка носить может... Правда, Боря?.. Я теперь тоже могу... Я чистая.

Чувствовал, как рука горела от глаз заплывавших слезами, и как скатывались они между пальцев, и, закинув голову на подушке, слушал с глазами закрытыми, и от слов, обнажающих душу, грудь давило, дышал медленно, тяжело, а когда поцеловала его руку, сказав, что очистилась его непорочностью, еще плотнее глаза закрыл и острее разлилась горечь по всему телу и не жалость в душе измученной шевельнула к лицу ее, к волосам руку, а боль от ее слов — боль утолить толкнула душа — по волосам проводил рукою, от корней тепло чувствовал и вспоминал такие же мягкие — перед смертью ему отдала, помертвели они, а эти — такие же мягкие и длинные — не заметил, как, цепляясь за шпильки пальцами, развалил прическу и гладил широкую волну по плечам вздрагивающим.

И еще ярче загорелась любовью душа Фенина — пронизало ее тишиной жаждущей, пошевелинуться боялась, чтоб не прервалась нежданная ласка любимого, и если бы только подумал о ней, как о близкой — до последней бы кровинки служению отдалась ему, непорочному, своей жизни б не было, а его в каждом желании инстинктом уловленная и не рабой, не любовницей, не любимой бы стала, а благоговевшею перед своим счастьем.

Отнял руку — и вздрогнула, к нему рванулась:

— В древности камнями побивали падшую... Не подняли руки с камнем, не оттолкнули меня. Вы для меня, Боря, еще ближе стали... вот тут... душой... Близкого хочу поцеловать... я... сама... один раз только... хочу быть причастницей души вашей.

Сказать ничего не дала ему, взяла его лицо в свои ладони и как в ту ночь, когда бредил мертвою, поцеловала в губы.

Отшатнулся, дернулся как-то весь...

— Нельзя... Она только...

На карточку указал рукою.

— Она придет... Никто не смеет... На моих губах ее поцелуи живы... А теперь?.. Умерли.

— Неправда, Боря... Неправда... Еще сильнее оживут после этого...

И где-то в мозгу пронеслось и ощущением передалось на губы те краденые, когда звал мертвую и отвечал ей, целуя эту, живую, и почувствовал, что и она также его целовала, когда приходила к

больному, бредящему, и губ не хотел раскрыть, чтоб утратить похожий на те, Линыны.

Только теперь вспомнила, о чем говорить начала перед тем, как душу выплакать.

— Боря, монастырь — смерть, а живой человек никогда не умрет...

Не ответил ей, и почувствовал, что больше нельзя говорить, чтоб не разрушить чего-то сблизившего их на всю жизнь. Пусть даже никогда не встретятся, а близость останется и оба ее вспоминать будут.

— Простите меня...

Наскоро закрутила волосы, провела ладонью по ним, чтоб тоже не задеть лежавшей на них руки, и утомленная пережитым сказала глухо, положив почти у самой шеи сцепленные ладони рук:

— Больше никто не узнает, что тут было и что будет.

И в первый раз за всю жизнь, засыпая, почувствовала, что дышать легко стало, что девичье все — там, ушло, отжито — осталась женщина, овладевшая своей жизнью и разумом в страстях и страданиях, и только, быть может, один, недостижимый, близкий своей непорочной чистотой доведет до безумия и потому только, что первому ему и последнему обнажила душу.

Как испытание принял Борис ее исповедь, как неизбежное по воле всевышнего, и мучил его только поцелуй Фенин, не остывавший близостью другого такого же, — и еще раз захотел, чтоб во сне хоть пришла к нему и опять поцеловала — сонного, если не настал еще час к нему явиться умершею.

Каждый день приходила Феня, вечерами просиживала и, входя, чувствовала, что бессознательно для него стала близкою — обо всем говорил просто, спорил даже и после того вечера ни разу не вспоминал о монастыре и в мыслях даже улетучилось, замерло желание быть монахом. Начал ходить по комнате, на повязке без лубка носил руку. Возвращались силы и желание быть ученым, профессором. Общительный стал, не чуждался Журавлевой, подруги Фениной, и снова начавших бывать у Фени студентов. На рождество не мог ехать домой, собирался на маслену. Дома рассказал матери, как вносили его в комнату, как потом ухаживала за ним Феня, просиживала ночи, одевая его, укладывая.

Мать только спросила:

— Какая Феня?..

— Помнишь, мама, на вечеринку за мной приезжала?.. Я еще тогда не поехал к ней...

И в ответ на свои мысли, что, может быть, она и к жизни вернет его, добавила:

— Интересная девушка... Теперь помню. А ты ее отблагодарил хоть чем-нибудь?

— Нет, мама, ничем.

Вспомнил ее, сказал тихо:

— Она хорошая...

И тень по лицу скользнула, сдвинула брови горечью.

— Что, Боря, с тобой, что?..

Из души вырвалось:

— Она меня тоже любит... Мама... Сама сказала.

— Это пройдет, Боря... пройдет.

Любовь ли Фенина или тоска о мертвой, но только что-нибудь должно жизнь изменить, потому так и сказала мать Борису, хотя в душе у вей явилась надежда, что если мучается любовью этой, то значит где-то заронена искра.

— А поблагодарить ее надо чем-нибудь.

Ложась спать, думала, что, может быть, и женится, если девушка эта любит ее Бориса и захочет его любви, и чтоб поддержать в ней эту любовь к сыну, искупить свою вину перед ним за умершую, решила сама ей послать подарок особенный.

Прощаясь с ним на вокзале, подала ему коробочку, зашитую в батист:

— Передай от меня, Боря, этой девушке в благодарность за тебя, — только я прошу тебя, не смотри... хорошо?

Безразлично обещал матери:

— Хорошо, мама... не буду.

На Малую Спасскую возвратился — выбежала навстречу Феничка. Вместе с ним вошла в его комнату.

— А мне, Боря, без вас пусто было...

Достал из кармана коробочку...

— Мама вам прислала на память... Не знаю что... Просила меня не смотреть.

И стал корзинки развязывать.

К столу подошла посмотреть и в простой коробочке от лекарства, в вате, круглый золотой медальон с рубином на цепочке тонкой, — открыла и поняла, почему мать смотреть ему не велела — с одной стороны его карточка: в студенческом, а с другой — на маленькой бумажке написано: спасибо вам за него, милая девушка, «за него» подчеркнуто и стрелка чернилами проведена к карточке.

Посмотрела — не видит ли и поцеловала и карточку и записку и одела медальон, спрятав его на груди с крестами.

— Боря, будете писать маме, напишите только — будет так, как она хочет.

— А что она вам прислала, Феня?..

— Смотрите сюда.

Вместе с крестами вытянула.

— Точно знала, что я вас люблю,— посмотрите какой рубин большой.

— Я ей сказал, что любите.

— Сказали?.. Ей?..

— Этот рубин ей мать подарила, когда она стала невестой моего отца. Зачем же прятать его?..

— Чтоб теплей там ему было.

Когда засыпала, как ласку любимого чувствовала на груди медальон тяжелый, и решила до тех пор, пока не будет Борис мужем ей, до тех пор никому не показывать медальон с рубином, чтоб никто не знал ее тайны, прикоснуться не смел к нему даже взглядом. Неслись в голове сумасшедшие мысли, радостные до безумства и безумные до радости, поняла, что благословила ее мать сама, невесте сына своего прислала рубин, подаренный и ей — невесте.

VI

Ночи не спала, думала, как заставить его полюбить, пробудить сердце, всего содрогнуться от любви ее, и не хотела, чтоб ту позабыл, первую, пусть останется даже навсегда к ней любовь нежная, и думала, что почувствует жизнь, проснется в нем тело и душой привяжется и станут друг для друга родными и близкими. Хотела себя всю отдать поклонению, чтоб наполнил один и грехом и любовью чистою. Когда думала, не было страшно, что родить от него придется, потому что душа стала чистою и благословила ее мать его — сама отдала сына единственного.

Когда приходили студенты в гости — к нему рвалась, одна оставалась — садилась в его комнате молча.

Слушала, как шелестит листьями, смотрела на него и думала, как разбудить сердце спящее, какою водой оживить его.

Подруженька и совет дала, Журавлева Валька.

— Ну, Феничка, влюблена?.. Чего ж молчишь, сама вижу. А ты его окрути.

— Как?..

— А вот как: устрой вечеринку, позови к себе, немножко вином напои, а я тебе у Ивиной разживусь чего-нибудь такого, чтоб не ушел от тебя, она знает — медичка, потом и жени на себе.

— Самой?

— Если не любит, так все равно женится. У них в институте строго, как что — либо женись, либо без права поступления уходи куда хочешь... Посмотри — женится, я с Ивиной будем свидетельницами. Он ведь профессором быть мечтает... Женится...

— Не хочу я этого... Гадко...

— Твое дело. А я б его на себе женила. На днях одного горняка так-то женили. А теперь счастливы. Желторотых-то и окручивать, старый студент — птица бывалая, не поймает его.

— Ни за что...

Целый месяц мучилась Феничка. До отчаянья доходила. Вспомнит, что мать ей разрешила Бориса, и опять как безумная мечется. Близкий был ей и перед ним была чистая — до наготы обнажила душу, и хотелось, чтоб сама пришла любовь к нему, и знала, что ждет, другую ждет, мертвую.

Один раз спросила его:

— Боря, что бы вы сделали, если бы я не ушла от вас?

— Как?

— Осталась бы у вас в комнате?..

— Мы друзья, Феня... Близкие. Разве вы не оставались здесь, когда я лежал больной?.. Что ж такого?

— Ну, а если бы совсем осталась теперь? Что бы вы сделали? Ведь вы же знаете, Боря, что я люблю вас...

— Я тоже люблю вас... Я привык к вам. Если бы вас теперь долго не было, мне было бы скучно. Правда.

— Но я ведь женщина, Боря,— вы знаете, что мне мало такой любви... Вы мне весь нужен, всего хочу.

— И вы, Феня, знаете, что я ее люблю, умершую, и так, как вы хотите, никого не люблю больше.

— Неправда, полюбите...

Вспоминала слова его, что ему было бы без нее скучно, привык к ней, и думала,— а что, если, правда, одурманить его?.. Не женить, нет, не хотела этого... А женой ему стать, взять его, как берут девушек, и не силою, нет, а вот как студентов женят, вечеринку устроить — и все равно, что потом, а только вином его напоить. Казалось, что если узнает женщину, ласку женскую, то и останется,

или с собой кончит или останется, только не думала, что с собой кончит, потому что сам говорил, что привык, без нее бы скучал один; может, и возненавидит... первые дни только, а вспомнит поцелуи горькие пересохших от страсти ее губ горячих, вспомнит телом близость жуткую и вернет ее,— простит сперва, другом станет, а потом затоскует тело без ласки, греха смертного и примирится и привыкнет к ней, а привыкнет — близкою станет по-родному,— сама жизнь научит любить близкого.

Все дни неотвязные мысли в голове горели, до безумия ее доводили — не могла все еще решиться, а потом, когда разожглось тело огнем пепелящим от мыслей о близости его непорочной, и обезумела.

Журавлева опять напомнила:

— Так мы с Ивиной решили помочь тебе...

Выкрикнула горячо, возмущенная:

— Не смейте, я не хочу!.. Пусть сам!..

— Ну, это наше дело...

По-прежнему Борис безразлично относился к Феничке когда она вечерами у него просиживала молча, чувствовал только, что живой человек, с которым слово сказать можно попросту; и, также кончая заниматься, подолгу молился и засыпал, тоже молился и ему, и ей, быть может, ему потому, что хотел ее видеть; ждал, иногда по ночам просыпался и не мог заснуть да утра, ожидая ее, умершую. Иногда только мучило, что и другая любит его, ничего не требует, чего-то ждет, молчаливо и спокойно на него смотрит — и ждет. В комнату не пускать — за болезнь привык, как привыкают к любимым вещам — без них кажется не хватает чего-то в жизни, и Феничка была как вещь, но удобная тем, что одиночество разогнать ему помогает. А когда тревожный почувствовал голос — говорила, что останется у него — и самому стало тревожно, не думал, что останется, чтоб отдаться ему в темноте ночной, потому что знала, что не любит он, не думал, что без любви захочет его, и мысли-то эти носились смутными, нереальными, а где-то рождались в нем от тревоги и умирали сейчас же, не волнуя его. И все-таки бессознательно было тревожно. Нервничал. Нервность свою объяснял себе тем, что спешил сдавать на «весьма» один предмет за другим, и в семинариях выступал с рефератами поразить профессиру глубиной, эрудицией,— внимание на себя обратил; думал, что переутомился за год, да болезнь еще подорвала силы. А начались белые ночи — еще больше стал нервничать: в призраки людей на тротуаре вглядывался,

вздрагивал — все казалось, что она идет к нею мертвая; вскакивал, подбегал к двери, слушал — не идет ли по лестнице шагами легкими, и, не дождавшись, ложился и опять в белесую муть окна вглядывался.

За два дня до пятнадцатого, когда уже лежал в постели и ждал и молился — вошла в белом, две косы без прически заколоты на темени и перевязаны белой ленточкой,— как венок сплела эти ленточки волосы Фенины.

Приподнялся, вскрикнул...

— Ты пришла, ты?..

— Я, Боря...

— Иди, поцелуй,— милая...

— Ты меня ждал?..

— Ждал, ждал...

И когда подошла близко — узнал, крикнул гневно:

— Зачем вы ночью пришли ко мне?.. Испугать хотелось?.. Знали, что ее жду, ту?..

Феничка знала, что не узнал ее, за невесту принял, и когда стал спрашивать, тем голосом, что любимым говорят, волнуясь от грядущего счастья, и ответила, подумав, что дойдет до галлюцинации и будет ее сию вот минуту, и поторопилась подойти — узнал, очнулся.

— Я свою тетрадь позабыла... Дневник мой.

— Зачем, Феня, так, зачем?..

Будто не поняла...

— Оставила его вам, Боря, на столе у вас,— думала, что прочесть захочется...

— Я не хочу, чтобы вы ночью входили ко мне...

— Не буду, Боря, не буду больше...

Ушла, дверь закрыла,— разрыдался от нервности в подушку судорожно.

Слышала, как один раз всхлипнул, и остановилась, слушала. Горько было, что не любит ее, и еще острее захотелось близости.

Раскинулась на постели плашмя, вытянув под подушкой руки, и вздрагивала от томления безысходного, шептала:

— Милый, послезавтра, нет, уже завтра, завтра, моим будет... Не отдам тебя мертвой. Живая любить должна непорочного. Мертвецам до живых нет дела... Не хочу чтобы ты умер, не дам умереть... Очнешься завтра... Воскреснешь... Вся растворюсь в твоём теле, чтоб почувствовал жизнь, меня познал. Знаю, что не уйдешь... Узнаешь и не уйдешь... Возьмешь мертвую, а с живой останешься... Навсегда... И

ее позабудешь, ее, ее... Ты ее ждешь, а приду я к тебе и живая и мертвая и твоим воскресением сама воскресну.

И другая мысль в голове неслась и первую погасила стремительно:

— До конца приму очищение от невинного, от непорочного — его чистотой зачну... и забьется он во мне,— от возлюбленного — любимый мой, единственный...

И всем телом хотела его, непорочного, и от него, чтоб до конца очиститься чистотой невинного, и чтоб само это случилось, нечаянно, а после — все равно, что будет, куда и к кому приведет жизнь, но останется с душой ясною, просветленною высшим разумом и естества человеческого и после — никто и ничто не осквернит ни души, ни тела, кому бы ни отдала его голодная, жаждущая удовлетворения, чтоб сохранить чистоту свою, чтоб не мучило оно безысходным, чье б оно потом ни согревала утоляемое — чистым останется, на всю жизнь чистотой непорочною.

Как перед венцом невеста, вошла к нему вечером.

— Боря, простите мне, милый, что я вчера к вам пришла... Простите мне!..

— Я, Феня, не сержусь...

— Так слушайте, Боря. Завтра день моего рождения. Вы придете ко мне, да? Я хочу, чтоб вы пришли ко мне. Без вас мне будет пусто. Мы друзья, близкие... Я хочу, чтоб в этот день у меня был друг, со мною был... Будете, Боря?..

— Я приду. Вы тогда позовите меня.

И с утра, весь день Феничка была сосредоточенная, углубленная в себя и только горели глаза и блуждали как безумные, точно что-то жуткое перед собой видела, не знала что только.

После обеда пошла к чаю купить сладостей...

Без нее прибежала Журавлева Валька и по-хозяйски стала смотреть, что у той приготовлено к вечеру, заметила бутылку вина, того, что Борис пил во время болезни, догадалась, для кого подруга его приготовила, и торопливо стала снимать колпачок, чтоб не испортить, откупорила, всыпала порошок и с трудом пробку вдавила и снова одела колпачок, думая, что если Феничка и узнает потом — не будет сердиться.

Вслух думала:

— Ломается девка!.. Не смей, не хочу, а сама ждет небось, что поможем...

Потом Журавлева достала поесть себе, уселась на диван с ногами и сказала вслух довольная:

— Всегда у ней найдешь чего-нибудь вкусного.

Кто ни приходил к Феничке, всегда уходил сытый, и все знали, где лежит съедобное: никогда не закрывала дверь своей комнаты,— не застанут ее — ждут, голодны — достанут, что под руку попадется, и угощаются без хозяйки.

Вернулась Феничка...

— Ты что тут делаешь?..

— Проголодалась, закусить капельку.

— Давай лучше закуску готовить на стол. Помоги мне.

К семи, по-торжественному собираться стали.

К семи и Борис возвратился, принес цветов,— в коридоре его Феня встретила.

— Что это?

— Цветы.

Не захотела показывать ни Журавлевой, ни Ивиной.

— Боря,— можно, я поставлю их у вас в комнате?

— Почему?

— Не хочу, чтоб видели, чтоб знали, что от вас они. Для меня особенное, они должны быть такими же чистыми, как вы, а когда уйдут все, я их к себе принесу.

— Как хотите, мне все равно.

Не знал сам, почему выбрал Феничке те же цветы, что в гроб положил невесте — нарциссы с тюльпанами белыми.

На столе у него поставила подле ее карточки в широкой миске.

— Как хорошо им тут?.. Правда, Боря?.. Ну, пойдете теперь ко мне.

Посадила с собой рядом.

После чая достали подружки вино с закусками.

Земляки обрадовались.

— Да у вас, Феничка, по-настоящему... Вино даже.

— А горняк,— горняки все пропойцы...

— А я даже хотел вместе с конспектами и ликерчику принести какого-нибудь, думал, что барышня, значит на сухую, по правде сказать не хватило денег. Ликер ведь, господа, можно дарить,— правда?..

Засмеялись над ним курсистки.

— Продают же конфеты с ликером. Я и хотел: конфеты отдельно, а ликер отдельно. Что ж тут смешного?

Металлург, политехник — одной профессии с горняком — собутыльники...

— Садитесь-ка поближе, коллега, а то мне одному теперь скучно будет.

И начали бутылки рассматривать.

Феничка от них взяла одну.

— Эту бутылку я не дам.

— Почему? Запретная?

— Это для Смолянинова, для Бориса. Он другого не пьет, а это ему доктор даже прописывал.

— Лечебное... отдай, Вася. Мы с тобой, брат, лечиться другим будем. Я себе, Вася, вот этого, его же и монаси приемлют,— не наши, брат, не российские, а заграничные, наши казенку гонят. Ты погляди на нее только, Вася — низенькая да пузатенькая, только лысины не хватает, а то совсем на святого отца похожа.

Налила Феничка Борису лечебного. Другую налить хотела...

— Феня, не буду больше...

— Нельзя, коллега, нельзя никак — захромаете... Это ж лекарственное. Здоровье дороже всего, обязательно лечиться надо.

С шутками, с прибаутками, с тостами под разным соусом — заставляли Бориса пить.

На все шутки отвечая спокойно, говорил мало, пил — сначала язык вязало, а потом и сам не замечал — понравилось и пил, когда наливали. Незаметно и голова пошла кругом и тело ныло непонятным желанием, и приятно было, что рядом сидит не чужая, а друг близкий.

Под конец даже песню пел студенческую со всеми.

И в десять заторопились Журавлева с Ивиной, домой собираться стали, компанию горняку нарушили. А за ними и другие поднялись гуртом.

Стали из комнаты уходить, шепнула Борису Феничка:

— Боря, милый, вы обещали мне после всех остаться, посидеть вдвоем... Не уходите к себе... Я сейчас... Провожу только.

В передней одевались, галдели.

Подруженьки — с поцелуями попрощались, студенты — за руку.

Вернулась в комнату, сгребла со стола все в кучу, достала с комода коробку с конфетами.

— Это только для вас, Боря... мои любимые... И вино это, тоже мое любимое, как апельсин — душистое.

Молчал... Блуждал глазами широко раскрытыми... о чем-то думал.

Села к нему на диван, рядом, близко.

Машинально конфеты брал и так же машинально, не отказываясь, пил вино.

— А помните, Боря, как сидели мы на хорах, в дворянском?.. Помните?.. И теперь с тяжелым зерном снопы лежат у висков... Помните — волосы... рожь спелая... И вся — благодатное лето — Лена...

Вспомнила тот вечер, когда познакомилась с ним, и еще ближе придвинулась, прилегла к плечу. Не шевельнулся — только тело плыло куда-то, и глаза стали ярче. Пить перестал. Не был пьян, а то опьянение, что от вина еще оставалось лечебного, в страшную и приятную тошноту перешло. Мысли бежали отчетливо, но так быстро, что ни одну уловить не мог.

— Боря... ведь я вас люблю, милый...

И замолчала: противно было смотреть на бутылки, на рюмки, на закуску оставшуюся, на объедки и не знала что делать. Знала, что только сегодня это должно быть, и не хотела здесь, в своей комнате.

Вспомнила, как ездила к себе на вечеринку звать и как противно звякали бубенцы, когда возвращалась обратно, и чувствовала, что время проходит, тревожно поглядывала на него и ухватила за одну мысль, — вспомнила, как говорил про ее волосы — вокруг головы двумя косами венком положены, и одним движением развернула прическу, волосами коснулась его щеки...

Взяла его руку...

— Попробуйте, Боря, — один раз вы гладили их, — помните?..

Тяжело и упрямо отдернул руку.

Быстро заплела в две косы, обвила ими голову и вместо ленточки белой стеблями цветков на темени закрепила и мелкие листки торчали, как венок.

— Смотрите, Боря...

Вздрагнул и отодвинулся.

Хотел подняться — ослабели ноги.

— Я пойду, Феня... Помогите мне...

Все оборвалось в ней, мелькнуло, что все потеряно.

Помогала идти, так же, как в первые дни, когда ходить стал по комнате после вывиха.

Привела, посадила в кресло.

И упавшим голосом спросила его:

— Хотите, я вам помогу?

Утомленно ответил ей:

— Помогите, Феня.

Раскрыла постель, помогла раздеться с тем же чувством, как и больного укладывала.

Лег, и разлилась истома тошнотная и еще сильнее заныло тело,— глаза широко раскрыл блуждающие.

Пошла к столу потушить лампу, вспомнила про цветы, взглянула и вся рванулась с отчаянием — в пропасть кинулась.

И в темноте, хватаясь за стол, все сбрасывала с себя.

Босиком, в рубашке одной, держа за плечики пальцами, чтоб в один миг и ее сбросить, подошла к Борису.

Сил не хватило сказать громко, прерывистым шепотом:

— Боря...

Взглянул, посмотрел дико.

И опять, как в тот раз:

— Это ты? Ты? Лина?..

— Я, Боря...

— Ты пришла?..

Ничего не ответила, откинула с плеч руку и к нему бросилась.

Без слов, молча — замерла с ним — всем телом ответил ей, и у обоих сердце зашлось, дышать стало нечем.

Потом только шептал:

— Моя теперь?.. Да?.. Пришла, да?.. Пришла?.. Моя?..

И в белесую ночь сплетались, как призраки, пока не обессилели...

А когда у Бориса в голове стало ясно и он сквозь сон почувствовал, что не один, а кто-то другой с ним рядом, открыл глаза и в один миг отдернулся.

Утомленные упали руки, немного пошевелинулась, подушку схватив пальцами, и не проснулась.

Вскочил с постели и от ужаса не знал что делать.

Взглянул на окно, на карточку, на цветы и остановился на иконе и все это в один миг, точно беснующаяся мысль какая-то искала на что опереться.

Сжался весь...

— Покарал меня, господи... Иду, иду...

И захваченный одной мыслью, подавившей его до глубины, всего, наскоро одевался, хватал что попало, в корзинке рылся, скатал в простыню часть белья, высыпал из корзинки все на пол, положил скатанное, открыл все ящики в столе письменном, рылся, разбрасывая все по полу и по столу, схватил карточку и, точно обознавшись, подбежал к иконе, снял ее, положил в корзинку, закрыл и ушел из комнаты, опустив глаза.

В восемь прибежали подруженьки, молодых будить, вбежали в Фенину комнату — на столе — ералаш, постель не тронута.

— Валька, где ж они?

— У Бориса... там... пойдем.

Вошли — разбросано все, подле стола под бумагами платье и белье Фенино, а на постели — ничем не прикрытая, сжавшись в комок — Феня, и только на подушке с груди сполз золотой медальон с рубином и крестик с иконкою.

— Тут драма — уйдем, Валька.

И на цыпочках ушли молча.

Проснувшись, не нашла любимого и, взглянув, поняла, что кончено, навсегда ушел, вспомнила про монастырь и решила, что он не покончит с собою, будет каяться.

Села на постель, подняла с полу рубашку и, не одевая, просто, прикрылась ею и, тяжело переводя глазами с одной вещи на другую, думала, будет у ней единственный или нет и когда телом вспоминала ночь жуткую, блаженно улыбаясь, шептала:

— Будет... будет... будет...

VII

И через весь город, пешком, с корзинкою, почти бегом, точно кто по пятам за ним гнался; у разведенного моста дожидал. Солнце такое же белесое, как Петербургские ночи весной раннею, из-за Невы выкатывалось.

На Николаевском у закрытой кассы простоял, и когда завозились кассирша — очнулся и тут только вспомнил, что уезжает, а куда — не знал — в монастырь, а куда — все равно. И вспомнилось, — как называла Феничка, — в Белые Берега, в пустынь, в лес темный.

И что про монастырь говорила — тоже вспомнил и подумал, что где искушения больше, где соблазн, там и быть ему, иначе не покаяться, не достигнуть обители горней, чтоб к ней прийти.

— Вам куда?

На несколько станций дальше билет взял и обрадовался, что не узнают ни отец с матерью, ни она — Феничка.

И только в вагоне ослабел. Все тело разбитое ныло и холодная дрожь пробегала от спины к ногам и рукам, и душно было, — каждый мускул еще жил жутким ощущением жаркой близости. Минутами тошнота вставала и пересохшие губы слиплись и во рту было горько от перегоревшего вина и полыхнувшей на один миг страсти, когда без его желания, без его воли выпило тело тайну естества женского.

Входили и выходили из вагона и в вагон, на каждом полустанке останавливался поезд, забирал почту и без конца тянулся по стреле стальной до Москвы. И не сон, не дремота, а забытие укачивало Бориса. Так же быстро и неуловимо неслись мысли, ни одной схватить не мог, и только в сознании было ясно, что кончено, все кончено — молиться, каяться, а неощутимо где-то вставало — после этого не придет, никогда не придет ко мне; не исполнил предначертанного богом и потерял ее на земле — свою невесту.

От нервного напряжения ничего не ел; в Москве на Брянский вокзал шел пешком и, покачиваясь в вагоне накуренном, всю ночь ожидал второй пересадки — последней.

В сознании только было, что теперь близко к пристани тихой.

По лесу с гулом подошел пассажирский к платформе, высыпал богомольцев,— даже монах со звоночком с кружкою не успел пробежать подле всех вагонов.

И когда уехали линейки, нагруженные богомольцами, подошел к монаху.

— Скажите мне, как в монастырь пройти?

— Ступайте за богомольцами, догоните...

Солнце встало весеннее и в лесу от сосны пахло ладаном.

Вязли ноги в песке, кружилась голова оттого, что не ел ничего второй день, и, тяжело ступая, цепляясь за корневища, еле донес до гостиницы корзинку.

Тянулись от ранней бабы, в платочках мещаночки, в открытые окна гостиницы выглядывали горожане и за колонной на деревянной скамье с барышнями дачными сидел послушник кудреватый.

Не зная куда идти, как спросить, подошел Борис к послушнику.

— А тут в коридор направо к гостинику...

Корзинку оставил в номере, сошел вниз и от волнения нерешительно пошел к святым воротам.

Рассматривал на белых стенах у ворот святых, живописание братии — господни страсти и в воротах воскрешение Лазаря, и закружилась голова, добрел по стенке в монастырь и опустил на скамейке, у окна.

Выскочил долговязый привратник — Васенька.

Догадался, что не в себе человек...

— Что с вами такое, что?..

— Голова кружится...

— Водички испить надо, испить водички... Это бес, это он мучит; утолите жажду водичкой, облегчение будет.

В деревянном корчике принес желтоватой воды студеной...
— Сокрушает бес немощь бренную...
— Да, сокрушает...
— Во дни яко тать по следам крадется, а в ночи плоть мучает, мучит наваждениями сатанинскими... Постом и молитвою, послушанием господу изгоню беса.
— Изгоню послушанием, изгоню его постом и молитвою...
— Разумные слова слышу от мирянина, от души юныя господня мудрость. Порадейте о господе — изыде бес полунощи.
— Молиться буду... буду, батюшка.
— Да вы сами-то откуда изволите прибыть в обитель нашу?.. Сами-то кто будете?..
— Студент.
— От социализма в обитель спастись пришли?.. Видели мы их, видели, яко бесы налетели в ночи, надругаться хотели над пристанищем скорбей человеческих. А все он, все он... вот те и Николушка?.. Разве помыслил когда, что он сохранит братию, обитель от поругания нечестивых. Игуменом выбрали соборне...
— Я к нему хотел... Где его видеть можно?..
— По хозяйству печется, о братии... до всего сам... Не думали, что заступника и радетеля, по вале господней, обретем в Николушке... Скудоумный был послушник, бес его мучил, во образе отроковицы блудной, говорил когда еще — Феничку — веничком, Феничку — веничком изгони...
Вздрогнул Борис, передернулся, широко открыл глаза на монаха.
— Какую Феничку?..
— Дракину, Бакину, Гракину со змеей жалящей обвилась с ядом брызжущим... Не послушался... Принял от нее мучение... бог покарал пса блудного...
— Бог покарал, бог... Пса блудного. Воли его не исполнил...
— Через нее муку принял мученическую...
— Через нее, через Гракину...
— Гракина, Гракина, Гракина... она змея жалящая... До подвала его довела... И меня, меня... Она утопить хотела.
— Кто, Гракина?
— Она, она, Гракина... Сохрани, господи, на путях своих грешного... успокоил душу у врат святых и Николушку покарал господь и призвал к себе, возлюбив, яко жену блудную, в немощи бренной,— соделал подвижника достойного обители блаженного старца и пустытника Симеона, основателя Бело-Бережской пустыни. Перст господень и воля его, всевышнего, почил на Николушке —

игумен теперь, к нему ступайте, смиренномудрый инок обители нашей... брат достойный... К нему, к нему идите. На порожках у кельи его посидите... вон там за семью столпами, подобием семисвечнику в господней скинии.

Убежал Васенька в келью радостный, что указал путь праведный грешнику, и в келии бормотал еще:

— На всех путях указуешь ми, господи, твоей десницею... Слава в вышних богу и на земли мир, слава в вышних богу и на земли мир...

Все еще не решался пойти к игумену, по монастырю бродил, от усталости и голода пошатываясь, на задний двор забрел на пекарню за трапезную и потянуло щами горячими, хлебом свежим. Ухватился за перила и упал на порожках, что на кухню вели в трапезную.

Ввалились глаза черные, почернели глазницы и плавали перед глазами круги красные.

Монашек сбегал в погреб с лестницы, в спешках чуть не наступил на него.

— Чего тут сидите?

Только дышал тяжело, не мог ответить.

— Никак плохо ему?..

И побежал на кухню сказать братии:

— Отцы, там на порогах в епалетах какой-то... приключилось с ним что-то...

Выбежали, собрались в кружок, на руки подняли, принесли в кухню. Холодной воды из корца дали выпить — открыл глаза, прошептал заикаясь:

— Дайте кусок хлеба... Не ел два дня.

Сзади шептались:

— Костюмчик поглядеть новенький, из господ видно, а не ел два дня... Постится, может...

Квасу ему принесли в корце и кусок хлеба, солью посыпанный.

— А вы его с кваском... Вкусней будет.

В первый раз в жизни с благодарностью хлеб принял. Силы вернулись — пошел игумена дожидать на порожках у семи колонн двухэтажной кельи каменной.

Феничку вспомнил, потому и вспомнил, что и ее тут помнили, Васенька помнил и должно быть игумен ее знал хорошо. Вспомнились слова Фенины, что он, монах, Николаем зовут, увел ее в лес, в лесу сколько дней, мучил, и не поверил теперь ее искренности, после ночи жуткой, когда сама к нему пришла и взяла его, непорочного. Думал,

что не он, а Феничка закружила голову, соблазнила своей красотой инок. И с иным уже чувством ожидал игумена Николая.

Выбежал послушник белобрысый к нему, заметил из покоев игуменских, что неподвижно сидит какой-то человек молодой с пуговицами ясными, и выбежал.

— Дождидаетесь кого-нибудь или так сидите, так сидеть возле покоев игуменских не полагается.

— Игумена ожидаю, отца Николая.

— У нас игумен отец Гервасий.

— Отец Гервасий, а как же мне у ворот один монах сказал, что Николай.

— Какой монах?

— Вон там... из той двери вышел, что направо у ворот...

— Васенька?.. Да? Так он больной у нас, немощный... Блаженненький... Разве он знает что?.. Он все притчами говорит про искушения.

— А я знаю, что он правду сказал.

— Ошибаетесь... У нас игумен отец Гервасий. Я послушник игуменский,— уж мне ли не знать?

Спутались у Бориса мысли,— послушник игуменский говорит, что Гервасий, а Васенька про Феничку рассказывал и Феничка про того же говорила монаха, и оба Николаем его называли.

— Все-таки, если видеть хотите — либо в покои пожалуйте, либо сойдите с порожков — нельзя тут сидеть — мне ведь придется за непослушание бить поклоны...

В покои не пошел, спросил белобрысого послушника.

— Когда он будет дома?

— К повестке ударят на трапезу, потрапезует с братией — вернется домой. Вы бы в трапезной подождали, там вам его укажет каждый.

И на трапезную не пошел, в трапезной на порожках сел с богомольцами.

— Чего ж вы, господин, на трапезную не идете?..

— Не хочу.

— Это нашего брата туда не пускают, а господам не то што поглядеть, как братия кушает, а и за стол сажают и пища у них — куда лучше, нашему брату абы живот напихать приносят наши же мужики в странноприимную... а то б на гостиницу шли, там тоже дают, чего за трапезой, а не застанет — ничаво потом не дадут, такой

порядок. А сами-то вы чей будете?.. По службе палеты носите, либо так сами по себе?..

— Нехай его, Машка, сидит,— чего лезешь? Сидит человек и пущай сидит, чего тебе от него нужно?

— Спросить нельзя што ли ча?..

Не хотелось говорить, волновался перед встречей с игуменом, поднялся и пошел к старому храму и навстречу ему старичок сухенький, борода у него белая длинная, сухенький старичок — росту среднего,— глаза тихие и не строгие — тишина в них ясная.

Решил подойти к нему.

— Скажите, батюшка, как зовут игумена?

— Гервасием... а вам на что?..

— Как же мне, у ворот вон там живет монах один,— сказал, что Николаем.

— Это Васенька вам сказал?.. Да?... Он его до сих пор зовет Николаем.

— Почему?

— Не знаете еще?..

— Он говорил мне что-то про Феничку... А потом...

— Поговорка у него такая: Феничку — веничком, Феничку — веничком... А только правда, звали его Николаем, когда послушание нес, принял постриг — стал Гервасием... А вы что к нему? Дождаете?..

— Можно, я вам скажу?

— Мне все можно... старый я — все видел, о всем слышал. Мне можно...

— Господу себя посвятить хочу. Монахом быть.

— Эх-хе-хе-хе-хе... Знаете, что я вам скажу?.. Молоды вы... Совсем юноша... И облик-то ваш — непорочного... Как в писании есть — отроча непорочный, и вы тоже... Зачем вы хотите к нам? Не жили, а в монастырь?.. Плохо, когда отсюда потянет в мир... Тогда плохо... Побудет, поживет и уйдет опять. И вы тоже уйдете. Монахом быть — великий подвиг.

Задумался, пошевелил над рясофором рукою, точно остановить хотел Бориса, и улыбка разлилась добрая и глаза засветились ласково.

— Скажите мне правду... Как на духу перед господом... Почему вы к нам пришли?..

— Невеста умерла...

— Невеста умерла?.. Девушка?.. Непорочная?.. И душу перед ней непорочно сохранить хотите? Не для господ, а для ней?.. Для ней и телом хотите непорочным, отроче, остаться?..

В душу смотрел; оттого и видел, что жизнь прошел, а потом пришел к господу и жизнь стала незваною. Живым в небытии пребывай к старости, а жизнь понял и человека — старцем стал, в небытии своем принял душу каждого и опыт пути жизненного раскрыл сердца человеческие.

— Уходите в мир, обряцете жизнь новую, а если приведе и вас десница господня сюда, тогда и оставайтесь тут, тогда и господь вас примет в свою обитель.

— Я не уйду отсюда.

— Разве я гоню?.. Хлеба всем на земле хватит, и тут тоже. Ступайте к нему, к игумену, братия потрапезовала — расходится...

Шагал широко, рукой отмахивал хозяйственно, когда шел из трапезной, рясофор раздувало ветром. Ни на кого не смотря пошел в покои.

Подошел Смолянинов к семи столбам каменным, на порожки взошел и заглянул в окно.

Опять белобрысый выбежал.

— К отцу игумену?.. Пришел, только сию минутку пришел, сейчас доложу,— а как сказать про вас?

— Скажите — студент Смолянинов.

Через минуту выбежал и повел в приемную.

В скуфейке, в подряснике, с четками на широких руках, с тем же взглядом жадным, выпрашивающим и с поредевшими в кольцах кудрями спросил нараспев бархатно:

— Ко мне изволите?..

Вспомнил Борис, как еще учили в гимназии под благословение подходить, руки складывать, и подошел к нему.

— Благословите, отец Николай...

Не запомнилось имя Гервасий и назвал тем, что от Фенички слышал и напомнил Васенька.

— Почему Николай?..

Даже вздрогнул немного и четками передернул нервно.

— Простите мне... отец... Гервасий...

— Кто вам сказал, что Николай?

Почувствовал Борис, что за живое задел и правду говорить боялся и лгать не хотел.

— У святых ворот мне сказал...

— Васенька?.. Да?..

Зло спрашивал и бархат исчез в голосе.

Не знал сам почему, добавил тихо:

— И Феничка...

— Я не знаю никакой Фенички...

— Гракина...

И, наступая на него, злым шепотом:

— Посланцем вас прислала?.. Вспомнила?.. Ну, скорей говорите, что ей от меня нужно?

— В монастырь примите...

— Кого?..

— Отец игумен, меня, меня примите...

Ничего не соображая, глаза вытаращил на Бориса, потерялся даже...

— Вы ко мне не от ней?..

На колени упал перед игуменом.

— От ней, от ней... сюда убежал от ней...

— Как?.. Бежал?.. От ней?.. Ко мне?..

И тоже ничего уже не соображая: от волнения, оттого, что каждый о своем думал и про свое говорил — не выдержал Борис: голода, утомления, всего пережитого, быть может, всего только одно мгновение, когда проснулся, увидел ее подле себя голую и все понял, говорил с выкриком, истерично, переходящим в слезы:

— Напоила вином... пришла к пьяному... со мною была... Бог покарал... меня... за нее... за мертвую...

Слушал Николка и в голове мелькнуло, что сперва выгоняла, а теперь от самой бегут, и захотелось знать про нее и любопытство разобрало про этого узнать, про кающегося, и довольный, что теперь от нее бегут, тем же баритоном бархатным сказал ласково, надеясь, когда нужно, расспросить подробно не у студента, потому может студент и не скажет, а у послушника, тогда заставит его говорить до мелочи, как игумен.

— Что же вам нужно?..

— Господу послужить примите...

Довольный, что на коленях стоит перед ним, ласково:

— Имя как?

— Борис...

— Фамилия?

— Смолянинов.

— Живите в гостинице... Пока как гость будете в пустыни...

— Примите меня, примите...

— Видите, принимаю вас. Молитесь владычице... Молитва и пост... А потом — послушание, ибо послушание паче поста и молитвы. Послушание вам отец гостинщик устави́т — в гостинице будете мирянам нести его... Да благословит вас господь на подвиг трудный.
И с удовольствием широким крестом благословил Бориса.

ОБИТЕЛЬ ТИХАЯ

I

Надежных трепачей проводить послал инженер Дракин, таких надежных, что с глаз не спускали Николку.

К Бело-Бережной платформе подъезжать стали, забеспокоился Николка, всю дорогу хорохорился, а Мылинку проехали, запахло монастырскими щами да плесенью подвального храма скитского — присмирел, как волк травленный на мужиков смотрел.

— Вот и приехали, теперь уж я и один дойду.

— Нет, отец, проводить велено.

А Нестерка веселый мужик, в семье у него ребят шестерка, а придет — каждому скажет присказку и тут тоже:

— А письмецо-то позабыл, отец?! В нем-то и собака зарыта поповская, то бишь — монашенская...

— Я его сам отдам отцу игумену.

— Шалишь, отец... Ты его по дороге с потрохами слопаешь — оскоробишься, тогда нам ответ давать богу... погодка-то правда не ахти какая, променаж незавидный, да и компания неважнецкая, а идти надо. Я ж тебе сказывал: анжинер-то у нас — сурьезный?..

— Сотню отдам... новенькая...

А Игнат себе давай:

— Ай и вправду пустить его?..

— Пустите... Вот она.

— Только по такому делу на двоих сотню маловато нам.

— Дал бы, да нету — последняя.

— Коли последняя — береги, на маслице пригодится...

— Я еще поищу...

— Все равно не хватит, отец,— пойдем лучше. Сказывай,— куда идти?

Не по дороге Николка пошел, а по тропиночке, хотел напрямик, чтоб не встретить кого.

Покосился Игнат на Нестерку, моргнул на Николку...

— Дороги-то у вас ай нету?

— Тут ближе.

— Ты лучше по дальней, верней будет, а то еще заведешь куда — в болоте утопишь. С тебя станет.

Уперлись трепачи — и ни с места.

И пришлось сворачивать на проторенную. Шел — по сторонам не оглядывался, не оборачивался назад — за полчаса долетел до построек дачных.

Дачники не успели съехать еще, в оконушко поглядывали мамыши с дочками.

— Ишь ты, у вас какие тут бабочки... Ты тож тут разлакомился на нашу барышню?! Должно, жила летом?

Как на грех крутился подле дач Васенька,— бесов заклинал полуденных перед окнами.

Увидал Николку...

— Николушка, да ты вернулся?! Отцом дьяконом не захотел быть?! Что ж ты его так?!

— Ведем его.

— Ведете?.. Немошный он, братцы,— немошный, одолел его бес полуденный... Куда ж ему одному-то?..

Понесся в монастырь оповестить братию, что-де отец дьякон вертается, и не один, с провожатыми.

Подле гостиницы Мишку встретил... подбежал... шепотком:

— Что я тебе скажу-то, Мишенька,— Николка вертается, ведут его мужики какие-то... Чудеса господни. Пойди погляди... сейчас придут.

Высыпала братия на крылечки у келий посмотреть на отца дьякона.

Через святые ворота прошел — загоготала братия:

— Не вытянул, отец дьякон?.. Не хватило духу?

— Пузырь у него лопнул...

Подходить стали к покоем игуменским... Игумен на крыльце стоит, — Савва.

Маленький старичок, кругленький, глазки бегают, выпрашивают, бровки седенькие сдвинул и глазки стали буравчиками.

— На поругание диаволу святую обитель захотел отдать, на посмешище?! Ты погляди, погляди, что содеял?!

Ручками размахнул в стороны.

— Иди ко мне, иди... сатана во образе иноческом... Иди...

В покои засеменил старенький, и мужики за ним с Николаем.

— А вам что надобно?..

— Велено к вам, преподобный отец, предоставить вот этого. Инженер приказал наш... Дракин... И письмецо от него передать лично.

— От благодетеля нашего... раба Дракина?!

— От него... самого...

Достал Игнат из-за пазухи конверт со штампом — канатное и трепальное заведение инженера Дракина — и вручил игумену.

Благоговейно старенький прочитал штамп жирный.

Ручки костлявые задрожали, когда сверлил глазками почтовый лист.

Писано:

— Ваше преподобие! Препровождаю к вам с надежными людьми вашего инока, послушника Николая, опорочившего мою племянницу и явившегося ко мне в качестве ее жениха. Не желая делать какие-нибудь нарекания на обитель, препровождаю его к вам лично. Зная, как вам было бы неприятно, если бы я его вручил епископу, отправляю к вам и надеюсь, что вы взыщете с него по заслугам. Мог бы просить епископа отправить его на покаяние в Соловки, чтобы навсегда освободить свою племянницу от опасности снова быть оскорбленной этим иноком, но, опять-таки, не желаю делать вам неприятного и надеюсь, что вы сможете внушить ему надлежащим образом уважение и к девушкам, и к иноческому чину, чем и обезопасите не только мою племянницу, но и других. Примите от раба вашего на украшение обители посильную лепту. Инженер К. Дракин.

Вложено... Петруша новенький.

Слюной забрызгал Савва немощный:

— Я тебя... в Соловки... в Соловки... на всю жизнь... в подвале сгниешь, пока не покаешься вседержителю... Всю жизнь тебе каяться!.. Слышишь ты, скудоумный?.. Слышишь?! Благодетели наши радеют за нас, а ты?! Спасает от позора благодетель наш и братию и обитель и меня недостойного, а он что?..

В ногах ползал Николка, упираясь в пол ладонями, и чтоб сохранить про черный день сотенную — в кулак зажал ее, и когда Савва обратился к трепачам — под подкладку ее засунул в скуфейку и другою ладонью в пол уперся, придерживая скуфейку пальцами.

— Не ели небось, бедные?! К отцу эконому ступайте, на трапезу... Монашек вас проводит мой...

Про Афоньку вспомнил, про келейника своего...

— Ах, ах, ах!..

И визгливо позвал келейника нового, белобрысого Костю:

— Отцу эконому скажи, чтоб получше накормил, слышишь... нашего благодетеля люди... слышишь?! С дороги они... получше... К гостинику потом проводи, не в людскую чтоб... пусть номерок даст почище... в новую...

— Ответ, что ли, какой будет хозяину?..

— Повремените до завтра... всенепременнейше ответ завтра будет...

Ушли трепачи надежные к отцу эконому трапезовать ущицей наварною...

Пригнулся даже к Николке Савва:

— Афанасия моего куда дел? Куда? Говори! Слышишь? Его тож привезут?.. А?!

Злым огоньком сверкнул на игумена.

— В любовники пошел к купчихе... Устроится. Тот не пропадет теперь... У него талант... тут-то...

И рукой показал, где талант обретается у Афоньки игуменского.

Рассвирепел Савва:

— Смеешь ты, пес блудливый?! В скиту сгною! В подвал упрячу!.. О, господи, за что наказуешь мя, раба твоего?!

Разжигало Николку зло и за позор, принятый перед братией, на всю жизнь посмешищем быть с кличкою, а напомнил про Афоньку ему игумен Савва — озверел.

Еще ниже пригнулся Савва и костлявыми руками по щекам Николкиным — досиня, до подтеков старые пальцы сухие врезывались, пока не вернулся белобрысый келейник.

— Отца Ипатия позови скитского.

Высокий, сухой, жилистый, костистый, с отвисшими подтеками под глазами, кривой, сумрачный, с выбитым зубом, горбоносый, борода седая поросла плесенью зелено-желтою — вошел в клобуке, сдернул его на плечо, бухнул игумену лбом об пол — Ипатий.

— Возьмешь этого на исправление — будет в твоей пребывать воле. Епитимья — из скита ни шагу, в ризнице нижнего храма каменного молиться будет, ключ при себе держи, — от полунощницы до вечерни пусть молится, после трапезы воду и хлеб относить будешь, лампад возжигай ему перед вседержителем, ночью у тебя на досках в холодной.

Николке свистящим шепотом:

— Сорокодневная...

Тут только и жутко стало.

А вспомнил про Ипатово непотребство — взвыл дико.

— Он!..

— Строгий молитвенник. Молчи, пес! Иди.

И, сокрушенно вздохнув, пошел Савва писать благодетелю.

Опять под выкрики через весь монастырь шел Николка в скит за Ипатием, только и была отрада — на груди вместо ладонки полторацелковых зашито пятерками и тройками — двугривеннички выросли, да в скуфейке сотенная засунута.

Одно оконушко с землею вровень и свету в ризнице, за переплетом железным на четверть стекло почерневшее, а с потолка падают звучно на каменный пол капли, то в одном, то в другом прозвенит месте.

— Молись, кайся!..

Лампадку зажег, ключами звякнул.

— Молись...

Не слышно было, как и засовом загремел снаружи.

Сколько лет Ипат после каждой обедни: ранней, средней и поздней песнопения возносил владычице за молебствиями, басом тянул гнусаво в нос, чтоб в дырявый рот не присвистывать — пресвятая богородица, спаси нас...

Втроем пели молебное: басом — Ипатий, иеродиакон Памвла — тенорком сифилитным и тоже в нос, да вторил Евдокий — бочка, как огонь рыжий и морда опухшая от казенки тоже красная, а сам — в три сосны не обхватить брюхо, не помнит сколько лет как и ног не видал под собою.

Пели втроем и дружбу водили трое.

И у каждого своя немощь, каждого искушает бес по-своему: соблазняет Ипата зад Евдокия, и обед отдавал ему свой с трапезы, лишь бы вечером — укротить беса, а Евдокий по завету Онана праотца — до изнеможения в одиночестве.

Памвла — в обители промышлял у богомолка, что из деревень к троеручице приносят гроши медные. Смолоду наскочил в лесу на такую, что из села сходом выгнали, — пошла по монастырям кормиться, странствовать и понесла немощь страдную... С тех пор и нос провалился у Памвлы постника и фальцет гнусавый стал вместо тенора.

Тоже вечером прибегал к приятелям позабавиться, историйку рассказать скоромную. И каждый вечер зимой да осенью про божественное, про жизнь иноческую.

Шепотком про Ипата с Авдотьей говорила братия, и Николка слышал, потому и возопил гласом великим, когда игумен в полную волю на исправление послал к нему.

А перед этим случай вышел такой — поссорился Ипат с Евдокием, тот ни каши ему, ни щей, а Евдокий и решил проморить старика,— не заходил вечером. Ипат и решил испытать Николку.

После вечерни привел его, тот от сырости за пять дней кахи да кахи:

— Жизнь загубить вздумали.

— Я б тебе облегчение сделал, каб ты помог моей немочи. Так-то, подумай...

И до ранней его не будил, дал выспаться.

По осени и без того солнце встает поздно, а от болот туманных — совсем темно. Никто и не заметил, как повел Николая Ипатий не перед псшунощницей, а перед ранней и ватник ему свой дал зимний.

Вечером чуть темнеть стало — Николку из храма вывел.

— Пойди погрейся, чайку выпей.

Чайку попили, Ипатий свое — задабривает:

— Каша там у меня осталась, поди доешь,— повара дали лишнего.

Николка с разгона спросил, не думавши:

— Будешь на Полпинку пускать к бабам?

Вечера — ночи темные, скит на отлете, в лесу — бору темном, все тропинки исхожены — не заблудишься.

— Буду. Уговор только: попадешься — твоя вина.

— Ставь для почину казенную.

— Откуда я тебе теперь возьму?!

— Вона!.. Погляди за троеручицей — найдется, может. Икона-то чудотворная.

А в святом углу в два ряда иконы, а за одной — потайной шкафчик вделан, как дверцы ее отвори — монополия.

Покряхтел Ипатий, нечего делать — плоть немощна, дух слаб и достал из-за троеручицы казенную.

Выпили, закусили... Ипатий только для виду, а Николка выдул дочиста, хоть выжми.

В кладовушку Ипат его не послал — оставил в келии, огонь загасил и прилег прочесть наставление иноку, аки подобает в послушании пребывать в обители.

Беса укротил, смирил немощную плоть, на молитву встал к полуночи, а Николка ворочался долго и засыпая мечтал о Полпенке вожаденно, солдаток вспоминал безмужних, куда и раньше хаживал с Мишкою да с Афонькою.

Вроде скита у одной избы на отлете к монастырскому лесу — одна живет, а прибегут иноки утешаться вечером, на деревню добежит

подружку кликнуть. И огурчика, и селедочки, и колбаски, и водченки — всего чего хочешь принесет из кладовки и любовью потешит иноков — продырявит к весне карманы монашеские.

Вспомнил Николка про баб — ладонку на груди пощупал и в кармане скуфейку попробовал — и попросил Ипата как-нибудь Мишку к нему прислать.

Поменялся Ипатий с Николкою: оставил его на своей постели, а сам после молитвы полунощной в кладовку на доски. И наутро его не будил, а спросят — решил сказать, что занедужил в сырости. Пищу ему приносил свою с трапезы, упрасивал поваров дать побольше, — принесет и себя не обидит, и Николка сыт.

Игумен спросил Ипатия:

— Кается Николай?..

— Чего-то раскашлялся... должно, простыл от сырости... сколько дней не вставал. В келию его замыкаю, там молится.

— Жалостливый ты старец, отец Ипатий... В твоей воле — тебе отвечать господу.

Мишка прибежал вечером...

— Тебе что, друг милый?

— Приходи завтра, пойдем на Полпинку...

— Ладно. Только я тут одного попики прихвачу еще... Компанейский человек. На исправление в обитель прислан.

— Так и Васеньку прихвати — потешимся.

И в первый раз заготовил — старинку вспомнил.

II

И в монастыре сыскались попу приятели — иноки... Сперва за елеем на Полпинку посылал Мишку, а как Николка предложил к бабам — шепнул Мишка Федору:

— Пойдем, бать, к солдаткам?..

— А можно?..

— Во-на!..

Васеньку прихватили и через заднюю калитку из скита зашагали через болото по кочкам к солдаткиной избе на отлете под монастырским лесом.

Постучали, вошли...

— Принимай гостей, Ксюха, — потчуй вином да ласкою.

— Разве ж одна я управлюсь с вами?.. Пождите тут малость, добегу еще кого кликну.

Двух привела гулящих: Малашку да Машку.

Возопил Васенька:

— О, господи, искушение... взыгрался духом веселия бес паскудный...

— Не бойся, Васенька... не укусят тебя, ты погляди только.

Лампа сипит фитилем нагарным, прикапливает... Дым табачный, — двадцать штук — пятачок — Роза; бабы перхают от водки, на коленках повизгивают, Васенька руками отмахивается и лампадик за лампадиком опрокидывает.

Поп Федор вошел — сел на лавку угрюмый, а глотнул — прожег нутро смертное, взыграл жеребцом стоялым, — закрутилась баба под ним кубариком.

Васенька глаза вылупил и со страху из горлышка полбутылки вылакал — не дыхнул и повалился на лавку бесчувственно.

— Камо бежу от сатанинского действия?.. Камо бежу? Камо?!

И засопел сонный.

Умаялся попик с Машкою пьяною, сунул хозяйке что полагается и улизнул от братии.

Расходилась душа Николкина:

— Пей, бабы, утешай братию, платить буду.

Запрокинул Малашку.

— Лей, Мишка, ей из горлышка, ядовитей будет.

И по очереди: один держал — другой накачивал казенною, слышно как в глотке булькало; глаза баба выкатила — зашлось сердце.

У Николки мелькнуло, заржал довольный:

— Эй, бабы, раздевай Ваську. Раздевайся, Малашка, ложись рядом, позабавь блаженного.

А потом:

— Давай, Мишка, Ваську свяжем с бабою, поглядим, что будет делать, когда проснется.

Связали блаженного с бабою; с Машкою захрапел Мишка пьяный, а Николка повалил Ксюшку на бок ее, на лавку, грудь выпала, выкатилась из-под рубахи, болтается пол-аршинная над полом, покачивается. Николке смешно — подбросит ее на ладони — треплется.

Баба вопит:

— Что хошь со мною делай, ее не трожь... Слышь ты!

— Она у тебя, как в соборном колоколе язык — длинная и мочка-то — хоть веревочку к ней привязывай.

— Не трожь, а то в харю дам.

И подрались.

Прочухался Васька, глаза открыл — завизжал дико, Малашку напугал пьяную.

Мишка встал, отвязал блаженного,— бросился тот нагишом из хаты.

Пока продрал Мишка глаза,— след простыл Васеньки.

Николка ему:

— Бежи, догоняй... Утопится.

Ксюшка вопит благим матом:

— Надругался надо мной злодей этот... Помогите мне.

Накинулись втроем на Николку пьяные, по чем попадя кулаками бить, на пол скатили — таскают за волосы, а потом:

— Плати за всех.

— Бить меня?! Ничего не дам.

За дверь вытолкали.

— Что ж теперь делать, бабочки?..

— К игумену к самому пойдем жаловаться,— надругатели! Рассветет и пойдем,— глядеть, что ли?

Васенька до озера добежал — остановился вкопанный, шумела вода у постав бурливая по-осеннему.

По следам его нагоняет Мишка, кричит по лесу:

— Васька, стой... Слышишь ты... Ва-сень-ка!..

Очнулся, услышал голос, увидел черную рясу — подумал, что сам сатана гонится, машет крыльями, и бултыхнулся в озеро.

Мишка за ним — вытащил и к мельнику монастырскому, отцу Павлу.

— Голый-то чего он?..

— Водили к бабам его, на Полпинку, чтоб не тер молофею, хотели излечить его, а он топиться вздумал.

Окунулся в студеную — сорвало Ваську. Отоспался до утра... В чужом подряснике под колокольной забился в сено.

Николка покряхтывал, шел, почесывался, а сам думал, что все-то у них, у баб деревенских, костистое,— расшибешься на ней, не то, что у Фенички теплота мягкая.

Перемахнул через ограду скитскую — к Ипатию.

К ранней ударили — завыли две бабы у покоев игуменских: Малашка да Ксюшка.

Савва к ранней — навстречу бабы.

Повалились в ноги.

— Что вам?

— Обесчестили нас, надругались иноки!

— Солдатки мы, защитить некому...

От самих перегаром разит за версту.

— Тем и живем, что забавляем монахов водченкой да песнями...

— За двугривенный ночевать пускаем...

Руками всплеснул Савва:

— Наказал меня, господи, недостойного... Говори ты сперва... Ну, говори! Как зовут?..

— Малаланья, отец игумен... Малашка.

— Что было?..

— Да он-то, Николка твой, с Мишкой — ручниками связали меня с Васенькой, голую, и его в чем мать родила, положили вместе, надругались надо мной вдовою, вот и сапожки его, и портки нижние с рубахою, и шапочка, и ряса... все тебе принесла, батюшка. Защити ты меня, сирую.

— Да как же это так они, как же?.. Иноки?! Господи Иисусе Христе... окаянные...

Разложила перед ним на порожках, сама на коленях подле завывала с причетом и слезы-то пьяненькие, и голосок-то срывается икоткою:

— Пьяные были... Пьяные... Меня, батюшка ты мой родимый, силком поили, пить не хотела — держали за руки — да как еще — из горлышка полбутылку влили... разве ж можно над женщиной-то, над вдовой потешаться так! Я к ним по-доброму, ба-атюшка, похорошему, а они раздели меня... разве справлюсь я с ними?.. связали с голым... Спаси, защити... Твоя воля...

Заметался Савва старенький, кричит своему белобрысому:

— Привести их сюда... сейчас привести всех... Михаила сюда... Васеньку... Из скита Николая... Да бегом ты... а то я... Прости меня, господи... Настави на путь истинный. Ну, а ты, с тобой что сделали?..

— Николка, он же... Николка этот... Сама скажу правду, скрывать не стану... тем и живу, что водченкой торгую, твоим продаю монахам... И сама с ними непутевою стала, кормлюсь этим... Все б ничего... таковская... сама говорю — таковская, с голоду и за гривенник ночевать оставляю... Как только захочется им... угождаю... всячески... И Николке твоему угодить хотела, а он... его... титьки-то мои из-под рубахи выдернул и давай их качать в стороны... Качал бы как, а то ладонью подшвыривал, а сам, он-то... Николка... Николка... они у тебя... говорит... как в монастыре у нас в колоколе язык длинные... ето он-то, Николка... и соски-то у них... хоть веревочку к ним привяжи... Тем и живу я, а он что — еще надругался и денег не

заплатили ушли... Я хозяйка всему... я... Малашка подруга моя... Да как безобразничали-то... и меня силком, вот те хрест истинный, силком поили, из горлышка вливали в глотку... как еще не задохлась... Бог сохранил... Он, отец небесный... Найди ты на них управу...

Не дослушал Савва, замахал ручками:

— Больше слушать не буду! Не буду, не буду... С богом идите... с богом...

Убежал в покои...

— Что ж, Малашка, так и не заплатят нам?.. Выпили-то сколько, проклятые... Две четвертухи... Как же так?..

Из окон братия...

— Ну, попадитесь теперь в лесу только... придете за ягодами... мы вам дадим, паскуды... Приди только ягоды продавать к гостинице...

Обе Полпинки в лесу на песках, на болотах — своей земли — поларшинчика, а жили в довольствии... Мужики лес монастырский сводили,— завоет, загудит по ночам ветер осенью — лошаденку в дроги и поехал — пила скрипит, топор стучает — братия почивает праведно,— повалит сосну — двум не в обхват — поровней выберет — да каждую ночь ездит и скрипит лес монастырский по пескам на дорогах.

Бабы тож промышляли: летом — ягодою, зимой — монахами, чтоб сподручнее мужикам было лес сводить — полюбовно: либо сами ходили полы мыть в келии, либо к себе пускали, когда мужики на промысле, а солдатки — на всякий манер угождали за гривенник — кормились тем.

А летом в лесу — попадется какая иноку — не отказывается, потому земляника в цене у дачников — целые дни варенье варят из ней — душистое.

Девкам беда только — встретят одну — кончено, либо силком, а либо домой придет избитая — девки гуртом в лес ходили.

Вбежал Савва в приемную — забегал по половичку, закружился старенький, клубочек съехал на сторону, четки звякают.

Васенька прибежал первый... зуб на зуб не попадет — глаза мутные — в жару трясется — на колени пал.

— Бес разум помутил... не по своей воле... бес повел... бес чадный... Связали меня... положили с ним... Отец Савва... Савва праведный... Бежал от него — за мной гнался... Во образе блудницы

обнаженной был, а потом замахал крыльями... черными... в озеро от него... в озеро бросился... и он за мною... вытащил... Соблазнил бес полунощный...

Бегают Савва — машет руками на Васеньку:

— Не ты, не ты!.. Знаю... не ты... Они... они...

Николка вошел, Васенька на него:

— Он меня, он... Летом она приходила к нему ... Сам видел... Показывал мне... Беса... Феничкой звали... Феничкой... Говорил ему — Феничку — веничком... веничком изгони... веничком...

Подбежал к Николке игумен — из двери ползком Мишка.

Николка себе в ноги бухнул, и заползали по половичкам за Саввою — за ноги хватают, молятся.

Васенька увидал Мишку.

— Савва праведный, Савва!.. Изгони беса... Бес ползает... не инок, Михаил смиренный, бес ползает. Да расточатся врази его и да бегут от лица его... Праведный... Бес ползает... Он... Он гнался... за мной... по лесу... из воды вынес... тянул за волосы... вот тут... клок вырвал... потом понес меня с крыльями черными... Не Мишка тут — бес ползает. И тебя, Савва, соблазнит... изгони беса...

Белобрысому закричал Савва, тыкая пальцами в Васеньку:

— Уведи его... уведи... Ему бог простит... невинен... Они... они...

Руки возвел горе...

— Укажи! Наставь! Научи!

И четками Михаила по темени...

— На покаяние... на год... запру... Замуравлю заживо, пока всевышний мне не укажет сам, что делать... Немоощного, праведника, провидца с непотребною женой связывал... Ты?! Посмел?! Вон... Вон... До скита ползком... ползком... в ризницу... молись... Кайся...

И когда тот стукнул о порог носками, подбежал к Николаю Савва...

— А ты? ты?.. Епитимью нарушил... покаяние?.. Обитель поносил святую... Пристанище иноков опозорил... Телеса блудные,— тебе провозвестник господней славы?!

Решился Николка — на последнее...

Стукнулся лбом в сапоги Савве и со слезами отчаяния:

— Отче, Савва... Учитель... Авва... Бес меня ввергнул... совратил к блуду... Ипатий... Он... До конца совратил... Он... Он...

— Ипатий молитвенник... молчи, пес!..

— Яко с женой в ночи прелюбодействовал со мною... В келии у себя держал... От молитвы отвратил... от покаяния... На блудные мысли направил... О грехе его... Евдокий будет пред господом давать

свидетельство... Живого грозил свести в могилу за ослушание... Он... Он...

Успел Николка забежать к Авдотьюшке, а тому — готов услужить Ипатию по-приятельски.

Привели Евдокия — свидетельствовал Савве истину. Вместо Николки — Ипатия в ризницу, а Мишку — из монастыря выгнал Савва.

Николке сказал:

— Господь покровитель твой... А за Васеньку в боковушке моей будешь каяться. Ступай, блудный.

Облобызал Николка стопы Саввы смиренномудрого — воссиял радостью.

А Васеньку вратарю Авраамию, старцу кроткому, приютить велено, исправить на путь истины.

III

Изо дня в день в боковушке Николка молится... Савва взойдет — свечечка зажжена перед спасителем — на коленях стоит, молится. От пищи отказывался — уговаривал Савва:

— Послушание паче поста и молитвы... Вертает тебе всевышний разум... Молишься, в послушании перед господом пребываешь... Нельзя от пищи отказываться, грех великий... Затворники только просфору, освященную перед жертвенником, вкушают с водою, а ты еще молод. Бойся гордости — грех великий. Не возгордись перед отцом небесным своим покаянием — возгордишься — вселится бес.

Лето пришло — никуда из покоев игуменских, братия по лесу с дачниками, с богомольцами — Николка молится — в душу влез Савве молитвою, сыном родным величать его стал игумен, советоваться начал в делах монастырских.

— Костя мой белобрысенький — смирный монашек, незлобивый и ума-то у него с крупицу макову, а тебе господь разум послал — дар божий и облик твой — смиренный, иноческий, боголепный. Преподобных Бориса и Глеба с тебя писать иконописцу какому...

И братия позабыла про Николку: на глаза не попадался и забыла.

А у Николки своя мысль: в миру не пришлось жить в довольствии, захотелось в покаях игуменских стать хозяином, сам еще не знал как, а только понравилось ему у Саввы. И к делам, распорядкам хозяйственным стал приглядываться. И молчок — про себя думал. Не осталось приятелей: Афонька в городе, Мишка — изгнан, а Васеньку затворил Авраамий в келии и чтоб бес не мучил блаженного — связывал руки на ночь веревкою и на полу, на досках подле себя

кзал, а днем его не спускал с глаз — на лавочку посидеть выйдет подле келии у ворот и его с собой, за ворота постоять — его с собой. Все время мерещилась Васеньке баба голая — Малашка пьяная. Увидит богомол, либо дачницу красивую — к Авраамию:

— Вратарь!.. Не пускай беса в обитель нашу... Изгони господним именем... Вратарь... изгони!

— Кого, Васенька?.. Где ты увидел беса?.. Что ты?..

— Идет, отец Авраамий идет... погляди... вот она, вот она...

— Это к обедне идут... Молиться богу... Женщины...

— Бес во образе женщины, бес проскочил... Догони, вратарь... Изгони беса.

Думал, думал Николка — придумал...

Савва собирается к полунощнице, а он к нему...

— Что ты, Николай?.. Что ты?..

— Отец Савва!.. Сон меня посетил дивный... Всю ночь не отходил от меня старец в схиме, подавал мне кадильницу воскуренную, и не взял я ее — убоился, что принять недостойн от праведника, — сияние окружало лицо старческое. Говорил мне — возьми, инок, тебе вручаю... Возьми... Да не погаснет фимиам благовонный перед господом., доколе не свершишь пути послушания. Всю ночь, отче Савва, снился мне схимник праведный...

— Десница господня указывает тебе путь истинный!.. В сновидении тебе проявил милость... Рясофор прими... Рясофор тебе Симеон, пустынный наш, повелел принять... Вот что сон твой значит божественный...

— Недостойн я, отче Савва... Согрешил пред господом...

— Смирись, Николай, смирись... Гордость тебя обуяла... Сам господь тебе указывает, а ты руку его отстраняешь, — возгордился ты... И во сне должен был принять от старца кадильницу — знаменующую чин ангельский — рясофор иноческий...

Со смирением припал Николка к стопам игумена...

— Благослови, отче праведный, воспринять чин монашеский...

— Пойди, помолись старцу нашему, основателю Бело-Бережной пустыни, на месте его упокоения... Прими от него кадильницу...

За обеднею призвал Савва в алтарь Виссариона, духовника братии.

— Исповедуй Николая послушника, рясофор благослови принять.

И распустил Николка по монастырю индюшиный хвост в перьях складочках — сотенную из скуфейки не пожалел вынуть — чтоб шумело побольше. Четки себе в сорок камушков отхватил граненые.

Идет — глаз не подымет — смирение.

Только Памвла один — не выдержал...

— Больно петушишься, Николай... то бишь — отец Гервасий!..
Молод еще...

Побежал бы сказать приятелям — да померли... Ипатий не выдержал в ризнице — бездыханного нашли как-то, а Евдокий-Авдотьюшка — водянкой в больнице кончился.

В келью не захотел Гервасий, упросил Савву остаться у него в покоех и послушника не взял себе кудреватого.

Зима подошла и до обители слух долетел — прислали книжечки, что жидовский кагал извести задумал царя батюшку, а что с жидами-де заодно господа интеллигенция и студенты работают — на жидовские деньги.

Была скука,— стало весело, нашлось над чем почесать языки братии.

То бывало в назидание под двуглавым орлом с Михаилом Архангелом либо с Георгием Победоносцем привозили газетки братии, а то ничего — ни товарные по лесу не гудят, ни почтовые, одни волки завывают вокруг пустыни да монахи к обедням отзванивают...

Тишина мирная...

Только к вечерне отблаговестили — загудело по лесу — катит на парах машина.

Прислушалась братия...

— Слава всевышнему... пошла машина!

Волки поджали хвосты — в лес теку.

А из лесу, с платформы в обитель — в пиджачках, в кепочках с пересмешкою озорной безбожною с Паровозной Радицы богомольцы жалуют — забастовщики.

Бастует завод — праздники...

Развели пары паровозу новому... Вагоны свои составили — и на богомолье в обитель тихую. Монастырская линейка, как бесноватая, подкатила порожняком к гостинице.

Лошади взмылены и монах припотел со страху...

— Отец гостиник — своим поездом... с Радицы... тысячи... идут сюда... тьма тем...

И на конский двор — махом.

Лошадей бросил... к игумену.

Белобрысый Костя открыл.

— Что ты?

Не передохнет... захлебывается.

— К игумену... поскорей... беда...

— В соборе...

В алтарь прибежал... не отдышится, пот катит градом, а у самого с перепугу лицо бледное, глаза навывкате.

— Что ты?..

— Приехали... тьма тем... идут... с девками... дебоширят по лесу...

— Да кто, кто?!

— С Радицы... забастовщики...

И по всему собору ветерком разнеслось... идут... с Радицы... тьма тем... забастовщики...

Один по одному — в келии.

Певчим махнули по келиям расходиться.

Недельный монах вечерню кончать в читку.

Выбежал Савва старенький из собора, стал на порожах, покрикивает — голос дрожит, срывается, ручками размахивает:

— Святые ворота закрыть... На замок... Скорее...

Заковылял Авраамий — руки трясутся — ключи звякают...

Вышел закрывать, глянул к лесу — присел с испугу.

— Васенька, пойдی помоги!.. Идут...

Пришли!..

Зашептали старцы:

— Пришли... пришли...

Игумен в покои скорей, по дороге шепотом:

— Задние ворота закрыть, — что на Снежить... Сказать скитникам... К Акакию добежать на пустыньку — обидят старца... Мантийных зови на совет!..

Старцы пришли, воссели на совет в приемной.

— Владычицу поднять, с песнопением вокруг монастыря обнести заступницу.

— Нельзя, святотатствовать начнут... На поругание — пресвятую богородицу, обитель, иноков.

— Это жида, они послали, проклятые... Запереться в обители, осаду принять... Яко от нашествия иноплемennых...

— Революеры у них... стрелять будут...

— С бомбами...

— Обитель сотрясут бомбами...

А Николка стоит смиренно позади всех, опустил глаза, слушает.

Ни к чему не приходят старцы.

Пал Гервасий в ноги игумену Савве...

— Разреши перед старцами сказать недостойному рабу твоему Гервасию. Благослови, отче Савва, на подвиг крестный... Спасти обитель.

Умилились старцы, благословил игумен его...

Одел поскорей старый подрясник, скуфейку старую и на конюшню бегом.

Выехал полегонечку, через мост перебрался, водовозку в кусты, сам верхом и через большую Полпинку полетел по лесу.

Рабочие в номера. Молодые с женами, а ребята — невест прихватили, девиц знакомых...

— Ну, отцы, не ждали гостей?!

— Растрясем мы вас, толстопуzych!

— Ишь, брюхо-то понаели?!

Один шутник подошел к гостинику:

— У вас братия что, самодержавием занимается?..

— Не с жидами же забастовки устраивать?!

— А то б забастовали!.. А?!

— За самодержавие стоим! В писании сказано — властям предержащим да повинуйся, несть бо власти аще не от бога. Божий помазанник самодержавец наш.

— Чем же вы его мажете? А?!

Хохочут рабочие, а гостиник и вправду подумал, что говорят о политике.

— Вазелинчиком мажете или от чудотворной маслцо-м?..

— Миром помазан...

— Так, значит, за самодержавие стоите?! Правильно, отцы, правильно!..

В кельи говорит коридорным обиженно:

— Осторожнее с ними... О политике ничего чтоб! Меня на смех подняли за то, что, как истинному инокy подобает, верен остался отечеству и престолу — самодержцу нашему.

Забегали коридорные послушники, — кому самовар, кому квасу, кому хлеба — кому что, а как высыпали по сговору из номеров литейщики да прокатные...

— Делегацию пошлем к игумену, пускай кормит ужином... Не обеднеет братия.

К монастырю подошли — заперто, забарабанили в святые ворота.

Братия по углам забилась, попряталась.

Авраамий трясется у ворот, спрашивает:

— Что вам, полуношники, нужно от братии?..

— К игумену, от рабочих, выборные...

— Почивает игумен. Не нарушайте покой благочестия... не кощунствуйте!

— Не уйдем, пока не откроешь. Поди разбуди игумена... По делу скажи, по важному. Не тронем мы дармоедов ваших.

Добежал до покоев игуменских... Молится Савва со старцами. Акафист поют троеручице, ожидая спасения, обещанного Николкой.

— Выборные какие-то... просят... Святые ворота грозят разнести...

Старцы к игумену...

— Прими, отче Савва, крест страстотерпца... Выйди к ним... Мы за тебя вознесем молитву.

Побрел старенький.

А вслед:

— Пресвятая богородице, спаси нас...

Открыл Авраамий ворота святые...

— Что вам от братии нужно в час вечерний?..

— Прикажи, отец, ужин сготовить... Товарищи есть хотят!

И послал Савва с трапезы, что на братию было сготовлено, и старцам сказал, что один день обитель пост на себя наложит во имя прославлений вседержителя.

А Николка по лесу через Большую Полпинку в город прямо стремглав. Без седла, за гриву держался, ерзал по спине жеребца из стороны в сторону, раза два об сосны саданулся боком, руки содрал, потерял скуфейку.

Без передышки проехал двадцать верст.

У первого постового спросил:

— Где гут офицер живет?..

— Какой офицер, что ты?!

— Какой-нибудь, все равно, офицер нужен!.. Социалисты пришли обитель грабить... офицер нужен.

Указал ему на жандармское.

Волновался Николка, думал, что каждую минуту ворваться могут и не спасет он обители от поругания, не примет славу имени своему, чтоб каждый инок благодеяние его помнил, да чтоб Савва игумен епископу написал об нем Иеремию.

На другой конец города от жандармского ему пришлось идти за подписью к исправнику, а от исправника — самому,— потому поздно уж, вечером, а по важному случаю и вечером бумажки ему подписывали,— к другому — сотнику и тоже в конце города — почти что до позднего вечера промотался и жеребца за собой водил неоседланного.

На квартиру принес к казачьему сотнику — у того компания — в картишки режутся, и водчонка, и девочки.

— Ты что, отец?..

Рассказал ему сначала все, по порядку, бумажки ему показал...

— Эх, сволочи, банк помешали мне заметать...

Вестового свистнул, приказал седлать сто коней.

На рысях по два по лесу,— спереди Николка с ротмистром, а сзади ингуши с казаками — команда сборная. Замирает у Николки сердце — вовремя или нет?

За полночь спешили у новой гостиницы.

Причмокивают ингуши, кинжалы поглаживают...

— Резить будем...

Спешили у гостиницы главной,— пар от коней — взмылены.

Сотник к Николке:

— В чем дело, отец!.. Куда идти!.

— К игумену Савве, к отцу игумену.

Через святые ворота, под облегченный вздох Авраамия — к игумену.

Старцы и псалом не успели допеть Давидов.

— Спасители наши, да хранит вас владычица!

Благословляет Савва крестом широким, на глазах слезы радостные.

— Благословите, отец игумен, согревающей воинам...

— Чайку прикажу, горяченького.

Суется старенький, от одного старца к другому бежит...

— Отец Феогност, чайку, слышь чайку вскипятить спасителям, да чтоб поест что — чтоб изготовить ушицы, слышь — ушицы, либо соляночки, что поскорей... В такую-то непогодь, мороз-то какой...

Сотник стоит, усы покручивает, в подусники ухмыляется...

— А что у вас, отец игумен, погорячей чего не найдется воинам?..

— Сейчас, благодетель наш — сейчас братия вскипятит чайку...

— А водочки так-то царской не найдется у братии?

Потупили взгляд старцы, вздохнув сокрушенно...

— У вас ведь по уставу и братии вино и елей не возбраняется в двенадцатые, так может есть в запасе...

Уразумел Савва праведный, к Николке шепотом:

— Пойди с отцом экономом, поищи в подвале.

Вынесли послушники пять ведер, разогрели кровь воинам...

Дозорные подле гостиницы — караул ночной...

— Никого не пропускать!..

- Слушаюсь...
- На заре разбудить...
- Слушаю-сь...
- Утром всыпем прохвостам этим...
- Так точно-с...

На конюшенный двор — ячменя коням всыпали, отошли — отогрелись — жеребцы поигрывают — за челку кобыл покусывают — соблазн братии.

Ингуши с казаками по келиям — все запасы монашеские выпили...

А чуть утром прояснило — зазвонили к ранней и казаки к лошадям — так приказано.

Шепталась в старом соборе братия про ингушей сумрачных:

- Яко у архангелов очи — ярые,— гнев господень...
- Подобно архистратигу у врат райских...
- Послал господь милость — содеял чудо...
- Гервасий... он ведь... Николай... говори про него не знать что...

вот тебе обитель спас, братию от надругания нечестивых избавил...

Только Памвла щипал перья усов, в душе злобствуя:

— Почету ему захотелось, рясофор одел — в иеромонахи лезет, погляди еще — игуменом будет.

— А чем не игумен — обитель спас... Не Савве чета...

— Савва помрет — выберем...

И запала у братии мысль — Николку поставить игуменом.

Савва к ранней шел, и Николка клобук вспялил...

— Отдохни, отдохни — измаялся ты... завтра помолишься...

— Возблагодарить владычицу надо... она надоумила меня, скудоумного...

Светать стало — коней оседлали и по три у ворот выстроились и потянулись гуськом к гостинице.

Приказал ротмистр разбудить богомольцев к обедне ранней...

Загремели прикладами у дверей номерных...

— Эй, выходи!.. Дрыхнуть тут...

Загудел страх темный по номерам испуганным. Наскоро сапоги, калоши, пиджаки, пальтишки рваные и сумрачно вышли в коридор,— у девиц юбки набок, тесемки торчат — болтаются. Тепло еще сонное от греха смертного не сошло с глаз темных — глянула ночь в глазницы — окружила кольцом глаза женские...

Спросонья, как овцы, сбились в коридоре кучею, к рабочим жались испуганно. И у тех — вихрами волосы, картузы, кепки на лоб сдвинуты. Молчат — из-под бровей зло черное.

— Товарищи! Длинногривые предали...

И молча толпой из гостиницы на мороз вышли...

К лесу подошли медленно...

С гиком цепью рассыпались ингуши с казаками, в воздух палят — сучки по верхам затрещали сосен, шишки посыпались — разбудили белок...

Дрогнули люди — врассыпную по лесу, по колена в снег; падали, поднимались, снова падали за валежник цепляясь; тянули за собой девиц, женщин...

Нагнали с нагайками посвистом и завопил, завизжал лес сонный.

На ходу из седла выбрасывались, за юбки хватали, за косы и тут же на снег валили пьяные и пьянели от визгу бабьего.

Гнали рабочих по лесу, до крови рассекая спины, головы — следы кровавые на снегу белом сгустками, гнали по снегу и возвращались к женщинам, к девушкам — дотемна, до вечерней трапезы.

Вернулись к братии промочить глотки...

Из-за сосен к невестам подошли, к женам, понесли на руках по двое, по трое к платформе. Только лес охал протяжным стоном...

Гудел, завывая по лесу, паровоз — крестилась братия в страхе, потому по всему лесу отзывался вой волчиный — разбередил голодное нутро звериное, потянулись гуськом к обители алый снег вылизывать.

А Савва игумен епископу послание писал слезное о праведном иноке Гервасии, спасшем обитель тихую, в иеромонахи рукоположить молил смиренно.

Попили кваску воины, похмелились — и по двое через Полпинку через лес потянулись к городу с песнею.

Десять конных остались с людьми на монастырской гостинице охранять братию...

Николка опять стал выползать из келии, по монастырю ходил смиренно и хозяйственно поглядывал на братию.

Сколько прошло — в город вызвали к епископу.

Рукоположил епископ инока в иерейский сан,— серебряным крестом поблескивал.

Вернулся в монастырь — к Савве прямо.

Облобызали плечо друг другу, в пояс поклонились истово...

— Сподобил тебя господь сан принять ангельский, разум тебе послал всевышний, направил на путь праведный. Келию себе выбери...

— Авва, учитель... чем прогневал тебя, почто гонишь от себя инока, дозволяй у тебя быть в келии.

Оставил Савва Гервасия в покоех игуменских и стал Николка помогать игумену советом мудрым. Привык Савва, шагу ступить без него не хотел,— как скажет Николка, по его исполнено.

Во все книги заглянул — доходы подсчитал братии и опять в душе загорелась жадность.

Мох по весне в лесу вздыбился, туман повалил с болот и мужик вылез полпинский промышлять монастырским лесом — что ни ночь — звенят пилы, топоры ухают — трещит сосна, валится.

Прибежал монах с мельницы, другой с хутора монастырского — к игумену.

— Отче Савва, красоту пустыни губят мужики полпинские — лес валят,— ходили мы — топорами грозят, лютые.

— Подле самого озера — не в обхват выбирают,— что делать? Научи — тебя наставил господь в премудрости.

Замигал Савва глазками — без Николки не знает решить что. Призвал его, совета просить стал.

— Собери, отче, старцев... соборне решить надобно... Братия хозяин лесу — господь укажет.

Старцы собрались — кто что...

— Послушников послать караулить...

— С топорами они... братии в писании недозволено оружие в руки брать... не попустит владычица кровь пролить иноку...

А Николка опять подле двери стоит, опустил глаза смиренно, изредка только на старцев поглядывает с усмешечкой и усмешечка-то не видна, чуть губы подергиваются.

Судили-рядили — и старцы к Николке — совет спрашивать.

Со смирением поклонился братии...

— По моему разумению послать за небольшую мзду кавказских людей, что при гостинице живут, охраняют братию. На хутор трех, да на мельницу столько же — ни один не покажется, не то что с Полпинки, и с Мышинки-то дальше деревни своей не выйдет — на три версты объезжать обитель станут.

Выручил и тут Гервасий братию.

Так и решили — на хутор послать и на мельницу.

Старцы от игумена расходились — вспоминали совет Гервасия.

— Истинно говорит Савва — наставил на путь истины господь Гервасия... мудрый инок...

Белки по лесу разыгрались в соснах, и великий пост нипочем — гоняются с веерами пушистыми за самками, и купчихи уж говеть приехали, а в обители печаль — занемог Савва, игумен праведный,—

неотлучно при нем Гервасий, только ночью отдохнуть ляжет, посадит вместо себя белобрысого послушника бессловесного, спать не велит тому — слушал бы дыхание старца игумена.

Сидел, сидел белобрысый и задремал ночью, очнулся, открыл глаза,— спит будто Савва, а дыхание не слышно... обомлел, испугался, скорей к Гервасию.

Схоронили Савву праведного — зашумела, зашептала по келиям братия — кого выбирать в игумены; все грехи соседей своих припоминали иноки — было, не было — говорят было — недостойн быть избранным, и указать не на кого — все грехом стяжания обуреваемы.

Памвла только ехидничает:

— Николку выберите, Гервасия... обитель спас, совет подал мудрый — кому же другому?

И опять вспомнили старцы, иеромонахи, мантийные про инока мудрого, про Николку. Из своих выбирать — каждому хочется в покаях пожить игуменских, повластвовать,— соревнуют один перед другим, а Николка будто и свой и чужой — потому молод.

Целые дни не находил себе Николка места, думал, что коли теперь не выберут — на всю жизнь в монастыре простым монахом коротать век, а выберут — жизнь новая, не в миру, так в монастыре будет первым, про старость скопит медными.

Отслужили молебен троеручице, соборне к гробнице схимонаха — основателя пустыни благословиться сходили и пошли выборные в трапезную.

Засиял Николка, когда сказали — Гервасия, Гервасию быть игуменом.

Хозяином ходит в покаях игуменских — игуменом.

Гнет Николке бессловесно белобрысый послушник спину.

IV

Развернулся в лесу вырезной папоротник, отошла земля — вздохнула побегами молодыми, кукушкиным льном бархатным — разбрелась по лесу братия,— дух благостный в лесу, молитвенный... Затарахтели линейки с дачниками, с богомольцами — смех да улыбка разливчатые молодых барынек, жен гулящих звенит по верхам сосен от мельницы со стороны Большой Полпинки, потянулись и дальние и ближние в сарафанах, в паневах подтыканых деревенские к троеручице; зазвенели семитки, пятаки медные в монастырских

кружках — на украшение, на построение, на прославление дальней пустыни Бело-Бережской.

Странники, странницы, что испокон веков из монастыря в монастырь по колчам, по пескам, по суглинку бредут — заковыляли по монастырям, прихрамывая да пришептывая, по завету сорока калик со каликою, что к Иерусалиму хаживали по обету сызмальства: в пути ко святому граду в блуд не входить, а кто согрешит — тянуть язык со теменем, копать очи ясные косицами, закапывать в землю Адамову по грудь белую.

Идут по дорогам к обители — невзгону мужицкую несут выплакать троеручице, грехи замолить смертные: Ева согрешила, Адама прельстила, закон преступила, богу согрешила на святой земле, под запретным деревом, душу погрузила во тьму кромешную и род человеческий отогнала от рая святого...

— Сподобит господь повидать старца Акакия... взглянет на тебя — правду скажет.

— На пустыньке Симеоновской живет — душевный старец... каждый год хожу с того дня, как с невесткой меня рассудил...

Сядут странники в лесу на пенек, пожуют хлебца, а потом — расплескают душу перед незнакомыми, лишь бы ее человек выслушал, облегчил тяготу.

Такая уж на Руси повадка — на миру каяться, душу до дна вывернуть, облегчить тяготу и все равно где — только б на людях, иной раз обиженный человек и в трактире выплечет, потому не всегда хватит силы открыться трезвым, а простой народ, горемычные бабы — на людях, на путях странствия, когда душа к земле ближе в тишине примиряющей — всю выскажет, облегчит путь жизненный. Только обиженный человек и может душу раскрыть каждому; только у нас и есть это смирение обиды невыплаканной, и пока не станет душа ясною, до тех пор и кается человек и обиду смывает слезой покаянною.

И монашенка, что вместе со странниками позади шла, и она б покаялась, да силы нет еще, может оттого и нет, что скуфья на ней черная и одежда смирения — топит в себе всю боль, до конца дней своих нести молчаливо тяготы.

Поднялась, вздохнула только, голову опустила и пошла позади всех сторонкою.

По городам, по деревням, по монастырям Ариша ходит и всю жизнь ей ходить, пока не покается, не смирит плоть грешную, — второй год, как мать игуменья из монастыря выслала и выгнала б может, да позора боялась, боялась обитель ославить девичью,

чистоту перед людьми обнажить гнойную, пожалела ее душу девичью, неповинную, согрешившую земной любовью.

В монастыре согрешила девушка, а монастырь городской — в городе, на краю самом, у железнодорожного полотна,— одной частью над Окою повис подле моста железнодорожного. И гудят целый день над откосом поезда с грохотом, вылетают из глубины двух откосов змеями через мост и дальше по крутой насыпи в поля уползают хлебные. А выйти из задних ворот монастырских — мост перекинут через реку к кладбищу монастырскому. Точно сад оно при обители — запущено, ни дорожек нет, ни тропинок и только бугорки-холмики, покрытые незабудками. По весне в кустах соловьи с вечера и до полуночи, и не кладбище, не место успокоения, а сад радостный.

Ходят в него вечером влюбленные — тишину обители смущать поцелуями в лад соловьиный, и черные тени крадутся по ночам в кустарники — монашенки молодые, послушницы.

Такая тут жизнь вольная,— за стеной монастырской целомудрие, а вышел в калитку заднюю, перешел через мост — кладбище и соловьи свистят трелями, и в сердце эти трели звенят, будоражат кровь радостью.

Ариша девчонкой взята в монастырь семилетнею. Мать померла, брат без вести — приютила ее мать Валерия, а с пятнадцати и скуфейку одела ей — спрятала золото рыжее под черный бархат, на клиросе певчей поставила. А в монастыре был такой порядок — не знали певчие работы черной, в досуг — рукоделие. Мать Валерия регентом, смиренная, по купцам привычная, отпоют заупокойную, проводят на кладбище и пригласят ее помянуть покойника. Отправит домой Аришу, сама ей накажет — «простыни метить кончай, придут сегодня заказчики»...

Пришло время, когда кладбищенский соловей кровь у Ариши взволновал трелями — покою себе не могла найти, сама над пальцами гнется, а у самой тоска непонятная...

Мать Валерия скажет только:

— Терпи, Аришенька, терпи, милая... Тяжело девушке помирать заживо.

И терпела Ариша, пока жива была мать Валерия, смиренная монашка была, тихая,— море житейское перешла бурное, а когда умер муж — от тоски однолюбия в монастырь ушла.

— Из монастыря никуда не уйдешь, Ариша,— служанкою не возьмут, не любят в миру нас, а так... долго ли сойти с пути истинного, а кто сойдет с него, хуже муки геенской девушке по рукам

пойти, и болезни-то ждут — гнойные,— заживо человек погибнет. А монашенку полюбить?! Полюбит, ненадолго только. Спаси, господь, тебя от такой напасти... Ты красивая девушка, у тебя волос золотой вьется локоном и золотой у тебя голосок... Не знаешь ты ничего... Плохо это... Береги себя, девушка!..

Берегла себя до семнадцати, пока мать Валерия была жива, а не стало Валерии — с той стороны, что к городу, обрыв семинарский как лес темный и бродят по нем поповичи, соблазняют послушниц,— через обрыв на гору, кругом монастыря мимо калитки задней и на кладбище — караулить послушниц, романы крутить по весне с соловьиными трелями. Искушают поповичи молодых послушниц и старые вспоминают молодость, как слышат песню мирскую радостную. Целые вечера из семинарского парка, из рва песни слышатся — дружные песни, голоса молодые, сильные. А то затоскует попович какой по епархиалочке, по невесте своей, по поповне будущей и такой запоет романс — возьмет хоть кого за душу, не то что послушницу, и голос-то сочный, бархатный, и слова-то нежные:

«Не искушай меня без нужды...»

И вторит ему другой следом...— «без нужды»...

Такая грусть пролетит у келий, такую тоску нагонит о несбыточном, невозможном, о таком сладостном... целую ночь ворочаются на постелях послушницы.

Арише тоже дышать нечем от таких песен, и окно-то открыто, чтоб прохлада веяла, а не спится ей, оттого и не спится, что слышна из оврага семинарского песня, а с кладбища доносится соловьиный звон.

На место Валерии пришла поглядеть келию вдова купеческая, молодая вдова Галкина, и не Марья Карповна, а Евдокия Семеновна, и не Галкина, а Денисова.

Посмотрела келию, спрашивает игуменью:

— А сколько вам за нее?..

Потом на Аришу глянула и как вспомнила, что сама не знала на кого та похожа, а что-то близкое показалось ей, и добавила:

— Только оставьте мне в помощь и монашку эту.

Как не оставить было Аришу послушницей, когда не торгуясь за келию заплатила вдова купеческая и в монастырь вклад внесла, чтоб жить в спокойствии, о завтрашнем дне не думать.

Все жилы у ней вымотали после смерти Касьяна Парменыча, может и все б ничего, а как помер после родов ребеночек от Афанасия Калябина — не в себе стала. И ребеночек-то оттого помер, что через Афоньку к нему ненависть почувствовала.

Сидит над люлькою его, причитывает:

— Чтоб тебя черт побрал, подох бы что ль, а то связал по рукам, по ногам... Корми, няньчись. А вырастешь, про отца спросишь — кто такой был,— Касьян Парменыч; как же Касьян Парменыч!.. А все она подлюга, через нее и меня бросил; обвела его, обкрутила и спровадила, а потом надо мною же издеваться стала...

Вспомнит она, как душила Марью Карповну, и затрясется вся, оттого и сама не в себе целые дни ходила и на ребенка злобствовала. До сих пор не забудет, как глаза на лоб вылезли, язык толстый у хозяйки выкатился, и еще сильнее причитать станет:

— Как добрая в монастырь услала, а сама — спровадила, ни ей чтоб, ни мне не достался Афонька рыжий. Жизнь мою погубила, всю жизнь окаянную... Я-то ждала, я-то верила ему, как собачонка по ночам бегала, а ему одно — позабавиться, а ребеночек-то вот — забава что ль. Освободил бы что ль меня, помер бы, хоть бы жизнь повидала вольную,— а то на двадцать втором году связал на всю жизнь,— няньчись с тобой теперь,— все соки пьет из меня дьяволенок, придушила бы...

На пятом месяце помер, освободил Дуньку.

Василий на нее стал поглядывать, по хозяйству советовать, из половых в сидельцы его. Сперва он воззрился на чернявую, молодую вдову, а потом решил, что не пара ему, потому и не пара, что как-то подслушал ее причитания, когда выручку из трактира наверх принес. Сколько минут простоял под дверью. А Дуньку совесть мучила и Марья Карповна мерещилась ей задушенная, бормотала о ней, про то, как сережки с гранатками показывала...

— Они это, они... самоцветные камушки, не они б, и ничего б не было... Руки дрогнули у меня, кровь к сердцу хлынула и не выдержала... да кто б выдержал?.. каждый бы ее придушил, гадину... и греха нет в этом... чего только она теперь лезет, что мерещится? Ужли и по смерти-то забыть не может?.. Спасала ее, спасала, в баню к нему бегала за нее, чтоб потом надругались, вдвоем надругались — услала его, спрятала... А что взяла? — По-твоему вышло, что ли? Уж если мне не достался, так и тебе не пришлось больше...

Слушал, слушал Василий подле двери и вернулся в трактир обратно,— в карман выручку и пошел домой. Всю дорогу думал:

— Не добром досталось, не добром пойдет, а мне они вот как нужны, деньги-то; заведение открыть свое можно.

Сперва Дуньку хотел обкрутить, хозяином стать, а как подслушал нечаянно и решил прикарманить и денежки, и торговлю Галкинскую.

Народ целый день в трактире и пьют, и едят по-старому, а придет сдавать выручку:

— Авдотья Семеновна, дела плоховаты стали...

Посмотрит на него только...

— Народ дебоширится,— свобода говорит объявлена, теперь говорит и мы тоже вольные,— попьют, поедят, а платить — заставка их, убьют еще, задушат!..

Нарочно и словцо вставит, что и его задушат.

И не думала Дунька о выручке, стала о себе беспокоиться, как бы ее не придушили ночью. Караульщика наняла, странницу в дом пустила, а все не спится и еда не идет в рот, все время думает, что и караульщик-то, кто ж его знает какой, может он-то и задушит ее, ограбит ночью...

А помер ребенок, еще тяжелей стало, и вольная будто, делай что хочешь теперь, а как молоко кинулось в голову, чуть с ума не сошла, еле отходил ее доктор, и еще подозрительней стала. По ночам замыкалась в комнате, диван приставляла к двери и богомолку на нем заставляла спать, чтоб не ее первую, а богомолку тронули...

Василий все свое точит да точит:

— Народ стал — не приведи господи... Ни царя у них нет теперь, ни бога. В убыток работаем.

И опять выполз Лосев, Иван Матвеевич, частный поверенный. Чутьем пронюхал и пожаловал.

Целый год просидел на Мещанской в домике, поправил его на дракинские заповедные — оброс хозяйственно и не строчил уже в базарном трактире мужикам кляузы, а и в суд стал захаживать, манерам выучился, сюртук одел и стал по всякому делу скандальному у мировых защищать сброд всякий. А главное что — портфель завел. Куда бы ни шел — и его с собой.

— Некогда-с мне, голубчик, разговаривать с вами, толком вы говорите мне... Время-то денежки-с...

— Да я заплачу, Иван Матвеевич,— а понимаете — такая вонища, из квартиры нельзя выйти,— целый год уже не чистит, я и в полицию, а там — теперь говорит ничего не можем — теперь свобода,— уж я заплачу вам...

— Но ведь вы оскорбили его, понимаете, действием оскорбили-с... А надо всегда по закону поступать, юридически, вот тогда бы и не пришлось по судам ходить... Понимаете вы, нарушили право личности...

— Да я ж ему только раз по морде съездил...

— Вот за этот-то самый разок и не ему, а вам отвечать придется, потому что теперь у нас гражданские свободы — неприкосновенность личности...

Говорит, говорит просителю, до обалдения заговорит беднягу, а под конец:

— Попробуем в первой инстанции... у мирового, а если не в нашу пользу, тогда придется в съезд мировых, только ведь это, извольте заметить, денежки-с стоит...

И последнего мещанин не жалеет, лишь бы амбицию выдержать...

Тянет Лосев, выматывает по рубликам, по трешницам.

А как нацепил значок Михаила Архангела, еще больше заважничал, большою персоною себя почувствовал и не кляузами заниматься стал, а политикой — верноподданных собирал в сотни черные, а потом и газетку задумал издавать для спасения родины, во имя спасения отечества от врагов внутренних и про каждого небылицы писал,— и отдельчик такой завел,— «Правда ли?»

И газетка на бумаге оберточной, а язвительная, покою она не давала гражданам, как что заприметит Иван Матвеевич или от клиентов своих услышит, и ну строчить в отдельчик — «Правда ли?». — От клиентов и сплетни собирал, выпрашивал.

Глядь и прописано,— а правда ли соборный протопоп в воскресенье в театр ходил на галерку в поддевке купеческой?.. А протопопу и на улицу показаться срам, да и епископ призывает и тоже спрашивает,— правда ли так было. Может, и не было, а напечатано,— было не было — винись перед епископом что было, потому все равно не поверит епископ, раз в политической газете прописано.

— Как же это ты, раб лукавый, дошел до этого?.. Тоже, должно быть, захотел свободы?! Я тебе дам свободы, в монастыре-то ты увидишь ее, как пошлю каяться,— бесовское действие ему захотелось зреть... Ты б о душе подумал... А то...

И отчитает его как полагается.

И приходится протопопу идти на поклон к Ивану Матвеевичу — в партию вступать людей истинно русских, ревнителей церкви и отечества и подобающий взнос делает Лосеву на распространение идей правильных.

Тем и промышлял Лосев,— дела-то делами, и они копеечку ему приносили,— вроде как по зернышку, по трешнице да по рублику, а как пропишет кого — сразу куш.

Особенно купцов донимал.

Напишет:

А правда ли наш почетный купец Подкалдыкин газетки почитывает революционные, да в партии состоит противугосударственной?..

Может, и не было ничего подобного, и наверное даже не было, а пропишет Лосев — на другой день пристав заглянет в лавку и наставительно:

— Вы бы, Сидор Карпыч, осторожнее как, а то про вас в газете написано. Оно, конечно, даны свободы, а только уважаемому гражданину против царя и отечества не к лицу выступать. Вы подумайте... О своей судьбе подумайте, у вас-то ведь детки... Я вам по дружбе...

— Да как же это, да что же делать теперь?

— Докажите верность свою престолу самодержца нашего.

— Всею душою я... Как только, как?..

— У нас на то особый союз учрежден под покровительством обожаемого монарха нашего...

И пойдет купец Подкалдыкин на поклон к Ивану Матвеевичу и за совет отблагодарит пристава, и не только пристав, а за приставом и помощник придет, и хожалый заявится, и участковый заглянет, и постовой бочком пролезет, и каждому Подкалдыкин толику малую вручит с благоговением почтительно, а Ивану Матвеевичу на процветание партии внесет и членский без сдачи за два года вперед, а в лавку вернется и приказчикам всем прикажет, чтоб и они вступили в союз истинно русских людей, и у каждого чтоб значок на груди был, а кто не исполнит хозяйского повеления — тому путь вольный,— иди куда хочешь на все четыре стороны, празднуй жидовскую революцию — будь свободен.

Только старой привычки не оставил Лосев — по чайным, по трактирам хаживал, и тут народ собирал веру, царя и отечество защищать от врагов внутренних.

По этому делу и в галкинский заглянул в пятницу.

С важностью вошел,— сперва в дверь портфель просунул, а потом и сам пожаловал, значок напоказ выставил.

Глянул на народ со строгостью и подсел к прасолам лошаdnикам поговорить насчет политики. Пальчиком этак половому кивнул, а когда тот подбежал, прежде чем заказать пива, открыл портфель, покопался как деловой, поважничал и спросил с растяжкой пива пару.

И потянуло его за пивом от отечества к капиталам галкинским.

Невзначай будто и к Василию подошел, к стойке, и не по-прежнему искательно в глаза заглядывал, а по-новому — щурился

чуточку, и огонек в глазах пробежал недобрый,— знаю мол вас, насквозь вижу, и не говорил уж захлебываясь, а с расстановочкой, только и осталась привычка иной раз прибавлять с, только теперь иной раз и многозначительно.

Подошел и начал:

— Давненько я к вам не захаживал, у вас теперь по-новому...

— Новые времена наступили, Иван Матвеевич,— так и мы по-новому, и хозяйка-то у нас теперь новая... А вы меня не признали, может?!

— Слышал я ваши дела... слышал,— дела-с!.. А вас-то я помню, Василием звать, только не знаю по батюшке как, раньше Василий просто, а теперь положение можно сказать почти как хозяйское...

— Никанорыч по отчеству.

— У меня и раньше у вас тут делишки бывали, и уголок-то памятный, да-с... против стойки вашей.

И потом глазами повел на стойку и полушепотом:

— А я бы вам по-приятельски совет дал.

Помнил Василий Лосева и делишки его знал, так и мелькнула мысль про Дуньку, про Евдокию Семеновну Денисову, что-де, если она хозяйина окрутила, то и ее, и не окрутить, а околпачить можно, и тоже на столик показал глазами и прибавил вежливо:

— Хотел я вас, Иван Матвеевич, по старой памяти угостить — да только решимости у меня не хватает, теперь вы, можно сказать, стали человеком известным у нас в городе, вот и не решаюсь я... а то бы и поговорили бы, старинку вспомнили, оно хоть и не сказать чтоб старинка была, а столько делов тут без вас было, что и на старинку смахивает.

Оставил Лосев прасолам свое пиво, а сам с Василием за тот же столик, где и с Калябиным, с Афонькою по вечерам сживал.

За водочкой и разговор налачился, всегда так у деловых людей хорошие разговоры бывают за рюмочкой, откровенность нисходит за казенкою.

— Я вам что хочу сказать, Иван Матвеевич, с хозяйкою нашей неладное что-то, вспоминает она Марью Карповну и так-то страшно, что и не пойму никак, вроде как находит на нее что... про покойницу вспоминает,— я по секрету вам,— выходит будто, что не Касьян Парменыч свою хозяйку прикончил... такие слова говорит — страшно даже...

— Это дельце-с, да еще какое-с... Василий Никанорыч... Да-с-с-с... дельце-с... Улик никаких-с, а дельце-с... Умопомрачение так сказать-с...

— А еще что... дело-то наше с такою хозяйкой в посрамлении,— извольте помнить, как народ-то кишел в заведении и не от свобод этих дела плохи, а хозяйской руки нет, догляду-с... с... с...

— Так вы ж, Василий Никанорыч, теперь управляете делами всеми, так от вас и в зависимости дела торговые...

— Так-то так, а только мне что, если б мое было и старание б было к делу, а то такое заведение... Украшение торговых мест, и впустую все, все впустую.

— Вам бы и быть хозяином...

Договорились-таки до точки,— покрутились еще словесами друг около друга, нащупали недосказанное потайное и напрямки пошли.

— Страшное это дело, Иван Матвеевич... Жениться на ней — сами видите, сами извольте понимать, а еще как?!. И не придумаешь... Посоветовали б...

— А вы юридически-с... юридически-с... все можно-с... обставьте по закону все, юридически-с... Ну, хоть бы, завалящий какой векселек, что ли, на Касьяна Парменыча, так сказать, представили... ведь должны же быть, и у вас обязательно такой должен быть, при таком деле всегда у служащих векселя бывают к хозяину... Нам завалящий бы какой, и с него начать можно, она-то, вы говорите, вроде как не в своем, вот ей и подать такой векселек... Она ведь,— по секрету и я вам скажу,— неграмотная, а тут и попугать можно, а потом юридически-с... взыщите на векселек... Да-с... Завалящий какой-нибудь...

И не Василий его нашел, а на другой день Лосев его принес, откуда добыл — неинтересно Василию, а как увидал, так сразу и попал в лапы Ивана Матвеевича.

Из трактира шел Лосев, а в голове крутилось:

— И про Денисову пикнуть можно, что-де правда ли по ночам бредит задуманной купчихой Галкиной?..

На другой день пришел к Василию,— про вексель прямо:

— Только что я вам скажу, Василий Никанорович, купил я его у одного человека, так что и вам уж придется...

— Да я, хотите, я напрямки,— не знаю я как юридически-то это, по-ученому, а я бы — пополам все, все дело пополам бы, по совести.

И начали они по совести пополам дельце делать, галкинские капиталы высасывать, Василий и заступником перед Дунькой прикинулся, если б не случай, пришлось бы с капиталами да чуть не

по миру идти ей. В самом деле на нее нашло помрачение. Богомолка и выручила. Слушала, слушала под дверью, как Дунька по ночам бормочет, и не выдержала, посоветовала:

— Матушка моя, Евдокия Семеновна, глядеть-то на вас становится страшно, не пьете вы, не едите, голубушка, и болезнь-то на вас накинута... а все это кровь, она человеку не дает спокойствия, ублажить бы ее и спали бы, и кушали б, и в себя пришли. Дура я несмышленная, и сказала бы... В баньке вас как-то видела и сразу ето у меня в голове как просветление,— от этого самого и неладное, по тельцу-то у вас чирийки, а ведь ето кровь цветет, вроде как лошади по весне секутся, выхода нет ей, вот она и бросилась в голову, и мысли-то все вам попутала, а вы бы меня, дуру, послушали, сколько я земель-то прошла, сколько делов-то видела, сколько людей встретила... И таких видела, нашего брата, женщин, несчастных вдовиц, что в молодости да в цвету здоровья своего без супруга мучаются... Утихомирить ее надо, кровь-то женскую, найти себе супруга законного... Сладости телесной вкусить с возлюбленным...

— Замолчи ты, молчи!.. Всех бы задушила б их, сама б, всех бы, им только издеваться над нами. Дворник спит, караулит нас, а я бы и его бы прикончила б, потому они измываются только...

С тех пор и возненавидела Дунька мужчин, как Афонька бросил ее и ребеночка от него — до озлобления ненавидела, пока не помер, а как сказала странница, что только мужчина ей верeda излечить может по ночам телесной сладостью, так еще сильнее ожгло ее ненавистью к мужскому полу. Оттого и ожгло, что телом-то ждала она, хотела сладости этой, а боялась опять с ребенком мучиться, вынашивать его, чтоб под конец опять ее бросил возлюбленный и опять ненавидеть плод свой и живого, грудь тянущего самой в ненависти к создавшему приканчивать, и от безумия метаться в ревности к задушенной Марье Карповне, потому она думала, что непременно и другого какая-нибудь от нее уведет, и опять ей придется кончать с нею.

А богомолка из жалости к благотельнице шепотком уж ей слезливым доканчивала:

— Уж если, матушка моя, боитесь вы понести плод во чреве от ложа брачного, так и средства на то есть теперь разные, а если уж и к супружеству у вас нет охоты особенной, так я вам все-таки посоветую... и все чирийки отойдут, до одного, матушка, и кровь-то уляжется и от головы отойдет,— облегчение познаете...

И шепотком, шепотком о сладостях исцеляющих и без ложа супружеского...

Поверила Дунька,— захотелось избавиться от бреда ночного, чтоб не снилась, не казалась удушенная, усмирить кровь чадную и оттянула ее от головы, всю мысль сосредоточила на желании страстном избавиться от Марии Карповны и от вередов гноящихся, поверила богомолке, что поможет ей средство это.

Может, и не совет богомолки, а то, что мысли свои сосредоточила Дунька на единственном, на желании избавиться, и перенесла их в тело, в ощущения до ненасытности и спасло ее от кошмаров и бреда. Как-то, может всего на время, а пришла в себя и о судьбе своей задумалась, когда стал Лосев с Василием докучать ее делами денежными. Точно совесть какая-то в ней бродила смутно, а чаще да чаще она стала про монастырь думать,— захотелось ей от самой себя, от людей хоть на время скрыться, и не то чтобы скрыться, а пожить спокойно, чтоб ни мысли, ни люди ее не мытарили. А надоумил ее — чиновник банковский, когда она капиталы начала брать галкинские, на уплату долгов Касьяна Пармепыча по векселям лосевским.

— Я бы вам что сказал,— мне, конечно, все равно, а только продайте все, бросьте дела свои, торговлю всякую, расплатитесь по этим векселям, долгам старым, да и поживите, а то ведь и не останется ничего вам на жизнь вашу — обворуют вас.

Пришла она из Коммерческого, позвала Василия и объявила ему, что желает продать дело все, а тот с радости, что не тянуть больше, а сразу хозяином быть можно и не делиться с Лосевым и объявил хозяйке:

— Я бы купил, Евдокия Семеновна, продайте по старой памяти Касьяна Парменыча, ведь мальчишкой я у него еще работать начал и дело-то как свое, родное, прирос я к нему, и к нему, и к месту, каждый столик обегал сотни тысяч раз, каждую доску на полу знаю, а тут кому продадите зря, а я бы платил по совести, не сразу, а потихонечку до копеечки бы.

И без Лосева запродажную сделал и задаток дал — отшил поверенного — без дележки к своим рукам прибрал и торговлю красную, и трактир базарный.

А Дунька-то, Евдокия Семеновна, и пошла себе торговать келийку в девичий городской монастырь Введенский.

В спокойствии зажила Денисова,— келийка чистая, послушница расторопная Ариша рыженькая, клирошанка-певунья, и забот никаких.

Попала в монастырь Ариша — обжилась, привыкла, все порядки узнала. Тихая да смиренная, а подымет глаза, поведет ласково и запрыгают в них чертеняточки золотые и убегут, спрячутся в золотые волосы.

Как подневольная в монастыре бродит, и в келии, как в тюрьме сидит, озирается, из чужих рук смотрит — дадут или нет или будут попрекать куском хлеба. Тянет на волю ее, а знает, что в миру еще хуже,— мать Валерия строгая была, добрая,— рассказывала ей, когда тосковала она по воле, что в миру не соблазны страшны девушке, не замужество, а улица по ночам темная, либо на мещанских домики с фонарями красными, откуда не выходит человек живым, а сгниет от болезней мерзостных.

Про мир думать страшно, а тянет в него Аришу, и подруге своей, Вареньке дисканту, говорила про это, та только усмехнулась.

— Дура ты! Сколько в монастыре живешь, а ничего не знаешь... Это нам воли нет, послушницам, потому что нашим-то даровые работницы да кухарки нужны, что б они без нас-то делали?.. Ты посмотри на них — святость жирная. Что говорить — есть строгие, не дай бог какие, а отчего строгие — злость у них на людей, что жизнь-то их не удалась в миру, вот и злость отсюда. Овдовела,— сперва тоска у ней, любовь к умершему, а потом как напала тоска на нее и кончено. Сама не знает отчего тоска эта, думает, что по покойнике скучает своим, от любви исходит, а в самом-то деле — тянет ее к любимому не любовь ангельская, а согрешить ей хочется. Вспомнит про мужа-то, про любовь да про ласки, про то как покойник любил ее,— силы нет победить себя, потому еще молода, ну и начнет себя изнурять постом да молитвою; начнет высыхать заживо, и злость у ней появляется, и мужчин-то клянет, и свою жизнь загубленную, и других ест поедом,— на побегушках у ней, хуже горничной, та хоть волю имеет, а ты?!. Оттого и злится, что молодости твоей завидует, красоте девичьей. Вот и изводит тебя. Эти-то еще что — полбеды, полгоря, а вот жирные... для тех ты не человек пока послушница и держат они нас, чтоб работать на них кому было. Сами-то целые дни по купцам ходят, по благодетелям — пьют, едят, тараторят, сплетничают, невест сватают,— не свахи, а сватают... А ты мечись целый день, работай, а вечер придет — садись за пядьцы,— работы тебе принесла — невесте приданое. И держат они нас батрачками, пока не примешь ты посвящения, а приняла, сразу в приятельницы.

Приняла посвящение — кончено. Дальше стен этих никуда не уйдешь. А не уйдешь, значит, своя, вой по-волчьи... А с приятельницей и попить и поесть у купцов пойдет, перезнакомит тебя с благодетелями и про женихов с невестами говорить начнет, а вернется домой, ляжет спать,— не спится ей и зовет приятельницу, пойдя говорит, что-то холодно мне, вдвоем согреемся и греются целую ночь, аж синяки под глазами утром... А ты думала что?..

Чаще да чаще слышала Ариша от приятельницы разговоры эти, а потом та и скажи ей:

— Ты думаешь это у них племянницы живут малолетние, сироты, — как же!.. Дети ихние... а у них — племянницы...

И потянуло Аришу правду узнать монастырскую, оттого и потянуло, что и у самой по ночам сердце билось по-чудному, замирало как-то, особенно когда из семинарского рва доносилось пение. И на кладбище стала ходить по весне соловьев слушать...

Еще мать Валерия жива была, когда у Ариши в первый раз сердце екнуло, не забилося, а только екнуло легонечко, оттого екнуло, что пришел как-то к ним в келию с мамашей молодой студентик.

— Вот и я к вам, матушка Валерия, пришел с мамою. Никогда еще не бывал в девичьем монастыре, а согласились учить меня вышивать шерстями, теперь не отказывайтесь.

— Не откажусь, Владимир Николаевич,— учить буду...

Мать матушке Валерии и гостинчиков городских принесла подсластить старушку, побаловать.

— Я и пальцы вам натянула... Рукодельник вы, не хуже девушки... Ариша вошла...

— А ну-ка, Аришенька, разведи самоварчик нам, да приходи вот молодого человека вышивать учить шерстями.

Арише смешно и глянуть-то любопытно на пришедшего.

За чайком и просидели до вечера, Ариша-то и шерсть ему подбирала и рисунок на канву свела, а взглянула на него, когда он неумело нитку продергивал,— помочь хотела, наклонилась к нему и взглядом встретилась, и екнуло сердце и руки отчего-то ослабли, и у него — тоже дрогнуло от глаз девичьих. Не цвели еще — любовью глаза девичьи, а взглянули, и брызнула из-под ресниц ему в сердце ласка ясная.

Потом и не взглянула Ариша на него за весь вечер ни разу, боялась, а он все время старался заглянуть сбоку.

И начал ходить он к Валерии вышивать шерстями, узор плести в сердце девичьем. Не в келию приходил, а в монастырский собор к вечерне,— подле клироса становился, Аришею любовался. Вечерня

кончится,— не сразу пойдет к Валерии в келию, а сперва подле храма надписи почитает на могилах купчих почетных, благодетельниц, а потом и в келию.

Валерия по старости не могла учить его долго — глаза слепли,— Аришу сажала. И чаще да чаще встречались глаза и сердце замирало, екало. Так и лето прошло — незаметно, а к осени — в Питер ему уезжать — и узор не кончен.

Мать Валерия посоветовала:

— А ты кончи ему, Ариша,— сама кончи... Хороший он, скромный, как девица красная,— вся семья такая спокойная, а барышня у них Зиночка,— хохотунья, веселая,— пойдем как-нибудь...

И не удалось пойти к Белопольским Арише — заболела Валерия. Целую зиму промучилась, а к весне — отдала душу господу.

Всю зиму сидела Ариша над пяльцами, не узор вышивала, а сердце вкладывала в шерстянку каждую, душу свою отдавала любимому. Сама и не знала еще что любит, а только все время про него думала, вспоминала, как близко сидели вместе и вместе с ним вышивали один узор нежный.

Валерия померла — у Ариши хозяйка новая, Евдокия Семеновна Денисова. Спрятала она узор неконченный, мечтала ему подарить, когда опять придет.

А хозяйка-то поселилась новая и прямо к игуменье, просила себе постриженья и вклад в монастырь сделала особый,— одела мантию.

Молодая хозяйка, чернявая — строгость на себя напустила иноческую. Ни минуты Арише покою не было, одна и осталась отрада — петь на клиросе. Как птица на клиросе заливалась послушница и оборачивалась на то место, где Владимир обычно любил становиться. Пела — про пего думала, его вспоминала.

Варвара, подруженька, и то сказала:

— Чтой-то ты, Ариша, чудная какая стала...

Ждала, что придет весной и опять к вечерне придет на нее взглянуть...

Не забыл, пришел, подле клироса стал опять, а после вечерни около храма прогуливался, дожидал, когда разбредутся монашки по келиям. А у ней колотилось сердце, не екало уж, а колотилось, не знала что делать ей, как сказать ему, что умерла мать Валерия и узор спрятан — нельзя вышивать больше шерстями разноцветными. Дожидалась, пока все не выйдут из храма, ноты складывала не торопясь, а потом выбежала и к могилкам прямо. Подбежала к нему.

— Владимир Николаевич, теперь уж нельзя нам вышивать больше...

— Почему, Ариша, нельзя?!

— Матушка Валерия умерла... Теперь я у другой на послушании, теперь нельзя...

И сама не заметила, как клубок подступил к горлу и прозрачную пленкою слез глаза покрылись и от этого еще стали лучистее... Всего одну минуту стояли молча, а сразу почувствовали, что тоска схватила душу.

— А я все-таки, Ариша, буду приходить к вечерне.

И как отзвук у ней сорвалось:

— Приходите...

Сказала ему, испугалась, опустила голову и, уходя уже, до свидания сказала ему.

Стал он ходить к вечерне, подле клироса становился, на нее глядел, ловил взгляды ее и ласковые и печальные. Приметила эти взгляды подруга Варенька и, когда уходила последнею Ариша, подошла она к ней да попросту:

— Любит, что ли, тебя?

— Кто?

— Да этот студент, что постоянно ходит.

— Не знаю...

— А ты его любишь?! Я вижу ведь, что любишь. Ну, скажи, любишь?..

— Не знаю...

— Неправда, Ариша,— любишь его, по глазам вижу, и он тебя тоже, и у него по глазам видно.

— Не знаю...

— Я б на твоём месте любила его. Хорошенький он какой, молоденький. Что тебе беречь-то себя, для кого беречь, замуж, что ли, в монастыре собираешься?!

— Не знаю.

— Что ты все не знаю, да не знаю, а ты узнай... Сколько в монастыре живешь, а точно слепая. Если в мир не уйдешь отсюда,— а куда нам и идти-то отсюда, куда мы годны, кому нужны, одно только и знаем — спаси господи, спаси господи. У нас у всех тут одна судьба — помирать заживо. А тебе ведь жить хочется. Я раньше тоже была несмышленная, а любовь всему выучила, и тебя научит.

— Не знаю...

— Узнаешь, когда научит. Меня научила вот... И я тебя научу. Походит он, походит, а увидит, что ты только поглядываешь на него, наскучит ему и не придет больше. Мало у него городских барышень?.. Красивеньких... Может, и ты хороша, да только нельзя тебе красоты

своей показать ему — под скуфейкой волосы, а там, у барышень-то — я видела,— и ленточки-то к месту, и медальончик на груди лежит золотой, и завиточки, локончики и не свои может, а щипчиками сделанные, а у тебя свои, золотые, а спрятаны, приглажены. А я тебя научу... Хочешь?..

— Не знаю...

— Так слушай. Все равно ведь в монастыре помирать и когда — тоже все равно, беречь себя не к чему... Ведь вот не померла же, жива осталась, зато любила, уж так семинариста одного любила!.. На кладбище и встречались мы. Моя-то уляжется с петухами, а я и вот она, через заднюю калитку и на кладбище. Ты думаешь не знают наши, что бегаем?.. А сами-то хороши... Все мы грешные, ни одной нет праведной, а если и есть — больная значит, все равно что помешанная... Шепни ему... Как зовут?..

— Владимир...

— Шепни ты ему, чтоб пришел вечером на кладбище. Не бойся его, люби... Ничего не будет, а если что, я знаю как, помогу тебе. Не умрешь от этого. Видишь, не умерла ведь, а зато как любила-то. Пока молода и еще буду любить, если встретится кто. Так слышишь, не будь дурой, упустишь — другого не дождешься, может быть, всю жизнь. Эх ты, глупая! Я б давно уж...

Целую ночь не спала Ариша, думала. И на жестком тюфяке жарко было. То волосы грудь защекочат — замрет сердце, оттого и замрет, что о любимом думает, то руки закинёт за голову и пробежит по всему телу волною дрожь жуткая.

Думала, как сказать ему, чтоб пришел на кладбище. Сказать — страшно, еще посмеется над ней. Думала про него, а он перед ней как живой стоял, с закрытыми глазами его глаза видела. Вспомнила, как в прошлом году его вышивать учила, и про узор неоконченный вспомнила, и сразу у ней промелькнула мысль, что скажет ему, чтоб пришел на кладбище вышивание взять свое.

А из семинарского сада песни неслись мирские про любовь, про ласку, и ночь-то лунная, полосой свет из окна в келию. Про узор вспомнила — засыпать стала. С семи лет сиротой в монастыре жила, кроме окрика ничего не слышала — понукали, тыркали, только и отдохнула, когда на клиросе петь стала и к Валерии перешла на послушание. Сколько лет прожила, все порядки узнала, все привычки монахинь, узнавала по взгляду и всосалось в кровь монастырское — ничего не видела кроме клироса да послушания, ко всему привыкла, а главного и не заметила, может оттого и не заметила, что сердце еще

дремало девичье, да и грех монастырский таечком живет, прячется в чистеньких келейках с кисейными занавесками, да с гераньками, бархатцами, под кровать залезает до ночи, ночью и выползает только и карабкается, копошится среди тел греховных,— от этого и не видела и не чувствовала Ариша, пока у самой не забилося ходуное сердце, да и Валерия матушка — старая была, молитвой жила успокоенная, покаянием о грехах земной жизни. А как сердце у Ариши забилося, застучало в душу, разбудило ее любовью, так и самой захотелось любовью жить. И с подружкой согласилась, с Варенькой. Стала студента своего дожидать, чтоб после вечерни улучшить минутку и шепнуть ему, чтоб пришел на кладбище.

За вечерней стояла, чуть не плакала, говорить было страшно, боялась, что увидят монахини, как подойдет к нему, а потом что будет, что про нее говорить станут. И опять от вечерни последнюю вышла, увидела его около могилок и будто мимо пошла...

Остановил ее, сам подошел...

— Ариша, а все-таки мне хочется побыть с вами... Как только?!

— Владимир Николаевич, нельзя этого... В монастыре нельзя; это в миру можно, а я монашка. Я только хотела узор передать вам, вернуть вам,— может, он нужен, так я принесу вам.

— Я подожду. Хорошо. Принесите.

— Сюда принести нельзя... Обойдите монастырь кругом, калитка там есть, что на кладбище прямо выходит, так я прибегу, принесу вам, на кладбище принесу. Только подождите немного там, а то сейчас никак нельзя, светло еще, увидят...

В келию ушла к Денисовой, ждала, когда та уляжется, и все время думала, а вдруг надоест ждать, уйдет и не увидятся никогда больше. Вышивание достала,— стеной коврик неконченный, сам и рисунок делал — на коне перед камнем богатырь в раздумьи, а у ног коня череп белый,— она и сводила ему на канву и нитки сама подбирала, и не кончено-то пустяки всего — концы забрать. Доставала коврик — думала, глядя на череп, что витязь-то он, а у ног его череп — ее череп...

Дождалась темноты и, крадучись по задам подле стены самой, добежала до калиточки, думала, что закрыта, а в калитке ключ торчит,— повернула его — побежала на кладбище.

У самого входа ее дожидал.

— Ариша!..

Вздрогнула вся испуганно.

— Это вы?! Я принесла коврик вам. Без вас кончила, еще когда матушка Валерия была больна... бывало лежит, а я вышиваю его... Нате, Владимир Николаевич, возьмите, а то мне бежать надо...

Ближе к ней подошел, по-тихому взял за руку — не отодвинулась, а только опустила голову от застенчивости, от стыдливости, покорила судьбе и сама стала покорная...

— Ариша, побудь, не уходи,— пойдем на кладбище...

И, держа ее за руку, повел в полумрак вечерний.

Не кладбище монастырское, а сад радостный, где от печалей земных уснули, успокоились безначальные сны женские.

От любви потерянной в монастырь пришли и в келиях метались от своего тела грешного, от помыслов о любимых — умерших, покинувших, обманувших, совладать не смогли с собою: изнуряли себя постом, молитвою, на жестком тюфяке бились судорожно от рыданий приглушенных о потерянном, истощали себя поклонами бесконечными, а забыть не могли прошлого — и мучительного, и радостного, и безнадежного — и ждали, когда освободятся от тела в земле премудрой, а другие: обессилев борьбой — грешили, прелюбодействовали с первым, кто жадные руки протянет за лаской — все равно кто: мужчина, женщина, лишь бы утолить вопль смертный и снова мучиться и молиться о несбывшемся... освободились от брэнной немощи и выросли незабудки синие, неба кусок обрушился и прикрыл голубым, синим, тенью кустов сиреневых от зноя защитил полуденного...

Далеко от людей, на краю города, где жилья-то уже никакого нет, тишина кладбищенская и только кое-где кресты к могилам наклонились ласково...

А там — обернуться только — в золотом тумане загасал город и в воздухе синеватом колебались призраки куполов церковных, очертаний крыш, домов, и когда последние погасали на горизонте полосы и зажигались звезды, еще слегка туманные — вспыхивали и загорались гирляндами электрические фонари на улицах. И когда совсем темно стало — над городом все-таки плавал голубовато-зеленый туман призрачный — жизнь сказочная.

Обернулись они, остановились, обнявшись, и долго смотрели на город, живущий дыханием земной жизни.

А потом, когда темно стало, поцеловал ее, и казалось ему, что один только раз поцеловал Аришу, а что только поцелуй бесконечно долгий, не безумный, а тягостный, от которого и хочется и нельзя избавиться, пока в одном биении не сольются тела, отяжелевшие от поцелуя долгого.



В этот вечер от тяжести своей не избавились...

— Я завтра сюда приду, вечером,— приходи, Ариша!..

— Не приходите, не надо, милый,— зачем вы хотите прийти, зачем?..

— Видишь, как хорошо! Я хочу, чтоб нам хорошо было...

И целый день мучилась, жизнь свою погубить боялась, а сердце звало к радости, тяжелым комком в груди билось и падало толчками, и кровь прилиwała толчками к рукам, к ногам, к голове, и путались мысли, чувствовала, что пойдет, не выдержит, между узеньких улочек палисадничками в тени прокрадется на кладбище, а дальше что будет — не знала, чувствовала только жуткое, но бесконечно радостное.

Выходила из келии, боялась, что половица скрипнет, калитка загремит, и, не оглядываясь, пригнувшись как-то, опустив голову, пробежала в тени и, когда ключ повертывала в калитке, боялась дребезжащего звука заржавого. Выбежала за стену — вздохнула, точно с полей, от реки особая свежесть пахнула вечерняя и дальше побежала, на кладбище. В голове только билась одна мысль,— один раз повидать его, только раз, последний, а что будет — все равно.

И у обоих слов не было, а только одна бесконечная ласка радостная, освободившая сердце девичье, успокоившая познанием неведомого, непостижимого. И влажная от росы земля казалась теплою и душистою незабудками.

Снял скуфейку с нее, распустил волосы, косы расплел тугие и голову прятал, купаясь в локонах золотых и, только когда к полунощнице ударили повесть — расстались. Наскоро собрала волосы, под скуфейку подоткнула черную и побежала.

А прибежала домой, в келию, и от любви, и от счастья, и от неизвестного, что впереди будет, от жуткого до ранней проплакала.

Потом каждый вечер бегала, пила неизведанное, до конца отдавалась вся.

К осени только опомнилась, когда в первый раз Аришу тошнить начало и на пищу стало глядеть противно. Все лето с весны бегала к любимому, сперва боялась за будущее, а потом — забылась и до осени не вспомнила. А когда целый день мутило ее, чуть не до рвоты, тут и опомнилась, побежала к подруге, к Вареньке.

— Чуть не рвет меня, сама не знаю, что со мной сделалось, помоги мне.

— Дура ты, ничего не знаешь, пройдет это.

— А что это, Варенька?!

— Беременна, вот что.

Вечером еле дошла до кладбища, захотелось, чтоб любимый ее пожалел ласково. Целый вечер, прижавшись к нему, просидела тихая, робкими словами рассказала путано. Успокаивать начал ее обещаниями искренно.

— Не бойся, Ариша, я люблю тебя. Я маме скажу, она разрешит, я знаю,— женюсь на тебе, будем счастливы... Ты не веришь мне... А я хочу, чтоб мы были счастливы.

Когда говорил, вспомнила слова подруги своей, что никуда нет из монастыря выхода, ни к чему они не годны, а ждет улица их, болезни страшные, и на все его слова ласковые, на все обещания заплакала, а когда успокоилась, сжала сердце в комок горестный и сказала ему простыми словами горькими:

— Ничего я от тебя не хочу, Володичка,— такая счастливая я была с тобою, а больше этого счастья у меня не будет в жизни. Разве я замуж хотела за тебя, когда прибежала к тебе сама — хотелось мне любви твоей. Монашка я, потому и монашка, что деваться мне некуда. Ты вот ученый такой, умный, а я глупая, ничего кроме пения да рукоделия не умею. Куда я поеду к тебе?.. Что ты!.. Меня твоя маменька и горничной не возьмет. Разве я затем к тебе ходила?! И ты не убивайся, не жалея обо мне,— разные у нас дороги с тобой, тебе широкая, а мне монастырская. Я тут останусь. В жизнь свою не забуду тебя, миленький, всю жизнь буду помнить любовь твою ласковую. Л это пройдет. Варенька мне говорила, что пройдет это, она и поможет мне, она добрая. Поцелуй лучше меня... Может, последние дни видимся...

Пришел домой Владимир — задумался и тоже опомнился и слова понял Аришины, только сердце еще не хотело им верить, да ласки манули ее — расстаться было тяжело с ними. Матери хотел рассказать и не решился, все равно знал, что не позволит жениться ему, и только в мыслях себя успокаивал, что непременно скажет и женится, непременно женится.

Птицы с родимых гнезд собираться стали и Белопольский с ними, только разные у них пути были — перелетными стаями в края теплые, а ему в туманный Питер, все равно как Аришин путь в келию, а ему — в жизнь вольную.

С того дня как выплакала душу ему, и на кладбище не пошла больше.

Мутные вечера осенние с дождем дробным, с грязью липкою, нависнут облака неотжатыми тряпками полумойными, и темно в монастыре, тускло и некрашенные кельи бревенчатые с палисадниками, с деревьями безлиственными — бесприютные, как и вся жизнь монастырская. И страшные мысли и отчаянье, и тоска, и грех серенький ползет по келиям.

Целые дни Ариша сидела в келии и петъ не ходила — больной сказала и без перерыву два месяца выворачивала нутро ей тошнота тягучая.

Молчала она, пряталась, а все знали и тоже молчали сумрачно, давно видели глаза зоркие, как на кладбище вечерами бегала и шепотком довольным бездельницы мягкотелые говорили, ехидничая и завидуя:

— Ариша-то, бегают... На кладбище... Негодница бесстыжая...

— С кем же она?..

— Студент какой-то из города.

— Надо матери Евдокии шепнуть.

И шепнула Денисовой про Аришу одна приятельница.

Мантию приняла Дунька, обжилась в монастыре, успокоилась после дома Галкинского, где мерещилась ей по ночам Марья Карповна, и вошла в колею монашескую. И раньше еще любила от приживалки своей послушать сплетни, от странницы, и теперь принялась за старое. Летом и по купцам начала ходить с соседкою, чтоб скучно не было. Один раз, — в субботу было, — возвращались попоздней вечером и по-приятельски завели беседу душевную, соседка начала, Апполинария:

— А ваша-то, ваша... бегают. На кладбище. По ночам бегают...

— Зачем?

— Со студентом молодым любит. Не раз матушки из окон видели — бежит, озирается, — впервые ей, вот и озирается.

— Да я ее завтра же выгоню, не потерплю этого.

— За что ж выгонять-то? Пускай ее погуляет... зато потом ваша будет, вот как можно к рукам прибрать — за милую душу, что хочешь потом делай с ней. У меня тож было так-то, с подружкой ее, с Варварою, — дала я это ей нагуляться вволю с семинаристом одним, — гуляет и пусть гуляет, отгуляется — моя будет, — отгулялась она, отбегалась, а как пришлось с брюхом-то в келии отсиживаться, я тут-то прибрала ее к рукам. Ты, говорю, блудила, как кошка, молчала я, а теперь кайся...

— Заставлю ее, заставлю каяться!..

— Я вам, матушка Евдокия, по секрету скажу,— стала Варвара моя брюхатить в келии, я и говорю ей,— знаю, Варенька, знаю, милая, не с тобой с одной случается, со многими, ласковая ты девушка — не выдержала, согрешила,— я сама тоже грешная вот как люблю ласковых, и тебе, милая, теперь тоже без ласки тягостно, так ты приходи ко мне ночью, и я тебя приласкаю и ты меня, легче будет, я ведь тоже мучаюсь, а ты, я вижу, ласковая, приходи ночью. Она это пришла, сама не знала зачем, а пришла... Заартачилась сперва, что вы, говорит, не могу я... А, так ты, говорю, не можешь, а бегать могла на кладбище, так и помолчи теперь, голубушка, а то я живо отправлю к игуменье,— та думаешь из монастыря тебя выгонят,— дожидайся, как же — не выгонят, милая, а замуравят тебя живую, да на всю жизнь, теперь ты в моих руках, в моей воле, дала я тебе свою волю — набегалась, получила свое, а теперь слушайся! Только вы не сразу, а потихонечку приучите ее, а то отпугнуть можно...

Закадычными друзьями расстались, облобызались в плечико.

— Храни вас Христос, что посоветовали...

VI

Мать Евдокия спозаранку ложилась осенью, от вечерни придет, и в постель с шести вечера.

Чай пьет вприхлебочку с блюдца, губы мясистые оттопыривает, когда дует, любит, как частыми струйками переливается чай горячий, а сама думает, как ей начать разговор с Аришей и начинать ли, не лучше ль ночью позвать просто и приказать, и на нее поглядывает. Вспоминает Афоньку рыжего, про то, как в кладовушку бегала к нему под лестницу, и невольно взглядывает на Аришу, понять только не может никак, отчего так похожа, только нос вот — у того был проломленный, а у этой тонкий с горбинкою, а брови сросшиеся и волосы рыжие, темнее только, да кожа розовая. Ариша молча сидит, чай пьет и давится: то слезы нахлынут к горлу, то тошнота подступит и сама голова склоняется все ниже да ниже, не дождется, когда Евдокия спать уйдет. А та сидит свое думает, ее разглядывает, и кажется ей, что все равно и с ней будет ласково, так и точит ее мысль жадная, что права Апполинария, все равно и с Аришей в монастыре жить можно, хорошо что пошла сюда, а то из-за сидельца Васьки побираться идти, либо на улицу, и Афонька не нужен, только мучал он ее, душу изматывал ревностью, а тут теперь ревновать будет некому, возьмет она ее в руки и не выпустит, все равно той деваться некуда, а молчать будет, потому и будет, что

беременна. И поблескивают глаза жадные у Дуньки на послушницу, даже тумянятся, когда медленно поведет с головы до ног.

Не дождется Ариша, когда день кончится. Нальет чаю на блюдец — стоит, стынет, глядеть ей на него противно.

— Что же ты не пьешь, Ариша?..

— Не хочется.

— Да что же ты в самом деле, что с тобою,— обедать не хочется, чай пить — тоже...

Хотела ответить — а комок подступил к горлу, противная слюна в рот брызнула и потянуло рвать.

— Чтой-то с тобой, больна чем?

Рот рукою зажала...

— Только у беременных так-то бывает, а ты ведь монашка, девушка, у тебя отчего так-то, уж очень похоже на то, что ты беременна...

Сквозь слезы с трудом ответила:

— Не знаю, сама не знаю...

Сперва хотела уйти в переднюю, а потом и не выдержала, как-то всем телом падающим соскользнула со стула на пол, села и как-то ползком, не поднимая головы, к Дуньке приблизилась. Ничего не помнила, только жгло голову, что все равно говорить надо, каяться, чтобы не выгнала, не сказала бы никому, грех ее спрятала, помогла ей, так лучше теперь, чтоб потом было легче. Подползла к ней, к ногам ее, вытянула перед собой руки сжатые, положив в них голову, — и склонилась к ногам Дунькиным. И Дунька не выдержала, шелохнулось в ней человеческое, может оттого и шелохнулось, что вспомнила она, как в коридоре на сундуке мучилась, когда тоже ее тошнило до рвоты, а ее-то Афонька, у Марии Карповны ночевал в спальне,— свое старое незажившее, а только паутиной заросшее, прорвалось болью и наклонилась она к Арише, на волосы руки ей положила и все старалась поднять ей голову и по-бабьему, как в деревне, участливо и со слезами тоже:

— Как же это ты так, девонька, как ты допустила его к себе?.. С собою-то что сделала?..

— Матушка, я сама, сама хотела любви его, все равно мне тут помирать не живши, так хоть раз да узнать любовь человеческую, как люди-то друг друга любят, счастье хотела узнать, хоть чуточку счастья этого! Да разве я не была счастлива? Как сумасшедшая была какая, полоумная, только бы узнать его, счастье это...

— А теперь-то что, теперь как будешь,— ведь мучаешься, на что же тебе счастье-то такое, когда после мучаться?.. Как же так?..

— Может, я без любви-то еще б больше мучилась, до самой бы смерти мучилась, если б счастье-то не узнала. Сама я, сама, матушка... Душа у меня без счастья рвалась. В саду-то семинарском запоют песню, а у меня душа рвется, сил не было — по ночам не спала, не могла уснуть. Так сердце билось и тоска-то такая-то потом целые дни. Оттого и тоска была, что жила без счастья. Само оно пришло ко мне, счастье мое коротенькое, и знала я, что недолгое будет оно, и слов-то его не слушала про женитьбу, а только душу свою облегчить хотела, счастье узнать человеческое, потому потом все равно мучаться, сама знала что мучаться, а может, без счастья-то еще б сильнее мучалась, теперь хоть знаю за что...

— Все они так, люблю, говорит, а потом и мучайся. Жизнь, говорит, тебе дам, для твоей же жизни и счастья это, потерпи только, а потом и нет его, а ты и мучайся. Удавить бы его, коли б наперед знать — на мое счастье тебе, радуйся, а потом чтоб не достался никому больше, на ж тебе. А мы-то, глупые, уж такие глупые, от счастья-то этого себя теряем, всю жизнь мучаемся. Как леденцы от тепла таем, когда он с тобой ласковый, целует тебя, слова говорит сладкие, себя позабыть готовы, а потом... мучаемся. А разве ж без них обойтись нельзя?.. Можно. Теперь знаю, что можно. Сперва намучилась, потом и узнала только. И ты так-то, девонька... И без них можно и не мучалась бы...

Приподняла Аришу, голову ее в руки взяла, по плечам гладила и вместе с жалостью к ней и ненавистью к Афоньке, к мужчине, ласкала ее по-особому и чувствовала, что и ее по-особому любить будет, в лицо вглядывалась и казалось близким оно, отчего даже почувствовала, что и тело к ней тянется. Не успокоилась Ариша от ласки этой, а только стала плакать тихо и тихо жаловалась:

— Матушка, не оттого плачу я, что мучаться буду, я-то ведь была счастлива, может, счастливей меня и на земле-то никого не было, а страшно-то мне, а ну, как узнают, тогда что, тогда выгонят, деваться-то куда,— некуда. Сама знала, что так будет, да тогда не думалось как-то об этом, уж очень я была счастлива, казалось, что само собой все делается, а теперь — страшно стало. Матушка Евдокия, не гоните меня, теперь вы мне как мать родная, вся я тут пред вами. Мне Варенька помочь обещала... Матушка... Только б не узнал никто... Никуда я не пойду от вас, в уголку целый день сидеть буду...

Успокоила Дунька ее, обещала молчать, грех покрыть, утаить в келье, и только странно как-то сказала, придушенно, шепотком, чтоб ее слушалась, угождала ей, тогда все по-хорошему будет, а сама думала, вспоминая слова Апполинии, что теперь от нее никуда не

уйдет, она повелевать будет ею, в ее руках девка, что заставит, то и сделает, а то пригрозить будет можно.

И первый раз Дунька заснула довольная, не мучилась, не ворочалась, а решила выждать, пока та успокоится, и от мечтаний своих даже с открытым ртом заснула, и во сне на подушку текли слюнки сладкие.

Ариша до рассвета не могла заснуть и не плакала, не было слез больше, только до боли глаза резало, точно повело их чем горячим. И сердце у ней в комок сжалось. Целую ночь перед иконою простояла в одной рубашке и не думала, что целую жизнь потом за счастье свое мучиться, об одном только — перенести теперь страшное.

Каждую ночь молилась она, — с того дня, когда на кладбище не пошла сама, начала молиться и не каяться, а молить защиты, а в душе каждую ночь горело счастье, всем телом его чувствовала и благословляла его за любовь свою.

И на Дуньку стала смотреть с радостью, старалась ей угодить во всем, с полслова желание исполняла каждое.

А когда тошнота прошла, спокойная стала, сосредоточенная, точно в свою глубину заглядывала и только по ночам томилась.

Уляжется мать Евдокия с шести вечера — Ариша до утра молится, исхудала, осунулась, только глаза стали гореть ярче и от опавших щек, и от потемневшего лица волосы казались еще пышнее.

Выспится Евдокия с шести вечера до трех ночи и начнет ворочаться. Не спится ей, и пойдут мысли разные, и выползет из-под кровати бес гаденький греха смертного, и мерещится он ей в темном образе человеческого, на ухо шепчет, сердце жжет. Слышит она, как в передней Ариша шепчет, и не бес ей уже кажется, а послушница к ней подходит ласковая, и только еще какой страх нерешительный сил не дает позвать Аришу.

А когда позвала Аришу, голос придушенный дрогнул и забилося сердце:

— Ариша, молишься?..

Отозвалась тихо:

— Молюсь, матушка...

— Жалко мне тебя, пойдя сюда.

Подошла тихо.

— Иди ко мне, со мною ляжь, — тебе со мной легче будет...

Покорно легла утомленная и от тепла ее на душе легче стало.

А когда обняла ее Дунька, прижиматься начала и шептать от безысходности, умоляюще, жутко и непонятно Арише стало, насторожилась как-то.

— Я ведь тоже мучаюсь, все равно как и ты,— ведь ты сама не знаешь от чего мучаешься, а я знаю. Все мучения пройдут.

Ноги сжала. Из рук цепких вырвалась, тут же подле кровати Дунькиной опустилась на пол и без слез каким-то одним иканием рыдала судорожно, а та от злобы безумной, лежа плашмя на постели, над Аришей свесилась и шипела над ее головой, хватая за волосы и дергая их пальцами корчившимися:

— Пойдешь или нет?.. Слышишь. Иди лучше. Хочешь, чтобы пошла к игуменье. Смотри... У, стерва,— иди, что ли!.. Теперь-то ты в моих руках,— не пойдешь — завтра же прикажут за монастырь выгнать. Да еще в полицию отведут... Билет желтый выдадут... А по этому билету тебя ни в один дом не пустят, каждый сапожник за три копейки целую ночь с тобой утешаться будет, и ничего ты ему не сделаешь... Слышишь... Сама выбирай. Иди лучше.

Тысячи мыслей в голове бились, душу полосовали пыткой, как ножом резало,— сама выбирай. Выгонят... На улицу... Билет желтый... сапожник...— и ни воли, ни сил — отчаяние и безразличие — все равно, все равно... И от слабости руки повисли, глаза закрыла и вся неподвижная стала, и только когда Дунька ее за волосы от злобы держала и шептала: «иди... иди...», как-то подавалась вперед немного, и, чувствуя, что нельзя отодвинуться от боли, как-то подползла к постели все ближе и ближе, а Дунька тянула еще сильнее, отодвигаясь к стенке, и точно втаскивала ее на кровать...

И точно неживая наутро Ариша встала, точно все умерло в ней, безжизненная ходила по келье, тихим одеревеневшим голосом отвечала Дуньке и только целый день глаза были подернуты пленкою слез застывших, и слез не было, а только лежала эта пленка, от которой глаза резало, и веки становились кроваво-красные...

А когда Дунька с какою-то жадною улыбкою опять позвала ночью, покорно легла и только всю ночь вздрагивала, а от слабости тошнотно голова кружилась и как сквозь сон слышалось:

— Видишь как, видишь... дура ты... дура...— и чувствовала на теле своем губы липнувшие.

Целые дни сидела в келье Ариша, неживая была, себя не чувствовала, исхудала, глазницы ввалились и глаза от слез опухшие были. Варенька проводить прибегала подругу, начала расспрашивать. Рассказала ей, что измучилась она, и не оттого измучилась, что беременна, а измучила ее мать Евдокия; ничего не поняла Варенька из путаных слов Ариши, только, уходя, сказала, что терпеть надо,

потому что каждый человек за свое счастье расплачивается; может быть, нет такого человека на земле, который бы не заплатил страданием за свое счастье, оттого-то и кажется оно звездой светлою и, вспоминая о нем, живет человек. А в монастыре это счастье еще больней и еще слаще, и переходит оно из воспоминаний в молитву, богом оно становится для души на всю жизнь, о нем человек богу молится, и в молитве наполняется душа радостью пережитою, и кажется, что нисходит к человеку сам бог в душу заступником и покровителем. И всякую муку пережить можно, если молитва горит от преисполнившей сердце любви радостной.

— И со мною было так-то, а я молилась ему, любимому-то, и господу, называла его словами ласковыми. Только и жила молитвою. Меня тоже моя мучила. Тут-то они и пользуются, чтобы в кабалу тебя взять. А ты терпи, пусть что хочет с тобой делает, все терпи. Я вот мантию скоро приму, тогда моя жизнь настанет, никто тогда измываться надо мной не будет. Перетерпишь — душа очистится. Да ему молись, о нем каждую минуту, про него думай, и дойдет до него твоя мысль, в он затоскует о твоей любви, и будете друг друга чувствовать, а ей покорись.

Два человека стало в Арише, один убитый, замученный, покорный пассивностью, другой — светлый и радостный любовью к Владимиру. Целые дни молилась о нем и чувствовала, что не плод его во чреве растет, а он живет и всю ее заполняет и с каждым днем ширится в ее душе, в глубине сердца.

Молилась всевышнему, вспоминая каждое слово любимого, каждый взгляд его, каждый вечер ушедший в вечность, и чем больше о нем думала, тем дальше уходило от нее телесное. И снова загорелись глаза радостью и еще ярче казались ввалившиеся от беременности и от ночей страшных в одной кровати с Дунькою. До глубокой ночи молилась, а когда слышала, что зовет мать Евдокия поднималась покорно и шла, как на муку крестную от которой еще сильнее любовью душа горела. И ночь разделяла Аришу надвое,— одна отвечала безжизненным голосом Евдокии, покорно, как неживая, касаясь руками ее тела, а другая — замкнутая в самой глубине сердца жила образом возлюбленного, и мысль о том, что за его любовь, за свою — мучается и восходит к небесам очищенная в своей любви, и чем острее тело мучалось и вздрагивало от неистовства Евдокии, тем ближе и ближе чувствовала свою душу и Владимира, и огонек зеленоватый от лампадки вырастал в его лице, вглядывалась в него,— широко раскрывались глаза, стараясь уловить

его, взгляд услышать его слово, и хотелось, чтобы еще сильнее её Дунька мучала и сама старалась мучать ее, что вызвав в ней бешенство, от которого заходившееся сердце Аришино отделяло душу ее к этому светлому сиянию лампадки, где все ярче и ярче сняли его глаза, улыбка возлюбленного, и даже казалось, что он говорит ей те же слова о любви своей, что и на кладбище она слышала. Измученная не чувствовала, как засыпала, и сначала не сон был, а томление, в котором открытые ее глаза еще видели глаза любимого, а потом, когда опускались медленно веки и наступал сон — зеленоватый свет лампадки загорался в мозгу снами. И до утра сны видела: широкие поля и дорога, по которым она шла с Владимиром и не шла даже а плыла в воздухе и мимо проходили города с башнями с зубчатыми стенами, с бесконечными садами, где стояли дворцы с громадными колоннами. И чем неистовей, ненасытнее становилась Дунька, чем она сама ее больше мучила, тем ярче и ярче было лицо любимого для Ариши в зеленоватом свете лампадки, тем желаннее были сны о Владимире, тем сильнее она старалась вызвать неистовство в Евдокии и ждала даже ночью, стоя на молитве, когда та ее позовет к себе; молилась без слов и ждала зова, и отрывалась душа от тела, и тело было только вместилищем образов и снов Аришиных. И когда слышала зов Дунькин, вздрагивала и шла с глазами широко открытыми, как зачарованная, и всю ночь до бессознания мучилась.

Шевельнулся ребенок в ней — никому не сказала, ни Евдокии, ни подруге Вареньке и только под утро измученная, с воспаленным взглядом после ночных мучений, чувствовала с каждым разом давящую боль, тупую и нудную, и инстинктивно начала Дуньку отталкивать, и от боли стал тухнуть образ возлюбленного. И Дунька по ночам стала злобною, кричала на нее в бешенстве, била ее, рвала пальцами и только когда слышала, как навзрыд Ариша плачет, и все сильней и сильней захлебываясь до истерики, поняла, что плохо ей, и спросила:

— Чего ты? Что с тобой?..

— Бьется он тут бьется, больно ему от этого — мне больно.

— Раньше-то чего не сказала,— дура!

Пожалела ее, вспомнила, как сама носила с трудом и ненавидела и его, и Афоньку, и себя за свою слабость бабью, и не стала звать больше к себе Аришу.

А та наутро прощенья пришла просить у Евдокии:

— Матушка, простите меня, не могла я вчера нести послушание,— простите мне...

— Ты б мне раньше сказала, не знала я... Теперь подожди, а то вреда бы не было. Я раньше тоже дур была, не знала этого, а теперь я на них и глядеть не хочу, на мужчин этих,— как звери они, одна мука от них. Теперь мучаешься вот... Ему что — ублажался и глаз долой, а ты мучайся, носи плод его,— каждого б задушила, всех бы их в одну помойку и утопила бы. Разве люди они — звери?! Натешится, наиграется и бросит, а ты мучайся, всю жизнь мучайся! Ты думаешь, что не мучилась... Как еще мучилась! Разве радость ребенок-то этот, и его возненавидишь оттого, что тот тебя бросил, его ненавидишь и плод его... В монастыре только и стало легче. А с тобой про все забывать стала...И ты забудешь, утолишь свою муку житейскую. Только теперь подожди, повредить можно. Потом уж видно будет, когда опростаешься.

И чем к родам ближе, тем меньше телом Ариша мучилась, тем реже Дунька звала ее по ночам. Бился ребенок в ней и сердце билось к любимому,— погружалась в молитву вся, из кельи не выходила никуда. Соседки монахини знали, послушницы, и молчали; сперва поехидничают, а потом и пожалеют по-бабьему. В каждой сердце грехом билось, каждая в миру или за белыми стенами монастырскими мучилась и любовью, и грехом смертным.

VII

Вечера в монастыре тихие и пустынные, после вечерни монастырь женский точно город вымерший,— подле собора и трапезной большая площадь, в конце площади колодезь каменный с широким горлом бездонным, а кругом кельи с переулочками, одна келья на другую насажены, лепятся друг подле друга, обнесенные частокольчиками, обсаженные деревцами вишневыми, дерном, черемухой и кустарником боярышника, а подле самых окон,— грядки клубничные и клумбочки для цветов, и тут же клочками малина, смородина и крыжовник.

Введенский монастырь своекоштный,— каждая о себе заботится, сама себе пропитание добывает, оттого и грех в монастырь заползает, что не одна только немощь плотская в грех человека вводит, а соблазняет ее городской житель. А не пустить его в монастырь нельзя: первое — что доход от него всему монастырю, а второе — зарабатывают от мирян монашки рукодельем и грешат иной раз с мирянами, если еще молоды, а на возрасте или какие на мужчин

ненавидствуют из-за своей неудавшейся жизни, так в келье грех прячут.

И больше всего он живет с осени до весны ранней, когда спозаранок засыпает монастырь снами блудными от искушения дьявольского. А дьявол-то этот живет в колодце. Закроет привратница после вечерни монастырь замками старинными, обойдет монастырь с деревянным биллом, и высунется нечистый из колодца. Оглядится по сторонам, под дверями у келий, а у кого щелочка почему-либо оставлена — нырнет в комнаты, залезет под кровать, нашепчет в подушки о грехе смертном — и опять в щелочку. Так по следам привратницы по всем улочкам и обежит монастырь девичий, и опять к колодцу. Посидит, поежится на морозе — и опять по кельям.

Только лапки по снегу копытцами, вроде как собачьи, оставляют след.

А как тишина в монастыре — улочки узкие от снегу, белые в пелене невинности деревца в инее, как невесты робкие.

Редко какая монашка к соседке выбежит за узором, за нитками, либо чайку попить — побеседовать, а с семи — сон мирный.

Не спит только Ариша — мучается, одна мучается и молится весенних дней ранних, когда лед набухший затрещит на реке, за оградой монастырской и тронется, звеня голосами звонкими, и не заглушить ей крика звериного, когда время настанет родить девушке.

Подруга к ней прибежала, высчитывала по пальцам, когда срок придет, успокаивала не бояться, помочь обещала, выручить...

С трепетом мартовских дней ждала Ариша — ледохода вешнего.

И когда лед на реке ломало и под водой ухало — стала боль рвать Аришино тело, разрывать его, — сперва терпела, не понимала, что началось страшное, а когда сил не стаю — вскрикивала.

Проснулась Евдокия...

— Ты что?..

— Не знаю... больно... терпеть не могу больше.

— А ты ходи, ходи по келье — легче будет...

Из угла в угол металась, вскрикивала, хваталась за стену и от боли опускалась на пол, и снова вскакивала и ходила.

И Дунька испугалась, растерянно хватала белье, одевалась, путаясь в рукавах.

— Как же быть, что делать?

Через силу Ариша сказала ей:

— Вареньку, Вареньку позовите мне... она... обещала... обещала помочь мне...

На разостланный подстил, на полу, над тазом, цепляясь за выступ печной, корчась от боли рвущей, натужась взвизгнула по-звериному.

Дунька крикнула на нее:

— Молчи, дрянь... сама знала... а теперь терпи...

Только Варенька молча все делала,— намочила в холодной воде платок чистый, свернула в комок натуго и чтоб не было слышно крика — воткнула в рот ей:

— Терпи, девонька, терпи милая... зубами сожми, крепче...

И когда боль разрывала, резала — давясь мычала, хваталась за Вареньку, напрягалась, корчилась, и от напряжения багровело лицо, наливались глаза кровью, выкатывались, и только под утро сразу стихла и успокоилась. Вместе с Дунькой обмыла ее Варенька и на постель перенесла с пола. При огарке церковном подстилку скатила, на двор выбежала бросить в погреб и, так же молча заткнув тем же платком, что у матери был, рот младенчику, чтоб не кричал, не плакал, не будил монастырь жизнью запретною, завернула его в тряпицу, опять в погреб сбегала, отыскала сама в чуланчике бечевку, навязала отбитый кирпич, обкрутила новорожденного и, не смотря по сторонам, не оглядываясь, побежала по узким улочкам; задами бежала, обогнула все кельи, к колодцу бросилась, и назад, чтоб не слышать, как на дно кирпич булькнет, а булькнул кирпич, разбудил нечистого, тот из колодца вынырнул посмотреть,— никого нет, одни следы человеческие, вздохнул и полез устраивать жильца нового.

И вместо Ариши осталась у Дуньки в келье на несколько дней Варенька. Целые дни просиживала над Аришею, говорить не позволяла, двигаться и как-то отрывисто сказала Арише, когда та про ребеночка спрашивала, не глядя на нее, а в сторону, смахивая слезы с глаз:

— Всего две минутки пожил... мертвенький... и у меня так же.

Только чертик в колодце знал, каким его новый жилец родился, да и тот молчал, оттого что любил помолчать о своих жильцах новых. И всегда эти жильцы весною к нему приходили или осенью. Раньше один жил, покойно было, а вот уж второй год, как принимал гостей к себе и ехидничал:

— Раньше в реку бросали, спокойней было, а теперь грязь тут разводят с ними; куда было спокойней под прорубь и без кирпичика, сунул его под лед и все. Не умели, как надо, что б и тогда им не жалеть кирпичиков, спокойнее б, а то как весна — лед тронется, и

ребята с девчонками вот они, вылезут на свет поглядеть и плывут в город. А в городе-то ловить их начали, всю полицию на ноги поставили. Стали те ломать головы — откуда это каждую весну младенчики вместе со льдом появляются. И выследили. Сам полицмейстер взялся за это дело. С лета начал по вечерам подле монастырского обрыва ходить у реки подкарауливать черниц-праведниц. А что ходил, спрашивается?!. на свою ж голову... Разве летом бросают их?. Летом подле ограды у матушек молодых зеленые липы, а в семинарском саду соловьи щелкают, зазывают в монастырь семинаристов. Липы густые, старые, суки, ветки крепкие. Лестницу подставляют к дереву, взберутся повыше, втащат бельевую корзину на веревках и ждут, когда влюбленные на берегу, в самом низу у реки, за оградой под обрывом появятся и спустят им на веревках бельевую корзину, а потом вдвоем, либо втроем и втаскивают на липу ее с возлюбленным, а там и лесенка за оградой, и подле ограды сад монастырский, и до утра, пока солнышко не подернет светлой полоской небо, любовь славословят земную поцелуями, лаской жаркою. Разве ж бросают в эту пору новорожденных?!. Не сообразил полицмейстер. Только и поглядел, как корзина наверх поднимается с мужчинами. Если б не я — монашкам беда б была. А если ты не умен, так я выучу. Захотелось ему самому в гости в монастырский сад... Даже штатское с собою принес и переоделся на берегу, все б шло как по-писанному, а я ему и попутал мысли — так устроил, что забыл полицмейстер фуражку снять форменную с кокардой. Опустили корзину матушки молодые, он и уселся в нее и, как в люльке, раскачиваясь, подниматься стал на липу. И захотелось ему поскорее увидеть — кто, какие матушки — высунул голову раньше времени, блеснул кокардой — испугал матушек. У тех с испугу затряслись руки и веревки выпустили, и полетел господин полицмейстер стремглав на берег, да так шлепнулся, что и не встал больше, так и остался в корзине до утра лежать, пока из пригородной деревни бабы молоко не понесли на базар в город. Увидели начальство с кокардой, сперва хотели вертеться, а потом — бегом в город и в полицию прямо. Рассказали, что подле монастыря начальство какое-то со стены в корзине сброшено. Пришли поглядеть — конфуз вышел. До города, до первого извозчика так и несли в бельевой корзине. В больницу прямо. Еле отходили... А по городу слух — сам полицмейстер к монашкам лазает, оттого весной и новорожденные от монастыря плывут. Только с тех пор ни полицмейстер туда ни ногой, ни матушки; с перепугу монашки и ребят не стали кидать в реку, а второй, вот уж, год ко мне, размешай их тут на житье в колодце...

Сидит чертик, хвостом помахивает и ехидничает.

Все знает, только виду не подает, что видел, как нового жильца к нему Варенька в колодец кинула.

Кинула к нему, а сама бежать к подруге.

Осталась Дунька одна с Аришею, пока Варенька ношу относил к колодцу, и давай шпынять ее, что беспокойство ей учинила, а главное, что на весь монастырь срам, что допустила у себя в келье, в деревню ее к родным не отправила. У кого ни родных, ни знакомых в деревне, поневоле приходилось в монастырской келье родить таечком, а у кого близкие в деревне — отпускали заблаговременно родных провести месяца на три, родит в деревне монашка или послушница и приезжает, как ни в чем не бывало, а годика через три и возьмет свое чадо собственное на воспитание в келью под видом племянницы, племянников у родных оставляли, потому он в будущем рабочий человек в хозяйстве, а племянницу сплавляли к матери. Племянницу сироту удобнее было держать матери,— монастырь женский, девочкой и с детства ее к благочестию приучить можно, а потом — на своих глазах вернее. И живет такая монашка по-тихому, всю свою жизнь отдает дочери, из последних сил выбивается воспитать ее, прокормить, за полночь просидеть над пяльцами — приданое гладью купчихам шьет, узор вышивает бисерный. Племянница подрастет, сперва в монастырскую школу ее направит, а попросит игуменью — и в епархиальное определяет сироту, чтоб потом не из чужих рук смотреть монашеских, а самой добывать хлеб в селе учительницей, вольной быть, на мученье не обречь ее к монашкам неистовым, не делать из нее рабу, прислужницу. Ходит она в епархиальное, а мать радуется, дожидает ее из училища с книжками. К такой монашке и сельские попики дочерей своих отдавали на квартиру за малую плату, за припасы зимние и своей веселей с подругою и жить легче — кормится монашка от своих нахлебниц и свою дочь кормит. Мать игуменья разрешала держать жилищ, но только с условием, чтоб только братья к ней не ходили из семинарии, родному и то сестру разрешалось повидать изредка, а чтоб двоюродным и родственникам — ни ногой в монастырь, потому двоюродному приглянется монашка какая или послушница, и вспыхнет он родственными чувствами, и к родной все равно и придется потом ее игуменью отпускать в деревню к родным или увеличивать население у чертика в колодце каменном...

Ариша девчонкой совсем привезена в монастырь была, ни знакомых у ней, ни родных в деревне,— пришлось жить тут же в келии. У кого родные в деревне, ни за что не останется родить в келии, ждет себе дочь-племянницу, а кто из города, из мещан — неволя тяжкая, сердце свое отрывает на всю жизнь, себя отдает на мученье той, кто грех ее покрыл, замолчал прегрешение. И Ариша знала, что покрыла ей грех мать Евдокия, на всю жизнь ее рабой своей сделала.

И даже в первый день после родов напонила:

— Что я страху-то за тебя приняла сегодня... негодная она и благодарности никакой, будто родильный приют тут-то, в келии. Вот посмотрю, как будешь покорна мне. Это я тебя пожалела... Спасибо скажи, что мертвенький, с таким легче справиться...

Застала в слезах Варенька свою подругу, успокаивать начала. Глазами блестя, говорила отрывисто:

— Глупая, чего ж плакать-то, надо радоваться, что мертвенький, а что б ты с ним делала?.. Ты подумай, что б делала. У меня тоже... тоже был... мертвенький... унесли его... от меня... пяти минут не пожил... А ты плачешь... У меня тоже так-то... Бога благодарить надо... Зато вольная... теперь своя воля, бояться нечего.

А чертик нырнул в колодец новому жильцу опорожнить место с другими рядом, опустился, глядит — все дно взбудоражено. Раздосадовал:

— Не могли поменьше кирпича выбрать, бабы анафемские, ишь ведь как в воду шлепнулся, беспорядку-то сколько натворил тут — всех жильцов моих перепортил, раздавил двоих, даже смердеть начало!..

И начало смердеть с того дня, как последний жилец к нечистому прибыл, воду нельзя стало брать из колодца. Сперва думали, что взбудоражила весна ключи подземные, оттого и вода стала портиться, а как стало потеплей пригревать солнце, так еще сильнее потянуло гнилью, тлением. Нечистый и тот не выдержал,— переселился в бадью колодезную и раскачивался в ней по ночам, как полицеймейстер в бельевои корзине.

Возопила обитель, что не стало у них воды чистой, ключевой, прозрачной, и пришлось игуменье людей призывать чистить. Полезли, глянули — белей полотна вылезли и — к игуменье:

— Трупики там... детские...

Умолила игуменья обители не срамить, перед мирянами на посмеище не выставлять монашек, не доводить до властей, и за работу заплатила, как полагается, не в пример против других...

Двенадцать трупиков со дна достали вечером, когда монастырские ворота на два замка закрыли старинные, а потом и еще выгребли косточки тоненькие, черепа беленькие. И закопали сейчас же ночью на монастырском кладбище.

Все было тихо, а ни с того, ни с сего пролетел слушок по городу, и все шепотком говорили, что никогда еще не было подобного — только господин полицмейстер в душе ехидничал:

— Это не река вам, тут живо...

А мать игуменья повелела старым монахиням нарядить следствие, и если какие сотворили блуд и смертоубийство в ангельском чине, в мантии — на покаяние на всю жизнь, на вечный пост, а если послушницы — из монастыря с позором изгнать в мир блудный.

Призвала мать игуменья Евдокию, спрашивает:

— А у вас все было тихо в келии?..

— Тихо, матушка, что ж может быть у меня? У меня тихо...

— Послушница у тебя благонравная?..

Увиливать начала Евдокия:

— Покорная была при мне, тихая, а что на стороне — не видела, мать игуменья, не знаю и сказать ничего не могу.

— Да у тебя кто?!. Как зовут?

— Ариша... рыженькая...

— Фамилия как?

— Не знаю, вот уж больше двух лет живу — не знаю...

— Как же так?..

— Не знаю... рыженькая... клирошанка она...

— Калябина?..

— Калябина?!.

— Ну да, сирота Калябина... из слободы мещанской...

— Калябина?!.

— Что тут особенного, что Калябина,— такая у ней фамилия...

— Как Калябина?! Не может быть, чтоб Калябина!

— Раз говорю, так значит Калябина.

И закружилась голова у Дуньки,— тут только поняла, почему тянуло ее к Арише — на Афоньку была похожа, только тут догадалась, что сестра его родная, и злоба проснулась, досада, что от того мучилась и через сестру его срам приняла, грех прикрыла ее,—

тот блудливый и сестрица тоже — одной крови, ненавистью забилося сердце.

Спросила ее еще игуменья:

— Отчего она несколько месяцев сидела в келии?.. Больна чем была?..

Понесла Дунька, не думала, что говорила от ненависти, багровела от злобы:

— С брюхом сидела... Брюхатая... Больна, как же... Целую весну таскалась на кладбище, как кошка блудливая... Умолила меня, уплакала,— по слабости к ней снизошла... Все они одинаковые, а эта особенно... а злющая... непокорная... Намучилась я с нею, так намучилась!.. К этой весне и делать ничего не хотела... Как барыня... Ходи за ней... а грязи-то было что... грязи... а греха... Господи, сколько муки-то я приняла с нею, греха-то... самой во всю жизнь не покаяться из-за греха...

С горечью игуменья слушала, опустив голову, ничего не сказала Евдокии, велела только сейчас же прислать к ней Калябину.

А в Дуньке клокотало от злобы все, простить себе не могла, что и грех-то ее покрыла, и сама согрешила с ней в непотребстве блудном, а все оттого, что на Афоньку была Ариша похожа, тянуло Дуньку к ней.

От игуменьи к келии бежала, приговаривала:

— Я ж тебе покажу, стерва... Соблазнила меня... Вдову. Как же, Калябина?! Я ж тебе покажу Калябина!.. будешь помнить... Калябина! А?!. Калябина!

Дверь распахнулась, хлопнула и взвизгнула от злобы. Первое слово вырвалось — Калябина:

— Так ты Калябина?!. А?!. Калябина! Ах ты, стерва блудливая!..

Из-за палец испуганная вскочила Ариша и от испуга чуть слышно ответила:

— Калябина, матушка... Калябина, Ариша...

— Она еще отвечать мне смеет?!. Ах ты, дрянь этакая!.. Говори, у тебя есть брат Афанасий, Афонька?.. Брат он тебе?!. Что ж ты молчишь?!. Подослал, может, тебя, подослал ко мне?.. Жизнь мою погубить хотели, вдвоем теперь?!. Так, что ли?.. Ну?!.

— Был у меня брат... Афоничка... ушел мальчиком богу молиться пешком и не вернулся больше... Маленькая я была...

— Богу молиться ушел?!. Куда? Говори — куда?!. Афоничка, говоришь?!. Ах ты, дрянь, потаскуха этакая!.. Афоничка?!. Где ж он теперь, твой Афоничка? Говори, где?..

— Не вернулся он больше... Не знаю, где.

— Не знаешь... брешешь, стерва! Знаешь да молчишь только...
Говори, где он?!

— Перед богом, не знаю где...

— Говори. Где он? Ну! Говори, стерва!..

Растерянная стояла Ариша перед Дунькой, ничего не могла понять, не знала, что ответить Евдокии. А она глазами впилась в нее и, приседая как-то, медленно, шаг за шагом, подошла к ней и — когда не ответила ей ничего послушница — подпрыгнула, дико взвизгнула и сперва ее по щекам ладонями, а потом не помня себя по лицу, по голове, по груди кулаками била, приговаривая с выкриками, что Афонька затем и к ней пришел, чтобы мучать, а когда она ушла от него, так он сестру подослал. Казалось ей теперь так, что нарочно против ее жизни Афонька и тогда и теперь подстраивал — сперва с Марьей Карповной, а когда не стало ее — сестру подослал. И мыслям своим, и словам диким верила. Пригнулась Ариша, потом присела на пол, и руками лицо закрыла и боялась, чтоб только по лицу не била, по темени, ничего не поняла, и только чувствовала обиду горькую и за себя и за брата, о котором в первый раз услышала от Евдокии. Слезы сами текли, от боли и от обиды незаслуженной и падали в ладони, закрывавшие лицо, смешивались с каплями крови и от ладони по руке к локтю стекали холодком медленным. И только, когда уже сил не стало у Дуньки — выкрикнула:

— Ступай к матери игуменье. Сейчас же велено прийти. А не пойдешь — через весь монастырь поведут со срамом. Лучше сама ступай. По заслугам получишь.

Тяжело поднялась Ариша с пола и ни о чем не думая, а чувствуя только обиду и боль — медленно передвигая ноги, избитая пошла к двери.

Дунька вскочила, подбежала к ней, за рукав дернула:

— Ты умойся хоть, стерва!..

Ариша опять подумала, что Евдокия еще будет бить ее, и опять инстинктивно присела на пол.

— Умойся, тебе говорю, слышишь?! Совсем одурела...

И так же тихо и медленно через монастырскую площадь в каменный корпус пошла к игуменье, долго у двери стояла, не решаясь войти, и только когда зачем-то игуменская послушница вышла и спросила ее, что ей нужно, сказала ей беспомощным голосом:

— Матушка игуменья прийти велела...

Вошла и, перекрестившись сперва, как полагается, опустилась на колени, закрыла лицо руками и заплакала.

Не крик над собой услышала, а строгий и тихий голос женщины старой, видевшей мир и радости и печали и горе людское тяжкое, отчего и глаза светились уже прозрачной ясностью и добротой и голос стал тихим и ласковым. Примиряется человек к старости с жизнью прожитой и даже в детской наивности мудрым становится и может простить человеческие прегрешения, которые не смог человек побороть в себе от молодости своей, оттого, что живет он с землею одним дыханием, и когда она пробуждается от тепла, от солнца и гонит по полям и лесам ручьи бурные, то и человека волнует земное дыхание и в нем бурлит кровь ручьем ласковым, толчками в сердце бьет и пробуждает земную радость. Только старость, пережившая и радость земную и любовь смертную, с землей сливается и не чувствует больше ее дыхания, оттого, что приближается тело к земле, к земному тлению и нераздельно с землей дышит и познает мудрость вечную. И прощает человек непокорной молодости.

Ласковый голос над собой услышала:

— Согрешила ты?..

Руку ей положила на голову и в ответ услышала, что плачет девушка.

Глазами игуменьи показала своей послушнице, чтоб стул подала ей, и на дверь повела глазами, не поворачивая головы.

— И господь покаявшейся простил грешнице, а мы, люди, должны простить, людей нет безгрешных, оттого и должны они снисходить к братьям своим и сестрам. Сирота ты... от чужих тебя привели девочкой, жизни не знала, не видела,— может, призвания в тебе нет нести подвиг, а мир тебя тянет неизведанным. Не нам судить мир, мы — люди, и отречься от него не все могут, не всякому дано это; когда господь на земле был — сказал людям — могий вместити да вместит, а ты не сама к нам пришла, не по своей воле,— может, никогда бы и не смогла вместить отречение от мирской радости и не на тебе грех, а на людях, на всех людях, и нельзя судить греха твоей юности, не ты виновата, а мы, мы не смогли уберечь тебя от соблазна земной любви. Мы тебя не приобщили к нетленной радости благодати господней, а без радости человек не может жить, и послана тебе радость, благодать земная. И нет на тебе греха в этом, а грех только в том, великий грех, что плод цветения твоей радости, любви твоей, умертвила ты... А этот грех и люди тебе не простят и господь тоже, и земля не примет тебя в свое лоно, и она не простит тебе... Ведь любила же ты человека, который дал тебе радость?.. Любила?!

— Любила...

— А ты любовь убила его. И свою радость тоже убила... Зачем же?!.. Зачем ты задушила его?.. Невинного?.. крохотного ребеночка, да еще утопила его в колодце, камень навязала ему на грудь... он от любви твоей зародился, от твоего любимого... Ведь по любви же ты зачала его?..

— По любви...

— Так зачем же ты убила любовь свою?.. От земной любви один путь и к небесной, а ты убила ее, и нет тебе пути горнего и земля не примет тебя, изгонит... скитаться тебя заставит по своим путям...

— Не убивала я... он мертвенький был...

— Неправда... это сказали тебе, что мертвенький, а ты оживи его, подвигом своим оживи, чтоб душа в тебе ожила радостью. Знаю, что и тут не сама ты, а все-таки в этом твой грех и за этот грех должна каяться... от любви тебе говорю... Как мать... Больше матери... Ну, подними голову, посмотри мне в глаза...

Успокоенная словами тихими, но горечью непомерной, оттого, что только теперь поняла слова Вареньки, когда та обещала помочь ей, во всем помочь, подняла голову и взглянула в лицо игуменьи. Синеватые рубцы от побоев, подтеки красные и опухающее лицо, — от ужаса покрылось морщинками лицо игуменьи старой, глухо спросила се:

— Кто тебя так?.. Она?!.

Не ответила Ариша, а только опять склонила голову и заплакала.

И жалостью сострадания к неповинной протянула к девушке руки ласковые, упиравшие ее голову к коленям старческим, и почувствовала Ариша на лице своем поцелуи ласковые, материнские. И так, молча, не поднимая головы от колен игуменьи, измученная, досидела до темноты, и в темноте опять услышала тот же голос ласковый:

— Не в моей воле простить тебе грех тяжкий... Должна ты его искупить сама... По неведению, по обману сотворенный грех — все равно тяжесть вечная. Искупить ты его должна... Снова прийти к пути небесному земными путями странствования. Послушание на тебя наложу во искупление греха содеянного — пошлю тебя собирать лепту на монастырь по земным путям, и должна ты будешь приносить ее ко мне один раз в год... И не лепту приносить, а свою душу... Очистится душа — в монастырь приму. А если встретишь ты на путях странствования своего земной путь любви истинной — ступай, и на него благословляю тебя, все равно без пего не найдешь небесного.

В келью не пустила к Евдокии...

— Пока будешь тут, со мной, а лицо заживет, помолишься в храме и пойдешь по земле каяться...

И каждый день, в сумерки, слушала тихие слова игуменьи о земном и небесном, примиряющем жизнь человеческую, о всех путях души человеческой, и не хотелось уходить, не верилось, что такой человек строгим может быть и карающим. В монастыре считали игуменью строгой, боялись ее слов спокойных и прятались по углам греховные. И не карала она, а только сурово в душу заглядывала каждой, понимала слабости человеческие и прощала их только молодости и зрелости преисполненной земным дыханием и хотела одного только, чтоб душу ей открывали искренно и открывшим ее прощала ласково, а затаившим в себе неверие к душе ближнего каяться заставляла перед всеми инокинями в храме, оттого и считали ее — строгою и суровой и прятались от нее по кельям.

А когда настал день пути странствования для Ариши, пошла с нею вместе к полунощнице игуменья и благословила на подвиг тяжкий.

На заре ранней, когда открывает ворота мирянам к средней обедне привратник — вышла Ариша с котомкой за спиной за монастырские стены в город проснувшийся. Останавливалась несколько раз, оглядывалась, пока за поворотом улицы не исчез монастырь девичий.

VIII

Через город Ариша шла, боялась, что все на нее смотрят, все и прохожие, и люди из окон глазастых домов каменных; думала, что все знают, отчего из монастыря ее послала игуменья просить на украшение обители, — не от нужды монастырской, а оттого, что согрешила она прелюбодеянием. Казалось, что каждый в глаза ей заглядывает, по глазам читает. Прошла поскорей город, слободу (Стрелецкую), где лепятся, покосившись, мещанские домики, и по пустынной дороге между двух стен ржи по неизвестному пути — напрямик. Думала, что каждая дорога от жилья до жилья, а где жилье, там и люди есть. С детства в монастыре жила, никогда не приходилось за городом быть одной, в бесконечном поле полос хлебных. Цветы придорожные радовали, залихватый звон жаворонков. Искала их в синеве глазами, следила — как они стремглав падают, и думала, что и душа человеческая также — то к небу вознесется, славословит жизнь радостно, то падает и роднится с

землею, а земля грешная и люди на ней и тоскуют, и грешат, и мучают, и сами мучаются, и от мучений своих очищаются, и снова ввысь возносятся. И когда жаворонок скрывался из глаз в вышине — улыбалась ему и своим мыслям.

С непривычки ноги болеть начали, башмаки жали. Остановилась, у дороги села, сняла обувь и пошла разутая. С непривычки ноги кололо, как шилами, от мелких комочков земли придорожной, перешла на тропинку подле ржи — прошлогодние стебли сухие впивались в кожу и жгла крапива. Терпеливо шла, думая, что на путях странствования все должна перенести со смирением. И когда ноги привыкли немного, снова следила за жаворонками. Солнце и тепло и струи воздуха колыхавшегося наполняли все тело ее спокойствием и первый раз в жизни почувствовала, что земля благодать и радость. За всю свою жизнь монастырскую не слыхала она примиряющих с жизнью слов, а последние дни у игуменьи наполнили душу ее примирением и любовью, открыли в самой в ней источник несказанной тихой радости, от нее любовь и смирение в себе почувствовала.

Вынула хлеб монастырский из котомки в полдень и у придорожной ракиты, расщепленной грозой, отдохнуть села. Ела и перебирала рукой траву, лебеду, ромашку и не заметила, как задремала. Разбудил чей-то голос.

Из города на телеге возвращался мужик, увидел сонную и остановил из любопытства лошадь.

Сначала покашлял нерешительно, а потом окликнул:

— Матушка, а матушка, ты чего ж тут-то?! Ай притомилась?.. Коли хочешь — садись, подвезу немножко.

Открыла глаза и испугалась незнакомого человека; когда одна в поле шла — кроме радости ничего не чувствовала, а увидела незнакомого — испугалась, вспомнила, как говорила игуменья, что мир возле стоит и надо беречься людей незнакомых на путях странствования, и зла может не захочет сей человек сделать, а сделает, и не он причинит его, а зверь, что в человеке живет. Во грехе человек ходит, во грехе родится и искушаем дьяволом, человек убегает от зла, а шепчет ему нечистый в левое ухо, — сидит на спине и шепчет, и заглушает голос ангела охраняющего, и творит человек зло своему ближнему.

Вспомнила слова игуменьи и ответила:

— Спасибо вам. Я пешком пойду.

— Ну, как хошь... А то б села...

И, не дождавшись ответа, дернул вожжами мужик, причмокнул и поехал дальше.

Не хотелось Арише идти дальше, снова задумалась, закрыла глаза и настороженная просидела до сумерек.

Боялась в поле одна остаться и, не думая уже ни о чем, старалась дойти до какой-нибудь деревни, за околицу не пошла. С непривычки страшно было ночевать проситься к чужим людям. Во ржи на меже легла, подложив под голову сумку. Не сразу заснула, а прислушивалась, как вместе с нависающей ночью тишина настает странная. Будто не только на людей сон нисходит, но и на всю землю, и затихает она до нового дня. И тишина эта странная, прислушивается к ней человек и чувствует, как земля дышит и воздух становится ясный, каждый звук в нем отчетливо слышен, особенно петухи ночью, даже как крыльями хлопают — и это слышно. Перекликнутся и опять тихо.

Проснувшись наутро — есть хочется, а хлеб монастырский съеден и корочки не осталось. И только тут вспомнила, что надо ей просить у людей и на пропитание и на обитель.

Сказала игуменья ей:

— Толцые и отверзется вам, просите и дастся вам, и тебе на путях подвига просить придется Христовым именем, и помни — всякое даяние благо и всяк дар совершен, от кого бы он ни исходил. Не смотри, что люди есть будут, а что дадут — и за то возблагодари смиренно. А если жесткосердных встретишь и не дадут тебе ни приюта, ни куска хлеба, возьми на насущный хлеб из мирской лепты — греха не будет.

Несколько копеек было на сдачу, побоялась истратить и не знала что делать, решиться не могла просить хлеба. В деревню вошла — открыла кожаный складень, положила на него монастырские копейки и пошла подле изб.

С непривычки человек и милостыни не попросит, а голод заставит его смирить гордыню свою. Молча шла мимо хат, никто не подал. Привыкли мужики слепцов видеть, нищих, погорельцев, на построение храма собирающих, и ждали, что к окну подойдут, собак раздражат и где-нибудь да получат даяние. Не от избытка дают мужики, а от жалости, сами несут нужду и чужая им ближе, оттого и дают просящим.

Через всю деревню Ариша прошла молча, никто не подал. За околицу вышла и заплакала от обиды и голода. Назад вернулась. Через силу попросила у мужика встречного:

— На украшение обители...

Взглянул на нее, заплаканные глаза увидел...

— Аль обидел тебя кто?..

— Нет...

— Отчего ж ты?..

— Есть хочу.

— Пойдем в хату...

В хату привел, посадил за стол, девчонке велел на огород за луком сбегать и положил перед ней кусок хлеба, посоленный с луком. Глядел на нее молча, а когда кончила есть — спросил Аришу:

— По первому разу, что ли?..

— Первый раз...

— По сбору послана?

— Да...

И положил на складень две копейки. А провожать из избы вышел...

— Ступай на село, храмовой завтра.

Издали увидела, с пригорка, подле церкви лабазы продавцов приезжих и толпившихся баб на подторжье в пестрых паневах, в кичках, мужиков, ребят, и не знала, идти или нет, и, только вспомнив слова игуменьи, что путь искупления только среди людей должна пройти, смирилась и пошла в церковь. На паперти вместе с нищими стояла во время всенощной и слушала, как они разными голосами нараспев одно и то же повторяли без конца перед входящими в церковь:

— Подайте, Христа ради, убогому...

Невидящему подайте, братие...

И сама начала,— сперва тихо, а потом громче, и слился ее голос с другими, как в многоголосой песне:

— На украшение обители... На украшение обители...

А когда выходить из храма стали, прибавляла:

— Православные христиане...

Пока не опустел храм — стояла.

Последним попик деревенский вышел, по случаю храмового — торжественный. Увидал монашку, подошел спросить из какой обители, а потом:

— Разрешение имеете от епископа и консистории?..

Достала из-за пазухи, показала...

— Ступайте к моей матушке.

Пожинала, переночевала, отстояла обедню на паперти, обошла следом за нищими хаты мужицкие и пошла дальше в путь.

И в хаты заходить начала на ночь, ходила по храмовым праздникам за слепцами следом и не замечала, что смотрят на ее красоту люди по-грешному.

Из деревни в деревню, из села в село и в уездные города, а в большие губернские — боялась, шум пугал, гомон, суета сует; в уездном тишина, мир да спокойствие... Стала в монастыри захаживать и в мужские и в женские, к угодникам, чудотворцам святителям прикладывалась, про чудеса слушала, копеечные книжечки в монастырских покупала лавочках.

Как вышла из своего монастыря весною, так и не тянуло обратно, жизнь радовала и счастья людского не видела, а жизнь радовала, счастье людское прячется, таится, чтоб не спугнули его, как птицу певчую,— спугнут его — не воротится. Не видела у людей счастье, а горе — оно напоказ, само о себе говорит; не бахвалится, а бредет по дорогам проселочным с покаянием, со слезой соленою, а от досады — в трактир, в кабаки залезает позабавиться казенкою. И радовало ее, что терпят люди нужду, невзгodu житейскую, оттого и радовало, что если все люди терпят, так и она должна сносить все с кротостью и смирением.

Идет полем — солнцу радуется, скуфейку снимет, играет в завитых волосах солнце жаркое и лицо покрывает загаром розовым. Сама не знала, что еще красивей стала, а люди видели и заглядывались на монашенку молодую. Всю весну, лето целое ни разу не заходила кочевать в избу, а в уездных городах бывала всего от утра до вечера,— ночь подойдет — в поле, в лесу ложилась. Чувствовала, что по-новому начала жить, и про свой монастырь забывать стала — поняла, что во грехе инокини живут, соблазняются грехом смертным и соблазн из кельи в келью так и лазит и отогнать его сил нет. Одна она была теперь на земле — вольная красота расцвела в ней силою, после младенца окрепла она, налилась соками трав придорожных, смолой хвойною на лесных прогалинах, сияли глаза от звезд полуночных тишиною ясною, а тело тянулось куда-то вперед и не мучало, а ждало неизвестного, неизведанного. Казалось, что не оно дышит, а земля, и не тело томится, а бурлит из корней жизнь соками, и не она во сне сладко вздрагивает, а земля содрогается от избытка сил. От людей бежала...

Подошла осень — загнали ее дожди на ночлег в избу.

В избе — земляной дух, мужицкий наварный дух — душно от него молодой монашке, страшно,— заглядываются на нее мужики, парни.

Зашла раз переночевать ко вдовому бобылю, беспутному, сверкнул на нее глазами жадно, а ночью в темноте и пошел шарить, искать ее.

Еле вырвалась. Ночью ушла. Под дождем мокла. Два дня по лесу шла, на третий про монастырь вспомнила, про игуменью. Решилась вернуться и, не думая, из лепты мирской взяла денег и по железной дороге приехала в свой город, в монастырь Введенский.

Рассказала игуменье, что весну и лето ходила покойно, обиды ни от кого не видела, а осенью от жилья человеческого убежала, от насилия.

— Поживи до весны у просфорницы, старая она, тихая, и тебе с ней будет тихо, помогать ей будешь. А весною опять пойдешь, не снимаю я с тебя покаяние — преодолей все пути странствования, искушения человеческие.

До весны жила у просфорницы, тесто месила, пекла просфоры, относила в церковь, в город за мукой ходила. И показалось ей, что один раз она встретила Владимира, взглянула в глаза ему и вздрогнула. С этого дня вспоминать начала его, и проснулась жизнь в ней. Ночей не спала — вспоминала прошлое, все слова его ласковые, поцелуи и обещания. По дорогам лесным ходила, по полевым проселкам — ни о чем не думала, отдыхала душой; сторонилась людей, никогда не вспоминала возлюбленного, а встретила его — и ожил он в сердце ее желанием прошлого. Проснулась в ней сила накопленная и мучила ее невозможным. Молиться не могла. Станет перед иконою, молитву начнет шептать, а мысли бегут к нему, к любимому. Заснет и во сне его видит в греховной ласке. Еле весны дождалась, тепла — к игуменье.

Со слезами к ней: .

— Искушает меня образ возлюбленного, душно мне тут, не могу больше, благословите на путь странствия.

— В мир тебя тянет, и не избежишь ты искушения на путях своих. Никуда не уйдешь от людей в миру, от соблазна.

— Благословите на подвиг...

— Ступай. Только помни, что говорила тебе,— встретишь ты в миру любовь человеческую, прими радостно во искупление, очистит она тебя от содеянного, а если муку еще раз принять придется — возвратит она тебя ко господу, навсегда возвратит в обитель горнюю.

Не по деревням пошла — по обителям. И в мужские монастыри заходила, и в женские. В Хотьковский пришла — не пустили ее монашки собирать на обитель Введенскую.

— Разрешения у тебя нет от властей в нашей губернии собирать, ступай в свою...

В Хотьковском монастыре — свои порядки: на пустынь собирающих лепту, потому каждая копейка, попавшая в чужой карман,— монастырю убыток. Сами — каждого за подол хватают, за фалды, на каждом углу, на каждом шагу монашки поставлены деньгу выколачивать из богомольцев, у каждой специальность своя.

Только богомolec войдет в монастырь — со всех сторон поют сладостно:

— Приложитесь, батюшка, ко дереву Христову... исцеление подает в немощи... приложитесь... тут вот частицы от ризы пресвятой богородицы... чудеса творят.

В серебряном ящике диковинки выставлены, волосок преподобного, косточка сорока мучеников, частица мощей столпника, камень с горы Фаворской,— тыкает пальцем монашка толстая, поцелует богомolec диковинки, а потом:

— На тарелочку положите, что заблагорассудится, на украшение обители...

И тарелку сует под нос старательно:

— Маслица от неугасимых лампад родителей преподобного Сергия Радонежского, купите маслица, исцеляет от всех недугов...

— Икону, на кипарисе писанную, возьмите... из Гефсиманского сада кипарис привезен, где сам господь наш перед страданиями молился...

— Водички испейте от болезней душевных, главу омочите ею — вразумляет и наставляет милость вседержителя.

И всюду тарелочки под нос тыкают, всю душу у богомольца выпотрошат, очистят карманы старательно.

Даже меняльщица для удобства посажена в притворе, и меняет не копейками, а серебряными гривенниками, пятикопеечниками, меньше и на тарелку положить стыдно.

Монашки в монастыре — дородные, послушницы — красавицы, с любой хоть картину пиши — бровь черная, глаз ярый опущен долу, шелками шуршит черными, нараспев говорит, по-московски акая, и все из родов купеческих, тысячницы, миллионщицы — не подступишься: смирение на лице, строгость, только по привычке,— в крови так,— выколачивать из богомольцев денежки.

А чужая придет собирать на свою обитель — изловят, к игуменье приведут, вычитает ей свои правила и прикажет послушнице до ворот проводить обители.

И Аришу за ворота выставили...

— Не ходи по чужим монастырям собирать... Знать будешь, а то доход отбивать вздумала... В свою губернию ступай, там можешь...

Пошла молча.

По дорогам шла — думала, забыть не могла любимого. Мучилась и ждала чего-то... Сны беспокойные снились. Стала бояться одна ходить. Приставала к богомольцам-странникам и позади шла, задумавшись.

К людям привыкла, без людей оставаться боялась, казалось, что из-за дерева в лесу выскочит человек лютый и надругается над ее красотой.

Вместе с богомольцами и спала и ела. Слушала про мирские тяготы...

Выплачется на людях баба, исповедует горе свое, и Арише будто станет легче, а сама сказать, свое горе выплакать на людях, мучения свои перед людьми исповедать — сил нет.

Поднимется, вздохнет молча и опять позади всех пойдет. Слушает жаворонков залихватых, и сердце ее томит ласкою, тянет ее куда-то — сама не знает.

Странники в обитель Бело-Бережскую к Троеручице, и она с ними.

Лесной монастырь, дальний...

В прошлом году один раз была — понравилось.

С Мылинки такой лес начинается — не пройти человеку в нем, сосна столетняя не в обхват, ровная росла, молчаливая, и корабля такого не выстроишь, чтоб можно было на него установить такую мачту, а в лесу они шумят верхушками темными, как паруса корабельные, и не матросы коренастые по реям бегают, а легкие белки, как вьюн, лазают с ветки на ветку, с сука на сук, с сосны на сосну — через весь лес им дорога по верхам,— играют на солнце зверьки пушистые, шишками перебрасываются, прошлогоднюю хвою сбрасывают дождем иглистым. Зашумит лес по-жуткому, перекатные пробегут волны и загрохочет гром между сосен понизу, и затихнет лес, ожидая удара нового, и еще сильней и еще страшней — заскрипят сосны старые, будто плач по лесу, будто земля застонет о своих грехах. И опять тишина. А выглянет солнце, зашелестят шепотом радостным хвои темные, и будто у моря волна прибрежная — набежит, зашуршит по камешкам разноцветным, по золотому песку ровному, отхлынет на миг и опять раз за разом, как песня баюкающая, и сосновый лес поет эту песню вздохами, и будто не лес

шумит, а земля дышит глубоко и ровно. Солнце на закате багроветь начнет и лес загорится золотой киноварью, горит чешуя, плавится, и смола каплет огневыми искрами, янтарными, и воздух золотой пахнет ладаном.

Легко идти по такому лесу, дорога — между двух стен золотых извилистых, верхушки друг к другу сходятся и, как тропинка узкая, между ними синее небо — река вечного, а под ногами — серебро, шуршит песок белый,— оттого и пустынь зовут Бело-Бережскою.

За белою оградой монастырскою Свень-река, берега отлогие белопесчаные, а в реке дно-зеркало, каждая рыбица видна; идет глубоко под водой красноперый окунь, а будто поверху,— кажется даже, что рукою его взять легко, пескари, как чешуя серебряная, как рябь на воде солнечная, горят искрами и прозрачна вода в реке Свень — из-под корней старых сосен вытекают ледяные ключи сочные и от старого моха, от сухой хвои, от смолы душистой золотая она и на вкус чуть горьковатая, душистая, а пить ее — не оторвешься — целительная. Смотришь в реку, и тянет тебя прозрачность коснуться дна.

Дорога к пустыни по лесу, а как только направо свернешь — река Свень и ее повернет по берегу,— легко идти странникам к обители, идут молча,— лес молчит и они тоже, каждый думает в тишине о грехах содеянных, а позади всех монашенка.

Арише в лесу легко дышится, смоляной запах кружит голову, от этого и все тело у ней становится легче, иной раз не чувствует его даже, только слышит, как сердце толчками куда-то в глубину падает, голову кружит и кровь волнует женскую. И легко ей и всю тянет над землей подняться, полететь к радости. Один раз в прошлом году побывала в обители и во второй захотелось побыть, отдохнуть от людей в лесу, послушать, как колокол серебром звенит поверху и будто не колокол, а золотые сосны звенят по-китежски. В таком лесу, кажется ей, душа очищается от греха тяжкого и на людях незачем ей исповедываться, услышит лес, как сердце у ней бьется, почувствует мысли ее и повлекут они к корням в землю, а примет земля и мысли ее и биение сердца и простит ей,— земля простит.

Странницы, богомольцы в лесу ночуют и Ариша с ними, и с каждым утром ей на душе легче; лежит, лес слушает и сама не знает — лес это дышит или у ней такое глубокое дыхание, от которого на душе легко. В последний раз встала утром, и показался ей мир иным радостным и манящим, точно иными глазами его видит и по-иному и в первый раз. И жить захотелось ей снова, точно и греха у ней не было

никакого. С таким чувством и в монастырь пришла. За ранней обедней на паперти встала с нищими собирать на украшение храма, до конца стояла, пока молебствие не окончится Троеручице. Вышли молящиеся, за ними монахи. Один и подошел к ней.

— А вам, матушка, разрешил игумен?..

— Нет еще...

— Так вы сходите к нему благословиться, без этого нельзя...

Пошла Ариша к игумену, к отцу Гervasию, к Николке Предтечину.

Белобрысый послушник Костя доложил игумену...

В приемной у двери дожидаться стала. Ковер на полу, стол широкий под бархатной скатертью, к дверям половички постланы белые, старинный диван кожаный, по бокам кресла, на стенах: с одной стороны в черных рамках портреты игуменов, а над диваном — в золотых — епископы, в дальнем углу поставец с иконами и неугасимая лампада Троеручице, в три окна приемная и окна кисеей затянуты, чтоб не беспокоил посетителей монастырский комар.

Степенно вышел Гervasий, без клобука — волос каштановый, кольцами, красота монах; четки перебирает в руках медленно. Взглянул на нее, пронизал взглядом, с ног до головы осмотрел Аришу. Понравилась ему монашка: молодая, стройная, загар золотой солнечный и взгляд радостный. Напомнила чем-то Феничку, у той также золотой загар был летом и волосы золотые пышные. Мелькнула у него мысль, что с такою, да в покоях игуменских, и жить можно и унижаться ни перед кем не нужно, только бы заставить ее полюбить себя, еще лучше, чем в миру, спокойнее, и Феничку позабыть недолго.

Игуменом стал Николка — степенный, смирение на себя напустил, боялся уронить себя перед братией, перед старцами. Иной раз и тянуло на Полпенку к бабам старину вспомнить и на богомолку поглядывал и на дачниц и на купчих-говелыщиц, а вспомнит, что на нем сан игуменский и побоится потерять житье спокойное. А взглянул на Аришу, мелькнула мысль как-нибудь ее в монастыре задержать подольше, а потом оставить скотницей, хозяйство вести молочное.

Хозяйство в монастыре большое: и огород, и луга заливные, и мельница, и скотный двор: один подле самого монастыря, а другой на хуторе; на скотных дворах монашки-скотницы. И решил сразу Николка хозяйку себе завести молодую, красивую, как только увидал Аришу. Давно думал, как ему устроиться, чтобы плоть не мучила, сны бы не снились грешные, да иной раз по утрам простыня не была бы в желтых пятнах кругами радужными.

Благословил ее крестом широким, подставил поцеловать руку, и почувствовал мягкие губы, теплые, вздрогнул даже и еще острее промелькнула мысль, что непременно нужно ее в монастыре оставить.

— По сбору ходите?..

— Благословите, отец игумен, на украшение обители собрать в вашей пустыни...

— Сейчас богомольцев у нас немного, вот через дней десять Троеручица — полно будет и лепту соберете обильную во славу своей обители... Поживите у нас, отдохните в пустыни.

Говорил баритоном сочным ласково и в глаза ей заглядывал, любовался Аришею, а когда она уходить стала, опять благословил и опять вздрогнул от целующих губ теплых, еще они горячее показались ему.

— А где же вы жить будете?..

— В странноприимной, с богомольцами...

— Не подобает инокине пребывать с мирянами. Идите на скотный двор к скотницам, у нас они монашенки,— с ними и будете. Послушник мой проводит вас. Там спокойнее будет... И для обители нашей в свободный от молитвы час и от послушания своего поможете по хозяйству матушкам.

Пошел сам к послушнику белобрысому и приказал ему строго:

— Скажи, что игумен велел приютить матушку, да пусть покойчик отведет отдельный, скажи — сам придет глянуть, да чтоб мать Арефия заботилась и не утруждала се работою. Сам видишь, что из благородных должно быть...

Отдохнула Ариша в келейке, молока принесли ей, творогу, душистого хлеба, а к вечерней трапезе Арефия прислала ей щей с рыбою, забеленных сметаню.

На заре пастухи выгонят скот после доения и тишина на дворе. Проснулась Ариша, парного молока выпила и пошла к обедне собирать мирскую лепту. Игумен выходил, под благословение подошла — спросил ее, как устроилась, и опять благословил ее. Дорогою шел в покои свои степенно, иноков благословлял, подбегавших к нему, а сам думал про монашенку, про Аришу послушницу и все время чувствовал на руке ее поцелуй тихий и губы теплые и мечтал даже о том, как она целовать его будет в губы, когда он переведет ее на хутор и комнату ей устроит, и по хозяйству навестить придет.

Целый день думал, а после вечерни и не выдержал, пошел на скотный двор поглядеть, по хозяйству распорядиться перед Троеручицей.

Переблагословил монашек скотниц и спросил Арефию:

— Ну, как гостя твоя?.. Ты не утруждай ее... Из благородных она...

Хотелось ему, чтобы из благородных была Ариша, иначе и не думалось, красивая она, стройная, нос тонкий чуть-чуть с горбинкою, брови острые, загар золотой матовый — таких монашек из простых не бывает. На скотном дворе у него не матушки, а коровы дойные, тела не в обхват, смотреть тошно; глаза бесцветные, руки жесткие и лицо, на какое ни взгляни, либо от оспы рябое либо красное. Потому и думал про Аришу, что из благородных она, хотелось ему благородную полюбить, чтоб была из дворянок, лучше Фенички.

Мать Арефия смиренно ответила:

— Я не заставляю ее, сама просилась помочь, говорила что отец игумен велел.

— А что, у тебя к празднику на всех хватит?!

— Как не хватить...Собираем...

— Ты лучше попроси ее расчет вести...

Два дня пробыла Ариша и решила Троеручицы дожидать. Понравилось ей на скотном. Выйдет на заре помогать Арефии — молоко цедить, взглянет к лесу — стеною стоят за хлевами сосны, шумят тихо; солнце начнет выходить — розоватою становится чешуя на стволах, а книзу темнее — будто сияние. Угонят скот со двора, уберут молоко скотницы, пойдут завтракать, а Арише уходить не хочется, стоит, слушает, как пастуший рожок поет по лесу, и чувствует, что так хорошо никогда еще не жилось ей.

IX

Каждый день стал игумен по хозяйству заглядывать на скотный, один раз и в келью заглянул к Арише.

Благословил ее, а когда она своими руками подносила руку его к губам, наклонясь,— по-иночески — сперва дал поцеловать руку, а потом задержал в своей ее ладони и поцеловал в плечо. Застыдилась Ариша, покраснела, а он ничего не заметил, спросил ее:

— Нравится вам тут, матушка Ариша?..

Ответила тихо, смущенная:

— Хорошо...

— А вы оставайтесь у нас... на скотном... Матушка Арефия стара стала, не справиться ей одной, а вы б помогли ей...

— Послушание я несущу...

— Я, как игумен, властью, данной мне от господа, благословляю вас иное послушание нести и матушке игуменье напишу вашей, и она благословит...

С каждым днем все больше и больше привыкала Ариша, а когда прошла Троеручица и уходить нужно было, вспомнила слова Гервасия и жаль стало лес покидать, решила еще несколько дней побыть, а чтоб в тягость не быть монашкам, старалась помогать во всем и не в скуфейке выходила бархатной, а попросту белым платком накосяк покрывала голову и еще красивей была оттого, что волосы золотые виднелись.

Зашел раз Николка перед вечером на скотный и сказал ей:

— Я матушке игуменье написал вашей и ответ от нее имею — благословляет она вас остаться в пустыни...

Не писал Николка игуменье, а чтоб только осталась Ариша, обманул ее, не хотел отпускать и решил постепенно заплести паутинку, опутать ее внимание заботами и уловить такую минутку удобную, когда можно взять ее.

И ответить ей ничего не дал, сказал Арефии:

— Так теперь, мать Арефия, она у тебя будет помощница, записи тебе вести будет. И келию ей оставишь ту же.

И не то, чтобы покорила Ариша, а не хотелось самой уходить отсюда и снова по дорогам бродить с странниками, бояться людей живых, прятаться. Отдохнула она в пустыни, пополнила даже немного от молочной пищи, еще больше лицо стало матовым, а губы маковыми.

Каждый день приходил любоваться на нее Николка, в келию заходил, не знал только, как начать.

Ласковым был с Аришею. Когда говорил с нею, в глаза заглядывал, рукою плеча касался. Нравились ему золотые волосы, как кора на сосне — отливают киноварью. От этих взглядов и ей становилось неловко как-то и жутко. И опять она стала по ночам вздрагивать. Вздрагнет, проснется и не спится ей, сладко поводит все тело лесной воздух, неподвижная лежит, раскинувшись — радости ждет тело... Задумается, замечтается, о любимом старается вспомнить и не может, расплывается в памяти, вместо него мелькает лицо игумена. Перекрестится от искушения, а побороть не может.

Девушкой была — непонятно замирало сердце и вздрагивала, сама не зная отчего, а теперь чувствовала, что и ее тело мучает, налилось оно лесной смолой, земляными соками и дышит, все равно, как лес, как земля цветущая, и тянется от земли ввысь куда, чтоб раствориться в радости и не чувствовать его тяжести безысходной.

А Николка все чаще да чаще захаживать стал на скотный, даже мать Арефия и та заметила:

— Раньше редко бывал у нас отец игумен, а теперь чуть не каждый день,— это вы нравитесь ему, Ариша.

Застыдилась она, ничего не ответила...

— Тут, матушка, и стыда никакого нет, правда ведь... Я старая баба и то скажу, была бы женщиной — полюбила бы. Игумен-то у нас теперь молодой, красавец... и стыда никакого тут нет.

Стала прятаться Ариша от игумена, придет он на скотный двор — Ариша в коровник убежит. Походит Николка по двору, заглянет к Арефии, от Арсфии в келию Аришину, опять на двор, походит, походит и не выдержит, спросит Арефию:

— А помощница твоя где?..

— Не знаю... в хлеву должно быть.

— Ты не утруждай ее...

— Сама она...

— А ты дело найди другое, пускай по хозяйству записывает.

— Сами скажите ей.

— Молодая она, береги ее.

И уйдет в лес на мельницу, а с мельницы на хутор. С того дня, как осталась в монастыре Ариша, избу приказал исправить на хуторе, готовил квартиру ей... Идет по лесу — мечтает об житии монашеском, чтоб и в монастыре пожить, как в миру, и думает: «Какой монах я, никогда не собирался быть иноком, от нужды пришлось; надо жизнь устраивать, пройдут года, тогда поздно будет об этом думать...»

Не заметил, как и осень пришла с туманами, с морозящими туманными днями. Тоска в монастыре — дачники поразъехались, богомольцев — ни души, пусто в монастыре, тоскливо. Братия по кельям сидит, в храм по наряду, по очереди ходит, в келии молится, а если не молится — занимаются, что на ум придет, лишь бы скоротать время до весны следующей: на Полпинку послушники к солдаткам бегают, мантийные иноки в картишки перебрасываются, завесив окна, — житие бренное, обитель тихая — коротают осенние дни тягучие. Николка тоже скучает, только и радости перед вечером после трапезы навестить Аришу.

Один раз позвал белобрысого своего:

— Ступай, отнеси на скотный белье постирать мое... Да скажи, чтоб матушка Арефия прислала его поскорей с Аришею.

Арефия белье выстирала, Аришу призвала...

— Отнеси игумену.

А когда уходила Ариша, сказала ей вслед Арефия:

— Счастье тебе... само идет...

Принесла... Сумерки... В покоях игумена полумрак-лампада теплится... Проводил се белобрысый послушник... подошла к двери и сердце в темноте замерло... жутко стало... сама не знала отчего, а жутко... долго стояла молча, прислушивалась... Часы монотонно где-то на стене тикали... Постучать решила...

Из-за двери баритон сочный, ласковый:

— Войдите...

Молча ему подала белье. Ждала, что скажет. Колотилось сердце. Николка к ней подошел, в лицо заглянул, обнял и вырваться не хотелось, томилась соками смоляными от корней сосновых: выхода им искало тело, а взял за груди — пошатнулась к нему на руки и голова пошла кругом от слабости сладкой...

А после шепотом ей говорил:

— Любить тебя буду, всю жизнь... Все равно, что жена мне будешь... А греха в этом нет... Что ж я сделаю, если полюбил тебя, одолеть не мог плоть брENNую. Сан бы снял, если б дозволили, а сана не снимут — расстригут и в монастырь, в Соловки сошлют, хуже чем в тюрьме там, а за что? За то, что жить хочется...

Молча лежала, слушала и чувствовала, как кровь успокаивается в ней, и сердце тише и тише бьется.

— Не брошу тебя... на хуторе жить будешь, келейку там тебе еще с лета велел устроить, чтоб спокойнее было, никто чтоб не видел... А ты ряску-то сними. Не монашка ты... Послушница не монашка... Послушница и из монастыря может в мир уйти. Сшей себе что-нибудь черное, либо серое, чтоб и не монашка была и на мирянку бы не похожа...

Через конный двор когда шла — от стыда горела, думалось, что все знают, все видели,— конюхи ей, улыбаясь, кланялись, заговорить хотели — молча прошла. Рано легла с вечера, на душе было тревожно и смутно как-то, и когда сон наплывал медленно — слышала, как сердце бьется спокойно умиротворенное и сквозь сон

брили еще мысли, что встретила она на пути странствия своего земной путь любви истинной, по-женскому любовь эту в себе чувствовала, в теле молодом несытом она горела и позвала ее к истокам жизненным — тело земное и землей впоенное примирило с мыслями, успокоило душу, утихомирило. Думала, что может быть, правда, игуменья разрешила ей, поняла, что нашла она путь земной, по которому и к небесному одна стезя, поняла и благословила ее своим разрешением.

Не мучил ее Николка, не заставлял от стыда сгорать перед братией, за себя боялся, а через неделю на хутор переселил ее вести хозяйство и двух старых монашек со скотного двора послал в помощь. Оттого и монашек послал, что надежные были — сами они согрешали от немощи брэнной с иноками и ради своей слабости про Аришу молчок.

Хозяйственно обставил Николка дело. И в монастыре стал жить, как мирянин — благодушествовал. Заботливый был, хлопотливый: и на скотный сам, и на огород, и на кирпичный завод, и на мельницу, а под конец и на хутор попоздней заявится, иной раз запоздает и на ночь останется у возлюбленной, у жены своей,— за жену ее считал и говорил ей:

— Ты мне жена, вот кто. И стыдиться нечего.

С осени до весны пролетело время. Ариша жить начала по-новому, родить собиралась от Николки-Гервасия, на осень высчитала, ребенка ждала с радостью, прислушивалась, как шевелится, играет в утробе. Николка ходил успокоенный, и добродушие появилось, красовался собою перед иноками, а по закоулкам Памвля нашептывал:

— Говорил я, и в игумены пролезет,— вокруг пальчика обведет, не увидишь как,— прожженный; все хозяйство забрал в руки, всюду свой нос сует... Это ему теперь не ложки брать за процентики, покрупней шагает... Так-то, братия.

Старики тоже бурчали по вечерам на крылечках у келий...

— Да что говорить, забрал в руки, зато процветает пустынь... Ели мы щи такие?! Огород-то какой развел и братию не утруждает, с богомольцами управляется, говорит им: кормит вас монастырь задаром, так и вы потрудитесь во славу Троеручице,— сено скосить в обители, на кирпичном хоть по паре кирпичей сделайте...

— Деловой он, Гервасий-то...

— Братии при нем вольно... Живем каждый, как вздумается...

Одно только и осталось у Николки — глаз жадный. Денежки копить начал... Хлеб для обители закупает — процент положенный на житье Аришино, счет округлит на тысячу, придет на хутор и принесет ей в подарок сотенную, остальное про черный день спрячет. Об наследнике начал мечтать, для него копил. Нашла Ариша на путях земных путь истинный и тоже стала хозяйственной. Монашкам своим, помощницам, чтоб заботились, языками зря не трепали про игумена — подарки. И тем хорошо,— живут вольные, отработают день, уберут скот и в лес подышать воздухом, и двухсот шагов не пройдут от хутора — встретят смиренных иноков и за полночь дышат лесным воздухом, никак не надышатся. Вернутся на хутор, услышат, что не одна Ариша...

— Отец игумен пришел...

— Потихе надо...

— Эх, то-то любовь-то делает...

К полунощнице ударят в пустыне — от Ариши уйдет, крадучись, чтоб не разбудить монашек.

У святых ворот Васенька его встретит, благословиться подбежит к нему:

— Николушка, благослови меня... Искушает меня бес, помоги, спаси — ты знаешь...

Благословит, отмахнется от него:

— Молчи, Васька. До сих пор тебя бес мучает... Молись лучше.

— Я и так, Николушка, молюсь, за тебя молюсь, о твоих грехах, и тебя бес мучает, мечешься ты от него по лесу, а он тебя по лесу водит... Куда только?!

И бормочет Васенька, пока игумен не скроется от него в темноте.

Только Васька и не давал покою Гервасию. Братия про него шепотком, а блаженный в глаза режет правду.

Изо дня в день потекла жизнь ровная у Николки Предтечина.

Май в разгаре, тепло из болот комара выгнало,— звенят, кружатся...

И сосна еще прошлогодних шишек не успела сбросить, папоротник еще не развернул завитков своих — привезла монастырская линейка с полустанка иподиакона архиерейского.

Гостиник спросил:

— Помолиться приехали?..

— От епископа с поручением к отцу игумену.

— От преосвященного...

Отвел ему номерок почище в новой гостинице и сейчас же коридорного послал к Гервасию.

— Беги, да скажи отцу игумену, иподиакон к нему от епископа, не отлучался чтобы из обители. Свежих просфорок ему принеси к чаю. Да живо чтоб!

Послал гостиник отцу иподиакону поскорей самоварчик и понес просфорки теплые,— полюбопытствовать захотелось, по какому делу его прислал епископ.

У двери постучал... Пробормотал скороговоркою:

— Молитвами святых отец наших... помилуй нас.

Вошел в номер.

— Я вам, отец иподиакон, просфорочек принес к чаю... мягенькие...

Тараторил, тараторил, а ничего не узнал, не выпытал. В келии у себя подумал:

— Ишь ты, ведь, продувной какой... Не выпытаешь.

Перед трапезой прибежал белобрысый послушник от Гервасия.

— Отец игумен просили вас пожаловать к трапезе откусать с братией.

По всему монастырю слух прошел, лично, от епископа к Николке послан,— едва тот в трапезную вошел — кинулись монахи его усаживать подле места игуменского.

Степенно Гервасий вошел, облобызал гостя.

— Потрапезуем сперва, отец иподиакон, чем бог послал, а потом сообщите мне весть радостную.

На этот день за игуменский стол и щи были особые поданы и уха жирная. На все столы будничное, а для гостя — особое, чтоб ел да похваливал.

Отцу Паисию, эконому, с утра Гервасий приказал:

— Смотри, чтоб получше, особое приготовить, пожирнее и кашу помасли, чтоб плавала, да не забудь квасу мартовского поставить.

— Что вы заботитесь так, отец игумен... был бы иерей, а то иподиакон.

— Не знаешь ты, отец Паисий, что такое иподиакон при епископе. Иерею бы я и не подумал подать, а иподиакону... Я сам исполатчиком был, так мне виднее. Все равно, что адъютанты они при епископе, у генералов — адъютанты положены, а у епископов — иподиаконы. Всегда они подле преосвященного вертятся и всюду свой нос суют, а потом улечат минутку и на ушко ему. Не угоди ему — такого наговорит, что и не отделаешься потом. Прежде всего иподиакону угоди, да еще ключарю соборному. Тот еще выше, всем ворочает, с

архиереем запросто, всем командует и епископа в руках держит. Я эту штуку хорошо знаю — исполатчиком был.

После трапезы под руку взял Гервасий иподиакона, увел в покои. И прежде всего осведомился — удобный ли номерок отвели, не беспокоили ли насекомые, комары не надоели ли, а потом уже спросил о здоровье епископа.

— Нездоровится преосвященнейшему...

— Помолимся соборне с братией Троеручице чудотворной об исцелении недуга преосвященнейшего Иоасафа сегодня же, не откажите, отец иподиакон, с нами вознести молитву владычице.

— Я, отец игумен, сегодня же должен уехать с вашим ответом. Видите ли, преосвященнейшему хотелось бы отдохнуть в вашей пустыни.

— Милость господня на нас снисходит, превеликая радость братии лицезреть епископа... Только пища у нас скудная...

— А я так наелся, отец игумен, и дома не всегда бывает вкусно так...

— Во славу божью послужит вам пища наша... А только для епископа при его немощи нежное кушание подобает, а у нас неискусные повара. Нельзя ли устроить так, чтобы и повар приехал владычный. Устройте, отец иподиакон, премного вам благодарен буду.

— Только преосвященнейший не один приедет...

— Соборне и ждать будем и отца ключаря, да чтоб с матушкой, семейно, и отца протодиакона — украсить своим голосом служение в пустыни и тоже с семейством, и вы, отец иподиакон, с матушкой иподиаконицей, с детками, у нас благодать тут — благорастворение воздушных, лес у нас, сами видите, прекрасный, а со скотного двора будут доставлять вам и молочко, и маслице, и творожок, и сметанку. Вроде как на даче отдыхать будете, а сами — за трапезу к нам пожалуете... Превеликая нам радость будет.

— Преосвященнейший не один прибудет, и его высокопревосходительство градоначальник, его сиятельство князь Рясной с дочерью, собираются посетить пустынь, пожить вместе с епископом.

И это не озадачило Николку, рассыпался перед иподиаконом:

— Такой чести еще ни одна обитель в губернии не удостоивалась... Превеликая нам радость. Только опять затруднение насчет пищи... Устройте, отец иподиакон, выручите меня, нельзя ли будет и повару его сиятельства к нам пожаловать; мирские кушанья

не сумеет, пожалуй, повар его преосвященства готовить, так вы постарайтесь, отец иподиакон...

А под конец, когда иподиакон уходить собрался, сбегал в спальню и в конверте принес три сотенных.

— Тут вот, отец иподиакон, на хлопоты вам, а если не хватит, потом скажете мне...

На прощанье расцеловал Николка иподиакона и, провожая в переднюю, тараторил, захлебываясь.

Вечером в тот же день и старцев собрал Гервасий и объявил им радость великую, и просил совета — вразумить его, как принять гостей в пустыни.

Покряхтели монахи, поворчали, что расходы предстоят большие, а нечего делать, против властей предержащих нельзя идти инокам, всякое испытание должно перенести смиренно, а тут не испытание, а радость великая.

С экономом прощаясь, сказал Гервасий:

— Приди-ка, отец Паисий, после трапезы завтра, обдумаем. Гостей-то сколько приедет... Обдумать надо. С отцом гостиником приходи. Ему тоже теперь хлопот много.

Перед сном в книгу записывал расход дневной и вместо трехсот иподиаконских — вписал четыреста. Засыпая, не об Арише думал, а мерещилась митра архимандрита, сверкающая самоцветами.

МОЩЕЙ ОБРЕТЕНИЕ

I

Две гостиницы в пустыни Бело-Бережской, одна старая, лет шестьдесят стоит, а другая — новая и обе двухэтажные, каменные. Новую только окрасили, а старая от дождей с разводами сероватыми, сколько лет некрашена, а между гостиницами ворота сосновые, над воротами Троеручица. Двор большой, посреди двора колодезь — студеная вода, горьковатая от лесных корней и прозрачная,— купцы даже не раз спорили, увидят на дне гривенник или нет, бросали и видели. Кругом двора бараки с навесами и под навесами летом столы еловые,— странноприимные. А в Троеручицу и на дворе под открытым небом богомольцы спали. В странноприимных нары поделаны — без различия, где занял, там и ложись. Зато в гостиницах порядки особые. Гостиник, отец Иона, хорошо знает, куда какого богомольца поместить нужно. Подъедут с платформы линейки с богомольцами, отец Иона навстречу выйдет. Всех богомольцев у старой саживали, а потом по гостиницам разводили послушники. Глянет Иона, сразу скажет, куда вести, наметался глаз. Почище кого из губернского — в новую, в верхний этаж, а дачников — на низ, чтоб не морить ног по лестнице. Из купеческого звания без особых достатков во второй этаж в старую, а незнакомых или из мещан, чиновников мелких — в нижний этаж. Давно порядок такой заведен в обители. Иона всегда говорит послушникам:

— Коемуждо воздай по делом его, у кого дела-то получше да звание на себе носит — прими с почетом, отдохновение дай молитвенное.

И в каждой гостинице свой порядок. В старой дачников не бывает,— одни богомольцы. А если ты богомалец, так и порядок монастырский соблюдать должен. Оповестит звонарь к полунощнице в средний колокол, и побегут по коридорам послушники с колокольчиками, бегут, позванивают и приговаривают подле каждой двери...

— К полунощнице, к полунощнице...

Около каждого номера остановится, одною рукою вызванивает, а другою в дверь постукивает.

— Молитвами святых отец наших... господи... помилуй нас... К полунощнице.— Скороговоркою говорит, звенит голос по коридору сонному. Пока не закричит богомolec за дверью, ноги спуская с постели сонной, до тех пор не уйдет послушник. По всем номерам бежит, всех разбудит.

Тут бы поспать только, самый сон крепкий перед третьими петухами, а тут и полунощница. Иной побурчит-побурчит спросонья, успокоит послушника и опять завалится спать до ранней.

С вечера в старой гостинице и не уснешь сразу — монастырский клоп мучает, истощает по щелям за зиму, а весной и накидывается на богомольца сытого. До полночи проворочается богомolec, пока не обессилеет и не повалится на тощий тюфяк замертво, а тут-то и воля клопу-великопостнику. Монастырский клоп особенный, он тебе не полезет на человека сразу, а сперва взберется на потолок, примеряется, а потом и плюхнется сверху. Отмахнется рукою богомolec спросонья и опять засопит блаженно, а клопу того только и нужно, таких волдырей насосет, что потом целый день купец почесывается. И клопы с расчетом держались в старой гостинице. Так тебе богомolec на монастырских хлебах даровых и неделю, а то еще больше проживет, а с клопами и трех положенных дней не выдержит.

Отец Иона говаривал:

— Если ты богу приехал молиться, так нечего заживаться, отбыл свое и кончено, другому освободи место.

Даром кормили в пустыни, не выпрашивали у богомольцев,— кто сколько в кружку опустит. У самого входа и кружка под Троеручицей повешена в гостинице, железным болтом в стену вдавлена, а над кружкою надпись сделана — «По усердию»... Больше трех дней и усердия у богомольца не хватит, от клопов монастырских лишь бы избавиться поскорей, и бросит лепту свою в кружку. Так бы, может, тянул денежки, целую неделю бы их носил по обители, а дойдет клоп, на второй же день их вытрясет в монастырской лавочке: ложек накупит домочадцам, родственникам, маслица от Троеручицы, в пузырьках вид обители с полета птичьего, иконок, книжечек,— с запискою придет, по записке выбирает кому что привезти нужно, да так, чтоб не обидеть, кроме просфор за упокой, за здравие — подарок каждому. На второй день и вытрясет денежки, оставит на билет, на линейку, а остальное в кружку высыплет. А монастырю выгода, не задерживается богомolec подолгу, а все — клоп монастырский. Изодня в день целое лето богомольцы сменяются в старой гостинице, а в

новой — тишина, спокойствие. Не велено игуменом беспокоить господ дачников. Ни к полунощнице, ни к утрени, ни к ранней не будили господских посетителей. В новой гостинице и порядки новые, звонки электрические из каждого номера к номерному послушнику; нажмет дачник кнопочку, прибежит послушник с самоварчиком, с расписными чашками. А чтоб не смущаться капотиками кисейными, оголенными руками женскими — опустит вниз голову и будто не видит ничего, а поднимается над головой рука женская — сверкнет инок глазами, не выдержит — взглянет на волос курчавый под мышками и потянется к тому месту, где под рубашкою кружевной грудь начинается, и опять смиренным голосом спросит дачницу.

— Прикажете за молочком сходить на скотный?..

— Сходите, батюшка, будьте добры.

И побежит с молочником.

А в старой гостинице богомольцу, самому приходится на кухню ходить и у отца гостиника самовар заказывать. И не всегда гостиник богомольцу благословит самовар поставить,— прежде всего раньше, чем от ранней не придут — никому не дает, а если ты совсем не был в храме, так и без самоварчика обойдешься, не затем ты и в монастырь приехал, чтоб чаи распивать тут... Богу сперва помолись, потрудись господу, а тогда и самовар требуй. Кто к полунощнице не ходил, тому еще отец Иона прощал, а если к ранней не встал, хоть ты что тут — самовар не даст и не только что самовар и обед-то пошлет последнему, поскребушки.

В старой гостинице в коридорах половиков не постлано, окна по годам не мыты,— коридор длинный и в каждом конце окно мутное — полумрак круглый день, а сбоку окна в уголке умывальник железный с медным пестиком, краска на нем облезла, с разводами, и кисловатым от него пахнет — налипла на нем грязь мыльная, ногтем ковырнуть — густая, липкая и по всему коридору кисловатым тянет, не разберешь даже чем, монастырскими щами или еще чем пахнет. В полумраке и жизнь начинается в коридоре этом. Сбежит послушник с колокольчиком и потянутся, шлепая на босу ногу, богомольцы сонные и не к умывальнику, а сперва облегчиться в самый конец коридора в дверь низкую. Дверь поскрипывает, верещит блок веревкою, а на веревке этой кирпич, и не как-нибудь, а обернут тряпкою, чтоб не обивал стены. И не белая тряпка, не серая на кирпиче этом, а зеленовато-желтая от плевков людских. Идет богомолец туда и непременно на кирпич сплюнет, чтоб воздуху набрать побольше своего, а то как войдешь — от карболовки и от дегтю задохнуться

можно. От этого воздуха и лампочка не горит, а так только помигивает копотью. Вырвется оттуда человек и опять сплюнет, когда дверь открывать станет, а так как плевательницы не полагалось, то и норовит богомолец в уголок сплунуть, а в уголку кирпич болтается а все это в тряпку впитывается и высыхает она, благоухая по коридору темному.

А в новой гостинице благолепие. Коридор светлый, широкий, с раннего утра окна открыты, на полу половики белые, чтоб послушники монастырскими сапогами не топали, не будили дачников. И кирпич не болтается, пружина на двери сделана; умывальник хоть и общий, зато эмалью покрыт белой и каждый день его протирают вечером и даже для полотенец вешалка прибита с удобствами. Хоть и нет большого дохода монастырю от дачников, зато спокойнее — договориться можно и денежки получить вперед за номерок, а за услуги, за самовар, за хлеб — особое, а потом дачник и молоко, и творог, и масло покупает исправно на скотном дворе и за горячими просфорами в монастырь бежит. Отец пекарь специально теплые оставлял для дачников. В самом конце монастыря, за старым собором, подле трапезной, просфорная и послушник кудреватый за отодвижным оконушком. Прибежит гимназист или барышня за просфорами, заулыбается послушник, побеседует.

— Вам, как всегда, двенадцать?..

— Да, батюшка...

— Не обожгитесь, еще горячие... А вы только встали?.. Поздненько нынче.

— Мы всегда так, батюшка... Так сегодня пойдем по ягоды после трапезы?

— Обязательно...

И ходят к дачницам послушники молодые — чайку попить, городского поесть, вкусного, за девушкой погулять, за дамочкой. И старики мантийные приходили подарить, а то просто и продать, ложечку.

— В монастырской лавочке у нас не найдете таких... там попроще и распись на тех простая, только для благодетелей наших, для знакомых и делаем особое — с златоперицей, с яичком в троеперстии... Расчету нет никакого такие отдавать лавочнику, что ж за них — по пятиалтынному не получишь, а труда-то над ними сколько. Те мы больше для простого народа делаем, дюжинами и сдаем лавочнику, а это особое — для благодетелей.

За особенные богомолец и благодарит особенно — по полтиннику. И послушники даже не брезговали благодетелям приносить ложки. Только отец Иона послушников не пускал...

— Жадные... не поделятся, о своей мамоне думают.

А мактейные обязательно сунут Ионе гривенник и не за то, чтобы пустил в номер, а главное — посоветовал богомольцу не в лавочке покупать ложки, а из рук монашеских.

— У нас, знаете, искусные есть иноки, такие ложечки вытачивают — красота чистая. Вы сходите к отцу Памвле, у него особенные.

Зайдет богомолец к Памвле, а тот:

— После вечерни я принесу, получше выберу... В келии нам нельзя продавать, отец игумен узнает, что сребролюбием занимаемся — отберет в лавку, а я лучше сам принесу, хорошеньких.

Послушников не пускал Иона в новую и коридорным приказывал:

— Чтоб мне говорили, кто ходит... игумену доложу.

Коридорный скажет, что исполнит приказ гостиника, а сам — разнюхает, когда занят Иона или гостей принимает новых или после обеда отдыхать ляжет и мигнет приятелям. Ионе невыгодно выдавать: прежде всего не позовут выпить, а потом — отомстят, избыют осенью, когда за дровами пошлют в лес.

Так по-особому и жила гостиница.

А за гостиницами еще особые деревянные дачи были, особым благодетелям и отдавались отцом игуменом: купцам да купчихам с семьями на все лето. Там и жизнь по-особому. Иона и не прикасался к дачам, не в его были ведомы; только говорил игумену:

— Искушаются иноки, отец игумен, дачами. Не уследишь за ними. И не мое дело это, а только ходят туда и послушники, и мантийные.

— Нельзя, отец Иона, благодетелей наших лишать общения с иноками. Может, через них благодать на обитель нашу снисходит — даяние... И на мирян оно действует примиряюще...

Целые дни в лесу около дач послушники кружатся — поджидают за ягодами.

И Николке гостиник жаловался, а тот вспомнит, как сам с Афонькою прогуливался перед дачами, дожидая Феничку, защежит у него сердце и размякнет благодушно.

— Ничего с ними, отец Иона, не сделается... Ты за гостиницами приглядывай получше... Там благодетели наши, свои, на ветер, чего не нужно, не вынесут про иноков, а тут, что ни день — новые, долго ли ославить пустынь нашу.

Идет из гостиницы, взглянет на дачки, вздохнет глубоко, а вспомнит, что Ариша его на хуторе дожидает — заулыбается.

В святые ворота пойдет — Васенька с Авраамием на солнце греются.

Подбежит блаженный к игумену...

— Трудно тебе, Николушка?.. Трудись, трудись... Бог за труды вразумит тебя, наставит на путь истинный... От беса избавит блудного.

Целые дни Васенька подле Авраамия, никуда его от себя старик не пускает и ничего блаженный не знает теперь о братии, и Николке ему теперь сказать нечего.

Николка только спросил у Авраамия:

— Остепенился блаженный?.. А ?..

— На ночь я ему руки связываю...

— Не оставил его бес полуночный?..

— Мучает...

— Уж ты, отец Авраамий, потрудись над ним...

Так изо дня в день и жила пустынь дальняя, по заведенному и в гостинице шли порядки... А побывал у Гервасия иподиакон Смоленский, Петр Иванович — все кверху дном пошло.

II

Собрал Николка старцев совет держать.

И не в уголку стал, как в пятом году, а воссел на диване кожаном.

— Обители честь великая, старцы. Гостей принимать. Градоначальника и епископа Иоасафа с синклитом...

Советовали старики крестным ходом выйти от монастыря за версту с Троеручицей, а от самой станции расставить послушников по дороге, чтоб, когда станет подходить поезд к станции — первый бы бежал ко второму, знак подал, второй, как завидит первого, — бежит к третьему и так до последнего, а звонарю смотреть в оба к гостиницам. Как из-за старой гостиницы покажется бегущий послушник — во все колокола, великим звоном преосвященнейшего встретить. А когда побежит послушник по дороге — двинуться с Троеручицей навстречу с молебствием. Вечернюю трапезу приготовить на всю братию и всем быть за трапезой, а гостям пола мужского подле Спасителя в трапезной приготовить, где богомольцев причастников сажать положено, а женскому полу в гостинице разнести по номерам с добавкою.

— Творогу с молоком подать.

— А как же нам с богомольцами быть в старой гостинице, да с дачниками в новой, отцы?..

— Благодетелей трогать нельзя...

— Отец иподиакон говорил мне, что духовенство, коему сопровождать положено епископа, приедет с семьями и к градоначальнику, камергеру его величества, тоже придут гости с дамами,— как тут-то будем?.. Куда принимать гостей?..

Задумались старики, примолкли.

Только один Авраамий привратник свое бубнит:

— А мне-то как быть?.. Как мне? Беда будет с Васенькой... Не удержишь его, он и так в богомолке каждой беса блудного видит, не то, что в дачнице, удержу на него нет... Беседует... С каждой норovit побеседовать... Греха б не было с ним... Ославит обитель нашу.

Досифей горбатый сидит рядом — шамкает:

— Отец Авраамий, а ты его на замок жапри. Жапирай на день, а швятые ворота жакроешь — выпускай подышать вождухом.

— Запрешь его... Окна выбьет. С него и этого хватает. Мне-то придется подле ворот святых находиться, а он и начнет буйствовать. Ты, Досифей, подумай только — не какие-нибудь дачники, а знатные господа приедут. А как из окна он выскочит да набросится на какую барышню. С него ничего не возьмешь — блаженный он, а пустыни срам вечный. Подумай только...

— Швяживай его... веревкою... в кладовушку клади темную...

Старцы молчат, думают, Авраамий бубнит Досифсю про Васеньку.

Игумен Гервасий насупился,— никто ничего не советует ему путного: про то, что собором встречать епископа, об этом и говорить нечего, так уж положено, а вот по хозяйству никто ни слова.

И не старцев перешептывающихся слушал, а ловил слова привратника монастырского Авраамия.

С Васеньки и начал Николка.

— Благословите, старцы, слово сказать...

Уставились на него молча старцы мантийные.

— С Васеньки я начну, с блаженного... отец вратарь говорит правильно: конфуз выйдет с Васенькой. Начнем с него... Я бы его в скиту поселил на время под надзор старцам и настрого запретил ему из скита выходить... А главное-то не в Васеньке, а денег откуда мы брать будем, расход же обители. Если вы, отцы, не дозволите, так и гостей принимать — срам один... Насчет денег главное. Не давать же им монастырские щи да кашу?.. Отец иподиакон говорил, что епископ болезненный, ему стол особенный нужен, нежные блюда, он и повара своего привезет, и градоначальник тоже с поваром пожалует... Гости-

то, отцы, не молиться, а отдыхать приедут, вроде как на дачу, а им, по городскому положению, старцы, и икорочку и мясо нужно... Как же, отцы, быть?..

Задумались старцы, на Досифея горбатого смотрят, он старше всех, ему и отвечать первому и советовать.

Поковырял Досифей в ухе, шмыгнул носом,— зашамкал:

— Штарцы, да благошловит настоятеля нашего Троеручица да вражумит его гостей принять в пуштыни, а мы его воле покоримся шо шмирением... Наштоятелю гоштей принимать, а кажначею рашход вешти в точношти и у наштоятеля в пошлушании быть шмиренно.

Обрадовались старцы, на душе отлегли заботы.

И Николка обрадовался, руки ему развязал Досифей своими словами, полным хозяином будет в пустыни.

А Досифей — сухой старик, маленький, глазки остренькие, сухое лицо, испитое, синее и только глаза, точно щелочки, зло поблескивают.

Опять начал:

— Я еще скажу, штарцы... Вашеньку-то вот мы уберем в шкиту, а ешть у наш еще жабота... Акакия мы куда денем? Штарца нашего?.. Его б тоже в шкит надобно.

Старые счета у Досифея с Акакием, сколько лет на него таит злобу. Давно еще, когда Савву игуменом выбирали, начала братия заботиться об обители. При Савве и собор строить кончали и гостиницу новую. При Савве и пустыньку Симеонову, основателя пустыни, украшать начали, подле колодца хибарку поставили с слуховым окошком и на пригорке скамеечки врыли, где по монастырским преданиям келия основоположителя пустыни стояла, когда он схиму принял после укрепления обители в вере истинной и удалился в лес темный на великий подвиг отшельника. Подле корней врыли скамеечки и деревянный пол помостили и столб поставили с описанием трудов Симеона схимонаха, пустынника Бело-Бережского, и оградкою деревянною обнесли холм песчаный, чтоб не обсыпали его богомольцы, песок не растаскивали бы, корней сосен столетних не подкапывали бы. При Савве братия заботилась об обители. И Досифей с Акакием помогали братии. И каждому из них хотелось на пустыньке поселиться. А с тех пор, как не благословил настоятель Савва Досифею жить на пустыньке, с тех пор и затаил он зло против Акакия.

— К нему, Досифей, народ ходит, в сердцах человеческих он читать может, дар господень у него провидца, ему и жить на пустыньке, а ты, Досифей, немощный, поживи в скиту.

— Ко мне, отец Савва, тоже народ приходит, врачую я людские немощи...

— Душу врачевать, Досифей, нужно, а ее в тишине человек открыть может, тишина ее врачует, а врач господень только раскрыться поможет ей, облегчить словом истины... Акакия благословил я...

С тех пор и стал жить Акакий на пустыньке. Один жил в хибарке, только зимой месяца на два в самые сильные морозы переходил в скит, в келию. А чуть пригревать начнет солнце — на пустыньку уходил Акакий и до глубокой осени, до первых морозов, доживал в лесу. И стали к нему ходить богомольцы, странники, искалеченные в житии мирском. С утра раннего подымался Акакий творить молитву. Пройдет на бугор пустынника Симеона, сядет на лавочку и слушает тишину лесную — молится. И слов у него нет — без слов молится, вспомнит про жизнь мирскую — загорятся глаза старческие; медленно дышит, тихо впивает смолу лесную, слушает, как птицы свистят утренние. И птицы ему кажутся райскими — беззаботно иволги перевизгиваются, другие посвистывают, а то завизжит сизоворонка, сорвется с сука и блеснет семицветною радугой крыльев. Слушает душа старческая и радуется каждому звуку, каждому прыжку белок по верхам сосен. Уставится старец в одну точку вверх, занемееет весь — неживой будто, только глаза сияют радостью. И до тех пор, пока не ударят к ранней, и пока солнце не позолотит коры сосен и не порозовеет песок белый. Услышит Акакий колокол, подыметсся и начнет день заботами.

Снизу он сосны обложил досочками, чтоб не обрывали кору странники, и лозою посвязал их, кое-где и гвоздочки вбил, и корни песком позасыпал. И каждый день Акакий осматривал сосны старые, корни цепкие, и заботливо досочки поправлял и с реки Снежити песок приносил подсыпать подле корней старых.

Про чудеса монахи простому люду рассказывали:

— Старец наш чудеса творит, Симеон пустынник, основоположитель пустыни. Исцеление подает недугующим.

Приходили бабы на пустыньку, мужики старые и пролупывали кору сосновую, завязывали в концы головных платков песок белый. Дожидали по целым часам старца Акакия. Работает старец на пустыньке — подойти боятся, думают, что помешают ему, прогневают и не подойдет он, ничего им не скажет, не утешит им душу простым словом.

И каждый день утром Акакий засыпал корни сосновые, жалея дерево, и говорил про себя шепотом:

— Вера человеку поможет, не песок, а вера, а что он песок-то берет, пускай берет, я принесу, еще принесу, когда из-под корней выберут, лишь бы орали песок этот, верили б, вера горами двигает.

И словам его народ верил. Просты у него слова, житейские, про мужицкую жизнь слова тихие.

У мужиков одно горе: нужда, от нужды болезни, родителям непокорство. Придет баба, выплачет душу, услышит слова тихие о душе,— они и входят в душу, в глубину самую и уходят от него облегченные, будто и жизнь с этого дня легче станет. А как опять защежит душа — соберет баба гроши свои, что от хозяйства ей приходится, и пойдет облегчить душу к старцу и жить без него не может, каждое дело идет обсудить, посоветоваться. Девку выдавать против родительской воли, отделять сына... Ругается с мужиком, ругается, а потом и скажет, что пойдет совета просить у старца. И за сколько верст летит слово о старце Акакии, каждой встречной о нем расскажет, а та другой, и знают о нем в деревнях мужицких.

Мужику скажет, а тот.

— К Акакию пойду, посоветуюсь...

— Ступай, что скажет, тому и быть видно.

И мужик верит старцу, может, и никогда и не был у него сам, а если знают в народе про пустытника — мужик ему верит и что баба от него передаст — исполнит точно. Состарится и сам идет в пустынь какую-нибудь повидать старца.

— Мужичья жизнь трудная,— куда от нее уйдешь, от горя-то! Без земли-то нам тяжело жить, батюшка...

— Не ропщи на господ... Жизнь-то, ведь она твоя... У тебя мало, а у других, может, и ничего нет, а живут, не ропщут... И ты терпи... Никуда она не уйдет от тебя, земля эта, твоя будет, ляжешь в нее — твоя земля, «от земли взят, в землю отыдеши, а в ней несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»... Думаешь ты о ней, а все равно твоя, тебя ждет...

И каждому у старца найдется слово тихое.

К душе подойти тихо надо душою, свою раскрыть перед каждым, чтоб и другая была понятнее, а понять человеческое горе всегда легко, прежде чем говорить начнет — зорко осмолит всего человека, по костюму его узнает, из каких он, по лицу прочтет и достатки, и бедность, и страдание. Верней врача определит, отчего душа у человека мучается. У старца душа всегда чуткая, каждый нерв напряжен пытливостью, только чуткий человек старцем и может сделаться. Чуткая душа с молодости к человеку тянется, каждым поступком своим болит и у других ищет успокоения. И Акакий

смолоду к людям шел,— обманывался, разочаровывался, может и не верил в людей, а тянулась душа к тишине, к отдыху и раскрывал каждому глубину болезненно и своею болью узнавал другую душу и с каждым разом чаще и чаще понимал чужую. Потом и о своей не рассказывал, а только тихими словами, любовью насыщенными, пускал в свою душу чужую, каждую. В одном слове, в одном намеке угадывал и радость и горе. Простыми словами и к душе подходил.

— Живется тебе тяжело...

— Уж так тяжело, батюшка, и слов-то нет. Без кормильца мы...

— Давно помер?..

— Прибрал его господь...

И сразу старец поймет, что перед ним бездольный человек, бобыль-горемыка, вдова с сиротами,— ободрит каждого, посоветует... Рассказывает ему баба, почувствовав где-то глубоко тихий голос старческий, с ласкою он войдет в душу, и отчитается она в излиянии. И не чувствует человек, что его же словами говорит старец, подумает и скажет самое обычное слово, от которого сразу легко становится, оттого, что старец принял чужую душу, чужие слова и нашел в них самое тяжелое. И снова оживает человек, сбросив с души своей тяжесть. А уйдет он от старца и думает, что это не сам он рассказал старому, а старец проник провидящим взглядом в душу и облегчил ее, и несет веру в него другим.

И Акакий ее вселял измученным, облегчая жизнь, и не обвинял человека за грешное, что против совести, а примирял его и с людьми и с проступками, прощая все. Только, быть может, примирение и прощение облегчало душу, давало ей жизнь новую.

Не во всяком монастыре и старцы были. Только некоторые и славилась ими, и со всех концов России ходили по этим монастырям люди измученные облегчить душу. Так из года в год и жили старцы, находя себе учеников и их научали по приметам внешним внешнюю жизнь угадывать, а по ней и учили познавать внутреннюю.

Только Акакий, еще пока один жил, без послушника, без ученика, не хотел никого звать на муку крестную. Оттого и крестную, что монахи ему не давали отдохнуть после напряжения, мелочами его изводили и каждый день одними и теми же. Больше всего Досифей ему не давал покоя и не сам, а подсылая послушников и монахов-приятелей изводить старца. Выжить его хотел с пустыньки.

Приучил старец аиста, каждое утро прилетал с озера. Убили его монахи — заплакал старец, больше этой обиды не видал он в жизни. Целое лето ходил старец Акакий на озеро, приучал аиста, стал и аист его признавать. Сядет он на берегу подле мельницы, слетит к нему с

крыши птица за хлебом, а старец и манит ее по лесной дорожке. Шаг за шагом, и приучил его за собой ходить и на пустыньку его раз привел, а на второй — прилетел сам с озера, запомнил жилье Акакия.

Досифей по всему монастырю ехидничал:

— Ишь ты, ведь, народ потешает, птицу жа шобой водит, точно и вправду пуштынник древний... На шмех людям, глядите, мол, что я жа такой человек швятой, при жизни жа мной не только что человек, а и птица ходит...

И может не сам Досифей убил аиста, а только нашли его за мельницей. Три дня его проискал Акакий. Мельник и тот удивлялся, — куда делся аист, думал, что остался он жить у старца.

Нашел старец аиста с перебитыми крыльями, убитого и заплакал, как по человеку живому плачут.

И никто не знал жизнь Акакия, и когда он в монастырь пришел — тоже забыли, и чем в миру был, — кроме настоятеля Саввы умершего, тоже никто не слышал, а сам не рассказывал, старался забыть о жене, убежавший в мир блудный, с тех пор за всю свою жизнь не плакал, а о птице убитой убивался долго, даже к людям не всегда выходил из своей хибарки. А последнее время с утра уходил в лес, к вечеру возвращался на пустыньку и каждый раз становилось больней ему слушать людское горе. С полуслов проникал в душу и — чтоб не мучился человек, до конца не рассказывал муку смертную — говорил сам.

Добился своего Досифей.

Призвал Николка Акакия и стыдно ему, знает, что от старца ничто не укроется, по глазам увидит, что любит он Аришу не любовью братскою, а земною, плотскою, и сказать надо, что с пустыньки ему переселяться в скит надо.

В ноги ему поклонился...

— Старче праведный...

— Не грехи перед господом, один господь праведен, а мы люди, мы смертные и грехи у нас смертные...

— Старче, братия хочет в скиту тебя видеть, чтобы поселился ты в нем... Гости к нам городские приедут с епископом; боится братия, чтоб не обидели твоей старости насмешкою городские господа знатные. Неверие, старче, в городе, забава им религия, так ты, отче, выбери себе в скиту келию, на время хоть, так братия хочет, соборне думали.

И опять поклонился Акакию земно.

— Возьми себе, отче, блаженного Васеньку в послушание, боится братия, что посмешищем станет он для гостей городских, не

управится с ним отец вратарь... Благослови, старче, принять блаженного в послушание, вразуми его немощь плотскую, уврачуй душу грешную...

Покорился Акакий братии...

До самой пустыньки Николка его провожал, о душе беседовал, а сам думал о гостях, об Арише, об игуменстве, о митре с драгоценными камнями.

Потом на мельницу пошел, глазом хозяйским окинул озеро, велел мельнику лодки исправить и к вечеру пришел к Арише с мельницы, стукнул привычно в окно — сама выбежала... Целовать бросилась. А сама шепотом:

— Скоро теперь, скоро, опять буду твоя, да вот он только еще со мною... Теперь скоро... Тосковала я без тебя, сколько дней у меня не был.

Утром от ней уходил на заре, после того, как коров выгнали.

— Масло собирай, гости приедут в пустынь... Епископ с князем, теперь не приду, пока не уедут. Узнают как — тогда беда нам, и ты смотри, не показывайся, на глаза не попадись как,— сама смотри...

Всю дорогу шел, думал, как бы не узнали про хутор гости. Иноки — те молчат и молчать будут, а вот если дойдет до епископа — в Соловки сошлют. Вспомнил, как инженер Дракин грозил Соловками. Тогда не было страшно, а теперь жутко стало.

С хутора прямо к Ионе, к гостинику, распорядился обычных дачников в дальние постройки переселить поскорей как-нибудь, да теперь же, а не то в старую, а гостей принимать в новую. Сам князь отдыхать приедет с епископом.

— Слышишь, да чтоб насекомых извел,— в старой, сам знаешь... Всех не уместим, придется в старую.

Каждому стал говорить, что приедет сам князь с епископом, точно в заслугу особую ставил себе гостей знатных.

И с каждым днем у Николки прибавлялось забот и об Арише забыл думать и о том, что узнать могут,— не пугало.

Опять иподиакон приехал тот же. Глазки у него хищные, пронырливые, иподиаконские, нос прямой, острый, гвоздиком, борода козлиная клинушкой, волосы выются черные,— Петр Иванович Смоленский. И не один приехал, а с женою и со свояченицею епархиалкою. Отец Иона встретил, послал предупредить Гервасия. А за иподиаконом из лесу, пешком с платформы — семинаристы-сироты.

Гурьбой и в номер вошли и по очереди под благословение потянулись, а Смоленский затараторил игумену:

— Отец Гервасий, я и забыл, совсем забыл, епископ благословил отдохнуть сиротам в обители, наши сироты, духовные, деваться им некуда, в городе — духота — отдохнуть нужно, будущие служители церкви, в дачку бы их. О сиротах епископ заботится.

Растерялся Николка, не знал, куда деть сирот. Иона помог ему, отправил во флигель, что при гостинице.

С утра до вечера бегал Николка от монастыря в гостиницу к Смоленскому, и ему-то угодить старался и расспрашивал, сколько человек приедет, да куда лучше всего поместить ключаря с матушкой, протодиакона с дочерью.

В губернском тоже сумятица.

Иоасаф епископ любим дворянами. До этого все архиереи не в ладу жили с властью светскою, покоряться не хотели губернаторам, иной раз и не кланялись друг другу. В табельный день явится губернатор со свитою, чиновники с треуголками, генералы на парад в иконостасе звякающем,— соберутся к достойной, а архиерей и не вышлет градоначальнику с иподиаконом просфору девятичинную в запричастный стих. Гудит сдержанно муравейник по правую сторону в соборе, а по левую городовой народ осаживают, чтоб место к молебствию освободить духовенству городскому. Запричастный поют, а в алтаре басит протоиерей Тимофей сдержанно: «Благослови, владыко»... И маются подле солеи генералы и штатские и военные — потеют в мундирах шитых, вертят головы — давят воротники стоячие шеи докрасна, платками вытираются с отчаяньем, а епископ и вышлет какого-нибудь протопopa проповедь говорить по тетрадошке. Протопop надрывается, а духовенство городское к алтарю проталкивается, с облачением под мышкою, в черных, темно-лиловатых покрывалах дьякона несут ризы. И среди горожан шум сдержанный и алтарь гудит, точно улей, басами низкими. Распахнут врата царские — всем синклитом духовенство вокруг престола в ризах праздничных. И потянутся за епископом парами к амвону на молебствие — в камилавках с Аннами, в набедренниках протоиереи степенные к амвону ближе, а мелкота слободская в скуфейках на самый зад и растянутся по чинам, по званиям до самого алтаря лентою. И мечутся с дикирием да с трикирием иподиакона между двумя шеренгами, рычит протоиерей с евангелием: «Благослови, владыко»... нараспев, по складам выводит.

Потеют попы, потеет генералитет губернский, потеют глазеющие богомольцы, и стены потеют соборные. А непокорный архиерей растягивает молебствие, изводит начальство гражданское, потому оно хоть и начальство, да не для особ духовного звания. А Иоасаф дружно живет с князем Рясным.

Приятеля, друзья можно сказать, закадычные,— вместе в пажеском были, в одном эскадроне кавалергардами служили, и опять в одном городе судьба свела. Не повезло Иоасафу в гвардии — мечтал до генеральских чинов дослужиться, а вышел скандальчик и выставили из полка, другого, быть может, из столицы б выслали, а его — призвал родитель во дворец и посоветовал переменить карьеру. А родителя нельзя не послушать, вся Россия его слушает, а сын незаконный и подавно покоряться должен.

И пришлось кавалергарду в Невскую лавру идти постригаться в чин иноческий, заново начинать карьеру новую, выбиваться в генералы духовные.

Дали епископа, и встретил Иоасаф приятеля в губернском, князя Рясного в генеральском чине, с ключом камергерским на золотом мундире.

И опять стали приятелями, старину вспомнили.

Теперь не только в табельные дни собор полон, а каждую субботу во всенощной полно и в воскресенье в обедне давка. Дамы узнали, что и епископ из князей — свой человек, гвардеец, и потекли в собор восхищаться манерами Иоасафа преосвященнейшего. То бывало только по табельным дням говорок на правой стороне дворянской в соборе, а то каждую неделю. Соборным попам доход от них небывалый,— пошлет ктитор с тарелками человека три — принесут серебра полные.

Шепчутся дамы, примечая каждое движение архиерейское.

А запоят «хвалите» во всенощной, и поплывет Иоасаф кадить осанисто по собору. Впереди протодиакон со свечою, а сзади иподиаконы с дикирием и трикирием, а в середине с серебряным кадилом Иоасаф шествует, благоухает ладаном росным с Афона. И, чтобы не задеть даму, когда молящимся кадит, извиняется.

— Пардон, медам, пардон...

Сияют глаза дамские восхищением. Слышит сзади себя:

— Душка.

— Обворожительный...

Улыбается чуть заметно одними глазами дамам и чуть заметно даже головой кивает, будто волосы ему, спадая, мешают.

В запричастный стих высылает иподиакона с просфорами их превосходительствам.

И иподиаконы подтянулись, как хорошие адъютанты или вестовые бегают. Поднесет просфорку самому князю...

Трешницу на тарелку вышвырнет.

Иподиакон несет тарелку обратно, трешницу рукой прикроет, а пойдет по коридорчику в боковые двери — в карман спрячет.

По воскресеньям у губернатора салон дамский, а для епископа и завтрак с винами тонкими.

Собрался князь Рясный с Иоасафом в пустыни отдохнуть на даче, и дамы соборные зашевелились на дачу следом в обитель тихую.

Иподиакон Смоленский и Николку по секрету предупредил за чаем в покоях игуменских:

— Я по секрету, отец настоятель, вам... светское общество в обитель ждите... Епископ у нас, если слышали, из князей... И не только из князей, а из дома Романовых...

— Как так?..

— Говорят, покойного Александра Николаевича незаконный сын, дядя нашему. Я бы советовал вам гостиника предупредить насчет гостей, чтоб не отказывал, разбирался в людях, пусть-ка он спрашивает предварительно как-нибудь: с градоначальником или с епископом приехать изволили? ну, как-нибудь там...

Вечером, когда измотавшийся Николка вспомнил слова Смоленского, позвал своего белобрысого послушника и велел за гостиником сбегать.

Пришел Иона к настоятелю.

— Вот что, отец Иона, да получше запомни... Гости у нас будут очень важные, таких еще не видала обитель наша. Милость нам великая. Не опростоволоосья, смотри. Лучше всего наперед спрашивай: от кого изволите? а лучше так: с градоначальником будете или с преосвященнейшим? Скажут, что да, так ты в оба смотри, чтоб номерок выбирал получше. Духовенство, семьи — вниз, в новую, от градоначальника — во второй этаж. Да чтоб обхождение было отличное коридорных послушников, а то скажи — на покаяние, на хлеб, на воду. Да не вздумай по коридору трезвонить к службам в новой, пусть почивают, сколько захочется, на отдых приедут,— слышишь?.. Сам-то запомни, а то привыкли мы, а тут обхождение нужно. Помни...

Засыпал — ни о чем не думал Николка — изматывался за целый день.

Со дня на день гостей дожидаться стал. И каждый день бегал к Смоленскому за советами, а утром иподиаконше велел присылать молоко, творог, масло, а в обед особое коридорный послушник приносил с трапезы.

Не заметил Николка, как и неделя прошла, а на вторую — гости будут.

III

Каждый день приезжали гости. Сперва духовенство соборное семьями. Иподиакон Смоленский и по номерам вместе с Ионою разводил. Услуживал Иона Смоленскому. Привередничала иподиаконша молодая,— каждый день за овощами коридорного посылала послушника, на скотный двор за молоком, за маслом.

— Вы не знаете, батюшка, как моему Петру Ивановичу трудно, целый день бегаёт, измотается за день, придет поесть,— есть нечего, так вы попросите на скотном у матушек.

К каждому поезду высылали три линейки и каждый раз — полные.

Юлит Иона, выпытывает. Услышит, что с губернатором знакомы или епископ благословил — ведет сам в верхний этаж новой гостиницы.

А когда номера переполнились, а гости городские приезжать продолжали — недоразумения начались.

В синем костюме, скромная, прическа гладкая, на уши слегка спущенная, синяя шляпка английская с широкими полями и лентами, с девушкой, в летнем платье прозрачном, болотного цвета, с зеленоватыми глазами вспыхивающими,— волос — крупными завитками волнистыми — коричневые с золотым отливом,— с линейки сошли и стали ждать, когда Иона номер укажет. Всех поразвел гостиник, а на нее и не глянул. Села на скамеечке за колоннами у старой гостиницы.

— Что же нам, Зиночка, не дают номера?..

Вышел дыхнуть воздухом послушник коридорный...

— Батюшка, а как же нам номер?..

— Сейчас я отцу гостинику передам... из города быть изволите?..

— Нет, из деревни.

Побежал послушник к Ионе и передал, что из деревни приехали, одеты по-городски. Иона и решил, что не важные господа, если не из города, а из деревни, и велел послушнику отвести в старый и не в верхнем этаже, а в нижнем, против двери скрипучей, на которой кирпич, завернутый в тряпке заплыванной, на блоке болтается,—

самый дальний номерок, окнами к монастырской стене, а в коридоре наискосок от двери — умывальник прокисший. Отвели номерок и забыли.

— Зиночка, ты посмотри, это ужас какой-то... А запах... А грязь какая... Как же нам Барманский говорил, что прекрасно и номера новые?..

До вечера просидели в номере, раза два теребили электрическую кнопку и никого, — звонки в старой испорчены.

Пока на кухню не сходила Вера Алексеевна самовар попросить, до тех пор и не подали. Дылбастый послушник огрызнулся, что у них гости теперь, некогда...

В отворенное окно земляники купили у полпенской бабы и оставили его открытым.

Один по одному налетели комары, зазвенели над ушами...

Свечку зажгли, полуголодные легли на войлочные матрацы жесткие.

Комары не давали спать, оголенные руки и плечи жалили...

Уснуть не могли — ворочались.

И когда сон закрыл им глаза, из всех щелочек, из всех уголков потянулись клопы тощие, сплюснутые и не с ног, а с головы начали... На потолок взбирались и плюхались на голые плечи, на грудь, на лицо и всасывались, набухая.

В полусне отмахивались, ворочались, с головой закрывались простынею, а когда становилось душно — сбрасывали и раскидывались, обнажая клопам тело.

Не выдержали и проснулись...

И когда вместо комара поймала Вера Алексеевна клона и раздавила его пальцами, почувствовала, что тухловато-тошнотным пахнет.

Целую ночь мучились.

Зажгут свечу — разбегутся под матрац, по щелям и маленькие и большие; снова лягут, свечу затушат, а через несколько минут опять чувствуют, как на лицо, на плечи, на грудь падают и опять до изнеможения ловят. К полунощнице ударили повесть и отец будильщик, послушник побежал по коридору со звоночком будить коридоры сонные.

Подбежал к двери:

— К полунощнице, к полунощнице...

И дальше по коридору темному.

И второй раз побежал послушник по коридорам будить, второй раз и на колокольне ударили к утрени, и опять зазвенел голос звонкий:

— К утрени, к утрени...

И в этот раз не спали — метались подле кроватей и от отчаяния плакали.

Светать начало — попрятались клопы упившиеся и уцелевшие — заснула Костицына с Зиной замертво, не слышали, как и к ранней колокольчик звонил и как в большой колокол ударили к поздней. Не поворачиваясь до достойной проспали — бока ныли, было пошевелинуться больно. С припухшими воспаленными глазами встали.

— Я уеду, Зина, не выдержу, если еще так одну ночь — сил не хватит.

На кухне утром самовар им не дали, косились послушники, огрызаясь:

— К службам не встали, вот почему, понимаете?..

И опять чуть не до слез от досады, от боли в боках, от голоду.

— Пойдем, Зина, просфор купим, ягод... поедем что-нибудь, а то и обеда еще не дадут...

Просфорня закрыта к бабы распродали ягоды. К трапезе зазвонили. К гостинице возвращались медленно и увидели бегущего иподиакона.

Точно к своему, к родному бросились:

— Отец дьякон, что же делают с нами монахи эти?.. Простите, но от клопов мы всю ночь не спали и спать на досках — все болит и чаю не дали, говорят, что к службам не ходили, и хлеба купить негде. Как же так, у князя говорили, что прекрасно здесь,— как же так?.. Помогите нам...

Расплылся Смоленский улыбкой радостной и огорченно:

— Как же так?.. Я сейчас все устрою, вы не отчаивайтесь, здесь прекрасно, а какой в лесу воздух дивный... Подождите минуточку тут, я все вам устрою. Это недоразумение какое-то, недоразумение.

Чуть не бегом бросился в покои игуменские, на крыльце встретил Гервасия.

— Да вы знаете, что госпожу Костицыну, жену управляющего делами канцелярии губернатора, поклонницу преосвященного с дочерью богатейшего дворянина Белопольского, с красавицей — в клоповник гостиник ваш поместил, в клоповник... целую ночь не спали, измучились, а им еще за то, что не ходили к службам, чаю не дали, вы знаете, что из этого быть может, не только мне, но и вам

неприятность, да еще какая; вы думаете, что не станет известно епископу с князем?.. Все выболтают... как же так? Теперь уж сами извольте устраивать их, они тут ходят... как хотите, устраивайте, а я не ответчик, я предупредил вас, чтоб осторожнее были...

Растерянно Николка глазами хлопал, и за Смоленским к Костицыной бросился и тоже скороговоркой начал:

— Это недоразумение, господа, недоразумение... Гостиник виноват во всем, гостиник... Я сейчас, сейчас сам устрою вас.

Суровый вошел в гостиницу, крикнул послушнику позвать Иону. И мягким голосом, баритоном сочным, слегка нараспев Ионе начал выговаривать:

— Как же так, отец Иона, ты наших почтеннейших гостей поместил в старую и чаю не дал утром?.. Как же так?.. Переведи, отец, в новую сейчас же, слышишь, а после трапезы приди ко мне, обязательно.

А Костицыной защищал Иону:

— Отец Иона у нас инок строгий, молитвенник, за богомольцев вас принял, а для богомольцев у нас порядок ходить к службам,— уж вы не сетуйте на него.

Смотря на Зину и на Костицыну, вспомнил о послушнике Борисе.

— Ты, отец гостиник, в услужение назначь Бориса,— слышишь!

Возвращался к трапезе, про Бориса думал, что не удосужился он до сих пор, некогда было все расспросить его, почему он в монастырь пришел и что было у него с Феничкой,— только теперь, глядя на Зину, и вспомнил про него и про Феничку. А когда, после трапезы, гостиник пришел к нему, набросился на него Николка:

— Ты что ж думаешь, затем и поставлен в гостинице, чтоб через тебя и мне и обители срам был,— да ты знаешь, кого ты в клоповник загнал свой? — так чтоб наперед каждого, кто из губернского к нам приедет, расспрашивал, да так, чтоб никому не заметно было, аккуратно нужно.

Часа два отчитывал Николка отца Иону,— у того даже лоб покрылся мелкими каплями пота.

До позднего вечера Гервасий сидел, высчитывал, сколько ему нужно каждый день, чтоб гостей прокормить, и когда считал, то мысль совсем о другом мелькала. Феничку вспомнил, досадовал, что хоть и устроился он с Аришею и красива она и его любит, а манил его город, жизнь вольная. Досадно было, что прятаться приходилось от людей со своей жизнью в лесную чащу, на хутор, куда не каждый раз и пойти можно. Знал, что молчит братия, а по кельям ропщет, издевается над ним. Обидно было, что не Феничка, богатая, вольная,

и, как казалось ему, образованная, а монашка приبلудшая, из монастыря за любовь выгнанная. Сама ему рассказала Ариша, когда почувствовала, что беременна,— последний раз в жизни покаялась перед тем, кто стал близким, с кем всю свою жизнь связала. И, сравнивая Аришу с Феничкой, вспоминал только что виденную даму с барышней, и захотелось опять из монастыря убежать, все равно куда, лишь бы избавиться от монашества, от вечного прятанья и начать сызнова и не с Феничкой уже, не с Аришею, а с благородною, образованной женщиной, такие, казалось ему, и любить умеют по-особенному и живут не так, как все, лишь бы есть да пить,— в театрах бывают, читают книжки, и вспомнилось опять духовное училище, когда после обедни поздней ходил на балкон в городской театр на дневные. Тогда и мир по-иному казался и жизнь была красочней, и в первый раз в жизни пожалел, что не стал учиться, и думал, что не он виноват, а купчика, что мальчишеское разбудила в нем любопытство звериное и не дала учиться. Думал, а рядом другая мысль бежала,— сознаться в ней не хотел себе, а чувствовал, что потянуло его посмотреть на приехавшую Костицыну, и сразу решил глубоко где-то, что завтра обязательно посмотреть пойдет, как гостиник ее устроил. Потом эта мысль заполнила его всего. Только по-иному пошла,— боялся, что не только Костицыну, но и вообще всех проводить нужно и обязательно до приезда, чтоб потом не вышло чего плохого. Потом не стал больше высчитывать денные расходы, захлопнул книгу и, откинувшись на диван кожаный, полудремал, и проносились перед ним то Ариша со своею ласкою и покорностью, то Феничка, то усмехавшаяся — неизвестная, совсем новая, и ни на одной не останавливалась мысль, а все три как-то сразу заполняли его и под конец все в одной слились — в синем костюме, в шляпе широкой с лентами. Не запомнил еще лица, фигуры, голоса, а только мелькала широкая шляпа с лентами и что-то синее. Не заметил, как и заснул на диване. Разбудил колокол монастырский — звонили к ранней. Не умываясь, вышел из покоев и через задний двор вышел к речке, обогнул монастырь к дачам и также, все еще бесцельно, пошел в лес. На повороте к казенному лесничеству вспомнил, что собирался посмотреть, как устроены гости, и вернулся к гостинице.

Ни к кому не зашел, а только по коридорам прошелся с гостиником и спросил, где живет вчерашняя барыня с барышней. Шаг замедлял, приближаясь к номеру Костицыной, и говорил немного громче, думая, что услышат голос его — выбегут.

И чем ближе был день приезда гостей, тем страшнее становилось Николке, боялся, что не так встретит, не так говорить будет, а когда иподиакон посоветовал встречное слово сказать епископу — испугался даже.

— Обязательно нужно, отец Гсрвасий, обязательно. Епископ любит торжественность. Завтра отец ключарь приезжает с матушкой...

На другой день велел Николка шарабанчик заложить к поезду и поехал сам ключаря встречать. В темно-синей рясе шелковой, с прифранченной матушкой в кружевном платье — тенором нежным обратился к Гервасию:

— У вас, отец игумен, все готово к приезду епископа?..

— Все, отец ключарь, все.

Когда Николка предложил ключарю ехать, тот отказался и сказал матушке ласково:

— Катенька, поезжай, друг мой, в шарабанчике отца игумена, а мне пройтись по лесу хочется.

К послушнику подбежал Николка и шепнул строго:

— Гостинику скажи, что матушка ключаря архиерейского,— слышишь, не забудь смотри.

Всю дорогу ключарь говорил только. Любил, чтоб его слушали. Нежным тенором грудным говорил и своим голосом любовался. Просто говорил с Николкою, но в этой простоте чувствовалось властвование. Отвечая на вопросы игумена, с достоинством поправлял академический значок и золотые очки, сквозь которые смотрели слегка улыбающиеся глаза, особенной доброты. Доброта эта была особенная — хитрая; смотрят глаза, улыбаются слегка, и чувствуется в них превосходство над равными.

Николка недоволен был, что епископ не хотел никакой особой встречи, а просто приехать в покои игуменские, чтоб и не знал никто. Ключарь настаивал на желании епископа, а Николка не противоречил, а только все время повторял одно и то же:

— Старцы хотят преосвященнейшего встретить крестным ходом с Троеручицею соборне.

Иподиаконы ключаря встретили, дождались линейки особой с протодиаконом, с костыльником, с исполатчиками и пошли готовить алтарь. И все чувствовали себя как хозяева, распоряжались, приказывали и рясофорным и послушникам, а Николка молча стоял в алтаре и смотрел на приготовления, вспоминал то время, когда и он был исполатчиком, а когда они к нему

подошли и попросились в трапезную напиться монастырского квасу, вздохнул глубоко Николка и, ни к кому не обращаясь, только глядя в сторону ключаря, сказал мальчикам:

— К отцу эконому ступайте, он даст вам, скажите, что исполатчики,— отец настоятель велел... Ведь я тоже был исполатчиком.

Ключарь улыбнулся в золотые очки ласково, поправил русые локоны, академический значок и сказал, тоже ни к кому не обращаясь:

— Значит, нам будет легче, если отец игумен знает архиерейское служение.

До вечера убирались, готовились, раскладывали облачение архиерейское, монастырский хор разучивал «достойно есть» встречное и «испола эти деспота», протодиакон гудел, ходя по собору и рассматривая живопись, а к вечеру перед трапезой сперва побыли в гостинице,— потом пошли к трапезе.

Вечерню служили в старом соборе, наскоро. Толпились деревенские богомольцы у нового, стараясь войти в него. Возвращались дачники и гости через задний двор, через монастырь, святые ворота, в гостиницу, бегали монахи и послушники по монастырю, и только после трапезы успокоился монастырь, когда Авраамий зазвенел ключами у святых воров.

До позднего вечера метался Николка по монастырю, метался послушник его белобрысый и у обоих горели ноги. И вечером, уже часов в девять, прибежал к Гервасию через конский двор костыльник от ключаря звать в гостиницу к духовенству чай пить.

Долго еще совещались о встрече епископа, спорили, где лучше из экипажа выйти преосвященнейшему и только под конец стали говорить о городе, когда в разговор вмешалась протоиерейша Катенька.

Внизу в номерах тихий гул был от голосов духовенства соборного, а сверху тихо, изредка только прорывался веселый смех женский.

И когда Николка уходил из гостиницы, показалось ему, что чей-то знакомый голос донесся сверху, смеющийся и четкий.

Послышалось:

— Зиночка, ты отца Бориса попроси, никого больше, слышишь...

И потом раздался сдержанный смех, звенящий и ласковый, хлопнула дверь и, постукивая каблучками, побежал кто-то в послушницкую.

Показалось Николке, что и голос знакомый и имя Борис почему-то знакомое и странное,— позабыл про Смолянинова, послушника.

Наверху успокоилось, внизу — духовенство засело в стуколку до полунощницы, а Николка с путавшимися мыслями, утомленный, медленно побрел через конский двор в монастырь. Захотелось вернуться в гостиницу, еще раз услышать смех звенящий, пойти на хутор к Арише отдохнуть от сумятицы, а когда долго не мог достучаться в ворота — захотелось перелезть просто через стену,— вспомнилось, как послушником по вечерам лазил, возвращаясь из лесу после гулянья с дачниками или осенью от баб... А когда подходил к покоем игуменским — вспомнил опять о митре,— с этою мыслью и уснул Николка.

IV

С утра в монастыре беготня началась. Из соседних деревень бабы пришли, мужики, прослышав, что епископ в монастырь приедет, и встреча торжественная будет с большим колокольным звоном — Троеручицу крестным ходом поднимет братия. С утра готовилась братия. С утра из уездного исправник приехал и несколько человек с собою привез ингушей конных. Для охраны князя Рясного и для порядка стражу с собою взял, чем еще больше усилил суетню в монастыре. Пришлось конюхам отводить для лошадей место, устраивать людей. Потный и раскрасневшийся бегал Гервасий: требовали денег на кухню, прибегали из собора исполатчики — ключарь звал по какому-то делу, эконома два раза прибегал — не хватает рыбы на трапезу. Искал Николка иеромонаха рыбника, чтоб послать на пруд окуней наловить бреднем. Приходилось всюду самому бегать, о всех заботиться. И общую суету усиливали еще деревенские богомольцы, целый день без толку толкавшиеся по монастырю, в ожидании чего-то особенного от приезда архиерейской»; заглядывали они и на задний двор и в конюшню, целыми вереницами шли на пустыньку и, не найдя там Акакия, возвращались через монастырь в странноприимную. С утра дачницы, расфранченные, с цветными зонтиками прогуливались по монастырю. Семинаристы-сироты толкались задолго до трапезы на кухне, приставая к трапезнику и к эконому накормить их заранее, потому они должны с монастырским хором спеваться к встрече епископа. И от томительной жары еще напряженной становилось всем. Жара еще больше усиливала ожидание, становившееся невыносимым. Неподвижный воздух давил голову,— путались мысли, торопились куда-то, потом бросались совсем по другому направлению, отчего и люди не знали, что собственно нужно делать, куда идти, что

говорить. За трапезой было почти пусто, монахи обед разобрали по кельям; в трапезной подающие послушники бегали с чашками и схватывали со столов недоеденные миски с горячим, с кашею. А после полдня, когда приближалось время встречать епископа, напряжение дошло до крайности. Когда перед вечернею ударили к повести, сразу из келий повысыпала братия и направилась к собору. Долго толпились у дверей,— ключник после трапезы лег отдохнуть, и не слышал повести, пришлось бежать будить его. Сперва даже не нашли его, когда только вспомнили, что он в палисадничке любит спать, снова за ним кинулись. После повестки сразу же повысыпали богомольцы и тоже направились к собору, чем еще больше увеличили толкотню подле дверей. Монахи сердились, отталкивали протискивающихся баб и роптали на порядки монастырские. Следом за богомольцами духовенство соборное пришло. Пока облачались в алтаре в ризы, торжественные старцы спорили, кому икону брать, и тоже толкались у иконостаса, пока не пришлось ключарю о. Николаю просто выбрать более сильных и красивых стариков. Вынули из киота, зачем-то стали впереди архиерейского амвона и, переминаясь с ноги на ногу, стояли, потея. И когда двинулся крестный ход с иконою — на порошках собора дачники и городские богомольцы мешали идти. Монахи боялись толкнуть дачниц, толкали друг друга, наступали на ноги и зло поглядывали по сторонам. Через святые ворота вышли и повернули мимо старой гостиницы к лесу. Боялись опоздать к встрече, и когда подошли к назначенному месту, на поворот дороги к казенному лесничеству, оказалось, что до прихода поезда еще целый час.

Не один раз старцы сменялись у иконы, не один раз Николка досадливо на часы поглядывал, думая, что еще многого он не успел сделать, распорядиться, и не один раз ингуши, гарцуя, проезжали мимо ожидающих. Длинною цепочкою, друг от друга шагов на десять, стояли на дороге послушники, как верстовые столбы черные. Перед самым приездом с двумя ингушами исправник проехал к платформе, в то же время и богомольцы деревенские встали с травы и пошли ближе к иконе, чтоб лучше видеть всю встречу, а главное, видеть, как по дороге будет приближаться епископ. Дачницы, гости, городские богомольцы тоже стали поближе к дороге и каждый теснился, чтоб увидеть первому, а главное, лучше других, отчего была толкотня и затаенное недовольство своими соседями и встречей с монахами.

Николка с беспокойством поглядывал и на дорогу, и на богомольцев, и на недовольные лица иноков и все время оглядывался на колокольню, боясь, как бы звонарь не прозевал бегущего

послушника. Беспокоился и ключарь. Несколько раз подходил к Николке, шептался с ним, подходил к протодиакону, тот гудел сдержанно и показывал на дорогу.

И когда по лесу зашумел поезд — сразу затихло все. Все головы вытянулись на дорогу и ждали — что будет. Николка с ключарем сперва только видел, как по дороге побежали послушники, а потом произошло что-то невообразимое. Николка бросился к какому-то послушнику и, не соображая, боясь, что звонарь не увидит, толкал послушника и шептал зло:

— Бежи скорей, чтоб звонили,— едет, едет.

И не успел добежать Николка к ключарю, как раздался на дороге дикий крик.

Перегоняя друг друга, бежали по дороге послушники, и у каждого была мысль, что он должен бежать к гостинице и подать знак на колокольню звонарю, и поэтому бежали все вперегонку, толкая друг друга.

Исправник, встретив епископа, приказал одному ингушу карьером скакать к игумену, сказать, что приехал, едет, ингуш только запомнил одно слово «едет» и, помчавшись карьером по дороге, начал кричать: «Едет, едет!» Бежавшие послушники подумали, что опоздают, и еще скорей побежали, выбежав на дорогу, чтоб свободнее было, чтоб не цепляться ногами за корни сосен. Скакавший ингуш налетел на послушника, тот упал под ноги лошади, лошадь от испуга встала на дыбы, чуть не сбросила ингуша, и раздался дикий крик по лесу: сбитый монах кричал от боли, на дорогу к нему другие бросились и кое-кто из богомольцев и заслонили дорогу крестному ходу; ингуш, испугавшись, пришпорил жеребца и, чтобы очистить себе дорогу к игумену и не забыть того слова, что начальство сказало ему, кричал дико и неся навстречу толпе монахов и богомольцев,— выкрикивал только — идет, идет, идет. Послушники, бежавшие по дороге, бросились в стороны, но не остановились, а побежали по лесу, спеша за гостиницу поскорей выбежать. Толпа, увидав, что на дороге что-то случилось и что иноки с дороги в лес бросились — дрогнула. Дамы, увидав, как послушника сбила лошадь, тоже вскрикнули и побежали с криком ужаса в лес, взвизгивая истерично. За ними и крестьянская толпа дрогнула. От испуга кликуша какая-то закричала, чем еще больше вызвала панику.

Сзади стояли ингуши; увидав, что толпа чего-то бежит с криками в разные стороны, и навстречу ей их товарищ дико несется и тоже кричит — бросились из-за гостиницы толпе в зад и тоже с криком.

Звонарь давно заметил бегущих послушников и начал звонить во все колокола, приказав звонарям на дискантах поглядывать на дорогу, чтоб когда крестный ход будет подходить к святым воротам — с особенной силой ударить хвалебное. Бежавшие послушники звонарю знак подать окружили гостиницы и выбежали с другой стороны и, увидав, что крестный ход дрогнул, и богомольцы отчего-то побежали в лес — столпились перед старой гостиницей и, думая, что получилось что-то ужасное, начали махать звонарю скуфейками, чтоб не звонил больше. Послушники на дискантах увидали махающих — звонить бросили, и гудел только самый большой колокол — сам звонарь звонил и, оглушенный гулом, не слышал крика своих помощников, и когда те начали толкать его в бок, тоже бросил звонить и, обливаясь потом, сел на пол.

Когда дрогнула толпа и побежали кричащие женщины в лес, а сзади неслись ингуши дико — и старцы, и певчие, и духовенство дрогнуло, — шарахнулись все в сторону, толкая друг друга и тех, что несли Троеручицу. Еле удержали икону от падения, и только это и остановило иноков. Но все это продолжалось одно мгновение, и когда падавшая из рук старцев икона заставила остановиться иноков, а потом и по дороге двинуться навстречу епископу — звону не было. К Николке подбежал ключарь и, шипя от досады и злобы, сказал ему:

— Звонить надо, звонить.

Тут только и Николка опомнился. Взглянул на колокольную и побежал сам к гостинице, крича махавшим еще почему-то послушникам, чтоб бежали скорей на колокольную сами звонить, а других заставил опять махать скуфейками. На колокольне догадались и зазвонили сперва в дисканта-подголоски, а потом уже и большой загудел колокол, и когда уже подъезжал епископ, снова было все спокойно, и крестный ход навстречу двинулся с пением.

Епископ издали замешательство видел, видел, как в разные стороны по лесу побежали люди, и, недоумевая, вопросительно смотрел на исправника, ехавшего верхом рядом с епископом:

— Случилось что-то...

Недовольный вышел из шарабанчика Иоасаф и недовольными, быстрыми и резкими шагами направился к крестному ходу, ища глазами ключаря Василия.

Ключарь смущенно смотрел на епископа, пожимая плечами и показывая глазами на монахов. С тем же недовольством Иоасаф приложился к иконе, принял костыль и пошел в обитель.

Разбежавшиеся дамы собрались на порожках гостиницы и, когда крестный ход проходил мимо к святым воротам, начали кивать головами и носовыми платками помахивать преосвященнейшему.

Это немного даже рассмешило Иоасафа и снова вернуло ему хорошее расположение духа, и улыбнулся только одними глазами, увидев дам.

Входя в храм, ключарь шепнул Николке:

— Молебен покороче надо, без акафиста, не утомляйте с дороги епископа, а то видите, что вышло...

Наскоро отслужили молебен, и епископ ушел в покои игуменские с Николкою и с ключарем Василием.

За чаем перед трапезой Иоасаф говорил ключарю:

— Отдохнуть приедешь, и тут надо служить. Вы, отец Василий, не задерживайте литургии завтра, иподиаконам скажите. Позднюю не хочу служить, будем среднюю...

За трапезой без конца канонарх житие читал о святой Евдокии, искушаемой мирскими соблазнами, без конца разносили чашки послушники затрапезные, позванивал игуменский звоночек, стукали корчиками монахи о глиняные широкие кувшины, черпая квас мартовский и без конца пели торжественно благодарственную молитву. Иподиакона заливались тенорами, и все покрывал бас протодиаконский. Против обычного, раньше закрыли святые ворота, чтоб не беспокоили монастырь богомольцы и не ходили бы мимо покоев игуменских, если бы епископ спозаранку пожелал уснуть.

И пришлось послушникам через конный двор из монастыря уходить в лес гулять с дачницами, а певчим через ограду перелезать в монастырь за полночь.

С тех пор, как дачницы понаехали и семинаристы-сироты подружились с певчими, каждый вечер в лесу собирались все. Певчие с семинаристами в лесу хором песни пели светские, а под конец — молитвы. Далеко разносилось по лесу пение, звенели голоса звонко между соснами. Заслушивались дачницы дотемна, а потом уходили гулять с послушниками. На поляне собирались в условленный час после трапезы, на поляну и дачницы приходили, поклонницы архиерейские.

Донесли Николке про это — запретил петь в лесу монастырским певчим, боялся, что узнает епископ — плохо будет.

Несколько дней не приходил на поляну никто.

Заскучали дачницы.

Матушка ключаря просила мужа, чтоб петь разрешили монахам в лесу.

И дамы к ключарю пристали.

— Отец Василий, милый, устройте, чтоб певчим в лес разрешили ходить.

Николке ключарь посоветовал разрешить, а тот не знал, что сказать, поежился...

— Преосвященный узнает — неприятность будет.

Ключарь успокоил его:

Я ему сам скажу, отец Гервасий,— разрешите в лесу петь певчим с семинаристами...

Отслужил наскоро Иоасаф среднюю обедню в соборе, дождался вечером прихода князя с дочерью, и начались будни.

С утра Николка бегал по хозяйству, монахов расспрашивал, довольны ли гости монастырским приемом, за трапезой торжественно сидел, после трапезы на скотный двор забегал и хотелось ему на хутор сбегать про Аришу узнать, поцеловать ее, поздравить с новорожденным и самому порадоваться на своего младенца, да все некогда было; а со скотного двора выйдет, так и потянется в новую гостиницу заглянуть, нечаянно может встретить Костицыну. Глаза у ней глубокие, слегка влажные, отчего в них какое-то тепло особое было, манящее. Несколько раз ее видел, как выходила гулять из гостиницы с барышней и дочерью губернаторской, княжною Рясною. За ними пойти хотелось, позабыть, что рясофор на нем и что он игумен теперь. До сих пор, казалось ему, несуразная у него жизнь. Целый век мотался, не жил, а мучился. Даже к Феничке любовь и та казалась теперь выдуманной, и Ариша — не любовь, а плотское мучение,— утолить его нужно и сошелся с ней. Теперь даже боялся, что узнают про нее, а может из иноков кто донесет по зависти, а тогда конец, и эта жизнь будет разбита. Помануло невозможное, неразгаданное, недостижимое. Возвращался в покои свои сумрачным и только когда на панагию архиерейскую взглядывал, на крест золотой в изумрудах тихих — горячо обливалось сердце желанием получить митру. Каждый день напоминал своему послушнику белокрысому, чтоб тот за каждым шагом следил епископским и передавал ему,— с кем из иноков говорил преосвященный, куда ходил, что делал. Задабривал келейник Иоасафа, чтоб разузнать привычки архиерейские, любимые кушанья, и повара не забывал чаевыми.

А у епископа свой день. С утра на молитве, по привычке и по обязанности, а после кофе со сливками — дожидал князя и вместе с ним уходил гулять до трапезы. После трапезы отдыхал до трех, а в четыре Николку звал и через задние ворота уходил с ним гулять.

Расспрашивал про монастырь, про доходы, про землю, про иноков, про Николкину жизнь и, когда наскучивали разговоры, шел молча, опираясь на посох. Встречал по дороге дам, раскланивался, благословлял, но не заговаривал ни с кем, а если с ним заговаривали — отмалчивался и поворачивал в монастырь.

Дамы сердились, нервничали, обижаться начали и иные даже уехали, остались только беззаветные поклонницы Иоасафа, которых ничем не выживешь, от которых и в городе трудно было спрятаться. Где сам служит в городе, туда и они явятся, на завтрак поедет к князю и там они, вернется к себе в архиерейский дом и туда в приемные дни появятся под каким-нибудь предлогом благотворительным,— были даже такие, что с иконами заходили старинными жертвовать в церковный музей исторический, основанный Иоасафом при консистории, и часа два рассказывали, что специально в свою деревню ездили и из своего храма привезли, а когда один помещик для красоты музея подарил ковши старинные и кокошники — приносили всякий хлам в приемные дни в архиерейский дом, так что попам, дьяконам, вызванным по делу, и говорить было некогда с епископом. Ключарь Иоасафа выручил, посоветовал особого секретаря завести по делам музейным, и когда в один день появился местный археолог губернский со всклокоченной бородой нечесаной, с такими же волосами на голове — растрепанными, кудлатыми, на двери в приемной появилась надпись, что по церковно-архивным делам принимает ученый секретарь общества — кончили дамы ходить в архиерейский дом с молитвенниками старыми, с иконами, с тряпьем старым и даже обиделись.

Князь Рясный шутил епископу, называл его по имени и по отчеству, как и в молодости.

— Великолепно вы, Александр Николаевич, отучили дам наших.

И тут же к дамам с шуткою:

— Вы, господа, владыку измучили, разве ж можно так!..

— Мы обожаем его...

— Так вы хоть издали...

И в монастыре дамы сердились на Иоасафа, надеялись повеселиться, и вдруг не епископ, а монах, и с монахами время проводит, а не в обществе.

За все время один только раз Иоасаф разговаривался в лесу с дамами.

С Николкой гулял и встретил княжну Рясную с Костицыной и с Зиной.

Княжна подошла просто,— приняла благословение и заговорила попросту, как с хорошим знакомым.

Сердце оборвалось у Николки, когда увидал Костицыну.

Спросила княжна епископа:

— Отчего вы, владыко, от нас прячетесь? Разве мы вам мешаем?..

— Вы — нет, и Вера Алексеевна — тоже нет, и Зина, а дамы, меня обожающие, те мешают мне отдохнуть.

Обидчивым тоном, слегка капризным — сказала Костицына:

— Простите, владыко, а мы разве не дамы?..

— Конечно, дамы... но...

— Мы тоже вас обожаем, что же нам остается делать, как не обожать вас,— любить безнадежно,— обожаем вас...

Иоасаф продолжал разговаривать, из замкнутого сразу сделался общительным, веселым и остроумным. Костицына взглядывала на молчавшего Николку,— ему казалось, что она разглядывает его, и опять, точно десять лет назад, почувствовал он себя беспомощным послушником, не знающим, о чем говорить и как. От досады и от внутренней злобы на самого себя, чувствовал, как стучала кровь в висках и сердце падает гулко. Точно не игумен, а послушник перед Феничкой — перед Костицыной был Николка.

Костицына также просто заговорила и с Николкой. И опять он услышал те же слова, старающиеся заглянуть в него, расспросить, узнать что-то большее, чем на самом деле есть. Но только Феничка тоже застенчиво его спрашивала, а тут настойчивость чувствовалась женская.

Иоасаф с княжною впереди шел, а Костицына с Зиной и с Николкой сзади.

— Я любопытна, отец Гервасий, очень любопытна. Вы обязательно должны рассказать мне, почему вы в монастыре, что вас заставило постричься... Я бы убежала перед постригом, обязательно бы убежала. Я одного поэта знала, тот от неудачной любви пошел в монастырь, а перед постригом через ограду ночью удрал.

Иоасаф под свою защиту Николку взял и, прислушиваясь к словам Костицыной, отвечал за Гервасия:

— Отец Гервасий, Вера Алексеевна, человек простой, и причины у него простые, он из духовных, ну, вероятно, вера в крови у него, от предков, вот он и остался в монастыре.

Николка односложно отвечал, коротко, а говорила только Костицына с Иоасафом про игумена:

— Но вы посмотрите, владыко, какой отец Гervasий красивый,— разве бы его не любили женщины? Женщинам, правда, не всегда красота в мужчине нужна, их манит сила, энергия, упорство, но разве у отца Гervasия этого нет?.. Женщина это сразу чувствует.

И когда разговор вплотную подошел к Николкиной жизни и ему нужно было отвечать, епископ, заметив отчаянное смущение и неловкость его, сказал Костицыной:

— Вы, Вера Алексеевна, слишком женщина, а отец Гervasий инок, вы не забудьте этого, и если что у него было когда в жизни, то это так глубоко замуравлено в душе, как в склепе, что заставить его сказать что-нибудь — невозможно и прежде всего нельзя в человеке пробуждать старую боль. Если инок сумел себя уберечь для господя, то совращать его с пути смирения и воздержанности — грех и особый грех женщине, а вам тем более.

И последнюю фразу упрямо сказала Костицына:

— А я уверена, что отец Гervasий и раньше пользовался у женщин успехом, и теперь пользуется,— я это чувствую, ведь я женщина, быть может даже слишком женщина.

Так же упрямо и Иоасаф закончил:

— Нас, иноков, невозможно узнать,— мы тоже загадочны, как женщины, и молчаливы в силу отчужденности от мирского.

Княжна улыбнулась и посмотрела в глаза Иоасафу и шепотом по-французски сказала быстро:

— А я и не знала, владыко, что вы такой интересный!..

Николка, как затравленный волк, смотрел в сторону, боялся взглянуть на Костицыну, думая, что ей, должно быть, известно что-нибудь про Аришу, оттого она так упорно и спрашивает его, и не знал, что делать, куда убежать, и все больше и больше приливали кровь к вискам и заливали лицо багровыми пятнами.

Не унялась Костицына, про монашескую любовь говорила, о том, что больше всего от любви безнадёжной в монастырь идут и женщины, и мужчины.

— А разве послушник ваш, Борис Смолянинов, не от любви теряет человеческий образ?.. Ну, скажите мне?..

О другом человеке легче Николке говорить было. Все еще волнуясь, говорил отрывисто. И досада, и опасение, что может быть и от него, от Бориса этого, Костицына слышала про Феничку, заставляло его быть осторожным и односложным в ответах.

— Вы, владыко, знаете Смолянинова? Несчастные старики... Единственный сын — и в монастырь... Раньше я думала, что больше говорят, чем на самом деле, а вы посмотрите — удивительный мальчик... Он, конечно, не мальчик, но для меня-то он мальчик... Премилый, преинтересный.

И, горячась, говорила только одна, заставляя прислушиваться и княжну, и епископа, и Николку, и Зиночку. Говорила одна, хотя каждый изредка вставлял и вопрос и замечание. Вера Алексеевна сейчас же подхватывала эти замечания и говорила горячее и горячее, вовлекая и Зиночку.

— Я счастлива, что встретила его тут, и не я буду, если он не уйдет из монастыря вашего. Разве можно губить молодость? Ненормально это, поверьте мне. Надо заставить жить, заставить позабыть прошлое ради нового. Пусть жизнь призрачна, надо жить хотя бы призраком, но только жить.

— А если он глубоко верит? Если он обет дал?

— Заставить другой обет дать, новый,— к жизни вернуть. Обет жизни... Мне так хочется его вернуть в жизнь. Пусть влюбится — в меня, в Зину, в княжну, все равно в кого, и мы, мы должны его спасти, заставить влюбиться, обмануть, еще раз обмануть сердце его, но дать ему жизнь. Понимаете — жизнь. Жизнь наша — любовь. Пусть живет, любит.

— Он даже говорить со мною не хочет.

— Заставь его, Зиночка,— я женщина, он меня побоится, сожмется, как цветок полевой от женщины, женщина ведь, как солнце, жжет... А роса,— яркая, утренняя, когда еще солнца нет, а только застенчивые лучи розоватые,— роса любой цветок раскрывает свежей ласкою. Заставь, Зиночка, раскрыться его от твоей ласки. Ради спасения — обмани, обманись сама...

— А если Зиночка полюбит его, тогда что, Вера Алексеевна,— я бы побоялась этого.

— Пусть даже полюбит его, пусть,— разве он, княжна, недостойн этого?.. Вы его видели, да?

— Видела... Он огрубел ужасно...

— Неправда, не огрубел,— спрятался от людей, неживой стал, а вам кажется, огрубел,— помогите и вы, княжна... Владыко не будет против, я знаю, что не будет, и благословит его, и нас, женщин, благословит спасти его.

— Благословить не могу, но ему все прощу, потому что если он не выдержит искуса,— не его вина,— на вас ляжет.

— Вот видите, отец игумен, даже владыко простит ему, и вы не удерживайте его от жизни. Разве вы не знаете, как хорошо жить?.. Конечно, знаете... Я женщина, и я знаю, чувствую, что знаете...

Все даже на Николку взглянули после этих слов, и только экспансивность Зиначки отвела от него взгляды. С каждым словом Костицыной она загоралась, вспыхивала, порывалась что-то сказать особенное и наконец кинулась к Вере Алексеевне и выкрикнула, тормоша ее и целуя:

— Я его люблю... Я... Я...

Прильнула к Костицыной и начала смеяться почти до истерики. Успокаивать ее начали и плачущую усадили у дороги на повалившуюся сосну.

Настало молчание. Николка сидел нахмуренный, недовольный, боялся взглянуть на Костицыну и чувствовал, что она опять расспрашивает его. Иоасаф длинным посохом проводил по песку, стараясь желобок сделать, а княжна успокаивающе гладила Зине голову.

И точно из глубины земной зазвучал серебром колокол. Медленное эхо разливалось в хвое и как ток по стволам проходило в землю. Солнце скатывалось, и в лесу начинались сумерки.

В тишине этой, после волнения пережитого и волнующих слов, снова заговорила Костицына, но теперь уже тихим, глубоким голосом.

Спрашивала и отвечала:

— Владыко, а отчего в этой пустыни нет угодника?.. Он есть — но живой, а вот нетленного нет.

И еще тише:

— Там, где угодники есть,— легче, проще, оттого, что нетленное люди ему отдали, и им легче, этим сами они к жизни ближе.

Потом точно бред, волновавший мысли:

— А если бы это нетленное вернуть людям, всем, из угодников снова в людей влить, лучше бы было, и больней и лучше. Все бы как Борис были.

Под конец почти шепотом:

— Откройте и здесь мощи... Я хочу — для него, для Бориса этого, и для себя, но не ради Бориса, а ради себя, ради себя одной, мне почему-то кажется, что тогда и мне будет легче, а главное — проще, — решится что-то.

И опять несколько минут молчание.

Первым епископ встал, а за ним и все.

— Пора, господа, возвращаться.

Когда забелели вдалеке сквозь сосны монастырские стены, и снова, всего раза два-три, прозвучал колокол к трапезе, княжна обратилась к преосвященному:

— А почему здесь, владыко, мощей нет?..

— Очевидно, святого инока не было...

Как ужаленный, Николка вскрикнул:

— Ваше преосвященство, есть святой инок, есть... Симеон старец, основоположитель пустыни... Чудеса были... Исцеления... Показания имеются... Записи... Савва игумен посылал ходатайство на высочайшее, и в синод... Ответили, что рано еще, мало себя проявил старец наш...

И закружилась у Наколки мысль новая.

Путался разговор Костицыной,— где-то в душе еще жили и Феничка, и Ариша, и Костицына, и Борис, но все это затуманивалось перед режущей мыслью о мощах, даже и о митре забыл, в сознании промелькнуло, что если мощи будут, то он и архимандритом будет и получит митру, а главное — мощи и не другой кто, а он будет прославлять и возвеличивать пустынь и пустынного Симеона Белобережского.

Целую ночь заснуть не мог,— задремывал, просыпался, вздрагивал и сейчас же пробуждалась и жгла мысль о мощах, снова затуманивалась и снова мучила.

И когда к полунощнице ударили — вышел на крыльцо, долго стоял и теперь уже не думал ни о чем, потому что мысль, пронизавшая до боли все сознание, притупилась и затуманилась,— не зная зачем, ходил по монастырю, пока не начало светать.

V

С раннего утра в новой гостинице коридорные послушники на ногах. Иона гостиник спозаранку ложился, чтобы вставать раньше и самому будить послушников.

Самовары готовили с вечера, пятнадцать штук ставили в ряд. К ранней ударят повесть в малый колокол — разводить начнут, а заблаговестят — поспевать пора,— один за другим выскакивают номерки. Раньше всех седьмой выскочит — ключарь просыпается с матушкой.

— Я, Вася, на дачу приехала и должна воздухом пользоваться... Утром в лесу воздух чище,— вставай-ка, нечего, гулять пойдем.

Не хочется ключарю вставать, хорошо бы еще немножечко понежиться с матушкой, а та вскочит и нажмет кнопку.

— Что ты делаешь, Катя, разве можно, я не одет еще...

— А ты одевайся скорей... Накинь подрясник и иди умываться. Ты посмотри, полнеть начал, нехорошо, Вася, неизящно.

— Ты всегда так, тебе все неизящно, а мне вот полежать хотелось.

И приходится ключарю из номера уходить, чтоб послушник не застал неодетым. А матушка натянет чулки белые и, не одеваясь, накинёт капот розовый — за стол сядет. Просвечивает через кисею тело теплое, еще не разбуженное, согретое ласковыми руками мужниными, и еще розоватей становится от кисеи розовой, еще теплей кажется. Молодая попадья, веселая, — носик небольшой вздернутый, зазорные губы, яркие, с пухлым вырезом, глаза — ящерицы, живые, смеющиеся и завиточки русые на висках, на затылке — радостные; плечи пухлые, налитые, теплые, дышит когда — не только грудь подымается полная, но и плечи слегка волнуются — дышат радостью. Упругая вся, крепкая. Здоровый задор на щеках ямочками. Привыкла жить в холе да воле на казенных хлебах семинарских, — отец ректором, на своих рысаках разъезжал по городу, рысаки белые в яблоках. Четыре года ждала Васеньку из академии Московской. Кончила гимназию, от скуки занималась музыкой, в музыкальные классы ходила с папкою, а на папке в лавровом венке Рубинштейн вытиснен. На рождество на всех вечерах с Васенькой танцевала, гордилась его сюртуком с бархатным воротником синим. Дождалась — стала матушкой, молодой, задорною. Сперва в губернском городе в приходской церкви служил Васенька, а привык носить рясу осанисто, как полагается академику первой степени, — отец ректор упросил епископа в соборе ключарем устроить, а потом в гимназию пригласили законоучителем. Гостей принимать начали — учителей с семьями. Матушка таланты свои за роялем до ужина проявляла гостям званым и за ужином молодцом — угостить любила, любила, чтоб и за ней поухаживали, целовали б ручки пухлые. Что живет в обществе образованном, всему городскому духовенству тон давала. С учителями гимназическими в ложу в театр ходила, на концерты, а когда в дворянском собрании столичный хор духовные концерты устраивал — с ключарем в первом ряду сидела. И в монастыре теперь всему нижнему этажу новой гостиницы установила порядки, — соборные матушки, дьяконицы не хотели отстать от ней. Пойдет ключарь умываться, весь коридор загудит следом голосами сонными.

Рычит протодиакон, откашливаясь:

— Кхы-хы, кха...

И несется по коридору гулко — кха-а-а...

Звенят тенора иподиаконские, гудит волнующе баритон дьяконский,— о-о.

В коридоре ключаря встретят:

— Отец Василий, как выпались?

Заискивает иподиакон Смоленский:

— Мы, отец Василий, на вас, услышит жена смех Екатерины Васильевны и давай срамить меня, как, говорит, тебе не стыдно, отец протоиерей, должно быть, чай пьет, а ты валяешься!

А Катенька сидит, самовар поджидает, послушника. Зазвенит голос у двери:

— Молитвами святых отец наших господи-исте... помилуй нас.

И пропоет певуче Катенька:

— А -а-ми-нь. Входите, батюшка.

Войдет, взглянет нечаянно на кисею прозрачную, и затрясутся, зазвенят на подносе чашки, пока не поставит на стол подле матушки, а та заметит смущение — дразнить начнет: послушник поднос ставит на стол, а она, будто освободить места побольше, начнет отодвигать что-нибудь, да так, чтобы голой рукой коснуться руки послушницей, и руку подымет чуть-чуть выше, чем надо — в широкие рукава показать ему до плеча тело розовое, а сама в глаза ему смотрит, смеется, расспрашивает.

Говорит — голос срывается, а сам нет-нет да глянет нечаянно на ее руку и сам не знает, отчего глазам хочется и к плечу и к груди прикоснуться.

Только Борис, коридорный послушник, любимец всех дачниц, никогда не смущается, никогда никуда не заглядывает. К двери подойдет и скажет молитву не торопясь, певуче. Спокойно войдет, спокойно чашки поставит, самовар, и так же спокойно уйдет обратно. И в лицо каждому смотрит, и на руки, и на плечи, и на грудь, и только спокойный взгляд, тихий — смотрят глаза, и будто совсем иное видят, скорей даже не замечают ничего — задумчиво устремлены в себя, в свои мысли. И голос спокойный, ровный, не бесстрастный, а глубокий какой-то, ровный, тепло в нем души чувствуется.

И каждое утро ждала ключарша, кто принесет самовар в номер, и когда приходил Борис — стеснялась дразнить его наготову, инстинктивно только, не замечая сама того, кокетничала,— хотелось, чтоб взглянул на нее так же, как все мужчины на нее смотрели, во

всем теле было желание разбудить в нем инстинкт зверя, и в самой зверь заиграл по-кошачьи и хищно и ласково, и глаза по-особому загорались, ждущие и вспыхивающие победить непокорное. И утром, когда просыпалась, хотелось поскорее увидеть его, и так же инстинктивно одевала прозрачное, чтоб только смутить Бориса.

Не одна ключарша ждала Бориса увидеть,— во всех номерах ждали и женщины и девушки.

Коридорные послушники завидовали и злословили, смеялись над ним, думая, что прячет в себе вожделение он, потому что студент, ученый, из семьи дворянской. Вся гостиница знала, что бежал он из Питера в монастырь, спастись от земной жизни, и все думали, что от неудачной любви бежал, из-за женщины, оттого и хотелось разбудить в нем желание — из-за любопытства, узнать, ласково заставить его рассказать о прошлом.

Гостиник Иона тоже не верил и злобствовал, больше чем других заставлял работать. Будильщиком посылал, думая, что кто-нибудь да зазовет его в номер, и не выдержит он своей святости — соблазнится женщиной, а тогда его будет воля: на покаяние пошлет, епитимию наложит. Не любил оттого, что из благородных был, из студентов, из дворян, думал, что не вера в нем, а грех смертный, одно кощунство над церковью и над братией глумление тихое, не смирение — а презрение и издевательство. И когда Николка прислал двух послушников к Ионе специально для верхнего этажа в новую обслуживать гостей, и прислушиваться ко всем разговорам, чтоб узнать, довольны ли дачники монастырским приемом,— Иона шепнул послушникам:

— Настоятель велел и студенту наверху быть, так вы того — поглядывайте за ним,— тихоня,— в тихом омуте бесы водятся,— а то почему-то все хотят, чтоб он прислуживал в номерах, не без греха тут,— прячется...

Нарочно и Борису велел наверху неотлучно быть после того, как первый номер какой позвонит сверху, а до этого внизу прислуживать.

Заметил Иона, какие номера чаще всего Бориса зовут и заговаривают с ним, и опять шепнул тем двум послушникам:

— Будут такие-то номера звонить, так вы не ходите, пускай студент туда ходит,— слышите?.. А сами поглядывайте.

Первый звонок раздавался сверху, когда весь низ уже уходил в лес гулять. Ударят в средней обедне к достойной, и выскочит какой-

нибудь номерок сверху после тридцатого,— тридцать внизу и вверху тридцать. И побежит Борис вверх по лестнице.

Первое время, когда еще ходил без ряски, когда волосы непокорно стояли ежиком — с непривычки болели ноги, спина ломилась, руки, клопы не давали по ночам спать и точно нарочно больше всех заставляли его бегать по лестнице, воду носить в умывальники из колодца, мыть полы в номерах, в коридорах, в сортире, самовары готовить с вечера, колоть дрова. Вываливался топор с непривычки, путалась корявая тряпка — не умел ничего делать, и от скудной пищи — остатки доедал — кружилась до дурноты голова, и перед глазами плавали круги красные.

Послушники и гостиник издевались — дворянин, студент, белоручка.

Молча терпел и молча послушание нес, думая, что это искупление для него — не пошел в монастырь после Ликиной смерти сейчас же, вот и послал ему господь покаяние, в труде, в послушании. Когда в монастырь ехал, надеялся затвориться в келию, молитве отдаться, уйти от людей, и ее ждать, ее, мертвую, живущую каждое мгновение в его сознании. И когда у гостиника попросился в церковь, услышал неожиданное:

— Ты послужи трудом господу, чтоб молитву твою принял всевышний,— сперва потрудись — будь слугой каждому со смирением, гордыни своей не возноси к господу — опять наказание понесешь, а трудись, чтоб очиститься от греха мирского,— послушание паче поста и молитвы,— так-то.

Потом ризничий и подрясник прислал старенький, пояс кожаный, скуфейку черную изношенную и сапоги старые.

Мягче стали ложиться волосы ровными прядями с крутым завитком у плеч, тело сухим стало, мускулистым, выносливым, кожа на лице стала суше и матовой, глубже глаза, и взгляд сделался спокойным, ровным, не безразлично мертвым, а сосредоточенным, углубленным в глубину сознания — сухим огнем горел воздержания и труда, а когда подымал веки — сиял, устремленный вдаль.

Похудел весь, отчего еще стал стройнее, тоньше и черты лица стали правильными, и голос звучал изнутри певуче.

Некогда было молиться, думать, каяться, ожидать пришествия неземной любимой девушки,— научился ее душу в своей чувствовать и жил весь ею, точно она в него вошла, и все люди, все женщины, все девушки стали только братьями и сестрами,— просто людьми, с

которыми так же спокойно и говорил, когда спрашивали, почему в монастырь ушел. И всем отвечал одно и то же:

— Пришел сюда научиться любить каждого, в миру не умел любить...

Но никогда никому ни намеком, ни словом не открывал души и не прятал ее — отдавал каждому, но навсегда закрыл в ней прошлое и для себя, и для всех. И когда надоедливо приставали с расспросами, переставал отвечать и уходил молча.

И все знали — и богомольцы и дачники, что из богатой семьи студент, и каждому хотелось про него все знать. Иону расспрашивали, и тот ничего не мог ответить, только зло ехидничал:

— Святым хочет при жизни сделаться. Святость на себя напускает...

И в верхних номерах ждали студента-послушника — полюбоваться на него, расспросить, пококетничать, улыбнуться заставить...

Но так же спокойно входил в номера и выходил, не смущаясь наготы женской — не видел ее, не чувствовал.

Из старой гостиницы вещи перенесли Костицыной — не взглянул даже ни на нее, ни на Зину. Стали устраиваться...

— Ты заметила, Зиночка, какой красивый послушник?..

— Особенный.

— И мне кажется, что особенный.

Когда самовар подавал вечером — Вера Алексеевна спросила:

— А вы давно в монастыре, батюшка?

— Недавно...

Зина у окна стояла и вздрогнула от певучего голоса.

Утром гулять пошли в лес и, возвращаясь, спросили Иону-гостиника:

— Откуда у вас, батюшка, такой красивый послушник?

— Какой?..

— А такой особенный?..

— Студент, что ли?

Зина даже вздрогнула:

— Как студент?

— Да так, барышня, студент беглый. Из Питера убежал чего-то в монастырь к нам, — теперь послушником.

Задержали его вечером вопросами.

Остановился у двери, опустил глаза и тем же певучим голосом отвечал спокойно, коротко.

Сумерки были теплые, звенящие комарами; утомленные лесным воздухом и дневным жаром — влажные были, томительные.

Медленно мысли ползли горячие, истомленные, ленивые от горячего марева.

И в этих сумерках вспомнилась Костицыной и ее юность капризная и взбалмошная и становилось грустно и больно за потерянное, чего никогда не вернешь больше. Капризничала, играла с душой человека, с любовью его. Случайное было знакомство, странное. У подъезда Александринки потеряла отца с матерью. Кто схватил, не дал опомниться. Понеслись сани, а за ними вдогон другие. Куда-то на край города... Душный платок подносили к носу, чтоб не кричала. Порывалась сперва — держали крепко и постепенно ослабевала, одурманенная сладковатым запахом, тошнило от него, было противно, гадко, а потом не помнила, что было дальше. И сзади, на другом извозчике, студент гнался за первым по следам, стоя за спиною кучера, боялся упустить из виду. Видел, как соскочили из санок двое и понесли в домик с низкими ставнями. Остановил за два дома от этого. Стучал в соседние домики. Вломился в тот, куда занесли девушку, обошел все комнаты, перебудил всех гостей у барышень и в самой задней нашел уже полураздетую. Двое в окно выскочили в темноту, не успели еще обесчестить девушку. Пахнул воздух морозный. Открыла глаза испуганно... Не знала где. Спрашивала. Не отвечал ничего. Одед только шубку и капор ей и на руках вынес в сани. Дорогою адрес спросил. Привез за полночь. Как сына встретили. Хотели благодарить деньгами — не взял. Пригласили бывать, как самого близкого. Начал бывать, сперва редко, и когда полюбил — каждый день. Играла душой его, кокетничала, и когда чуть не со слезами, сдавленным голосом, умолял о любви — рассмеялась и убежала. И не пришел больше. Ждала, плакала. Хотела вернуть. Не выдержала, сама пошла в Невскую лавру искать студента. Ответили, что в общежитии нет его больше, ушел в келию. Каждый день ходила ко всем службам, до последнего человека дожидалась и один раз встретила в клубке черном. Бросилась к нему; ускорил шаги, ничего не сказал, не взглянул даже.

И теперь казалось ей, что это он, тот студент, от нее убежал, в монастырь и она виновата, она, Костицына. Ничего не значит, что молод, и он молодым был, красивым сильным, на руках ее уносил из омута, и даже не поцеловала ни разу его. И не Борис перед ней стоял, а другой, тот, ставший единственным, и захотела спасти этого, душу отдать, себя.

От отчаяния замуж вышла без любви и целый век без любви мучилась, любви искала с другими, хотелось в каждом его найти, навсегда потерянного, и всегда казалось что не то, не те ласки, не та любовь,— у того другие должны быть, доводящие до бессознания, пьющие до глубины все существо непроглядной ночью, и не могла найти, никогда, ни в ком.

И теперь все вспомнила... Сразу. Решила искупить вину,— спасти Бориса.

Вспомнила, что давно говорили в губернском, что из-за любви единственный сын Смоляниновых, молодой богатый,— в монастырь ушел.

— Я о вас слышала, теперь помню... А вот мне вас жалко.

Тихо сказала грустным шепотом.

Жалко и Зине стало его от тихих и каких-то безнадежных слов Костицыной.

Встала порывисто, подбежала к нему, схватила за руку:

— Я буду вас Борею звать... А меня Зиной зовут... Зовите Зина.

Всю ночь Костицына не спала, думала, вспоминала свою жизнь и Бориса, и когда среди ночи проснулась Зина, не дала ей заснуть, до утра про себя рассказывала, как можно только рассказать девушке:

— Я, как дочери тебе, Зина, рассказываю, и если бы я была твоей матерью, я бы сказала тебе — уведи из монастыря его, оживи душу своей любовью, у таких — особенная душа, чистая, а если полюбит тебя — будешь всю жизнь счастлива. Это я была молода, не поняла, не угадала своего счастья.

VI

Боролась с собою Костицына, не знала, что говорить Борису, как заставить его, чтоб душа шевельнулась в нем. Зину просила помочь, и когда та — живая, еще восторженная и порывистая — заставляла Бориса слушать свою болтовню или отшатываться от нее, когда она подбегала, брала его за руку или, всматриваясь в прозрачные и спокойные глаза его, клала ему на плечо руку или касалась волос — Вера Алексеевна ревновала Зину и от печальных воспоминаний о другом, о прошлом, о несбывшемся переходила к смеху дразнящему, женскому, играла на самых потаенных переживаниях человеческих и даже старалась коснуться Бориса, но не с наивною простотой девичьею, а как женщина, чувствовавшая легкое покалывание

ладоней рук от желания прикоснуться к лицу, к руке, чтоб почувствовал, какие ладони горячие, вздрагивающие, и проснулся бы, захотел, на одно мгновение, а после придет и другое и третье и чаще, и чаще, пока не ослабнет воля от проснувшегося тепла и не захочет прикоснуться и утонуть в бездну.

И Зина в эти минуты ревновала Костицыну. Запали слова ее спасти любовью, полюбить и быть счастливой, обмануть чувством, самой обмануться, но увезти из монастыря. Не любила его, а хотелось победить, заставить полюбить себя.

Борис мучился. Каждое прикосновение душу резало. Вздрагивал, пугался, в себя прятался, умолкал. И образ Лины вставал ярче, когда встречал глаза Зинины, только чувствовал, что у той — тишина была в глазах ясная, неземной свет ласковый, а в этих упрямую волю, захват — даже взглядывать на нее боялся. А ночью, перед тем, как идти будить богомольцев в старую — доставал карточку Ленину, обмотанную ее косами, в темноте вглядывался, прижимая к губам волосы, чтоб почувствовать тепло, запах. Но тепла не было, — высохли, свалялись и пахли сухим, даже пыльным. Грудь сдавливало, комком горло сжимало, и напрягаясь, чтоб не заплакать, — прятал карточку и начинал день послушничества.

С какой-то болезненной жалостью смотрел Борис на заигрыванья ключарши и дачниц. Смотрел и не видел. И только боялся входить в 33-й, к Костицыной. Не за себя боялся, а все больней и больней вспоминалась Лина, а когда Вера Алексеевна от грустных слов переходила к вызывающему, будящему тело — отшатывался и видел в ней Феничку. Чувство преданной дружбы к Феничке, после бегства от нее в монастырь, перешло в ужас и отвращение. Съеживался, когда Костицына подходила, хотелось вскрикнуть и убежать, но только знал, что некуда больше, и терпел, как испытание, богом посланное.

После разговора с Иоасафом в присутствии Гервасия — решила Костицына оживить Бориса, пойти на крайнее, — знала теперь, что бы ни случилось потом — не выгонят его из монастыря, упросит епископа, потому что — ее вина будет, а не Бориса; чувствовала, что словами не пробудит в нем ни любви, ни ласки, потому что бежит от всего, от всего прячется. Видела, что Зина не умеет захватить его своей порывистостью, не умеет — потому что еще ребенок, девушка, а сама не знала еще как, — не обычно, как все, а так, чтобы заставить растеряться человека от неожиданного и врасплох его покорить.

Пусть даже не сразу, но лишь бы дрогнул, не выдержал. Засыпая, думала о своей любви первой, и видела перед собой Бориса и хотела его, и это желание было не только физическое, а внутреннее, чтоб душу раскрыл перед ней и весь раскрылся. Не знала только, что в нем проснется — душа или тело. Знать хотела, отчего в монастырь ушел, какую любовью горел и к кому — к девушке или женщине,— кто обидел в любви, чем обидел. Несколько дней напряженно вглядывалась в него, когда вечером приносил самовар, не расспрашивала, не смеялась, не дразнила взглядом — напряженно смотрела в глаза, старалась заметить по движениям настроение его и сама становилась напряженнее. Каждый день после обеда ходила гулять в лес, желая еще встретить епископа с Гервасием. Заходила за княжной, и вместе с ней дожидались, когда покажется по знакомой дороге лесной из казенного леса Иоасаф. Старалась Гервасия расспросить об иноках и незаметно — о Борисе.

И епископ привык к этим встречам, иногда даже возвращался обратно.

— Пойдемте, еще немного пройдуся...

Николка тоже стал дожидать этих встреч с Костицыной, сидя вдвоем в лесу с епископом, рассказывал ему чудеса Симеона старца и старался подольше его задержать, пока не появятся далеко на дороге Костицына с княжной и с Зиною. Говорил о старце, стараясь, чтоб вошло Иоасафу в сознание, что старец святой, чудеса творит, нужно только прославить его — открыть мощи, а сам чувствовал женщину, не такую, как Феничка или Ариша, а особенную, необычную,— у такой и любовь и слова о любви необычные и ласки тоже. А в глубине где-то и другая была мысль — через нее на епископа повлиять, чтоб и она попросила прославить старца, основоположителя пустыни,— хотелось одну ее встретить, чтоб попросить об этом. А где-то, в чем сознаться не хотел себе, жила надежда на большее, чем только встреча,— даже в глазах, когда представлял себя с нею один на один в лесу, и опять почему-то хотелось на озеро, на то самое место, где с Феничкой был. И бросалась мысль от угодника к женщине. Даже вслух говорил иногда себе, что через женщину все можно сделать. Казалось, что и ее хочет ради обретения мощей.

Боялся глядеть на нее подолгу, чтоб никогда не заметила взгляда. Смотрел влюбленно печальным взглядом и потуплял глаза смиренно.

В присутствии Иоасафа менялась Костицына, точно забывала о своей цели тайной,— смеялась, шутила и с каждой встречей старалась говорить с Гервасием — про Бориса хотела знать.

Один раз попросила даже княжну по-приятельски когда-нибудь погулять с Зиною.

— Хочу испытать послушника, вы помогите мне, княжна... Понимаете,— мешает Зиночка и даже, кажется, ревнует меня.

И Николку заманивала:

— Вы бы, отец Гервасий, показали нам озеро,— сколько живем, а еще ни разу даже не покатались, и вы, владыко, должны с нами ехать!..

— Я пришлю послушника к вам с ключиком.

— Вы должны с нами ехать, и преосвященный поедет с нами.

В разговор вмешалась княжна:

— Владыко, отчего вы не хотите? Это прекрасная мысль у Веры Алексеевны, понимаете — прогулка по озеру и пикничок маленький. Все вместе поедет и папа с вами поедет,— он тут тоже заkis, два раза уже уезжал в город.

В тот же день вечером Николка и к ключарю побежал посоветоваться.

Пришел просить об епископском служении на Илью пророка и будто к слову:

— Вчера епископ изъявлял, отец ключарь, желание побывать на озере,— посоветуйте мне, как устроить лучше.

— Необходимо, отец Гервасий, достойное сану путешествие, чинное.

Ключарь Николку пошел провожать, а когда из гостиницы вышли:

— Отец игумен, мне вас не приходится видеть совсем... Мне иногда поговорить с вами хочется.

— С радостью, отец ключарь, с радостью...

— Пойдемте, если свободны, пройдемся в лес... Чудесный сегодня день, вечер тихий.

У каждого своя мысль, когда в лес вошли,— Николка решил воспользоваться случаем и с ключарем поговорить о старце, о прославлении, чтоб случайно епископ первый ему не сказал, что Николка заговаривает о прославлении; а у ключаря — своя мысль: живет в монастыре соборное духовенство, а доходов от монастыря никаких. Пьют, едят монастырское, это правда, а из кружек монашеских им ни копейки не приходится. И каждый старался любезным быть, аккуратно подойти к щекотливому вопросу.

— Красивая обитель у вас, отец Гервасий, не уезжал бы...
— Живите, отец ключарь,— инокам пребывание ваше радость.
— С семьей трудно жить духовенству, все-таки расход лишний...
— Вы, отец ключарь, отцу гостинику скажите, что нужно,— он постарается.

— А так бы не уехали мы от вас... лес хороший у вас.

— Недаром старец наш Симеон выбрал его для пустыни. Обитель тихая... А если бы старца прославить господь благословил... Мощи открыть... Чудеса творит старец, исцелений сколько было; в других монастырях у нас не говорят о чудесах, а про наш — на всю губернию известно, и свидетельские показания имеются.

—хлопотать нужно.

— Научите, отец ключарь, как,— помогите нам, вы близки к епископу...

— А это верно,— наш епископ многое может. Ведь вы знаете,— только между нами,— он во дворце, говорят, свой, будто у него родственные связи; может быть, это дамские сплетни, а говорят так.

— Помогите, отец ключарь,— это ведь у меня заветная мысль, и не у меня, у всей братии — обрести преподобного старца мощи. До греха даже старцы доходят. На пустыньке жизнеописание старца есть и изображение его,— видели,— старец в лесу с посохом, кругом лес темный и келии,— так иноки наши из золотой бумаги сияние вокруг головы налепляют. Я сам отдираю его. Новое изображение повешу и опять то же,— говорят мне,— чудеса творит старец, святой он, и сияние подобает ему. Под стекло вешал, и все равно на другой день сияние.

— Епископа попросите... Или пусть княжна или ее подруга попросит преосвященного.

— Какая подруга?

— Мадам Костицына, супруга управляющего делами губернатора, — они смогут повлиять на преосвященного, а я не решусь сам.

— Братия ничего бы не пожалела на хлопоты, лишь бы прославить старца.

До царственной елки дошли, свернули к шапке мономаха тропинкою,— сосна в лесу столетняя — ни сучка, ни ветки до самого верха, а там густою шапкою хвоя темная,— до мономаховой шапки дошли, отдохнуть на скамеечку сели.

На весь лес одна только сосна такая. Берегли ее, кругом частокол поставили, поодаль скамейки сосновые любоваться чудом природы богомольцам, странникам. Сели на скамейку, и разговор оборвался. Николка не знал, как дальше сказать, как просить о прославлении,

боялся намекнуть о благодарности, и ключарю неловко начинать было про деньги. Сидели молча.

Звенели комары, шуршали по верхам сосны, тянуло сыростью, и издалека песня слышалась, и отблесками по соснам с поляны полыхало пламя — костер жгли. Пели семинаристы с послушниками, по временам доносился смех женский, ключарю даже показалось, что его Катенька хохочет раскатисто.

Замолчали опять, слушали, думали, с чего дальше разговор начать. Так и не начали, пока, возвращаясь, не подошли к гостинице.

— На Илью епископ, вероятно, будет служить, я попрошу его.

Николка осмелел, решился:

— Отец ключарь, попросите преосвященного о прославлении...

— Я поговорю, если удобно будет. А только вот не мешало бы преосвященного угостить вместе с князем после торжественной службы обедом. И удобнее всего было бы в ваших покоях,— может быть, и поговорить можно будет и дам пригласить нужно, близких.

— Я сам стеснялся обед предложить... На Ильин день.

И вкрадчиво:

— А нельзя ли, отец ключарь, в этот день, на месте успокоения старца после молебствия владычице великую панихиду отслужить по старцу нашему? С этого дня мы установили бы непрерывную. Старцев бы поставили петь...

— Подумаем, отец Гервасий, подумаем...

— Подумайте, отец ключарь,— премного вам братия благодарна будет, особо благодарить будет,— не забудут вашу услугу обители, на вечное поминовение всю семью впишем, во всех службах молиться будем.

Расстались, и у каждого была мысль, что теперь один другому обязан будет.

Николка шел в покои медленно. Когда вспоминал, что просить епископа будет через Костицыну о Симеоне старце и о мощах, думал и о женщине,— одна мысль голову жгла, а другая — все тело туманила, и вечер туманный влажный и теплый еще больше манил к греховному и, когда в сторону озера у конных ворот посмотрел, не об Арише вспомнил, а замечтался о том, как Костицыну повезет кататься в лодке и просить будет ее перед Иоасафом замолвить о Симеоне и о любви своей. Даже пронеслось в голове, что жаль — не Афонька он, тот у купчих славился,— боялся — не угодить барыне. Нехотя стучал в ворота, дожидал, когда отворят конюхи, снова дожидался, стучал снова, все время мечтая о любви особенной, и когда из лесу потянуло

с реки, озера, с болот холодным предутренним ветерком — вздрогнул от холода и начал барабанить кулаком в ворота. С фонарем вышел послушник, сперва не узнал и крикнул зло:

— Через ворота не мог перелезть, не лазил что ль, а то барин — отворяй тебе.

Взглянул на вошедшего и, кланяясь в пояс, подбежал благословиться.

— Я не знал, отец игумен, что это вы, я думал — певчие из лесу.

И, желая смущение скрыть от случайного напоминания что не мог перелезть через стену, как когда-то,— сказал наставительно:

— Ты, отец, не впускай их,— да ловил бы что ль, если не певчие.

По монастырю шел — повесть к полунощнице ударили и звон пробудил в нем новое чувство — через мощи прославить пустынь и братии облегчить жизнь к старости. Засыпал — сквозь сон мерещилась сорокапятипудовая чистого серебра, рака, десятки неугасаемых лампадок на широких лентах и целый день толпа богомольцев, и над всем — настоятель Гервасий.

VII

Раньше обычного вернулись из лесу вечером, раньше обычного напились чаю, и Костицына пошла за княжной — посидеть на крыльце гостиницы. Зиночка осталась в номере.

Целый день думала Вера Алексеевна о Борисе, боролась с собою и ждала, когда можно один на один остаться. Знала, что завтра князь возвращается из города, Валерия Сергеевна встречать пойдет... Пошла к княжне.

У двери по-монашески нараспев сказала, слова выговаривая четко:

— Молитвами святых отец наших, господи Иисусе Христе, помилуй нас.

И под конец не выдержала, рассмеялась.

Из-за двери со смехом княжна ответила:

— Аминь, Вера Алексеевна, аминь.

— Идемте, княжна, на крыльце посидеть.

Пока собралась та, спросила:

— Вы завтра пойдете встречать папу?

— Обязательно, он приедет в одиннадцать.

— Милая, возьмите с собой Зиночку.

— А вы не пойдете с нами? Отчего так?

— Нездоровится.

— Ну, конечно, конечно — никуда не выходите, лучше два дня полежите, я буквально бываю больна, когда мне нездоровится, а Зиночку я возьму.

На крыльце сидели дотемна. Толпились дачники, соборяне, гости и между ними гостиные послушники. Матушка ключаря старалась овладеть вниманием всех, рассказывала, как ей монах сегодня один рассказывал про чудеса старца Симеона пустынника.

— Вы не поверите, господа, говорит, сам видел, как из толпы выкрикнул мальчик: «мама, мама». Пятилетний мальчик пропал, нигде не могли найти, думали, что увезли цыгане, и подумайте, на одной ярмарке странника встретила. Подала ему, а он спрашивает: «Какое у тебя горе, матушка?». Та в слезы — не выдержала. «Великое,— говорит,— у тебя горе, великое». Она сквозь слезы ему: «Митя пропал у меня, мальчик мой, пяти лет, хорошенький». Странник говорит ей, чтоб в пустынь сходила Бело-Бережскую пешком по обету и панихиду бы отслужила на могиле старца, великий, говорит, старец был, схимник, теперь чудеса творит. Отслужи панихиду, он тебе путь укажет. Пешком в монастырь пришла, отслужила в старом соборе панихиду и будто облегчение почувствовала, пошла к нему на пустыньку и видит — навстречу ей идет с пустыньки старец, седенький, борода ниже пояса, длинная, седенькая, полотенчиком узким,— решила, что сам схимник явился ей,— батюшка уверял меня, что это и был он, не раз являлся утешать страждущих. Остолбенела она, а он навстречу к ней приближался. Подошел и как странник тот: «Великое,— говорит,— у тебя горе, матушка, горе кровное». Заплакала она и сквозь слезы: «Митя мой где, где Митя?..» Подошел старец седенький (в руках у него ореховый посошок), взял за руку и говорит ей, чтоб пошла она по площадям, по базарам, по ярмаркам, по монастырям в храмовые праздники и подала бы сорок баранок больших о здравии Дмитрия младенца. Сказал и пошел в лес.

Следила за ним, окаменевшая, и что же вы думаете? — слетел к нему аист, преклонил голову и пошел следом как послушник. Разве не чудо, не святой старец? Птица ему несет послушание смиренно. Очнулась она, ни птицы, ни старца нет — видение. Выпила из колодца воды, умылась и пошла исполнять слова старца.

Гостиник Иона вздохнул подле дверей и тихо:

— Творит чудеса старец наш, Симеон пустынник.

Даже княжна не выдержала:



— Что же, нашла эта женщина своего мальчика?

— Нашла, господа,— поразительно. Прямо-таки чудо. Вот тут и не верь... И знаете, как? Батюшка говорит — ходила она долго, тридцать восемь баранок раздала, осталось всего две, пришла она в Одрину пустынь, а там один монах посоветовал ей к Троеручице идти в Бело-Бережскую, она пошла. Предпоследнюю бастынь, а там один монах посоветовал ей к Троеручице в престол — народу, богомольцев, странников, нищих. Пришла к святым воротам в монастырь, стала подавать последний баранок... А вы знаете, господа, в этом что-то таинственное есть — целый круг совершила и замкнула его опять этой пустынью,— первый баранок здесь подала и последний пришлось — и тоже круг, это знамение: баранок — круг. Сама подает, сама дрогнувшим голосом... Вы подумайте — состояние матери — последний баранок должна подать, и дальше никакой надежды, снова искать, мучиться... И говорит чуть не со слезами: «О здравии младенца Димитрия, о здравии Митеньки, моего Мити...» И вдруг сзади слышит крик: «Мама, мама, возьми меня, я тут, тут...» Бросилась к нему — в лохмотьях каких-то, оборванный, худой, бледный и — о, ужас! — на один глаз не видит — белок с кровяными жилками, веки воспаленные, глаза слезятся. Прижала она его, плачет навзрыд: «Митенька, дитенок мой, детонька, нашелся ты, мой, мой теперь...» При всех, при народе, толпа кругом собралась. Она спрашивает его: «С кем ты был, детка?» Отвечает ей: «С дяденькой», а сам как затрясется и в слезы,— шепчет ей: «С дяденькой, с дяденькой, пусти меня, мама, я с дяденькой». Оглянулась она, расступился народ и тоже стал искать этого дяденьку и не нашел его, пропал в толпе. Повела она его прямо к могиле старца Симеона пустынника, просила сейчас же отслужить панихиду и тут же рассказала монахам все. И что ж, разве это не чудо?.. А мальчик вернулся с ней в гостиницу, надавил глаз,— перевернулся тот — стал видеть. Мать в истерику, говорит — и это старец Симеон сотворил чудо. Чуда в этом, конечно, не было, но ужас,— какой ужас... Пришла она в себя, спрашивает его: «Ты видишь, Митя, видишь?..» Отвечает ей: «Вижу, мама, это дяденька приказывал так делать, чтоб побольше нам подавали милостыню». Разве не ужас?.. А все-таки чудо. Я верю, что это чудо было — найти сына потерянного. Последняя надежда осталась, последняя, в этом-то и весь ужас, что дальше опять мучение и вдруг, случайно, чудом, найти ребенка. И он не забыл голоса материнского. Узнал ее сразу.

Вера Алексеевна даже вскрикнула:

— Боже, какой ужас... Я не могу...

Ушла, не выдержала, и княжна с нею.

Гостиник кончил:

— Это чудо старца Симеона пустытника занесено братией в особую книгу с показаниями очевидцев и иноков.

Вера Алексеевна Зиночке почти со слезами рассказала про украденного мальчика, легла взволнованная, долго не могла уснуть, проговорила с Зиной.

— Какой это ужас, Зина, ты только представь: толпа богомольцев, калеки, нищие, монахи, крик, пение, плач, просящие голоса, изуродованные дети, и это называют чудом, этот ужас — чудо для монахов, они мне после этого тоже кажутся изуродованными, калеками, больными.

— Но ведь это неправда, Вера Алексеевна, этого не могло быть.

— Могло, правда... Разве ты не видишь сама, как тут искалечены все... монахи.

Бориса вспомнила. Когда ключарша рассказывала, казалось, что не о мальчике она говорит, а о Борисе, от этого и вскрикнула в ужасе во время рассказа и только осознала ясно, что о Борисе рассказ этот. О нем начала говорить Зине:

— А разве этот Борис, разве он не искалечен уже?.. Милый мальчик, из хорошей семьи. Ты посмотри, какой он интересный, но ведь он искалечен... Боится взглянуть, сказать... Нелюдим, боится всех... В женщине видит, должно быть, как и все они, искушающего дьявола... Мучается воздержанием — себя уродует, свою душу. И это они, они ее искалечили... монахи... Он тоже украденный нищими духом, но от этого нищие не стали богаче, а у имущего они душу отняли, искалечили...

— Но ведь у него роман был... Он верит...

— Болезнь это, надо лечить было и теперь можно лечить, увезти отсюда, далеко, на юг, за границу, показать жизнь, жить заставить, заставить полюбить всего человека, со всеми его грехами, каков он на самом деле...

— Если бы можно было его спасти... Если бы... Скажите как, Вера Алексеевна. Я не умею, он меня боится... У меня сил на это не хватит, я неопытна, молода, и сама еще не знаю людей...

К полунощнице ударили, далеким гулом по лесу звенел колокол, слышно было, как звук перекатывался, замолкал, проходя поляны и,

ослабевая, плыл дальше. Раз за разом с промежутками гудел колокол малый, и звук был тонкий, какой-то надорванный, замогильный... В окнах купола виднелся мутный красноватый отблеск от горевших в соборе свечей. Перед Ильей пророком служили в соборе, слышалось в ночной тишине через открытые двери глухое пение, сливавшееся вместе с гулом колокола, отчего лесное эхо было еще мучительней и тягучей...

Не спала, с открытыми глазами смотрела в белесый потолок, в окно, слышала ровное дыхание уснувшей девушки и думала. Вспоминала свое,— прошлое,— Александро-Невскую лавру, студента Лазарева, казалось, что она, только она виновата в том, что замучены люди в монастырях, и он, любимый — тоже замучен, замучен ею. Вскрикнуть хотелось от ужаса и не хватало сил; горела голова, руки, измученным казалось тело; чувствовала, что и его и себя замучила. Вышла девушкой за пожилого с карьерой, с будущим, а теперь старый,— мучается. Не ревнует ее, сознает, что она еще жить должна, позволяет жить и молчит, а иногда, как побитый пес, в глаза смотрит, вымаливая ее ласку,— молчит и смотрит, не говорит, а просит взглядом. Жалела и мучилась... Потом снова любви искала, счастья, обманывалась с другими и мучилась. А теперь это еще острее чувствовала. Перед глазами Борис стоял. Казалось, она в его мучении виновата и должна что-то сделать, теперь же, пока не поздно, пока не уехала в город,— последний баранок, последний хлеба кусок — душу свою, себя всю отдать во имя спасения искалеченного Бориса. Терялась, как сделать, как заставить хоть на мгновение вернуться к жизни, на одно только мгновение, чтоб за ним и другие пришли мгновения. Мелькала отчаянная решимость, лишь бы суметь воскресить искалеченного. Не спала, а дремала и чувствовала и себя и свои мысли... Утром встала с глазами горящими, лихорадочными. В каждом движении и напряжении чувствовалось, и решимость отчаяния. Капот накинула, холодной водой умыла лицо, руки, волосы расчесала и не заплела в косу, а закрутила всю копну узлом, заколола наскоро двумя шпильками, чтоб не рассыпались, и опять легла, прикрыв постель одеялом.

— Зиночка, мне нездоровится... Я никуда не пойду сегодня...

Постучали в дверь.

Княжна — высокая, в белом платье, шатенка, с тонким носом слегка горбинкою, с тонкими ноздрями, слегка даже прозрачными и розоватыми, немного надушенная, с подведенными чуть-чуть бровями и тонкими губами, чтоб очертания ярче были, выразительнее,— вошла радостная, начала шутить:

— Что это с вами?.. Неужели вас это чудо могло так расстроить?..

— Нездоровится мне...

— Простите, милая, я забыла, что вам нездоровится, а как Зиночка?.. У ней этого нездоровья нет?..

Покраснела, ответила, застыдившись:

— Я здорова, Валерия Сергеевна...

— Вот и хорошо, голубчик... Значит, идемте? Папу встречать к поезду. Пойдем лесом, найдем себе провожатых монахов.

И, точно зная или чувствуя еще что-то, чего невозможно сказать при Зине, потому что в этом женское только, интимное, непонятное,— смотрела на Костицыну, чувствуя, зачем хочет одна остаться, зачем и вчера еще просила погулять с Зиной, и настойчиво начала говорить Зине:

— Вера Алексеевна должна полежать, отдохнуть, а вы, Зина, со мною должны идти на платформу.

Долго еще лежала, не шевелясь, не думала, а мысль сверлила — теперь надо, сейчас, потом поздно будет,— сама даже не отдавала себе отчета, что именно нужно, что делать будет, когда войдет он,— говорить, убеждать или еще что. И чем сильнее и надоедливее сверлила мысль эта, тем решимость становилась отчаяннее. А в подсознательном был еще вчерашний рассказ жены ключаря о замученном Мите. И где-то глубоко запечатлевшийся рассказ этот отражал бессознательно мысль о Борисе. И собственно эта-то мысль и сверлила голову и доводила Костицыну до отчаянной решимости. От нервного напряжения резко встала с постели, одно мгновение еще о чем-то подумала и медленно пошла к двери позвонить вниз. Показалось, что даже слышала, как внизу задребезжал электрический звонок и кто-то побежал по лестнице. Испуганно легла на постель. Ждала.

За дверью молитва звучала и стук легкий,— через силу сказала:

— Войдите.

У стола сидела. На Бориса взглянула, поймала взгляд ясный, и показалось, что стало легче.

— Можно вас попросить самовар?

Не назвала по имени, ждала, когда принесет посуду и самовар. Одною рукою грудь держала — до боли сердце билось.

Принес на подносе чашки с ободком синеньким и ушел за самоваром.

Вынес из кухни, а за ним следом — Михаил. В номер Борис внес, и у дверей — в скважину Михаил подглядывает.

Игумен двух послушников послал в новую гостиницу услуживать гостям и прислушиваться, а когда нужно и подслушивать, что будут приезжие говорить про обитель, про иноков, а главное про прием, чтоб предупреждать все недовольства и желания. Целый день по коридору толклись в верхнем этаже два послушника и целый день что-то делали — прибирали, чистили, подметали и слушали, прислушивались, а когда удобно и подглядывали, и потом настоятелю секретно передавали вечером, как на духу, и от себя привирали. А на Бориса — коридорные злились, не любили за то, что из благородных, из студентов, специально услуживает гостям летним, потому что свой, к своим и послан. Подглядывали за ним, подслушивали...

Внес самовар, а Михаил на корточках подле двери, глазком в замочную скважину.

— Я вас ждала, Боря, да, вас. Вы сейчас не уйдете, нет. Посмотрите на меня, вот я такой же человек, как и вы, и вы не хотите даже взглянуть. Не отступайте назад боязливо, сядьте, ничего с вами не будет.

Тихим голосом ответил тревожно:

— Мне нельзя оставаться в номерах.

— У меня можно, Боря. Я вас Борею буду звать, как всегда, вы для меня не монах, а Боря. Сядьте же, а то вы меня заставите взять вас за руки и посадить насильно... Вы знаете, что у меня и у княжны можно, все можно,— донесут на вас — ничего не будет, не бойтесь, мы не дадим вас замучить им.

Сел подле стола, опустил руки и смотрел на пол, не поднимая головы, слушал. На душе тяжесть давила, и дышал тяжело, медленно.

— Я вам чаю налью, выпейте... Вы пейте, а я говорить буду.

Машинально подвинул чашку, не положил сахару, налил на блюдце и не притронулся больше.

— Зачем вы здесь, Боря?.. Зачем?.. Разве вы не знаете, что жизнь там, у нас, в городе, в деревне, в столицах, а здесь мертво и вы мертвый, заживо убивают вас, да еще мучают. Вы не замечаете этого, а вы замученный. Зачем на вас этот балахон черный, как саван,— брр...

Обидно стало и больно,— почти выкрикнул:

— Мне хорошо здесь, я здесь живу,— я верую, я молюсь...

— Кому? Скажите, Боря, кому?..

И в голове промелькнула Линочка, ее волосы, кофточка...

Опять выкрикнул, но только глухо и сдавленно:

— Ему, господу...

— Правду скажите, Боря, правду,— кому вы молитесь?.. Вы любили когда-нибудь?.. Кого вы любили, Боря?.. Женщину, да?.. Или девушку? Она любила вас, да?.. Любила?.. А потом ушла от вас к другому?.. Или не отвечала вам взаимностью? И вы мучились и, наконец, в монастырь ушли? Вам было больно, когда она изменила?.. Плакали?.. Ну, что же вы молчите,— думаете, что и я вас хочу мучить?.. Так я не хочу мучить вас, я должна вас спасти. Она умерла, — я знаю... Правда? Любила вас и умерла...

— Умерла... Да...

— А потом, что случилось потом с вами? Вы учиться уехали... Другую встретили?.. И она не ответила вам взаимностью или изменила?.. Бедный мой мальчик... И вы ушли в монастырь. И здесь мучаетесь и умираете...и не сами мучаетесь, а вас мучают...

На минутку замолчала, потом тряхнула головой, так что раскатился узел волос, и вылетели две шпильки, и в то же мгновение встала, стул отодвинула резко и пошла к двери. Михаил отскочил от скважины, торопливо на цыпочках пошел к умывальнику, думал, что в коридор выйдет, и когда прислушивался, что никто не идет снизу и из 33-го не выходит — вернулся снова.

Ходила по комнате от двери к окну мимо Бориса, сидящего с опущенной головой, так что волосы с плеч скатились к лицу и закрыли его.

— Как мне научить вас полюбить жизнь, как, скажите? Я знаю... знаю, я тоже мучила, а теперь всю жизнь мучаюсь, и другие через меня мучаются... вы мучаетесь и другой... и третий и четвертый — все мучаются, а мне кажется, что это я мучаю всех, я, женщина. Из-за женщины все мучаются. А мы, мы сами себе мучения создаем и других мучаем... И сами мучаемся, но мы по своей вине, а вы через нас, а после мы мечемся и боимся разорвать эти мучения, гнет души сбросить и жить, жить... каждую каплю воздуха ловить ртом жадно, лишь бы жить. Понимаете вы меня, нет?

Слышал голос срывающийся, мечущийся, и самому стало душно и глуше, тяжелей сердце забилося толчками, хотелось уйти, не слушать и сидел, как прикованный, не поднимая головы, не шевелясь ни одним мускулом.

На последние слова ответил:

— Не понимаю, нет...

— Но я хочу, чтоб вы поняли... вы, Боря, должны понять. Я хочу жизни, и не для себя, моя прожита,— да, я еще молода и я хочу тоже жить, но только моя жизнь прожита, оттого, что не вернуть прошлого, а вы еще не жили, у вас нет этого прошлого, вы непорочный,

чистый... И жизнь, она непорочная, это люди грех создали; любовь изуродовали и создали грех, оттого, что любить боятся, когда она к нам приходит и не изуродованная. Я уже изуродованная, но у меня еще не перестала душа болеть, и если я не могу вернуться к прошлому, то вас я хочу вернуть, вас, вас, Боря... Не как мать, не как влюбленная, а как женщина, только женщина может душу вернуть к жизни, телом своим вдохнуть ее во имя жизни. У женщины душа растворилась в теле, и живет она ею, тело толкает к жизни, сердце кровь горячо разливает в нем, и в этой горячей крови душа бьется и мучается, пока не освободит другая ее.

У окна остановилась на один миг, взглянула в него, ничего не видя, и потом быстро подошла к Борису, опустилась перед ним на колени сбоку, положила голову к нему на колено, протянула руки, обхватила ими его поясницу и старалась все время в глаза заглянуть ему.

Испуганно отдернул свои руки с колен, прижал их к груди и зажмурил глаза.

— Боря, мальчик мой, милый, проснитесь, оживите хоть на один миг,— я чудесам не верю, но если у вас душа дрогнет,— забьется сердце, и тогда жизнь, жизнь... Больным, умирающим, измученным, обессиленным переливают кровь, и они живут, оживают снова и жизни радуются, а я себя всю хочу перелить в вас — и душу, и тело. Не бойтесь, я не люблю вас,— нет, я больше, чем люблю — я мучаюсь, потому что вы мучаетесь, так не мучайтесь больше... Боря...

Чувствовал тепло от ее груди, от рук, душил запах волос пряный и тепловатый,— слабел, и давило грудь, подступало к горлу спазмами,— мыслей не было, а только тупой ужас всего охватывал, и не было сил двинуться. От груди своей свои же руки не оторвет и закрыл лицо ими.

С каждым словом сильнее и сильнее сердце билось, хотелось вырвать из него душу, взять, заглянуть, вложить свою мысль, свои желания... Начала говорить громко, а теперь, стоя перед ним на коленях, от волнения ослабел голос, и почти шепотом, но часто, прерывисто, боясь, что оттолкнет, встанет, ни слова не скажет ей и уйдет молча, и это казалось таким обидным, и чтоб не встал, не двинулся, сжимала сильнее руки вокруг его поясницы и всей грудью к его колену прижалась, отчего дыхание становилось чаще, прерывистей, не хватало воздуха. Волосы скатывались с головы на грудь, падали за рубашку и раздражающе щекотали, хотелось откинуть их и боялась пошевелиться. Стучало в висках. И когда

говорила, закрыв глаза,— красные круги мигали, чередуясь с черными...

— Боря, теперь, сегодня, сейчас... Боря... Боря...

И сразу оторвались от него руки, откачнувшись, запрокинулась голова — свалилась на пол и начала часто-часто всхлипывать. И только в сознании одна мысль резала,— только сейчас, сейчас, потом — поздно будет, надо сейчас.

Испуганно встал, растерянно взглянул на упавшую и угадал шепот:

— На кровать положить...

Еле поднял,— неумело, причиняя боль. Положил тихо.

— Воды сюда,— воды... холодной...

Показывала на грудь, раздвигая капот руками, хватала судорожно пальцами свою грудь, точно хотела ее разорвать и, цепляясь за кружево рубашки, рвала ее.

Чайное полотенце в кувшине смочил...

Взяла его руку с мокрым полотенцем, прижала ее к груди своей, и одновременно мелькнула мысль — теперь, все равно — что будет...

Обхватила другою рукой шею ему судорожно,— от неожиданности качнулся, упала голова к ней,— подумала, что не выдержал, тело вздрогнуло, и еще сильнее прижала его голову к себе и, оживая сама, может быть, от падения его головы, сдерживала рыдания, переходя к плачу тихому...

Не выдержал,— давившие горло спазмы наполнили слезами глаза, смочившими грудь ей. Не рыдал, а вздрагивал. Ознобом дрожало тело,— думала, что дрожит от желания и еще борется.

Сил не хватило,— поддерживала всю тяжесть его головы на своей груди. Шептала:

— Боря, теперь... теперь... всю возьми, всю... всю выпей... только проснись... оживи... Боря...

Коридор пуст был. Михаил прилип к замочной скважине, смотрел жадно, от похоти своей не разбирал слова, не слышал, а вздрагивал, что его собственная мысль рисовала при виде женщины и монаха, и только злобно думал, что святоша-послушник понес ее на постель и чего не видел, то дорисовывал. Весь был напряжен,— и смотрел, и слушал, не идет ли кто снизу.

Узнал смех княжны и мужской, незнакомый чей-то.

Отскочил, подбежал к умывальнику, схватил ведро с помоями выливать мимо гостей возвращающихся.

Княжна говорила весело:

— Вот видите, Валентин Викторович, а вы не хотели приехать к нам...

Мужской голос любезным стальным тенором отвечал, стараясь попасть в тон княжне:

— Князь хоть кого вытащит...

— Как же это вы решились все-таки?..

А Зина, стараясь раздражить Барманского:

— Валентин Викторович любит, чтоб его попросили...

— Даже ладаном пахнет... От вас, Зиночка, тоже веет святостью...

А как...

Когда подходили к 33-му, Барманский оборвал фразу и, вспомнив что-то, обратился к дамам:

— Чур, господа, я вперед к Вере Алексеевне...

Не стуча, раскрыл дверь и, еще не успев сразу никого отыскать глазами в номере, начал весело:

— Нежданный гость хуже татарина, Вера Алекс...

На полслове оборвал, но, не сконфузившись, с особым нахальством сказал, увидав Бориса и Костицыну и по-своему поняв все:

— Ах, пардон, мы не вовремя...

И к вошедшим княжне и Зине:

— Идемте, господа, здесь, должно быть, драма...

Услышав голос Барманского, резнувший сознание, инстинктивно оттолкнула голову Бориса, вскочила, запахнула капот и, не давая говорить ему, начала, обращаясь к княжне и Зине:

— Никакой драмы нет, Валентин Викторович, княжна знает...

— Вот как, так вы, Валерия Сергеевна, сообщница?.. А все-таки...

Борис тоже вскочил,— пригретое и разгоряченное лицо от близости тела и от собственных слез багровело пятнами. Вскочил и остался стоять неподвижно, не понимая, в чем дело, что случилось, что собственно было даже с ним, и не в состоянии еще сразу прийти в себя — продолжал рыдать и вздрагивать.

Зина взглядывала то на Костицыну, то на Бориса, и ничего не могла понять, а когда Барманский двинулся к Смолянинову, Вера Алексеевна подошла к княжне и стала ее просить шепотом:

— Уведите его, Барманского, к себе, это ужасно, бедный мальчик.

О себе не думала, хотя чувствовала, что теперь начнет преследовать ее Барманский еще больше и даже решится намекнуть, что неприятно было бы, если бы случайно узнал муж про все...

Барманский, щуря глаза сквозь пенсне, поддерживая черненькую эспаньолку, подошел к Борису и, цедя презрительно сквозь зубы, продолжал:

— А все-таки, святой инок...

И сразу брезгливо, резко:

— ...вон отсюда!..

Зиночка бросилась к Борису, не успела схватить руки Барманского и обхватила двумя руками голову Бориса,— удар пришелся ей по руке.

Вера Алексеевна закрыла лицо руками, услышала удар, вскрикнула:

— Боже, княжна...

Княжна резко взяла Барманского за руку и повела в свой номер.

— Валентин Викторович, как вы смеете...идите отсюда, сейчас же...

— Простите, княжна, но мой долг защитить честь женщины от...

Ничком на постели, вздрагивая от слез, Костицына повторяла одно и то же:

— Это я, я его на новую муку, я... его на муку...

Зина, не выпуская из своих рук головы Бориса, шептала:

— Что это, что, Боря, бедный Боря?..

И вдруг резко отшатнулся весь, отстранил ее руки, взметнул вверх куда-то глаза и с тем же сияющим взглядом пошел к двери.

Сказал сам себе, уходя, вполголоса:

— Господи, да будет мне твое испытание радостью, боже мой, боже...

Зина долго смотрела вслед Борису, никак еще не соображая, что было тут, почему и зачем ей говорила, чтоб она, Зина, спасла Бориса, стояла не шевелясь, онемелая, пока не пришла княжна звать Костицыну с Зиной на обед к игумену.

— Вера Алексеевна, милая, надо,— вы знаете, какой противный характер у Валентина Викторовича, поборите себя и пойдем,— я уверена, что все хорошо обойдется, а я епископа попрошу за Борю,— он милый, простит мальчику.

— Это я, княжна, я...

Решила идти со всеми, чтоб Бориса спасти от наказания, от епитимьи,— решила Гервасия за него просить, потому что знала, что от него зависит судьба Смолянинова, хотя бы теперь все благополучно сошло, но зато, когда не будет Иоасафа, может быть плохо ему и от игумена, и от монахов.

— Я пойду, Валерия Сергеевна,— конечно, неудобно не идти... И Зина пойдет с нами, все вместе.

Вера Алексеевна оделась наскоро и зашла с Зиной за княжной.

Барманский бросился к Костицыной и к Зине. Стал целовать обеим руки.

— Ради бога, простите,— это невольно у меня вырвалось, я не знал... ради бога...

Шутя, улыбаясь слегка, вырывая руку, сказала Костицына:

— Я прощаю вам, только...

Окончить не дал,— любезно:

— Все, что прикажете, дорогая Вера Алексеевна... Ваш безмолвный раб...

И, сходя по лестнице, тем же стальным, чуть презрительным голосом, шутил с дамами:

— Только я, господа, не одет,— мне кажется, нужно, как полагается, быть во фраке, но, к сожалению, не успею съездить до обеда в город, далеко немножко.

VIII

Стол был большой, торжественный,— из старинного шкафа посуда с ободками выцветшими. Суровые скатерти. Кожаные черные стулья ореховые на искривленных ножках и в конце — два кресла больших — епископу и князю, по бокам два малых — ключарю и Николке-Гервасию.

Со всех деревень ближних богомольцы в монастыре,— в паневах с позументами, с бахромой, в повойниках шитых, в кичках караваями с шерстяными махрами на ушах, с белыми повязками с рожками и с бисерными подзатыльниками; мужики в белых рубахах с ластанами, в валеных шапках, внапашку свитки...

Из дальних деревень старухи, бабы с котомками, странники, нищие, слепцы в колымажках...

С утра гомонили, толпились у святых ворот, у собора, облепив все порожки, все приступочки у келий, на траве прямо — горели пестрыми пятнами платья, бисера кичек, панев...

С повести в собор потащились и ждали епископа.

Ревел протодиакон, тянули, чуть не по крюкам, монахи-певчие, бегали, потряхивая кудрями, иподиаконы, от алтаря орлейщик выбегал с орлицею, степенно костыльник подавал в золотой парче костыль епископу, потели монахи, богомольцы, странники, с левого клироса торжественно наблюдал за порядком ключарь в епитрахили,

непрестанно поправляя академический значок — и бесконечно тянулось служение архиерейское, утомившее его ожиданием конца.

По правую руку от амвона Николка стоял, торжественный. Волновался,— не вышло бы опять чего, как и в приезд, когда крестный ход был. Слышал деревенский шепот:

— Господи, как в раю...

— Истинно, как в раю...

— Довелось побыть...

Вскрикивали кликуши, неистово закатываясь, голосили грудные ребята, одеревенела рука у епископа Иоасафа причащать младенцев, а служба еще без конца казалась,— молебен с акафистом Троеручице и великая панихида соборне в старом соборе на месте упокоения старца. Под крест подпускать оставили иеромонаха после молебна и торжественно в облачении полном пошли к собору. Народ побежал следом, не подходя под крест. Точно пламя разлилось и полыхало — платки, кички, паневы, пестрые юбки — и горящим пятном на белом фоне собора старого остановилось и замерло, ожидая, когда епископ с монахами войдет в подвальную церковку. Толпились в коридоре у картины адовых мук, лежа на животах, заглядывали сквозь железные решетки в подвальный храм... Нищие, калеки, хромые, слепые, болящие от дверей в два ряда уселись, причитывая нищенское, кряхтя, охая.

После панихиды народ кинулся в храм поклониться старцу Симеону пустыннику, одеть на голову от головной боли скуфейку старую, приложиться к веригам. Ждали чудес, исцелений.

Николка с вечера приказал одному старцу возле гробницы стол поставить и записывать показания недугующих, исцеляемых Симеоном, а в летопись велел занести о панихиде епископа Иоасафа в ознаменование чудес старца.

Лавочника посадили,— Аккиндина.

Любопытные подходили старухи, бабы,— расспрашивали:

— Батюшка, а когда ж помер-то старец этот?

— Давно, милая, давно, при императрице Екатерине первой, а теперь чудеса творит, немощных исцеляет.

— Хоть бы моему старику помог,— сухота его смучила.

— А ты привези, панихидку отслужи по старцу, вериги одень его на больное место,— исцелит старец, старец праведный...

Слушали Аккиндина, крестились, охали.

Одна досужая подошла:

— Мне, батюшка, Симеон старец послал облегчение,— шапочку его на голову одела, перестала голова болеть, и муж стал любить-голубить...

Заскрипело перо Аккиндиново, в глаза молодой бабе впился:

— Когда у тебя началась болезнь, милая?

— Да вот как мой на шахту ушел, с того времени... блюла я себя, томилась.

— И сильно болела голова? А? Рассказывай...

— И батюшка, так болела, аж спать не могла, ночь-то маешься, маешься, будто каленым железом ее душило, уж чего я не делала — к бабкам ходила, к знахарям, а потом пошла к Троеручице, а один монашек, дай бог ему здоровья, посоветовал, пойдя ты помолись старцу нашему, Симеону пустынною, водички испей на пустыньке, помочи голову, песочку возьми — клади на голову,— исцеляются, кто верует... Пошла я, умылась водицей, песочку на пустыньке нагребла в платочек, вернулась домой...

— Ну и что ж, исцелил тебя Симеон старец?..

— Исцелил, батюшка,— песочек я к голове прикладывала, тут-то еще мужик мой приехал с шахты, с того времени и полегчало мне, а все он, старец...

— Не болит теперь голова?..

— Нет, батюшка... Мне мужик мой и теперь говорит, ступай, говорит, помолись старцу...

— Правильно твой муж говорит. А ты еще панихиду отслужи по нем.

В толкотне записывал, пером скрипел, в чернильницу тыкал...

Среди баб, мужиков, купчиха протискивалась беременная к Аккиндину — послушать, что говорят, посмотреть, что записывает монах. Давили ее, толкали,— сзади купец басил:

— Тише вы, ай не видите, что беременная.

Расталкивал богомольцев...

— Держись за меня, Анись... Да тише вы... Поспеете...

Купчиха рассказ бабы выслушала и сама начала:

— Батюшка, запишите вы, и со мной чудо господне. Пообещала я молиться Симеону старцу и панихиду служить и на монастырь вклад сделать, если сотворит чудо старец, мальчика мне пошлет... Бездетная я была, и к докторам-то ездила, и у бабок лечилась, чего-чего не делала, в бугуне купалась,— ничего не помогло, пятнадцать лет не было. Пообещала я, пошла на пустыньку Симеонову, а навстречу мне старец-старенький, идет из лесу, борода до колен, длинная, а за ним птица, аист идет за ним...

— Это явление вам было пустынника...

— Явление, батюшка, предзнаменование великое, аист-то птица с ним была, аист детей приносит,— предзнаменование... И теперь я приехала... Девять скоро, так я благословиться — отслужить панихиду...

Записал сколько лет, какого звания, как зовут и заставил слушающих подтвердить подлинность рассказа — подписаться.

Сиял, что книга растет от записей. Расспрашивал, на мысль наводил и записывал, прочитывал вслух, вызывал, по желанию, свидетелей...

Слушали, отходили, расталкивали.

В открытые окна слышен был гул толпы...

Зазвонили на колокольне, народ бросился к трапезной. Долетело в окна:

— Идут, идут... собором... из трапезной.

Колыхнулся народ из подвальной церковки Симеона старца, купца оттеснил, сдавил купчиху и понес ее к выходу.

В дверях крикнула:

— Ба-атю-шки... А-ах...

Купец закричал, бросился расталкивать кулаками...

— Бе-ре-мен-ная... Ана-фе-мы... Задушили...

Вывели на воздух, посадили на могильную плиту...

— О-ей, ей-ей, ей... Батюшки... Да бо-ольна ж как...

Старуха подошла, растолкала глазающих баб.

— Ай не видите, что родит... Не видали, что ль?..

К купцу прямо:

— Вести ее надо в гостиницу, а то тут родит — ай не видишь, что тужится.

— Да не могу ж я... мо-очуш-ки нет как режет... Оооо-й...

Зубы стискивала, передергивалась лицом, хваталась за мужа, рвала на себе волосы, не хотела идти...

Старуха двух баб толкнула:

— Ну-ка, молодайки, берите ее под руки, ведите, а ты купец в гостиницу беги, вели скорей самовар ставить,— а то с тобой-то у ней и воды бы отошли, тогда б намучилась...

Шла медленно, останавливалась, при схватках на весь монастырь кричала по-звериному дико, хваталась за баб...

А по монастырю расползлся слух от слышавших рассказ купчихи и все говорили, что сотворил чудо старец, пожелал, чтоб не где-нибудь, а тут же, в его обители, родила купчиха.

Монахи после трапезы расползлись по монастырю и тоже богомольцам рассказывали про чудо, старались, чтоб все про него говорили, чтоб все знали.

— Великий старец, праведный... Явное чудо творит, знамения...

Целый день ждали в монастыре, что должно совершиться чудо, должен проявить себя Симеон старец, чтоб люди добились его прославления,— сам себя прославлять хочет, чтоб обрели мощи преподобного.

Аккиндин просил записывать, выбежал с книгой и к игумену прямо через парадный ход. Выбежал Николка испуганный, побледнел, думал, что опять случилось что-нибудь, как и в приезд епископа. Задыхаясь, спрашивал:

— Что, Аккиндин, что случилось еще?..

— Чудо сотворил Симеон старец, перед лицом всего народа...

— Ну, говори, говори скорее.

Слушал и радовался... Целый день мечтал, стоя в служении архиерейском у амвона, о том, как еще будет торжественное служение, когда открытие мощей будет, и не епископ, а митрополит будет служить с епископами и он будет стоять в митре, и не губернатор, а сам царь на открытие приедет с министрами и всему будет виной — он, Николай Предтечин, дьячковский сын, игумен Гервасий, и старца прославит и себя,— запишут его в трапезной, запишут, что при таком-то игумене жития праведного прославил себя Симеон старец, основоположитель пустыни. А когда шел за епископом в старый собор — представлял, как торжественно с рипидами, с дикириями и трикириями, со свечами возженными вся братия понесут в серебряную раку нетленные мощи старца и он понесет, Гервасий, вместе с царем, с митрополитом, с епископами, а кругом будет несметная толпа богомольцев. С утра сказал Аккиндину, чтоб все показания записывал богомольцев о чудесах старца, потому что в такой день должно великое совершиться чудо. И когда слушал Аккиндинов рассказ — ликовал в душе.

— Пусть сам придет — засвидетельствует перед епископом, купец этот...

— Запись есть — показателями...

— А ты повинуйся,— ступай в гостиницу, да чтоб роженице отвели получше номер, чтоб насекомые не беспокоили, да узнай смотри, кто родился,— мальчик родиться должен, да надоумь купца, чтоб Симеоном его назвали. Ступай скорей.

Во время чаю за ним Аккиндин пришел, ни для кого не было заметно, что отлучился он.

Иоасаф на духоту жаловался:

— У нас, ваше преосвященство, всегда богомольцев столько... Старцу идут поклониться, Троеручице отслужить молебен.

Князь тоже начал про старца расспрашивать у епископа:

— А почему, друг мой, до сих пор мощей нет?.. Мне бы тоже было приятно в моей губернии иметь мощи угодника какого-нибудь. В Сарове открыты, в Курской тоже, надо и нам позаботиться...

Николка вставил свое:

— Мы, ваше сиятельство, хлопотали, говорят — старец себя прославил мало еще...

Иоасаф старался замять разговор о мощах, ключарь понял и стал о чем-то Гервасия расспрашивать. А епископ наклонился к князю и вполголоса:

— Разве ты не знаешь, мой дорогой, что на это установлена очень строгая очередь в синоде, и надо особо хлопотать...

— Ты ведь можешь,— будь добр окажи для меня эту услугу, у тебя там сильные связи,— будь добр.

Ключарь с Николкою говорил и прислушивался к словам князя, поправляя академический значок. Не все расслышал, но понял, что губернатор просил о мощах Иоасафа и, улыбаясь в душе, отвел Николку к столу.

Ждали княжну с Костицыной и с приехавшим гостем,— чиновником особых поручений, Барманским.

Сели за стол и все еще не начинали закусывать...

Князь шутил:

— У вас, господа, всегда что-нибудь случится, без этого они жить не могут,— особое сословие, я бы для них и законы написал особые. Им все равно, хоть тут монастырь и смирение, и без того, чтобы не быть в туалете — не могут. Seriously,— все равно, что в оперу, что в монастырь.

Только жена ключаря с протодиаконицей пришли заранее,— иподиаконы не были позваны. Екатерина Николаевна все время старалась обратить на себя внимание князя и сердилась на протодиаконницу, когда та отвлекала ее разговором.

Князь из любезности отвечал нехотя.

Каждый этаж гостиницы жил своею жизнью и, кроме поклонов, ни в какие отношения не вступал. Духовенство гуляло по лесу своею семьей, а гости — по-своему веселились,— от скуки только разрешили себе гулять с монахами, дразнить послушников, а до интимного не допускали и послушники с певчими боялись перешагнуть границу. С

духовными дамами — проще было,— и флирт и любовь крутили, а большинство по старой привычке с простыми дачниками ходили на ягоды, с купчихами молодыми катались по озеру и не одни, с семинаристами.

Ключарша простить не могла верхнему этажу, говорила мужу:

— Вася, это безобразие,— даже не пригласить к себе, не пойти погулять вместе.

— Мы, Катя, духовные,— дворяне с нами не имеют общего никогда,— в престол примут, трояк вынесут и — разговор кончен.

— А как же учителя гимназии?!

Интеллигенция, матушка, другое дело,— как ты с этим примириться не можешь?..

И все-таки ключарша примириться не могла, всячески старалась овладеть вниманием княжны, Костицыной и других поклонниц епископа.

Барманский вошел и сразу о фраке начал:

— Простите, князь, что я не во фраке,— даже не дали одеть, вините дам...

Костицына села за стол между Гервасием и Барманским, хотела завладеть Николкою ради Бориса,— княжна напротив с ключарем и Зиною, а ключарше пришлось с иподиаконом сидеть на другом конце.

Барманский не мог забыть о том, как Костицыну с Зиной клопы заели в старой гостинице,— по дороге с платформы ему рассказала княжна,— и обратился к преосвященному.

Начал неожиданно как-то, зло.

— Вы представьте, владыко, молодая интересная дама, с прелестной девушкой,— не смотрите на меня так, Зиночка, я говорю то, что есть,— замучены в первый же день приезда в обитель... великомученицы святые...

Костицына поняла и вспыхнула:

— Валентин Викторович, оставьте глупости говорить!..

— Господа, могу ли я продолжать?..

Князь, предчувствуя что-то забавное, одобрил Барманского кивком головы.

— В монастыре не только пост и молитва, но еще и насекомые, сотнями, тысячами, каким-то дождем огненным с потолка на дам набрасываются, разве это не мучение, разве они не великомученицы?..

И после короткого взрыва смеха, остановленного Иоасафом, не могла удержаться одна ключарша, толкая ногой протодиаconiцу.

Не успел кончить Барманский — с радостным криком вбежал купец:

— Мальчика, мальчика родила, от Симеона старца,— чудо, великое чудо...

К епископу бросился, на колени перед ним упал.

Барманский даже из-за стола встал, подошел к князю, чтобы получше наблюдать за дальнейшим, и вполголоса говорил Рясному так, чтобы все слышали:

— Это действительно чудо, родить от старца, да еще от мертвого!

Епископ еще ничего не понимал, еле удерживал и улыбку и смех от пояснений Барманского и в то же время взглядывал на восторженного от радости купца и на Рясного, как бы прося заставить замолчать Барманского. Князь сразу же добродушно засмеялся громко, а Николка уставился на епископа, желая знать, какое впечатление на него произведет чудо Симеона старца, не слыша и не понимая слов Барманского.

— Великий старец, святой, пятнадцать лет не имели детей,— благословил старец, родила, родила мальчика...

И, наклонившись к Костицыной, Барманский шепнул ей:

— А что будет у вас, Вера Алексеевна, после сегодняшнего чуда, или вы в чудеса не верите?..

Костицына, пользуясь тем, что все купцом заняты, встала из-за стола резко и шепотом Барманскому бросила:

— Какой вы нахал, Валентин Викторович...

Купец продолжал умолять епископа хотя бы новорожденного благословить и выкрикивал сквозь радостные слезы:

— Мальчик, ваше преосвященство, на коленях поползу за вами, благословите роженицу и мальчика, младенца Симеона... во имя святого старца... удостоит его господь узреть мощи праведные...

Всем уже надоедать стал счастливый купец, и епископ сказал Гервасию:

— Отец игумен, отнесите новорожденному мое благословение...

Не вставая с колен, растрепанный купец подполз к Иоасафу под благословение, Николка поднялся из-за стола идти с купцом, но тот не унялся и подбежал к князю.

— Ваше сиятельство, господин градоначальник, во имя великого чуда преподобного Симеона старца, будьте крестным отцом новорожденному,— на всю жизнь осчастливите семью нашу.

Барманский без стеснения захохотал:

— Хе-хе-хе-хе...

И, чтоб прекратить всю эту сцену, Костицына сказала:

— Я буду крестной матерью.

Барманский опять не выдержал:

— Как чудеса действуют...

Вера Алексеевна не могла больше слышать Барманского и воспользовалась возможностью уйти с обеда:

— Я, как будущая крестная мать, тоже пойду к новорожденному с отцом Гервасием.

Купец вперед выбежал, махнул шапкою:

— Я вперед побегу...

Торжествующий Николка шел, довольный, со всех сторон слышал о чуде, а главное рад был, что епископу известно стало.

Взволнованная, раздраженная словами Барманского, Костицына молча шла с Николкою, думая о Борисе, о том, что Барманский обязательно и над ним издеваться будет и, желая спасти Бориса, сказала игумену:

— Отец Гервасий, мне нужно поговорить с вами, завтра же, вы можете,— в любое время и где хотите, но только, чтоб никто не видел...

Точно давно приготовленная фраза сорвалась у Николки:

— На мельнице я буду ждать завтра утром...

— Я приду.

— Я озеро вам покажу наше...

Навстречу купец выбежал, повел в номер.

Вера Алексеевна посмотрела на новорожденного, поцеловала даже его и пошла к себе.

Не переодеваясь, легла ничком на постель, обхватив руками голову, и пролежала так до прихода Зины, по временам вздрагивая плечами, точно она без слез плакала.

IX

Каждый день собирался Николка расспросить Смолянинова, отчего он бежал в монастырь от Фенички, и все некогда было,— заботы игуменские, к тому же и жизнь начал заново с Аришей, а тут и гости нагрянули городские с епископом. Только и вспомнил про него, когда в лесу при Иоасафе Костицына о Борисе расспрашивала, и только каждый день собирался к себе призвать.

Из гостиницы от купчихи вернулся — гости разошлись без него, епископ на прогулку ждал. И по той же дороге на большую полянку

через казенный лес пошли. Николка молчал больше, иногда только про чудо и про купчиху вспоминал и епископу говорил:

— Великое чудо содеял старец наш, великое...

Иоасаф только два раза ему ответил:

— Великое чудо...

Вернулись затемно, преосвященный ушел к себе, а Николка размышлять сел на диван кожаный в приемной,— на портреты епископов и игуменов довольный поглядывал, думал, что и его портрет скоро будет висеть между остальными и, может быть, на первом месте, если мощи при нем будут открыты, на сколько веков останется в назидание братии и игуменам. А главное — хотелось ему смотреть не из рук братии, а полным хозяином всему монастырю быть, на отчете только перед консисторией да синодом. Мечтал, как жалование получать будет и братии выдавать ежемесячно в монастыре штатном. О завтрашней встрече с Костицыной думал и Аришу вспомнил, захотелось на нее взглянуть, чтоб сравнить с городской женщиной. И по-прежнему потянуло к греху. Ни Фенички не боялся, ни Ариши, а когда про Костицыну думал — становилось страшно, оттого что не знал, как подойти, с чего начать и можно ли. На красоту свою надеялся и думал, что не выдержит она из-за любопытства. Подремывал, вспоминал феничку и опять мелькала мысль расспросить Бориса послушника.

И чуть слышно постучали в дверь.

Белобрысый вошел келейник, на цыпочках подошел, чтоб не разбудить епископа, наклонился к Николке и тревожным шепотом:

— Отец игумен, с гостиницы Михаил пришел, просит к вам допустить... Говорит, что неладное что-то случилось там...

— Опять неладное?.. Господи, да когда же настанет тишина мирная, хоть бы при гостях-то этого не было! Зови его...

По уставу три раза поклонился земно и начал:

— Отец игумен, беда у нас...

— Тише ты, говори шёпотом... Что там еще?..

— Да этот, Борис, студент-то наш... Уж и говорить-то не знаю как, срамно рассказывать...

— Все говори! Ну?..

— Зашел он это в тридцать третий с самоваром во время поздней, а я — за помоями пошел наверх, только вижу, назад не вертается, я это — дай погляжу, что он там делает.

— Ну?

— Одна там была барыня, эта... Костицына... А барышня-то с княжной ушла.

— Короче ты...

— Гляжу это я,— ходит она по номеру, уговаривает, говорит ему: «Да что вы, Боренька, вы монах, вам терпеть нужно, а вы о грехе молитесь»... Умолял ее сотворить с ним блуд. А потом — накинулся на нее, на кровать... Плачет она слышно мне, как говорит сквозь слезы: «Да что вы, что с вами, Боренька, вы монах», сама отбивается, а он как змей на нее — платье порвал на груди... она-то и сделать ничего не может, отбивается, плачет.

— Ты сам видел?..

— Сам, все сам видел, да только помешали ему,— с платформы пришли и прямо в номер, я отбежал это к умывальнику, лохань понес и опять вернулся, слышал, как барин его новый по щекам, по щекам, а потом выгнали из номера.

— Сейчас же сюда его, слышишь, сам приведи, сейчас же.

Вспомнил Николка приезд Смолянинова, когда он его не Гервасием назвал, а Николаем, подумал, что если б не Васька, может быть, и забыл бы про все, а блаженный испортил все, а в то же время боялся, что про Гракину все знает, знает, что и в монастырь был с треногами приведен и как из дома его инженер выгнал. Зло кусал губы, из угла в угол ходил ожидая. Хотелось унижить его, наказать, в подвал заточить на покаяние и в то же время боялся, что передаст Костицыной и расскажет все и не только мощей не видать и не открыть ему, Предтечину, а еще самого ушлют куда-нибудь. Одно только думал, что уедут из монастыря гости, тогда возьмет свое, выместит на нем прошлое. Свое послушание вспоминал у Ипатия и думал,— пускай подышит чуточку, а его не то, что к такому, как Ипат был, а еще похуже найду, пускай знает, как в чужую жизнь залезать, а то совсем осмелел, нашел заступников и сказать ничего нельзя — донесет щенка.

Мучился, ожидая Бориса, не знал, с чего начать, и думал, что и про Феничку расспросить надо, чтобы завтра Костицыной про него рассказать, а после этого случая обязательно захочет она узнать про студента. Боялся только, а вдруг он сам рассказал ей про себя и про него,— игумена,— и не знал, как быть завтра, правду говорить или придумать что-нибудь про себя и про Бориса, чтоб запутать барыню. Хотелось сегодня же Бориса в монастыре оставить на епитимью и боялся — спросит Костицына, захочет его повидать, простить за сегодняшнее, а он и расскажет все, а она-то к епископу и к губернатору близка, все, что захочет, сделает. Боролось в душе

желание наказать, отомстить за себя, и вспоминал про мощи, про житье спокойное с Аришею на хуторе — мысль мутилась, и еще сильнее хотелось дожидаться завтрашней встречи с Костицыной. Думал, что, может Михаил и от себя прибавил из ревности, что студент наверху в номерах несет послушание, а не он. И все время, пока мысли метались у Николки, где-то в глубине было чувство, что хоть сейчас и ничего не сделает студенту, но зато помучает.

Разыскал огарочек, чиркнул спичкою, пошел лампад зажечь перед поставцем, чтоб видеть друг друга. Услыхал стук в дверь — на диван вернулся.

Молча упал на колени Борис перед Гервасием.

— Беснуешься?..

Наклонил ниже голову, руками лицо закрыл...

— Молчишь теперь?..

Судорожно плечами вздрогнул...

Слышно было, как старинные часы тикали отчетливо.

И сразу — не выдержал,— шёпотом, наклонившись к Борису, говорить начал, задыхаясь и захлебываясь от злости и нетерпения знать все.

— Образ ангельской кротости опаскудил, щенки этакий...

Почему-то вспомнились слова Саввы старенького, когда тот над Николаем трясся, вычитывая ему непотребство смрадное, и сам начал говорить как Савва:

— В обители Симеона старца нашел женщину; принуждать силою к сожитию блудному, одежды на ней рвать посмел?.. Да ты знаешь, что за это на всю жизнь заточу в келью на молитву, на пост вечный. Ты думаешь — выгоню из обители, чтоб через тебя по всей земле мерзость перешла на род человеческий?.. Тут будешь, в подвал, в подвал под трапезную. Говори — воззрел оком прелюбодея на жену прекрасную?

— Они меня мучили, они... женщины...

— Так выходит они тебя мучили, а не ты насильничал среди бела дня?.. Земля все вытерпит, а как ты на страшном суде господнем отвечать будешь, подумал об этом, когда преступление творил?.. Ну?.. Говори, кайся...

— Господь меня наказал, за все, за прошлое...

Колебался синеватый свет от лампы крестом широким на полу, одним концом захватывая Борису голову.

И все еще вздрагивая и даже как-то заикаясь, но решительней, шепотом, говорил медленно:

— Чудо я хотел сотворить, воскресить любовью своею на смерть обреченную.

Николка слушал, впитываясь глазами жадно, чувствуя, что говорить начал что-то особенное Борис о себе и, вставляя слова, вопросы, доводил до бреда мучительного, до истерики.

— Кого воскресить, Феничку?..

— Девушку, чистейшую... и Феничкой меня покарал господь...

— Где ты видел ее? Жил с нею?..

— С нею, в одном доме... Опьяненный вином ее.

Договорить не дал Николка, перебил и начал быстро:

— Был с нею ты, с Гракиной, теперь и жить начала с каждым, по рукам пошла? И от ней сюда, осквернять обитель?.. Паскудник...

И тоже, задыхаясь, вздрагивая:

— Бежал от нее, ночью, в обитель прямо... и здесь она преследует меня за грех первый, это она, она мучает и сегодня мучила...

— Где она, где, приехала?

Точно бред — у обоих: у Гервасия от отчаяния злобного, что нельзя, как игумену, расспросить до мелочи, а у Бориса от пережитого сегодня и еще острее вставшего прошлого,— не мог осознать — где прошлое и настоящее, казалось, что все настоящее...

— В номере, в мир звала, плакала...

— Приехала, за тобой приехала?.. Одной тебе мало... Теперь другая...

— Обморок... вода, полотенце на груди мокрое...

— И ее, Феничку, и ее тоже?..

— Душила, плакала...

— Феничку тоже душил?..

— Она, она...

Не ног уже говорить и только всхлипывал, и Гервасий задышался, покачиваясь над послушником. Говорил обрывисто... Молчали. Опять начинали снова. Николка думал, что все подробно расспросит и будет мучить его за свое прошлое, но когда начали вдвоем говорить — доходили до исступления,— Николка — злобного, Борис — до безумного.

Когда молчали — слышно было, как сердце отчетливо у обоих бьется, как часы тикают мучительно и монотонно.

И когда к полунощнице ударил колокол — очнулись сразу.

— Кайся ступай... Позову... Когда уедут — отмолишь грех, ступай, буди молельщиков.

Николка всю ночь не спал,— про Феничку вспоминал и про Костицыну думал, казалось, что она и не Вера Алексеевна вовсе, а Гракина, только не девушка теперь, а женщина, а глубоко — мучила мысль об Арише,— опять из монастыря хотелось на волю и мешали две мысли: Ариша теперь не одна, ребенка кормит его и другое — жуткое чувство о мощах, хотелось старца прославить, основателя пустыни, назло всем монахам, иной раз еще по зависти злословящим на Николку, когда старинку его вспоминали по келиям. Открыто говорить про игумена боялись, а иной раз сойдутся, начнут кости перемывать братские и его вспомнят: и про трепачей, и про баб полпенских, и про Ипата певчего.

Целую ночь мучился, ждал встречи с барынею городской, красивою, казалось ему, что и любить она умеет по-особому и сама-то не такая, как все,— как Феничка и Ариша. Прекрасною ее назвал в уме.

Чуть солнце выглянуло — оделся, волосы зачесал широким гребнем и опять, как в молодые годы, достал пузырек розового и на гребень капнул.

Приносили в монастырь это масло в подарок инокам странники из далеких земель восточных и сами, и от иноков палестинских, от святой Софии из Константинополя и с Афона греческого. Напишет монах знакомому иноку на Афон или в Палестину и не знает, как написать адрес по-иностранным. Встретит знакомого странника в соборе и отдаст ему передать лично. Из монастыря в монастырь по всей земле православной ходили такие странники,— без роду, без племени, без угла к старости — обреченные кормиться: Христовым именем, рассказами по купцам, по мещанам, по крестьянам на путях странствия, по монастырям у братии. Носили письма братии, купцам кресты кипарисовые про смерть, масличное дерево из Гефсиманского сада, лозу из Назарета Галилейского, в пузырьках маленьких розовое масло. У порогов святой Софии турки, болгары (из долины роз), греки розовое масло продавали богомольцам, странникам.

Еще в молодости его доставал Николка, послушником, когда двугривенники раздавал купчихины в долг братии, в благодарность выпрашивал масло розовое.

Туман по лугам плавал, высокие травы стояли мокрые, а в лесу холодом сырость охватывала, когда пошел на мельницу. В лес вошел — сонный лес, тихий и туман как дремота, как сны, неразвевшиеся над землей плавали... На мельницу не пошел, свернул на дорогу и зябко поежился, не знал, что делать, куда идти, и потянуло под

крышу к теплу, когда услышал пастуший рожок недалеко, с хутора. Разбудил рожок лесное эхо, прокатилось по соснам и загорелись стволы жарко — всходило солнце.

Обрадовалась, сколько недель не видела его Ариша:

— Коленька, так ведь ты еще не видал его... Пойди, посмотри какой,— на тебя похож и зовут так же.

В люльку смотрел смущенно.

Плечами пожал, мотнул головой и отодвинулся.

— Подержи его минуточку.

Закричал, заплакал,— Николка вздрогнул и по сторонам оглянулся пугливо, даже показалось, что кто-то в окно смотрит.

— Да что же ты, Коленька,— испугался даже... Тут никого... Одна я...

Села кормить на постель, услышал, как губами чмокает, как засасывает, захлебываясь, когда оторвется, выпустит и снова охватит тупой сосок брызжущий.

Не двинулся Николай, невидящим взглядом в пол смотрел.

Взглянул на прозрачную грудь розовую в синих жилках и кровь бросилась в голову, пятна перед глазами поплыли мутные и, сдерживая слюну брызнувшую, сказал глухо:

— Ариша...

Вздрогнула испуганно, почувствовав в его голосе голод плотский, сосок вырвала и, держа одною рукою ребенка, другою торопливо застегивала платье. Сквозь детские слезы умоляюще говорила робко, испуганно:

— Что ты, Коленька, что ты... Ты потом приходи, потом... Не надо сейчас, нельзя.

Вскинул голову, тряхнул кудрями, повернулся резко и пошел к двери, на ходу бурча.

Сквозь слезы, сдерживаясь, стала ему на дороге и шёпотом:

— Коленька, да что ж ты, сколько времени не был и неласковый, а я-то ждала тебя, думала, что обрадую — сына ведь родила тебе, а ты не поцеловал даже ни меня, ни его... точно чужие мы...

Рукой отстранил с силою:

— Пусти, некогда...

Сходил по порожкам,— не обернулся ни разу,— вслед слышал крик стонущий:

— Коленька, вернись,— иди... Вернись, вернись.

По лесу зашагал углубленный, досадовал, что за сколько время пришел к ней и не поцеловала сама, а когда хотел — чуть не выгнала.

Вместо сладковатого молока на детские губы падали слезы Аришины,— ловил соленые, чмокал, а потом еще сильнее заливался плачем.

И обида и страх потерять навсегда Николку еще сильнее сжимали слезами горло. Звала его с отчаянием и с болью, готова была на все, лишь бы не потерять, не остаться одной. Теперь еще страшней стало... Тогда в монастыре была, не одна, с подругою, а здесь лес темный, в зимние ночи вой волчий. Тогда не знала, что задушили ее новорожденного, доверилась и поверила, что родился мертвый,— через год только узнала, что живой был, а теперь, когда вспомнила прошлое, знала, что у самой сил не хватит прикончить с ним, с невинным и еще страшней стало, когда представила, что не одна пойдет по дорогам из села в село, а с младенцем, и не послушание нести, а побираться Христовым именем. Досадовала, что не согласилась сразу, когда поняла по голосу, чего от нее хотел Николка. Еще сильнее плакала, когда вспоминала, как звала вернуться. Прижала к груди маленького и почувствовала, как цапает, ищет сосок и плачет. Отстегнула ему и когда зачмокал сладко — успокаиваться начала.

К мельнице подходил — робеть начал, точно как в первый раз, когда с Феничкой встретился. Зашел к мельнику, выпил квасу, расспросил по хозяйству, кусок черного хлеба посоленного взял и пошел к озеру. Сел на край лодки и, поглядывая на тропинку, жевал медленно.

Лес был в глуби лиловатый, темный — не заметил, как подошла к берегу в светло-лиловом платье.

Взглянул, отшатнулся даже.

— Долго ждали меня, отец Гервасий?..

— Я по хозяйству тут был...

Сам за веслами сходил, оттолкнул пошатывающуюся лодку, вскочил на ходу и старался поскорее от берега уйти на широкую гладь озера. Казалось, что кто-то из лесу на него смотрит. На лбу из-под скуфейки выступал пот каплями... И опять, как и Феничке, ловил веслами лилии на длинных зеленых стеблях, собирал в букет и клал у ног Костицыной и жадно взглядывал на ее чулки прозрачные.

Гукала выпь, из осоки поднимались утки, крякая, на высоком пне, среди озера, рядом с небольшой елочкой важно стояла цапля, и обнос лодки равнодушно вода хлюпала.

Говорить не решался, все время рвал лилии.

Костицына расспрашивала, как и все, отчего в монастырь ушел, давно ли и не тянет ли в мир обратно.

Односложно отвечал, но потом говорить начал. И, когда взглядывал на нее, мелькала мысль о Борисе, Михайлову рассказу верилось.

И опять увел лодку в лесную речку, и около той же сосны поваленной причалил, и, как когда-то Феничку, повел по стволу обомшавевшему за руку,— руку сжимал крепко, настойчиво.

На мох сели... Тяжело дышал, все тело тянулось к женщине... Чувствовала, понимала взгляды и хотелось подразнить игумена...

— Какой вы красивый, отец Гервасий... влюбиться можно...

— Правда?

— А я нравлюсь вам?..

— Очень...

— Только вот вашего Бориса не могу влюбить в себя... Отпустите его из монастыря,— отпустите.

Сорвалось от досады и ревности глухо:

— Выгоню его... Епитимью наложу...

— За что?.. За что бедного мальчика мучить?..

— Я все знаю, все!.. Задушить вас хотел...

— Неправда. Кто вам сказал? Кто видел?..

— Послушник.

— Подглядывал?.. Да? Подглядывал?.. Как это гадко, господи, и вы можете верить, доносам верить,— неправда, неправда... Это я, я его спасти, соблазнить хотела... Только посмейте выгнать! Я не побоюсь покаяться ради него епископу...

Вспоминая, что от нее зависит много, быть может, даже через нее придется просить о мощах, замолчал угрюмо.

— Ну, дайте мне слово, что не тронете этого мальчика...

— Простите, Вера Алексеевна,— не выдержал,— я не трону его, ради вас,— даю слово.

— Вот видите, я знала, что вы добрый... Но зачем же его ревновать ко мне? Сознайтесь, что ревнуете... К женщине ревновать нельзя, женщине все можно, а вы и не знаете этого?..

Придвинулся к ней и стал говорить о себе, о том, как в монастыре мучается от соблазна, поймал руки ее и стал к себе тянуть. Вырвала их со смехом...

— Зачем вы волнуетесь так... Подождите, я их сама положу к вам.

Положила на плечи и, приблизив к нему лицо, спросила:

— Вы обещали мне рассказать о Борисе, помните... Ну, я жду?

Вздрыгнул опять, метнул глазами зло.

— Расскажите сперва... Только правду... Ну, а потом... Не моргая, в глаза ему заглянула так, что у него кровь к голове бросилась...

— Невеста была... Умерла... Потом убежал от женщины. Говорил тяжело, дышал полуоткрытым ртом, еле выговаривал и весь тянулся к ней и не выдержал — схватил за плечи, стал наваливаться.

Билась под ним, кусала руки и вскрикивала:

— Что вы... Не смейте... Слышите. Я пошутила... Слышите...

Молча хотел осилить.

В кустах зашумело, затрещали ветки и закричал кто-то:

— Николушка, ты и Феничку тут-то?

Озверевший вскочил и, дико смотря в лес, кричал, хрипя и надрываясь:

— Васька... Васька... Васька...

Захрустели сухие ветки от убегающих шагов и еще раз послышалось:

— Феничку изгони веничком, веничком, веничком...

И тоже испуганно:

— Кто это, кто?..

— Юродивый... Васька... Васенька...

— Как же он,— видел?..

— Везде шатается. Запру...

Упавшим голосом умолял простить, не говорить никому, пожалеть его жизнь. Говорил, что для инока соблазн женщина и устоять против нее не хватает сил, потому что дьявол сильнее плоти.

Рассмеялась, вспомнила о Борисе и защищать его начала:

— Теперь вы верите, что я виновата, а не Борис? Мне и вас соблазнить хотелось.

— Верю, Вера Алексеевна, верю...

— А юродивый спас и меня от вас, и вас от греха падения... Видите, как все хорошо кончилось, а теперь едемте...

Всю дорогу говорил ей о том, что мечтал всю жизнь настоятелем сделаться в Бело-Бережской пустыни и прославить Симеона старца — открыть мощи его, и только дьявол ему не дает, поэтому и старец, хоть и творит чудеса явные, но из-за его грехов ее удостаивает себя прославлением. И потом перешел к тому, что в лице ее послал старец и искушение и сотворил через нее чудо над его немощью.

— Замолю грех свой, замолю...

И, выходя из лесу, стал просить, чтоб она сама или через княжну повлиала на епископа, попросила его помочь обители обретением мощей старца.

— Ведь он может, все может...

— А Бориса не тронете?..

— Клянусь господом.

На лугу встретили Барманского с Зиною. В панаме, в синеватом пиджаке, в белых фланелевых брюках, с тросточкой, худой, тощий, щурящийся сквозь пенсне, тем же стальным и насмешливым голосом сказал Костицыной:

— А мы вас искать идем с Зиночкой...

Подошел к Гервасию.

— Благословите, отец игумен.

Конфузясь, благословил наспех.

Барманский попросил Николку и ему с Зиной показать озеро. Выручила Гервасия Костицына:

— Отцу Гервасию некогда, он нам даст ключ от лодки.

Отдал ключ и побежал через луг прямо в скит к старцу Акакию, умолять затворить Васеньку, чтобы не пугал гостей, особенно дам своими криками в лесу, и рассказал даже случай о том, как блаженный с поднятыми руками бежал по лесу навстречу одной даме и выкрикивал непристойное об искушении дьявола.

Старец сказал только:

— Устами блаженных господь глаголет...

И пообещал Гервасию:

— Я послежу за ним... Вразумлю блаженного... У него душа — воск ярый...

Х

После приезда Барманского закружилась жизнь монастырская. Каждый день прогулка, обед у княжны, у игумена чай вечерний с закуской. Повара друг перед другом старались. Монахи только покряхтывали — летели сотенные из монастырской казны. Закружился Николка — угодить старался и утешал братию, что расходы теперь не страшны — мощи будут, в один год покроются. Духовенство соборное тоже праздновало и просило денег, — иподиаконы приходили с просьбами, — Николка никому не отказывал. А когда не стало хватать, пошел к ключарю советоваться.

Иоасаф тоже жаловался, что пустынь хоть и принимает гостей ласково и радушно, а про архиерейский дом забывает, на нужды

епископу отпускает мало, зимою никаких доходов, а самая богатая обитель в губернии скупится.

Ключарю говорил Иоасаф:

— Вы сами знаете, отец протоиерей, так нельзя же.

Сквозь золотые очки отвечал с достоинством и только у самых глаз морщинка сдергивалась хитростью:

— Старца хотят прославить, чудеса творятся, богомольцев полно...

И вечером, когда Николка пришел к ключарю, беседовали...

— У нас, отец ключарь, сейчас мало денег, не хватает, вы сами знаете, сколько прием стоит.

— Я про зиму говорю, отец игумен, вы зимою епископа нашего не поддерживаєте... У вас старец чудеса творит — стечение народа...

— У меня одна только мечта — открытие мощей преподобного... братия волнуется, ропщет, говорит, что старец чудеса творит, а прославление не разрешают, собираются собором просить епископа... Он ведь может...

Провожать пошел ключарь Николку...

— Вечер сегодня чудесный, пройдемтесь, отец Гервасий, побеседуем...

Все время говорили о чудесах, о богомольцах, о желании епископа и каждый не решался говорить о деньгах. Под конец Николка не выдержал. Хотелось ему, чтоб теперь же мощи открыть Симеона. А где-то скребло предтечинское,— двугривеннички не давали покою. От каждого расхода оставлял себе,— копил для будущего. А после встречи в лесу с Костицыной боялся показываться вместе с епископом, отговаривался заботами хозяйственными и на прогулку не ходил. Не мог позабыть Ваську подсмотревшего, боялся, что не только братия узнает, но и епископу станет известно. Только об Арише думал,— после попытки с Костицыной понял, что все только играют с ним, забавляются и только она одна любит по-настоящему. И еще усиленней копил для нее и для новорожденного не двугривеннички, а сотенные, от всего урывал и показывал казначею больше, чем следовало. Тот ворчал:

— Отец игумен, немыслимо... сколько денег-то тратится, братия ропщет...

— А мощи ты забыл, отец,— мощи нужны нам, а не принять гостей — кто похлопочет за пустынь, ты подумай!

— Оно так, а все-таки...

— Преосвященный все может, говорят, что сам император ему племянник,— понимаешь, в чем дело... А ты только молчи, чтоб не

знала братия, не прогневать бы этим преосвященного,— а он все может,— пока он в епархии и надо пользоваться, у него рука там...

Казначей тоже по секрету сказал одному старцу роптавшему, а тот — другому и понеслось по келиям про Иоасафа.

Шепотом говорили друг другу:

— Он все может...

— И мощи...

— Просить надо...

— Соборно...

— У него... там... свои...

— Только скажет.

— Дядя...

С благоговением и чаянием на него смотрели, при встрече падали в ноги благословение принять и, когда встречали едущего на прогулку в линейке с князем, с княжной, с Костицыной, Зиночкой и Барманским — шептали вслед восторженно:

— Как преподобный Тихон...

— С мирянами...

— И князь с ним...

— Святитель...

С утра до вечера панихиды служились над могилой старца в старом соборе, гнусавили монахи — вечную память; лавочник Аккиндин чудеса записывал, мотая бородой козлиною, и радовался каждому слову, о старце сказанному. Воздух монастырский чудесами насыщен был... Каждый день новое...

— Опять чудо...

— Калеку исцелил, праведный...

— Теперь скоро...

— Прославит себя...

— Сопричтется к лику преподобных...

Не успевали на заре с речки приносить песок на пустыньку — до корней подрывали бабье, вместо коры от зубной боли доски грызли, которыми старые сосны были обложены. Подле колодца послушника посадили с кружкою на украшение обители собирать медные.

Николка каждый слух о чуде ловил и за трапезой передавал епископу, тот сердился, стали надоедать ему рассказы о чудесах и ничего не мог сделать — выслушивал, а иногда нетерпеливо замечал игумену:

— Я слышал уже... Да... чудо...

Но просить самого Иоасафа о мощах не решался Николка, хотел через Костицыну, через княжну, через ключаря все устроить.

Обрадовался вечерней прогулке с протоиереем и переступил границы:

— Отец Василий, не знаю, как быть, не хватает денег... Посоветоваться я хотел с вами, лесу у нас строевого пять тысяч десятин, столетний лес, сосны мачтовые, нельзя ли как частицу продать кому, тогда бы обитель и епископа не оставила, поддержала бы...

Переступили границу запретную, и каждый понял, к чему клонится. Николка и ключаря обещал благодарить за содействие и духовенство, и сиротам семинарским обещал, а сам думал, что не только другим достанется, но и для него хватит на будущее.

— Ведь если мощи открывать — деньги обители нужны... прием императора, рака серебряная, лампы, и не угадаешь всего, — лишь бы мощи...

— Я буду настаивать у епископа...

— Братии радость великая...

Утром ключарь пришел по делам к Иоасафу и, улыбаясь ласково, полуправами рассказал ему, что поддержка архиерейскому дому могла бы быть, если бы монастырь мог продать часть лесу, а ввиду предстоящего открытия мощей все равно нужны будут деньги.

Неуверенно говорил о предстоящем открытии мощей старца, желая сначала понять, уловить по тону, как к этому отнесется Иоасаф.

Не кончили разговора — келейник епископский постучал в дверь.

— Братия, ваше преосвященство, просит вас пожаловать в трапезную, собрались они, ждут...

Вместе с ключарем пошли.

Едва вошел — запели...

— «Испола эти деспота»...

На коленях молили и старцы о прославлении мощей.

Иоасаф молча слушал.

Только Акакия не было, не пошел к епископу, сказал только:

— Суeta суeta... само совершится...

Васеньку караулить остался, чтоб тот по неразумию своему не сказал лишнего.

Слезы у старцев выступили... Один осмелился:

— Владыка, ты можешь...

— Все можешь...

И как эхо волной прокатилось по трапезной:

— Ты можешь...

Решился Иоасаф, благословил братию, обернулся к спасителю, на колени стал и начал молиться, чтоб благословил господь его и вразумил просить о мощах где нужно.

Облегченно вздохнули старцы, зашептали радостно:

— Будут...

— Теперь будут...

— Сам поедет просить...

— Он может, все может...

Вечером Николку призвал с ключарем советоваться и просто сказал, как обыденное:

— Только на это средства нужны, отец игумен, может быть где и благодарить придется, а потом, сами знаете, и обители приготовиться надо заранее...

— Деньги найдутся, лишь бы прославить старца, скорей бы...

На другой день Николка собрал старцев — благословили те лес продать, а через ключаря и князя и разрешение без затруднений получили, князю тоже было приятно, что в его губернии мощи открыты будут.

И застучали топоры полпенских мужиков поденщиков в лесу темном, а Николка отсчитывал пятисотенные по конвертам, кому сколько. Иоасафу отсчитал на хлопоты и себя не забыл. Когда в кованный сундук укладывал, думал, что теперь на всю жизнь Арише хватит прожить с сыном. Радостные все по монастырю ходили, по лесу, и гости и иноки, у каждого была своя радость, а у Николки больше всех. Не выдержал даже — побежал на хутор затемно и в подарок понес три тысячи.

До утра пробыл и умиротворенный поцеловал и Аришу и маленького.

Успокоилась, снова поверила в жизнь свою и в любви не отказала грешной.

Осмелел Николка, не боялся ни с кем встречаться, знал, что теперь никто ничего ему не сделает, потому — лес рубят, а про Бориса подумал только:

— Плевать на него, пусть, что хочет, делает, из-за него через баб еще неприятности наживешь... Время придет — приберу к рукам... Лишь бы мощи...

Только старец Акакий печальным ходил, а вечером иной раз говорил блаженному:

— Ох, искушает он господа... Все суета сует... Обуяла его гордыня...

— Говорил я ему — не слушается...

— Что говорил?..

— Феничку изгони веничком, веничком... Веничком ее из гостиницы, с хутора, из дачек,— отовсюду ее веничком, веничком, везде она у него, эта Феничка...

XI

Тишина в скиту старческом,— посреди церковь старая в два этажа без звонницы, ни колокол не зазвонит, ни било не загремит к полунощнице,— в стороне скит в лесу старом. Схимников монастырь не держал и каждому вход вольный: и женщине и мужчине,— после ранней калитка открыта сбоку, ворота круглый год на запоре, кроме пасхальных дней. А лес кругом темный, запущенный, не продерешься в нем,— зимою следы волчьи вокруг скита, а по ночам заунывный вой голодный. Зимою только служба в церкви скитской, а летом старцы в обитель ходят. От келии к келии мостки сосновые, а зимою тропинки прочищены — коридоры белые, а кругом сосны темные в шапках собольих стоят сумрачно. В Бело-Бережской пустыни и летом песок, как снег, и зимой снег рыхлый. Зарозовеет поутру серебро снежное и потянутся черными пятнами старцы мантийные в церковь к службе и опять пустынно... Точно воронье на снегу перед метелью — посидит на поляне, покружится и взмахнет снова к лесу стай.

С трапезы приносили обед послушники старцам и зимой и летом. Келии весь год в кружеве,— около каждой палисадник засажен кустарником, подле окон яблони — весною прозрачное кружево яблонь белых, летом — все в разной зелени, осенью — золото кружевное, а зимой — иней узор вышьет. И круглый год прохлада в кельях. Каждая келья с крылечком, на крыльце скамьи и зеленый навес из хмеля, из винограда дикого, заплетенного по решетке палисадника доверху — сводчатый путь старцу.

Летом с утра богомольцы в скиту толкуются. А переселили Акакия с пустыньки — подле келии на траве дожидаются, пока благословить не выйдет, не облегчит душу странствующую. На пустыньке с народом сидел Акакий, беседовал, а в скиту не выходил почти. Выйдет задумчивый в скуфейке черной, благословит, посмотрит, вздохнет и уйдет обратно. Бабы к нему, старухи с вопросами о судьбе житейской, а он:

— Мир во зле ходит, искушает нас господь испытаниями, а мы, маловерные, усумнились, от малодушия нашего и напасти на нас нисходят.

Только начнет, Васенька выскочит следом и завопит неистово:

— Дьявола изгоните смердящего, веничком его, веничком, везде обретает себе жилище... Содом и Гоморр устроит в людях...

Замахает на него руками старец:

— Что ты, Васенька, что ты, иди, милый, иди...

Из-за Васеньки и старец с богомольцами не беседовал, боялся, что скажет блаженный лишнее. Первые дни не отходил от него, из келии не выпускал, а потом привык — умел его успокоить, обласкать словом тихим. Старец сядет на крыльцо вечером, когда скит закроют и Васенька у ног его на полу,— длинные руки как плети у него повиснут на коленях с крючковатыми пальцами скрюченными, голова в плечи уйдет сутулые, одни вихры треплются — сидит, раскачивается, блуждают глаза дико. Бурчит старцу об искушении дьявольском.

— В каждой бес блудный так и ерзает, так и ерзает и хвостиком, старче, помахивает, выглянет из-под ней, из-под юбки, вильнет хвостом, ухмыльнется, подмигнет глазком — вот он, мол, я, опять, старче, выглянет, до тех пор и хвостом виляет и ухмыляется, пока не поймашь его,— визжит смрадник,— тут-то его веничком, старче, веничком...

Молчит старец, слушает, пока не замолчит Васенька, а потом, точно про себя, вполголоса:

— Мучается человек, Васенька, от мучений и грешит он, и не бес, а душа мечется, запутается она и нет ей выхода и в омут бросается от самой себя, чтоб себя не чувствовать, и не грех, а мучается человек, а греха нет, Васенька, на земле — по образу и по подобию своему сотворил господь человека, а в подобии божьем нет греха, не может быть, а ты говоришь — бес в нем, да разве начало бесовское во вседержителе может быть,— кощунствуешь, Васенька, ты против прообраза всемогущего. Ты загляни в душу каждому, прикоснись к ней ласково — сад зацветет лазоревый, осиянный радостью,— а ты говоришь — бес смердящий...

Насупится блаженный, опустит голову — слушает и не может понять: — почему в человеке видит старец свет горний. Замолчит старец — забурчит Васенька:

— Старче, ты мудрый, скажи мне грешному, почему же господа нашего искушал дьявол земными царствами,— сам дьявол, старче...

— Не уразумел ты, милый, слов человеческих,— на земле спаситель носил естество человеческое, и если в человеке единая капля от духа всевышнего от мучений мечется, так какую же она должна была быть в спасителе, мучиться,— а ты мыслишь смертное... отступаешься от истины...

И каждый вечер кончал одним и тем же Васенька:

— А я думал, старче, меня бес мучает полуденный в образе жены грешницы.

— Не вместил ты себе, милый, отречения от земной жизни и мучаешься, болящий ты, немощный — не смирил от юности своя плоть бrenную, против естества восстал, яко Онан праотец, на мучения обрек себя,— могий вместите да вместит, а ты не вместил отречения от жития бrenного...

Засмеется блаженный под конец дребезжащим голосом:

— И Николушка не вместил, говорил ему — Феничку изгони веничком, веничком..

По утрам Васенька снова стал проситься у старца побродить в лесу. Отпускал Акакий его.

— Один только ходи, от мирян удаляйся, чтоб не мучалась душа твоя, милый.

Уйдет за скит блаженный и бродит по лесу.

Без Васеньки и старцу легче, и к народу выйдет.

Любил говорить Акакий с простыми попросту, а городских — чуждался, отмалчивался, на все отвечал одно:

— Ничего не могу сказать вам, милый мой господин, не ученый я и слова мои неученые... не искушайте истины.

И Барманскому то же сказал Акакий.

С первого же дня приезда во все закоулки монастырские заглянул Валентин Викторович. К каждому монаху подходил под благословение, приводил в смущение этим и каждому говорил любезно:

— Простите, батюшка, но я хотел благословение от вас принять смиренно...

Старался говорить по-церковному, нараспев и из стального тона переходил в скрипучий, режущий; улыбался углами рта, кривил тонкие губы ехидно, улыбка не сходила с лица насмешливая.

Гостиника Иону на второй же день привел в панику.

Пришел после обеда игуменского в номер в веселом настроении, предчувствуя и в будущем что-то особенное, забавное. Стал вечером

спать ложиться и по привычке бросился сразу на постель, застланную одним войлоком, как на перину домашнюю... Вскочил, ощупывая бока, охая и кусая губы с досады. Потом осторожно лег и долго ворочался, старался найти поудобнее положение и до утра не мог. Под утро заснул утомленный — отлежал и руку, и ногу, и бок — встал, охая, и сейчас же написал открытку матери и отцу о прелестях монастырских. Отцу писал — по-русски, а матери — по-французски, разграфив на две половины открытку. Отдал послушнику отнести в почтовый ящик, а тот к гостинику с ней. От Гервасия был приказ прочитывать и открытки и письма от гостей, чтобы знать, что пишут, что думают гости о пустыни. Одну половину Иона прочел, а другую не мог и решил, что в ней-то и есть особенное, неприятное для обители. Перед вечером прибежал Иона к Барманскому, постучал в номер...

Барманский открыл дверь и первое, что увидал,— подушки, а в них две головы кудластых,— сзади голос раздался чей-то:

— Простите нам...

— Что такое? В чем дело?

Бросили послушники на постель подушки и удалились без слов; остался Иона в номере.

— Простите меня, нерадивого...

— В чем дело, батюшка, я ничего не могу понять...

— Подушечки вам принесли для спокойствия... Вы простите меня, не моя вина — недосмотр коридорного...

И, заикаясь и запинаясь, вынул из подрысника открытку смятую.

— Писали вы, господин, про нашу обитель вот тут непохвальное... Да разве мы позволим калечить гостей наших?

— Искалечили, ходить не могу, хромаю...

Бросился Иона на войлок подушки укладывать, застлал простыню и молящим голосом:

— Теперь мяконько вам будет... я только об одном прошу вас почтительно — не извольте посылать это,— не срамите обитель нашу...

Боязливо открытку протягивал...

— А вы, значит, читали ее?.. А вы знаете, что по закону полагается за прочтение не принадлежащей вам корреспонденции? Какое же вы имели право читать?.. Значит, вы так все письма читаете?.. Да?..

— Не я, господин, не я читал,— послушник... Умоляю вас... во имя обители... пусть никому не будет известно... только мне да вам... Не посылайте ее... возьмите...

Все еще издеваясь над Ионою, Барманский взял открытку, бросил на стол, и чтоб не рассмеяться в глаза гостинику, снисходительно сказал, похлопывая даже дружественно монаха по плечу:

— Ну, хорошо, батюшка, пусть по-вашему, никому не скажу...

До самой двери Иона, уходя, кланялся:

— Спаси господи вас, спаси господи... Почивайте теперь спокойно.

Барманский сейчас же пошел к Костицыной и целый вечер прохохотал над гостиником.

— Нет, господа, это бесподобно, такого анекдота со мною еще ни разу не случилось в жизни... А какие подушки мягкие, за ними ни гостиника, ни двух монахов принесших не было видно — горы какие-то... Пост, молитва, смирение... и... подушки пуховые,— действительно чудеса,— из-под земли выросли...

Уходя, шутил:

— А вы, медам, будьте все-таки осторожны, не выдавайте сердечных тайн в письмах, не искушайте иноков... Теперь, конечно, для меня все ясно... Вполне понятно, отчего послушники на женщин бросаются...

С этого дня и начал Барманский изводить и издеваться над монахами.

Старался с каждым завести знакомство, заходил в келии, покупал ложки, слушал рассказы Аккиндина про чудеса старца, а вечером высмеивал княжне, губернатору, Костицыной.

Рясной только морщился недовольно, смеясь в глубине души.

Барманский и в скит зашел посмотреть следом за богомольцами, расспросил у какой-то бабы про старца и решил и над ним пошутить, — какой-нибудь вопрос ехидный задать, а когда подошел со смирением к Акакию, шуря глаза сквозь пенсне, почувствовал старец, по лицу узнал человека и сказал ему не искушать истины. Барманский хотел вступить в философский спор со старцем и высмеять смирение его; сразу целый диалог даже в голове у него вырос — помешал Васенька. Выбежал следом за старцем и начал кричать обычное:

— Веничком его, веничком паскудника...

И старец, и Барманский вздрогнули. Барманский подумал, что это к нему относится, сразу замолчал, удивленно и даже как-то растерянно смотрел на Васеньку, а старец, боясь, что пришедший господин нарочно будет говорить с Васенькой и смеяться над ним — бросился к блаженному и стал, подталкивая, гнать в келию. Закрыв

дверь за Васенькой и не вернулся к ожидающим посетителям. Деревенские бабы недовольно поглядывали на Барманского, перешептываясь:

— Из-за барина этого и старец не вышел больше...

— Тоже — ходят... Нашли забаву!..

— Хоть бы уж верили, а то позабавиться только...

Барманский подождал немного, походил по скиту и, видя, что Акакий не выходит к бабам, пошел к монастырю, досадуя, что не удалось посмотреть, как он думал, сумасшедшего монаха и позабавиться.

Уходил из скита, слышал, как бабы вслед говорили:

— Блаженный-то сразу увидал его...

— Веничком, говорит, его, веничком...

— Да не то чтоб веничком, а я бы его...

Встретил в монастыре Памвлу Барманский, подошел под благословение,— растерялся Памвла.

— Я иеродиакон, не могу вам благословение дать...

— Ничего, батюшка, это все равно, благословите меня...

От растерянности благословил Памвла,— прогнусавил:

— Да благословит вас господь...

Разговорился Барманский с ним, проводил до келии, и Памвла рассыпался, старался разговорами занять городского гостя и ложки позвал посмотреть. Рассказывал, как весною заготавливает чурбачки, как выдалбливает, а сам все на гостя своего поглядывал и не выдержал:

— Угостить мне вас нечем... Валентин Викторович... так кажется?..

— Нет ли у вас выпить чего — кваску, наливочки, сегодня жарко, батюшка, а ведь в монастырях, говорят, умеют особенно делать и квас, и напитки разные...

— У нас пустыня бедная, такая бедная,— только даянием доброхотным и живет обитель, истинно говорю вам...

А потом, поглядывая на Барманского искоса сбоку, все еще не решаясь угостить казенною, намекнул, что если ему вина хочется, то он ради особого уважения может у братии попросить. Может быть, у кого-нибудь для лекарственных целей хранится немного настойки зубровой, черносмородинной...

— Все свое, все до капельки — из лесу... лесная трава, лесная ягода... соберет братия от немощи — сами лечимся больше травкою... Я сейчас, сбегая...

Настой был зеленый, темный, маслянистый, у Барманского даже захватило дух от зубровки, от неожиданности вздернул носом и бровями, поморщился и закашлялся; пенсне соскочило, поймал на лету, ставя другой рукой на стол шкалик.

Памвла от удовольствия засмеялся в нос:

— Лекарственная...

Откашлявшись и отдышавшись, Барманский смотрел на Памвлу, как тот настойку тянет и закусывает черным хлебом не торопясь, рассказывая про монастырь, про иноков и ежеминутно предлагая настойку гостю.

Уходя из келии, заплатил за ложки рубль, из приличия Памвла не хотел брать, а глазки маленькие так и бегали, выпрашивая благодарность.

На другой день в гостиницу прибежал к Барманскому и, войдя в номер, достал из кармана половник резной с орлом двухглавым, предложил показать сосну и шапку мономаха и ходил до конца поздней обедни, пообещав навестить еще гостя.

Барманский не знал, что делать с половником, и пошел с ним к Костицыной, застал одну Зину и предложил ей идти искать Веру Алексеевну.

Пошли к озеру через луга и на опушке леса встретили Николку с Костицыной.

Николка в монастырь пошел к трапезе, а все вернулись к озеру с Барманским.

На борту лодки сидел Васенька и поматывал по воде оставшимися в лодке лилиями. Услышал смех женский, вздрогнул, обернулся, взглянул, увидел Костицыну и начал крестить ее издали, приговаривая:

— Изыди от меня, бес полуденный, во имя отца и сына и святого духа — аминь, аминь.

Барманский вспомнил, что вчера его видел у старца, и пошел к нему под благословение, желая завязать разговор с блаженным.

Васенька отмахивался от него левой рукой, не переставая крестить воздух.

— Закрестить надо его, закрестить надо паскудника, искушает он иноков...

— Кого, батюшка, закрестить?..

— Беса полуденна во образе жены прелестницы...

— Где же он, где, батюшка?..

Начал левой рукой на Костицыну показывать:

— Искушает он, Николушку искушает и денно и ночью во образе жены блудной, так и бегают по пятам за ним, то Феничкой, то коровницей, то госпожой благородной и в лес-то за ним, и на хутор, и на озеро, так и бегают бес полуденный, сейчас только был с Николушкой...

Барманский сперва ничего не мог понять из бормотания несвязного и только после того, как Васенька о благородной госпоже упомянул, показывая на Костицыну, догадался, что должно быть блаженный зовет Николушкой игумена. Взглянул на Костицыну и опять стал слушать Васеньку:

— И все это она, она, Феничка, все за ним бегают, говорил ему — Феничку веничком, изгони веничком... плоть немощна, дух бренный, аще соблазняет тя уд, изыми его — очищен от скверны будеши, а потом ее веничком, веничком, не побежит больше, забудет дорогу на хутор, на озеро...

И, не доходя несколько шагов до Костицыной,— пригнулся Васенька боком как-то, точно заглянуть хотел под юбку, и бросился бежать в лес, выкрикивая:

— Черненький, гаденький — поматывает хвостиком, рожи корчит, морщится... убегу от тебя, полуденный...

Барманский опять взглянул на Костицыну, глазами встретился и спросил полупшепотом быстро:

— Вера Алексеевна, что такое случилось с вами?.. Какой Николушка?.. Игумен?.. На озере?..

И потом, точно спохватившись, побежал за Васенькой.

Догнал его, взял под руку, начал успокаивать, стараясь в то же время выпросить, кто такой Николушка, и когда Васенька сказал, что игумен это Николушка, стал уверять блаженного, что если он был с этой дамою в лесу, то это вовсе не бес, а женщина.

— В каждой бес блудный, паскудник в каждой... соблазняет Николушку...

Вера Алексеевна покраснела после слов Барманского и пошла к лодке собирать оставшиеся лилии, позвала Зину.

Говорила срывающимся голосом, досадуя на себя, зачем пошла в лес с Гервасием, и хотя знала, что может случиться, что игумен не выдержит ее близости, но за себя не боялась, надеясь не допустить его перешагнуть дозволенное, но совершенно не ожидала, что может их кто-нибудь увидеть, а главное, не ожидала, что узнает об этом Барманский.

Зина все время стояла молча, ничего не понимая из бормотания безумного монаха, но чувствовала, что произошло что-то и чего-то

даже стыдливо смотрела в сторону. Подошла к лодке и увлеклась лилиями.

Не дождались Барманского и пошли одни в монастырь.

Барманский за два дня успел и монахам надоесть и побывать во всех закоулках монастырских и по особому чутью какому-то встречал неожиданное и считал, что этот монастырь — клад для него, целую зиму будет рассказывать приключения и анекдоты. Встреча с Васенькой еще больше заинтересовала его, решил, не теряя времени, сейчас же разузнать про игумена. Говорил мягко, ласково, гладил по плечу Васеньку, на все слова в тон поддакивал.

— Да, батюшка, да, в каждой женщине бес полуденный и полнощный тоже, постом и молитвою его изгонять нужно...

— Веничком его, веничком...

— И веничком можно... березовым...

— Николушку искушает, Николушку...

— Иноков всегда искушает бес в образе женщины... и святого Антония дьявол искушал женщиной,— прекрасный рассказ есть у Флобера, французского писателя...

— В писании есть, в писании...

— В писании тоже, батюшка... И не только подвижников искушает бес, но и...

— Николушку, Николушку...

— ...игумена,— да, батюшка?..

— Его, его, Николушку...

— И на хуторе тоже?..

— И на озере, и в лесу, и на хуторе... везде она, эта Феничка...

— А посмотреть ее можно, батюшка?..

— Закрестить ее, закрестить надо...

— Пойдемте ее закрестим, она исчезнет.

— И с младенчиком своим, бесененочком...

— И с младенчиком...

— Яко дым от лица божия...

— Яко дым, батюшка...

На хутор привел блаженный Барманского, осторожно шел, точно боялся спугнуть нечистого.

Жаркий был день, сухой, томный.

Хотелось пить...

Обоих начал мучить голод.

Постучали во двор, Ариша отворить вышла. Васенька хотел что-то сказать, но Барманский прервал его и стал просить накормить чем-нибудь. Пошел следом за Аришею, ведя под руку блаженного.

Не знал Барманский, как обратиться к Арише, и, увидав на ней черное платье серым горошком и на голове платок белый и тоже горошком — только черным, решил, что монашка, и стал называть матушкой. Вместе с Васенькой вошел в комнату-келью, увидел колыбель, подвешенную к потолку по-деревенски, прикрытую белой кисеей, подошел посмотреть и умилился, с целью смутить монашенку:

— Как ангельчик, как на картинке... прехорошенький...

И, не оборачиваясь, спросил:

— Это ваш, матушка?..

— Мой...

Быстро обернулся к Арише, заулыбался весело...

— Но и вы прелестна,— не удивительно, что такой ребенок... прямо Христосик...

Обрадовался сравнению, подбежал к Васеньке, упрямо уставившемуся в пол, схватил за руки и потащил к колыбели:

— Батюшка, вы посмотрите только... Христосик лежит, прямо Христосик, сияние даже вокруг головки...

Васька взглянул, отшатнулся, и начал:

— Николушка, ах, Николушка, соблазнил тебя бес полунощный...

А Барманский, обращаясь то к Арише смущенной, то к Васеньке, продолжал, чуть не захлебываясь от восторга:

— Как дева Мария... вы... вы, матушка... и Христосик тут ваш, и ясли, и пастухи, и волы, и овцы... в Вифлееме мы, батюшка... как волхвы, пришли поклониться... поклонимся... поклонимся...

Ариша стояла растерянная с двумя ломтями хлеба и кувшином молока, растерянно смотрела на кривлявшегося Барманского и на впившегося Васеньку и ловила одно только слово «Феничка», ничего не понимая, но чувствуя, что за этим словом кроется прошлое Николая. Стучало сердце, падало, дышать ей становилось нечем. Выступили на глазах слезы и повисли на глазах, блестя, как золото. Заплакал ребенок, разбуженный криком Васеньки. Поставила прямо тут же на полу кувшин с молоком и положила на него куски хлеба.

На дворе по деревянному помосту застучали копыта коров, раздались звуки бича, мычание и рев быка.

— В Вифлееме мы... истинно...

— Веничком, веничком эту Феничку...

Вечером Барманский Костицыной и княжне рассказывал про хутор, про монашенку и умилялся, ехидничая:

— Прелестный ребенок, ангельчик и мать... дева Мария, и кругом Вифлеем и Христосик... Обязательно устроим пикник на хуторе, обязательно...

ХІІ

Через несколько дней Барманскому надоел монастырь и монахи, и только одна мысль занимала его — пикник устроить на хуторе. Уговаривал и епископа и дам перед отъездом поехать, а чтобы не заметили затаенной мысли, ходил несколько раз к Гервасию линейку просить и вместе с княжной и с Костицыной и с Зиной ездил на засеку, где городец старинный был. Потом самому князю и епископу рассказывал восторженно:

— Поедьте, князь, и вы, ваше преосвященство, какой лес дивный стоит, и кажется, сейчас на тебя вылетит с кистенями и с гиком — и хорошо, и жутко... Прелестное место... Сколько в душе родится мыслей... Поэзия... Старина... Былое...

Уговорил Иоасафа и Рясного на городец.

Николка с епископом одни поехали, а князь — с Барманским и с дамами и закусками позднее. На городце чай пили, — белобрысый келейник Костя сапогом раздувал самовар шишками, мох от комаров палил, на Снежить за водой бегал.

Иоасаф благодушно шутил с дамами, Костицына с ним кокетничала, княжна говорила, что ревнует ее к владыке, а князь Барманского журил за балаганство, за неуместные шутки в обществе преосвященного и игумена.

Николка предание стал рассказывать о засеке — о Симеоне старце, бывшем когда-то разбойником в лесах темных, и о сотворенном над ним чуде явлением Троеручицы, указавшей ему путь подвига на пустыньке.

— Пошел старец Симеон, — атаманом был тогда, — пошел от своих молодцов на дорогу проезжую глянуть — сел под мост — дожидается, — гремят по мосту купцы заморские — свистнул товарищам — налетели, порезали неповинных, товар в лес, — атаман последним... Шел, шел — с дороги сбился — видит, огонь в лесу светится, значит, у костра сидят, добро делят, он на огонь — будто городец, а только у товарищей лица светлые — ангелы, а на его месте сидит женщина красоты неопикуемой с младенцем, держит двумя руками его у

груди... Он к ней прямо... Откуда, говорит, красавица?.. Молчит она и товарищи ему ни слова. Полюбилась ты, говорит, мне,— княгиню моею будешь и пошел к ней... Только видит — она младенца своего прижимает к груди сильнее и на него смотрит строго,— говорит:

— Не знаю тебя, злодея...

Он к ней ближе:

— Полюбилась ты мне, говорит, за речи смелые — поцелую тебя крепко...— Подошел. И вдруг рука у ней из-под парчи... Простерла к нему. Пал замертво... очнулся — ни товарищей, ни княжны — икона стоит на камне Троеручицы. Покаялся... со слезами пал... Хотел подняться с камня... опять рука простерлась к нему — опять пал замертво и слышит, как сквозь сон, голос женский:

— Покайся, богоотступник... прими иночество... оснуй обитель смирения...

Каялся, денно и ночью стоял перед владычицей на коленях и после каждой ночи подходил к иконе и каждый раз простиралась рука гневная, на сороковой день подошел — поднял с камня владычицу, облобызал пречистые ризы и опять поставил... А товарищей в ту же ночь государево войско Петрово перевешало на соснах, один старец спасся чудесным образом. Поставил келии, собрал братию, загудел колокол по лесу во славу владычицы... Узнали про пустынь люди, ходить поклоняться начали и воевода приехал... Увидел старца... Тебя-то, говорит, мы и не нашли только... Заковали в кандалы и повезли в телеге прикованного, как злодея, в Петров град... В темницу бросили... Сам Петр приходил допрашивать... Во всем повинился старец праведный. Завтра, говорит император, на казнь пойдешь... А наутро пришел затемно, отворил темницу и сам вывел преподобного и грамоту дал на монастырь, на землю, на деревни ближние и говорит ему: — Был ты ловцом людей на проезжей дороге государевой, будь теперь ловцом душ человеческих... Повелел рукоположить в иеромонахи... Видение Петру было ночью Троеручицы,— повелела царю простить покаявшегося... Со славою возвратился в пустынь... Иноки с трепетом дожидали основоположителя пустыни, в молитве и посте проводя дни и ночи... Возрадовались возвращению Симеона пустытника... Вознесли соборне молебствие со свечами возжженными... Поклонился старец заступнице и принял схиму во имя прославления обители... Чудо господне над ним было содеяно, а теперь по воле всевышнего и сам чудеса творит.

Николка от этих слов просветлел даже.

Заслушался Иоасаф сказанием, и когда Николка кончил,— вздохнул глубоко и сказал задумчиво:

— И меня привел господь в обитель вашу, дабы послужить ей во имя преподобного Симеона старца и со смирением проставить имя его по всей Руси... послужу обители... просить буду, где только смогу и кого смогу...

Только Барманский на игумена поглядывал хитро, думая, что на все руки мастер и рассказывать и женщин в себя влюблять, на лодке катать по озеру и на хуторе устраиваться.

Николка не жалел денег — угождал гостям, себе откладывал про черный день и опять стал на хутор ходить проводить Аришу и, возвращаясь, всегда мечтал о мощах, о близком торжестве. После того, как побывал вместе с епископом на городце, уверен был — будут мощи, теперь скоро. Казалось — большей чести никто не удостоится, как он.

На порубках побывал и жалел и радовался, когда падали не в обхват сосны со скрипом, потрескивая ветками, про себя думал, что обитель новую воздвигает,— каждое дерево укрепляет ее основание и леса не жаль — пусть валят.

Сам даже предложил Иоасафу посмотреть на работы, и опять и с князем и с дамами, и с Барманским поехали.

До захода солнца пробыли, ели похлебку мужицкую, черную кашу и восхищались блюдами с дымком, с гарью.

Барманский за Костицыной ухаживал и язвил:

— У вас, Вера Алексеевна, одни только иноки имеют успех...

Боялась его и отталкивала и кокетничала.

Николка искоса на нее поглядывал, губы покусал от досады, что не удалось в лесу целовать Костицыну, и сжимался, когда вспоминал Ваську. Иногда в упор ей смотрел в глаза ждущими и просящими глазами,— на взгляды его улыбалась, маня и обещая назло Барманскому.

Злой червь точил Валентина Викторовича, хотелось и Костицыной отомстить за недоступность, и монаха высмеять; через пенсне улыбался Николке и Костицыной, рассказывая, как хорошо в лесу на озере и какой мох мягкий и ароматный воздух, намекая на прогулку Николки с Костицыной. Николка и это чувствовал и молчал, а под конец и глаза опустил в землю. Потом Барманский обратился ко всем и особенно к Иоасафу:

— Ваше преосвященство, вы еще на хуторе не были?.. Вот там истинно красота красот. Как Вифлеем — тихо, смолой пахнет... Поедьте, господа, на хутор, на целый день, с утра... Кашу будем сами варить, молоко пить... Я был там недавно... молоко пил...

Николка вздрогнул даже, когда услышал, что Барманский был на хуторе, и сейчас же подумал, что не только Аришу, а может быть и ребенка видел, и удивлялся, почему до сих пор Ариша ему ничего не сказала. От испуга покраснел даже и стал отговаривать из-за дальности расстояния. Барманский тоже почувствовал, что попал в точку, и еще упорнее стал настаивать на поездке. Инстинктивно почувствовала и Костицына, что между ними происходит борьба какая-то, и насторожилась.

Иоасаф решил:

— Я поеду на хутор, возлюбил я обитель отца Гервасия и хочу все красоты ее видеть...

Николке пришлось только радоваться на желание Иоасафа, собиравшегося дня через два уехать из пустыни.

Растерялся Николка, растерянными глазами поглядывал на Костицыну, и она отвечала ему взглядом, что ничего не понимает.

Николку вечером Иоасаф не отпустил от себя, серьезный разговор о мощах начал. Обещал осенью же съездить в синод, побывать во дворце и продвинуть дело об открытии мощей Симеона.

— Наставника я вам пришлю, он все укажет — подготовит пустынь и иноков к восприятию преподобного... Академика пришлю,— попрошу в синоде назначить из Саровской пустыни...

Потом благодарил Николку, что не отказал архиерейский дом поддержать денежно, а под конец послал пригласить ключаря с матушкой и с протодиаконом на пикник на хутор.

Рвался Николка к Арише сбегать, предупредить, или куда-нибудь ее на этот день удалить с младенцем или хотя бы младенца отослать на один день в деревню, боялся, что может быть из-за этого неприятность, а главное, что потеряет в глазах Иоасафа уважение и доверие.

У ключаря не пустили...

Духовенство играло в стуколку,— сперва смотрел, а потом соблазнился — уговорил ключарь.

— Монашествующему не подобает, отец ключарь...

— Это, отец игумен, игра духовная, духовенством излюбленная, а вы тоже из духовных — один раз можно.

Сперва нерешительно разобрал карты, а когда два раза выиграл, вошел в азарт и загадал даже, если удачно играть будет, значит благополучно пройдет завтрашний день на хуторе.

Втемную шел... выкрикивал:

— Стучу...

Протодиакон нараспев рычал:

— Пос-ту-у-укиваю...

Николка схватился за карман — не взял денег, ключарь успокоил, три сотенных дал.

Зазвонили к полунощнице, Николка простукивал пятую сотню, соборяне в выигрыше были и увеличивали ставки, и Николка, багровея, зарывался в карты,— ни разу не поднял, все время втемную.

К утрени ударили — сонная ключарша закусить подала.

Протодиакон выигрыш подсчитывал и гудел:

— Со-тен-ка... Сто-о с кра-асненькой... с портретом благо-о-словенно-ого...

Иподиакон Смоленский тенором тараторил речитативом:

— Кинарочки синенькие — мои душеньки... Люблю, отец протодиакон... Слабость моя — птицы божии, ни сеем, ни жнем, но собираем в житницы, по зернышку, все по зернышку... Зеленые попугайчики — трешницы... кинарочки...

Ключарь сквозь золотые очки улыбался ласково, поправляя академический значок на цепочке. Не считая, деньги свои положил в карман пригоршнею.

Николка, заикаясь, сказал:

— За мной, отец ключарь, тысяча...

— Не беспокойтесь, отец игумен... мы сочтемся...

К закуске ключарша и пузатый графин поставила с лимонными корками.

Николка не думал ни о чем с досады, только в висках стучало.

От лимоновой не отказался,— вспомнил старое.

Пил, не хмелея, не отставал от протодиакона.

Ключарь провожать вышел.

На воздухе лимонная бросилась в голову, ослабели ноги.

Ключарь спросил:

— Говорили с епископом о мощах старца?..

Чуть заплетаясь, ответил:

— Осенью хлопотать будет...

— Вот видите... Поздравляю... Великая честь выпадает вам...

До конных ворот проводил, дождался, пока Николке не отворил конюх-послушник.

Пошатываясь дошел до покоев и постучал с заднего крыльца.

Стучал долго, прислонившись к двери. Выбежал белобрысый келейник заспанный отворять. Николка молча прошел к себе, не раздеваясь, лег, заснул, как битый...

К достойной в большой колокол ударили в поздней — очнулся, вскочил и сразу вспомнил о сегодняшнем дне — пикнике на хуторе. Призвал Костю келейника белобрысого и приказал после трапезы подавать лошадей к новой гостинице, а потом велел добежать на хутор и предупредить матушек о гостях, хотел сказать через послушника, чтоб Ариша не выходила к гостям, и запнулся, кончил тем, что велел к себе послать эконома.

Барманский с утра караулил Васеньку. Дамам сказал, что позднее придет один, чтобы не ожидали его. К Памвле зашел, посидел, угостил целебной травкою,— сам же Памвля за ней к соседу бегал. И, прощаясь, испросил с собою взять к обеду. Хотелось Костицыной отомстить, поиздеваться над ее верностью старому мужу, над стыдом женским и над смирением иноческим — над Николкою.

Около скита ходил.

Васенька с трапезы старцу обед нес...

— Батюшка, я к вам... проститься хочу, уезжаю завтра.

— Обед несу старцу, обед несу...

— А вы отнесите и придите сюда, я ждать буду.

Прибежал Васенька:

— Вот он я, вот он... старец меня не пускал... ушел... сам ушел.

Барманский его взял под руку и повел в лес. Старался говорить с блаженным о чудесах, о старце, о пустыни и уводил его по направлению к хутору. Сбился с дороги, попал в болото, промочил ботинки лаковые, но решил все терпеть, хотелось удивить, поразить на пикнике пикантным присутствием блаженного. Васенька на дорогу вывел к Полпенке. Барманский пошел к деревне,— хотелось есть и главное создать подходящий момент, угостить настойкой Васеньку, чтоб у того было больше храбрости, чтоб язык ему развязало и при епископе. Зашли на отлете в избу вдовью. Бабы-солдатки, ухмыляясь, встретили. Васенька увидал вспомнил, уперся, хотел бежать...

— Что с вами, батюшка, что с вами?..

— И тут она... Феничка...

— Как... и тут?..

Пальцем на баб показывал:

— Вот эта... вот эта... она... Феничка...

— Да что ты, Васенька, какая ж я Феничка?.. Ксюшка я... Ерохина...

На другую стал показывать...

— А я, батюшка... Маланья... Забыл видно...

И потом к Барманскому обратилась баба:

— Это он, барин, еще с того разу не пришел в себя, как с одной вот тут на лавке голяком лежал связанный... Иноки тут измывались над нами пьяные...

Васька вопил:

— Николушка, Николушка это... все он...

Маланья, видя городского человека, решила жаловаться:

— Управы на них нету, барин... девке и в лес не пойти по ягоды, по грибы... привяжутся долгогривые... либо ягоду высыпай... либо сама ложись, а про нашего брата к говорить нечего... А игумен-то, Николка этот... Беда от него...

— Да как же, барин, не жаловаться нам на него — где это видно... поели, попили, бабами попользовались, поизмывались над тобой вволюшку, а как платить — дудки... Игумену старому на него жаловались...

— Я заплачу вам, только вот вы нам с батюшкой яичницу сжарьте...

За яичницей бабы про монастырь рассказывали, про монахов.

Васенька сперва не хотел есть, а вспомнил, что мясоед — принялся. Барманский и небольшую бутылку достал, бабы подали шкалики...

Васенька взглянул...

— Братия ее лампадиком пьет... целебная...

— У нас шкалики, барин...

Сперва Васька отказывался,— Барманский уговорил пригубить. Вспомнил Васька, как пил, когда помоложе был, и не выдержал, выпил шкалик...

На втором с непривычки захмелел чуть-чуть, Барманский не дал пить больше, боясь, что, если блаженный лишнего выпьет, испортит весь его план, тогда не получится эффекта главного.

От баб уходили приятелями. Барманский повел его под руку и все время старался отвлечь разговором мысли блаженного от Николки, чтоб неожиданно поразить его пикником, и называл Васенькой.

Блаженный хотел прямою дорогою идти через мельницу, Барманский уговорил идти через хутор, а на хуторе молока выпить.

На пикник приехали без Барманского и расположились в лесу около хутора.

Архиерейский повар с белобрысым келейником Костею приготовили заранее закуски, разостлали скатерть и ждали, Ариша помогала смущенная, растерянно поглядывая на дорогу.

Николка повел Иоасафа хозяйством хвалиться, за ними и все пошли.

— А это сестра моя двоюродная... Ариша... ведет хозяйство... Хотел вывернуться...

Иоасаф ничего не сказал, а ключарь только поправил золотые очки.

Костицына стала просить:

— Ариша, милая, покажите нам своего мальчика, он, говорят, у вас хорошенький...

Протодиакон ходил, только побрякивал.

Дамы пошли посмотреть младенца.

Зиночка выбежала первой, подошла к Иоасафу и начала восторженно:

— Как Христосик... хорошенький... его и Барманский видел...

Иоасаф нахмурился.

Протодиаконовский бас заглушил Зину:

— Тут эхо, владыко, на весь лес слышно будет... так и хочется попробовать многолетие...

Николку передернуло.

Ключарша по наивности не переставала восхищаться мальчиком.

Князь, посмеиваясь, сказал дочери:

— И все этому Валентину нужно... Раньше всех побывал...

За глаза Валентином называл, потому мечтал выдать за него молодую вдову дочь и считал его почти своим сыном.

За закуской неловкость рассеялась...

В первый раз появилось на прогулке вино, а ключарша даже, желая угодить мужу, привезла лимоновки.

Рясный спросил Костицыну, зная, что Барманский за ней ухаживает:

— А Валентин Викторович где?

— Обещал прийти позднее...

Николка оглянулся к лесу тревожно.

Перед вечером развели костер, стали варить кашу-ядрицу.

На дворе мычали коровы, постукивая копытами по деревянному настилу, урчал бык, дым от костра расстилался белым полотном, уплывая в лес, мягко жевали незапряженные лошади, архиерейский повар с белобрысым келейником собирали посуду, укладывая в ящик, конюхи сидели у линеек и, поглядывая искоса на костер, ели посоленный черный хлеб, закусывая зеленым луком, четко звякали в предвечернем лесном воздухе молочные ведра и надо всем гудел умиротворяюще протодиаконовский бас.

Николка сидел вместе с ключарем, с женою его и Костицыной у костра, помешивая по очереди в котле кашу. Зина собирала сухие

сосновые ветки и с удовольствием подкладывала их в костер, бросая вместе с ними и свежие маленькие веточки свежей ели, наблюдая, как огонь весело перехватывает зеленые иглы.

Никто не заметил, как Барманский подошел к костру с блаженным под руку и нарочно веселым и приподнятым голосом сказал:

— Простите, господа, за опоздание и разрешите мне быть с моим приятелем и другом Васенькой.

Все вздрогнули и обернулись в их сторону.

Над Николкою стоял Васенька. Легкий хмель бродил еще у него в голове, и он смотрел ничего не видящими глазами на костер.

Николай вздрогнул, обернулся и, увидав над собою Васеньку, от неожиданности и испуга вскрикнул, забыв о присутствующих:

— Васька!..

Блаженный в свою очередь вздрогнул от окрика и, увидав Николая, сказал каким-то радостным от неожиданности голосом, скорее даже испуганным:

— Николушка... и ты тут?..

Барманский смотрел поочередно на Костицыну и на игумена, ожидая дальнейших слов Васьки и, кривя слегка тонкие губы, улыбался сквозь пенсне.

Ключарша, желая заявить о своем присутствии, сказала весело:

— Валентин Викторович, а у нас сейчас будет каша...

Сзади Васеньки и Барманского подошла Ариша и принесла молоко в ведре.

— Я молоко принесла к каше...

Васенька повернул голову на женский голос и остановился глазами на сидевшей впереди ключарши Костицыной, сверкнул ими, точно что вспомнил, и понес, не останавливаясь, до конца, пока его не увел протодиакон.

И действительно началась каша.

Блаженный стал выкрикивать:

— И она тут, и она... бес полунощный... Николушка... изгони ее, изгони веничком... а то опять на нее бросаться будешь... бросался ты на нее... в лесу... на озере... Николушка...

Вера Алексеевна отшатнулась от костра, моментально встала, быстро подошла к Барманскому и стала говорить ему. Голос прерывался, дрожал, переходя в слезы, начала выкрикивать:

— Бесстыдник, бесстыдник вы... для вас все равно... это же гадость...

Николка к Васеньке бросился.

— Николушка, что ты, что ты... Не связывай меня только... не связывай... как на Полпенке... изгони ее... изгони... веничком... погонится за мной... не связывай с ней...

Метнулся от Николая, толкнул Аришу, с разбегу выбил ведро с молоком и еще сильнее, еще громче закричал, отмахиваясь руками от Ариши:

— И эта тут... тут... тут... с Христосиком твоим. Пойди... поклонись ему... Христосику... ангельчику...

Костицына неожиданно присела, потом опустилась на колени и, вздрагивая плечами, зарыдала, переходя в истерику:

— Ох-ох, ох, ох-ох-о-ох...

Княжна схватила за рукав Николку и закричала ему на ухо:

— Воды... Воды скорей... Воды дайте...

Николка бросился за водой на хутор, схватил из ведра полный корец и, расплескивая, побежал обратно.

Васька, увидав снова бегущего к костру Николая, опять стал выкрикивать и побежал к лесу.

— Николушка... всюду она... всюду Феничка твоя полуночная... и в лесу и на озере... и на Полпенке... и на хуторе... изгони ее... изгони... веничком... веничком ее, эту Феничку...

Николка испугался за Ваську, боясь, что тот снова утонет в озере, и закричал:

— Утонет он... утонет... держите...

Протодиакон успел схватить Васеньку:

— Сто-оой...

По всему лесу пронеслось:

— О-о-ой.

От рычащего крика блаженный остолбенел и умолк.

Иосаф взволнованным голосом и от волнения почти шепотом сказал:

— Уведите его... Васеньку.

Он сразу же понял из бреда блаженного, что тот говорит про игумена, и, не желая подавать виду, нахмурился и сказал князю:

— Сергей Николаевич, едемте отсюда скорей...

Конюхи, увидав поднявшуюся суматоху, с первого же момента начали запрягать лошадей.

Ариша смотрела на Барманского, отошедшего в сторону и наблюдавшего с наслаждением и в то же время со смущением, потому что он хотел только пошутить над игуменом и отомстить Костицыной и вовсе не ожидал такого скандала. Углы рта кривились усмешкою, а

глаза морщились презрительно и досадно. Он все время нервно подергивал бородку и, когда Иоасаф с Рясным пошли садиться в линейку, хотел подойти к княжне, но потом быстро повернулся и пошел в лес. Зина плакала над Костицыной, стараясь утешить ее, помочь. Ариша, после ухода Барманского, опустила медленно голову, согнулась как-то и точно избитая пошла к хутору. Костицыну перенесли на линейку. Промокшее платье, волосы от вечернего холода и болотной сырости холодили тело, и женщина начала быстро приходить в себя. Протодиакон увел Васеньку и издали был слышен его урчащий бас, уговаривавший блаженного. Ключарь не принимал никакого участия во всем случившемся, наблюдал, стоя у костра, и, покапывая ногой золу, брезгливо морщился. Уехали, но Николку никто не пригласил сесть на линейку, и он остался стоять у потухавшего костра. Пахло пригоревшей кашей. Николка стоял без мыслей, растерянный, убитый, и тупой страх за свою судьбу всего его содрогал, но, вспомнив о деньгах, о проданном лесе, успокоил себя, подумав, что мощи теперь все равно будут.

С хутора раздался детский плач. Николка вздрогнул, прислушался и решительно пошел к Арише:

— Уйди, уйди от меня... уйди...

У Ариши слез не было, но глаза были горячие и блестящие и сухие.

Спокойно сказал, уходя из комнаты:

— А мощи все-таки будут... и мы будем... Его береги только.

Ариша до утра не могла заснуть, думала, мучилась, и все равно знала, что теперь идти некуда... ради ребенка все придется простить.

Иоасаф отменил последнюю службу и на следующий же день уехал с ключарем и с Рясным.

Барманский до отъезда в монастыре не показывался, прожил один день на Полпенке у солдаток, потом пришел за своим чемоданом и пешком ушел на платформу.

Рясный обещал Иоасафу его уволить, но все-таки не исполнил этого, считая Барманского хотя и очень злым, но остроумным до чрезвычайности.

Николка вернулся в монастырь, приказал запереть Васеньку и, провожая архиерея, не постеснялся еще раз попросить его о прославлении Симеона старца.

В монастыре шушукались, монахи по кельям злорадствовали.

Но никто открыто не говорил про него, знали, что только он сможет прославить обитель и Симеона старца, основоположителя Бело-Бережской пустыни.

Возвратившись с полустанка в монастырь, Николка велел ударить в большой колокол и соборне отслужить благодарственный молебен Троеручице и панихиду на месте упокоения Симеона старца.

ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ

I

Желтое, почти золотое солнце давно висело над крышами — белая ночь не спускала его в море и первый трамвай, прогудевший по улице, разбудил Феничку. Очнулась, непонимающими глазами обвела комнату, вспомнила, вскочила с постели, откинула волосы,— цветы, подарок любви Борису, по-прежнему стояли у него на столе, но карточки невесты его не было; около кресла у стола белым пятном лежало ее белье, платье, черные туфли скovyрнулись беспомощно набок. Быстрыми движениями одела рубашку, собрала на полу одежду и побежала к себе. Комнату Бориса закрыла на ключ, перебежала из двери в дверь коридор в свою. Еще раз звякнул ключ. Бросила все на кушетку и легла навзничь на свою кровать,— свежее, хрупкое белье обдало холодом успокаивающе,— сперва вздрогнула, а потом, закинув руки за голову, закрыла глаза и чувствовала, как снова полилось тепло по мускулам, согревая простыни. Душа еще продолжала дремотно качаться в теле, но дышалось легко, ровно, вбирая все больше и больше воздуха. Чувствовала в себе любимого и боялась пошевелинуться, чтоб не утратить этого ощущения. Медленно, еще в полусне, нашептывали мысли и первую была — очищение непорочным. Не он, а ее жизнь и желание родило тишину, вслушивавшуюся в биение пульса. Напряжение, с которым брала свое счастье, впивая без слов каждое движение тела его — ушло в глубину, к сердцу, навсегда сохранив любовь. Не видела, а чувствовала в себе Бориса,— всего, с его ожиданием умершей невесты, с его напряженными глазами и тихим поющим голосом.

На всю жизнь остался один, любимый, ушедший теперь в неизвестность, которого не оторвать от души, от тела, от сокровенной глубины счастья, потому что сама взяла его; а другой,— которого жаль, которому надо помочь, накормить, напоить, одеть. Знала, что в этом, во втором сила для нее, чтобы осознать еще глубже свое очищение. Успокоилось утомленное тело, окрепли мускулы и

наступило уверенное спокойствие. Не торопясь оделась, убрала деловито остатки вчерашнего дня и вспомнила, что нужно убрать Борисову комнату. Перенесла свой подарок — цветы на свой стол, собрала разбросанное белье, книги, уложила в корзину, замкнула ее, втянула к себе в комнату и пошла к хозяйке.

— Марья Петровна, сегодня утром Смолянинов уехал домой.

— Как же он так неожиданно и не сказал ничего!

— Просил вам передать, что комнату не будет оставлять за собою,— он на следующий год переводится в Московский университет...

Хозяйка странно как-то взглянула на Феничку, но ее решительный и спокойный тон поколебал недоверие, и она только сказала, что за ним еще пять рублей долгу.

— Хорошо, я вам отдам сама. Свою комнату я оставляю за собой и на следующий год...

Потом забежала Журавлева с Ивиной узнать, что случилось с Феничкой и Борисом.

— А мы от тебя прямо на острова... До утра гуляли, встречали солнце...

— Хотели зайти за тобой...

Журавлева не выдержала...

— А Борис где?..

— Уехал домой...

— Как?

— Сегодня утром уехал домой, часть вещей оставил у меня до осени.

— А мы думали, что тебя можно поздравить...

— Фантазерки вы... Мне вот нужно узнать, куда сослан Петровский. Карпов вероятно знает, где он.

Спокойный голос Фенички и безразличие, с которым она говорила о Смолянинове, сбили с толку подруг. Валька, забежавшая утром, когда Феничка лежала еще в Борисовой комнате, ничего не могла понять. Видела, что подруга была одна, в комнате было все разбросано, входная дверь не закрыта и теперь — спокойный и ровный голос и вопрос о Петровском... Смущенная, смотрела на Феничку и не решалась больше расспрашивать.

— Иван Васильевич, Феничка, должно быть, не знает адреса, но поможет тебе,— у товарищей узнает своих. Хочешь, пойдем к нему вместе,— его расшевелить надо, он ужасный увалень, все горняки такие. А ты что писать ему думаешь?! Я думала, что вы переписываетесь.

— Хорошо, Валя, пойдем. Я должна сегодня же узнать его адрес.

По Петербургской стороне, по Большому проспекту, через Каменноостровский, через Летний сад свернули на Невский. Живой поток людей, раньше безразличный для Фенички или интересный только тем, что можно было сверкнуть глазами проходившим студентам, теперь по-иномудохнул на нее. Большие глаза, углубленные синевой ночи и весеннего неба, устремлены были поверх людского потока — яркие, дышащие жизнью и смелостью жить. Золотые волосы туго облегли венком голову, — серая шляпа с широким бантом, с широкими открытыми полями намечала прическу; движения были спокойны и уверенны. Встречные мужчины провожали ее глазами; на мосту у Фонтанки один господин как-то растерянно остановился, взялся за котелок и, смущенно опустив руку, прошептал вслед, — какая прелестная. Журавлева все время смотрела на Феничку и не узнавала ее, не могла понять происшедшей в ней перемены, приходя в восторг от новой прически ее, от ярких и углубленных глаз, точно она в первый раз видит ее.

— Феничка, ты сегодня особенная какая-то!

— Я сегодня, Валя, полюбила Петербург. Это он особенный, а не я. Вот если бы сейчас здесь был дядя Кирюша! А знаешь, вот мысль, я ему телеграфирую, пусть приедет ко мне... Теперь я ему покажу Петербург, — новый!

Карпова застали заспанного, полуодетого, поразили неожиданностью прихода, вытащили его отыскивать адрес Петровского, вместе с ним бегали по студенческим комнатухам, пока один его партийный товарищ, долго не соглашаясь, не дал адреса.

Феничка горячо говорила ему:

— Мне нужно ему написать, я невеста его, — понимаете?..

— А почему же он сам не прислал вам своего адреса?..

— Мы поссорились с ним перед его арестом, — вероятно, он подумал, что между нами все порвано и из-за самолюбия не хотел писать... Но я должна ему написать, от этого очень много зависит... для него это очень важно... я не могу вам сказать...

Угрюмый и молчаливый студент, исподлобья поглядывая на Феничку, сперва смотрел на нее недоверчиво, но потом, уловив искренние, горячие нотки в ее голосе, достал из стола письма и прочитал несколько строк:

— Если вы невеста его, я вам прочту... он пишет... Вот тут: «Работы здесь достать невозможно, а зимой особенно, кормимся чем придется, осенью питались сырой рыбой, теперь иногда и голодать приходится... Необходима помощь. Есть туберкулезные заболевания, особенно среди женщин... Вообще один ужас... В своем пальто мерзнул». Ну, и так далее...

Пока студент читал письмо, Феничка краснела, нервно сжимая ручку зонтика.

Получив адрес, вместе с Карповым и Журавлевой она стремительно пошла искать почтовое отделение, упросила Карпова от своего имени послать деньги, высыпала на почтовую конторку из сумочки все, что в ней было, набрала около ста рублей, оставила для себя немного и, вложив в конверт, хотела подавать, потом вспомнила о чем-то, поспешно купила открытку, написала на ней — от неизвестной,— вложила в пакет и подала.

Получив расписку, Феничка облегченно вздохнула, глаза, опечалившиеся на мгновение, снова расцвели радостью.

— Мне нужно идти... С главного почтамта телеграмму дяде иду послать... Всего хорошего!

На главном почтамте испортила несколько бланков и написала почти как письмо:

«Милый дядя Кирюша! Я вас очень, очень хочу видеть. Вы обязательно должны приехать ко мне, иначе я не знаю что, но будет плохо, так плохо вашей Феничке. Только вы можете в этом помочь. Буду ждать вас на вокзале. Феня».

Чиновник, принявший телеграмму, удивленно взглянул из окна своей будки и улыбнулся Феничке.

Не торопясь возвратилась пешком домой, не чувствовала усталости,— походка была спокойная, ровная, нога твердо ступала на асфальт и легко отдавала туловищу, и все время внутри было такое чувство, что жизнь — это радость, надо только жить и не так, как раньше, не задумываясь, отдаваясь влечению, а каждый поступок внутри себя осознать, почувствовать его потребность в себе и тогда только решиться на него. Нужно только привыкнуть к этому, а потом все помимо воли, без напряжения будет решаться само, внутри.

И комната не показалась пустой или одинокой, и не было странно, что не слышно в противоположной тихих и мерных шагов

отдыхающего от занятий Бориса,— прозрачный полумрак немеркнувшей ночи наполнил ее умиротворенной тишиной и спокойствием. Достала конверт, бумагу, хотела писать, но почувствовала на груди медальон, давивший рубином, вынула его, раскрыла и, взглянув на Бориса, ощутила его в себе,— дыхание стало глубоким, ровным — знала, что это теперь на всю жизнь и никто не сможет отнять у нее любимого, потому что он живет в ней во всей и каждая кровинка ее — это он, каждая мысль — от него, каждая радость — от непорочности. И даже не поцеловав его карточки, как раньше, закрыла медальон,— щелкнула крышка и рубин снова упал на грудь.

Письмо к Никодиму было простое, ясное и не было в нем ни одного недосказанного слова.

«Неизвестная, Никодим, это я — Феничка. Теперь Вы для меня человек, которому нужен близкий и искренний друг. Мы разошлись, не сойдясь, и я счастлива,— между нами нет недосказанной пустоты, нет ревнивого прошлого. Ваш товарищ читал мне отрывки из Вашего письма, и я послала пока сколько у меня было с собой. Деньги для Вас и для Ваших товарищей. Вызвала срочно дядю Кирюшу, он должен помочь мне вырвать Вас из Сибири. Ваша Феничка».

Утром отправила письмо заказным и поехала на Николаевский встречать дядю Кирюшу,— решила дождаться скорого или курьерского. Вышла ко второму поезду и чрез несколько минут столкнулась с дымившей дядиной трубкой. Сухое бритое лицо на один момент нервно передернулось, трубка слегка подпрыгнула во рту, и сейчас же стальные глаза прояснились улыбкою.

— Что случилось?! Говори!

— Ничего, дядя Кирюша,— мне, просто, нужно с вами поговорить.

— Сумасшедшая, и из-за этого посылать срочные телеграммы, доводить до отчаяния мать... Иди и сейчас же успокой ее телеграммой.

С веселой песенкой автомобильного рожка опять с дядею, инженером Дракиным, пенькотрепальщиком, в кепке, в английском пальто, с желтым кожаным ручным чемоданом,— только самое нужное — бритва, табак, дорожная чернильница, бумага, марки, конверты, смена белья. Всегда напряжение гибкое и упругое, острая память — кому, когда, сколько и от кого,— бесконечные змеи канатов, ленты мужицких возов с пенькою и коренастый, рыжий английский техник-установщик и всюду, всегда сам инженер,

стальным взглядом окидывающий и людей и вещи. Голос ровный, не повышающийся и не понижающийся с кем бы ни говорил — рабочие, мужики, семья... И только с Феничкой — веселый, простой, заботливый.

— Ну, рассказывай, как живешь!.. Сумасшедшая ты... Люблю я ваш Петербург — весной его не узнаешь...

— Дядя Кирюша, вы все можете, правда?!

— Только я теперь голоден — заедем куда-нибудь.

За столиком на Михайловской в польской столовой, прислушиваясь к гулкому вечернему Невскому, тем же спокойным голосом, раскуривая душистую трубку...

— Ну, что случилось?..

— Дядя Кирюша, милый, мой друг сослан в Сибирь... Товарищи его убеждены, что кто-то ему подложил прокламации и шрифт, произвели обыск, а потом сослали... Петровский, бывший мой репетитор...

— А я думал, что ты вызвала меня познакомиться с женихом, порадоваться твоей радостью...

— Мой жених, дядя, ушел от меня...

Молча, взглядом спросил, осторожным, внимательным, говорившим: «Если нельзя прикасаться к этому, я не настаиваю».

— ...и в этом моя вина, дядя,— вы меня с ним и познакомили... помните, в дворянском, на студенческом вечере... Борис Смолянинов...

Через несколько дней инженеру Дракину обещали, что студента Петровского из сибирского захолустья переведут в Тобольск и начнут по его делу следствие. Лионский кредит жандармского полковника сделал любезным, внимательным к просьбе инженера Дракина, а в министерстве обещали даже в ближайшее время вернуть Никодима и разрешить право жительства в столице.

Снова Кирилл Кириллович купил подарков племяннице, оставил ей на расходы и уехал сдавать, принимать, подсчитывать и наслаждаться ритмичным грохотом машин и гулом людских голосов.

Каждый день начинался для Фенички ожиданием письма. После отъезда дяди она сейчас же, проводив улыбкой его дымящуюся трубку, послала Петровскому деньги.

Просыпаясь, радовалась своей молодости, красоте, упругим мускулам, сладко потягивалась, снова закрывала глаза и мечтательно

вспоминала сны,— в вагоне, почему-то с дядей Кирюшей и в окне — голые скалы, нависшие над ущельем и только наверху кривые изогнутые березы, горы неожиданно суживаются, скалы острее и выше и дышать все труднее, потом будто поезд ныряет в туннель и дышать уже нечем. Потом дядя Кирюша погасал в сознании, но внутри, во всей ощущение близкого и любимого, которого она ищет; в туннеле — кружится голова, легкая тошнота странно и приятно душит грудь и перед нею весеннее петербургское солнце.

Легкая тошнота остается и после пробуждения, появляется обильная слюна, и Феничке кажется, что она голодна. В одной рубашке, босая, она соскакивает с постели, роется в нижнем ящике бельевого шкафа, достает котлету и хлеб, откусывает и через минуту бросает все в корзинку и начинает грызть леденцы, тошнота не проходит, и она решает, что надо пить кофе. Кофе успокаивает тошноту, бодрит, и Феничка бежит получать последние зачеты на курсах. Так, не переставая, продолжается все время, и где-то внутри она начинает вспоминать, что то же самое было с ней, когда она ела ягоды на скамейке около монастырской дачи, и всю ее заливают горячая радость,— боится поверить в счастье свое, прислушивается к каждому движению мускулов и биению сердца, ощущает сознанием тошноту и чувствует, как начинают загораться от нежданной радости щеки, лицо, шея и как эта горячая волна заливают ей грудь и от живота волнующе идет по ногам. Хочется крикнуть от счастья...

Чувствовала, что теперь у ней в жизни большое, новое, и она вся обновленная своим очищением — новой жизнью, живущей внутри ее, и что после этого никто и ничем не сможет ее осквернить. Ходила гордая сознанием зачатия новой жизни, бережная к себе — движения стали еще более плавными. Заплетая косы, взмахивала широко руками, точно весь мир охватить хотела и, любовно перекидывая на грудь два золотистых снопа, ласково перебирала пальцами пряди, думая о Никодиме. Один жил внутри, а другой — в жизни, о котором рождалась забота и беспокойство. Не дождавшись ответа, написала второе письмо,— ласковое и спокойное:

«Никодим, милый, сердиться на меня не за что, я все та же, и Вы для меня близкий, самый близкий мой друг... Может быть, в Вашем страдании есть и моя вина, я должна была больше о Вас заботиться и беречь Вас. Дядя Кирюша был и все, что мог, сделал... Может быть, мы скоро увидимся. Знайте, что у Вас, кроме меня, никого нет, я заглажу свою вину и буду для Вас большим и сильным другом. За деньги не обижайтесь, они не только для Вас — для всех Ваших. Завтра я уезжаю домой и осенью перехожу на медицинский...»

О переходе в медицинский институт само написалось, вырвалось изнутри, потому что хотелось теперь жить не для себя только, а для всех, весь мир охватить руками, каждому помочь, так же как Никодиму и его товарищам.

Отправив письмо, пошла по Каменноостровскому, долго сидела в парке против Народного Дома, вернулась домой и нашла от Никодима письмо:

«Деньги я получил и взял, но если бы они были действительно «от неизвестной», мне бы было более приятно ими пользоваться. О помощи я Вас не просил и воспользоваться ею мне будет очень неприятно. К сожалению, для меня дорога и нужна свобода...»

Бережно сложила письмо и, пряча, подумала,— какой он еще большой ребенок. Не хочет отказаться от своего самолюбия и старается обидеть меня,— глупый...

II

Лето пронеслось стремительно. С каждым днем замечала в себе перемену,— не интересовалась знакомствами, не заглядывалась, как раньше, мужскими глазами, не искала в них перепутных огней молодости. Созревала, наливаясь душистым соком любви к будущему существу, ждала в себе его признаков; засыпая, прислушивалась к себе — не шевелится ли новая жизнь, и от этого момента ждала чего-то особенного, таинственного и невыразимого. Иногда к ней приходил Кирилл Кириллович, слегка возбужденный рабочим днем, и звал кататься. Вместо английских лошадей появился бесшумный фورد и вместо рослого кучера — приземистый угрюмый шофер в кожаной кепке и куртке — безмолвный и сосредоточенный. Про Кирилла Кирилловича говорили, что он сошелся с женой управляющего канцелярией губернатора, Костицыной, флиртовавшей с ним целый вечер в дворянском собрании на студенческом балу, где она продавала шампанское. Летом Костицыной в городе не было, и Феня не могла узнать правды, спросить об этом у дяди стеснялась. Дракин племянницу увозил за город, садился за руль, и начиналась сумасшедшая езда,— Феня устраивалась рядом и всю дорогу в ее руках рывкал, давясь и хрипя, рожок. Ветер хлестал волною в лицо, трепал лиловую вуаль Фениной шляпы, задевая Кирилла Кирилловича, тот фыркал, что-то кричал и усиливал ход. Утомленные безумной ездой, останавливались где-нибудь по дороге в деревне или на будке, пересекая полотно железной дороги, пили молоко, ели в мужицкой хате яичницу и возвращались домой ужинать.

У руля часто садилась Феничка, с наслаждением правила и чувствовала, что машина такое же живое существо, дышащее, вздрагивающее и покорное ее воле. Руки крепили, становились мускулистыми, и утомление было приятным. Дракин поглядывал по сторонам дороги, опытным взглядом окидывая конопляные поля, подсчитывая в уме виды на урожай. Теплые, почти горячие июльские вечера кружили Феничке голову запахом цветущей конопли, горьковатой и маслянистой, как поцелуй, от которого можно потерять голову и ослабеть,— начиналась легкая и приятная тошнота, руки опускались и несколько секунд машина шла одна, Кирилл Кириллович хватался за руль...

— Что ты делаешь?.. Править надо. Свалимся в ров.

— Не могу, дядя... голова кружится от этого запаха.

Дракин усиливал ход, Феничка туманными глазами умоляла дядю ехать медленней, чтобы надышаться этим одуряющим запахом.

— Дядя Кирюша, милый, поедете тише, совсем тихо...

Ворчал, но все-таки замедлял ход...

Возвращались затемно, подъезжая к городу, пересаживались, и снова машина шла полным ходом, а Феничкины руки, не переставая, сжимали баллон.

В цветение конопли, по утрам, Феничка звонила дяде в контору. Острый деловой голос инженера, услышав в трубке вздрагивающий и поющий голос племянницы, делался веселым и мягким.

— Алло, у телефона. Кто говорит?..

— Дядя Кирюша, разрешите машину взять,— в поле хочу...

— Только шофера слушаться!..

— Буду, дядя Кирюша, буду...

Выехав за город, садилась сама у руля и ехала по шоссе, задерживая ход в коноплянниках, и, надышавшись до тошноты, допьяна, пускала на полный ход. Шофер злился, кричал на ухо ей, на поворотах выхватывал руль, но никогда не жаловался Дракину. Иногда, встретив Журавлеву, сажала ее с собой, заезжала за Ивиной, за студентами и выезжала за город, снова менялась местами с шофером и, перед тем как пустить машину, шептала ему,— помогайте мне, вихрем хочу! Валька хваталась за Карпова, визжала от страха, Ивина ловила Феничкину вуаль, дергала ее и кричала:

— Я упаду, упаду, вывалюсь!

Карпов, непривычный к такой езде, побрякивал и храбрился:

— Вот это я понимаю, вот это хорошо, таких шоферов люблю.

Компанией заезжали, как и с дядей, в деревню; мужики удивлялись, бабы ахали...

— Ну и барышня, прямо казак!

Бродили целый день, к вечеру возвращались на завод до гудка, Феничка забегала в контору, тормозила дядю Кирюшу:

— Идемте, дядя Кирюша, довольно сидеть вам, едемте с нами, весело будет.

Кирилл Кириллович хмурился, морщился, пробовал рукой свои щеки и, не выдержав, улыбался.

— Кончайте, господа, на сегодня довольно.

Служащие складывали книги, Кирилл Кириллович звонил несгораемым шкафом, бросал связку ключей в карман:

— Молодая хозяйка сегодня хочет гулять!.. Вечером приглашает вас на веранду в общественный сад ужинать!

Безусый счетовод, после ухода всех из конторы, звонил в буфет, предупреждая метрдотеля:

— Сегодня Кирилл Кириллович с племянницей будут ужинать!..

Посреди веранды составлялось несколько столов на приблизительное количество персон, и повара в такой вечер,— довольно редкий,— усиленно стучали ножами на кухне.

Общественный сад небольшой, уютный, на берегу реки, веранда почти над обрывом, наискось к саду и музыка — симфонический оркестр из учеников и преподавателей музыкальных классов.

Врывались веселой и дружной компанией, зазывали с собою знакомых студентов, курсисток, ужинали, шумно аплодировали оркестру, пили все, что придется, и все, что закажет сосед, пели студенческие песни, и весь сад оживлялся весельем искренним и безалаберным.

Феничка, наполнив один бокал вином, тянула его весь вечер, ей просто весело было с молодежью, и, вспоминая о Никодиме, подымалась и говорила студентам и курсисткам:

— Коллеги, мы не должны в нашем веселье забывать и тех, кто теперь в Сибири.

Дракин морщился и, обрывая Феничку, говорил:

— Я думаю, что об этом никто из нас не забывает, но мы собрались сюда повеселиться, а не произносить политические речи!..

Феничка вскакивала и заявляла:

— Я, дядя Кирюша, речей говорить не умею и не хочу,— я только хотела всем предложить собрать денег и послать им туда.

Вынимались рубли, полтинники, покрывавшиеся сотенной Дракина, и все отдавалось Феничке. Наутро она отправляла собранное на имя Никодима Петровского.

Один раз, возвращаясь вместе с дядей Кирюшей с обычной прогулки в автомобиле, она получила от него подарок — небольшой дамский никелированный револьвер. Дракин остановил машину, вышел из нее и предложил Фене поучиться стрелять. Подарок сперва изумил ее, но потом обрадовал.

— Дядя, но зачем это мне?!

— Для самозащиты, Феничка! Ты часто ездишь за город только с шофером. Лучше всего всегда надеяться только на себя. Это верней всего!

Отдачи почти не было, стрелять было легко, и один раз она даже попала в телеграфный столб,— дядя Кирюша прилепил на него ком земли.

Подъезжая к дому, Феничка заявила ему:

— Теперь, дядя Кирюша, я и одна могу ездить, защитник у меня есть, а править я выучилась.

— Голову сломаешь себе.

— Одна я не буду летать сломя голову и голову не сломя.

Через несколько дней Дракин прислал племяннице и костюм — кожаные кепи и куртку.

Одной было приятней уезжать за город,— знала, что никто ей не поможет вовремя повернуть руль или вырвать его из рук, и нужно всегда самой следить за скоростью, управлять и чувствовать машину; устремив через стекло взгляд, она внимательно следила за каждым поворотом, за каждой извилиной дороги, и с каждым днем в ней укреплялась воля. Устремленный взгляд был задумчив, и хорошо было прислушиваться к ровному дыханию машины и к самой себе, ожидая, что, может быть, в эту минуту и в ней просится новый, живой, биение которого будет созвучным ровным ударам ее сердца, и, чувствуя в себе любимого, она думала о Никодиме и сливалась с машиною.

Иногда днем Феничка сбегала в контору или отыскивала Кирилла Кирилловича на заводе и ходила с ним по мастерским; рыжий англичанин почтительно шел за хозяевами. Дракин, увлекаясь, объяснял Феничке производство:

— Завод, это — большой, сложный организм, у него есть своя душа, свои нервы. Человек должен слиться с машиной, стать частицей ее, дать единую гармонию труда. Каждое движение его должно отвечать взмаху колеса, он не должен делать ни одного лишнего движения, каждый поворот руки, наклон туловища должен соответствовать затраченной энергии машины; неорганизованный труд скорее обессиливает человека. Да, мне деньги нужны, очень нужны. Мне хочется сделать наш завод центром всего производства этой отрасли труда. Я вижу перед собой бесконечные корпуса, десятки тысяч рабочих, станков, чувствовать дыхание целого и быть его центром. Поверь мне, тогда не будет конкуренции, незачем будет искусственно понижать или повышать цену на фабрикат, тогда я смогу диктовать цену, ставить условия... И рабочие не будут зависеть от рынка,— сам труд, его организованность не будет его эксплуатировать. Да ведь я — может быть,— я, капиталист,— делаю для социализма больше, чем сами социалисты. Для меня,— может быть, этому никто не поверит,— не накопление ценностей важно, а труд, его организованность. Я завтра же буду готов отдать это все им, но никогда не откажусь, ни за что, от своей идеи и — чего бы мне это ни стоило — останусь во главе того, что я создал. Мне противно даже само слово капиталист, я не больше, чем любой управляющий. Денег я швырять не стану на свои прихоти, потому что я знаю, что завтра же от меня отвернутся мои рабочие и моя идея труда погибнет...

Лицо Кирилла Кирилловича было возбужденным, глаза, что казалось необычным для него, вспыхивали неожиданно острыми искрами, рука широко проводила по воздуху, точно по ее мановению могли возникнуть бесконечные корпуса и весь этот муравейник людей мог разрастись до бесконечности.

Феничка слушала дядю Кирюшу внимательно, и его возбуждение передавалось ей.

— Дядя Кирюша! Я вас люблю... Вы какой-то совсем другой, новый...

Выходя с завода, Кирилл Кириллович обнял ее за плечи;

— Это оттого, Феничка, что ты стала иной,— жить начала, выросла!

Однажды вечером, когда дядя Кирюша пришел ее звать на студенческий вечер, она отказалась.

— Я не поеду, дядя Кирюша!

— Почему, Феничка?..

— Я теперь не принадлежу сама себе...

— Не понимаю тебя.

— Только не смейтесь и не удивляйтесь... Я теперь не принадлежу себе, во мне живет новый человек, и я не смею волновать его — он, это — я...

Сказано было просто, ясно,— бритое лицо Дракина стало серьезным и заботливым... Феничка не хотела слышать вопросов и сама кончила:

— Вероятно, в январе у меня будет ребенок... Я его очень хотела! Он — от любимого, дядя! Вы будете ему крестным отцом...

— Теперь я понимаю, почему ты стала взрослой. Это хорошо, Феня... А мать знает?!

— Я ей сама скажу. Только, дядя Кирюша, вы мне должны во всем помочь... он будет тоже одним из кровавых шариков в организме труда... Правда, дядя Кирюша?!

О появлении на свет нового существа знали только стены Гракинского дома. Мать не нашла силы протестовать и возмущаться, — жизнь ее Фенички, после того как она ушла в новую половину, к Дракину, откололась от нее,— она верила в брата, в его силу и влияние на дочь. Появлению новой жизни Антонина Кирилловна обрадовалась и освободила Феничку от забот:

— Ты сама теперь мать,— сама должна знать, что делать...

— Я, мама, должна кончить ученье и для себя и для него, для Бори.

— Дело твое, сама знаешь,— зато у меня теперь будет дело и скучать с монашками некогда будет...

Осенью Феничка снова уехала в Петербург. Изредка продолжала писать Никодиму, регулярно посылала для него деньги,— Петровский молчал. Кирилл Кириллович, ни слова не говоря племяннице, летом съездил в столицу поторопить в министерстве освобождения Петровского, и теперь уже, когда Лионский кредит сделал снова начальство внимательным и любезным, было обещано возвращение сосланного студента.

III

Осенние вечера с туманными улицами и фонарями, с засекающим стекла мелким дождем и заглушенным гулом трамваев для Фенички были тем же дыханием сложного организма жизни. Возвратившись из института, не зажигая огня, ложилась на постель и старалась

представить себе ребенка. Тоски не знала она, некогда было, а печаль грустная, полная любовью к далекому, заволакивала глаза тишиной сумерек. Тосковали тело и руки, не чувствовавшие живого и теплого тельца — ласкового и уютного в своем плаче от голода, когда маленькие губы жадно хватали сочную ягоду соска и, чмокая, всасывали силу и жизнь, от их прикосновения Феничка вздрагивала и улыбалась, и улыбка разливалась по всему телу, пока насытившийся комочек не отваливался от груди и не засыпал. Хотелось и теперь тоскующими руками почувствовать и отдать ласку матери, самое главное, нужно было отдать эту силу, иногда даже давившую ее своей настойчивостью. Но сейчас же подавливала в себе это чувство, зная, что весною, после зачетов, она снова будет около Бориса, и это пройдет.

Затапливала печку, грелась се теплом и веселыми огоньками, сновавшими по поленам березы, грела чай и садилась учиться. Каждая страница была приближением к тому дню, когда она станет частицею всего организма и будет участвовать в сложном обмене веществ жизни. Представлялся дядин завод, амбулатория, точный ланцет или трубка...

От Никодима не ждала писем и не знала, что с ним. Посылаемые деньги обратно не возвращались. Писала ему по-прежнему, но с каждым месяцем реже, только чтобы знал, что есть человек, к которому он может прийти и отдохнуть.

В один из вечеров, утомленная беганьем в институте и по городу — отдыхала в сумерках.

Постучал кто-то в дверь,— думала, что хозяйка с письмом или случайно за чем-нибудь Журавлева.

— Войдите...

Кто-то поставил у двери что-то тяжелое, закрыл ее и нерешительно остановился.

Почти незнакомый голос спросил:

— Фекла Тимофеевна здесь живет?..

Испуганно вскочила с постели, почему-то подумалось, что вошел тот рыжий, фамилия которого забылась уже.

— Кто здесь?!

— Я, Петровский...

В старом расстегнутом пальто с оборвавшимися карманами, в помятой институтской фуражке, в той же черной тужурке с протершеюся подкладкой и обтрепанных с бахромой брюках, худой, нерешительно остановившийся у двери... Ввалившиеся глаза ярче

подчеркивали желтизну обтянутого лица. Волосы спадали на лоб отдельными тощими ровными прядями.

Феничка, подходя к столу, машинально поправила волосы и, вставив штепсель, обернулась к Петровскому. Обернулась и застыла у стола, слегка откинувшись назад и опершись о него руками. Выражение лица и всей фигуры у Никодима было измученное, нерешительное; увидев Феничку,— он тоже представлял ее иною,— она показалась ему выросшей, совершенно изменившейся, беспомощное выражение ее глаз, вечно искавших чего-то и вызывающе ждущих, сменилось ясною и спокойной улыбкой, независимой, может быть даже гордой. Молчание было мучительным и напряженным, каждый ждал друг от друга первого слова, от которого, казалось, зависело все, что между ними произойдет в будущем. У Фенички даже промелькнуло, что она теперь не могла бы и любить такого, и ее всю охватила жалость, захотелось быть близким другом, влить в него свою силу. Руки оторвались от стола, Феничка качнулась, тихо подошла к Никодиму и протянула ему руки. Назвать на ты не решилась...

— Никодим, милый, что с вами?..

Петровский взял ее руки, сжал, и голова его опустилась, пожатие ослабело, но он все еще держал Фенины руки, боясь выпустить их, точно после этого он потеряет что-то неизмеримо ценное и никогда уже потом не найдет этого. Глухим, слабым голосом ей ответил:

— Я к вам...

— Раздевайтесь, идемте ко мне, идемте...

Пока согревала чай и возилась в комод, доставая поесть, Никодим сидел на диване, оглядывая комнату и ее — Феничку. Непривычная обстановка,— спокойный стол, лампа с накренившимся зеленым абажуром, кожаный широкий диван с высокою и прямой спинкой, на которой во всю длину дивана была сделана полка,— на ней книги, бокал с цветами, напротив постель, застланная теплым одеялом, большой шкаф, этажерка с книгами, Феничка — выросшая как-то за эти годы отсутствия,— созревшая радостной жизнью. Непривычная обстановка давила его после байкового одеяла, грязной избы, а потом низкой неуютной комнаты в городе. От вокзала до самого дома, таща порывевший чемодан, думал, что зайдет на минутку к ней, всего на одну минуту, чтобы только сказать, что он писем ее не читал — каждое аккуратно сжигал нераспечатанным и что деньгами ее не пользовался вообще, и только последнее время, когда очень был болен и не мог работать, брал эти деньги, а теперь пришел ей сказать, что их он вернет, вернет обязательно, как только

найдет какой-нибудь урок и устроится в институте, а это обязательно будет, иначе бы он не поехал в Петербург,— не ради же Фенички он приехал сюда. И все время собирался сказать Феничке, зачем он собственно пришел, но она почти не обращала на него внимания, готовила чай и закуску.

Застлав белой салфеткой на краю письменного стола и приготовив чай, Феничка села около Никодима и повторила те же слова:

— Никодим, милый, что с вами?..

Голос ее звучал еще глубже и мягче, затронув в нем где-то дремавшее чувство, задушенное им самим упорно и настойчиво.

— Я пришел вам сказать, и это я обдумал давно, еще там, что собственно я... Немного не так, но это все равно! Понимаете, я вашими деньгами не пользовался, я их отдавал своим товарищам... Если б вы видели, господи, если б вы видели, как они живут... После этого вы не стали бы жить так, понимаете,— не могли бы, кусок хлеба не пошел бы вам в горло...

И, вспомнив о том, что давно уже не ел,— второй день ехал голодным и отворачивался к стене, когда внизу у оконного столика ели его спутники,— жадно взглянул на приготовленную закуску, но подавил в себе голод и глотал слюну,— он на вокзале напился воды, столько воды, чтобы не чувствовать голод, продолжал, понижая голос:

— Я не хотел пользоваться вашими деньгами и собственно я ими не пользовался, но меня, понимаете, заставили, когда я одно время был нездоров...

И не dokonчил,— голос сорвался как-то...

Феничка схватила его за руки,— руки холодные были, влажные и от волнения слегка вздрагивали.

— Бедный мой!..

И после этого он почувствовал, что в нем не осталось больше сил, что он собрал в себе все, что были, чтобы высказать все, и их не хватило в нем... Может быть, даже это оттого, что его тошнит от голода и ужасно раздражает поставленная на стол еда, и у него даже мелькнуло, что он не прикоснется к ней, а скажет последнее, самое важное, и уйдет, и когда Феничка неожиданно поднялась, не выпуская его рук, поднялся и он и двинулся за нею, собственно у него не осталось сил сопротивляться голоду и он решил — выпить всего один стакан чаю и съесть кусок хлеба, чтобы только утолить голод и уйти, сейчас же уйти от нее,— он даже не знал, куда он пойдет, но, собственно, он об этом не думал, потому что тут и думать нечего, ну

просто куда глаза глядят, может быть, даже в ночлежку, а сейчас,— он повиновался не голосу Фенички, а желанию утолить голод, и главное, что Феничка сказала ему опять на ты, может быть, он и потому еще пошел с нею к столу, просто в нем не хватило сил выдержать этого дрогнувшего страданием женского голоса.

— Зачем ты себя довел до этого?.. Ну, ешь, ешь, говорить будем после...

Никодим быстро и жадно глотал чай и, не прикасаясь ни к чему, взял только кусок хлеба, намазанный маслом, и все время думал, как он встанет и скажет ей главное, что он уходит от нее и никогда больше не вернется,— общего ничего нет и не может быть...

Все время обдергивал свою тужурку, и когда окончил стакан — голова закружилась, от еды затошнило, и он ясно помнил еще, что встал, сделал несколько шагов по комнате и неожиданно пошатнулся, — потемнело в глазах и все предметы закружились и заплясали.

Феничка успела его подхватить, положить его на диван и начала расстегивать ему рубашку. Сбросила воротничок — пожелтевший от пота и почерневший от дорожной пыли. Тело было влажное, исхудавшие ключицы резко выступали, обтянутые такою же желтою кожей, как и на лице.

Движения ее были неторопливы, но быстрые и уверенные,— сняла полотенце, смочила его над умывальником и один конец положила на лоб, другой на грудь, поправила его, чтобы удобнее было лежать, подложила подушку под голову,— волосы змеиными тонкими прядками упали на лоб — откинула их, пригладив рукой, и прислушивалась к дыханию. Потом села около него на диван и, придерживая рукою полотенце на лбу, шептала:

— Никодим, разве можно себя доводить до этого?!

Ей показалось даже, что губы его шевельнулись, и она опять повторила:

— Зачем ты себя замучил?!

И снова, как только он почувствовал, что сознание к нему возвращается, он начал вспоминать где он,— сперва показалось, что он едет в вагоне и с жадностью смотрит на евших спутников и его затошнило, потом голова опять закружилась и он увидел себя в Петербурге, плутающим по забытым улицам Петербургской стороны, потом увидел себя в комнате Фенички и опять вспомнил, зачем он пришел к ней. Открыл глаза, удивленно взглянул на Феничку, потом сообразил, что он в ее комнате, и ему, очевидно, от голода стало дурно. И сейчас же, откинув Фенину руку, напрягая последние силы и

волю, встал, сделал несколько шагов к двери, обернулся и начал говорить то, что он собирался сказать и зачем, собственно, пришел:

— Я пришел к вам только затем, чтобы сказать, что я деньги верну вам и никакой помощи мне не нужно... А теперь я пойду!.. Ничего больше, я все сказал... Я пойду.

Феничка подошла к нему, опять взяла его за руки и спросила:

— Никодим, куда ты пойдешь? Куда?!

— Мне нужно идти... Нужно... Туда...

— Но ведь тебе некуда идти, Никодим! У тебя кроме меня никого нет!.. Куда же ты пойдешь?! Куда?.. Зачем?!. Ты никуда не пойдешь — тебе больше некуда идти, ты останешься у меня... Тебе ведь некуда больше идти, некуда!

И когда он услышал ее вопрос, — куда же ты пойдешь? Тебе ведь некуда больше идти! — он почувствовал, что, действительно, ему идти больше некуда и никого кроме нее у него нет. И сразу он ослабел окончательно, до этого все еще пытался уйти, порывался сказать самое важное, а вышло так, что самое важное ему сказала Феничка, — ты останешься у меня.

Опустил голову, весь как-то поник и безвольно опять опустился на диван, но сейчас же обрывки бывшего напряжения разразились словами:

— Нет, я не останусь, я не могу остаться...

И сам начал ей говорить на ты:

— Пойми же, что мне незачем у тебя оставаться...

— Смотри, уже скоро одиннадцать! Тебе придется будить дворника, бродить по улицам с чемоданом, тебя сейчас же заметят, отправят в участок и, пока ты докажешь свое право жить в Петербурге, тебе придется сидеть арестованным.

Инстинктивно еще сопротивлялся...

— Ну, скажи, ведь тебе сейчас некуда даже идти! Скажи правду?

С трудом выдавил:

— Теперь никого нет... Ты не знаешь, как тяжело сознаваться, но теперь у меня никого нет, мы ведь разбиты, и я только хотел посмотреть, начать что-нибудь сам.

— Тебе отдохнуть надо. Бороться имеют право только сильные. Сильные не только душой, но и телом. Нужно выносливым быть, закаленным, на все готовым, а у тебя ведь не осталось сил, ты еле стоишь на ногах...

Села близко около него, опять взяла ласково его руки...

— Зачем ты довел себя до этого? Ну, зачем?! Видишь, какой ты больной, слабый, разве место таким в борьбе?.. Вот посмотри на меня, я теперь совсем другая...

Как эхо отозвалось у него в груди:

— Да, другая...

— Я теперь жизнь чувствую, научилась любить ее... Я не девочка и для меня теперь в жизни все так просто и ясно... И тебе, Никодим, нужно таким же быть...

— Я знаю, Феня, мы сейчас разбиты и мне сейчас некуда идти, но я знаю, что это временно, вот это сознание живет во мне глубоко, и я верю в него. Мы сейчас бессильны, но время за нас... Да, мне идти некуда и мне горько в этом сознаться, мне тяжело было идти к тебе, я ехал сюда, чтобы начать что-то свое, новое, и сразу почувствовал, подъезжая к Петербургу, что собственно я ехал к тебе и письма я тоже сжигал, может быть, потому только, что боялся их, боялся, что... у меня нет слов, нет их у меня. Я боялся самого себя... боялся, что не выдержу встречи с тобой, и видишь — не выдержал, остался, потому что мне на самом деле деваться некуда. Я ведь в ночлежку хотел идти, но у меня и на нее нет даже двух копеек. Я с таким трудом дошел до тебя, вот если бы еще несколько шагов, и я повалился бы... Я не ел уже два дня... И больше всего я боялся, что тебя дома не будет и я не выдержу — сяду на порошках и разрыдаюсь... И хорошо, что я не читал твоих писем, в них я бы иную тебя увидел, такую, какой бы сам захотел, сам бы создал тебя и обманулся, наверное, даже обманулся бы. Ты теперь стала совсем иною, я не знаю только какой, но что-то особенное в тебе, непонятное... И так хорошо, что я жег твои письма...

Петровский, казалось, мог бы говорить без конца.

Тепло, тишина комнаты, спокойные большие глаза под ровными бровями и венком золотых волос успокоили его, согрели душу, и его потянуло к теплу, отдохнуть захотелось и поток его собственных слов успокаивал, разряжая напряженность пережитого.

Феничка взглянула на часы, выпустила его руки из своих, встала...

— Посмотри, уже час! Надо ложиться спать...

Слова ее были простые, ясные... Он говорил и думал, как он останется у нее, в одной комнате с нею, и не удивился, когда она сказала, что надо ложиться спать, потому что это было так легко и просто сказано, точно действительно иначе быть не могло.

— Пусти, я постелю на диване...

Отошел к столу и стал перелистывать книгу.

— Ну, готово. Я на диване лягу, а ты ложись на моей постели...

— Лучше я на диване... зачем же?... Нет, ни за что...

— Тебе, Никодим, отдохнуть нужно, ты ведь измученный... Посиди у стола... Я потушу на несколько минут электричество и разделюсь, а потом ты ляжешь.

Подошла к столу, вынула штепсель,— не успел возразить и опять почувствовал, что иначе не могло и быть, и покорно остался в темноте у стола.

Никодим разделся, лег и в темноте снова начал говорить — успокоенный, согреваясь теплом и присутствием тут же, рядом, напротив этой постели — девушки или женщины. Слова постепенно замедлялись и ослабевали, голос затихал и когда сон затомил мысль — слова потухли.

Прислушиваясь к его дыханию, она почувствовала, что в ее комнате мужчина, ощутила это присутствие телом. Но и это не испугало ее. Мысли о нем перенеслись внутрь, медленно нарастало ощущение присутствия Никодима, оно волновало ее, и она не могла заснуть.

На время, когда она вся углубилась в ожидание новой жизни в себе, она не была женщиной, ни один раз не пробуждалось в ней желание; потом, после родов, она отдалась ребенку, ощущение его близости заменило все; возвратившись в Петербург, она не думала ни о чем, кроме занятий,— некогда было, работала для него, для будущего. И теперь, неожиданно, в первый раз, оторванная от ребенка, с тоскующими руками о ласке, с захватившей ее жалостью к измученному человеку, она почувствовала в себе снова женщину, но не ту, что металась и мучилась, а спокойную, радостную и удовлетворенную жизнью. Ощущение присутствия Никодима сразу пришло и разлилось по всему телу, точно голод, приходящий так же неожиданно и требовательно. И это нарастающее в себе желание вновь пробудившейся женщины, сильной, здоровой, радостной, было похоже на голод. Голова была ясная и только волновалось тело,— легкая дрожь пробежала от рук к ногам. Захотелось вытянуться, потянуться, глубже вобрать в себя воздух... И снова — жалость,— бедный... Жадности не было, было ясное желание, требовательное и насущное. Даже подумала,— почему он не чувствует этого, ведь это было бы так просто, и я бы его любила в эту минуту.

Заснула под утро, тяжело дыша,— голод мучительным стал, истомляющим. Почти не спала,— звонивший будильник в соседней комнате разбудил ее.

IV

Приготовила чай и ждала, когда проснется Никодим, раскрыла книжку и не могла читать, задумалась...

— Как это глупо, ужасно глупо!

Зашевелился, испуганно взглянул на Феничку.

— Одевайся, я пойду поговорю с хозяйкой. Пока ты будешь со мною жить.

С жадностью ел за чаем... Феничка сидела рядом такая же спокойная и простая, была только тяжесть в голове. Утром, одеваясь, решила, что пока, всего несколько дней Никодим поживет у нее, а потом она или отправит его к дяде или оставит для него Борисову комнату, последнее не хотелось ей, казалось, что тяжело будет входить в нее.

За чаем же начала:

— Ну, видишь, как просто все... Ты не верил, что я твой друг.

— И теперь боюсь верить. Мне все-таки как-то тяжело брать от тебя...

— А разве ты раньше не брал?.. Тогда это было для тебя легким и теперь так же должно быть... Только давай сделаем так, чтобы не я, а ты сам брал у меня сколько тебе будет нужно... Деньги лежат в столе, — не спрашивай и не считай... Они будут наши, общие...

— Да, раньше легче было их брать от тебя, раньше я...

Снова замедлил фразу и печально взглянул на Феничку, и опять она окончила ее в уме, — раньше ты любила меня, — подумал, провел по привычке по волосам и кончил:

— Раньше мы были другие...

Начала спрашивать:

— Что ты думаешь делать?..

— Учиться. Поеду снова устраиваться в институт...

— Послушай... отдохни.

— Отдыхать некогда, надо работать. Впереди еще столько дел!..

— Я хотела тебе предложить к дяде поехать. Ты вчера говорил, что хочешь работать, начать что-то свое, сам создавать... Он бы тебе помог!..

— Кто? Твой дядя?! Помогать своему врагу?!

И сразу лицо его загорелось, прорвались слова:

— Понимаешь, почему для меня тяжело пользоваться от тебя помощью... Дядюшка твой сок выжимает из человека, а племянница ради своего удовольствия, из человеколюбия и сострадания, пригрела у себя на груди врага его и откармливает...

— Но ведь он помог тебе получить свободу!
— Великодушие победителя к уничтоженному врагу. Вот что!
Вскочила из-за стола и, сверкая глазами, бросила:
— Никодим, Никодим! Ты не смеешь так говорить, не зная его.
Встал, прошелся по комнате и глухим голосом извинился:
— Прости, Феня! Это у меня сгоряча вырвалось!

После чая Никодим уехал в Лесной, Феничка закрыла за ним дверь, вернулась в комнату и ясно почувствовала, что он для нее чужой, измученный и ослабленный жизнью,— еще раз прислушалась к себе и кроме жалости ничего в себе не нашла,— глубоко жил в ней любимый.

Вернулся в сумерки. Феничка отдыхала,— сел на диван...

— Ну, что?..

— В институт примут...

Глухим голосом начал:

— А только не тот он теперь... По-прежнему толкотня, сутолока, а души нет,— вытравили се. Старых товарищей никого почти, а те, кто остался — слова говорят красивые. Звали работать с ними... Спрашиваю,— где, с кем?!. Много ли осталось работников?!

И, понимаешь, пустота какая-то, трескучие фразы,— мы, говорят, начали организовывать, нам нужны опытные, искушенные люди, за тобою пойдут, у тебя стаж... Ссылка для них стаж. Без декорации обойтись не могут! А студенчество!.. Понимаешь, чиновники в тужурках. Живого слова не слышал,— зачеты, экзамены, лаборатории. Спрашиваю,— с кем же работать,— с этими?! Машут рукой... Так с кем же они хотят работать?! Теперь работа оттуда должна начаться — с низов, а мы разбиты, разбились о революцию и успокоились. Парламентаризмом заражены... Эволюцией... Лучше, действительно, поеду к твоему дяденьке. Буду работать вместе с рабочими. Теперь очаги истины в мастерские превращены, и если придет что-нибудь, то только оттуда, само, потому что это должно сперва всех пропитать. Теперь это не из лабораторий придет, не из университетских аудиторий или кулуаров парламента, а изнутри вспыхнет, само, и вот тогда мы посмотрим, что будут делать вчерашние вожди. Тот, кто хочет быть у руля, должен над собою работать. Работать внутри сплоченной группы и не щадить изменников, потому что цель выше личности. И если каждый будет следить за другими, то изменников не будет у нас, некому изменить будет. Нужно, чтоб каждый шаг был известен...

— Но ведь это же ужасно... Это шпионаж! Каждый должен шпионом быть своего товарища!

— Ничего подобного. Бесконтрольность действий приводит к краху,— от этого мы и разбиты. Когда каждый будет знать, что его действия контролируются каждый момент и каждый его шаг известен, он будет осторожен с другими, не будет на ветер бросать слов и выбалтывать, потому что за этим не нравственная ответственность будет, а личная. И если ты чувствуешь себя слабым, сам уходи, не жди, чтобы тебя изгнали, потому что ты отвечаешь за каждое свое слово. А если ты преступление совершил — не скроешься никуда...

— Что же, вы убивать будете?..

— Выводить из строя. А как,— сами обстоятельства нам подскажут, может быть и убивать. Вот в такой партии не будет расхлябанности, и она будет компактна и, если ей придется действовать, она сумеет показать свою волю и закаленность!..

— Но ведь ты хочешь создать каких-то фанатиков.

— Да, фанатиков... Безгранично верующих в правоту своей идеи.

— Тогда ваша идея застынет, сделается благодаря фанатизму мертвой догмой...

— Нет, никогда! Кто хочет воплотить свою идею в жизнь, тот должен прислушиваться к ней и сейчас же приспособлять идею к жизни. Временно уступать жизни, чтоб направлять ее в намеченное русло. В гранитные берега жизнь влить... Если человек может заковать реку в сталь и гранит, то мы тоже должны это сделать с жизнью. Дисциплина сверху донизу!

— Поезжай к дяде... Он тоже говорил о дисциплине труда... Но все-таки все, что ты говоришь — жуткое что-то... Ужасом веет от этого...

Встала, прервала его:

— Давай чай пить.

— Ну, что ж, давай чай пить...

В то время, когда Никодим говорил, мелькнувшая у Фенички мысль о его озлобленности исчезла сама и вошло новое, чего она раньше, до его ссылки, занятая исключительно собой, своими переживаниями и вечным метанием, еще не чувствовала в нем. Может быть, он и не был тогда таким, может быть, ссылка его закалила и одинокие дни размышления и углубленности в свои переживания родили в нем эту суровую идею дисциплины партии. Внутренне она не могла принять всего, что он говорил, ее радостному миропонятию это чуждо было, поэтому вся она сопротивлялась его словам, но рассудком она приняла и особенно ее поразила

эластичность и приспособляемость к жизни не самой идеи, а способа ее воплощения.

V

Вечером, сидя вместе с Феней у топившейся печки, не зажигая огня, в полумраке,— ей было легко, ласково, хотелось без конца говорить о том, как хорошо жить, когда на душе ясно и не давит голова и руки не тоскуют без ласки,— спросил ее:

— Ты любишь меня?

Целый день об этом хотел спросить ее, потому что утром, когда не хотелось уходить от нее, говорил о себе, о своей любви, о том, что, может быть, она и тянула его в Петербург, только из самолюбия он не мог в этом сознаться даже самому себе и только когда это прошло, тут он сразу понял зачем его жизнь, во имя кого он будет работать и что, вероятно, и к дяде Кирюше поедет он,— может быть, действительно, с помощью его он начнет работать сам. Все время прерывал свои слова ласково и не сразу только заметил, не сразу почувствовал, что Феничка относится совершенно спокойно к этому, и его счастье не волнует ее.

Встал и странное промелькнуло чувство,— любит ли она его. Целый день собирался спросить и все время не удавалось,— утром, за чаем рассказывала, как летом ездила в автомобиле и сама правила, потом ее не было,— убегала в институт. Хотел попросить остаться ее, но она сама сказала, что должна идти,— не хотел нарушать ее дня. Во время обеда, в столовой, где они встретились, было много народу и неудобно было. И только когда села отдыхать у топившейся печки, спросил ее:

— Ты любишь меня?

И совершенно неожиданно вместо ответа сама ему задала вопрос:

— Зачем тебе знать это?!

— Как зачем!

— А не все ли равно тебе, люблю тебя или нет?!

— Конечно, не все равно!

— Ну, а если бы я сказала, что не люблю, что могло бы измениться в тебе после этого? Или ты меня из-за этого тоже, может быть, разлюбил бы?!

Даже растерялся — не знал, что ответить...

— Ведь не разлюбил бы, нет?..

— Никогда!..

Так значит тебе незачем и спрашивать меня — люблю тебя или нет?! Так ведь?!

— Но я хочу знать!

Зачем?.. Вчера ты меня не спросил, или, может быть, ты позабыл спросить?

— Вчера я от счастья голову потерял!

Вот видишь... Значит тебе хорошо было со мной?!

— Но ты меня любишь?

— Я тебе говорю правду, а ты требуешь от меня лжи!.. Ты хочешь знать, любила ли я кого-нибудь до тебя?!

— Да, Феничка, да, хочу знать!

— Тебе нужно мое прошлое, чтоб успокоить в себе эгоизм... Но ты ведь социалист! Разве тебе не все равно, любила ли я кого-нибудь или люблю и теперь? Ты говорил, что я кажусь тебе человеком грядущего... Может быть, это так и на самом деле... Для будущего нужно одно: чтобы любящий счастлив был. Ведь вот же я отдалась тебе, и разве ты не был счастлив, обладая любимой, не спрашивая меня в этот момент люблю я тебя или нет?! Так почему же я не могла взять от тебя твоей любви, если я знала, что для тебя это будет счастьем, а я смогу жить и радоваться своему бытию? Ну, понял ты меня, женщину?! И если мы взяли друг от друга то, что могли и хотели взять — разве этого мало?! Нам хорошо было вместе — этим все сказано, и прошлое, и настоящее, и будущее! Любишь меня и люби, не спрашивай, а собственности в любви я не признаю. Полюблю другого — уйду от тебя, и ты так же свободен... Мы не рабы! А если хочешь знать мое прошлое?! — Для меня его нет!

Молча сидел, наклонившись, и что-то думал.

Замолчала и Феничка.

Умом сознавал, что она права, а в душе была непонятная тяжесть. Пытался говорить о другом и замолкал. Феничку это опечалило только, но не давило.

Из института Никодим приезжал угрюмый и раздраженный, жесткий какой-то, ледяной.

Часто повторял, что все кругом пахнет гнилью, затхлостью и что действительно нужно встряхнуть жизнь и заново ее строить, пройти огнем и мечом ради очищения и спасения человечества. Повторял свою мысль о дисциплине. И однажды вечером, не заходя к себе, вбежал в комнату Фенички, бросил на стол портфель, подбежал к окну, ее подозвал и, показывая на улицу, начал говорить:

— Посмотри, ты видишь эту плюгавую рожу?

— Где?

— На противоположной стороне у витрины стоит...

— Ну?

— Шпик! Снова следить начал. Вот уже неделю, как замечаю его за собой, аккуратно встречает и провожает с Выборгской от паровичка и обратно. Убил бы его...

— Хочешь, я его убью?!

Подбежала к столу, достала револьвер...

Остановил ее:

— Оставь, этим ничего не сделаешь. Все равно ему нечего и следить, ведь я не работаю. Пусть гуляет... Ему тоже ведь жрать нужно... А все-таки это ужасно противно и раздражает. Я и не знал, что у тебя есть эта штука...

— Дядя Кирюша подарил...

В один из вечеров сказал ей, что, может быть, скоро начнется.

— Почему?

— На Волге голод. Ужасный голод,— люди едят кору, и правительство бессильно помочь голодающим. Вот то, что нужно для нас...

На курсах и в университете говорили, что правительство разрешило общественности прийти на помощь голодающим и предполагается устроить кружечный сбор.

Никодим первый раз за все время пошел работать и целые дни проводил в районном комитете,— хотелось приглядеться к студенчеству и курсисткам, ближе войти в их сферу. С утра в просторных комнатах присяжного поверенного толпилась молодежь, пахло соломой, клеем, бумагой,— лепили щиты, вязали пучки колосьев с искусственными васильками, накалывали булавки и заполняли щиты.

Петровский выдавал кружки студентам, а Феничка щиты с наколотыми пучками колосьев ржи. К десяти часам уже не хватило ни щитов, ни кружек, предложили купить, где придется, кружки, и самим, наскоро приготовить щиты.

В полдень только смогла Феничка с Петровским идти продавать колос.

Вбежала курсистка, худенькая, живая, и почти детским плачущим голосом обратилась к Феничке:

— Коллега, я уже в третьем районе, я очень, очень хочу продавать колос ржи! Вы разрешите мне с вами... Мы втроем продавать будем.

Никодим стоял у окна и морщился.

Феничка не могла отказать девушке и обратилась к Петровскому:

— Никодим, коллега с нами пойдет, будем втроем продавать,— вы согласны?

Петровский обернулся и встретил матовые выпуклые черные глаза девушки, просившие его взять с собою. Большие ресницы у ней от волнения непрерывно вздрагивали, глаза вспыхивали и снова становились матовыми и задумчивыми.

По середине с кружкою шел Петровский, по бокам Феничка и курсистка.

Выйдя из дома, девушка обратилась к Никодиму:

— Меня зовут Зина, и я не люблю, когда меня иначе называют — Зинуша, Зиночка, и вы тоже должны меня звать — Зина.

Феничка и Петровский удивленно взглянули на нее...

— А если мы познакомимся, тогда я вам скажу и фамилию.

И сейчас же подбежала к какой-то женщине, не спрашивая ее, наколола на грудь пучок колосьев и внимательно стала следить, сколько та опустит в кружку.

Рука протянулась с медным пяточком...

Зина вспыхнула...

— Послушайте, сегодня нельзя быть скупой,— там крестьяне едят кору с деревьев!..

Женщина растерянно посмотрела на Зину и вынула серебряный гривенник.

Никодиму это понравилось.

— А вы энергичная!

Феничка стояла задумчивая, смотрела на свой щит, униженный золотом сухих колосьев, и вспомнила снова слова Бориса:

— Волосы, как снопы с золотым зерном, каждая прядь косы — наливной колос. Благодатное лето в паневе праздничной и руки — острый серп радости, широкое и просторное в нивах раздолье — Лина...

— Феня, идемте...

— Иду, Никодим, иду!

VI

По всем улицам Петербурга рассыпались курсистки со студентами, продавали парами, и целый день в городе царило праздничное оживление. Пары влетали в трамвай, выкрикивали,— в пользу голодающих, колос ржи,— у всех прохожих на груди приколоты с васильком колосья, у многих по два, по три пучка, и все-таки, когда подходила новая пара, звенела медь, серебро, и кружки к обеду отяжелели.

В районных комитетах по-прежнему шла работа — готовили новые щиты и кружки. В каждом — пчелиный улей,— влетали, как пчелы, пары, озабоченные, живые, радостные, хватали новый щит, кружку и уносились на улицу.

Феничка подходила не торопясь, спокойно прикалывала пучок колосьев и взглядывала на человека настойчивым взглядом, прежде чем он опустит в кружку монету. Чувствуя на себе взгляд, тот не решался доставать гривенник или двугривенный и опускал полтинник, иногда рубль, но это делала она только с теми, кто казался ей не бедняком, к тем она, хотя так же и говорила, и так же прикалывала колосья, но добавляла при этом:

— Давайте, сколько есть, каждая копейка нужна.

После обеда на восьмерке доехали до военно-медицинской академии с новыми щитами и кружками и через Литейный мост — пешком по проспекту.

Из арсенала выходила толпа рабочих. Никодим подошел к ним с кружкой.

— Товарищи, давайте голодающим крестьянам.

Широкоплечий, угрюмый мастер в засаленной кепке бросил, почувствовав по внешности Петровского социалиста:

— Вам стыдно, товарищ, заниматься этим.

— Почему?

— Правительству мы помогать не должны,— это против нас.

Никодим молча отошел от него и в первый раз на него дохнуло тем, о чем он говорил Феничке, что это должно войти в каждого и, конечно, прежде всего в рабочего.

Какой-то худой токарь с чахоточным лицом, зло сверкая воспаленными глазами, кричал:

— Лучше я пропью этот пятак, а не дам...

Зина, побагровевшая вся, полушепотом,— от волнения у нее пропал голос:

— Не имеете права, вы должны положить, должны!..

Петровский грубо дернул ее за рукав, она удивленно взглянула на него и замолчала.

— Идемте, Зина, туда!..

И кивнул головою к проспекту.

Сели в трамвай и, проехав несколько остановок, хотели сойти. Зина неожиданно сверкнула глазами и заявила:

— Мы еще не были на вокзале!.. Там соберем. Едемте! На Николаевский.

Через залы прошли на перрон, из поезда в поезд по вагонам, в толкотне, в сутолоке.

Зине больше всего нравилась эта сутолока, где она с особым искусством ухитрялась у торопившихся людей настойчиво брать деньги.

— Послушайте, вы домой едете?

Пассажир с недоумением взглядывал на нее и, думая о багаже, носильщике, о том, чтобы поудобнее занять верхнюю лавку — в дороге поспать и обдумать все, что было с ним в столице,— отвечал торопясь:

— Домой.

— Значит вам деньги теперь не нужны, оставьте себе на извозчика и носильщика — остальное давайте в кружку.

Пассажир, чтоб скорее отделаться, доставал портмонэ и высыпал мелочь, вскидывая, торопясь, на верхнюю полку багаж.

Носильщик с тюками толкнул Зину:

— Шли бы, барышня, на перрон... Мешаете тут...

Зина взглядывала на грудь носильщика и прикалывала колосья.

— Почему у вас нет?..

— Некогда мне... оторвались... Сколько раз мне цепляли их... Все равно оторвутся.

Носильщик кряхтел, пытался достать деньги, ставил на пол багаж, в вагоне неслось раздраженно:

— Сто сорок пять, сто сорок пять, носильщик, вещи сюда, носильщик!

Занявшие уже места весело смеялись:

— Вот это барышня! Эта не пропадет. Молодец...

Кто-то добавил:

— И хорошенькая!..

Никодим, стоя сзади с кружкой, улыбался и тоже думал, что с таким человеком, действительно, не пропадешь, у такого — неожиданно появится мысль, может быть, даже абсурдная, но

поражающая человека своей необычайностью, и она смутит или заставит задуматься и даст возможность выиграть время, а это самое главное. И пока человек будет придумывать выход из этого абсурдного и неожиданного предложения, можно будет и самому вывернуться и придумать новое, а главное — с таким человеком вся жизнь будет горением. Невольно сравнил ее с Феничкой — спокойной, ровной и слишком разумной (благоразумной она не была, а разумной — изнутри — всегда).

Феничка и теперь, пройдя несколько вагонов, отказалась идти дальше.

— Я не пойду. Буду вас дожидать в буфете. Скорей только...

Вошли в рядом стоящий поезд.

В сутолоке, увлеченные продажей,— кружка полна и мелочь звенит в кармане у Никодима,— плавно колыхнулся вагон...

— Зина, идемте скорей...

У двери не пустил проводник:

— Не пущу, барышня, ни за что...

— Нам нужно, пустите!

Никодим спросил спокойно:

— Это куда?

— На Любани не останавливается, на Бологом ровно в двенадцать.

Зина, сверкнув мохнатыми глазами черными...

— Я так рада! С осени ни разу не ездила в курьерском!

Проводник открыл свое отделение, впустил их туда и пошел у пассажиров отбирать билеты, через несколько минут вернулся, достал из-под лавки чайник с горячей водой, заварил чай и начал закусывать,— вкусно пахло вареною колбасой и черным хлебом.

Зина жадно поглядывала на евшего и не выдержала:

— У вас вероятно очень вкусная колбаса, где вы ее покупаете?..

Тот удивленно посмотрел на девушку, улыбнулся, отрезал ломоть хлеба, положил на него два кружка колбасы и подал Зине:

— Проголодались, должно быть, барышня,— набегались за сегодняшний день. А колбасу я беру, где придется,— на Лиговке брал, в бакалейной...

Зина разломил пополам хлеб и подала половину Петровскому:

— Попробуйте, я еще такой никогда не ела.

Выпив стакан чаю, проводник сполоснул его, выплеснул в плевательницу и подал Зине:

— Не побрезгуете? Наливайте себе...

Перед Бологим вышли на площадку. Никодим, вспоминая что-то свое, сказал Зине:

— С таким удовольствием я пил чай в ссылке, когда приходил с работы.

— Господи, почему ж вы раньше этого не сказали?!

— Что чай-то пил?..

— Я еще никогда не видела ссыльных.

У Зины всегда мысль по-своему шла, она никогда не отвечала на вопрос, а продолжала говорить то, что думает, что волнует ее в тот момент, который почему-нибудь покажется ей особенно интересным и важным. Она никогда не встречалась с политическими, и эта встреча с Никодимом сразу же стала центром ее внимания.

Выйдя из вагона, Зина увидела станционного жандарма, вспомнила, что он, как жандарм, враг Никодима, сверкнула глазами...

— Я сейчас, Никодим, колос ему приколю...

Петровский не успел ей ничего сказать или остановить, как услышал уже ее слова:

— Послушайте!

Жандарм отдал честь...

— Мы с коллегой знали, что вы обязательно будете сегодня на станции, и решили поэтому приехать и приколоть вам колос ржи в пользу голодающих, но с вас денег мы не возьмем...

Жандарм от неожиданности схватился за грудь, думая, что на его жизнь совершается покушение, побагровел и хотел что-то сказать или крикнуть, но в эту минуту подошел Никодим, прервал и Зину и не успевшего что-либо сказать жандарма:

— Дело в том, что сегодня, действительно, во всем Петербурге продавали эти колосья в пользу голодающих на Волге крестьян, мы, проходя по вагонам поезда, не успели выйти и проехали до первой остановки. Нам, конечно, нужно где-нибудь ночевать. Скажите, где здесь гостиница или еще что-нибудь.

Жандарм, поняв в чем дело, указал дорогу.

Потом еще раз подозрительно оглядел Никодима, Зину и буркнул вслед им:

— Студенты эти,— издеватели!

Долго стучали в гостиницу, вышла какая-то заспанная баба, ворчавшая все время и кричавшая наверх, очевидно хозяину:

— Да тут какие-то номер спрашивают... Пускать али нет?

Сверху осипший и охрипший бас рывкал:

— Шантрапу не пускай только, опять унесут тарелки.

Зина стала уверять заспанную бабу:

— Но право же мы не за тарелками пришли к вам и мы вообще ничего не возьмем...

— Да кто ж будете?..

— Из Петербурга студенты...

— Чего ж полуношничаете-то?..

Ввела в номер, пропахший чем-то горько-соленым, сухим, острым как мочевина, с двухспальной кроватью и продранным красным диваном, из которого торчала рыжая заржавленная пружина, с клоками не то ваты, не то еще чего, казавшаяся чертовой головой.

Баба чиркнула спичкой, зажгла наплывший огарок, вставленный в какой-то черепок, и спросила:

— Надоть чего-нибудь?..

Никодим попросил свечку и воды.

Баба принесла воды, свечку, деловито оглядела своих посетителей и комнату и, вспомнив, баском пропела:

— Урыльник-то я и забыла... Принести, что ли?! Сейчас принесу!

Никодим начал кашлять, шумно стягивать пальто.

Как только баба ушла, Зина подбежала к Никодиму, — завитки ее расплелись, один упрямым кольцом упал на лоб и мохнатые глаза вспыхнули.

— А я думала, что вы как и все студенты, а вы ссыльный. Я хочу получше ваше лицо разглядеть... Знаете что, я спать не хочу и вам не дам, вы должны мне рассказать о себе. Все, все, все!..

Никодим удивленно смотрел на Зину и не знал, серьезно это говорится или девушка ненормальна.

— Моя фамилия Белопольская, имение наше — Белополье, мужики гречиху сеют, от ней и летом поля точно снежные. Знаете, как они сеют, — соберутся всем селом и в одном месте рассеют ее, на другой год на другую сторону дорога и так выходит, что всегда у дорога белое и гудет, как метель, пчелами. А меду у нас сколько бывает, приходите ко мне, я вас обязательно угощу гречишным медом, за это и мужиков наших дразнят — кашники, каши объелись. Вы сами увидите все, когда к нам приедете!..

— Зачем же я к вам поеду?..

— Все мои знакомые обязательно должны у меня побыть, иначе я раззнакамливаюсь. А таких знакомых, как вы, у меня еще не было. Вы должны быть моим знакомым, я хочу этого.

Петровский начинал хмуриться и сердито бросал:

— Вы что же коллекцию собираете из своих знакомых?.. Так я вовсе не собираюсь быть в числе этой коллекции! Откуда вы взяли,

что я ни с того, ни с сего должен на ваши гречишные поля приезжать смотреть.

Девушка неожиданно загорелась вся, лицо залилось краскою, она быстро и глубоко вздохнула, положила руки свои на плечи Никодиму почти у самой шеи, так что он даже почувствовал ее пальцы — холодные и сухие и быстро, быстро начала говорить:

— Я не хочу, чтобы вы были как все, не хочу, не хочу! На меня все обижаются за то, что я говорить не умею. А я что думаю, то каждому и говорю. У меня от этого и знакомых нет никого.

Никодим взял ее руки и бережно снял их с своих плеч и долго смотрел в ее мохнатые, матовые глаза, заплывавшие бесконечной грустью, от которой, казалось, хлынут градом крупные, черные слезы, как драгоценные камни.

Зина не прервала слов и только стала говорить тише и медленней:

— Но почему вы не хотите быть моим знакомым? У меня всего один только, но такой противный, я его ужасно не люблю и никогда почти не пускаю к себе в комнату.

Никодим, чтоб успокоилась девушка, сказал ей:

— Хорошо, я буду вашим знакомым,— но какая вы странная, Зина!

На дырявом диване, целую ночь, вдвоем,— по коридору тяжелый храп, всхлипывающий и надрывистый, с перебоем и ночь без конца, оттого, что слова Никодима жуткие, как и в тот день, когда открыл дверь в комнату Фенички.

Сам не знал, почему захотелось рассказать все неизвестной девушке... Глаза ее — сумрак, а в сумраке при свече говорить легче. Колеблется желтоватый огонек, наплывают белые капли и колеблется в душе Никодима,— рассказывать ли о себе, стоит ли, может быть, из-за любопытства спрашивает она, а взглянет в глаза ей — печалью покрылись и печаль изнутри, глубокая — глаза чуткие, от желтого пламени свечи мигает отблеск в зрачках; девушка вздрагивает и шепотом:

— Но ведь это же мука! Отчего вы не бежали оттуда, господи!

Вспомнил свою жизнь до Сибири, в ссылке и теперь, и показалось, что не жил еще, а все время мучился и не было у него самого главного в жизни — любви, такого человека, который бы безответно страдание его полюбил, с ним бы горел его жизнью, зажигал бы его в борьбе, может быть, от такого человека он ничего бы не хотел, кроме веры в него, в его идею и близости ему не нужно

бы было, а лишь бы душу открыть, доверить себя и свою жизнь, каждую мысль досказать до конца. У Фенички вся жизнь ясная и простая, она знает, зачем живет — для радости, и радость у ней свободная, но она не может человека зажечь, а ему, именно, надо горения... Головой он давно все решил, там у него все ясно — высчитано до последнего, а вот всколыхнуть некому, а сам он устал, измучился и тот отдых, что Феничка давала ему — мучителен, от него человек не загорится борьбой,— не в спокойствии, не в законченной мысли черпать ему силу, а в мучении.

Говорил тихо, покачиваясь,— по временам, когда вспоминать тяжело было, вскидывал громадной рукой своей волосы.

Девушка молча сидела, охватив худенькими, почти девичьими руками колени и смотрела в одну точку, и когда слова Никодима были мучительными, больными, сжимались плечи ее, вздрагивали. Под конец не выдержала,— стремительно вскочила, взяла холодными пальцами его голову и быстро, быстро поцеловала в лоб его и сейчас же, точно падая, опустилась на диван, отвернулась от него и легла головой на ручку дивана и плечи начали вздрагивать часто, часто.

Никодим хотел встать, что-то сказать, сделать, но она, не шевелясь, сказала ему, почти выкрикнула, плачущим голосом:

— Не трогайте меня, не трогайте.

Желтый колеблющийся свет шарил в темноте по стенам, желтым кружком маячил на потолке, вспыхивал на минуту, после того как от фитиля скатывался стеарин и снова становился тусклым. Никодим молча сидел на диване и все время ощущал на своем лбу поцелуй Зины — скупой, короткий, но такой горячий и острый, точно какая-то печать легла на душу, обожгла ее неожиданным. Мысли бежали к ней, к Зине,— какая она странная и порывистая,— вот такой человек душу отдаст, если она содрогнется в нем и раскроется...

Потом она обернулась и, боясь, что он захочет обнять ее или еще что-нибудь сделает, чтобы показать, что она этим неожиданным поцелуем стала близким ему человеком, Зина пугливо встала в угол дивана и, точно защищаясь от него, положила на груди крест-накрест руки, так что тонкие, совсем тонкие пальцы ее лежали на плечах, вошли в них, потому что плечи она вобрала в себя пугливо, и они не перестали вздрагивать, пальцы на черном платье казались длинными, совсем тонкими и лежали они как-то по-детски беспомощно и легко, будто не прикасаясь к плечам. Глаза, все еще наполненные слезами, глубокими стали и такими печальными, что еще минута, одно мгновение и из них снова польются слезы. Каштановые темные

волосы в крупных завитках отсвечивали темной потухшей бронзой и по ним все время пробегало колебание мигавшей свечи.

— Это я хотела своею душой прикоснуться к вам, и мне показалось, что это сделать можно только так, как я сделала... Правда ведь, Никодим?! Правда, милый?!

Глубоким вздохом ответ прозвучал:

— Правда, милая девушка,— правда!

— А меня все зовут девочкой... Я ведь до сих как девочка, и я жизни совсем-совсем не знаю... Она такая большая... Но хорошая и совсем нестрашная... Мне только всегда больно, ужасно больно становится, что люди от ней страдают, и когда я это почувствую, и всегда неожиданно это приходит ко мне, то у меня не хватает сил страдать вместе со всеми... мне вот кажется, что я должна своей жизнью выстрадать жизнь людей, а это так тяжело, милый... Теперь у меня близкий есть, самый близкий человек в мире. У меня еще одна такая минута была, но тогда я только заплакала. Тогда я еще девочкой была, совсем девочкой... Когда-нибудь я расскажу вам, теперь у меня сил нет и холодно мне, еще ни разу так не было холодно...

Никодим подал ей беличью шубку, теплую, мягкую, крытую черным сукном, бережно, чтобы не прикасаться к ней, накинул ей на плечи, она закуталась в нее и стала совсем маленькой, как ребенок, только большие черные глаза были огнями большой души.

Серые, точно вечерние, сумерки подернули окна и желтоватый, порой золотой огонек свечи начал таять.

Девушка задремала или, быть может, только казалось, что она дремлет, а на самом деле, вероятно, она переживала сегодняшний день и эту ночь, когда она в первый раз глубоко почувствовала человеческое страдание.

Никодим боялся пошевелиться, чтобы не беспокоить ее, не прервать этой тихой дремоты и успокоения.

Все время у него была мысль,— какая она странная и хорошая!..

Девушка пошевелинулась, посмотрела большими глазами на Никодима и улыбнулась:

— А я думала, что вас нет, вы так тихо сидели...

— Вы спали?..

— Нет, я думала... О себе и о вас...

— Что?..

— Как это странно, что вдруг человек становится близким, родным... Только я этого понять не могу, а объяснить это еще труднее, это вот просто чувствуется.

Потом о чем-то подумала и сказала:

— Я хотела сперва не называть своей фамилии,— ну, зачем это нужно было, а потом, когда узнала, что вы были ссыльный, захотелось знакомой быть, а теперь, я — не потому, что вы ссыльный, вы для меня самый близкий, родной мой... Совсем родной... Как папа или мама... Они у меня умерли, как и у вас... С этого дня я большая стала... Вы не думайте, что я ребенок, я ведь высокая...

Никодим взглянул на нее и, действительно, она была почти одного роста с ним. Казалась она девочкой, и это особенно умилило Петровского, потому что она была как девочка и не нужно относиться к ней, как к женщине, и даже мысль не придет об этом, а в сердце останутся только глаза и крупные завитки на лбу, около ушей,— там, где только растреплются волосы, там сейчас же появятся и бронзовые завитки,— вот они-то и останутся вместе с глазами ее в памяти.

В коридоре слышалось шлепанье ног, обутых на босу ногу во что-то похожее на опорки или мужские калоши.

Никодим вспомнил...

— Нам ехать надо... Но чем же мы будем платить?! У меня ни копейки нет.

Зина всплеснула руками и радостно, весело засмеялась...

— У меня тоже, Никодим, ничего нет... Давайте останемся тут, а я напишу подруге, и она привезет нам... Дома у меня есть, в столе... А на марку у меня и сейчас найдется.

— Нет, Зина, нужно сдать деньги!.. Заплачу я из того, что у меня в кармане,— из собранных, а потом возвращу их...

— Ни за что, ни за что не хочу этого!.. Мы заедем ко мне, все равно вы должны знать, где я живу, вы должны ко мне прийти, в эту субботу прийти! Я по субботам всегда дома...

На станции тот же жандарм,— неуклюжий, толстый, с большими усами и даже, кажется, подслеповатый, взглянул на них,— Зина удивленно посмотрела на него,— отвернулся, и видно было, как он улыбнулся,— длинные усы слегка дернулись и около глаза появилось сразу несколько прыгающих морщинок.

Зина всю дорогу до Петербурга весело болтала, точно это был только что познакомившийся человек, для которого делался неожиданно интересен его малоразговорчивый собеседник.

VII

Тот же угловой дом, неуклюжий, громадный, в шесть этажей, где жила Фсничка, но входить к Зине со стороны Чалого проспекта,— Никодим даже оглянулся, не увидит ли Гракина, почему-то не хотелось с ней встречаться,— не скрывать, не обманывать, а сохранить в тайне неожиданное, новое и необычайное в его жизни.

Зашел вместе с Зиной в квартиру...

Белопольская неожиданно обернулась, у самой двери...

— Ко мне, Никодим, нельзя!

— Почему, Зина?

— Нельзя, милый, может быть, это тоже странность... Но когда я кого-нибудь жду, то и комната тоже должна ожидать человека.

— Как так?

— Вокруг меня должно все жить — и люди, и вещи. Вещи ведь тоже живут, у них лицо человека, с которым они связаны. Я вам потом объясню... Потом. А сейчас нельзя в мою комнату. Я сейчас, подождите меня, одну минуту всего.

Вбежала в комнату, звякнул ключ, и сейчас же через минуту выбежала, испуганно глядя на Никодима, точно боясь, что он мог заглянуть в комнату и в ней может что-то случиться, что потом никогда, во всю жизнь не поправить.

И сейчас же начала говорить:

— Знаете, почему я не хотела пустить вас?.. Оттого, что я не ждала вас. Когда ждешь человека, непременно о нем думаешь, и твои думы особым налетом на вещах остаются, и вы не поверите, но они тоже начинают думать о том человеке. Сидишь, думаешь, ожидаешь его и невольно на вещи взглядываешь и вот чувствуешь, что не так они и стоят и лежат, не могут они принять ожидаемого человека в этом виде, и стоит переставить их как-то, и сразу они изменятся, и у них душа появится, своя, особенная, и тогда тоже будут вместе со мной человека ждать и поймут его и ему с ними легко будет,— по-особенному легко, и они никогда не изменятся к человеку, приятны будут ему, и человек этот снова будет среди них легко себя чувствовать. А я вас буду ждать, очень ждать, только никогда не приходите сами, лучше если вам очень нужно будет видеть меня, напишите... Я хочу вас у себя видеть... Вы должны обязательно прийти в эту субботу.

Вернулся Никодим к вечеру. Зина в комитете простилась с ним и заявила, что он не должен идти с нею, и ушла, еще раз напомнив о том, что будет его в субботу ждать.

Феничка встретила его...

— Что с вами случилось?.. Я бесконечно ждала вас. Пока не стали официанты убирать столы, до тех пор ждала. Оказалось, что уже все поезда ушли... Хорошо еще, что извозчики были,— от одного провожатого удалось уехать.

— Нам в Бологом пришлось до утра ждать.

— Это все из-за этой сумасшедшей курсистки?

Ничего не сказал о Зине, боялся, что она своими чересчур сильными руками раздавит что-то хрупкое, что он так бережно хотел сохранить для себя, потому что это его в первый раз в жизни необычайно поразило. Он не мог забыть ее глаз, молчаливо говорящих о таком таинственном и глубоком,— захотелось заглянуть в глубину эту и, может быть, и для себя, для своей жизни найти что-то целое, от чего можно будет начать строить свое новое, о чем он все время мечтал и там, в ссылке, и теперь, здесь. Феничка для него в эту минуту показалась чем-то законченным, цельным, все в ней обдуманно, пережито, и даже ее любовь, та, что еще металась, чтоб завершиться, перед его крестом, и она была только последним шагом, а теперь, когда она завершенная — почувствовал, что в ней не почерпнуть ему силы для будущего.

Субботы ждал с нетерпением, хотел и ее сохранить в тайне. После его возвращения из Сибири по субботам они ходили всегда гулять, иногда просто бродили по городу, и Феничка привыкла к этому, и когда он сказал ей, что ему нужно встретиться с кем-то по делу, и что он не знает даже, сможет ли точно указать время своего возвращения,— Феничка удивленно взглянула на него...

— Разве ты начинаешь опять работать?..

— Да, начинаю, Феня.

— Ну, как хочешь, а я... тогда я буду писать дяде Кирюше.

Последнее время, когда Никодим жил в Борисовой комнате, между ними произошло охлаждение. Иногда Никодим нерешительно оставался у Фени сам, она чувствовала зачем, улыбалась ему и оставляла, если на душе у ней было легко и ясно, а иногда просто ему говорила:

— Не обижайся, Никодим, сегодня бы мне плохо было с тобой...

И он молча уходил к себе.

Иногда она сама подходила к нему, становилась ласковой и от ней веяло особым теплом каким-то — зовущим и тоже ласковым, он научился чувствовать ее в такие минуты и оставался.

В этот вечер Феничка опять подошла к нему, но он, точно с ним произошло что, отказался, сказав ей, что очень устал.

Феничка подавила в себе проснувшуюся ласку и сказала спокойным голосом:

— Как хочешь...

До субботы избегал встречаться с Феничкой и субботы ждал с нетерпением.

Звала его к семи вечера.

Вышел из дому в пять и хотя нужно было завернуть всего за угол и войти в тот же дом с другой улицы,— себя ли обмануть или скрыть от Фенички, сам даже не знал почему, но прошел на Большой проспект, сел деловито в трамвай, доехал до Невского, прошел от Казанского собора до Николаевского вокзала, все время поглядывая на часы, между Литейным и Николаевским, взглянув на большие электрические часы (почему-то показалось, что без четверти семь), испугался, что опоздал, стал проверять свои — было всего без четверти шесть, потом долго рассматривал совершенно не интересовавшую программу биоскопа и, взглянув еще раз на те же часы, медленно пошел к вокзалу, остановился у неуклюжего памятника, вспомнив сочетания слов, относящихся к памятнику,— комод, бегемот, обормот — рассмеялся, пропустил несколько трамваев и, наконец, сел на седьмой номер,— два зеленых огонька долго проталкивали себе дорогу по шумным улицам, пересекая с грохотом перекрестки, звякая беспрестанно обалдевшим звонком, обгоняя извозчиков и зло поблескивая своими глазами на урчащие автомобили, несшиеся без остановок под самым носом вагона,— Никодим на площадке стал и видел, как семерка спешит,— боялся опоздать и все время поглядывал на часы, хотел даже просить кондуктора ускорить ход, но, взглянув на его сосредоточенное лицо, решил, что такой человек знает, что делает и никогда не нарушит установленного порядка. И только когда вагон, наконец, вихляясь выскочил на Зеленину, точно действительно от этого поворота зависит его свобода движения и что он наконец-то вырвался из этой сутолоки — Никодим успокоился,— оказалось еще рано — двадцать минут нужно идти так, чтобы дернуть звонок или нажать кнопку, он еще не успел разглядеть звонка, дернуть звонок в условленный час — ровно в семь. Зашел за чем-то к Филиппову, хотел даже съесть пирожок с мясом, но, увидя толкотню у большого железного шкафа, откуда толстый пекарь в белом колпаке и фартуке доставал их не торопясь, решил, что не успеет, и вышел из магазина. Свернул по

Зелениной на Малый и чуть ли не с часами в руках ровно к семи подошел к тому дому, за углом которого он жил с Феничкой.

Постоял минуту еще перед дверью и нажал кнопку.

Выбежала сама Зина,— ждала его.

Мохнатые глаза засияли...

В черном платье опять показалась ему девочкой... Взяв ее руку в свою и ее рука исчезла в большой, широкой, только с одной стороны ее блеснули серебристой росой четыре маленьких ноготка, боялся пожать, причинить боль — и выпустил из своей. Вспомнил, что не только она, но комната ее и вещи должны были ждать его, и улыбнулся этой мысли.

Обстановка почти такая же, как у Фени, но письменный стол поставлен углом и за ним на высокой и узкой этажерке цветы,— вероятно, любимые,— пахнущие увядающим запахом осени — бледно-желтые хризантемы с такими же завитками, как и волосы Зины. Такой же почти диван, обитый кожей, но цвет ее темно-каштановый, как волосы,— но он близко придвинут к печке, углом, как и у Фени. На другой стороне — против стола и тоже углом — шкаф, отполированный под орех... Узкая постель, как у девочки, вероятно, с одним тонким волосяным тюфяком, и в последнем углу — занавеска черная, а за нею, вероятно, корзина, умывальник... И вся продолговатая комната была яйцом — тихая от своей овальности. Между печкою и диваном низкий, круглый, едва возвышающийся от пола стол и около печки маленькая табуретка для ног.

Не ожидал, что экспансивная девушка может жить в тихой овальной комнате, это даже поразило его — ничего законченного, ни одного угла, в котором всегда определенность и, главное, нет высокой постели,— от нее веет женщиной — удовлетворенной, здоровой, сильной, и потом этот низенький стол — такое неожиданное и ужасно наивное. И понял, что только в такой комнате может жить Зина.

На письменном столе почти пусто, должно быть все в ящиках, так же как в самой Зине все внутри, в глубине, а внешнее ее — неожиданные хризантемы.

Зина не спросила, как все,— нравится вам у меня, а сказала:

— Вот вы и у меня.

На столе заметил стихи,— Иннокентия Анненского и Блока.

Быстро растопила печку, принесла чай,— в подстаканнике и для себя в чашке, достала яблоки, конфеты и печенье, все это поставила на низенький стол у печки, погасила электрическую лампу на

письменном столе, быстро подбежала к огню, поправила дрова и села на скамейку. -

— Вот теперь вы мой гость, садитесь сюда!

Подала ему такую же низкую скамейку.

Чай был густой, крепкий, душистый,— почти маслянистый... Пить его можно было только глотками, не торопясь, чтобы чувствовать его терпкий аромат.

— Скажите мне, Никодим, почему вас вернули оттуда?.. Я все время думала об этом,— забыла спросить в тот раз...

— Мне помог один инженер вернуться, фабрикант...

— Знаете что, я напишу ему письмо, всего только несколько слов, — скажите его фамилию...

Вопрос был неожиданный и особенно решение написать какое-то письмо неизвестному человеку, освободившему его из ссылки.

— Дракин, инженер Дракин.

— Кирилл Кириллович?.. Да?.. Он?!

— А что?

— Я с ним знакома... Меня познакомила близкая ему женщина...

— Что это за человек?

— Он как из стали... Стальной какой-то, но она его очень любит... До безумия!..

— Вы ее знаете?..

— После смерти мамы,— папа мой раньше умер,— я у ней все время жила, а теперь только летом, в деревне у ней...

— А как же вы звали меня в Белополье?!

— Это рядом, совсем рядом,— там брат, но он мне чужой...

— Хороший человек этот инженер?.. Я его знал когда-то... Но это давно было, тогда я его ненавидел почти... Хороший он?..

— Его американцем зовут, а эта женщина говорит, что он русский, совсем русский, и будто бы таких нет в России, а должны быть, а этот — единственный. Разве не права эта женщина, что он совсем русский,— неизвестного ему человека освободить от муки... Я напишу ему завтра же... Про вас я не буду писать, а только — спасибо вам, большое спасибо. Зина, и больше ничего... Только четыре слова...

Загляделась на угли, задумалась.

— Как хорошо, что вы сегодня пришли ко мне...

Потом, точно боясь, что он прикоснется к ней или вдруг ее поцелует,— быстро вскочила и снова зажгла электричество. Перешла на диван, уселась в угол его с ногами и опять, как и у печки, исчезла, — огонь освещал только лицо и голову, а вся она — в черном,— в

темноте не чувствовалась и теперь почти слилась, даже завитки было трудно различить,— лицо и глаза,— большие, черные, вспыхивающие, точно черный бриллиант в ее золотом перстеньке,— он его только сегодня заметил.

Села и замолчала...

Через несколько минут Никодим встал...

— Я пойду, Зина...

— Куда вы, куда?! Вот видите, я говорила вам, что у меня никого нет знакомых, оттого и нет, что я... Значит и вы не придете больше ко мне?..

— Нет,— я, Зина, приду!

— Только вы сообщите письмом...

Вышел и странное чувство охватило его, сразу не пошел домой, а всего надо было завернуть за угол,— пошел бродить по улицам, потом зашел в пивную, забрался в угол, сидел долго и все время думал,— что Зина удивительно странная девушка, удивительно странная, и в комнате у нее, точно где-то в подzemелье, глубоко и глухо, но хорошо, потому что нет обычного шума комнаты, освещенной безалаберно, неумело, так что лампа режет глаза, хозяйка не знает, что делать с гостем, суетится, шумит, смеется без причины, для того лишь, чтобы показать, что она необычайно довольна гостем и рада ему, от этого и комната становится неуютной, шумной, вещи плятятся на человека и не гость задевает их, а они стараются толкнуть его и показать, что они тоже шумны и веселы и, как хозяйка, очень довольны пребыванию среди них нового человека. В Зининой комнате в красноватом сумраке необычайно тихо, немного жутко, но когда долетает шум улицы, кажется, что где-то близко есть жизнь и она идет своим чередом, а здесь вот тихо и все прислушивается к тем людям, которые сейчас, среди вещей, точно вещи и вся комната прислушивается к биению сердца одного и другого и старается уловить их созвучия и дышать одним дыханием с людьми.

Кричащий граммофон оборвал мысли. Никодим вздохнул,— снова захотелось уйти в глубокую тишину Зининой комнаты и быть рядом с тихой девушкой, загорающейся необычным, но таким ярким светом, что от неожиданности даже и человека заливают горячая волна чего-то нового и не пережитого. Граммофон продолжал кричать, Никодим выпил залпом стакан пива, хотел уйти, но точно в голову что-то ударило и приковало к столу. В первый раз промелькнула мысль, что он — на содержании у Фенички, и, быть может, для этого она и

хлопотала об его освобождении. Сделалось гадко, противно, потянуло к пиву и снова побежала сверлящая мысль, что надо же, наконец, кончить это сожительство, и что он, действительно, на содержании у молодой женщины, может быть, и неплохой, но все-таки — на содержании: она его пускает к себе, только когда ей это хочется, иногда уступает ему, но всегда нехотя как-то, а это ужасно обижает, а вот, когда ей самой нужно его присутствие, она становится нежной, ласковой, но всегда требовательной, а это ужасно утомляет его, и не так утомляет, как унижает, и за это она платит за его комнату, он берет ее деньги на обеды и на расход и даже не считает их, и это она виновата,— затянула его своей близостью, и он не может начать работать,— собственно не из-за Фенички же он приехал сюда. Странно было одно только, что против нее не было озлобления; почувствовал, что во всем он виноват, и это его слабость, оттого, что в то время, когда он вернулся, у него не было еще физических сил начать работу и ему нужен был отдых и тишина, и он поддался близости когда-то любимой им женщины. Теперь ему только показалось, что когда-то любимой, потому что, может быть, встретив Зину, он нашел нового человека, нашел свою любовь. В этом он не хотел и сознаться себе, но чувствовал присутствие этой девушки в себе, а главное — все время ощущал ее поцелуй на лбу. И только теперь понял, почему она сегодня, когда он, прощаясь, сделал к ней шаг, она испуганно оглянулась кругом, точно искала защиты у своих вещей, вздрогнула как-то и сказала: «Нет, нет, не надо этого, Никодим, не надо!» Вероятно, она боялась, что он подойдет к ней и поцелует ее. Сейчас же вспомнились поцелуи Фенички,— тяжелые и затягивающие, точно она из тела душу высасывала, и снова мелькнула мысль, сложившаяся уже в решение,— теперь это кончено, больше я не живу с ней, найду урок и уйду.

Наутро ничего не ел за чаем, чтобы не показать сразу Феничке, что разрывает с нею. Она стала спрашивать о вчерашнем вечере...

— О революционных делах никогда и никому не говорят, Феня...

— Мне тоже нельзя сказать?

— Никому.

По вечерам уходил из дому, бродил по городу, зашел как-то к Карпову, тот удивился немного, но потом подумал, что Никодим пришел по делу землячества и, вспомнив о Белопольской, землячке их, спросил:

— Нравится вам Белопольская, Зина?

В этот момент не думал о ней и даже не мог вспомнить, кто такая Зина Белопольская...

— Какая Зина?

— А та самая, с которой вы до Бологого ездили?

— Разве она землячка наша?!

— Конечно. Только она странная очень.

Односложно ответил, чтобы не выдать своего знакомства:

— Да, странная...

И даже прибавил зачем-то:

— Очень странная девушка.

— У нас про нее говорят, что она сумасшедшая и шальная...

Не хотел говорить о ней и сейчас же ушел, не зная, собственно, зачем заходил к Карпову.

Прощаясь, Карпов весело говорил:

— Хотите в гости у ней побывать? Скоро она именинница, и мы собираемся, компанией,— понимаете, на именины к ней. Когда она была в Питере в первый год, она тогда еще дурей была, и как-то чуть ли не все землячество пригласила к себе... Пойдемте, коллега! Забавно будет... Вам близко.

После разговора с Карповым целые дни мучился, как избавить Белопольскую от неожиданных гостей, и возмущался, что это, собственно, с целью над человеком поиздеваться, высмеять его странности. Представил Зину растерянной и подумал, что она непременно расплчется,— сперва, конечно, выгонит их, а, может быть, и на это силы не хватит, а только расплчется, но эти слезы будут пыткой ей, а главное; если она не удержится и при всех выплчет свое оскорбление. По вечерам бродил по улицам и подолгу около того дома, где за углом и сам жил, останавливался у витрин и рассматривал москательный товар, думая о том, что наверху, всего в нескольких шагах живет Зина и он не смеет войти к ней. А на другой стороне, давно уже, неизвестный человек в котелке по следам Петровского. Углубленный в себя не замечал слежки, а следивший злился, что без толку гуляет за студентом, и студент этот, вероятно, ненормальный, потому что бродит по городу, ездит в трамвае и никуда не заходит, ни с кем не встречается; один раз сотрудник даже обрадовался, когда Петровский заходил к Карпову. И тот был под негласным, и решил даже, что, вероятно, Никодим очень умелый и осторожный, хочет запутать, до одурения довести его и что-то сделать очень важное. Следил, главным образом, вечером, когда Никодим уходил бродить по городу, чтобы только не быть с

Феничкой. И сейчас, на противоположной стороне, наблюдал за ним, видел, что долго прохаживается около того дома, где жил, только с угловой стороны, очевидно, кого-то ждал, и, действительно, увидел, как подошла какая-то девушка с большими черными глазами, что-то сказала ему и вошла в тот же дом,— он даже решил, что она-то и есть тот человек, с которым так важно было тому свидание и из-за нее он кружил по городу,— обрадовался и записал в книжку,— свидание с неуклюжим (Карповым) и большеглазой (Зиною) и на следующий же день доложил начальству.

Зина издали заметила хмурившегося Никодима, нервно потиравшего руки, и подумала, что он ждет ее, хочет за чем-то встретиться, может быть, у него произошло что-то важное... Подошла к нему, почти подбежала, вскинула глаза.

— Никодим, вы меня ждете?

Петровский вздрогнул и обрадованно ответил:

— Да, Зина, жду, давно жду, несколько дней...

— Что, милый, случилось?

— Я знаю, что вы через неделю именинница, и я очень, очень хочу в этот день быть с вами.

Девушка растерялась, испуганно взглянула на Никодима и не знала, что ей ответить, боялась отказать и обидеть,— о нем ведь она теперь всегда думает, и чем больше, тем ближе он ей становится. Она прикоснулась к его душе, взяла ее, но свою отдать — это ужасно страшно, ведь это должно быть на всю жизнь, а она даже не знает,— готова ли к этому, хватит ли сил у ней пережить эту минуту.

Растерянно ответила ему:

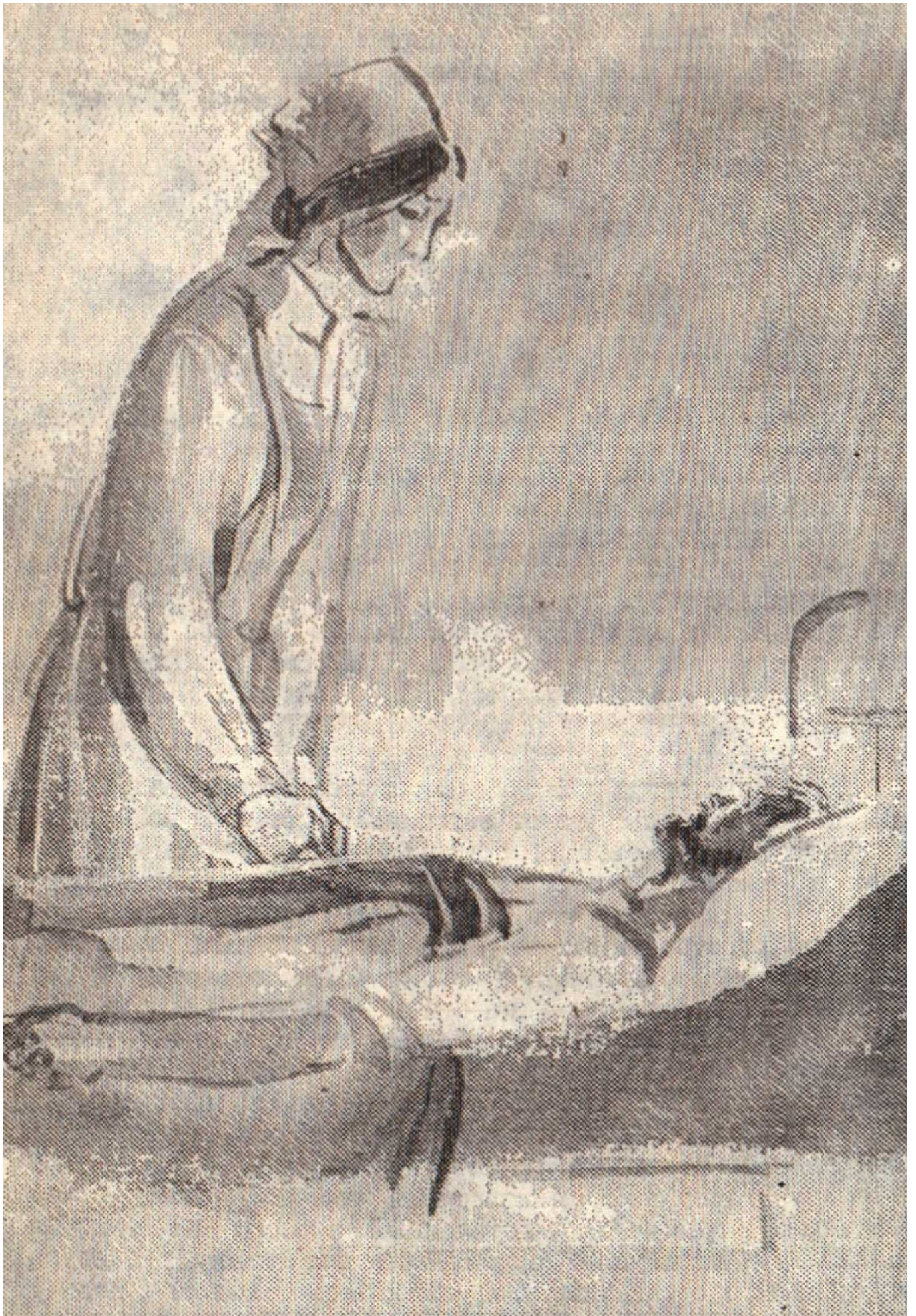
— Я подумаю, Никодим, подумаю, можно ли это будет, и напишу вам. Обязательно напишу...

И сейчас же, не простившись, убежала от него.

Бродить уже больше не мог от усталости и голода, ведь он теперь почти ничего не ест, не хочет от Фенички брать и доживает в ее комнате последний месяц, а потом он уйдет от ней и больше не будет мучения.

Вернулся домой, хотел лечь — постучала Феничка, но в комнату не вошла, позвала к себе:

— Я сейчас только вернулась домой, Никодим, и неожиданно видела тебя с тою девушкой,— помнишь, с ней мы колос ржи продавали...



От неожиданных в упор слов все в нем упало, и беззвучно спросил:

— Видела?..

— Да, видела! Вот почему ты в последнее время чужой стал... В твою жизнь врываться я не хочу, но ты должен быть честным, как я,— если к тебе пришла новая жизнь — не мучайся и не мучай, нам будет от этого легче и сможем остаться друзьями.

Никодим молча сел на диван.

— Ты ведь знаешь, что я к жизни отношусь честно, и не хочу, чтобы из-за меня страдал кто-нибудь, особенно ты,— ты ведь сейчас больше всего для меня, и между нами должна быть правда. Только этого я и хочу. Что же ты молчишь?.. Скажи что-нибудь,— только правду...

Тяжело было говорить, потому что почувствовал, что действительно к нему пришла новая жизнь — не заметил, как вошла в него и овладела, оттого и тяготился Феничкой, но сказать, раскрыть эту тайну свою — было жутко,— через силу начал:

— Да, Феня, может быть, я ошибаюсь еще, но что-то после встречи с той девушкой произошло мной...

— Ты нашел свою любовь, Никодим, и ты боишься ее... боишься в этом признаться самому себе, она необычайна для тебя. Она ведь для каждого необычайна; когда и я нашла ее — мне тоже трудно было признаться в этом. И тебя теперь тяготит моя близость... Да?..

— Я измучился... Даже показалось,— я правду скажу, потому что я виноват, очень виноват перед тобой,— мне показалось, что я на содержании у тебя...

— Никодим, и ты это мог подумать?..

— Поэтому и говорю правду, что подумал так про себя...

— И про меня?!

— И про тебя, Феня...

— Неужели ты думаешь, что я способна на эту гадость! Без влечения, без любви!.. С чужим человеком?.. Боже, какой ужас!.. Никодим...

— Это как-то само пришло... я про себя это думал, про себя только... И только с той минуты, когда во мне произошло что-то, ну, когда я ее встретил,— ее, Зину!.. Я говорил себе,— вот ты ничего еще не делаешь, а живешь на чужой счет, для тебя нанимают комнату, платят за нее, ты берешь деньги и у тебя не спрашивают зачем и сколько, а за это тебя любят...

— До какого ужаса ты дошел!..

Закрыла лицо, начала вздрагивать...

— Как ты обидел меня... За что?! За то, что я хотела быть для тебя самой близкой?! Хорошо, что ты сказал это,— все-таки будет легче и мне и тебе.

Никодим уткнулся в диван и шептал:

— Прости, Феня, прости, прости мне... Все, что ты ни потребуешь от меня, все исполню, откажусь от своей жизни, пожертвую ею для тебя, только прости, прости мне... Это само пришло, потому что я, когда ехал сюда,— я мучился, не знал даже, что, собственно, к тебе еду, ведь не к кому больше было... А теперь вот пришло... Я ведь только сейчас это почувствовал, только сию минуту...

И опять Феничка почувствовала в нем больного, измученного человека, и обида перешла в жалость. Слезы остановились, и голос снова зазвенел ясно. Села около него на диван...

— Ну, довольно, Никодим,— все прошло... Ты еще больной и большой ребенок, я тоже была такою же... То, что вошло в тебя — исцелит, у тебя тоже будет ясно и просто в жизни... Ты головой живешь, и любовь тебя будет питать, питать твою жизнь и силы... Но не обижай меня и живи,— они ведь не нужны мне, а у тебя все впереди... Видишь, как хорошо... Видишь?!

После этого Никодим успокоился и просиживал вечера с Фенею,— никогда еще не было с нею так просто и ясно. Говорил ей, виновато улыбаясь.

— Теперь мы друзья, Феня... По-настоящему...

Ждал с нетерпением именин Зины и главное письма от нее.

Но письма не дождался,— не зная, что делать — идти или нет, и мучился, потому что боялся ее мучения, когда к ней ворвутся земляки... В день ее именин целый день метался по городу и вечером не выдержал, пошел к ней, рассчитав, что неожиданные гости должны уже быть у нее...

Нажал кнопку...

Девушка растерянно оглянулась на своих гостей и выбежала...

Вслед донеслось:

— Гость на гость, хозяину радость!

Большие глаза с трудом слезы сдерживали, плечи вздрагивали и беспомощные руки дрожали...

Увидев Петровского, вскрикнула:

— Вы пришли, сами пришли?! Спасите меня, спасите от них... Только не ходите ко мне, я боюсь, что вы меня тоже мучить пришли...

— Нет, я не мучить пришел... Одевайтесь скорей, идемте...

Не взглянув ни на кого, вбежала в комнату, нырнула за черную занавеску в углу, там же одела шубку и шляпку...

— Зиночка, куда вы, куда?

И чтоб не задержали,— боялась и этого, хлопнула дверью, крикнув с отчаянием:

— Я сейчас, сейчас!..

Гости некоторое время продолжали галдеть, а потом кто-то сказал:

— Удрала от нас...

— Ждать будем!..

— Ну ее к черту, идемте домой...

Может быть и ждали бы, если бы одному не стало противно, что пришли издеваться над человеком, и почувствовал он это только тогда, когда сказал, что она удрала... За одним и все ушли, недовольные, что не удалось разыграть Зину.

Зина все время пряталась, жалась к Никодиму, он даже взял ее неумело под руку и вел ее, потому что она не выдержала и плакала. У Тучкова моста свернули на набережную, глухую и темную в этом месте, и пошли вдоль нее. Всю дорогу молчали. Никодим хотел одного, чтоб она успокоилась, и боялся своими словами затронуть болезненное, только что пережитое.

— Я домой хочу... Теперь их должно быть нету... Должно быть ушли...

Молча ходила с Никодимом и чувствовала его в себе. Как ребенок, прижалась к нему и изредка, успокоившись уже, взглядывала ему в лицо. У самого дома замедлила шаги, что-то решая, и вместе с ним вошла в подъезд — глухой, темный. Оторвалась от него... Должно быть испугалась темноты и в темноте шепотом:

— Милый, только не ходите ко мне...

Ближе к ней подошел, почувствовав в этих словах и любовь и муку... Взял ее руки, потом почувствовал, как она вся подалась к нему и, должно быть, закрыла глаза и прошептала:

— Все равно я ваша теперь...

И в темноте, всего один раз, прикоснулся губами к ее губам, ответившим беспомощно-долго.

Потом слышал, как в темноте она побежала, спотыкаясь, по порожкам и еще засыпая боялся, что она могла упасть и разбиться.

Наутро за ним пришли,— следивший вместе с жандармами.

Улик не нашли и решили выслать на жительство в родной город, на сборы, под честное слово, что вернется, дали всего день, обязали явиться и по этапу отправить.

У Фенички легла печаль...

— За что, Никодим, за что?..

— За старое...

— Бедный, тебе тяжело будет!..

— Нет, Феня, теперь легко!

Инстинктом поняла значение этих слов, обрадовалась и радостно кончила:

— Поезжай, Никодим, к дяде Кирюше! К нему поезжай!..

Вспомнил, что и Зина ему говорила о дяде Кирюше...

— Да, теперь я к нему поеду.

Забежал к Зине, не застал дома, хозяйка нерешительно пустила его в ее комнату. Неподвижно просидел на диване, выйти на улицу не хотел, боялся, что арестуют. Зина вбежала, точно боясь, что что-то в присутствии Никодима может произойти в ее комнате, и остановилась, увидав его сумрачное лицо.

— Милый, что с вами случилось?!.. Что?!..

— Меня высылают из Петербурга...

— Куда?..

— На родину, в родной город... Завтра меня отправят этапом, как арестанта.

— Как же так?! Как это случилось?.. За что?!..

— За старое...

Просидел до полночи,— Зина все время жалась в угол дивана, точно боялась, что он потребует от нее невозможного, и она не посмеет теперь ему отказать, но сейчас, когда вдруг свалилась такая тяжесть, даже поцелуй, кроме боли и тоски, ничего не оставит им...

— Зина, позвольте мне вам писать...

— Милый... пишите...

Сошла вниз, в подъезд...

— Мы увидимся, Никодим... Скоро увидимся... Я к вам приеду...

Тихо сказал ей:

— Я к инженеру Дракину...

И отзвуком — живым, радостным, точно, действительно, в этом было его спасение:

— К нему! Только к нему!..

О любви не было сказано, но она в каждом слове звучала, поэтому и поцелуев не нужно было...

VIII

Осенние сумерки в Петербурге мутные, точно вот чья-то неприкаянная душа в тумане сыром мечется... И особенно эти сумерки тяжелы на окраине,— фонари зажигают поздно и не все — через один, и для чего они зажжены, никто не знает. Фабричные трубы уперлись в небо и грязным помелом нависшие тучи размазывают, и целый день моросит дождь, и дым тяжелеет, оседая на землю, во все щели, во все углы проникает он, в переулках дыхнуть от него невозможно, а дышать, хочешь не хочешь, дыши, глотай в сумерках дымную копоть, и не то что во все углы человеческого жилья она просачивается, но в поры утомленного тела. Оттого и люди на окраинах нелюдимы и сумрачны,— копоть изъела лицо, руки, и сплевывает ее человек с кровью,— харкает на панель сгустками и не дымом фабричным на улицах пахнет, а людским выпотом трудового дня. С работы идут — ежатся, запахивая на ходу пиджачки и бегом, именно вот бегом, спешат на чердаки, в подвалы, чтоб не показать убожества своего фонарям тусклым, под которыми у пивных, у чайных красуются людские витрины убожества человеческого,— может быть, жена, либо дочь к фонарю вышла, а надо так пробежать мимо, чтобы ни тебя не видели, ни самого не заметили. Душно от заползающей копоти в подвале сидеть либо на чердаке копящие трубы разглядывать, и пойдет человек тоску заливать в пивную или в трактир, и кажется ему, что на хмель не садится копоть. Выйдет на улицу после царского зелья и туман не чувствует, потому он в голове бродит и фонарь-то ему покажется путеводной звездой. Подойдет к нему и встретит глаза зовущие и голодные, голод-то в них самый настоящий о куске хлеба насущного, а покажется спьяну, что похотью человек голоден. В тумане потом не разберет — кто голоден, кто мучается?! А выходит, что оба голодают о жизни, один ее вином заливает, а другой притворяется, за деньги на хлеб насущный любовь разыгрывает и этою любовью заливает туман людской. А фонари на улицах зажжены вразброд, ближе к пивным, к трактирам, и выходит, что фонари-то к месту поставлены и знают, зачем зажжены они.

И сколько бы человек ни глядел на небо — не разглядеть ему ни одной звезды — помелом замазаны, а помело-то это сперва окунули в помои осенние, а потом уж и стали размазывать им по небу, и вместо звезд — отражаются в лужах фонари уличные; где лужа побольше, там и ярче звезда эта.

Вышел Калябин, подвыпивши, из трактира, подошел к фонарю по делу житейскому, встретил глаза жадные...

— Может, возьмете?..

— Пошла, стерва, человек по делу вышел, а ты лезешь тут!

В сторону отошла, к трактирной двери. А он окончил дело свое, взглянул на небо, сплюнул и уставился в изображение фонаря, точно и в самом деле звезду свою отыскал вифлеемскую.

Остатки проживал Афанасий Калябин,— те самые, что инженер Дракин ему в благодарность подарил из рук Фенички.

Спровадил из-за нее студента Петровского в ссылку и ее потерял, — уехала. Сколько дней ходил подле ее квартиры — не встретит ли, и дворника спрашивал:

— Барышня-то живет ай нет?

— Какую тебе еще барышню, проваливай...

— Лучше скажи, а то...

— Уехала, что шляешься тут,— живо в полицию отведу...

— А что мне твоя полиция,— может, я сам от ней про нее разведать...

— Толком бы говорили,— уехала.

Не возвращаясь домой, зашел в ту же пивную, где с Никодимом встречался, и спустил трояк,— одному скучно сидеть, подсел к какому-то замухрышке с кокардою, к студентам подсесть боялся,— от Лесснера выгнали, а запутался из-за Никодима с Хлюшиным, отправил его — и след потерял своего пути. Сколько по трактирам бродил, пока не нашел таких людей, что за правду стоят,— может быть, и правды бы не потерял этой, если бы не помutilа его любовь; понадеялся на себя, что добьется он через студента Феничку, и его не пожалел, из-за этого и продался в жандармском,— не деньги нужны были, а Феничка... Забрали студента, и путь исчез к звезде вифлеемской, и правду он потерял свою,— отвернулись от него, как от прокаженного. И сегодня студенты между собой шептались:

— Рыжий тут...

— Предатель... предал товарища...

Пошептались, допили пиво и разбрелись по одному...

А ему теперь все равно,— без правды все спуталось, а главное потерял, может быть, навсегда звезду вифлеемскую...

IX

За полночь Афонька к сестрам пришел, долго барабанил у двери, пока не вышла старшая,— испуганная, в одной ночной рубашке; сразу дверь не открыла, выглянула в щелку, не узнала голос Калябина, потом долго возилась, очевидно, дрожащими руками отстегивая цепочку.

— Заспались там, отворяй, Анютка!

— Да кто ж это, кто?

— Не узнала дружка милого?!

Обрадованная зашептала испуганно:

— Афоничка,— ты, милый,— не ждали мы...

Целую неделю Афонька гулял с сестрами, не выходя никуда из комнаты, пропивая последние деньги.

Когда деньги его пришли к концу, послал старшую в лавочку за бумагой и за конвертом и огрызком карандаша сел писать Дракину:

«Всепочтеннейший инженер Дракин! Крайняя нужда жизненная и всякие немощи привели меня в уныние и расстроили скудные финансы мои. А потому, как вы изволили заметить, что услуга моя неоцененна была, смею прибегнуть к вам с покорнейшей просьбою ссудить меня средствами к жизни, сколько на то будет ваше благорасположение к покорному слуге вашему Афанасию Калябину».

Написал коротко и послал старшую сестру опустить в ящик.

— Не горюй, девки! Брешет, пришлет денег. Я ему такое дельце обмозговал.

Через несколько дней пришел перевод на триста рублей, и две недели еще Афонька гулял с сестрами, а потом, когда не осталось денег, и писать Калябин не хотел, заявил презрительно:

— Все они сволочи, скареды!.. Ни черта, проживем и без их милости!

Старшая варила обед, убирала комнату, обмывала и обчищала, а Женька нежилась в постели с Афонькою. Вечером уходили втроем... Сестры под ручку, а Калябин шел сзади в нескольких шагах и наблюдал. Деньги все отдавались Афоньке,— у него не было жадности к ним — делили поровну, оставляя на еду и про запас даже на те дни, когда не работали.

Подруги завидовали...

— А у нас до копейки обирают, на шпильки и то крадешь у самой себя!

Новые приятели подсмеивались над Афонькою за глаза:

— Под башмаком у Женьки, веревочки из него вьют.

По-прежнему угрюмый ходил Афонька, только взгляд стал чужой, озлобленный, на гостей сестер как на врагов смотрел,— глубоко где-то жило замурованным искание по кабакам у людей правды, за которую в Сибирь ссылают. А когда брали сестер подвыпившие студенты, сжимал кулаки, думая, что эти, должно быть, не попадут в Сибирь, этим бояться нечего,— небось барышням говорят о свободе, а сами человека за трояк покупают, да еще торгуются.

— А вам нечего с ними валандаться, кончили и гуляй.

Невский жил, волновался, гудел автомобилями и трамваями, до Афоньки в осенние сумерки долетали слова,— австрийцы, сербы, болгары, турки, война, будет война, и он с этой толпою двигался днем, слушал ее, прислушивался и ненавидел. По целым часам простаивал у витрины, читая экстренные телеграммы, а потом с ненавидящими приятелями спорил в кафе:

— Будет война, должна быть...

— А тебе что, рыжий?!

— Может быть, и я бы пошел...

— Воевать?!

— Лучше чем на углу стоять. Там бы либо конец, либо человеком бы стал опять. Разве герои-то из другой глины лепятся?! Может, и я буду герой.

И вместо прозвища рыжий Калябина стали звать — герой.

По целым дням пропадать начал,— по улицам бродит, в кабаки, в пивные... На окраину попал — вспомнилась жизнь заводская, когда работал у Лесснера, и опять потянуло кувалду попробовать. Затосковал без работы, и к человеку потянуло его, живое слово услышать. В пивной заговаривал, подсаживаясь к рабочим.

Прислушивался к спорящим...

Обсуждали убийство в Сараеве и ожидали — что дальше. На заводах глухо нарастали волнения,— жара, душный каменный город угнетали Афоньку, и целый бы день просидел в пивной.

С завистью смотрел на прокопченные руки чужих людей и даже боялся, если бы, действительно, пришлось молот взять ему — не выдержал бы — отвык, корявые руки его побелели, и даже на одном пальце блестел золотой перстенок с рубином — подарок Женьки. Последние дни и собачья преданность подруги его надоела,— слащавую, приторную показала. Начал пропивать все, что было в запасе и что приносила Женька, иногда от беспричинной злости

метался по комнате и даже бил девушку. Та не плакала, не жаловалась, а только спрашивала:

— За что ты меня, за что, Афоничка?!

— Опротивела, вот что! Каждого встречного уколошить хочется, так вот просто подойти и пырнуть ножом, может для того, чтоб поглядеть только, как у того потечет жижка красная...

И, думая все об одном и том же, иногда, лежа подле ластящейся Женьки, спрашивал ее, рассуждая:

— Ну, скажи ты мне, отчего это люди ходят вот по улицам, по пивным, и никто из них никогда не задумается — сколько кругом этой гадости! Не мне говорить,— я что, я, может, последний человек на земле, сам пресмыкаюсь, сам ползаю, и за пазухой нож держу, нож у меня всегда наготове — отточенный, подойди только кто, так полсану — брюхо до горла раскрою. Вот бы так и передушил своими руками! Может, вольнее дышать будет... И всюду эта гадость гнездится — одни в дворцах, а наш брат по норам, и кишат эти черви, живому человеку вздохнуть тяжело. Уйдешь и целый бы день не глядел на жизнь эту... А еще о правде говорят, какая там правда! Где она видана?.. Передушить бы,— может, тогда и увидели правду, опомнились бы!..

От жары одурел Петербург, люди не знали, что и придумать — позабавиться чем. Только на окраинах глухое разрасталось,— Афонька прислушивался, приглядывался и думал, что если это не от студентов начнется, а снизу полыхнет, тогда, может быть, и правда можно будет передушить червей. Нож в кармане сжимал радостно. И когда хмурые люди из подвалов на жаркое солнце хлынули — с толпою слился, вспомнил тот год, когда собою защитил звезду виффлеемскую, спас ее жизнь и теперь думал,— только ее, одну ее пощажу, а то всех, всех червей передушу, чтоб дышать было легче. Один раз даже показалось, что метеором мелькнула его звезда, погнался даже за нею и не догнал, в сутолоке потерял. Увидел ее — глаза вспыхнули, человеческое блеснуло в них, мучительное.

И в один миг закопошились люди, но по-иному, неожиданно — над бурлящими головами трехцветные флаги метнулись,— война с немцами! Заблестели штыки, провожаемые радостно и с ненавистью к врагу, точно кто-то озлобился, что червям помешали копошиться в грязи. Город наполнился снова, как и зимою, вернулись в логовища, только лица уходивших на фронт были хмурыми, и в городе из деревень мужики появились — широкие, бородатые, рослые и тоже

хмурые и молчаливые под штыками блестящими. На одну минуту толпа вспыхнула, одного возгласа было довольно,— громи немцев,— и зазвенели витрины Невского, а оттуда — к собору угрюмому и к такому же дому с конями вздыбленными. Над толпою повисло дыхание — червей раздавить, очиститься, и это дыхание повело к коням.

Афонька в толпе опьянел, размахивая громадными руками своими, кричал: — бей, бей, громи немцев, души! — и первый на крыше у коней очутился, сам даже не знал, откуда у него появился молот — вспомнил силу свою,— молотом по ногам бронзовым и дружно с другими свалил на площадь, к ногам толпы охнувшей, и остался один на том месте, где кони были — громадный, без кепки,— рыжие волосы на солнце огнем горели, и поднятая рука махала еще вниз, толпе, и когда толпа охнула, содрогнувшись разлетающимся звоном бронзы, Афонька вместе с нею вскрикнул и замахал рукою.

В полиции уже говорил:

— И я там был,— сбрасывал, коней этих сбрасывал...

И, неожиданно для себя, хотя внутри уже созрело как накипевшее:

— Воевать хочу, сам, добровольно,— добровольцем пойду!

Пристав улыбнулся снисходительно:

— В казармы отправить...

Не простившись с Женькою, подумал, что теперь не пропадет она, остался в казармах, с утра бегал с винтовкой по Марсову полю, надрываясь кричал ура-а-а, бросаясь на невидимого врага, припадал к земле, перебегал вместе с цепью людей, валяясь в пыли, и ни одной мысли не появлялось, точно все небо очистилось. Вечером засыпал как убитый, с наслаждением ел солдатский хлеб, кашу, загребая деревянною ложкой из общей чашки...

— Афанасий, да ты и нам не оставишь, потише ты!

— А вы поспевай, теперь кто поспеет вовремя, тот и цел будет,— на то война!

В эшелоне горланили песни, вспоминая монастырский лес и пение, выскакивал на остановках за кипятком и, обжигаясь, пил чай из манерки. И во всем была только одна жажда — убивать, нутро жизни вывернуть.

Жутко было только в первый раз, когда увидел перед собою человека с винтовкой-ножом, на одно мгновение остановился, сжимая приклад рукою, и когда в эту же секунду внутри подсказало,— убивай или он тебя,— и в эту же секунду со всей силою отбил винтовкой удар и всадил штык глубоко, так что почувствовал, как он скользнул по кости, должно быть по спинному позвонку, и торчком из спины вылез,— рванул и винтовку к себе и нутро вывернул, на мушке даже кусок не то кишки, не то мяса остался. С такою силою ударил штыком, что фонтаном кровь брызнула на него, обдав лицо, грудь и руки. И дальше шел — громадный, рыжий, с перебитым носом, залитый кровью. Когда ударял штыком, то, чтобы выдернуть легче его, слегка влево повертывал и рвал с мясом, с кишками.

Ротный после атаки увидал Афоньку, стирающего с лица кровь и пот — спросил коротко:

— Сколько, Калябин, уложил немцев?

— Одного помню, ваше благородие, остальных не считал, некогда было.

А когда люди зарылись в землю, и целые месяцы нужно было сидеть в окопе, не вылезая из него — Калябину скучно стало, одно и было развлечение — подкарауливать немцев. Утром, когда подвозят котлы с чаем и раздают хлеб, когда и у немцев заняты тем же, и ни одна шальная пуля не пролетит и не ухнет где сзади и спереди, и не визжат снаряды,— Афонька становился у бруствера и караулил немца, шедшего ходом в ровки, и когда тот садился, раскуривая спокойно свою длинную трубку, Афонька так же спокойно целился в него и ссаживал, человек смешно падал... садился как-то, потом опрокидывался на спину, и ноги смешно взбрыкивали над убитым, трубка от падения взлетала над головой и падала ему, вероятно, на грудь.

В окопе любители следили за Афонькою и за немцем, и когда тот падал, подымался хохот, ротный или взводный офицер криво улыбался и ничего не говорил.

— А теперь и чайку можно попить, так, что ли, ребята?

— Ловко ты его, в самую мякоть...

С этого начинался день, и вслед за первым выстрелом Афоньки, оттуда сквозь проволоку начинали шлепаться пули, чмокая в землю и разрываясь в ней, с визгом проносились над головами и падали где-то позади.

Солдаты смеялись:

— Рассердил ты их, Афанасий!

— Теперь пускай их, не жалко...

— Ишь ты ведь как,— ну да ладно, дай чаю напьемся.

В обед опять затихало, и снова подъезжали дымящиеся кухни, солдаты гремели котелками, и в окопе пахло капустой, щами, и звякали ложки. Иногда немцы не давали подвозить кухонь, и солдаты злились, начиналась перестрелка, ухали, взрывая землю и забрасывая ею людей, снаряды.

Подходил ротный...

— Это из-за тебя, Калябин! Опять ты утром стрелял...

Афонька хмурился, потом губы вздрагивали улыбкой, и он добродушно заявлял:

— Ваше благородие, без этого ж скучно, хоть с фронта уходи, ей-богу, разве ж это война, в земле, точно черви, роемся, первое время куда веселей было — штыком куда веселей работать, а то и носа показать никуда нельзя.

Ротный улыбался и уходил, бросая коротко:

— Ладно, Калябин, только чтоб больше не стрелять по утрам.

— Слушаюсь!

Но через несколько дней не выдерживал и снова начинал по утрам караулить немцев, пока снова во время обеда немцы не давали подвезти кухню.

От скуки вызывался в ночной караул, в заставы и как зверь настороженно караулил неприятельскую разведку, прислушиваясь к каждому шороху. Припадал к земле, слушал и когда каким-то чутьем улавливал кошачьи шаги — полз навстречу и никогда не стрелял, а бросался сзади, пропуская вперед разведчика,— тот, оглушенный прикладом, беззвучно падал. Афонька спокойно снимал патроны, за спину одевал винтовку убитого и снова прислушивался, дожидая утренней смены, и, возвращаясь, приносил ротному свои трофеи.

— Молодец, Калябин!

— Рад стараться, ваше благородие!

— Как это ты ухитришься,— каждый раз...

— Подкараулишь его и не пикнет,— а только и это, ваше благородие, скучно, разве мудрено убивать исподволь,— в открытую вот, а сам знаю, что не полагается шуму делать...

— Но ты и не знаешь, Калябин, что ты герой...

— Какое же это геройство людей убивать... Тут нужно просто все нутро вывернуть...

— Кому?! Немцу?

— Нет, ваше благородие...

— А кому же?..

— Тому, кто кашу заварил эту. Верно, что врагов убивать нужно, а только разве это враги наши, наши-то враги там...

И взмахивал рукой за свои окопы.

Ротный прекращал разговор, хмурился и говорил строго:

— Ты что эго?! Смотри у меня! Наши враги немцы, а там родина.

Хмурился и Афонька и, поблескивая исподлобья глазами, безразличным, дубовым голосом коротко отвечал по уставу:

— Так точно, ваше благородие!

— Понял теперь?

— Так точно!

Потом ротный снова становился простым и мягким,— любил Афоньку за храбрость и говорил спокойно:

— Ты лучше, Калябин, живыми их приводи из дозора.

— Слушаюсь, ваше благородие,— попробую.

В первые дни войны вылилась сила буйная — убивать врага, то есть собственно не врага даже, а людей, все равно кто бы ни был, лишь бы пролилась эта сила кровью. Ненавидел тех, кто из него сделал врага, хотел передавить червей, чтобы самому вздохнуть, а пошел убивать неизвестно кого и за что, только потому, что звериная волна захлестывала каждого, кто в первые дни пришел на фронт,— убивать защищаясь, зная, что так же и его убивать будут, если он руки опустит. Но когда люди зарылись в окопы, и начались будни,— почувствовал, что убивал не тех, кого думал и кого хотел. И это не сразу пришло. Один раз после атаки, когда их полк прорвал в одном месте окопы врага, а перед тем сам атаковывал под пулеметным огнем, оставив сотни скошенных трупов — пришлось отступить и снова пройти обратно расстояние между немецкими и своими окопами, вот тут-то только он и заметил, что убитые и русские и немцы лежат вперемежку в самых неожиданных позах, некоторые чуть не обнявшись, и у всех было выражение смертного ужаса в последнюю минуту дыхания — прожгла мысль Афоньку, что ведь собственно русский, обнявший немца в последнюю минуту жизни, мог бы его обнять и раньше, и незачем им было стрелять друг в друга, а стоило только выйти спокойно за окопы, на это самое поле, и подать руку друг другу, так вот просто и подать, и он даже представил себе улыбку какого-нибудь немца из восточной Пруссии и скуластое, заросшее лицо костромского мужика, и даже ему послышалось, как они скажут при этом друг другу,— *mein Freund, Kamrad*,— он эти слова слышал уже, когда отводил пленного немца,— представив, как будет говорить костромской «дядя»,— он всех пожилых солдат

называл дядями,— товарищи мы, и воюем. И сейчас же пришел вопрос, сам собою, собственно кто же воюет, кому нужны эти смерти, и ответил себе,— черви, те самые, что людей покупают на Невском и мужчин и женщин, этим война нужна, а костромскому «дяде» дали в руки винтовку, одурманили ненавистью и послали убивать людей, которым, вероятно, то же самое говорили их черви. С этого момента настала скука: скучно было убивать без цели, скучно было слушать визг пуль и завывание гранат и шрапнелей, скучно было в окопе сидеть и стрелять, и он даже не стрелял потом, когда был большой огонь и когда костромские «дяди» усиленно щелкали затворами, вставляя обоймы. А когда ротный сказал ему, что лучше живыми приводить из заставы врагов — бросил по утрам подкарауливать на ровках немцев.

Товарищи смеялись ему:

- Что ж ты, Афанасий, забыл, что ли?
- Ну их к чертям, скучно...
- Чего скучно?
- Надоело мне это,— ни к чему, вот что.

Вечером в тот же день, укладываясь спать в сыром окопе, осторожно говорил соседу, чтоб не донес кто ротному, потому что после того он и ротного и взводного офицера возненавидел, решив, что их хоть, может быть, тоже заставили воевать, а только они могли бы ведь отказаться, а не отказываются, значит такие же черви, что копошились по вечерам на Невском и в студенческом и в штатском.

Солдат спрашивал:

- Почему ж воевать-то не нужно, когда они прут ва нас?!
- Их посылают, так же как и нас,— ведь так?
- Это правильно, что посылают, разве сам бы пошел убить?!
- Так видишь! А кто посылает?..
- Знамо кто,— царь ихний...
- И наш тож, а мы как бараны идем...
- А как же?

— Да ты выйди к нему, да скажи,— чего нам, товарищ, убивать друг друга, разве ж мы чего не поделили; послали нас убивать, а мы и не знаем, за что собственно. Надо б было спросить сперва, для какого интереса мы убивать должны, когда это нам не нужно. Нужно, брат, сперва доискаться, кому это нужно,— может, тогда и убивать незачем будет, может, тогда вместе убивать будем, только не друг друга, а тех, кому нужна смерть наша... Передушить они хотят нас — вот что.

— Кто они?
— Да они!
И махнул рукой за свой окоп.
— Господа, значит, помещики.
— А то, кто ж?
— А ведь правильно это выходит у тебя, Калябин! Куда ж бы мне додуматься до этого!.. А ты сам-то из каких будешь?
— Рабочим быт, молотобойцем,— на заводе долбил молотом...
— То-то...
— Ты только не говори смотри про наш разговор... Понял?..
— Знамо, что не погладят за это. Спи уж...
Потом костромской «дядя» помолчал и, засыпая уже, спросил:
— Сам, что ли, дошел до этого, либо сказал тебе кто?..
— Сам... правду искал... Эх, кабы ты знал... Ну, да теперь ничего, опять человеком стал... Сам дошел до нее, до правды этой.

И когда Афоньке стало скучно воевать, пришло озлобление против посылавших воевать, пришло само и не сразу. Ходил по-прежнему в дозор и по-прежнему прислушивался, по-мужицки, к земле и к ночи, но уже не крался за врагом, чтобы убить, а старался встретить его лицом к лицу, чтобы захватить живым, но когда это не удавалось, так как ни он, ни немец не знал, что друг у друга на уме, и ошетикивался штыком, Афонька снова караулил и подкрадывался сзади, хватая за руки, и приводил в окоп, заставляя даже пленного самому нести винтовку свою.

И один раз — на австрийском фронте, где словаки и чехи подымали руки и кричали — братш, братш,— он привел пленного чеха, сумрачный, молчаливый, сдал ротному.

— Молодец, Калябин!

Афонька ничего не ответил, сверкнул только исподлобья глазами.

— Ты что же не отвечаешь?..

— Болен...

Ротный с минуту помолчал, что-то подумал и потом сказал:

— На три дня отпуск тебе даю, в тыл, полечись. К Георгию представляю тебя.

— Не нужно мне...

— Что не нужно?

— Ни отпуска вашего, ни Георгия...

— Ты что, с ума сошел или болен?!

— Никак нет!

— Ступай, полечись,— что у нас сегодня?..

Кто-то ответил:

— Среда, ваше благородие, пятнадцатое...

— Так вот в субботу ступай, один раз еще сходишь в дозор, одного еще приведешь и ступай,— хочешь домой отпущу,— поезжай домой.

Ничего не ответил Афонька.

В пятницу снова пошел в дозор, а перед утром, когда еле заметная полоса света подернула небо, смена встретила его, ползущего — из ноги сочилась кровь, и он, стиснув зубы, волочил ее по земле, оставляя тонкую струю крови.

Х

Не знал, куда и зачем ведут, в полузабытьи и в бреду открывал глаза, обводя ими сперва вагон, потом небольшую светлую палату госпиталя,— бред был тяжелый, долгий. Издалека откуда-то долетало в сознание и превращалось в слова бреда: лицо женщины или девушки, неизвестно какой, незабываемой в памяти и исчезнувшей в представлении. Все время казалось ему, что на него со всех сторон ползут черви, будто они наполнили окоп — большие, жирные, толстые и лоснящиеся, точно они вымазаны салом или еще чем-то похожим на пот — едкий и тошнотный, от которого кружилась голова, и наступал сон или дремота. Черви эти ползли оттуда, из-за окопа, но не со стороны неприятеля, и нужно было давить их, он пробовал наступать на них грязным сырым сапогом, но они выскальзывали из-под ноги, и на них налипала какая-то слизистая грязь, тогда он с озверением набрасывался на них с винтовкой, колол штыком, из них брызгала жидкость, похожая по цвету на кровь, но вонючая и противная, такая же склизкая, как и черви, потом он бил их прикладом, разрывая на куски, но куски эти подползали один к другому, срастались, и уже образовывался один громадный, копошащийся в окопе бесконечными двигающимися коленами какой-то гад, он обвивал ему ногу, вздувался, давил, и руки, уставшие от непрерывной борьбы, роняли винтовку, он падал на дно окопа и старался выкарабкаться туда, откуда заползали черви,— потное лицо сочилось кровью от попавших на него брызг раздавленных червей, и он начинал кричать, призывая кого-то на помощь:

— Давите, давите червей!.. Передушить их! Гады они! Душите их, душите червей!..

Когда чья-то белая косынка наклонялась над ним и поправляла ему затекшую голову, на минуту он встречал чьи-то спокойные ласковые глаза и сейчас же начинал говорить новое...

— Звезда идет, идет звезда вифлеемская... Тише вы, тише... Звезда идет.

И один раз, когда он бредил, и над ним снова склонилась косынка белая, и блеснули глаза, он вздрогнул, на один момент, взглянул и в сознании ясно пронеслось — Феничка, и он вскрикнул, снова закрыв глаза:

— Феничка!

Придя в сознание, он почувствовал тупую боль в ноге, хотел пошевелить ею и сейчас же вскрикнул и застонал. Подошла сестра и почти незнакомым голосом сказала ему:

— Вам нельзя двигаться! Лежите смирно.

Потом она начала поправлять лубок.

Афонька все время, пока она возилась с ногою, пристально вглядывался в ее профиль, и когда память вернула ему образ Гракиной, он чуть не вскрикнул,— но от волнения голос осекся, и он тихо спросил ее:

— Фекла Тимофеевна, это вы?

Она молча кивнула головой.

Ее присутствие дало ему силы говорить,— несколько минут он разговаривал с ней, а потом от слабости впал в забытие.

— Судьба, значит!

Феничка тихо ответила, посмотрев на спящих:

— Да, Калябин, судьба.

— Всю жизнь ее ждал, судьбу свою, опять она привела меня к вам.

— Для того, чтобы спасти вас от смерти, вот для чего.

— Как спасти?..

— Лежите молча, а главное не смейте двигаться!

Поправив ногу, она не ушла, села на край постели.

— Вы меня тоже спасли, а теперь судьба и мне вам отплатить тем же...

Потом она встала и хотела уйти, и у него появился какой-то беспричинный страх, что если она сейчас уйдет от него, то он никогда уже ее не увидит больше, он снова ей крикнул:

— Фекла Тимофеевна!

— Что вам, Калябин?

— Пить хочу...

Она отошла к столу, налила из графина в стакан воды и поднесла ему. Он собственно и воду просил, чтобы задержать ее еще хоть на одну минуту, и когда коснулся своими пальцами ее руки — улыбнулся счастливый, что она вернулась, еще не ушла, и даже промелькнуло, что, очевидно, он ее будет видеть.

Феничка взяла обратно стакан и, уходя, кивнув головой, сказала:

— Не шевелитесь, это для вас главное, Калябин,— спите теперь...

И действительно, он сейчас же заснул,— это был первый спокойный и крепкий сон, когда во сне и телу начинает возвращаться жизнь, и оно успокаивается, чтобы снова вбирать в себя силу.

Как и всегда, Афонька был молчалив, угрюмо смотрел по сторонам и от боли морщил лицо, отчего оно становилось еще уродливей и страшней — перебитый нос морщился, на лбу появлялись резкие морщины, отросшие рыжие волосы смотались от лежания паклей и нависали на лоб. Целый день он лежал спокойно, но как только приходила на дежурство Феничка, он все время пытался привстать, заглянуть на нее, шевелил ногой и стонал от боли. Гракина подходила на стон, поправляла ногу,— быть может, для этого он шевелил ею, чтобы вызвать в себе острую и нестерпимую боль, лишь бы близко около себя увидеть Феничку, почувствовать ее прикосновение, ради этого он мог все что угодно перенести, лишь бы встретить ее глаза и тихую, спокойную улыбку. Ночью, в дежурство Фени, когда все уже спали, он симулировал свою боль лишь для того, чтобы Гракина подошла к нему. Она садилась на край постели в ногах и успокаивала его.

Раньше, когда она металась, ждала любви, приходила к Никодиму, у ней был невыразимый страх, доходивший до ужаса при встрече и при воспоминании о рыжем монахе, преследующем ее и здесь в Петербурге, погубившем, как ей казалось, тогда Никодима; она чувствовала, что это сделано было из-за нее, Никодим ей сказал это, возвратившись из ссылки. Но теперь, когда она иная стала, переродилась любовью и приняла жизнь спокойно и радостно, и особенно во время войны,— она ведь тоже видела страдания и смерть людей,— это спокойствие стало особенно ясным. Она была женщиной, первое время даже не выдержала голода и жила с Никодимом, но потом и это прошло и стало еще ясней. Она не убивала в себе женщину, не старалась заглушить в себе жажду, но утоляла ее работой. Война застала ее на практике, она сама пожелала этого и осталась в Петербурге на лето в клинике, а когда хлынули первые поезда с искалеченными людьми,— осталась сестрой.

Когда привезли Калябина, она даже не обратила на это особенного внимания и только один раз, когда все знали, у него вот-вот начнется заражение крови, она просидела над ним всю ночь и, перечитывая над ним табличку, вспомнила его фамилию, и у ней ожило прошлое, но прошлое это было за матовым стеклом жизни — у ней она новая и она сама иная теперь — примиренная. Эта ночь над Калябиным спасла его жизнь и ногу.

Последние дни ей все время хотелось спросить его — правда ли, что он предал Никодима и зачем это нужно было ему, она чувствовала зачем, но захотела сама услышать, чтобы и это темное место стало ясным, осмысленным.

Не выдержал сам Афонька...

Целый день мучился тем, что хотел спросить ее, где Никодим и что с ним, точно его мучило это, и вечером, когда все уснули, и Феничка села у стола отдохнуть — застонал. Она подошла, поправила ногу и села на край постели.

Спросил глухим шепотом:

— Фекла Тимофеевна?!

— Что, Калябин?..

Она всех называла по фамилии, как и все сестры.

— Где теперь Никодим Александрович?..

Феничка вздрогнула, брови слегка сдвинулись на минуту и снова разошлись...

— Был у дяди на фабрике..

— Вернули, значит, его?..

— Вернули...

Минуту длилось молчание. Афонька снова спросил.

— А теперь где он,— не знаете?!

— В военном училище,— призван...

Проснулась своя мысль...

— Зачем он пошел, лучше б ему не ходить туда...

— Призван...

И опять замолчали. Потом Афонька пошевелился и застонал...

— Лежите смирно!..

Эти слова ее, ничего не значащие, и дали ему возможность сказать самое главное...

— Фекла Тимофеевна, ведь это я его предал тогда, я...

Как эхо изнутри донеслось:

— Зачем вы, Калябин, сделали это?..

— Неужто вы не знаете этого?!

Феничка испугалась, почувствовала, что предположение ее оправдалось, а он не мог уже остановиться...

— Кабы не вы, ничего бы не было, из-за этого и я было потерял свою жизнь... И тогда знал, что ничего не сделаю этим, а вот не мог, не выдержал. У меня-то ведь в мысли было совсем другое, правды хотел я, искал ее, тогда может она для меня в вас была, правда-то эта, а вот встретился человек, ведь я у него хотел расспросить и узнать эту правду, целый месяц искал его по пивным, а правда-то эта в вас была, я и тогда думал — через него и к вам ближе стану и правда эта откроется мне из-за этого. Разве ж не свела нас судьба? Помните в январе-то! По смерть не забуду этого.

— Чего не забудете?!.

— Да поцелуя вашего, всю жизнь его чувствую, может через него и я не дошел до точки, а ведь ходил по краю бездны искушения человеческого, аки тать в нощи, а он-то и хранил меня на путях странствия, точно вот звезда вифлеемская, а звезда-то эта вы были, ее свет направлял меня... Повидать бы его...

— Кого?..

— Петровского... Бываете вы у него?

— Нет. Редко...

— Может, зашел бы ко мне?..

— Зачем?

— Ему тоже нужно сказать мне... несколько слов... ведь мы-то с ним одного поля ягоды...

Медленно срасталась нога, и когда Афонька первый раз встал на костыли при помощи Фенички, переступив несколько шагов, он обрадовался как ребенок.

— Фекла Тимофеевна, неужто я буду ходить?..

— Теперь будете.

— И на улицу пустите? Ведь вот я в Петербурге, а что делается — ничего не знаю... мне бы только на людей глянуть...

— Зачем?..

— Сразу б узнал, только б глянуть, а может уж близко это...

— Что близко?

— Ну, это самое, за что Никодим Александрович...

Не дала досказать ему, а вечером, когда все спали, подошла сама и сказала:

— Смотрите, Калябин, услышит кто-нибудь из сестер — плохо вам будет.

— А что, донесут, что ли?..

— Донесут...

— Пускай доносят, теперь мне бояться нечего, теперь я другой. А червей этих передушить нужно...

— Каких червей?..

— Да вот что по городу ползают, кровь у человека высасывают. Вы думаете, за то мы воевали, чтоб им легче было душить людей?!

Говорил тихо, неслышным шепотом. Феничка удивленно смотрела на него, слегка наклонившись, чтоб яснее слышать его слова.

— Кто это сказал вам?..

— Что червей-то давить нужно,— сам я дошел до этого. Додумался на войне, в окопах. Мне бы, Фекла Тимофеевна, разок бы хоть взглянуть на людей, сразу бы вот, по чутью, узнал. А то ходишь по коридору на костылях и свет-то в окне — во двор, а улица тут глухая, ни разу и не был тут, а может забыл... Мне бы разок взглянуть!..

— Теперь скоро поправитесь...

И когда днем дежурная сестра в первый раз вместе с другими вывела погулять по городу, сразу вдохнул в себя дымную копоть окраины и жадно стал вглядываться в стоящие очереди за мукой, хлебом, сахаром.

Спросил у сестры:

— Сестрица, отчего эго люди толпятся?..

— В очереди,— за сахаром, за мукой...

— Чего же это такое?..

— Не хватает,— все для вас теперь отдано, а населению не хватает.

Всматривался в хмурые, бледные и утомленные лица рабочих, возвращающихся и идущих на смену. Ранняя осень сырая была, пасмурная... С сентября начались дожди и туманы и с пяти часов вечера зажигались на улицах тусклые фонари и в этих гнетущих сумерках звонки трамваев и жирные покрякивания автомобилей были жуткими, точно одни выкрикивали озлобленно — хле-ба, хле-ба, хле-ба, а другие хрипели — нет, нет, нет, не будет. Длинные очереди-хвосты у булочных с бесконечным ожиданием хлеба и взмахи электрических зигзагов на вывесках кино, пожирающие толпу в огненном вестибюле,— офицеры, господа в штатском и дамы — в косынках и без косынок — и с кошелками в платках и простоволосые, утомленные и худые, смотрящие слепыми глазами рабов на шум города...

В другой раз сестра предложила сводить после обеда в музей,— дежурила Феничка.

Калябин старался идти с нею рядом.

— Фекла Тимофеевна, зачем нам в музей?

— Как зачем, пусть развлекаются, посмотрят картины, может быть, многим никогда не придется увидеть...

— Лучше бы нас поводили по городу, тут тоже музей, пускай бы солдаты на него глянули.

Не поняла Афоньку, и пообещала после музея показать город.

Около одной из очередей у булочных Филиппова Феничка решила на свой счет угостить чем-нибудь раненых. Стеклопанная дверь с другой стороны магазина взмахнула зеркальным стеклом, впусшив группу солдат и сестру. Афонька впился глазами в ту часть кондитерской, где за столиками подле пьющих лениво кофе навалены были в изящных небольших корзинках сдобные булки и в вазах пирожные, пирожки.

— Фекла Тимофеевна, как же это так,— люди за хлебом стоят, а тут пирожки, плюшки, ватрушки... Сахару нет, а конфет навалено?!. Как же это так?..

Феничка удивленно взглянула на него, потом подумала, что, действительно, он прав, и сообразила, что он говорит что-то жуткое, и волнующее при остальных солдатах, чего нельзя было говорить и — согласно распоряжению — доносить.

Когда убили Распутина, Афонька сказал Феничке...

— Ну, Фекла Тимофеевна, теперь скоро...

Поняла, но все-таки спросила:

— Что скоро?..

— Главного червя задушили,— вот что!

А в февральские дни Калябин бродил по городу один, упиваясь словами ораторов и толпы, но когда говорили о войне — выкрикивал:

— А когда же конец будет этому?..

В лазарете по вечерам около него собирались раненые и слушали его, повторявшего им свой рассказ о том, как он сам дошел до того, что нельзя убивать таких же солдат, как и сами они, а когда весной доползли смутные слухи о том, что солдаты выходят за проволоку брататься с немцами, говорил раненым:

— Я еще когда передумал это, товарищи, так и вышло — нужно было только одному немцу и русскому друг другу руку подать и никакой не нужно войны будет, тогда другое начнется...

— Что, Калябин?..

— А то, что начнем мы вместе и наших и ихних червей давить, а то еще лучше — собрать их в одну кучу, да пустить их друг против друга, коли им нужна эта война, пускай сами себе перегрызут глотку, а мы посмотрим тогда — станут они воевать либо нет, а нам за них свою кровь проливать нечего.

— Правильно рассудил, товарищ!

— Пушай сами себе перегрызут глотку...

— Мы должны что сделать,— в землю воткнуть штыки!

Сестры и медицинский персонал ходили испуганные, звонили прислать эмиссара повлиять на солдат. Приезжал прапорщик эмиссар, вероятно, студент, но сердца слушавших увещевания оставались глухи, исподлобья у солдат вспыхивали недобрые огоньки и их отсветом омрачался госпиталь и Петроград.

Афонька, прихрамывая, тащился утром в комитет лазарета, рыжие его вихры весело разлетались в стороны, а глаза были упорны силою и настойчивостью.

Феничка старалась пройти мимо него,— он сам остановил ее один раз в сказал, глядя в упор:

— Дождлся я, Фекла Тимофеевна, своего времени,— теперь мое время...

Она испуганно подалась к стене...

— Теперь взошла моя звезда и в Вифлеем приведет...

Глаза ее широко раскрылись...

Афонька кончил:

— Только вам, Фекла Тимофеевна, со мною бояться нечего, потому что вы-то и есть эта звезда и Вифлеем с нами,— революция, значит,— а бояться вам нечего!..

XI

С утра трещали две машинистки, щелкали костяшками конторские счета, и бухгалтер не раз уже подбегал к столу инженера Дракина с бланками и счетами. Половина одиннадцатого замолкали машинки и счета, и все начинали усиленно жевать принесенные завтраки, запивая чаем. Кирилл Кириллович также собрался к себе наверх...

Дверь нерешительно открылась, в том же старом студенческом поношенном пальто и фуражке вошел Петровский, угрюмо оглядывая контору.

Какой-то служащий спросил:

— Вам кого?..

— Мне нужно видеть инженера Дракина.

Бритое сухое лицо с трубкой быстро обернулось к Петровскому, и инженер сделал несколько шагов навстречу Никодиму, оглядывая его быстрым до неуловимости взглядом. Потом Дракин коротко пожал руку...

— Я — Никодим Александрович Петровский...

— Очень рад, идемте наверх,— у нас перерыв, будем завтракать.

И, не спрашивая мало знакомого человека, желает ли он или нет, — Кирилл Кириллович сделал движение рукой, пропуская в дверь Никодима.

Кирилл Кириллович ввел Петровского в кабинет...

— Садитесь, я принесу прибор... Вы пьете?

— Спасибо, я не хочу есть...

— Человек должен беречь свою машину, иначе она будет слишком рано непригодна к работе, у меня заведено — десять минут завтрак,— в десять на фабрике, в одиннадцать в конторе,— затрата времени вознаграждается большею интенсивностью труда после короткого перерыва.

Через минуту вернулся, наложил на тарелку гарниру, кусок жареного мяса, налил вина...

— Я — виски с содовой! Сперва позавтракаем, потом — о деле.

Ел быстро,— короткими движениями отрезал мясо, жевал, потом запил все содовой с виски, выбил трубку и закурил, молча ожидая, когда Никодим окончит завтрак.

— Сзади вас на столе папиросы,— курите! После завтрака я люблю посидеть несколько минут и помечтать.

Петровский удивленно взглянул на Дракина.

— Почему это так удивило вас?! Именно помечтать,— о будущем. Вам покажется странным, но я с удовольствием перечитываю иногда утопии,— в них душа разума...

Затянулся густым клубом дыма, в глазах промелькнула какая-то мысль,— стальные, серые, почти всегда холодные глаза — подернулись теплом мысли и сейчас же потухли.

Взглянул на часы, снял телефонную трубку...

— Алло, через десять минут буду в конторе.

И обратился, слегка наклонившись, к Петровскому:

— Вы хотите работать у меня на фабрике?..

— Меня выслали из Петербурга...

— За что?

— Не знаю. Вероятно за старое, я теперь не принимал участия в партийной работе.

— Это все равно. Будете у меня на фабрике... Сто рублей в месяц, — потом — увидим...

Никодим вскочил, потом сел и начал, волнуясь:

— Но ведь я социалист...

— Знаю. Я, может быть, тоже.

— Нет, — мы враги, и вы, — это ведь насмешка же, — нанимаете меня, или, быть может, хотите купить?! Ведь эти сто рублей ваши — презрение...

— Задаром я ни от кого ничего не беру, я не эксплуататор...

— Но ведь я буду, — я говорю это открыто вам, — вести революционную пропаганду среди ваших же рабочих.

— Бессмысленного бунта я не признаю и для меня революция — перестройка, но не разрушение. Конечно, революций нет без разрушения, но и в этом разрушении старого должно быть с первого же момента строительство. Об этом мы говорить будем после, а теперь — вы принимаете мое предложение и остаетесь на фабрике культурным работником в чайной, — это собственно миниатюрный народный дом, но чтобы не пугать начальство — это только чайная, хозяева там — рабочие. Ваша задача — одухотворить организацию труда и производства, слить это в одно — организм должен дышать и мыслить, иначе, действительно, у нас когда-нибудь будет слишком много бессмысленных разрушений, — в какую идею вы облечете эту задачу, это безразлично — она не будет противоречить ни мне, ни вам. А теперь мне пора. Оставайтесь здесь и решите! Обедаете у меня! Если останется время после вашего решения — в вашем распоряжении моя библиотека, можете просмотреть ее, она вам понадобится.

Никодим с удивлением смотрел на инженера, на каждое его слово у него возникали возражения и вопросы, но говорить, спорить некогда было — Дракин бросал коротко фразы и, кончив, не простившись, ушел.

В конторе Кирилл Кириллович на ходу сказал:

— Никодим Александрович Петровский, на культурную работу, сто, квартира и стол.

Служащий быстро записал на блокноте и потом внес его в книгу личного состава.

Петровский не знал, что решит, и прежде всего начал просматривать книги,— бесконечные ряды по специальности на русском и иностранных языках, каталоги, проспекты, отчеты... И верхний рад,— поразило даже,— Бём-Баверк, Каутский, Маркс в подлинниках и в переводе...

Он даже подумал:

«Во всеоружии,— да, с такими бороться труднее».

Вот эта-то мысль и решила его работу на фабрике Дракина, только он почувствовал, что для него эта борьба еще непосильна, что ему еще нужно подготовиться и тоже быть во всеоружии. В первые годы студенчества до ссылки он работал в партии как чернорабочий, выполняя ее поручения, читать было некогда,— в ссылке трудно было достать книги и приходилось их прятать и самому прятаться. У него была одна только своя мысль о дисциплине в организации, а теперь — захотелось борьбы и работы, и он, решая остаться у Дракина, закончил вслух свою мысль:

— Но с таким нужно и интересно бороться,— останусь...

До обеда читал, выписывал нужные для прочтения книги и, стоя на плотной лестнице, бережно вынимал их и ставил обратно в том же порядке. За этим застал его Дракин.

— Значит вы остаетесь?..

— Да, остаюсь...

— Идемте обедать... За обедом условимся о технике.

Обедали в столовой,— все было на столе, никто не подавал, не менял посуды, не прислуживал. Дракин сам налил себе суп и передал половник Петровскому,— наливайте,— потом отставил тарелку, на мелкую наложил второе и опять сказал,— вы сами,— вместо сладкого съел яблоко и запил водою.

— Теперь говорить будем. Стол и квартира мои. При бане есть две комнаты, они будут ваши, завтра вам приготовят их. Обедать и ужинать будем вместе,— я один, а когда Феня приедет, она нам мешать не будет. В это время будем говорить о работе.

Тон еще был деловой, сухой, но когда Дракин перешел к своей идее труда — глаза оживились, слышались образы и даже краски почувствовались, у Никодима только мелькнуло, что, действительно, инженер слишком необычен для капиталиста, и если это не утонченная эксплуатация, то удивительно близкое к социализму.

Петровский регулярно, как часовой механизм, приходил к обеду и ужину, регулярно работал у себя над книгами и в чайной, устраивая, с помощью местных учителей гимназии, лекции, вечера, концерты, и предложил организовать гимнастическое общество. Но так же регулярно он начал вести и политическую работу,— появились брошюры, книги и начались в перерывы беседы. Дракин обо всем знал и на все смотрел спокойно. Петровский был буквально поражен тем, что однажды инженер дал ему поручение отправить деньги в эмиграцию за границу.

— Вы поддерживаете социалистов?!

— Да. Что же тут странного? Не один я поддерживаю. Наше правительство тормозит развитие производства, не дает нам развернуться, и мы должны делать то, что делаю я. Я знаю, к чему я иду.

За все время Петровский один раз написал Зине и Феничке и содержание писем было почти одинаково,— работа его завлекла, приходилось и самому учиться и некогда было думать о личной жизни.

Писал коротко:

«Милая Зина, действительно, инженер удивительный человек. Сейчас я захвачен работой. Если бы вы были со мной! Многого я в нем не понимаю еще, но мне кажется, что он необычный человек... Но если он... даже думать не хочется!.. Буду рад каждой строчке от вас...»

Феня ответила:

«Видишь, Никодим, я говорила тебе, что дядя Кирюша особенный. Весною увидимся...»

От Зины письмо было в несколько слов:

«Милый, о вас я всегда помню. Мы увидимся с вами. Только пишите мне много, много. Зина».

Больше всего он ждал от Зины письма,— узкий длинный конверт, плотный, слегка шершавый и такая же бумага с ровными краями обрадовали его.

После обеда он всегда заходил в чайную,— повидаться, поговорить, организовать...

Ожидал один за столиком у окна, разглядывая почерк Зины,— нервный, неровный, обрывистый, иногда даже скачущий вверх, но тугой, с сильным нажимом,— вероятно, перо было с тупым концом и буквы были черные, как глаза, и мохнатые.

Испуганно взглянул на подошедшего человека...

— Разрешите, молодой человек, к вам за столик... Ваше появление у господина инженера столь неожиданно-с, что вызвало во мне особый интерес... Частный поверенный Лосев, Иван Матвеевич...

— Редактор этой газеты?!

— Совершенно-с верно изволили угадать... Редактор этой-с газеты... Изволите-с читать ее?..

— Нет, я таких газет не читаю!..

Сказал и отвернулся, снова начал разглядывать почерк, стараясь вдохнуть какой-то неуловимый запах бумаги и конверта, точно в этом должна быть частица Зины, ее душа, ее взгляд, ее прикосновение...

Лосев не замолкал...

— Письмецо-с изволили получить?! Должно быть деловое откуда или так личное-с?..

— Чего вы ко мне пристали?

— Особенное имел намерение познакомиться с вами, Никодим Александрович, так кажется ваше имя-отчество?! Уж очень любопытное-с явление в современной жизни ваш патрон,— не находите-с этого?! Не понимаю я одного-с, как может человек под собою самим-с, под собственным благополучием и благоденствием подрывать основы-с этого благополучия?

— Как так?

— Вот эти самые трепачи его и прикончат и фабрика-с полетит, этак вот...

Он сделал неопределенное движение рукой...

— ...верх тормашками-с... Вы, кажется, изволите служить у него?.. По просвещению масс... Просвещаете-с!.. В административном-с порядке-с...

— Как в административном порядке?

— Насколько известно мне, вы человек, так сказать, политический... Ну, конечно-с, больной человек, ведь это тоже-с болезнь века — устои российского самодержавия подрывать, подкапываться, в открытую, так сказать, силы воли не хватает у вас с патроном, так изволите-с просвещением заниматься. Ну, вам, так сказать, это занятие по душе-с, изволите быть из простого звания-с, а вот вашего патрона я не понимаю-с, никак не могу-с понять, загадочный человек, сам, так сказать, революцию готовит, кавардак-с, а денежки-с изволит отправлять за границу...

— Как за границу?

— Очень даже-с обыкновенно, в Англию-с... Должно быть, особые на то виды имеет-с, предвидение-с событий... Я мол революцию с

удовольствием готов... а денежки-с... за границей целей будут-с... Понимаете тут какая политика, тонкая-с политика, а так мол и социализм готов проповедывать и даже вот не гнушаюсь, потому что собственно-с, не боюсь, может быть презираю доморощенных социалистов и на службу беру к себе, знаете, Никодим Александрович, так сказать, приручаю-с, тут изволите ли видеть тонкая политика-с, заграничная-с...

Петровский на Лосева смотрел сперва с презрением, потом с удивлением и, наконец, с каким-то немим ужасом и отвращением.

— Откуда вы все это знаете?

— Такая, видите ли-с, обязанность наша всеведущая и всевидящая, именно-с всеведущая-с... Для этой газетки-с собираю, так сказать, материалаец, для пользы отечества-с и престола. Ведь у вас ни отечества-с, ни престола-с — идеи-с одни, идеи, и они-то и губят молодежь нашу, а у Лосева-с сердце-с обливается кровью за молодежь нашу. Лосевы-с терзаются этим, мучаются и молятся-с о спасении погибающих и только бы душу спасти человеческую от вертепа антихриста. И к вам, Никодим Александрович, исключительно из-за этого-с подошел... Разве не пострадали в своем изгнании, там, далеко и мало ли там страдает таких же, а страдание это ничем не окупается, может, оно и не кончено, вот именно что не кончено-с, а разве хватит силы у человека всю свою жизнь страдать? Знаю, знаю, что мы,— молодежь наша,— на страдание-то всегда готовы,— мы-то вот страдать будем, мучиться, а господа инженеры-с и под ручку-с будут с нами гулять, а как что-либо, за границу укатят — потому предвидение-с у нас непомерное-с, а денежки-то — спокойно себе лежат в Англии-с и там, так сказать, ждут прибытия нашего в случае какого несчастного-с происшествия-с, а либо,— если другой поворот выйдет,— мы их, так сказать, преподнесем китам на идеи-с — и тут ведь предвидение, а молодежи-то страдание-с... А вот, не осмелюсь сказать только вам, Никодим Александрович...

— Что, говорите?!

— А наша с вами дорожка-с российская и спасение в отечестве-с, мать нам она — не мачеха, мы только боимся ее — мать-то строгая, ей от деток своих не идейки-с нужны, не прекрасные словеса-с, а дело-с, а мы говорим только и считаем, что дело делаем, а вы бы могли-с дело делать, полезное-с дело для отечества и для престола-с, не удивляйтесь, что для престола, престол-то вершина отечества, помыслы наши в нем слиты-с, чаяния наши и престол — это отечество наше, для отечества вы бы могли трудиться — оно призывает вас, вы

только не слышите, ваткой мяконькой заткнули вам уши господа инженеры-с... и не ваткой одной и не уши одни-с, а и глотку-с... Влили в нее отраву вам заграничную...

Только после этих слов Петровский опомнился...

— Нет, Лосев, вашим слезам никто не поверит, у вас они ядовитые...

— Хе-хе-хе-с!.. Шутник вы, Никодим Александрович... А я было надеялся... Вот как надеялся,— эх, молодежь, молодежь... Как идейки-то нас обвораживают, а может быть, и не идейки одни... Молчу-с, Никодим Александрович, молчу,— тут уж дело сердечное...

Все время Лосев шарил по лицу Никодима, наблюдая его выражение, и переводил на письмо, может быть, и прочитал даже несколько слов и наверное даже прочитал, иначе бы он не сказал про обворование, у него даже мелькнула мысль, что идеи Петровского вроде капитала его, а племянница родная инженера Дракина самая суть, и даже успокоился, решив, что как только кончится дело браком, о ребенке он тоже знал, так и идеи исчезнут, и человек переменится, присосавшись к деньгам и к делу, и тогда, может быть, и еще раз можно будет поговорить с Петровским.

Лосев даже подчеркнул:

— Письмецо-то вы не потеряйте свое, от барышни ведь,— красавица она у вас и кудесница...

И сейчас же, не ожидая слов Петровского, встал, прижал свой портфель к груди и заторопился, и слова его стали торопливые, захлебывающиеся:

— Извините-с, Никодим Александрович, оторвал вас от размышления-с и созерцания-с, улетучиваюсь, улетучиваюсь, дорогой... простите...

Как-то нырнул, засеменив ногами, и исчез в двери.

Никодим встал, взглянул — темные круги пошли перед глазами пятнами, в уме пронеслось:

— Ну и гадина, раздавить бы его,— и то противно!

Неприятно только резнуло то, что Кирилл Кириллович отправляет деньги в Англию, и то, быть может, эта мысль возникла только потому, что слова Лосева минутами действовали как яд, разъедая душу сомнением.

Сзади к нему подошел трепальщик Игнат...

— Что, Никодим Александрович, навел туману на вас Лосев?

— Действительно, какой-то туман...

— Всюду он ползает, этот гад, вынюхивает, подслушивает, мы его и то не раз собирались — того... ну, да он еще попадетсЯ нам...

XII

Летом, в жару, пришла к Никодиму Зина, застала его за книгой в тех комнатах, что были при бане; проводил ее служащий из конторы.

Постучала в дверь — вышел Петровский, обрадовался и удивился.

— Вы думали, я не приду?.. Я вам писала — о вас я всегда помню...

Села около стола, взглянула на книги...

— Учусь, Зина, все время учусь...

Черные мохнатые глаза были печальны, смотрели с укором на Никодима, но были тихие, ласковые.

Посидела всего минутку и сейчас же встала.

— Куда вы?..

— Я на минутку к вам, милый,— только чтоб вы знали, что я о вас всегда помню и думаю...

Подала руку, такую же детскую, маленькую...

Не нашлось слов задержать, попросить остаться у него еще немного,— внутри было тоже большое чувство, которым он, в сущности, не думая даже о нем, жил, потому что каждый день, перед тем как садиться работать, раскрывал письмо и вглядывался в черные мохнатые буквы, потом снова вкладывал их в конверт и прятал письмо. Он только чувствовал ее; он ей рассказал свою жизнь — о ней же не знал ничего, боится расспросами затронуть, может быть, очень болезненное и сокровенное. Раньше, когда мучил Феничку прошлым — не возникало и мысли этой, а теперь — не приходило даже в голову спросить Зину. Сказал только ей:

— Зачем вы уходите?

— Отчего вы мне не писали, милый? Мне нужно много, много от вас и о вас. Вы думаете, что я не мучилась, ожидая писем?!

Опять помолчала...

— Я, милый, не умею говорить о себе и писать тоже, но вы должны... иначе я не смогу жить... ведь у меня теперь нет никого, даже знакомых нет... один вы...

Никодим молча смотрел на ее руки,— на одном пальце было кольцо — черный камень, как глаза ее, то вспыхивал, то погасал,— Зина заметила это... Взглянула на Никодима, отняла руки и стала снимать кольцо.

— Возьмите его, с ним вы больше обо мне помнить будете...

Отдала, еще раз быстро-быстро взглянула на Никодима и ушла,— не успел даже одеть на мизинец кольца

Возвращаться пришлось опять через контору. Кирилл Кириллович преградил Зине путь:

— Вы одни?..

— Нет.

— С Верою Алексеевной?

— С нею...

Потом Зина вдруг чего-то испугалась и начала говорить быстро и торопливо:

— Мы на минутку приехали, всего на минутку и должны возвратиться сегодня же...

— Хорошо. Задерживать я вас не буду. Мы тоже на минутку поднимемся наверх,— я хочу проводить вас.

Зина опять замолкла и казалась совершенно беспомощной.

Дракин заставил Зину сесть за стол и завтракать, она молча, опустив голову, сидела, ожидая, когда поест инженер, и к еде не прикоснулась.

Вошла Феня... За нею выбежал мальчик — сын, следом вошла какая-то женщина и увела ребенка.

Кирилл Кириллович оживился:

— Феня, знакомься...

Взглянув друг на друга, узнали...

— Я, дядя Кирюша, знакома с Зиной, мы вместе колос ржи продавали...

Дракин что-то вспомнил и вышел в кабинет.

— Алло, послать наверх студента Петровского, подать автомобиль...

Вошел Никодим, одну минуту длилось молчание, начала Феня, обратившись на ты к Петровскому:

— Никодим, садись завтракать с нами.

Потом обратилась к Зине:

— Вот мы и опять втроем, как и в тот день,— помните, Зина?!

Дракин прервал тревожное состояние:

— Едемте, Зинаида Николаевна!

Зина встала, смятенно взглянула на Никодима и, ни с кем не простившись, сбежала по лестнице.

Феня подошла к Никодиму...

— Скажи, что произошло? Она так на тебя взглянула!..

Глухо ответил ей:

— Я теперь навсегда ее потерял.

— Это кольцо от нее?..

— Да.

— Я не виновата ни в чем, Никодим,— скажи, что нужно сделать, — я готова на все.

— Надо ей написать,— все, все, я сам напишу ей всю правду.

До вечера просидел за письмом, хотел объяснить, что если они и на ты, то это только старая дружба, потому что он давно еще был ее репетитором и даже, быть может, был немного влюблен в нее, но потом это прошло, а когда он был в ссылке, она кого-то любила, и ребенок не его вовсе, он даже не знает чей. Правда, она помогла через дядю Кирюшу (через Кирилла Кирилловича, инженера Дракина) его освобождению и возвращению, и что между ними никогда не было никакой близости. О любви своей писал, что Зину он любит до отчаяния, и если бы она не ответила ему на это письмо, он считал бы, что вся его жизнь потеряна. Письмо было сбивчивое, длинное, с бесконечными повторениями, и в каждой фразе было отчаяние.

Дракин довез Зину до губернаторского дома, оставил ее в автомобиле и зашел к Костицыной.

— Вера Алексеевна, я вам Зину привез...

— Как привезли?! Откуда?! Разве она у вас была?!

— Нет, у студента Петровского...

— Что за девчонка! Она целую неделю ко мне приставала, что ей обязательно нужно, всего на одну минуту поехать в город. Спрашиваю зачем,— нужно, очень нужно поехать... А теперь будет мучиться и меня изводить — зачем я согласилась поехать...

— Нужно поправить как-нибудь это дело. Я, кажется, допустил большую оплошность. Понимаете, я ее задержал, не хотел отпустить без завтрака, хотел познакомить с Феней и вызвал Петровского, и, кажется, что-то произошло нехорошее. Феня, мне кажется, больше чем друг Петровскому, или, быть может, была им, а я это совершенно упустил из виду,— понимаете, я в эту минуту думал только о вас...

— Ах, девчонка, девчонка!.. Едемте, довезите меня...

Долгое время ехали молча. Дракин сидел за рулем, сзади Костицына с Зиной; Вера Алексеевна следила за растерянной, даже скорее какой-то потерянной, Зиной, заметила, что у ней нет кольца, и, коснувшись руки ее, тихо спросила:

— А где, Зина, кольцо,— отдала?! За этим и в город нужно было тебе?!

Зина заплакала.

— О счастье и о любви, милая девочка, никогда не плачут.

Кирилл Кириллович остался у Костицыной до утра.

Через день Зина получила письмо, заперлась в комнате и, перечитывая его без конца, плакала.

Никодим сперва ждал ответа, не дождавшись, написал снова, а потом, когда и на второе не получил ответа, начал писать каждый день,— писал каждую мысль, все, что делал, и в каждом письме о себе — всю свою жизнь с детства и до последних дней и только умалчивал о прошедшей близости к Феничке. С нею он почти не виделся,— Кирилл Кириллович летом отдыхал и вечером куда-то уезжал один или с племянницей и возвращался утром прямо в контору.

Один раз вызвал Петровского...

— До осени вы в отпуску. Деньги получите в кассе.

Жалование получил удвоенное, удивленно спросил:

— Почему столько?

— Во время отдыха у нас так для всех... По-заграничному.

Осенью, уже из Петербурга, Зина прислала Никодиму свой адрес и несколько слов — тем же тугим, черным и мохнатым почерком.

— Милый, спасибо, что пишете, только этим живу. Я с вами — всегда, всегда.

Осенью снова работа — вечера, лекции для рабочих и для себя — книги и письма Зине. С Фенею не встречался почти — незачем было, началась новая жизнь,— своя, замкнутая,— медленно вырастал и креп. На Дракина смотрел все-таки как на врага и не мог допустить искренности его идеи. Мучило только то, что когда-то жил с Фенею,— это лежало тяжестью в письмах Зине, и всегда они были недосказанными — боялся сказать ей об этом, просто, решил,— если судьба — само скажется.

Как-то опуская письмо, услышал сзади себя:

— Письмецо-с извольте опускать!..

На другой день после встречи в газете Лосева появилось:

«Правда ли, что на заводах Дракина некий студент, находящийся под надзором полиции, ведет агитацию и даже получает за это от своего патрона жалование?»»

В день выхода газеты Дракин заказным письмом получил вырезку,— на конверте ломаным почерком было написано: — в собственные руки.

Кирилл Кириллович, прочитав, взбесился; бегом поднялся наверх в кабинет, схватил трубку...

— Алло, Никодим Александрович?

В трубке журчало: — да...

— Сейчас же ко мне!

Через несколько минут Дракин брезгливо бросил конверт Петровскому:

— Читайте... Этот мерзавец в своей газетке гадости пишет и сам же их посылает мне. Не выходите отсюда, вы здесь в безопасности. Я сейчас же вернусь!

Около ворот появились Игнат и Нестерка,— приказано было никого не впускать, а если полиция или жандарм явятся — обожждать в чайной.

Через полчаса вернулся от губернатора.

— Дорого стало, а своего добился,— газетку эту закроют.

Лосева вызвали сейчас же по телефону в канцелярию губернатора, и правитель канцелярии долго ему вычитывал:

— Если вам оказывается поддержка на издание патриотической газеты, то и не для того, чтобы вы писали пасквилы и подрывали доверие к таким лицам, как инженер Дракин,— мы дорожим нашей промышленностью, таких заводов один на всю Россию, и у инженера Дракина ни одной забастовки не было, ни одного волнения, и вы смеете писать гадости? Да, студент Петровский административно высланный, но он ведет культурную работу и находится на службе, и кроме того ваш орган не сыскное отделение, и вам до этого дела нет, для этого у нас есть особые агенты, и студент Петровский сейчас вне подозрений. По личному распоряжению господина губернатора ваша газета с сегодняшнего дня закрыта.

Лосев мигал глазами, что-то хотел говорить, но хлопнула дверь кабинета, и он остался в приемной один.

С этого дня отношения между Дракиным и Петровским стали теплей, крепче.

Никодим организовал кружок из надежных трепачей-мастеров, надеясь в будущем образовать из него группу и через нее питать всех рабочих фабрики.

Весной Дракина вызвали к губернатору,— Лосев не успокоился и донес в министерство,— инженер поехал в столицу, уладил дело, но когда вернулся, Никодим был арестован. К осени с трудом вырвал его к себе на фабрику под свою ответственность. В чайной Петровскому не пришлось больше работать. По вечерам на Дракинской половине работал с группой.

Мобилизация была неожиданной. Дракин хватался за голову, глаза его стали еще непроницаемей. Часть рабочих была призвана, как запасные, новые понизили производство. Кирилл Кириллович ездил в Петербург, хлопотал у губернатора, но спасти от мобилизации и призывов рабочих не мог, только квалифицированная часть была оставлена работающей на оборону. С каждым призывом сокращалась доставка пеньки, конопляники засевали под хлеб, хлебные клинья пустовали. И с каждым призывом с фабрики уходили рабочие и из лаборатории Никодима и его группы.

От Зины пришло после объявления войны письмо — короткое и горячее:

«Милый, работаю сестрой. Сколько страдания! И наши с вами — ничто перед этими. Но вы мне еще стали ближе,— только много, много пишите мне, ваши письма силу дают. Я вас всегда чувствую. Живу точно в келье — госпиталь в монастырской гостинице, а кругом лес: сосна, ель,— белые стены и купола. Только колокольный звон раздражает душу — смерть кличет».

Через несколько месяцев снова письмо:

«Милый, где бы вы ни были — пишите мне. Я знаю, что ваша буду. Все, что во мне — ваше, ваше все, что мое. Я люблю всех людей, но больно, когда они хотят от меня того, что никому не отдам кроме вас — доктор теперь оставил меня в покое, но монахи — смешно и противно. Видела мощи — снятся теперь во сне,— голый скелет с нашитыми белыми черепами на черной мантии, и когда он

распахивает ее — скалит зубы и показывает костяк,— это сон, а наяву,— может быть грех,— но противно смотреть. И представьте, милый, около него у лампад стоит богоподобный монах, он помогает мне, но это больной человек — фанатик, больно смотреть на него, в нем какая-то огненная непорочность и чистота. Если бы этот человек мог быть живым — силою воли он покори́л бы людей,— Евтихий, а учитель его — Поликарп,— черный, большой, высокий, мрачный,— острый как нож, я его боюсь, это — дьявол».

И перед самым его призывом — короткое, и потом долгое молчание.

«Раненым готова себя отдать, от монахов — бежать, бежать... Милый, без писем с ума бы сошла,— пишите, милый».

По вечерам встречался с Дракиным, говорил ему:

— Кирилл Кириллович, вы знаете, как у меня сердце заби́лось, когда в июле к нам слухи дошли, что рабочие в Петербурге вышли на улицу, я тогда хотел бежать ночью от вас, а наутро — мобилизация,— как обухом, и все потухло, но теперь я знаю, что скоро — надо готовым быть, если и у нас за хлебом очереди — это конец, конец.

Зине писал два-три раза в неделю, все, что думал и делал; постепенно гнетущее чувство того, что жил с Фенею,— исчезало — захвати́ла жизнь. Писал между строк — поймет или нет, но писать обо всем нужно и главное о войне, что эта война пересоздаст не только Россию, но и все человечество, очистив кровью. А когда писал — думал, поражение ваше — свобода, и чем бессильнее мы на фронте — тем сильнее внутри, тем больше нас, тем больше к нам придет новых людей.

Кирилл Кириллович изредка бросал:

— Мы не выдержим напряжения!

— Ведь это же революция!

— И уничтожение.

— Вы хотите сказать — разрушение...

— Хуже чем разрушение,— разрушает нас война, а революция уничтожит, камня на камне не оставит в стране, и нечеловеческие будут нужны силы строить все заново.

— Они придут с революцией и оттуда, откуда никто не ждет...

Фабрика почти стала — прекратился подвоз пеньки из соседних губерний,— недостаток вагонов и центральная магистраль для войск. Станки изнашивались, многие стояли без частей, англичанин ушел.

- Меня мои деньги спасут...
- А если революция?..
- Мою идею...
- Но революция неизбежна!
- Чем раньше, тем безболезненней...
- Истощение в войне наша сила...

Мобилизовали и через месяц отправили, как бывшего студента, в училище.

Перед отъездом зашел к Дракину, встретил костылявшего на Пеню рабочего в солдатской шинели...

- Никодим Александрович...
- Игнат?!
- Он самый, товарищ... Тоже воевать будете?..
- В училище завтра еду.
- Работали?
- А вы?!
- Под полевой хотели отдать, да ранили вот.
- А как ты, Игнат, думаешь,— скоро?
- Не знаю, Никодим Александрович,— перетянут — не выдержит шина, тогда...

Из училища Зине реже писал, боялся, что будут перлюстрировать письма. До присяги не пускали в отпуск, а потом, уходя в субботу по записке двоюродной сестры Феклы Тимофеевны Гракиной, опускал в ящик сам. Несколько писем пропало, несколько — ленивый чиновник или офицер не захотел читать до конца и пропустил середину,— дошли.

Осенью по субботним вечерам ходил на Обуховский, через старого уцелевшего товарища восстановил связь, встречался с рабочими, у одного иногда оставался и ночевать.

Угрюмый, сухой, тощий и сосредоточенный мастер говорил сухо, коротко:

- Все равно бросят...
- Что?
- И работать, и воевать...

Пил неторопливо вприкуску чай... Каждое слово говорил подумавши:

— А в училище у вас есть надежные?..

— Почти никого...

Ложась спать, докуривал папиросу...

— В три смены у нас,— а толку?

— Почему так?

— Не хватает материалу — куваку возят.

— Кувакерия!..

— Кувыркерия!..

— Министерская...

— Кувыркерия, товарищ Никодим... кувыркерия... все кувырком скоро. Голод прижмет — на улицы выгонит.

Перед выпуском из училища получил от Зины письмо:

«Милый, Евтихий спас моего брата, две версты на себе нес через лес по снегу,— если бы мне его спасти, а, должно быть, есть на свете такой человек, который сделал бы это, смог бы... Я его, оказывается, один раз видела, когда с покойной Костицыной была тут. Отдалась уходу за братом,— но мы с ним чужие,— просто, спасти его нужно... Кольцо берегите,— в нем — я. Но когда же конец, я так устала!»

Перед выпуском, когда раздались в Думе слова — предательство или глупость,— в дымных, сумеречных улицах Петрограда еще отчетливей стали кричать трамваи — хле-ба, хле-ба, и еще упорнее отвечали автомобили, хрипя,— не-ет, не-ет, не-ет и смеялись рявкая — Ку-ва-ка, Ку-ва-ка...

И неожиданно в училище выросла тревога,— откуда-то, может быть, с туманом, поползло по юнкерским спальням, что где-то волнуются рабочие и, может быть, выйдут на улицу, а тогда... тогда, вероятно, выведут юнкеров, все девять рот, выведут все училища, и никто не смеет отказываться. И каждый знал, от чего он не смеет отказываться,— должны будут стрелять в толпу, и не в толпу, а в рабочих, и сразу у многих шевельнулось внутри,— что, если выведут, — у каждого вдруг зародилась внутри надежда, что, может быть, и не придется стрелять, может быть, при виде их толпа рассыпется, разбежится, а где-то внутри щемило,— а вдруг если прикажут,— буду я стрелять или нет — в безоружных людей, у которых право идти и требовать насущный хлеб жизни,— выйди они, ну скажем, с винтовками, с револьверами, с бомбами, но ведь и на это они имеют право, а я вот, звавший их всего несколько месяцев тому назад на эту

же улицу, когда на мне была студенческая фуражка,— буду стрелять или нет, имею ли я право на это,— и в душе ответ — нет, не буду, не смею... Да, я не буду стрелять, но я буду в рядах стреляющих, пусть даже дуло моей винтовки взглянет слегка в небо, и моя пуля пролетит над головами у них, но все равно это пятно на всю жизнь останется на мне несмываемым, потому что я был в их рядах, и я ради самосохранения стрелял поверх толпы,— значит я тоже стрелял и я тоже преступник, клейменный своим выстрелом в воздух на всю жизнь, и я никогда не посмею быть среди них, когда сниму с себя юнкерскую шинель и одену снова студенческую фуражку и не посмею с ними взойти, как товарищ, на баррикаду.

Шепотом говорили по ротам в курилках, в спальнях:

— Должно быть, придется идти...

— А где, где волнуются?..

Никто не знал, где, отчего, но каждый чувствовал, что смутно по всему городу носится этот слух, растет, ширится и волнует тех, кто пойдет и кого поведут против, и от этого становилось еще страшней и глуше.

Отпуска прекратили, разрешили только свидания в училище с близкими.

И каждый день в приемной и в вестибюле толпились женщины, девушки, и у каждого на лице тревога, никто не мог друг другу сказать этого вещего слова, что начинается, и уже, собственно, началось даже, только никто еще не знает, где и отчего и когда.

Никодим чувствовал это, и сразу лицо его загорелось, острым стало, решительным, потому что он сказал себе,— не пойду!

Написал обуховскому мастеру открытку:

«Милый дядя, хочу повидаться с вами, к вам приехать нельзя мне, буду ждать вас. Никодим Петровский».

И в один и тот же день и двоюродная сестра, Феничка, в косынке сестры, и дядя с суровым лицом рабочего вошли в вестибюль училища — Феничка всего на пять минут раньше дяди и всего на пять минут, чтоб только взглянуть на него и уйти.

Дежурный юнкер сходил за Петровским, крикнув во всю глотку издали:

— Юнкер Петровский, к вам пришли.

Никодим вышел к Фене и удивился, она была всего один раз в училище, когда нужно было фиктивное письмо от замужней

двоюродной сестры для ротного, чтобы ходить к ней в отпуск с ночевкою, но зачем она здесь теперь — мелькнуло сейчас же,— волнуется за меня, и снова почувствовал в ней самого близкого друга, отошедшего от него, от его жизни, но, вероятно, следившего за этой жизнью.

Молча взглянули друг на друга...

Сказали друг другу не то, что нужно было, но в словах звучала тревога и уверенность, и сразу у обоих голос спокойным стал, ясным.

— Когда у вас выпуск?..

А в мыслях началось уже: — «Никодим, будешь стрелять в них или нет?»

— Через три дня, Феничка!

Весело ответил, потому что говорил — «я не сделаю ни одного выстрела и не пойду».

И сразу весело загорелись глаза.

— Значит, скоро поедешь...

— Да, скоро! Спасибо, что не забыла, пришла.

— Мы ведь друзья,— на всю жизнь.

— Да, Феня, на всю жизнь.

— До свиданья, ступай, мне тоже пора.

— До свидания, может быть, встретимся,— я в родной город вакансию выбрал, к дяде Кирюше.

О том, что Калябин у ней в палате раненый с фронта, и о том, что он хочет повидаться с Петровским — Феничка не сказала. Еще раз пожала руку ему и быстро сбежала по порожкам, а Никодим пошел в курилку; его нагнал юнкер и спросил:

— Юнкер Петровский, кто у вас был?

— Сестра...

— Ваша?

— Двоюродная!

— Какая она красавица, познакомьте меня...

И сейчас раздалось в спину:

— Юнкер Петровский, к вам пришли!

В дверях вестибюля столкнулись дядя Петровского и сестра, но не поклонились друг другу, только взглянули один на другого,— вероятней всего не узнали.

Дядя крепко пожал руку.

До конца приема осталось пятнадцать минут...

Пошли по залу, и опять тот же вопрос:

— Когда кончаешь?..

Тот же вопрос,— «пойдешь или нет»,— и тот же ответ,— «не пойду».

— Через три дня, дядя!

Полусловами, полупонамеками говорили, иногда даже бросали отдельные слова шепотом...

— А у вас когда?

— Скоро...

— Когда?..

— Не знаю, но скоро теперь.

— Пойдете?

— Пойдем.

— Зачем?..

— Хлеба...

И повернув обратно:

— Через сколько дней уезжаешь?

— Через пять...

— Ну, вероятно, встретишь ее не здесь.

Потом подумал и тихо, тихо:

— Может быть, еще и здесь, хотя — едва ли... Началось, но время...

Посетители начали выходить.

Никодим долго ходил еще по коридору, вглядывался в лица, и думал, а потом пошел в спальню, сел на кровать и начал писать за своим столом-шкафчиком письмо Зине. В этот вечер не кончил его, не кончил и в следующий день,— решил один раз написать ей все и опустить, когда выйдет из училища и сможет командовать своей ротой,— пальба в небо, ро-ота, пли!

Почти дописанное письмо носил при себе в кармане и в день выпуска кончил его и заклеил в конверт.

Слухи росли, потом ослабли, и лица юнкеров прояснились, или, быть может, в последние три дня перед выпуском об этом уже не думалось, потому что у многих теплилась надежда, что в эти три дня ничего не может произойти, и им идти не придется.

И в поезде уже, уезжая из Петрограда, он знал, что началось, и теперь уже не остановить этого, а когда колеса вагона простукивали рельсы, пробегая мимо дымных рабочих предместий, он, вглядываясь в полумрак, увидел вдалеке огненный столп домны и, прислушавшись к стуку колес, откинулся от окна, лег на верхнюю полку и, спокойно засыпая, шептал в такт колесам:

— Ско-ро, ско-ро, ско-ро!

ИНОК СМИРЕННОМУДРЫЙ

I

После молебна обступила игумена Гervasия братия. Спрашивали о мощах. Горбатый Досифей протискался вперед и сверлил острыми глазками, выпытывая:

— Когда же, когда?..

— Сами слышали, епископ же говорил за трапезой всей братии...

За трапезой иноки перешептывались, поглядывая на Гervasия; расходились группами, разошлись и заперлись в норы — кельи.

Николка вернулся в покои свои и приказал белобрысому Косте никого не впускать из братии. Сел на кожаный диван, откинулся,— стопудовая тяжесть с плеч — монастырские гости уехали. Целый месяц в белочьем колесе кружился, хитрил, изворачивался, угождал каждому, о себе позабыл думать, только руки цепкие не знали, что делали,— отсчитывали деньги, прятали в кованый сундук про черный день, совали ключарю, тряслись перед епископом Иоасафом, корчились перед Костицыной. Разобраться хотел во всем происшедшем, а в мыслях все спуталось. Утомленно дремал, вспоминая озеро, и помимо желания — одна мысль давила его,— каша на хуторе. И эта мысль постепенно заполнила все существо его, — вскочил с дивана и начал быстро ходить из угла в угол, сжимая кулаки. Не знал, на ком излить гнев, доходивший до бессильного бешенства,— мерещился Васенька юродивый, пролитое молоко, запах подгоревшей каши и измученное лицо Ариши; казалось, что виновник всему не Барманский, а послушник из новой гостиницы, Борис Смолянинов. Если б его не было,— может быть, не произошел бы скандал,— боялся, что в городе начнут говорить, и не так в городе, как братия злословить начнет, недаром Досифей после молебна сверлил глазами его. Хотел успокоиться, отдохнуть, поразмыслить, и не мог,— может быть, оттого и не мог, что весь месячный сумбур бросился в голову, и нужно для этого выход найти,— с чего начать. Крикнул послушника белобрысого.

Костя бесшумно вошел и, поклонившись, остановился у двери.

Хотел позвать Смолянинова, а сказал:

— За юродивым сходи, к старцу Акакию...

И опять начал ходить из угла в угол, потом сбросил клобук на диван, мантию.

Всю дорогу от кельи старца Васька понурясь шел, а к игумену в дверь — ворвался.

У белобрысого Кости дорогой спрашивал:

— Что ему от меня нужно?.. Костенька, скажи,— ты ближний, тебе все помыслы игуменские должны быть известны, пред тобою он, как на ладони,— я его знаю, давно знаю — не скрывать ему, не убежать от гнева праведного — гнев господень мучит его, ох мучит, а он на других его, на других взваливает, самому не вынести тяжести греха, искушения... ах, Николушка,— мученик ты, воистину мученик, за грехи твои карает десница вседержителя...

Ускорял шаги, приближаясь к покоям игуменским. Костя смиренно шепотом его останавливал:

— Отче, не поспешайте так,— отче!.. Отец игумен в великом волнении...

— Волнением преисполнен?! Волнением?.. Сатана вселился в него, мучит Николушку — спаси, сохрани, помилуй!..

Игуменский послушник не решился войти к Гервасию, пропустил вперед Васеньку и на крюк запер входную дверь, оставшись в прихожей.

Гервасий слышал скребущие, расхлябанные шаги Васьки, какие-то оголтелые, скачущие, и остановился против двери, чувствуя, как наливаются гневом руки и половеет лицо.

Васенька вбежал с причитаниями, распахнул дверь и чуть не столкнул Николку, тот бросился на юродивого и стукнул его кулаком в лоб, крикнув сурово:

— Ты что?! Ополоумел совсем!

Васька растерянно замигал глазами, голос его осекся и длинные руки повисли.

— На колени! На колени становись!..

У юродивого подогнулись ноги, коленки стукнулись об пол, хрустнув сухим треском, и он, часто, часто моргая, смотрел на Гервасия, как-то сжимаясь, точно боялся, что тот снова ударит его кулаком, и не в лоб уж теперь, а по темени, от этого он и голову,

слегка вытянув шею, пригнул и сгорбился, но все время следил за Гервасием, откачиваясь от него, когда тот проходил мимо.

— Забылся?! Совсем забылся?!

Васенька качал хрипящим шепотом:

— Николушка,— что ты это, Николушка?!

— Для тебя я игумен! Для всех — игумен... Слышал?!

Потом прошелся по комнате, остановился, быстро нагнулся к нему и выкрикнул:

— Ты что это?

Блаженный всплеснул руками, закрыл ими лицо, отшатнулся в сторону, и всем туловищем пригнулся к полу и забормотал, трясаясь и всхлипывая.

— Господи, господи, преподобных отец наших,— господи!

— Замолчи, сатана! Слушай! Если ты хоть где-нибудь вякнешь у меня про то, что на хуторе было?! В подвальную церковь запру в скиту! Понял?! Ну, понял?

Еще тише, еще медленней, теперь уже свистящим — не то шепотом, не то каким-то придушенным выдохом — Васька шептал:

— Не я это, видит господь, что не я!

— А кто же? Ну, кто?!

— Тощий барин тот,— помутил меня...

— Сам ты бес! Кто тебе говорил, чтоб от старца ни шагу не смел! Кто?! Не помнишь?.. Теперь ничего не помнишь! Старец неизреченной доброты, а ты что?! У отца Досифея будешь жить, пусть он за тобою смотрит... Но если ты хоть одно слово непотребное скажешь об твоём игумене — сгною, живого сгною!.. Ты думаешь, что дурак ты,— прокаженный — вот кто ты. Злоба в тебе прокаженная. В уши тебе нагудели — блаженный, юродивый!.. Распустил вожжи! Смотри у меня! Не первый год тебя знаю! А то и вправду велю веревками тебя связывать!..

Васька стоял на коленях, покачиваясь, пригибаясь, жиденькая бородка клочьями болталась из стороны в сторону, глаза не переставали мигать, и казалось, что весь он трясется и вздрагивает. Слушал игумена беспрекословно, только в уме было — каешься, передо мною каешься, дьявола укротить в себе хочешь, а он так и прыгает, так и скачет, и не ты, Николушка, по горнице мечешься, а сатана в тебе скачет и пляшет — радуется твоему непотребству, а ты думаешь, что это в тебе шалая кровь бродит, выхода не найдет; смириться не можешь, яко иноку подобает в пустыни.— Испуганные глаза юродивого бегали из стороны в сторону, следя за Гервасием и порою вспыхивали они робкою хитростью. В эту минуту никто бы не

мог и подумать, что это юродивый, дурачок,— может быть, в нем ни того, ни другого не было, а только он напускал на себя, корчил блаженного — выгодней, никто не посмеет тронуть, сказать, осудить, и даже Николка, старый приятель его, и тот только грозит, потому что знает, что за него братия вступится и не позволит обидеть ненормального человека.

— К старцу Досифею пойдем, у него будешь жить!

Блаженный поднялся, напялил скуфейку и пошел расслабленной, пошатывающейся походкой за Гервасием в другой конец монастыря за больничную церковку в угловую келью. Дорогою, приближаясь к Досифеевой келье, снова было язык развязал,— говорил полупшепотом, с каждым шагом усиливая голос, пока на него не прикрикнул опять Николка:

— Тебе что сказано! Замолчи! Не знаешь, что сказано,— язык — враг мой. Погубит он тебя,— берегись, Васька! А то подвешат тебя за язык в аду. Твой язык и других погубить может.

Шепотом отвечал Гервасию:

— Что ты, Николушка, что ты,— я же тебе друг-приятель... Разве не помнишь? Вместе ведь гуляли с тобой по лесам,— это я от любви великой, а разве я, Николушка, хотел тебя погубить?..

Входя уже в сенцы к Досифею, Гервасий злым шепотом сказал блаженному:

— Ты смотри у меня! Я игумен тебе,— послушание должен строго нести! Понял?

Досифей из окна заметил игумена с Ваською, наскоро надел клобук, и не успел Николка окончить своих слов — горбатый засеменил навстречу, низко кланяясь, выжидая, когда он начнет говорить. Сразу почувствовал раздражение в голосе Гервасия и с любопытством поглядывал на подергивающегося блаженного.

— Я тебе, старче, блаженного привел, Васеньку.

Горбатый монах молчал и кланялся, пропуская игумена с Васькой в келию.

Николка вошел, перекрестился широким крестом и, вдохнув в себя запах сухих трав, полыни, богородицыной, сухой герани, сказал певучим голосом, будто не он шипел злобно минуту назад:

— Вот где, истинно, келья инока! Тело и дух немощен — исцели врачеваньем трав полевых и глаголом истины... Старец Акакий велик смирением, а ты, Досифей — мудростью. Уврачуи своим наставлением блаженного, прими его к себе в послушание.

Досифей сверкнул глазами, поклонился земно Гервасию и сказал, пришепывая:

— Да будет по шлову игумена!

— Травкою его полечи! Травкою!.. А не поможет — вразуми его, отче, лозою...

Еще раз взглянул на блаженного Николка, сверкнул ему взглядом и вышел из келии.

Васька вслед ему загрохотал, точно в лесу, радуясь чему-то особенно.

Досифей прищурил глаза и все лицо его — злое, хитрое — собралось в морщинки и засмеялось беззвучно, неизвестно даже чему — тому ли, что почувствовал, что Гервасий теперь через Ваську в его руках, или тому, что Васькин смех был в эту минуту, действительно, безумным и диким, или тому, что сам игумен, в данном случае безразлично кто, но — игумен, признал его выше Акакия — неизвестно чему обрадовалось и смеялось лицо Досифея, и, быть может, это был даже не смех, а подергивание всего лица, собравшегося в морщинки, и даже голова — небольшая, лысая, клинушком,— клобук он на стол положил,— ушла в плечи куда-то, отчего выступил горб,— минутами даже казалось, что не лицо его смехом подергивается, а смешно прыгает горб,— а от него и плечи и руки,— от этого и лицо сморщилось и не смеется оно, а только подергивается вместе с горбом прыгающим. Потом сразу перестал дергаться горб и разгладились на лице морщинки, засверкали острые глазки, и он подошел к Ваське и прошепелявил беззубым ртом:

— Грозился тебе? За что он?!

Васька точно обрадовался, что можно без конца говорить,— распоясал язык.

— Николушка-то?! Погибели он боится, своей гибели... бес его мучает, говорил ему,— веничком, веничком — всех Феничек этих веничком...

Досифей отошел, сел на табурет и уставился на блаженного, ловя каждое слово его.

— Какая там Феничка? Говори толком!..

— Барыня эта, барыня,— она тоже Феничка ему, у него все — Фенички... В лесу ее видел с Николушкой. На травке сидели... А мох-то в лесу — мяконький, а полуденный бес — сильней его нет противника... так и вселяется, так и шепчет Николушке... сотвори блуд, сотвори в полудени.

— С барыней видел? С какою еще?..

— Не барыня... бес, бес, что подле епископа все лето кружился.

Зашипел Досифей, услыхав про епископа.

— Про владыку молчи, молчи!.. Не твоего ума дело... молчи!

— Я про Николушку, про него... А все это барин...

— Что с Памвлою дружбу водил?..

— Черный такой, костлявый... Он меня, аки бес, соблазнил бесовским зелием. Погибель его показал, на хуторе... Вифлеемом назвал его — хутор-то... а там Феничка его... Феничка...

— Узнали, что приплод у монашки от инок, от игумена...

— Не я старче, не я... Николушка это, Николушка.

— Ступай к старцу Акакию за постилкой своей, да помни, что игумен сказал — молчи, теперь ты у меня в послушании — помни, я — не Акакий!

Васька вышел за дверь, а у Досифея опять горб запрыгал и затряслись на лице морщинки — залился беззвучным смехом, шепча сам себе:

— Искушаем быть, искушаем!.. Позор братии, великий позор... Погибели боится своей... Погибели!

Увидал в окно послушника из гостиницы, Мисаила,— того, что за Борисом подглядывал, и зазвал на минутку, будто бы рассказать новость,— Васька-де будет жить не у Акакия, не у святоши, а у него — Досифея. Посадил его на скамью, рассказал про игумена, что тот приводил к нему Ваську, и будто невзначай спросил:

— А гости-то все уехали?

— Все! Дочиста! Ну и гости!..

— А что? Что?

— Барыня там одна была губернаторская... Подвела она под орехи паскудника нашего...

— Разве можно! Что ты, отец Мисаил, говоришь,— что ты, разве про игумена можно так?

Послушник раскрыл рот широко, вытаращил глаза и со страхом зашептал, падая Досифею в ноги:

— Разве я про игумена?! Старче, прости, что на нечестивую мысль навел своим скудоумием,— я про паскудника нашего, про студента беглого...

— Ну, ну!.. Да ты встань, Мисаил,— встань!

— На барыню эту накинута в номере и барином бит был,— по щекам его, по щекам, а барышня-то ихняя,— голову схватила его и давай проливать над ним слезы... в театры ходить не надо... свои видели... истинно, старче, Содом и Гоморра... И это в обители-то...

— Ну, ну!!

— Я бы эту барыню на коне разметал по полю, как в старину с ведьмами расправлялись.

— За что?

— Над обителью потешается, над игуменом... Недостойные слова говорит про епископа...

Досифей занемел, на цыпочки даже привстал, чтобы не проронить ни одного слова коридорного послушника.

— А все из-за него, из-за паскудника этого. Должно быть дознался отец игумен про его фокусы, а барыня на дыбы,— я,— говорит,— в руках держу Гervasия ихнего, не посмеет тронуть бедного мальчика,— жеребца-то этого,— я,— говорит,— все знаю, зачем и лес продали, и это знаю.

— Какой лес?..

— Наш, монастырский...

— Так говорили ж, что на гостей не хватает, а потом... много потребуется для прославления старца нашего Симеона...

— А у ней,— не понял я хорошо только,— по-иному это выходит; отца игумена порочит, монастырь, братию,— я,— говорит,— князю пожалуюсь, не смеют они издеваться над чистотой юношеской,— будто отец игумен деньги давал кому-то, чтоб мощи открыть,— святотатствует! Старец наш чудеса творит, а она кощунствует. Будто отец игумен воцелел к ней плотью немощной... Поэтому и в руках у нее теперь...

У Досифея запрыгали, заиграли глаза лукавством и злобою и он, быстро семеня ногами, подошел к Мисаилу и стал ему на ухо шепелявить:

— А ты, молчи, друже, молчи! Не искушай господа. Словом своим не наводи иноческие души на соблазн размышления... Помолчи, помолчи, друже...

— Сам знаю, что надо молчать,— душа от гнева не выдержит — на паскудника не глядел бы... из-за него соблазн братии и поругание обители от недостойной женщины!

— А ты, помолчи, помолчи! Во славу обители и преподобного старца нашего. Помолись господу, дабы не искушал тебя, и молчи, молчи! Я игумену сам скажу... сам... А ты помолчи! Слышишь,— дай при мне обет перед господом, что молчать будешь.

Мисаил перекрестился, поклонился Досифею в пояс и вышел из кельи и снова запрыгал горб у монаха и задвигались на лице морщинки,— смеялся и думал, что игумен теперь в руках у него, весь — с косточками и что теперь он сильнее Акакия, а Ваську юродивого сам господь ему в помощь послал,— сам же Николка его привел в

послушание, а язык у блаженного — только надоумить его — все выскажет, да так, что при всех, а кто имеет уши — да слышит,— расслышит и поймет и на ус наматает, и не братия будет в руках у игумена, а Гервасий запляшет под дудочку братии.

Сел у окна подумать и постепенно перестал дергаться горб, морщины разгладились — вглядывался в сумерки, дожидая из скита Васеньку.

Игумен вернулся домой,— в темной приемной в сумерках пахло старую мебелью, поющей от червотчины никогда не выветривающимся запахом ладана,— он даже любил его и считал, что для инока они заменяют духи, покупал даже угольки-монашки, и вечером, в темноте, когда мерцает у икон большой синий лампад, стоявший на небольшом, но высоком столике за ликом Спасителя, нарисованным на стекле — нерукотворный образ — зажигал перед ним в особой высеребренной высокой медной чашечке в форме чаши росный ладан с Афона или душистые листки или любимые монашки из кипарисового дерева. Вернулся не успокоенный, а еще более утомленный. Знал, что Досифей не любит его и враг его тайный — наушник братии, и все-таки не побоялся отдать Ваську ему в послушание, потому что знал свою силу, купленную тысячами у епископа, у ключаря и соборных. Думал, что братия не осмелится ни слова сказать ни ему, ни постороннему человеку из боязни, что потеряет возможность открыть мощи. Был уверен в себе, и все-таки волновала его неприятность на хуторе и Васька и предчувствие кривотолков у братии о нем.

Вошел в приемную,— белобрысый послушник зажег синий лампад и сквозь стекло образа ровным конусом крестообразно расходился свет — один луч падал вверх к потолку, прямо из-за стекла, два боковых тонули в углах, а передний, едва уловимый, оттого, что рассеивался в стекле — ложился ровно на ковер, пересекая во всю ширину белый деревянный половик.

Опять сел на диван,— злоба сменилась усталостью и досадою, хотел еще сегодня же видеть послушника-студента. Костя возился в передней, спозаранка укладываясь подремать, готовый каждую минуту вскочить на зов игумена. В передней стоял большой рундук, в виде широкой скамьи, на которой обычно ожидали богомольцы, пока послушник не пропустит в приемную; на этом рундуке в сумерках дремал Костя, раскатывая поверх белый половик,— нераскатанная его часть служила ему подушкой.

У Кости не было ни своей жизни, ни своих слов, ни своих движений,— он умел, когда нужно, падать игумену в ноги, бессловесно исполнять его приказания и молчать. Когда кто-нибудь из монахов хотел у него что-нибудь выпытать, он беспомощно улыбался любопытствующему и каждому говорил одно и то же:

— Не при мне было сказано. Я ничего не знаю... Спросите у самого отца игумена.

Ни дремота, ни сон — раздумье и в нем прошлое мутно вставало, переплетаясь с сегодняшним днем, от которого, как от прошлого, не было сил освободиться Николке. Пятернею откинул привычно волосы и позвал Костю:

— Сходи в гостиницу, позови коридорного Смолянинова.

Ожидание было долгим, весь гнев вылился на блаженного и всего охватило безразличие,— в тишине, в сумерках почувствовал себя одиноким, но сейчас же вспомнил Аришу и решил,— завтра пойду, отнесу на хранение деньги — про всякий случай.

Тихо зашелестел подрясник от поклона игумену; светлая полоса от лампы на один миг осветила сухое лицо, исхудавшее, почти без кровинки; блеснули большие глаза синеватым прозрачным отблеском, и послушник остался неподвижно стоять, ожидая слов Гервасия.

Николка не шевелился, вглядываясь в полумраке в лицо Бориса, ясно и четко звучал маятник, отсчитывая секунды и каждая нарастала в душе напряжением. Игумен не знал сам что сказать и решил неожиданно:

— К отцу эконому ступай, скажи, чтоб в пекарню принял тебя.

Борис не двигался, ожидая, что игумен скажет еще что-нибудь, взглянет на него и скажет ему успокаивающее в этой тишине, окутанный запахом ладана и мерными взмахами маятника. Николка откинулся на спинку дивана, задумался, думая, что Смолянинов ушел, но, открыв через минуту глаза, испуганно взглянул на черную неподвижную фигуру послушника и сразу к лицу его прилила кровь.

Запели стенные часы, слившись с игуменским голосом — оба звука стались в один вздрагивающий и хрипящий:

— Что тебе еще нужно? Ступай в пекарню!

Одновременно замолкли и голос и стенные часы. Борис земно поклонился Гервасию и хотел подойти под благословение к нему,— это еще больше раздражило Николку, он вскочил с дивана, подбежал к Смолянинову и почти закричал над ним:

— Мучить пришел меня,— мучить?! Погибели моей захотел?!

Потом так же быстро повернулся и пошел к двери, на ходу бросив последнее, недосказанное слово,— оно к нему не само пришло — случайно было где-то подслушано от монахов,— его он и бросил послушнику.

— Паскудник!..

Захлопнулась в соседнюю комнату дверь, ударив по нервам измученного человека, и он, содрогнувшись от последнего слова, затрясся как в лихорадке, глотая слезы.

Вошел белобрысый Костя и мертвым, беззвучным голосом сказал Смолянинову:

— Здесь оставаться нельзя! Иди уж!

Все еще трясась, Борис вскочил, всплеснул руками, потом схватил за рукав Костю и, теребя его, истерично спрашивал, повторяя без конца одну и ту же фразу, вырывавшуюся изнутри беспомощно:

— Господи, и это он мне сказал, мне,— ты слышал?

Костя повторял заученные слова:

— Не при мне было сказано. Я ничего не знаю...

II

Туманную пеленой, в полдень прозрачную от горячего и жгучего солнца, сухого, жесткого, заволокло монастырь,— белые стены сливались по утрам и полоскались в этом тумане — сыром и гниющем, от него острым тлением дышал лес и золотая кора сосен висела лохмотьями; набухая, порыжел мох, только в густых зарослях ежевики звонко свистели птицы. Белобрысый послушник Костя запирали с вечера на крюки двери игуменских покоев и ложился на койку в своей каморке. Бесшумно шел затворять за Гервасием, и весь он, каждое движение его — молчание и бессловесность.

Николка уходил, чтоб никто не видел, дальней тропинкой огибал монастырь, сжился встречному лаю собак на хуторе и молча входил в Аришину комнату.

В первый раз после отъезда гостей Аришу встретил в лесу — шла в монастырь на скотный. Золотые рыжие волосы выбивались из-под платка,— быстро поправила и растерянно остановилась. И в эту минуту снова Николка понял, что кроме монастырской жизни у него не было и не будет — должен беречь ее,— подошел к Арише и спокойно сказал:

— Васька виной всему, он да губернаторский барин...

— Зачем ты меня погубил? Зачем ты гостей привозил на хутор?!

Должно быть мучилась, не находила места себе — голос слабый, беспомощный,— вот когда обидят невинного человека, в душу ему наплюют, а потом взглянут на него гордо и победоносно, после этого обиженный человек не найдет в себе слов и почувствует себя без вины виноватым,— таким голосом сказала Ариша свои слова Гервасию. И только в эту минуту он почувствовал, что ей пришлось пережить, но сейчас же вспомнил, что все искупается мечтою его о мощах, о митре, проданном лесе,— он ей нес на хранение несколько тысяч и сейчас же полез в карман исподних штанов, отвернув подрясник, и заговорил, стараясь спокойным быть:

— Хорошо, что я в лесу тебя встретил, а то могли бы увидеть. Я хочу отдать тебе на хранение деньги,— они твои будут, тебе и принес,— сколько лет их копил.

Ариша вздрогнула, как-то беспомощно откачнулась, быстро вскинула свои глаза на Николку и тем же беззвучным голосом спросила его:

— Деньги?.. Какие деньги?!. Мне никаких денег не нужно... Ими ведь не поможешь теперь,— погубил ты меня, и не ты, а я сама искала своей гибели... Деньгами от ней не откупишься.

Николка ждал, что обрадуется Ариша шелестящим бумажкам; он и шел к ней обрадовать, покорить ее до конца и в первый момент растерялся, потом назвал ее про себя дурой, рассердился, но сдержался, старался говорить тем же спокойным голосом:

— Это я для него... для маленького... А ты их храни. Ты будешь хранить для него, я монах, умру если — останутся монастырскими, а ему нужны будут. Он вырастет... Деньги копил. Возьми их, возьми.

Всунул ей в руку пачку бумажек, завернутых в плотную бумагу оберточную и наклонился к ней, она опять откачнулась, даже отступила назад и зажала в руку бумагу с деньгами туго-туго, боясь потерять.

— А ты думаешь, что ты ими его спасешь?! Ты вместе нас погубил, и его и меня погубил.

Николку всего передернуло, сдержался с трудом и, бросив глухим голосом несколько слов, не простившись пошел в монастырь:

— Никто тебя не губил! Завтра говорить будем... А деньги-то спрячь, чтоб не видел никто,— там тысячи!

Арише всю дорогу эта бумага с деньгами, туго зажатая в кулаке, жгла руку, и не руку, а душу давило, и в сумраке, путаясь в тропинке, цепляясь за корни, она почти бежала к хутору, всю дорогу не

останавливаясь, точно ее кто преследовал или этими деньгами ее еще больше обидел Николка; а он — широко шагал, свернул на плотину, думая, что напрасно он деньги отдал ей,— не чувствует она ничего, не понимает его, не просить же у ней прощенья в том, в чем не виноват он,— счастья она не понимает своего.

У застав глухо шумела вода, внезапный ветер поднял сухие листья и понес их через плотину в озеро, где-то крикнула цапля. Послышались голоса и заскрипели возы.

Сгорбился и быстро прошел мимо.

Выйдя из лесу, подобрал подрясник и по знакомой дороге зашагал к монастырю через луг.

Схлынули гости, а за ними и богомольцы и деревенский люд, непогожий день по-осеннему первый был — неожиданный и в первый раз молочные сумерки из болот встали — около стен монастырских не встретил никого, в старой гостинице кое-где окна светили еще свечами, святые ворота были закрыты, только зияла чернотой низкая дверь.

Авраамий грубо спросил, не узнав Гервасия:

— Жди вас тут, никак не находятся на гостиницу — сладко им!

Николка от неожиданности вздрогнул и ответил испуганно, точно пойманный послушник:

— Это я... Гервасий...

— Простите, отец игумен, в темноте не узнал...

— А разве иноки ходят туда? Сказано ж было — никому во время гостей в гостиницу не ходить,— Кто ходит? Говори, отец Авраамий.

— Раньше не замечал, а уехали...

— Ходить начали? Приметь. После мне скажешь.

В покои свои не пошел, вспомнил про Ваську — решил Досифея навестить.

Кельи мигали сонными огоньками окон, под ногами шелестели опавшие сухие кленовые листья аллеи от собора к больнице — в пустынном монастыре начал капать мелкий холодный дождь.

Долго стучал щеколдой палисадника,— Досифей, высунув голову в дверь кельи, прошамкал:

— Ты, Мисаил?!

Николка сказал певуче:

— Я, старче, проведать пришел,— не спите еще?!

Горбун сразу по голосу не узнал и переспросил:

— Да кто там?

— Игумен. Пойди отворить.

Старик засуетился, заспешил, рванулся в сенцы, потом зашмыгал сапогами по мостку и, сверля Гервасия глазками, пропустил вперед. Васька сидел на постилке у двери, а за столом Памвла, с проваленным носом, что-то гнусавил блаженному, и когда Николка вошел в келью, иеродиакон растерянно встал и его красные, подслеповатые глаза виновато забегали из стороны в сторону. Не глядя на Гервасия, он подошел под благословение и загундосил:

— Я за травкою к старцу... разломило мне поясницу. Хотел на молитву встать — сил нету, а у отца Досифея от всяких недугов трава имеется. Да вот заговорился с Васенькой... Устами юродивых и младенцев — господь глаголет.

Николка взглянул на Ваську и спросил, пряча в голосе смех:

— О чем он тут говорил?

За Памвлу отвечал горбун:

— Рашкаживает чудеша Шимеона штарца... Иштинно чудеша гошподни!

— Не докучает тебе, отец Досифей?!

— Шпаши гошподи!.. Шмиренный теперь, шмиренный.

— Ну, с богом! Я только проведать зашел.

А вслед Памвла захихикал, подмигивая блаженному.

— Иш ты, ходит, вынюхивает, так и тянет его сюда,— а ты молчи, Васенька... Мы припомним ему орешки, ягодки... И Феничек всех не забудем.

Васька заерзал, заворочался на постилке своей, расстилая ее, точно лохматый пес, и захохотал, заухал, тряся клочьями своей бороденки, и точно оттого, что он развозился на постилке своей — от него потянуло кислым, тошнотворным запахом немытого человека.

Досифей, проводив Николку и захлопнув щеколды и задвижки и в палисаднике и в сенях, вошел в келью и подмигнул Памвле.

— Нюх у него... собачий! Проведать пришел...

Памвла засмеялся и загундосил:

— Я уж и то, отец Досифей, говорю Васеньке, чтоб язык подержал на привязи.

Горбун испуганно взглянул на блаженного, подошел к Памвле и стал ему шептать на ухо:

— Может, и его привел, чтобы выпытать потом у блаженного... Юродивый он, а хитрости в нем — каждого проведет. При нем лучше уж помолчим.

И обернувшись к Ваське — следы замести, запутать:

— И то, Васенька, лучше бы тебе помолчать. Помолчишь — лучше... Он все-таки наш игумен, а про игумена грех говорить нехорошее, Васенька,— грех великий...

Васька тряхнул головой и весело засмеялся, поглядывая на Памвлу:

— А орешки-то, орешки в лесу теперь — спелые, ядрышки, что твои... эх, эх, эх! Подле хутора орешник густой и все ядрышки там, ядрышки... Раскуси-ка его... сочное...

Досифей с Памвлою испуганно переглянулись и сразу, подмигнув друг другу, засмеялись, потом смех неожиданно оборвался, и Памвла собрался уходить.

Горбатый старик ему шепотом в сенцах, прислушиваясь, не подслушивает ли Васенька:

— Я к тебе, отец Памвла, приду,— к тебе. А Ваське не верю я,— продувной бестия, Гervasий почище блаженного — не то, что его обведет вокруг пальца, а всех, кого хочешь... К епископу и то ведь уластился... А я лучше к тебе приду, один на один...

Памвла уже за калиткой Досифею ответил:

— Мы ему припомним орешки, все сосчитаем! А то ишь ты... В монастыре да супругу завел себе...

В сумерки, в белесый туман кутаясь, ковылял Досифей к Памвле, и заперлись в келье; склонив друг к другу головы, озираясь по сторонам, точно и стены могут подслушать, шептались до полуночи о том, что лес продан, а денег нет и отчета не дано братии. Зазывали к себе монахов, наводили расспросами на мысль, что деньги пропали и лес погиб,— хранила его братия, берегла как зеницу ока, красотой его радовалась, а пришел неизвестный и продал на сруб. Мало ли что мощи обещаны, да их никто и обещать не может, а если старец творит чудеса явные всенародно, то их и без этого должны в монастыре открыть, для этого и денег не нужно. Гости, конечно, почтенные и братия им была рада, а кормить их можно было и из монастырской казны. Зазвали эконома Паисия — тот ухмылялся в бороду по-мужицки и говорил только, что лес-то нужно было продать, это верно, расходы были большие, а только куда тратились деньги — ему неведомо, ибо расписок никаких налицо нет и не может быть. Паисий хитрый мужик, себе на уме: нельзя ему идти против братии, на отчете он у нее, и великую тайну рассказывать — себя подводить под Соловки,— еще хуже. Не Гervasия выгораживал, а свою шкуру берег от этого и не указывал на игумена; знал, что и расписок взять

неоткуда — разве узнаешь, сколько кому было дано Гервасием,— в книге записано — на поправку хутора, на покупку коней, коров, на улучшение хозяйства, на питание гостей почетных, на новое облачение епископу,— вместе с Гервасием и статьи подводил и расходы придумывал; записывал то, что игумен ему диктовал. Знал, что не без греха тут, а только при таком деле и грех прощается, не спрашивал же его Гервасий, куда он сотни потратил,— а из сотен ведь тысячи,— сколько на рыбу, на разносолы архиерейские каждый день ухлопывал,— у него, конечно, дело чистое, на все почти закупки — счета, на то и купцы в уезде. Паисий с молитовкой и в лавку придет и чайку выпьет у купца за прилавком, пока по записке его отвешивают всякую снедь, и на счета искоса взглянет, купец не стесняется должную цену поставить и немалый процент за это Паисию, и оба довольны — чисто сделано и по совести. Поэтому и Паисий молчит про Гервасия, разве что ухмыльнется в бороду, а может быть потому, что свои грешки вспоминает.

Не добились толку Досифей с Памвлою от Паисия, решили и без него обойтись. Ходили по кельям и нашептывали,— куда мол и за сколько продан лес монастырский и сколько от купца получил игумен...

Шепталась братия, исподлобья поглядывая на Гервасия и втихомолку решила писать жалобу на игумена. Ваську Досифей запирали в кладовушке, когда уходил по кельям, чтоб не подглядел, не подслушал, а на ночь выпускали в келию,— диким волком глядел на горбуна блаженный, а старик в привычку взял под голова класть полено, ляжет Васенька на постилке у двери, забормочет — Досифей за полено.

— Молчи! Слышишь, молчи! Игумена поносить не дозволю!
Измучил юродивого.

На тайные беседы собирались у Памвлы и востроносый лавочник Аккиндин, тот, что записывать чудеса посажен — бумагу с собой приносил составлять епископу челобитную, ехидно посмеиваясь, неизвестно только над кем — то ли над кляузниками, то ли над Гервасием.

— Я, отцы, по разумению своему, помогу, а только хуже бы не было...

— А лес-то какой, по всему царству не сыщешь такого — а он продал...

— Тебе и пищать, отец Аккиндин,— у наш некому больше,— во шлаву обители.

Памвла, шмыгая носом, гнусавил, растопыбив короткие пальцы обгрызанные:

— На свою голову выбрали его, а теперь попробуй, скажи... хозяином заявился тут, а забыли, как бегал за дачницами, и до сих пор у него на хуторе живет эта приبلудная...

Иона гостиник бубнил отрывисто, густым басом:

— Сам видел,— разве не видел я, как монастырские деньги соборным проигрывал, тут и подглядывать нечего было — швырял сотенные, недорого достались... А ты, Аккиндин, пиши.

Лавочник, пощипывая бородку свою клинушкой, с проседью, весело глазами сверкал и спрашивал:

— Так что же, отцы, так и писать владыке, что-де отцу ключарю игумен монастырские деньги проигрывал, взятки давал невидимо.

Досифей приходил в азарт и, тыкая пальцем в бумагу и наклоняясь к ней крючковатым носом, шипел:

— Пиши, Аккиндин,— все пиши, пушкой жнает владыка и про ключаря твоего,— шоборные пъявки — монаштырь вышошали.

Памвла набрасывался на Досифея, махая руками перед его носом:

— Что ты, Досифей,— что ты,— надо писать, чтоб ни на кого не указывать — одного Гервасия утопить.

Иона не мог все еще разобраться в бестолковщине и кричал:

— Да кому хоть писать-то, отцы,— кому подавать жалобу? Помоему писать, так в Синод — верней будет.

Аккиндин сразу поставил в тупик собравшихся:

— Братие, отцы, подождите... Соборне же мы писали в Синод просьбу великую о мощах старца, и владыко обещал хлопотать в Синоде, а тут и выйдет, что у владыки, в его пребывание в пустыни, обитель разворовывали, так разве тогда он поедет в Синод хлопотать, после такого дела — позор и на нас ляжет. Я как прикажете, я напишу, а только мощей-то нашего старца мы не увидим. В Синоде прочтут такую бумажку и вспомнят, что мы хвалебную аттестацию два месяца тому назад сами же писали о Гервасии,— помните,— трудами неустанными игумена нашего Гервасия,— кто подписывал — все подписывали, а теперь на него донос. Нет, отцы, такой бумаги я не стану писать, увольте.

И сразу поднялся гам,— спорили сразу все — кому писать жалобу, кому подписывать ее, и неожиданно диким фальцетом выкрикнул Васька:

— Заперли, с голоду уморить хотели — собрание нечестивых... радеете... веничком, веничком, всех веничком.

Досифей набросился на него и с помощью Ионы гостиника повел к себе в келью, грозя дорогою Ваське:

— Молчи лучше, молчи — поленом тебя, поленом...

Пойманный Васька замолчал, а потом, думая о своем о чем-то, захныкал, и в темноте чувствовалось, как он сжался весь и заплакал, может быть первый раз за всю свою монастырскую жизнь. Досифей шипел над ухом:

— Убежал, вырвался — дверь выломал, яко тать,— жапру теперь и на ночь пушкать иж кладовушки тебя не буду, а крикнешь — поленом тебя, поленом...

Васька крутил головой и плакал, вглядываясь в черные сосны ночные,— за ними скит вспомнил и старца Акакия, ласковые слова его, беседу тихую по вечерам и даже рванулся было — Иона, точно клещами, сдавил ему кисти рук, а горбун сухим кулаком злобно ударил блаженного в спину, и Васька опустил голову и пошел покорно.

Провожая Иону, Досифей шептал:

— Жавтра, отец гоштиник, приходи к отцу Памвле, шам напишу,— шам — владыке шамому... Шоштавить тут — главное, а братия вша подпишет. А Вашьку я проучу, проучу его...

Аккиндин от Памвлы нырнул в темноту и бесшумно прокрался с заднего хода к игуменскому корпусу, притулился у палисадника, огляделся, прислушался и скользнул на крыльцо. Долго, еле слышно постукивал в щеколду,— стукнет, послушает, оглядится, опять стукнет, пока не расслышал белобрысый Костя. Вышел, спросил... Аккиндин зашептал:

— К отцу игумену мне, по делу...

Гервасий дома был, лавочник видел огонь в окне его комнаты, поэтому и достучаться решил, думая, что в другой раз отлучится игумен по делу зачем на хутор, а на глазах у братии ему не хотелось заходить к Гервасию.

Николка вышел, подозрительно взглянул на Аккиндина, и тот, приняв благословение от него, ласково затараторил:

— Я, отец игумен, по делу к вам,— не в урочный час только,— простите, что молитве помешал иноческой.

Гервасий взглянул на Костю — тот бессловесно, как всегда, поклонился, и вышел.

— По какому делу, отец Аккиндин?

Лавочник тем же голосом продолжал, загадочно поглядывая на Гервасия — знает мол или нет, что у Памвлы братия собирается.

— Хотелось мне, отец игумен,— только без вашего благословения не смею — записи у меня о содеянных чудесах старца...

— Ну, так что?

— Хотел заново благословиться их написать, а то наскоро все, лишь бы главное занести, а великие чудеса, великие...

— За этим и приходил, отец Аккиндин?

Монах пожался, поежился, переступил с ноги на ногу.

— Не решаешься что сказать?! Тут никого нет... Братия чем-нибудь недовольна?

— Согрешают иноки, согрешают,— язык наш — враг наш.

— Про лес говорят?

Николка спросил не стесняясь, и Аккиндина озадачил своим вопросом. Тот закивал головой и сокрушенным взглядом и голосом говорил игумену:

— Говорят, говорят, тайное говорят...

— Ступай, отец Аккиндин,— знаю.

Прячась у келий, в темноту юркий лавочник добежал до своей келии, удивляясь всеведению Гервасия, решив, что больше он ни ногой к Памвле, пускай как хотят пишут, а он не станет и подписывать жалобы на игумена, скажется эти дни больным. И сейчас же разделся, охая и кряхтя, и приказал послушнику своему никого не впускать из братии.

Николка несколько дней замечал, что братия косится на него и шепчется, и приказал бессловесному Косте позвать из гостиницы Мисаила, им же посланного следить за гостями и за беглым студентом-послушником. Мисаил для Гервасия — верный глаз, еще с той поры, когда вместе по лесу ухаживали за купчихами — были приятелями, а взошла Предтеченского звезда в обители — Мисаил поверил в нее и сделался верным другом Гервасия. Злословил на него, как и все, но не из зависти, а по привычке монашеской, а когда кто-нибудь из монахов говорил про Гервасия зло, особенно посторонним — приходил к нему и попросту, по-дружески все рассказывал,— оттого Николка и послал его на гостиницу.

Жалобу составлял Досифей с Памвлою самому владыке, советчиков и указчиков не хотели слушать, тайком ходили два дня по келиям собирать подписи — уговаривали приложить руку во имя прославления старца и пустыни, дабы не было поношения

непристойною жизнью игумена. Подписей собрали с трудом двадцатка — каждый отнекивался, думая,— не повредить бы себе потом, он все-таки игумен и у владыки в милости,— запечатали сургучом в пакет и передали Ионе гостинику. Иона на станцию ездил сам и собственноручно опустил в ящик почтового поезда,— на пакете значилось: в Духовную Консисторию.

В консистории разобрал почту протоиерей, член консистории и епархиального совета. Прочитал жалобу на Гервасия, где упомянуто было имя соборного ключаря, и сейчас пакет в карман, не занёс в книгу. По-дружески зашел навестить ключаря Воздвиженский, по-дружески и донос показал. Наутро ключарь к епископу и под шумок — затерли, замяли, а чтоб разговора не было и не писала братия новых жалоб куда не следует — назначили следствие и ревизию монастырских сумм.

Воздвиженский выехал с иподиаконом юрким.

Гостиник Иона встретил обоих с поклоном, проводил в номер и послал кипящий самовар — облегчить душу с дороги. Иподиакон не ждал — к Гервасию после вечерни,— не успел игумен уйти на хутор.

Николка, увидав иподиакона, понял, что неспроста тот приехал, облобызал по-дружески и спросил:

— Навестить нас приехали?..

— Отец ключарь приказал кланяться. А я с отцом протоиереем на ревизию к вам, отец игумен. В консисторию на вас поступила кляуза, только не извольте беспокоиться — отец Сергей свой человек, приятель и друг отцу Василию.

Гервасий, как и в первый приезд иподиакона, вручил ему на расход,— теперь уже из своих сбережений,— угостить Воздвиженского.

— Пища у нас, отец иподиакон, сами знаете — скудная, может быть в чем будет надобность — не откажите помочь отцу протоиерею,— вы у нас свой человек, знамый. А завтра, после трапезы общей, пожалуйста откусать ко мне — чем бог послал.

В тот же вечер от гостиника весть в обитель приятелям — с ревизией член консистории, и зашушукались по своим норам иноки. Досифей многозначительно шептал каждому по секрету:

— Член консистории, не кто-нибудь. А вы маловерные ушумнилишь, подписывать не хотели, убоялишь и отреклишь.

Допрашивать штанет — всех назову, кто недоволен Гервашием, никто не шпрячется.

Притаились монахи, ожидая судного дня, радовались, что придется на покаяние в Соловки Гервасию. А когда Воздвиженский отец Сергей,— в шелковой рясе — рукава колокол — приземистый, толстый, нос синеватою грушей, выпячивая живот, с иподиаконом пришел к средней обедне поклониться троеручице — вся братия пришла в собор поглядеть на консисторского протоиерея. У стен старики, поглядывая на Воздвиженского, шептались:

— Строгий должно быть, глаза лютые — несдобровать игумену.

Воздвиженский вместе с братией клал поклоны пыхтя и отдуваясь и после каждого заходилась кашлем, отдышавшись оглядывался по сторонам сурово и снова становился на колени. Все думали, что на Гервасия он и не взглянет, а выберет старцев, и обязательно — Досифея, Иону и Памвлу, и вместе с ними в трапезной, всенародно начнет спрашивать и судить, но когда после молебна к нему подошел Гервасий и, благословившись, вместе с ним пошел поклониться Симеону старцу — переглянулись все удивленно, а подписывавшие жалобу приуныли.

Николка с вечера призвал Паисия и приказал за трапезой подавать обычное, а в покоех обед приготовить на пять человек и принести из подвала лучшего квасу мартовского.

— А подавать Мисаил будет с Костею. На обед позовешь Аккиндина и сам придешь,— нам с тобою первыми отцу протоиерею отчет давать.

Паисий мужицкой смекалкой понял, что Гервасий, если он начнет говорить против — и его утопит, и решил вывозить и себя и игумена из колдобины. И все утро бегали монастырские повара то в подвал, то за рыбой на мельницу, в пекарне готовили особенную кулебяку — не посрамить обители,— варили компот, а Паисий из своего погребца, остатки еще от гостей, пару плетеных бутылок послал игумену.

За трапезой братия ловила каждую ложку, поднесенную ко рту ревизором, точно от этого зависело самое главное, следила, как тот нехотя ковыряет в миске, вылавливая рыбу, как потом, когда Гервасий растолок кашу и налил в деревянный ковш старого квасу и подал Воздвиженскому — и все не торопясь, спокойно, уверенно,— Досифей даже заметил, что у игумена и рука не дрогнула, и толкнул ногою рядом сидевшего Памвлу, говоря ему взглядом,— ты посмотри

— заносится... А когда, неизвестно откуда и от кого стало известно, что ревизор плохо ест потому, что у игумена будет особый обед после трапезы и что с хутора на заре еще для пирогов принесли масла, яиц и творогу и повара с пекарями, готовя обед, сбились с ног,— Памвла опустил голову и поглядывал зло на старого горбуна, потому что они зачинщики,— до расспросов дело дойдет — все укажут и наложат епитимию на них, на то Николка и сам в подвальном храме отсиживал под началом у Ипатия покойного. Благодарственную молитву пропели,— кланяясь во все стороны и отдуваясь, прошел протоиерей Воздвиженским через всю трапезную, а за ним иподиакон Смоленский с Гервасием, а позади — Паисий и неожиданно — выздоровевший Аккиндин лавочник, пощипывая ехидно бородку свою. Расступилась братия и безмолвно пропустила всех,— иноки подвигались медленно и все ждали, что выйдет вперед Досифей, остановит в трапезной ревизора и попросит его избрать нескольких старцев для суда над Гервасием,— уверенность эта была у каждого с раннего утра, оттого так напряженно братия и глядела за трапезой в рот строгому ревизору, а когда разнеслось, что специальный обед у игумена — настало смущение, хотя у многих была еще в этом уверенность,— оттого братия и раздвигалась медленно перед городским протоиереем, а когда все увидали, что за Гервасием Паисий пошел и Аккиндин вынырнул — опустили иноки головы и в молчании проводили шедших на обед к игумену.

За обедом с двух сторон Воздвиженскому подливали в рюмку — Паисий с иподиаконом, а когда хриплый бас протоиерейский засмеялся раскатисто — поняли, что заложили основу следствию, сдвинули с места дело. Особенно в этом старался Смоленский, зная, что нехорошая есть привычка у отца Сергия — звереть от первых рюмок, и лучше всего с прибаутками не оставлять ее пустой перед ним и кроме как о еде не говорить ни о чем, а то может случиться и так — озверееет протоиерей от шутки безвременной или еще от чего и на дружбу свою с ключарем не посмотрит, а так повернет, что круто придет игумену, и не только ему, а и многим из соборян, а может быть и того выше. Поэтому и послан Смоленский был ключарем с благословения преосвященного,— не надеялся в тайных помыслах Оболенский на своего приятеля. А сдвинули с места Воздвиженского, загремел его бас хриплый,— значит прожгла ему душу и сердце огненная влага из плетеных бутылок — отошел человек, размяк — веревки крути из него. Пил ревизор не пьянея, только нос грушею наливался густо бордовой краскою.

Отобедали — Костя принес кофе, а Мисаил поставил рядом с кофейником приземистую бутылку пузатую,— иноческую.

Смоленский мигнул Гервасию, вышел с ним на минутку и шепнул ему:

— Не оставляйте только, отец игумен, отца протоиерея своим вниманием — это главное, а мы лучше пойдем — вам говорить надо по делу с ним, один на один беседа всегда душевнее.

Увел Паисий к себе и Аккиндина и иподиакона, доканчивать у себя трапезу.

В сумерках, поддерживая под руки, отвел Воздвиженского Мисаил с Костею бессловесным в гостиницу, а Смоленский ночевал у эконома в келии.

Наутро проснулся Воздвиженский в номере — в сапогах и в рясе, с мутною тяжелой головой — потянулся к графину с квасом и стал вспоминать, что собственно с ним вчера было. То, что он был в трапезной, а потом у игумена, это он хорошо помнил, помнил обед и даже начало разговора с игуменом о ревизии, а потом — закружилась голова и обуял сон.

Выпив залпом два стакана маслянистого крепкого кваса, похожего больше на брагу, полез в карман за платком и выронил четыре бумажки полтысячных и сразу вспомнил, что целовался с Гервасием от умиления перед его энергией — все хозяйство в своих руках держит и иноков в послушании, а если и вышел такой случай, что не угодил нескольким — в семье не без урода,— зависть человеческая живет и под черною мантией.

Отдуваясь, поднял бумажки и, силясь припомнить, подумал вслух, урча густым, низким басом:

— А вот этого уже совсем не помню...

Любовно разгладил новенькие кредитки, полюбовался портретом Петра...

— Великий был государь! Суровый.

Вспомнил, что он тоже считается суровым и грозным, и нажал кнопку звонка,— вбежал Мисаил.

— Отец иподиакон в номере?..

— Изволили почивать, отец протоиерей,— сейчас только умылись — я позову.

У Смоленского тоже ломило голову и шуршали бумажки — помельче, числом пять, с женским портретом. Предупредительно взглянул на Воздвиженского.

— Надо, отец иподиакон, за дело теперь приниматься,— на книги взглянуть хочу,— идемте к игумену.

У Гервасия с утра кипел самовар,— про всякий случай,— и когда Смоленский вошел в покои игуменские с Воздвиженским — Костя уже наливал стаканы, а Николка, облобызав лоснящееся протоиерейское лицо, пригласил выпить по стакану чая и налил поверх чайной ложки ямайского рома.

Протоиерей старался не глядеть в лицо Гервасию, а когда утроба его согрелась ромом — снова добродушие появилось и зарокотал густой бас:

— А после чая, отец игумен, за дело — книги мне покажете.

Николка испуганно взглянул на Смоленского, тот успокаивающе улыбнулся ему и поддакнул Воздвиженскому:

— Разрешите, отец протоиерей, чтоб не утруждать вам себя, я подсчитаю расходные статьи обители.

— Прекрасное дело надумали, а я еще этим временем выпью стаканчик чайку с отцом игуменом,— ароматный чаек, душистый!

Николка снова взмахнул бутылкою, опрокинул ложку и долил чаем.

Смоленский, щелкая на счетах, перелистывал книги и, мечтая, как он подарит супруге своей радужную и как она ахнет от радости и бросится его обнимать,— четыре он решил спрятать и самому о них позабыть. До него все время доносился довольный урчащий бас Воздвиженского. А когда иподиакону надоело на счетах без толку щелкать и шелестеть книгами, он вернулся в приемную.

— Ну, отец иподиакон?..

— Два раза прощелкивал по всем статьям — все правильно!

— Ну, а правильно, так и глаза нечего портить, вот что,— а какие важнейшие статьи расхода показаны?

— Прием почетных гостей, улучшение хозяйства и епископское облачение.

Перед трапезой Паисий пришел пригласить на обед в свою келию, что была в самой трапезной, сейчас же за кухней и, узнав от Гервасия, что ревизия кончена, предложил осмотреть монастырское хозяйство. Воздвиженский вспомнил, что в жалобе было написано, что игумен непотребную ангельскому чину инок ведет жизнь, посрамляя обитель со скотницей, и захотел взглянуть на нее — пошел

хозяйство осматривать. Гervasий долго водил его по монастырю, показал ризницу, пекарню, просфорную,— протоиерей отдувался, фыркал, вытирал все время платком со лба пот и, не дождавшись, когда игумен на скотный двор поведет его — спросил Гervasия:

— А где у вас скотный двор?

— За оградой, отец протоиерей.

— Хочу и там побывать.

Николка повел его через конский, долго показывал лошадей, заставляя конюхов выводить всех по очереди и досадуя, что невозможно отделаться, дотянул до трапезы. Ударили несколько раз в средний колокол — на трапезу не пошли, только Паисий все время торопил не опоздать к его обеду, чтоб уха не перешла монастырская, — он называл ее иноческая, а селянку из стерляди свежей — игуменской. Воздвиженский долго ходил на скотном дворе, благословил скотницу мать Арефию и удивленно поглядывал на других монашек — рябых, веснушечных, неуклюжих и удивлялся в душе Гervasию, потом вспомнил про хутор и спросил:

— А на хуторе у вас тоже... (хотел сказать — такие же скотницы, но, запнувшись, окончил)... хозяйство?!

Николка покраснел, Паисий выручил:

— Теперь туда, отец протоиерей, не доберешься — дороги попорчены,— колдобины...

— Ну, если колдобины, тогда не поеду,— мне вредно.

После обеда у Паисия и иноческою ухой и игуменской селянкой, Воздвиженский передал Гervasию жалобу Досифея.

— Акт я завтра составлю — подпишет братия, а это вам пригодится,— тут они сами подписывались, посрамили себя,— вразумите их и наставьте на путь истины — по неразумению своему написали кляузу.

Николка умоляюще взглянул на Воздвиженского и нерешительно начал:

— Отец протоиерей, во имя правды и истины...

— Ну?..

— Обелите меня перед лицом братии...

— Как?

— Посрамите ложь доносчиков явно,— каждому.

— Позовите главных в покои к себе, а в назидание,— а в назидание — именем владыки епитимию наложите каждому.

Когда Воздвиженский осматривал монастырское хозяйство, братия смотрела на проходивших и шептала, что ревизию производит

приехавший, а писавшие жалобу на Гервасия, зная, что ревизора кормят и поят у игумена без перерыва два дня и что приехавший благодушно и громогласно смеется с игуменом, ожидали, когда настанет тот час, когда призовут на допрос их и посрамят перед братией.

Вызвали сразу двух — Досифея и Памвлу, зачинщиков,— за обедом Аккиндин указал на них,— про остальных сказал, что невинны, по недомыслию своему были соблазнены злоречивыми устами подстрекателей клеветников игумена.

Памвла вошел, бухнулся в ноги Воздвиженскому, встал и снова, стукнувшись лбом об пол, поклонился Гервасию и загнусавил слезливо, сваливая всю вину на горбатого Досифея. Старик поклонился и упрямо молчал, взглядывая исподлобья то на игумена, то на ревизора. Гостиник Иона третьим пришел, когда еще Памвла продолжал рассказывать и, угрюмо опустив голову, молчал. Протоиерей смотрел на них сонными глазами и, чтобы окончить скорее всю процедуру, прогудел Гервасию:

— Именем владыки отец игумен епитимию наложит каждому.

Николка встал с кресла и, сверкнув глазами, обратился к Памвле и Досифею, говоря о милости и милосердии, а так как правда восторжествовала и клеветавшие и помимо того наказаны, то он епитимию накладывать не будет, а чтобы раскаяние их было истинным, никто бы им не мешал молитву творить, то он поселяет их в скиту — в тишине и вдали от общения с миром и запрещает им выходить за скитские ворота двенадцать месяцев. Потом — взглянул на Иону — dokonчил:

— И ты, отец гостиник, поделишь с ними в скиту молитву, а на твое место, временно, пока рясофор не примет — будет Мисаил, послушник.

И неожиданно — как всегда и везде — вбежал Васька, взлохмаченный, без скуфейки, плачущий. Скорее это не плач даже был, а глухой, придушенный вой, что-то похожее на скулящего пса или волка. Блаженный вбежал, взглянул на собравшихся и бросился на колени. Николка испугался, думал, что Васька опять начнет свои выкрики про Феничку, и, шагнув к нему вперед, не давая ему говорить, начал ласково спрашивать, одновременно объясняя Воздвиженскому жизнь и болезнь блаженного:

— Что тебе, Васенька, что?

Не говорил, а мычал сквозь слезы:

— Спаси, сохрани, помилуй...

— Ну что? — чего ты?

— Бьет меня, бьет... меня мучает бес, бес мучает, а он поленом меня, поленом...

— Досифей?..

— Ночью меня, ночью... Связанного...

Лицо Васьки дергалось, по щекам текли тяжелые капли, он их утирал кулаками и размазывал.

— Отпусти меня, отпусти, Николушка...

— Куда отпустить?

— К старцу моему отпусти, к Акакию... Старец любил меня, утешал... Отпусти, Николушка! Я ему поклонюсь, до земли поклонюсь, Николушка,— отпусти к нему.

— Ступай, Васенька!

Васька вскочил и, озираясь на Досифея, точно боясь, что горбатый старик его остановит и свяжет, выбежал из покоев игуменских и бежал до скита не оглядываясь.

С Воздвиженского, при виде слез блаженного, при виде измученного и больного, в эту минуту почти сумасшедшего — сошел обеденный хмель, глаза налились кровью, и он, почти озверев, закричал на Досифея, Иону и Памвлу, задыхаясь от волнения. И это даже не был крик, а скорее рычание зверя гневного:

— В скиту запереть! На всю жизнь! Из кельи чтоб никуда, никуда из кельи! Запереть их, запереть!

Кричать уже не хватило сил и воздуху — упал, задыхаясь, на кресло.

Паисий замахал руками монахам и зашептал сурово:

— Слышали, что ли?! В скит идите, идите в скит!

Горбун, не проронив ни звука, шаркая сапогами, вышел не поклонившись, а за ним — Иона с Памвлою, опустив головы.

У Воздвиженского стучали об стакан зубы, но и после воды он долго не мог еще прийти в себя от волнения и отдышаться.

III

На хутор Николка приходил затемно,— в скуфейке, в темном подряснике, пронизанный осенним ветром и мелким дождем, засекавшим лицо. Садился на скамью у стола, клал на него тяжелые руки, взглядывал на Аришу и не знал, что говорить, что делать — пугала его колыбель под белым пологом, плач ребенка и страшно было смотреть на нянчившую мать — Аришу. Озорной, уверенный в своей красоте — брал и не думал, что дальше,— знал, что никто не

придет спрашивать с инокa. Когда и Ариша еще была полна радостью и не плакал беспомощно кто-то в люльке, жил тем же чувством свободы — никто не узнает, никто не спросит и еще слаще — не нужно ждать, караулить, прятаться в чащу — спокойно бери, покоряя ласкою,— не думалось даже, что после будет. Даже в тот вечер, когда встретил ее в лесу и передал деньги — ему для него, для его жизни,— он, этот надоедливо плачущий сосунок, тоже еще был далек, и издали Николка гордился им перед самим собою, а когда понял, что у него, у монаха, у игумена Гервасия жизнь связана — испугался, и ребенок стал для него врагом. В первый момент почувствовал в нем врага неожиданно,— он прервал его радость и ласку с Аришею, закричал, когда сердце в нем падало от горячей близости,— крик ребенка прервал напряжение, Ариша рванулась, подбежала к плачущему, а у него сразу сердце качнулось досадою; знал, что не она виновата в прерванном и не плачущий, а досада перешла в озлобление. Вскочил, поспешно оделся и выбежал в лес, в темноту, и спотыкаясь вернулся в монастырь, в келью. Несколько дней потом не ходил на хутор, а когда тело начало душить жаждою — не выдержал, побежал к Арише.

Донос и ревизия отвлекли — некогда было ходить. Посрамив доносчиков, снова пошел на хутор, торжествуя своей победой. Казалось, что теперь ничто ему помешать не может, не было даже чувства озлобленности к плачущему существу, а вошел к Арише, увидал люльку — к горлу подступила досада. Растерялся и не знал, что говорить и делать,— злая жадность проснулась в нем.

Ариша чаем его напоила и, покорно поглядывая, сказала просящим голосом:

— Иди к себе, Коленька,— ему нездоровится, да и мне будет плохо.

И сразу озлобленность прилила к груди,— хлопнул дверью и опять ушел в монастырь. Несколько дней не ходил на хутор, а жадность мучила. Точно вор, от самого себя прячась, пошел к Арише. Вошел, взглянул на нее,— исхудавшее лицо на него взглянуло жалобно и покорно.

— Пришел ко мне?! Да, пришел? Только не мучай меня, не мучай! Делай что хочешь — вся ведь твоя...

Подошла к нему и неожиданно на колени упала, приложив к руке его сухой и горячий лоб,— слезы обожгли ему руку градом — поднял ее виновато...

— Я не сержусь. Досадно мне — вот что!

Утром до рассвета его провожала и, когда замолкли шаги, вернулась в келью свою и зашептала, наклонившись над ребенком:

— Погубил он меня, всю жизнь мою погубил.

А потом приходил, садился у стола и не знал, что говорить и делать. Молча пил чай, молча гасил лампу и молча в темноте находил Аришу, и молчание это разрубало прошлое; Ариша была покорная и безразличная.

Но с каждым разом реже и реже к ней приходил. Сам даже находил причины не идти к ней,— то осенняя ночь дождлива, то гололедица,— в темноте поскользнуться — руку сломать, ногу вывихнуть, то снег выпал — следы останутся, то замела метелица. А к весне от Великого поста до Пасхи и навестить не пошел ни разу.

И с каждым днем, отходя от Ариши, снова предавался мечтам о митре, об архимандритстве, о скором открытии мощей, и когда, вместе с ласточками, потянулись в монастырь первые богомольцы и странники, начал ожидать чудес. Снова приказал Аккиндину сидеть в нижнем храме старого собора и записывать чудеса старца, явления его в сонном видении, предзнаменования...

Каждый день вечером призывал Аккиндина и спрашивал — не было чуда сегодня. Лавочник изо дня в день отвечал одно и то же:

— Нет, отец игумен, не было.

— А, может быть, ты не умеешь, отец Аккиндин; может быть, старец тайные чудеса творит, а ты недостойн узреть их?!

— Может быть, и это, отец игумен!

— А ты молись, Аккиндин, молись!

Несколько раз был на хуторе,— сосна гнала смолу душистую, отошел мох и зеленые гусеницы разворачивали резной папоротник, но к Арише уже не тянуло — один только раз спросил, не называя ее по имени:

— Здоров?

Ариша не знала, что отвечать, замялась и не выдержала:

— Около стеночки начал ходить.

Осмотрел скотный двор и уходя благословил и Аришу и скотниц — не заглянул даже в келью.

Снова принялся за хозяйство. Целую зиму ждал, что из синода напишут об открытии мощей,— укажут срок, предпишут что-нибудь,— ничего. Съездил после Пасхи и в город к епископу,— но не застал,—

соборный ключарь сказал, что владыка в столице хлопочет. Успокоился.

Начал ждать, что пришлют ученого иеромонаха готовить обитель — ни иеромонаха, ни вестей, ни чудес. Решил ждать и хозяйствовать. Неизвестно зачем пересмотрел ризницу, заставил выбелить заново монастырские стены и по бокам святых ворот расписать сцены из жизни старца,— построение обители, врачевание старцем иноков, чудесное избавление от казни и принятие схимы. Самоучка-монах с послушником целые дни стояли на лесах под солнцем и мазок за мазком выводили деревянные келии, иноков, старца, темные сосны и голубое досиня небо. Подходили странники и богомолки, умилялись рисунками, и приходивший взглянуть на работу Гервасий начинал объяснять каждому и каждый раз по-иному — житие основателя пустыни.

Рисовавший монах и послушник оставляли кисти и начинали прислушиваться, удивляясь,— откуда только придумывает игумен о жизни старца и пустыни, а когда уходил Гервасий — монах начинал сам рассказывать, вспоминая все, что читал в житиях преподобных иноков и святых.

Послушник иногда говорил:

— Отец Валентин, так ведь это же из жития преподобного Саввы?!

— А ты, брат, не мудрствуй лукаво, вот что! Жизнь иноческая везде одинакова. И наш старец жил тою же жизнью, о том и предание говорит,— а ты мудрствуешь, пиши-ка лучше вот сосны...

По-старому понаехали на дачу купчихи и приходили к игумену благословиться пожить на лето. Николка с сожалением вспоминал вольное время, когда с приятелями гулял по лесу, уводя за малиною купеческих дочек или вдовых мамаш, и завидовал послушникам, прохаживавшимся мимо окон.

Около мельницы встретил старца Акакия,— длинная полотенчиком борода белая, серебряные ровные волосы, с посошком и сзади в нескольких шагах в черной скуфейке, в старом заплатанном подряснике, длинный, сухой и тихий — Васька. Увидав Гервасия, он взглянул на него и сейчас же опустил голову. Старец к игумену подошел, блаженный остановился вдали, не поднимая голову, и только шевелил непрерывно узловатыми пальцами длинных рук. Старец взглянул на Николку долгим и пристальным взглядом, но

таким же добрым и ласковым, каким смотрел на каждого человека. Благословился у Гервасия и тихим, беззвучным голосом сказал ему:

— Не искушай господа бога твоего, не уподобляйся соблазнителью рода человеческого. Ты инок,— тебе дано многое и многое с тебя спросится. В твоих руках души кающихся и смиренных... Не можешь в обители идти путем истины — уходи в мир — обретешь истину... Но путь твой начертан,— не искушай господа.

И сразу Николку охватил страх, неожиданный и непонятный, проснулось мучением чувство ненависти и отчужденности к ребенку своему и к Арише, в первый раз почувствовал, что запутался и не может теперь найти выхода. Монастырская жизнь приковала к себе и желания и мысли и остро поднялось желание послужить обители и опять-таки для себя, неясною картиною пронеслось торжество открытия мощей и потускнела Ариша, Феничка и вся мутная жизнь во имя тела — отшатнулась душа от женщины. Знал, что теперь нельзя на погибель Аришу бросить, нужно только отойти от нее, а иначе — расстрижение, Соловки, гнилой подвал храма и смерть, и все, к чему несколько лет стремился после Фенички — прахом пойдет. И неожиданно для себя упал в ноги Акакию с воплем:

— Отпусти мне грехи, старче, укажи путь истины...

— Встань! Иди путем истины и смирения. Многие заботы имеешь ты и соблазняешься о них плотским житием бренным. Житейское море переплыть тебе не дано сил и разумения, направи свой челн обители.

Акакий медленно поднял руку и указал по направлению к хутору:

— Искушаем был, согрешил — покайся, не имеешь часу в молитве пребывать — делами покажи, тебе много дано и много спросится. А к жизни той,— рука его снова приподнялась и вытянулся указательный палец,— не касайся больше и не доводи человека до гибели, не одна душа соблазнится о тебе и погубит себя и других... Согрешил — искупи смирением и любовью и не отнимай жизни у них.

Васька долго стоял молча, прислушиваясь к словам старца, и после того как Николка встал, блаженный подбежал к Акакию, поклонился ему до земли, встал, обернулся к Николке и ему поклонился также. Гервасий только теперь заметил юродивого и от неожиданности испугался.

Блаженный, поклонившись Николке, без выкриков, тихо начал ему говорить:

— Николушка, не бери меня от Акакия, старец не бьет меня, старец ласковый.

— Ласковым словом душу человеческую открывать, а душа инока в покаянии и смирении,— Васенька тихий, когда не обижают его... смиренный инок.

— У старца жить будешь, не возьму тебя от него,— живи с богом, Васенька.

Вместе с Акакием Николка пришел до казенного леса, до того места, где продан был монастырский. Полпенские мужики его корчевали. На месте прошлогодних порубок пробивался молодой зеленый кустарник и буйно разрасталась трава. Старец печально глядел на пустошь и, не обращаясь ни к Васеньке, ни к игумену, говорил:

— Красота божья загублена. Молодым я в обитель пришел, а лес этот и тогда вековым стоял, а теперь — запустение и оскудение.

Николка не выдержал, почувствовал в этих словах укор и стал оправдываться:

— У обители расходы большие, гостей принимали... и мощи...

Старец прервал его:

— Я говорил тебе, инок,— много тебе дано и много с тебя спросится.

Акакий пошел в чащу, в казенный лес, Васька по-прежнему шел в нескольких шагах от него. Игумен поклонился старцу и пошел вдоль рва, отделявшего монастырский лес от казенного. Весь ров порос папоротником и узкою полосой делал просеку. Николка никогда еще не был здесь. Лес был тихий, суровый, темный. Сосны верхушками закрывали небо и шумели суровым шепотом. Захотелось узнать, куда приведет граница. Сырой, никогда не просыхавший здесь мох охватил глубоко ногу. Далеко, сквозь этот узкий и темный коридор бурых сосен виднелась яркая полоса, просвет,— железнодорожный путь пересекал лес. Ров окончился у полотна дороги и снова врывался в темную глубину. День был солнечный, ясный и даже горячий, а по лесу тянуло холодом, сыростью, иногда нога хлюпала по болоту. Потом постепенно лес начинал редеть и с одной стороны начинались поля, монастырский стоял к ним сплошной стеной. С бугров, где стояла деревня,— Николка даже не знал какая,— извивалась дорога и уходила в лес. Николка решил по границе дойти до нее, надеясь, что она выведет его ближней дорогою в монастырь. По опушке дошел до этой дороги и пошел лесом. В стороне, почти у самой дороги, на монастырской земле стояла изба. Николка захотел есть и свернул к ней. Сколько лет жил, почти весь лес им исхожен от монастыря к Полпенке, а в этой стороне, вправо от мельницы, к железной дороге и

за нею никогда не бывал. Должно быть, и монахи не знали про эту хату. Около нее на белом песке копошилось два черномазых, курчавых мальчика в одних рубашонках. Увидев монаха, они убежали в избу. Навстречу к Гервасию вышел горбоносый седой старик и начал кланяться.

Николка даже смутился и спросил его:

— Это лес монастырский?

Старик усмехнулся, глаза блеснули насмешкою.

— А вы же сами откуда будете?

— Из монастыря.

— И не знаете, что это лес монастырский?!

— Есть у вас поесть что-нибудь?

— Отчего не быть,— мы и живем этим — прохожих пускаем ночевать, кормим.

Старик пропустил его в хату, Николка взглянул в угол, хотел перекреститься, иконы не было.

— А почему у вас нет иконы?

— Зачем же икона нам?..

— Как зачем, в каждом доме у православного должна быть икона.

— У православного может быть, а у нас незачем ей — мы евреи...

— А как же вы на монастырской земле, кто позволил?

— Еще мой отец тут корчму держал, он и знал кто позволил ему, а мне ничего не сказал — помер себе и не сказал.

Внутри этой хаты пахло тем особенным запахом бедного еврейского жилья, пропитанного чесноком, луком и примесью еще чего-то острого и съедобного.

Старик на минуту вышел и вернулся с сыном. Курчавая голова, с горбиною большой отцовский нос и черные живые глаза.

Молодой одним взглядом оглядел с ног до головы монаха и, не снимая картуза, поклонился ему.

Старик начал снова:

— Это мой сын, Моисей, и дети его, а жена в город уехала.

У Николки сейчас же мелькнула мысль,— вероятно и старец Симеон оттого и чудес на творит здесь, что на монастырской земле неверные живут, нечестивые и решил выселить из корчмы евреев, чтобы не было православным соблазна. Не dokonчил хлеб, встал из-за стола и хотел уйти. Молодой — улыбаясь так же как и отец — немного насмешливо спросил монаха:

— А может быть батюшке угодно будет и выпить?!

— Чего выпить?

— Вина может быть?! Казенного?

Николка вскрикнул сердито:

— Какое же вы имеете право водкой торговать, спаивать православных людей, идущих из обители и в обитель поклониться нашему старцу?!

— А разве я должен отвечать каждому монаху?!

— Я игумен.

Старик, молчавший и одобрительно поглядывавший на сына, услышав, что монах этот — игумен, сейчас же начал говорить о том, что водкою не торгуют и богомольцев не спаивают, а если кто из крестьян, возвращаясь из города, зимою останавливается отдохнуть, покормить лошадей и напиться чаю, то не отказывают, если попросят.

— Надо же, господин игумен, отогреться человеку, без этого он и домой не доехал бы, а мы вином не торгуем, у нас если когда какая бутылка найдется — для себя, Мойша вот после работы одну рюмочку выпивает.

Николка думал свое и говорил вслух:

— От этого и старец наш не творит чудес, прогневался из-за того, что на монастырской земле нечестивые проживают, от этого и у монастыря и доход уменьшился.

— Старец ваш, батюшка, на бедных евреев не будет гневаться, потому что он знает же, что у них дети есть и им тоже покушать нужно.

— А все-таки вам придется переселиться куда-нибудь, нельзя на монастырской земле оставаться вам. Я не позволю этого...

Не простившись, Гервасий ушел, а за ним через минуту, поговорив с отцом, выбежал и молодой Мойша, нагнал игумена и начал ему говорить:

— Вы сказали вот выселиться, а куда же мы отсюда пойдем? Чем же кормиться нам будет? А мы все будем молить нашего бога, чтобы он послал чудеса старцу вашему.

Николка упрямо твердил, что из-за них может обеднеть и обитель, и старец еще больше прогневается на иноков и на него — игумена.

— Может быть, он и сегодня привел меня к вам, указал на вас, а я против воли его оставляю вас жить на монастырской земле?!

— А если ваш старец привел по другому случаю...

— По какому?

— А чтобы помочь нам. У обители мало доходов и у нас странников. Вот в других монастырях, где ваши святые есть — и чудес много, и евреи живут. Я знаю, что в Киеве — много евреев,

очень даже много и святых ваших тоже в Киеве много, и святые не гневаются на бедных евреев и чудеса творят и евреи даже помогают им чудеса творить.

— Как помогают?

— Ну, помогают, чтобы евреи уверовали и в чудеса ваших святых и вашего бога.

— Что тебе нужно?

— А чтобы господин игумен не выселял бедных евреев из старой корчмы, она давно тут стоит, мой дедушка корчму эту держал и ваш старец не гневался, и странники шли в монастырь и дедушка мой кормился от странников и старец не гневался, а моего дедушки дедушка тоже корчму держал и старец тоже не гневался, так зачем же он будет гневаться на моего дедушку и на отца моего и на меня? В Киеве же ваши святые не гневаются на нас!..

Еврей говорил без конца, торопясь высказать и доказать, что его семье тоже надо кормиться и жить, как и всем людям, и что всюду есть и святые и всюду евреи живут и кормятся и что у каждого народа есть своя вера, а бог у всех один и у каждого народа есть святые свои и что они тоже творят чудеса, а православный бог ни на кого не гневается и что у евреев тоже были свои святые — Моисей, Аарон, пророки, и они тоже творили чудеса для еврейского народа, и главное то, что еврейские пророки нарисованы в православных храмах и о их учениях и чудесах в православных храмах читают и монахи их почитают за святых и пророков.

Николке давно надоело слушать еврея и не хотелось возражать ему, может быть еще и потому, что не знал, как возразить, и, махнув рукою, сказал ему:

— Ладно, живите пока, потом видно будет.

— Спасибо вам, господин игумен... А что чудеса ваш старец будет творить, это же я хорошо знаю, и на бедных евреев в старой корчме не будет гневаться.

Через несколько дней сходил после трапезы на хутор. Аришу встретил спокойно, и колыбель не смутила. Но в келье ее не остался, вышел во двор и все время говорил о хозяйстве, потом ей сказал:

— Проводи меня, надо говорить один на один.

В лесу передал ей деньги...

— Это ему и тебе тоже. Будут еще — принесу... На хутор редко буду ходить, нельзя,— братия ропщет, могут узнать в городе...

У Ариши вздрогнул голос, и она выронила бумажки, Николка их поднял ей.

— Эх, Коленька, погубил ты меня, а теперь уходишь...
— Не ухожу я, а нельзя мне бывать — братия ропщет.
— Уходишь ты от меня — вот что, и от него, от него уходишь, это он тебе помешал.

— Неправда!

— Я тебе вроде забавы нужна была, а теперь он... Эх, Коленька! Николка откачнул ногою лежавшую ветку сухую, поморщился и, не прощаясь, сказал еще несколько слов и ушел в лес.

— Не понимаешь ты ничего!

— Все понимаю, все, Коленька...

— Прощай!

— Не придешь, значит, больше,— не нужна стала!

Захрустели под ногами сухие ветки и слился в сумерках с лесом черный подрясник.

Молодой вернулся в корчму, отец пугливо спросил его о судьбе — быть корчме или придется по миру идти, уезжать куда-то с насиженного гнезда, разорять свою жизнь. Досадовал на православных святых, на монастырь, на монахов. Молодой долго думал, потом мотнул головой и сказал:

— Старец их сотворит чудо, и я знаю как, из корчмы не уедем мы.

По-прежнему заходили в корчму странники, ночевали во дворе в плетневом сарае или подле корчмы в лесу; заезжали крестьяне поить лошадей, останавливался обоз — привычно скрипел у колодца журавль, опуская на длинном клюве ведро, гремя им в глубине и звонко расплескивая воду; как всегда выбегала жена молодого Сарра навстречу странникам и приезжим, разводила в чулане самовар, резала хлеб, доставала из погреба водку. Молодой уходил иногда в поле, ходил по межам,— хлеб выколосился и желтел, шелестя переливами. Потом Мойша как-то утром запряг мерина и, никому ничего не сказав, уехал в город и вернулся к вечеру. Через неделю опять уехал и стал дожидать жнивы. А когда на бугры в первый раз вышли крестьяне косить хлеб — в этот день ночью молодой не спал, долго возился в амбаре, сходил на поле, запряг мерина и до рассвета уехал в город.

У дороги под монастырским лесом с угла начинать косить старшему в мужицкой семье. Выехал в поле старик с семьей на целый день, распряг лошадь, стреножил ее и пустил пастись по опушке. Молодайка укрепила к оглоблям небольшую слегу, перевязала

веревкою и повесила люльку. Потом старик скинул зипун, распоясался и сказал сыновьям:

— Идем начинать, ребята.

От леса с угла блеснула старикивская коса, а за нею пошли еще две,— взмахнул старик несколько раз и крикнул:

— Стойте! Чудо господне!

Сыновья подбежали с бабами.

— Икона явленная,— старца пустынника!

Во ржи, на пять взмахов мужицкой косы на земле стояла икона, а подле теплилась толстая восковая свеча.

Бабы от радости заплакали, начали молиться, а потом побежали в поле людей сзывать. Сбежавшиеся крестьяне кланялись до земли, боясь прикладываться, потом начали думать — как быть, что делать с явленной иконой, послали в село за священником и за становыми. Из корчмы на шум прибежал старый еврей и удивлялся вместе с крестьянами.

Первым приехал священник, расспросил, где и как нашли ее, кто первый увидел, потом рассмотрел икону.

— Старая, схимник на ней,— вспомнил про монастырь и добавил, — основатель пустыни на ней, Симеон старец,— надо бы за игуменом съездить. Пошли-ка, Василий Никифорович, своего Василия,— на твоей земле она появилась.

Василий всю дорогу, до самого монастыря гнал мерина, на взмыленном подъехал к святым воротам, бросил его и побежал в монастырь, забыв даже второпях снять шапку и перекреститься. У ворот увидел отца Авраамия, вратаря, и бросился к нему спрашивать:

— Отца игумена увидеть мне! Чудо господне, чудо!

— Какое чудо?

— Икона объявилась чудесная у отца на клину,— старец ваш Симеон. К игумену мне.

Авраамий заковылял с Василием к покоям игуменским, сказал встретившимся монахам о явлении старца, и в один миг по монастырю разнеслась весть о чуде и все потянулись к игумену.

Николка из окна увидел Авраамия с запыхавшимся мужиком и бегущих монахов, испугался, подумал, что случилось недоброе что, и выбежал на крыльцо. Василий подбежал к порожкам, упал на колени и начал:

— Отец игумен, икона вашего старца на клину объявилась у отца, чудо господне — народ меня за тобою послал в монастырь, там и батюшка наш, отец Афанасий, это он посоветовал...

— Что посоветовал?

— За вами съездить, да поскорее.

Николка торжественным и торжествующим голосом обратился к столпившимся монахам и богомольцам:

— Братие, старец наш во славу пустыни совершил чудо явления своего...

В толпе легким ропотом пробежало из уст в уста:

— Чудо, великое чудо, старец наш чудеса являет.

И тем же торжественным голосом игумен обратился к Василию:

— Расскажи перед лицом иноков и всех людей, как было.

Мужик в поспешности забыл даже снять шапку, Авраамий сзади ему сказал:

— Да ты шапку сними!

Василий, опомнившись, снял шапку, махнув ею широко в воздухе, головы слушающих вытянулись в ожидания.

— Ехать надо, отец игумен, староста за становым послал.

Игумен рассердился и крикнул на Василия:

— Рассказывай!

Торопясь, путаясь, Василий рассказал, как они с отцом и с братом выехали хлеб косить и когда первым пошел, по обычаю, начинать старик, не успели начать и рядов — отец остановился и крикнул — стойте, чудо господне, — а потом сбежался народ и его послали в монастырь.

Николка слушал рассказ и повторял, смотря на монахов:

— Чудо, великое чудо!

Василий кончил и опять обратился к Гервасию:

— Так едемте, отец игумен.

Николка велел монахам ждать у ворот соборне новоявленную икону старца, приказал запрячь линейку, а на телеге Василия ехать следом кому-нибудь не отставая. Потом вбежал в покои, надел клобук и мантию и позвал с собою Аккиндина и эконома Паисия — свидетелями великого чуда.

Послушник гнал лошадей лесом, линейка подпрыгивала на корнях, цепляясь в других местах за стволы; проезжая мимо корчмы, Николка увидел опять двух черномазых мальчиков, копавшихся у порога, и вспомнил слова еврея, говорившего, что старец будет творить чудеса и еврейская корчма не помешает этому, и подумал, что может быть хорошо даже, что не выселил их с монастырской земли.

Выехали на опушку и увидели собравшихся около иконы. В середине стоял священник и становой.

— А свидетели кто? Кто первый икону увидел?

Старик Василий повторял:

— Я увидел первый и свечка горит перед нею...

— Все равно нужно показание составить.

Гервасий с монахами подошел к толпе, перед ним расступились, и он ни слова не говоря поклонился иконе до земли три раза вместе с Паисием и Аккиндином, встал и подошел к становому.

— Великое чудо, истинно великие чудеса старец творит Симеон!.. Молебствие отслужить надо на месте явления.

Становой отозвал игумена в сторону вместе с священником и вполголоса забасил:

— Конечно, отец игумен, чудо великое, но только необходимо установить, что икону сюда никто не поставил.

Николка всплеснул руками:

— Но ведь это кощунство же, кто же решится на это?

— Тут недалеко в лесу корчма жидовская,— нужно расследовать.

Игумен запротестовал, что неверный не посмеет этого сделать, иначе нужно бы разрушить и логово его и разогнать его семью.

— Не могу, отец игумен, никак не могу, обязан установить действительность чуда, а до этого данною мне властью не разрешу ее трогать.

Николка вспомнил, что велел инокам ждать его с иконою у святых ворот, и если он не привезет ее сегодня, то в обители будет большое волнение,— и у него даже мелькнула мысль, вспомнил слова еврея — что если бы даже и поставил ее корчмарь, то теперь уже нельзя отказаться от явленной иконы старца во имя чуда, и еще горячий стал убеждать станового сейчас произвести дознание, спросить старого еврея, сына его, всю семью, но непременно сегодня же увезти икону в обитель.

— Вы иноков лишите великой радости, они ждут ее, ждут и до ночи будут ждать, пока мы не привезем се.

Становой оставил около иконы стражника, крестьяне разошлись на поля, мужик Василий с сыновьями начал свое поле косить с другого конца, а игумен с монахами, с становым и священником стали расспрашивать старого еврея, не поставил ли он иконы или не знает ли кто поставил. Старик смотрел удивленными глазами и заклинал, что пришел сюда потому только, что услышал шум.

— А где твой сын? — спросил становой.

— Его дома же нет, господин становой!..

- Где он?
- Вчера еще в город уехал и совсем не ночевал даже дома.
- Хорошо, пойдем в корчму, сам посмотрю.

Осмотрел корчму становой, расспросил еврейку — и та поглядела на него удивленными глазами,— все видели, что старый корчмарь ничего не знает.

— Ну, хорошо, отец игумен, берите икону пока в монастырь.

Николка сел на козлы с иконою вместе и возницею, а сзади на линейку сели становой, Паисий и Аккиндин. Ехали осторожно и когда стали к монастырю подъезжать — зазвонили колокола. Николка вздрогнул, обрадовался и глаза его засияли радостью и торжеством.

У святых ворот все время толпились богомольцы, и черною стеною стояли монахи, ожидая с явленной иконою игумена. Высокий, плотный старик иеромонах Рафаил, всегда шумный и многоречивый, настаивал, что явленную икону необходимо встретить торжественно, в облачении и с хоругвями, потому что старец Симеон истинно божий угодник, явно и всенародно творит чудеса и все равно мощи его будут открыты, а по своим чудесам он и теперь святой и преподобный старец. Братия начала волноваться и стихла, когда пришел из скита Акакий. Рафаил стал и ему доказывать то же. Старец склонил голову, помолчал, потом шевельнулась его длинная белая борода полотенчиком, и он, подняв голову, обратился к Рафаилу и инокам:

— Братия, пока не прославлен и не причислен к лику святых Симеон старец православною церковью, дотоле мы не можем и образ его явленный встречать со служением и молитвами. По моему разумению, ожидать без торжественности, со смирением иноческим и не искушать господа. Воистину, старец великий подвижник, но преступить закон церкви мы не смеем.

Монахи долго еще волновались и решили поступить по совету старца и встречать явленную икону только колокольным звоном.

Николка торжественно пронес образ через святые ворота в новый собор и преклонился перед изображением старца вместе с братией, а потом вместе со становым прошел в покои свои, велел запереть двери храма.

Паисий приказал сготовить ужин для станового и отнести к игумену.

К вечеру к монастырю подъехала и вторая телега.

Молодой корчмарь, не заезжая домой, другою дорогой из города поехал в монастырь к игумену.

Пройдя святые ворота, он остановился и стал оглядываться, к нему вышел из келии вратарь Авраамий.

— Что тебе нужно?

Голос у того задрожал, и он обрывисто, полупшепотом, спрашивал:

— Надо мне к господину игумену пройти, сейчас же пройти к нему, сейчас же...

Авраамий узнал по внешности, что говоривший еврей, и недружелюбно и недоверчиво ответил:

— Сегодня отцу игумену некогда,— в обители чудо — ему некогда.

Еврей всплеснул руками и зашептал быстро-быстро:

— Чудо, да чудо, со мной тоже было такое чудо, такое чудо, поэтому я хочу самого господина игумена видеть,— такое чудо!

Авраамий удивленно взглянул на него и показал покои:

— Ступай, направо корпус с колоннами,— туда ступай.

Корчмарь вбежал к игумену, увидел его сидящим за столом вместе с Паисием и становым за чаем — на столе была бутылка и урчал довольный голос выпившего станового,— подойдя к столу, он всплеснул руками, сложил их на груди, прижал к ней свой картуз и обратился дрожащим голосом только к игумену:

— Что со мной было, господин игумен, что только со мной было?!

Пришел корчмарь неожиданно, и, вздрогнув, все обернулись к нему. Корчмарь говорил, заикаясь, путаясь, повторяя непрестанно: «господин игумен» и всем своим видом выказывая необыкновенное волнение.

Николка спросил:

— Что случилось?

— Я не знаю, что со мной только было, господин игумен,— ну, купил я в городе что нужно там было, побыл у знакомого одного, он говорит, почему ты, Моисей, печальный такой, может Сарра больна, или еще что, только ты печальный такой и бледный, совсем бледный, — но отчего же мне бледным быть, говорю ему, а он, господин игумен: нет, ты очень даже бледный такой, оставайся ночевать у меня... Остался я ночевать, а у самого сердце так,— стук, стук — колотится, прямо из меня выпрыгнуть хочет, не спится мне, никак не спится, и чуть стало светло, разбудил я его — поеду, сейчас же поеду, у меня так сердце стучает, не случилось ли дома чего. И что же вы думаете, господин игумен, выехал я за город, еду себе, поднялся наверх, а дальше — я кнутом лошадь свою, я кнутом — не идет, не хочет идти, господин игумен, взглянул я на небо, а из него белый столб опускается и горит что-то в этом столбе — как не ослеп

я только, и как бы лошадь пошла, когда я сам испугался так. Встану, хочу ехать, а лошадь стоит и столб этот не двигается, а потом пошел он, и она меня повезла. И что было со мною — я ее ворушаю домой, а она сама по себе везет и сюда привезла... Что только было со мной, господин игумен?!

— Чудо было с тобою, неверный...

— Такое было чудо со мною, господин игумен...

— Это старец тебе указал путь сюда в час появления его образа. Становой, посмеиваясь на еврея, спросил:

— А ты где был, Мойша?

— В городе, господин становой, я из города ехал — такое чудо было со мною страшное.

— А ты икону не ставил около монастырского леса?

— Я еврей и зачем мне икону ставить, когда меня не было дома, и какую икону только?

Николка прервал станowego, обращаясь к еврею:

— Это тебе великое знамение указал Симеон старец, когда являл образ свой на земле, и ты должен принять православие, это старец смилостивился над тобою и не хочет допустить тебя в лес в корчму твою, а привел в обитель тебя, чтоб ты православие принял и поклонился ему, тогда он и разрешит тебе оставаться на той земле, где появился. Вот что значит это чудо... И над тобою сотворил чудо, великое...

Еврей долго еще повторял Гервасию это чудо, и снова повторил при Аккиндине,— Николка ему приказал записать, и, когда корчмарь повторил и ему свой рассказ, игумен закончил:

— Пиши, отец Аккиндин, что неверный после сотворенного над ним чуда преподобного старца уверовал в него и перешел в православие.

И, обратившись к становому, закончил:

— А Матвей Иванович будет крестным отцом твоим... Поезжай домой — наставника тебе пришлю...

И опять монахи заговорили о новом чуде, передавали со всеми подробностями рассказ еврея, добавляя, что старец неверного обратил на путь истинный, ибо он живет на монастырской земле, а там, где ступала нога праведника, не должна ступать нога грешника и неверного.

Шумный Рафаил назвался быть наставником молодому корчмарю, а так как старику трудно было ходить, еврей приходил каждый день

после вечерни в старую гостиницу и слушал православное учение от Рафаила.

И в тот день, когда становой сделался крестным отцом корчмаря, с вечерним поездом приехал в пустынь высокий, сухой, черный монах с угольными глазами и, не заходя в гостиницу, прошел через святые ворота, перекрестился в них коротко и направился твердыми, спокойными и уверенными шагами в игуменские покои, узнав их привычным взглядом по внешнему виду и по расположению монастырских зданий.

IV

Отворил Поликарпу белобрысый Костя, пропустил в приемную.

— Отец игумен сейчас выйдут.

Монах не присел, начал ходить по комнате, потом снял клобук — высокий выпуклый лоб, сдвинутый слегка на глаза, и ровные черные волосы, черные глаза с мелкими ресницами, прямой нос, ровный и даже острый, и быстрый, резкий поворот головы.

Вышел Николка; монах коротко подал руку, коротко пожал и без приглашения сел в кресло.

— Я прислан владыкою, по распоряжению синода.

Николка недоверчиво и с каким-то непонятным себе страхом смотрел на монаха, а когда тот назвал себя — заговорил быстро, размашисто и уверенно, но и в этой уверенности пробежали неожиданно нотки и голос вздрагивал:

— Значит разрешено старца прославить?! Мы все ждем, братия волнуется, неприятностей столько. Только скорее.

Монах сухими длинными пальцами взял академический значок, пристегнутый сбоку на вороте подрясника, и быстро переложил его за подрясник и одновременно начал говорить и каждое слово его было решительным, не допускающим возражения — повелевающим. Николка сразу почувствовал, что хозяин в пустыни будет не он, а приехавший, и бороться против него он бессилен и слов у него не найдется — ученый монах и жаловаться на него — себя погубить, от синода прислан и епископ ему может быть по уму равный.

— Я прислан приготовить обитель к восприятию старца. Пустынь должна быть строгая. Об этом потом. Я хотел бы с первого же дня ночевать в обители. Мое имущество позднее придет.

Николка засуетился, крикнул бессловесного Костю и приказал приготовить с отцом Паисием для приезжего комнату.

— Мне нужен послушник будет, верующий, молчаливый и если возможно интеллигентный.

Игумен вспомнил про Смолянинова...

— У нас, отец Поликарп, беглый студент в обители в пекарне работает, а других никого — у нас иноки из простого народа больше... Я пошлю за ним!..

— Подождите! Почему беглый? Политический?!

— Из мира бежал от женщины.

— Я должен видеть его, но так, чтобы он не знал, что я хочу его взять в послушники. Понимаете? Он на пекарне у вас,— пусть он хлеба сюда принесет к обеду, я сегодня еще не обедал.

Николка вышел к Косте, велел ему сбегать к Паисию, чтобы тот приготовил ужин монашеский и даже добавил,— смотри, Костя, монашеский, это ученый монах, в обители будет нашей, скажи, тот самый, кого ждали мы из синода, прислан,— потом велел забежать в пекарню и сказать отцу пекарю, чтобы хлеба прислал к столу,— да пусть пошлет Бориса — того, студента беглого, скажи, что игумен приказал студента,— Костя молча поклонился Гервасию и быстро побежал к трапезной. По дороге встретил его Аккиндин, замахал рукою. Костя не остановился, лавочник пошел вслед и столкнулся с ним, когда послушник выходил из трапезной.

— Кто приехал к отцу игумену? Черный такой, высокий иеромонах?

Костя замотал головою и хотел пройти, Аккиндин стал в дверях и не хотел выпускать, повторяя вопрос. Послушник рванулся вперед и, пробегая мимо лавочника, шепотом, зажмуря глаза, точно он боялся, что все услышат или увидят, что он не выдержал, и ответил отцу Аккиндину, на ходу бросив:

— Поликарп, из синода.

И пока Паисий готовил монашеский обед приехавшему, по всем углам, по всем келиям было известно, кто приехал,— Аккиндин сказал, что Костя игуменский на себя не похож — трясся весь и должно быть теперь иные времена настанут, никто только не знал, какие. И братия присмирела, даже кудреватые послушники не пошли в лесу погулять с дачницами — рясофорные не пустили. И шепотом в скиту говорил Досифей Памвле, что теперь несдобровать Николке, новый и игуменом будет в пустыни — обязательно стихнет Предтечин.

Черный монах больше слушал Гервасия, чем говорил, только лоб у него сдвигался на глаза, и они становились молчаливыми и суровыми.

— Старец у нас чудеса творит, отец Поликарп, великие чудеса,— явленную икону Симеона обрели чудесно в поле,— поставлена братией в новом соборе на поклонение.

— Икона старца на поклонение?! Но старец еще не сопричислен к лику праведников...

— Но чудо великое,— неверный уверовал, православие принял — корчмарь, жид,— старец чудо сотворил над ним.

С первого же момента появления Николке больше всего хотелось рассказать Поликарпу о чудесах старца и о появлении иконы его. Монах устался в ковер, не перебивал игумена, изредка вставляя вопросы, и, когда ему стало ясно, что икону, вероятно, поставил еврей ради того, чтобы не идти по миру, продолжал слушать рассказ Гервасия более спокойно, только глаза стали холоднее. Когда Николка сказал, что он хочет, чтобы не только молодой корчмарь христианином был, но и вся семья приняла православие, Поликарп перебил его:

— Насиловать никого нельзя!

Потом, помолчав, так же коротко сказал, поднимаясь с кресла:

— Явленную икону надо убрать из собора, перенести на место успокоения старца и поставить, чтоб незаметна была.

Николка испуганно взглянул на монаха и испуганно начал убеждать его, что перенесение иконы, сейчас же, через несколько дней после ее появления, вызовет ропот и недовольство у братии, а также уменьшится и доход обители, а теперь после ее обретения стали еще больше богомольцы стекаться.

Поликарп тем же спокойным голосом повторил:

— Икону надо убрать, старец еще не святой.

Несколько раз прошелся по горнице, остановился у часов и в такт маятнику начал говорить размерно и спокойно:

— Я имею указания свыше, отец игумен, им вы должны подчиниться, а братия беспрекословно исполнить. Я знаю, что делаю, — иначе быть не может. А доходы обители вашей не нужны — потом сразу покроете, когда мощи открыты будут.

Николка взволнованно потерянным голосом повторял:

— Иноки возропщут, отец Поликарп,— возропщут...

— Иноки должны быть в повиновении у игумена, слово ваше — закон для братии.

Пропела за дверью молитва и, держа в полотенце хлеб, вошел послушник,— худой, изможденный, кожа обтянула лицо и руки и только глаза от худобы были большие, прозрачные. Вошел, поклонился, увидел Поликарпа, монаха черного, навстречу ему блеснул взгляд пронизывающий, и Борис еще раз поклонился приехавшему, не зная, что делать с хлебом. Поликарп подошел к нему, взял хлеб и благословил, отпуская его. И когда Смолянинов вышел из приемной, приехавший сказал игумену:

— Истинный инок, просветленный духом.

Имущество Поликарпа привезли на двух возах; освободили нижний этаж каменного корпуса рядом с игуменским — узкий высокий дом, строенный по-старинному — толстые стены, некрашенные тяжелые двери дубовые, обитые войлоком и глухие комнаты с низкими сводами, одна только — большая, четырехугольником с прямыми стенами и с большим двухрамным окном. Ящики с трудом втягивали трое послушников, потом расставили два книжные шкафа, письменный стол, внесли железную кровать и тюки. И сейчас же Поликарп попросил Гервасия послать ему послушника Бориса.

— Иди, тебя новый иеромонах берет в послушники,— тихоня!

Вещей у Бориса не было — чемодан, привезенный из Петербурга, был уже продранный и помятый, а в нем кроме белья — ничего. Обрадовался и испугался — не знал, как служить рясофорному. Оставил в сенях чемодан и вошел в келью, принял благословение и стал у двери.

— Хочешь мне помогать? Оставайся, твоя — боковая комната. А спать на чем будешь?

— На войлоке...

— Скажи отцу игумену, чтоб кровать для тебя дали.

Николка каждый день ожидал, что Поликарп придет и будет говорить, что теперь надо делать, как приготовляться к мощам, или начнет расспрашивать о монахах, но каждый день Поликарп уходил с утра в лес и любопытные даже видели, что в руках у него была книга. Монахи сперва боялись его, а потом — вылезли из келий, а послушники и рясофорные молодые снова понесли в гостиницы богомольцам ложки, а по вечерам бегали к дачам и лазали через ограду. Черный монах — высокий, худой, опустив голову, будто не видя ничего, ходил по лесу, доходил до малинника, слышал, как бабы звали его к себе, молча повертывал обратно, уходил в противоположный конец монастырского леса, садился на берегу озера, в лесной глубине,— казалось, что он даже не смотрит на

катающихся на лодке монахов с дачницами, но все видел и слышал, черные глаза светились мраком. Вместе с Борисом разбил ящики и сам,— Бориса отправил на станцию опустить письма в почтовый поезд,— ставил книги в шкафы,— полки были глубокие и книги становились в три рада — вглубь светские классики и журналы, во второй ряд философские, а в передний сочинения отцов церкви и когда Борис возвратился — комната приняла вид спокойствия и суровости: корешки с золотым тиснением, письменный стол — несколько книг, чернильница и бумага, на полу темный ковер — глухой и мягкий, пустые стены, в углу большая икона Спасителя — моление о чаше и на тумбочке красный лампад; на стенах пусто, над кроватью черные карманные часы и на окнах темные шторы. В высокой комнате большой, черный и вечером вместо лампы колеблющаяся свеча красноватым пламенем.

По вечерам, когда Авраамий замыкал святые ворота, возвращался Поликарп в келию, Борис подавал чай в стакане — густой, черный, и уходил в боковую комнату — пустую, холодную и тоскливую. Черный монах заглянул и в нее.

— Сделай из ящиков стол себе, попроси табурет и лампаду повесь — в темноте молитва нерадостна — не успокоит душу.

В келье у Поликарпа Борис успокоился, тишина не пришла, но думать мог часами, опустившись на колена перед иконою. Не молился, а думал, старался осознать что-то, вспомнить и не мог — не было мыслей. Задумывался и неожиданно набегала дремота, ронял голову, вздрагивал и снова силился осмыслить себя. В тишине слышал, как звенел замок в книжном шкафу, открывалась дверь, а потом двигался высокий стул с плоским сиденьем и высокой прямой спинкой, и надолго наступало молчание и тишина. Борис ложился одновременно с Поликарпом, когда слышал, как он отодвигал стул и шел к постели. Прислушивался, молится он или нет, и, не дождавшись, засыпал тяжелым томительным сном, утром вскакивал, боясь не проспал ли, бежал к колодцу с ведром и приготавливал умываться в прихожей, потом раздувал самовар и ждал, когда спокойный голос спросит его:

— Встал уже?

— Я рано встаю, всегда рано.

— Чаю давай.

Приносил чай и две просфоры свежих, наливал себе и, кусая сахар, пил вприкуску с ржаным хлебом.

Через две недели призвал Поликарп игумена и, не глядя на него, сказал:

— Иноки должны быть дома после заката солнца и прошу запретить ходить в гостиницы к приезжающим, да чтоб послушники не гуляли с дачницами до полуночи и не лазили через ограду,— должно быть исполнено сегодня же! Там, где пустынь и где основатель ее схимонах — должна быть строгость. Природу созерцать в уединении должны, да прикажите прочистить лес, а главное малинник вырубить...

Подглядывать и подслушивать за монахами не посылал Поликарп никого — всюду сам и всегда неожиданно появлялся, а если замечал кого, подходил, отзывал, узнавал имя и передавал Гервасию. Игумен вызывал непокорного и налагал епитимию. Медленно нарастало неудовольствие и черным монахом и Николкою,— шептались по вечерам в келиях:

— Как сам гулял — ему ничего, и монашку завел, а теперь шагу ступить нельзя, с живым человеком слова не смей сказать.

— Это черный все,— Поликарп.

— И на него можно жаловаться.

— Ну, на него, отец, не пожалуешься,— не даром академию кончил — уставы знает не хуже начетчика.

Замолкли в лесу песни послушников, дачники заскучали без них, купчихи досадовали — виделись редко, тайком, а потом, когда одному монаху наложена была епитимия,— сорок дней поста и молитвы и по сто поклонов в день — тайные встречи окончились. Новому гостинику, отцу Мисаилу, принявшему рясофор, приказано было строго следить, чтобы приезжие больше трех дней в гостинице не засиживались, потому что в обители люди молиться должны, а не разгуливать по лесам, только говельщикам разрешалось оставаться неделю. К каждому поезду с линейкой должен был ездить помощник гостиника, встречать приезжающих, рассаживать в линейки, заранее отбирая публику, кого в новую, кого в старую, но так, чтобы никому незаметно было. Гостиницу запирали в девять и никого не впускали; если кто запоздает с прогулки, спрашивали в каком номере поселился, и на следующий день входил Мисаил.

— У нас нельзя свои порядки вводить, не нравится — можете уезжать, а гулять попоздней — в городах есть сады на это... Отец игумен велел сказать, что не благословляет больше в обители оставаться.

Монахи, как сонные мухи, бродили в лесу одиночками — разрешалось ягоду собирать, грибы и наедине быть с природою. Молодые не выходили из келий — в лесу делать нечего стало, старики бродили с кошелками. Полпенским бабам и девкам запрещено было ходить в монастырский лес по ягоды и продавать их приезжим около гостиницы.

Поликарп сказал игумену:

— Женщина — соблазн иноку, нужно от соблазна спасти,— и запретил разговаривать даже с приезжими, избегать соблазняющих встреч.

Бабы стали ягоды выносить на станцию к проходящим поездам, через казенный лес.

Богомольцев из простого народа заставляли работать:

— Потрудишься господу,— душу и тело очисти — молитвою и трудами.

Говельщики и говельщицы косили луга, работали на огороде, мыли и чистили людские бараки, подметали двор. И с каждым днем из монастырской трапезной меньше и меньше приносили в бадьях на обед щей и каши, квас разбавляли водой и не звенел в гостинице медный корец квасной,— выдавалась только к обеду, а днем квасные бадьи пустовали. Богомольцы недовольные разъезжались раньше трех дней и говельщиков почти не было. Братия роптала, но знала, что жаловаться теперь некому. В скитском храме служили каждый день среднюю и все, на кого наложена была епитимья, должны были жить в скиту безвыходно, а женщинам в скит входить воспретили.

Осенью Поликарп начал и в келии заходить, беседовать, каждого о прошлом расспрашивал, а вечером в своей келье, чтоб не забыть — записывал и через месяц знал всех по имени.

Когда в скиту зашел к Досифею — старик не вытерпел, зашамкал про Николку, думая, что Поликарп донесет на него куда нужно и Гервасия расстригут и сошлют в Соловки на покаяние до самой смерти.

— Игумен наш,— шами его выбирали,— шами,— обитель от грабителей шишилистов шпаш, шпаш обитель, шами выбрали, на швою голову,— ох, ишкусение — игумен братию ишкусал и братия погрешала ш приезжими, шогрешала братия по игумену... Женщина шоблажнила его, игумена шоблажнила... На хуторе она у него, на хуторе, коровницею и ребенок у ней от игумена... Братия по игумену шогрешала — ишкусалашь приезжими... Примеру иноку не было,— ешли игумен шам, то што ж иноки?!

У Поликарпа сдвинулся лоб, нахмурился, глаза мраком покрылись, встал и сразу обрезал старого горбуна:

— Старцу вразумить надо было инок, искушаемого грехом и плотью, а не доносить на него — он игумен в пустыни, сами выбрали...

Досифей растерянно замигал глазками вслед ушедшему Поликарпу.

Через несколько дней у себя в келии, выслав послушника Бориса, сказал игумену, прямо и строго смотря ему в глаза:

— Мне известно, что у вас есть ребенок и женщина,— вы с нею живете?

Николка сказал правду, сказал и то, что он раскаялся, почувствовав свой грех в рождении неповинного, добавив, что теперь он не живет и на хуторе никогда не бывает.

— Соблазнился я красотой плотскою и принял муку свою,— даже искренняя нотка прозвучала в голосе и, вспомнив, что Аришу могут выселить неизвестно куда и деньги его пропадут,— в этот момент только о своей судьбе думал и о деньгах, а выходило искренне, казалось, что жалеет Арншу,— с ребенком она, безродная — погибнут они — да будет милосердие ваше над ними...

Поликарп прошелся по комнате и, остановившись у лампы, стал поправлять поплавков, говорил Гервасию глухим голосом:

— Я, отец игумен, человек и знаю, что и иноки согрешают, ваше спасение — в покаянии. Я не сужу, и старцу сказал должное. Совесть над нами судья. Неповинные жизни губить нельзя. Пусть трудится, а вы...

Хотел сказать, чтобы больше не ходил на хутор, чтобы был примером для братии, но закончил неожиданно и для Николки и для себя:

— Скажите ей, что это ее сирота, племянник,— на воспитание взят.

Потом сейчас же начал говорить о пустыни и о хозяйстве и вернулся к столу.

Весною в гостиницу и в людские не стали пускать задаром, вывесили цены при входе в старой и новой гостинице, а с деревенских богомольцев брали пятак за ночлег и за обед столько же. За каждую услугу — обед, самовар, свеча,— по таксе; завели белье деревенского полотна — за смену положенное по табличке. Дачникам отказали — и опустел монастырь. В этот год еще по старой

памяти приезжали в гостиницы богомольцы, приходили крестьяне, но летом коридорные и послушники слонялись без дела в пустых гостиницах, не звенел непрерывно в самоварной звонок и не кипели по утрам самовары. Гостиник Мисаил от скуки ездил на станцию сам, возвращался без богомольцев и рано с вечера ложился спать.

Зато из монахов же на гостинице был повар, придумавший, по приказанию игумена, особенную уху, какой ни в одном еще монастыре не умели варить, и все монахи говорили об этой ухе:

— В Калужской пустыни щи варят, а такой ухи ни в одной обители нет!..

— В Задонской славятся караси, а ухи такой и во сне не видели.

За обед поварской — плата, как и в городских гостиницах, а за уху особенную — полтинник.

К ухе прибавился квас,— варили его тоже особенно: густой, на хмелю, из муки: пшеничной, ячменной, ржаной, с солодом и душистой мятой, заправленный коринкою, изюмом и медом — бутылка, пятнадцать копеек.

— В Сергиевской лавре хлеб славится, а такого квасу никто и в России-то варить не умеет, только у нас отец Фармуфий знает секрет его,— с Афона привез — особенный квас, целебный.

И медленным ручейком потекла слава пустыни Бело-Бережской — и квас и уха и старец творит чудеса. О чудесах же сказано было молчать,— Гервасий передал братии со слов Поликарпа:

— Дабы не уменьшить славы и чудес Симеона старца в день открытия мощей преподобного, лучше, братия, теперь помолчать о них.

Весною же, когда уже папоротник развернул над землею широкие лапы и зацветали монастырские луга гвоздиками и ромашками — Поликарп призвал к себе в келию старца Акакия.

— Мы не можем в пустыни иметь старцев,— основатель ее был схимонахом.

Не досказал, остановился, взглянул на Акакия, старец молчал, спокойно смотря в глаза Поликарпу,— ученый монах нахмурился и dokonчил:

— Оптиная пустынь старцами по всей России прославлена, если хотите нести свой подвиг — переведитесь в нее, я помогу вам.

Акакий поник головой и, смотря в пол, сказал вполголоса:

— Я здесь давно,— полюбил обитель и братию — мне уходить некуда — я здесь помереть хочу.

Поликарп взглянул на Акакия и медленно, слово за словом, настойчиво начал:

— Наш старец, Белобережский пустынник, Симеон, основатель обители сей, претерпев и найдя правду, принял перед кончиною своей схиму — не меньший совершил подвиг, чем подвиг старчества, и прославил свою обитель... И вам подвиг схимника не меньший, чем подвиг старца или затворника,— во имя его и во славу его надлежит принять схиму.

Акакий еще ниже опустил голову, так что его борода полотенчиком почти касалась ковра, и он еще тише ответил Поликарпу:

— Схима — страшный обет, великий,— а я и в старости недостоин принять ее, я грешный человек, грехом немощен — не могу на себя схиму принять. Жизнь созерцать — радостно, я люблю ее — утешаюсь в лесу всякой тварью живой, и согрешаю изобилием плодов земных — медом, ягодою, грибом, и радуюсь славословием птиц лесных...

Поликарп еще медленней и еще настойчивей повторил, перейдя на ты:

— Во имя прославления схимонаха Симеона и обители нашей прими схиму... Облик благообразный у тебя, старец, облик схимника...

Акакий не возражал на слова Поликарпа, но продолжал недоконченное:

— ...Заживо не могу себя погребсти, на это сил у меня не хватит... Недостоин я этого подвига... Подвиг смерти налагает молчание...

Поликарп встал, сдвинул лоб и бесстрастным, стальным голосом сказал Акакию, сверкая глазами:

— Именем схимонаха Симеона тебя заклинаю принять схиму!

За Поликарпом встал и Акакий и, услышав эти слова, побледнел — лицо восковым стало, прозрачным, только глаза сделались на один миг яркими и непроницаемыми — и он, с трудом опустившись на колени, поклонился Поликарпу, прошептав еле слышно:

— Да будет по слову твоему,— аминь!

Поликарп поднял старца с колен, поцеловал его и проводил до скита, говоря дорогою:

— Возлюбившему жизнь смирением — простится многое... Все простится, и схима не наложит печали смертной.

Акакий не ответил ему ни на одно слово, у келии своей принял благословение и молча ушел, неслышно закрыв за собою дверь.

Васька встретил Акакия радостно и начал говорить, старец прервал его и тихо сказал:

— Молчи, Васенька, молчи, милый!

V

В боковой комнате до последнего слова были слышны слова Акакия и Поликарпа, Борис прислушивался к ним и не мог понять, чего хотел академик от старца, и когда Поликарп возвысил голос, заклиная Акакия, повелеваяще и настойчиво,— от испуга затаил дыхание. Бесшумно закрыл за ушедшими дверь, вошел к Поликарпу в комнату заправить лампад и, взглянув на книжные шкафы — золоченые корешки смутили, подумал про наставника своего, что он сегодня что-то сказал старцу страшное и непонятное, страшное для его веры.

Поликарп вернулся спокойный, увидел Бориса у шкафа...

— Если хочешь читать — бери, праздное одиночество растлевает душу и разум.

Потом взглянул на послушника, заметил смятенный, испуганный взгляд его, избегавший встречаться с его глазами, понял растерянность его и сказал:

— Что с тобою?.. Слышал мой разговор с Акакием?! Не можешь понять?

Борис опустил голову.

Поликарп подошел к Борису, положил ему на плечо руку, и точно груз легла она на Бориса, он весь как-то поник, поблек и показался себе ничтожным, ненужным, маленьким, а голос наставника зазвучал громче, уверенней:

— Если ты любишь жизнь, уходи из города мертвых, иди в жизнь! Почему ты здесь? Зачем ты пришел сюда?! Спасти себя от соблазна?! Но если ты не видишь его, как же ты можешь спастись! Не соблазняемый не спасется! Не мог же ты устоять, когда был в гостинице... Правду скажи,— не мог!

Черные глаза касались души испытующе,— пересилив себя, почувствовал, как горячо облилось сердце кровью, ответил вполголоса:

— Мне она говорила, что я погибаю здесь,— хотела увести меня из обители, испугала меня слезами — утешить хотел, помочь...

— И не смог устоять перед жизнью,— не вкусил от нее, не мог вместить невместимого...

— Нет, я устоял,— это принудить хотели, я вырывался и устоял, меня не соблазнит жизнь, я одного человека любил — до смерти.

С трудом выдавливая слова, рассказал об умершей, о том, что ждал ее, заболел ожиданием и был обманут — глаза покраснели, влажными стали, от волнения голос вздрагивал, прерывался, а когда не хватило сил говорить, Поликарп прервал эту тяжесть и громко,— голос его зазвенел, черные глаза острием пронизывали.

— Убить в себе жизнь нельзя. Жизнь мистерия, а не мистика. Сказано, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты хочешь в живом мертвеца видеть, в городе мертвых — умереть заживо,— хочешь и не можешь, потому что ты жив, потому что душа не умрет в тебе, а ты — душу насилуешь.

Послушник удивленно смотрел на монаха и не мог понять, боялся подумать, что он, сам монах, отказавшийся от жизни, говорит о ней и называет монастырь городом мертвых и мертвецов. Удивленное смущение Поликарп уловил и продолжал говорить:

— Я тоже в городе мертвых, но смерть только там, где тление, а если дышит человек, чувствует, мыслит — жизнь. Нужно и среди живых мертвецов творить жизнь, чтобы и это кладбище принесло плод свой...

Если в тебе ничего нет, чем ты будешь жить после? Жизнь — материя. Жизнь излучает — запахи, звуки, свет. Идеи излучаются так же, как и материя. А что твое существо излучит — пустоту и мрак! И чем ты будешь жить потом, когда невесомое отделится от тебя, чтобы жить в вечной жизни?! Оно будет в пустоте и мраке. Жизнь будущего и есть жизнь невесомого, освобожденная от физического, обостренная и напряженная, и чем ты больше пережил здесь, тем ярче она вспыхнет осознанная и преломленная в сознании невесомого, и вся твоя жизнь, как на экране, снова перед тобою пройдет, пока не завершится твой круг. Перед тобою будет — пустота и мрак, может быть в этом самое невообразимое мучение, и легче пережить добро и зло, падение и возрождение, но не пустоту и мрак. От жизни нельзя уйти, и если ты здесь не создашь ее для себя реально и, отрекшись от физической жизни, не создашь духовной, то чем ты будешь жить там? Кто не со мною, тот против меня! Против жизни! Слепые вожди слепых! И каждый из нас пришел для жизни. Если же ты не принимаешь ее физически, прими духовно и живи на земле ради грядущего царствования.

Потом Поликарп успокоился, достал ключи, подал Борису:

— Бери и читай, наполняй жизнь!

В боковой комнате настало спокойствие, только шелест листов прерывал тишину. Без Поликарпа брал книги, читал подряд и, вынимая из первого ряда, видел надписи во втором и был поражен

третьим рядом, где нашел неожиданное. Поликарп, возвращаясь в келию, заглядывал в шкаф и видел, что послушник берет книги из третьего ряда,— по лицу пробежала улыбка.

До Поликарпа во время службы весною и летом в монастырском соборе молились только старцы или рясофорные, а теперь церковь была полна монахами. Появилось три схимника, не выходивших из храма во время дневной службы. Аккиндину было приказано написать синодик о упокоении всех, кто был записан на поминание в монастырских книгах, написать разборчиво, чтобы схимникам было легко читать. И целые дни у правой колонны у аналая стоял схимник, не поднимая головы от псалтиря, читая его и днем и вечером и во время службы полупшепотом, отрываясь после каждого псалма к синодику мертвых.

Богомольцы с трепетом смотрели на схимников в черных остроконечных шапочках с нашитыми из белого полотна костями и черепом и боялись к ним подходить, когда они возвращались в скит. Один все время стоял в храме и читал, пока его не сменит другой. От неподвижности уставали ноги и, крестясь, старик непроизвольно покачивался, отдыхал только кладя земные поклоны.

У могилы основателя пустыни шли непрерывные панихиды с утра до вечера и мантийные старики читали псалтирь. В темном подвальном храме теплились лампы, и послушник, постоянно стоявший у кануна, поправлял свечи, лампы, разводил кадило и вместе с двумя другими тянул утомленным голосом,— вечная память... Один раз в неделю в этом подвальном приделе к старому собору служили обедню, а после нее — торжественную панихиду. С утра в обеденный день садился у входа, в притворе монах и надписывал гусиным пером дубовыми чернилами просфоры богомольцам о здравии и упокоении, так же как и в новом соборе — у задней стены сзади свечной конторки.

Осенью и зимой, когда не было богомольцев, панихиды служились только после обедни и торжественная, соборне, после недельной обедни в приделе старца.

Монастырская жизнь растворилась в кельи, куда мирянам проникать было трудно и откуда не бросалась она в глаза каждому.

В начале зимы Поликарп уехал к епископу и не жил в монастыре до весны, поручив Гервасию строго следить за порядками и ослушников наказывать своею властью, налагая епитимию со всею строгостью.



Аришина жизнь успокоилась. Вечером, тайно, на одну минуту, раза два забегал к ней Николка — обрадовалась ему, встретила ласково и не говорила, что он ее погубил.

Уходя, спросил ее:

— А деньги у тебя целы? Хорошо спрятала?

— Куда же мне девать их,— для него берегу и сама для него живу.

— Смотри, береги их,— там тысячи!..

И постепенно в строгой обители великим постом начали появляться говельщики, разнося о строгости игумена и мантийных, о бесконечных уставных службах. Монахи, после повести, выползали из келий и черною полосой становились у стен; звонким голосом молодой канонарх читал ирмосы, и поочередно оба клира ему отвечали протяжным пением, и, вырвавшись из храма, монахи отлеживались, а вечером после трапезы шли к приятелям,— по-прежнему начали проносить водку, но так, что никому из богомольцев и в голову не могло прийти, что в строгой обители грех живет, а у иноков под глазами круги от молитвы полуночной. Недовольные глухо роптали, про себя, не доверяя и другу близкому, потому что друзья — наушники, с заднего крыльца заходили к Гервасию и доносили ему, что тот-то и тот-то недоволен.

Все ожидали возвращения Поликарпа, говорили, что он вовсе и не к епископу Иоасафу поехал, а прямо в Питер в синод, а некоторые уверяли, что и не в синод, а прямо к царю на доклад вызван, после этого и ожидать нужно прославления старца — не иначе как за этим и вызван ученый монах.

Поликарп неожиданно возвратился, все стали ждать, что скажет, но он заперся в келии и несколько дней не показывался.

За обедом Борис ходил на трапезную и для Поликарпа и для себя; по возвращении академика Паисий начал расспрашивать послушника, — сам игумен ему ничего не мог сказать, и его научил расспросить студента, задобрить его, подкормить.

— Ну, да ты сам знаешь, отец Паисий, тебе виднее... Самому спросить,— боюсь я его, он никогда ничего со мной не говорит, только приказывает.

Паисий сам отпускал обед Борису не в очередь, боялся Поликарпа и спешил поскорее налить горячее и до прихода его никому не давал обеда, говоря, что не был еще Борис, послушник академика. И в

бадейку послушника старался погуще налить, вылавливая белые куски рыбные, а кашу маслил жирно, помня, что Гervasий ему велел задобрить и подкормить. Ласково провожал Бориса до крыльца и, простодушно улыбаясь в бороду, справлялся о здоровье академика.

— Долго он, долго не был в пустыни, ну да у него... дела... обитель готовит, теперь скоро должно быть... теперь скоро...

Борис уходил молча, а Паисий, встречая Николку, шептал ему перед трапезой, что у послушника ничего не выпытаешь...

Николка махал рукою.

— Значит знает, только не велено говорить.

Через несколько дней вызвал Гervasия узнать, кто не был послушным, нарушил монастырский устав.

— Всех провинившихся нужно будет переводить в иные обители, отец игумен, обитель наша в скором времени будет штатною и слишком много иноков не должно быть,— только достойнейшие...

Неугодных, недовольных, сварливых, кто сгоряча осуждал Гervasия или Поликарпа — в соседние монастыри перевели втихомолку, особенно послушников. С котомкою, с узлом уходили, озираясь на пустынь зло — с насиженных мест, из келий молча на станцию шли, оставшиеся боялись встречаться друг с другом, чтобы не проговориться случайно, не сболтнуть лишнего и друг на друга смотрели волками.

В конце лета начали белить колокольню, расписывать трапезную, красить церковные крыши, и братия, работая на лесах, шепталась:

— Теперь скоро, значит,— велел готовиться...

— Хоть бы сподобил господь,— пора уж.

Поликарп осматривал монастырь с Гervasием, игумен боялся спросить о мощах, но видел, внешний вид обители в благолепный вид приводится — недолго ждать. Около старого собора остановился Поликарп и расспросил игумена, когда строен, когда ремонт делали, и, вглядываясь в угол, под которым в подвальном приделе покоился Симеон, с неожиданною тревогою сказал Гervasию, что ему кажется — этот угол у фундамента покосился.

— Не дай бог несчастья,— обвалиться может, тогда... Надо поправить, теперь же.

Николка тоже начал вглядываться в ребро угла и ему тоже показалось, что оно покосилось,— сколько лет прожил в пустыни — не замечал, а в эту минуту смотрел испуганно, хотел отойти, чтоб не рухнуло на него.

— Как же это я не видел?! Под этим углом ведь старец Симеон положен...

— Мне кажется, что стена дала внутри трещину, это опасней всего. Раньше у вас не служили в этом приделе...

— Недавно начали, третий год всего... Ах, беда-то, беда!

— Стены от тепла отошли и дали трещины.

Разбирали угол нанятые каменщики и монахи с послушниками. Временно панихиды и службы у могилы старца прекращены были. Когда разобрали снаружи, появился Поликарп и стал следить за работою.

Тяжелые, большие кирпичи старинной кладки бережно выносили из глубины и складывали рядами, врывались все глубже и, по приказанию Поликарпа, начали идти внутрь. Монахи знали, что в этом месте старец лежит и лопаты осторожно и настойчиво вдавливались уже в песчаный грунт, белые комья выбрасывались облегченно, и на солнце они рассыпались песком. Каждому хотелось найти гроб старца, никто об этом не говорил другому, но у каждого это жило внутри. Поликарп внимательно вглядывался в песок, следя за каждой лопатой. Гервасий стоял рядом и тоже ждал, обращался с опасениями к Поликарпу, тот молчал и вглядывался. И неожиданно, в один и тот же момент ударил к трапезе колокол и чья-то лопата обсыпала край дубового гроба, звякнув слегка железом. Монах испуганно отступил и молча в каком-то ужасе взглянул на Поликарпа — не хватило сил крикнуть, зашелся дух. Поликарп понял без слов, быстро спустился вниз и крикнул:

— Стойте,— гроб старца!

Работы были прекращены, за трапезой были все до последнего и шепотом неслось от одного к другому:

— Гроб старца нашли; все видели,— ученый на него указал; нетленные, гроб нетронут — сколько веков в земле; чудо господне; преподобный старец...

И все с благоговейным ужасом глядели на черного монаха, сидевшего рядом с игуменом. У Николки от радости сияли глаза, прерывался голос — хотелось выбежать из трапезной и на весь монастырь, на весь лес крикнуть,— мощи, нетленные,— может быть, тогда бы и легче стало и голос бы вернулся и дышать бы смог.

В конце трапезы черный монах наклонился к игумену и начал что-то шептать ему — все затаили дыхание и смотрели на них. И сразу у

игумена засияли глаза, нервно звякнул серебряный колокольчик, и все замолкло.

— Братие, сегодня, когда монастырский колокол оповестил к трапезе — увидели мы гроб старца нашего, основателя пустыни, иерохинарха Симеона,— увидали...

Николке казалось, что он кричит об этом, а все вытянули к нему головы, боялись дышать, чтоб не проронить игуменского полушепота.

Потом братия заволновалась, заговорила, спешила окончить обед, наскоро пропела благодарственную молитву; со всех сторон шептали и говорили,— молебен, панихиду служить,— зазвонил раскатисто большой колокол, мерно и гулко — серебряным эхом по лесу, зажглись в новом соборе восковые свечи — красные и зеленые и попарно вышли из алтаря иеромонахи и кольцом окружил их правый и левый клирос.

К могиле старца не подпускали никого, чтобы не осыпать в разобранный угол песок и щебень, но до позднего вечера и монахи и богомольцы заглядывали в темноту и многие говорили, что видят его, видят...

Черный монах послал игумена в город к епископу Иоасафу сказать только несколько слов:

— При исправлении старого храма соборного обнаружен гроб старца.

Не беглым монахом за Феничкой, а игуменом, во втором классе — торжественный и сияющий ехал Николка в город, каждому хотелось сказать свою радость, что он, Предтечин, когда-то исполатчик архиерейского хора, выгнанный духовник — мощи откроет в пустыни, прославит имя свое. И станцию вспомнил и слободу — ехал через нее на извозчике — и даже показалось, что увидал тот домик, где останавливался с Афонькою, но сейчас же вспомнил, что прежде всего надо к ключарю ехать, и заторопил извозчика.

К приезду Николки наспех был снова заделан угол и залит цементом — клали только камень и кирпичи, а наваленный бугром песок и щебень, чтобы не потревожить гроб, тачками развезли послушники на речку.

И снова затеплились в подвальном приделе лампы и свечи, и слышалось непрерывно — вечная память, вечная память!..

Игумен передал от владыки Поликарпу письмо, рассказал о свидании и торжественный ушел в свои покои.

При Поликарпе Николка молчать выучился, недоступным стал, старался подражать ему, и только один бессловесный Костя слышал, как по вечерам игумен шагал и говорил сам с собою.

Осенью, когда заплескались вокруг монастырских стен туманы и в лесу пахло гнилым и острым, было приказано приготовить большую гостиницу к приезду иерархов церкви. Послушники скребли, мыли, расстилали по коридору белые половики, топили печи, на кухне чадило рыбою.

На станцию выехали встречать игумен и Поликарп.

Первым приехал Иоасаф.

Благословляя Николку, сказал:

— Великое счастье выпало на вашу долю, отец Гервасий!

— Неописуемое, владыко...

В соборе, покачиваясь от усталости, в черном, с нашитыми белыми костями и черепами, с длинной бородой полотенчиком, стоял Акакий, не отрываясь от псалтиря и синодика. Голос ослаб и читал он шепотом. Монахи черными тенями стояли у стен, молча, не шевелясь, выходили, на место их появлялись новые. В куполе отзывался шепот Акакия. У царских врат горела тускло лампада и у чудотворной иконы неугасимая и несколько свеч красноватым отблеском сгущали полумрак молчания. Было молчаливое и напряженное ожидание особенного, таинственного и жуткого. Иоасаф взошел, молча поклонился иконе и вышел, за ним большою черною тенью молча шел Поликарп. С утренним и обеденным поездами ожидали еще четырех епископов.

В старом соборе у старца скитские монахи молча разбирали при свечах чугунные плиты. Потом скрипя начало врезываться в сырой песок железо лопат. Входил Поликарп. Песок снимали тонкими пластами — медленно и торжественно. На ночь запирали храм сам Поликарп и, звякая тяжелыми старинными ключами, шел в гостиницу.

Вместе с архиереями приехало три монаха — плотный, широкий с вьющимися волосами молодой архимандрит, академик Смарагд, — с епископом Иринеем и двое: незаметный, худой, молчаливый Корнилий и другой — среднего роста, самый обычный, рыжеватый блондин в золотых очках, с радостною и сияющею улыбкой на лице, появляющейся, когда он начинал говорить мягким, почти беззвучным тенором, живым и ласковым, — казалось, что улыбается и все лицо и сам он готов засмеяться радушно и весело с русским чистосердечием

и искренностью, а если приглядеться к глазам — стальные, почти бесцветные, холодные и молчаливые, и когда начинало улыбаться лицо, глаза останавливались и застывали, веки суживались и улыбались только золотые ободки очков и стекла и все лицо вокруг них,— а глаз вероятно совсем не было, их даже никто не замечал, потому что иеромонах Ксенофонт начинал, вместе с улыбкою, оживленно говорить и двигаться, позволяя даже шутить, но и в шутке было необычайное простодушие и доброта, говорившая каждому,— не могу, господа, без этого, такой уж родился, не переделаете, весь я тут перед вами — русский, душа нараспашку, всего себя перед вами выверну.

Встретив Поликарпа, Ксенофонт необычайно обрадовался, называл его на ты и мирским именем, прибавляя — милый мой друг, милый.

— Вот и опять мы встретились, милый мой друг, опять вместе, мой милый... Хорошо живешь?!

Поликарп отвечал сухо и нехотя, хотя и был ему товарищем по академии.

— Как всегда!

— Неласковый ты, милый мой! Может быть, сердишься?.. Я опять надолго к тебе, как и прошлый раз... Люблю тебя, милый друг...

Братия ждала с напряжением великого часа, думала, что великое таинство лицезреть будут все, но когда настали сумерки, велено было соблюдать спокойствие и тишину, не выходить из келий, дабы не помешать и не тревожить приехавших иерархов.

Поликарп вместе с Гервасием открыл старый собор и остался ждать, академик пошел навстречу приехавшим. За вошедшими скрипя закрылись тяжелые железные двери старинные и в подвальном приделе зажглись тусклые свечи и черные тени зашевелились, сгибаясь и разгибаясь над могилою старца.

По монастырю двигались тоже черные тени у келий и черный морозящий вечер прятал их, следивших издали за великим таинством, — подойти близко боялись, говорили шепотом и не узнавали друг друга, а когда осветились окна в верхнем храме старого собора и там снова заколыхались черные тени — в обители пронесся глубокий и облегченный вздох, точно вздохнули не черные прятавшиеся тени у келий, а келии, монастырские стены и черный лес.

Потом неожиданно заскрипели двери в старом соборе и во мраке зазвенел тенор — высокий, горячий и негодующий:

— Я не могу, не могу признать нетления!

Тихий голос высокого черного монаха шептал, резко, отчетливо:

— Вернитесь, владыко! Не нарушайте гармонии таинства.

И снова вскрикнул высокий тенор:

— Там никаких признаков нетленности — клочок волос и несколько полуистлевших костей!..

— Православная церковь, владыко, не нуждается в доказательствах! Она, владыко, на вере зиждется!

Потом темные фигуры остановились и к ним подошла третья — архимандрит Смарагд.

Поликарп снова сказал:

— Вернитесь, владыко!

И в темноте, вероятно, еще ярче, еще испытующе взглянули глаза Ириней в лицо Поликарпа, сказавшего почти вполголоса:

— А вы, Лазарев, что же — все еще это делаете ради грядущего царствования?

Голос звучал гневно, угрожающе и сурово и сразу всплеснул выкриком:

— Вы что же думаете, что мы слепые вожди слепых?!

И снова зазвенел высоко тенором:

— Довольно того, что снова открыли Анну Кашинскую! Хотите повторить Серафима Саровского?! Нет, здесь я не буду канонизировать, довольно и так позор. Уйдите от меня, идите, творите свое грядущее царствие!

У святых ворот в последний раз Поликарп сказал:

— Вернитесь, владыко!..

Высокий тенор Ириней оборвал и неслышно, одними губами прошептал он:

— Ради грядущего царствия?!

Сухо, спокойно — стальным спокойствием повторил Поликарп те же слова:

— Да, ради грядущего царствования!

Молча вошли в гостиницу. Не простившись, Ириней ушел со Смарагдом в номер, а Поликарп позвал гостиника Мисаила и приказал:

— Завтра к первому поезду преосвященному Иринейю подать лошадей.

У святых ворот молча поклонилась Поликарпу черная монашеская фигура вратаря Авраамия, Поликарп оглянулся и прошел молча.

Заскрипели железные старинные двери в старом соборе и загремел замок.

Братия — негодующая, смятенная, растерянная — разбежалась по келиям, и только Васька, подняв над собою руки с безумными от напряжения и ожидания глазами, бормотал что-то про себя, спрятавшись за колонну игуменских покоев, вглядываясь вдвигающиеся черные тени в освещенных окнах собора.

И вечер, черный как ночь, не шептался уже боязливymi монашескими голосами,— за монастырскою оградой шумел черный, угрюмый лес и шел мелкий, холодный, осенний дождь.

VI

С весны закопошился монастырь к открытию; братия жила ожиданием торжества. Аккиндин не выходил из монастырской лавки, разбирал товар,— наполнял ящики нательными серебряными и медными кружками иконок — на каждой чеканке пустыни и схимника Симеона, развешивал пояски с молитвою, картинки — общий вид обители — наверху два ангела, спускающие на руках икону чудотворную, и старец Симеон; малые клал стопкою на прилавок и выставлял цены. Послушники разливали в пузырьки масло и каждый пузырек — от пяточка до пятиалтынного — со старцем,— рядами на полки ставили.

Братия после отъезда иерархов успокоилась,— после ухода Иринея со Смарагдом монахи снова напозли в темноту и слышали, как выходили потрудясь из собора иерархи — веселые и говорливые, окончив канонизацию старца,— австрийского производства,— а на следующий день игумен возвестил братии, что епископа Иринея наказал господь, ослепил его ум гордынею и покарал его,— сослали на покаяние в монастырь в Сибирь,— и что старец воистину положен и облечен в нетлении в том же гробу, в каком и схоронен был несколько веков тому назад.

После этого братия принялась ложкарить неусыпно с утра до вечера — долбили стамесками и послушники и мантийные, каждому побольше заработать хотелось,— сказано было, что все примут в монастырскую лавку и цена для всех одинакова. Весною начали приносить Аккиндину дюжинами, друг перед другом спешили,— монах привычно осматривал, отбрасывал в корзину, развязывал кожаный мешок, звенел серебром, отсчитывал,— торговаться некогда было — брал подряд.

В лавке пахло ладаном росным, кипарисовым деревом,— нижегородские богомазы целую зиму писали старца,— иконы были разных размеров, слегка продолговатые, весело блестевшие свежим просохшим лаком — деревянные келии, церкви, кругом лес сосновый и посреди старец в схиме с высоким загнутым посохом,— от двадцати копеек. Тут же лежали длинные снизки,— стеклянные,— прозрачные и матовые на конце с крестиком, в виде четок, связками — штука три копейки и пятачок. На широком лотке книжечки — сокращенное житие старца,— копейка, и копеечные иконки бумажные. Историческое описание пустыни и житие преподобного старца с видом обители и изображение Симеона и его чудеса — пятиалтынный, печатана в синодальной типографии, и скромно — гордость лавочника,— составлена иноком Аккиндином; — писал ее вечерами Поликарп по записям Аккиндина и весною обрадовал монаха, когда издание пришло в тюках со станции. Гордость Аккиндина — смирение, стыдливо опускал глаза и говорил:

— Не мудрствовал я,— по преданию.

В длинном ящике на прилавке — бархатные: черные, синие и темно-бордовые, шапочки — в виде скуфейки — класть в раку к мощам и освященные одевать болящим и скудоумным — с нашитым из золотого и серебряного позумента крестиком. И тут же — ладанки сердечком с молитвой зашитой,— талисман от сердечной болезни. Кипарисовые кресты умирающим в руку — резные, афонские и сергиевских кустарей. Сердоликовые и из мастики — красные, желтые, синие крестики, а в середине глазок с видом обители и с Симеоном старцем. Фаянсовые чашки с надписями,— благословение святой пустыни старца Симеона Белобережского,— и с рисунками — те же виды и на каждом монах рясофорный, благословляющий странника,— божественный товар монастырский, каждому на всякую цену.

Монастырская лавка внизу в старом соборе, дверь в дверь с приделом старца, где он покоился,— длинная, по обе стороны прилавки и за ними расторопные послушники. К открытию,— стечение молящихся,— приказано построить лабаз в монастыре у ворот и вынести товар помощнику Аккиндина, самому же быть в главной лавке.

На пустыньке старца у колодца — ковши новые и нестарый журавль, а бадья на веревке, и тут же сидение для монаха с тарелкой и пузырьками с изображением Симеона старца.

В хибарке Акакия белые сосновые брусья и два рубанка — стружку строгать и подавать в оконце верующим,— золотая душистая

стружка, оставшаяся еще от времен построения пустыни Симеоном старцем и около оконца зеленая кружка для меди — по усердию класть каждому,— выдающий поставлен следить, чтоб клали, и понуждать смиренно.

Муравейник кишел с утра до вечера,— спешили, готовились, устанавливали серебряную многопудовую раку для положения старца слева в приделе нового собора,— звенели молотки, шипел паяльник и два слесаря над ракою вделывали стальные жгуты для лампад.

Богомольцы съезжались заранее и неделю ждали открытия,— и дачные постройки и старая гостиница гудели людьми.

Деревенские ночевали в лесу, под открытым небом.

Сперва говорили, что приедет сам царь, но в последнюю неделю стало известно — не царь, а князь, иноки приуныли, но про неизвестного князя молчали.

Съехались иерархи.

Николка метался по монастырю, забежал к Поликарпу узнать — что, как, когда; кого куда посылать...

Гостиник Мисаил с коридорным замаялись, стали пускать в номера сколько войдет,— по таксе.

— Батюшка, я с больным,— не под открытым же небом нам оставаться.

— Ищите сами, может кто в номер пустит к себе.

На кухне дымилa рыбой, чадили непрерывные самовары, наливавшиеся из огромного чана, и поминутно звонил коридорный звонок.

Хлопали квасные бутылки и звенели карманы у послушников от денег, за все брали сейчас же, чтоб в сутолоке потом не забыть.

Шныряли воры и сыщики.

— Батюшки, обокрали!.. К преподобному шла, берегла...

— Смотрела бы! А то уши развесила,— тут всякий народ толкается.

— Да как же, все грех-то тому!..

— Деньги всякого в грех вводят — тут не зевай!

Еще до открытия мощей торговали иконками, ложками, монастырскими видами; городской народ покупал открытки,— монастырская новинка,— вид озера: мельница, монах с удочкой на плотине; на озере старый пенъ и на пне слева — чудо господне — и около пня лодка и монах с удочкой, пустынька старца и опять монах, лесной колодец и общий вид пустыни — и всюду монахи.

Звенела медь, серебро, холщовые мешки с доходом относили Аккиндину в старый собор и в боковой комнате два послушника с почерневшими от серебра и меди руками на широком столе откладывали кучками пяточки, гривенники, пятиалтынные, двугривенные и укладывали в бумагу, подписывая — пять рублей, десять. Таскали в лабаз тюки с товарами.

У просфорни стояла очередь — широким ножом кроил послушник, просфоры выдавал Епафрас,— запасались заранее.

— Сколько тебе?

— Куму, свекору, тетке, отцу с матерью... Пять штук, батюшка!

— Каких тебе?

— Больших, батюшка,— с преподобным старцем.

— Плати двугривенный.

Баба развязывала где-то на груди потайной узелок, доставала деньги, отсчитывала и подавала мелочь.

Епафрас кричал на нее, поправляя очки:

— Да ты поскорей, милая, посмотри сколько еще дожидаются.

Сзади ее торопили:

— Что ты, ай на базаре, прости господи!

В собор шли надписывать,— пять рясофорных монахов сидело у стены за столом и скребли гусиными перьями о здравии и за упокой.

— Кого писать,— говори!

— Пиши, батюшка, за упокой Евстигнея, о здравии Акулины, Ермолая, за упокой Мавру...

— Говори по порядку, кого за упокой?!.

— Евстигнея, батюшка, Евстигнея...

— Ну еще — рабу Акулину, Ермолая...

— Акулину-то с Ермолаем о здравии...

— Ну да все равно, написано,— господь знает кто помер, кто жив, — дальше, тебе кого писать, говори!

Тут же на столе стоял круглый поднос и звенела медь, рыжий, толстый монах ссыпал их в мешок и клал сбоку — поднос снова наполнялся копейками, семитками, пятаками.

Деньги лились потоком, журча своим звоном и веселя иноков.

Николка только теперь понял, что не даром и лес продали, одна неделя все расходы окупит, а сколько этих недель впереди — не счесть,— и на пустыньке и у колодца лесного и на каждом шагу в монастыре слышал он этот звон радостный; весело улыбался, завидев несущего холщовый мешок послушника, и спрашивал:

— Откуда?

— Из гостиницы, отец игумен...

— Много?

— Не считаны, отец игумен...

— Ну, неси.

Потом останавливал снова его:

— Не знаешь, сколько народу?..

— Тысячи, отец игумен,— тысячи!.. Народу не счесть!

Шел и думал, что если от каждого обитель получит гривенник, то миллионы соберутся в монастырской казне.

Верхний этаж новой гостиницы снова наполнился духовенством. С архиереями приехали соборный причт, рипидчики пронесли утварь в старый храм, иподиакона разбирали облачения,— Иоасафу монастырь в подарок новое приготовил — из нового золота с золотыми филигранными бубенчиками-застежками. Послушники чистили мелом дикирии и трикирии и в притворе храма шла суета и спешка.

Богомольцы толпились всюду, стараясь проникнуть, услышать, глазком глянуть и на каждом шагу находили святость и монаха с кружкою — развязывали узелки, доставали гаманы, звеня медяками.

Перед схимниками, проходившими из собора в скит, расступались молча и боязливо. В скиту в старом деревянном храме с каменной подвальной церковью непрерывно шла служба,— гнусавили старики молебны и панихиды и собирали полные тарелки денег.

Из скита — может быть, Досифей шамкал — между иноками пронесся слух, слышали многие, как бормотал Васька:

— Колокол, колокол... упадет на головы нечестивых... когда вынесут из старого собора мощи в новый... Зазвонит и упадет, сорвется и великое множество погибнет молящихся... но будет великое чудо, великое...

И этот слух — шепотком, тайно — проник в кельи, и монахи, проходя мимо колокольни, невольно закидывали головы и смотрели на колокол.

Васенька, в том же старом, заплатанном подряснике, с трясущейся бородкой, бродил по монастырю и тоже останавливался около колокольни, безумными глазами вглядывался вверх и шептал:

— Великий гнев, великий... тысячи погибнут от него, тысячи!..

Богомольцы оборачивались на блаженного и шептали:

— Васенька,— блаженный, юродивый...

— Устами блаженных господь глаголет.

И, не понимая слов его, смотрели на колокольню, собирая вокруг себя любопытных, пока не подходил монах и не уговаривал

разойтись,— оглядывался, искал глазами виновника и не находил,— Васенька исчезал и бормотал уже в другом конце пустыни.

Вечером вызвал к себе Поликарп игумена и спросил:

— Вы слышали?..

— Что, отец иеромонах?

— Кто-то слух распустил про колокол — иноки беспокойны.

Николка побледнел и ответил шепотом:

— Слышал, да, слышал. Мне говорили, что двух каких-то поймала полиция,— говорят, бунтовщики этот слух пустили, чтобы помешать великому торжеству.

Поликарп хмурился, глаза сверкали исподлобья и он говорил, не смотря на Николку:

— Это свои, отец игумен, надо найти,— злобствует кто-то!

Но найти и дознаться кто первый сказал — нельзя было, каждый сваливал на другого, другой на третьего, и откуда исходил этот слух — никто не знал.

Братия целую ночь не спала, ожидая торжества открытия.

Ложась, Поликарп приказал Борису:

— Завтра из келии никуда не отлучайся!

Борис растерянно взглянул на него и молча пошел в свою боковую комнату.

Поликарп выходил из келии редко, но все знал и все видел. Монахи смотрели на него со страхом и при встрече кланялись ниже, чем самому игумену, стараясь не глядеть на него — боялись взгляда жгучего и сурового, каждый знал, что слово его всесильно,— взгляд — всевидящ и Гервасий — ничто.

Стечение народа было великое — и у монастыря, и в лесу, и у старой корчмы еврейской.

Монахи в лес уходили подальше от глаз Поликарпа, в сторону казенного за плотно железной дороги и у выкреста находили водку, а на опушке по вечерам солдатики взвизгивали, заливаясь хохотом, и корчмарь зажил спокойнее и у него от монастырских строгостей доход прибавился — иноки ночевали в лесу и приходили к нему поесть, а после трапезы на другой день возвращались в келии. Про явленную икону старца было велено замолчать, но у лесной дороги появился крест и печатное изображение Симеона — молодой корчмарь приходившим рассказывал о великом чуде, а иноки таинственным шепотом в монастыре подтверждали его, и потянулись богомольцы поклониться святому месту, останавливались у корчмы поесть и воды

выпить,— хозяйство в корчме увеличилось — сбоку две сосновых избы и сарай поставили для проезжих и богомольцев. У молодого — дружба с монахами повелась и через послушника Аккиндина купил он иконок, крестиков, бус и перед открытием торговал бойко.

Около корчмы толпился народ,— в монастыре полно, голову преклонить негде; в избах остановились из города,— переночевав, на заре идти в монастырь на открытие,— без сутолоки, отдохнувши и не торопясь.

К вечеру подъехала барская коляска к корчме, остановились напоить лошадей. Потом, узнав о людском стечении у богомольцев и о том, что в гостинице переполнено,— кучер говорил барыне:

— Тут бы нам ночевать, барыня, а то в монастыре с лошадьми беда будет...

Вера Алексеевна вышла из коляски с тонким худым человеком во фраке.

Барманский брезгливо осмотрел корчму,— выбежал Матвей,— при крещении имя дали такое Мойше, чтоб и старое напоминало всегда, а звать стали — Мотькою.

— Есть у вас где переночевать?!

— Не знаю как услужить — все занято, все занято, вот если не побрезгуете в старом доме, а мы уж со всеми, на улице.

И сейчас добавил, заметив брезгливую улыбку на лице у приехавшего:

— В монастыре же столько народу, столько народу — живому человеку в гостиницу не войти, а у меня чисто, совсем чисто...

Барманский пожал плечами и обратился к Костицыной:

— Что же, Вера Алексеевна,— мы остаемся?!

— Надо же где-нибудь ночевать, Валентин Викторович,— не оставаться же в лесу под открытым небом?!. И потом некуда деть лошадей...

— Что же, я должен повиноваться вам — княжна приказала... Нет, вы подумайте, как поэтично,— в лесу, в старой корчме!.. И с вами... вдвоем!..

Костицына сверкнула глазами, хотела сказать — оставьте,— но Барманский будто не заметил.

Корчмарь внес вечером самовар, две чашки и чайник с синенькими ободками.

Вера Алексеевна вспомнила, что ничего не взяла с собою в надежде, что в монастыре их накормят не хуже прошлого раза, когда гостила там с губернаторской дочерью, и обратилась к корчмарю:

— Нет ли у вас к чаю чего-нибудь,— хлеба?..

— Хлеба,— розанки есть и чайная колбаса...

Барманский что-то хотел спросить,— Костицына не дала ему говорить, обратилась к Матвею:

— Принесите и колбасы и хлеба и, если есть, сахару.

В открытое окно тянуло паленой хвоей,— напротив в лесу у костра сидели богомольцы и ужинали. Звенели комары, налетая на свет, доносилось ржание лошадей и смутный, неясный звук голосов.

Барманский, положив фалды фрака своего на колени, вытянулся под столом, худой, длинный, с тщательно зачесанной плешью, и, наклонив голову, брезгливо, но с досадным аппетитом пил чай с хлебом и с колбасою. Выпил две чашки и снова начал:

— Ну, разве не поэтично, Вера Алексеевна?! А вы сердитесь на меня,— чем же я виноват, что судьба нас привела в эту корчму?! Вы не хотите понять, не верите, что человек до сих пор жаждет любви, поэзии, а вы — оттолкнули меня...

Корчмарь вошел убрать посуду, и Барманский обратился к нему:

— А у вас, вероятно, тоже не хуже монастырских доходы,— а??!

— Какие у нас доходы,— кормимся, едим хлеб и все доходы...

— Ну, а преподобный старец не помогает разве, не творит чудес?..

— Все же святые в монастырях творят чудеса,— нет таких, которые бы чудес не творили...

— С вами тоже старец сотворил чудо.

Корчмарь почувствовал, что приезжий хочет поиздеваться над ним, и отвечал коротко, односложно, нехотя:

— Отчего же ему не творить чудес,— это же ему полагается...

— А вы чудеса видели,— исцеляет он, действительно помогает многим?!

Еврей рассердился, покраснел, не дал гостю окончить и, собирая со стола посуду, сказал медленно, точно с презрением:

— Очень даже помогает Симеон старец,— сам я не видел и не знаю, кто видел, но помогает,— многим — не знаю этого,— а только — многим не многим, но кое-кому очень даже старец помог!..

И вслед ушедшему корчмарю захохотал Барманский.

— Нет, вы слышали, Вера Алексеевна,— мне это очень нравится! По-ра-зительно! Очевидно, старец ему очень помог...

Смеясь, Барманский достал портсигар и хотел закурить. Костицына, кусая губы, слушала разговор с корчмарем, видела, как он волнуется, и когда чиркнула спичка — вздрогнула и сказала:

— Валентин Викторович, идите курить на улицу...

Барманский опять съязвил:

— Турецкий дюбек не нравится — привыкли к английскому.

Костицына переоделась и в капоте легла на постель, возмущенная разговором Барманского с корчмарем и намеком на инженера Дракиина.

Барманский вышел во двор, остановил проходившего еврея и, не сдерживаясь, начал снова:

— А зачем вы переменили религию? И вы верите в Христа?

— Почему же не верить в него, если он мне ничего плохого не сделал, верю же я богу...

— Своему?

— И вашему тоже, вы же взяли его у нас, а говорите, что он ваш был; и пророки, и Моисей, и другое — они наши, а вы же их взяли у нас и верите им,— они все были от нашего бога, а вы и пророков и его взяли себе — и верите, почему же я не могу верить богу, если он наш и ваш?..

С улицы позвали Мотьку приехавшие, он побежал к ним, Барманский докуривал папиросу, загасил окурочек и пошел в корчму, подумав,— этот корчмарь не хуже иезуита польского.

Вошел на цыпочках — носки лакированных полуботинок поскрипывали, Костицына встала...

— Я не сплю, можете не беспокоиться...

Потушили свечу, Вера Алексеевна снова легла, Барманский снял фрак, полуботинки и тоже заскрипел постелью,— полежал, вздохнув раза два...

— Вас, Вера Алексеевна, не беспокоит мое присутствие?

Ответила просто,— думала о Дракине, о Зине, о своей жизни и на минуту ее охватила тревога за свою жизнь — пустынную, выжженную обманом нелюбимому мужу и неприкаянную пустоту лживости.

— Нет, Валентин Викторович, я устала сегодня — хочется отдохнуть...

— Но вы вообразите, мы здесь одни, вдвоем в одной комнате — эта необычайность вас не волнует?.. Влюбленный и отвергнутый поклонник вдвоем с тою женщиной, которой он поклоняется...

— Оставьте, Валентин Викторович,— мы едем на большое торжество — я ни о чем ином и не думаю, мне сейчас все равно, кто бы здесь ни был.

Старалась говорить как можно спокойнее, но слова Барманского испугали, подумала, что такой, как он, способен на все,— может подойти к спящей, поцеловать, или... передернулась от брезгливости, и мысль эта стала навязчивой, решила не спать до утра,— если бы случилось что — против его силы сонная не смогла бы бороться, кричать бы себе не позволила. Барманский долго ворочался, вздыхал и храпел. Взвизгивающий храп раздражал — долгий, закатистый и противный,— встала, открыла окно, но оставаться в комнате не могла — вышла во двор.

Против крыльца в плетеном сарае кто-то говорил, и сквозь щели ворот тускло взблескивал огонек. За сараем неслышно шумели сосны хмурою чернотой ночи, пахло смолой и смолянистой лесной прохладой. Потом, может быть, показалось только, ухнула глухо сова, и снова смолкло, через минуту этот звук повторился острее и сделался непрерывным, плачущим, напряженно прислушалась,— показалось, кто-то беспомощно плачет там, в плетеном сарае. Сжалась вся и пошла к деревянной двери.

На земле, подле толстого стеаринового огарка, сидел в лохмотьях черный мужик, налились кровью глаза под шапкою черных волос, впились в мальчика, привязанного к старому изрубленному пню, другой — урод, с вывихнутой рукой, худой и такой же оборванный нагревал на свечке железный прут и жег им мальчику обнаженный локоть, тог только мычал — рот был заткнут тряпкою и по щекам текли слезы из глаз,— один глаз был, только перед этим, когда в первый раз сова ухнула, вывернут черным нищим, и слезы у мальчика текли из-под красных неморгавших кровавых век, белок выпирал пересеченный кровавыми нитями тонких жилок; от прикосновения раскаленного прута к телу мальчик вздрагивал и мычал, черный мужик бил его по затылку, коротко взмахивая ладонью, и удар был сухим, коротким.

— Молчи ты, щенок, задаром, что ли, взяли тебя,— нахлебник нашелся,— а ты в жилы ему вдавливай,— боишься, что ль?!. Подавать будут больше,— молчи, щенок!

Костицына подошла и стала глядеть в щель, сперва ничего не могла понять, но, когда застонал мальчик, сразу увидала его всего и слезящийся, точно кровью, глаз и на маленьком, тонком локте красные пятна ожогов,— потом — черного мужика и худого калеку с железным прутом.

Дикий крик резнул нищих.

— А-ах!..

Грузно упала около ворот скрипнувших.

Черный мужик подбежал, глянул в щель...

— Митька, отвязывай! Поймают!..

Не знала, сколько пролежала одна у плетневого сарая, ничего не помнила — побледневшее небо позолотило стволы сосен — встала, взглянула в открытую дверь сарая и закрыла лицо руками, снова показалось, что кто-то там стонет, и сейчас вспомнила,— облилась потом холодного ужаса и побежала в корчму. Нищие ушли в лес.

Барманский, заложив руки за голову, раскинув длинные ноги, храпел и от храпа вздрагивал и вертел головой — над нею звенели болотные комары.

Села у окна и, не двигаясь, сидела с закрытыми глазами, пока не начали напротив просыпаться богомольцы и не подошел к корчме кучер,— увидел барыню и подошел к ней.

— Надо лошадей напоить, да собираться будем,— народ уж пошел.

Ничего не ответила. Кучер повторил снова,— непонимающим взглядом посмотрела на него и опять ничего не ответила, тот подумал, что не в себе барыня, повернулся и, ухмыляясь, пошел к лошадям.

Комары разбудили Барманского, широко раскрыл глаза, спросонья ничего не видя, провел рукою по накусанному лицу и вскочил с постели, удивленно взглянул на Костицыну.

— Это в окно они налетели.

Вера Алексеевна обернулась, взглянула на него и не ответила.

— У меня все лицо распухло,— какой ужас!

Костицына не пошевелилась.

— Безбожница вы, как я теперь поеду?!

— Поедьте домой, отвезите меня...

Занятый собою, рассматривал себя в кривое зеркало и продолжал:

— Княжна приказала вас привезти и потом князь... свита великого князя, может быть, встречу друзей и, о ужас,— искусанный, вы посмотрите — и руки тоже — волдыри, прямо,— обезображен,— безбожная вы...

Выбежал во двор умыться. Костицына преодолела себя, собрала последние силы, закрыла дверь на крючок и начала одевать белое платье. От падения болела голова, затылок давила двойная боль — ушиба и пережитого ужаса, из глаз не уходил стонущий

мальчик, вспомнился рассказ жены ключаря и ужас еще сильнее ее охватил. С трудом застегивала крючки — ослабевшие руки не находили петель. Причесываясь, увидела себя в зеркало,— кривизна его еще больше искажала измученное, обескровленное лицо с провалившимися глазами. Потом вернулся Барманский...

— Знаете, я все время умывался там у колодца, целые пятнадцать минут, может быть, будет не так заметно.

Ничего ему не ответила,— слова залетали и не доходили до сознания, все время слышался голос черного мужика,— «подавать будут больше».

Далеко загудел колокол лесным серебром и медью — вспыхнула золотом кора сосен и вошел кучер.

— Барыня, ударили уж — давно подано.

Нагоняли богомольцев, нищих, и Вера Алексеевна, думая все время о стонавшем мальчике, все время обертывалась, точно хотела узнать его среди идущих к монастырю на его раскатистый звон.

Целую ночь у монастыря горели костры богомольцев, то вспыхивая, то затухая, и сизый дым полотнищами тянулся к лесной дороге и расползлся в просеки; не смолкал мутный говор; в гостинице вспыхивали окна — перемигиваясь с окнами. От святых ворот и до гостиницы стояли колымаги калек и нищих, и когда начал подыматься туман — и белесая полоса скользнула на востоке первым горячим лучом — потухли костры, заволновалось людское море — в кичках, паневах и сарафанах, в кубовых юбках и красных плахтах, замелькали посконные рубахи, свиты и яркие головные бабьи платки и заголосили нищие и слепцы, выставляя свое убожество,— мычали немые широко открытыми беззубыми ртами, выставляли искалеченные оголенные руки и ноги с красными и синевато-бурыми отеками и ожогами, гнусавили нищие и высывались из колымаг идиоты с дикими и бессмысленными выкриками, к утру пришли из лесу новые — с вывороченными глазами, на костылях, привезли на тачке безногого и поставили, ругаясь матерно из-за места, около святых ворот, где сидели слепцы с гусями и пели гнусаво стихи о грешной душе мужицкой:

— С малешеньку дитя свое проклинывала, во белых во грудях его засыпывала, в утробе младенца запорчивала,— еще душа богу согрешила; мужа с женой я поразваживала, золотые венцы поразлучивала; не по-праведну землю разделявала, я межу через межу перекладывала, с чужой нивы земли укладывала, не по-

праведну покосы разделявала, вешну за вешну позатыркивала, чужую полосу позакашивала,— в этих во грехах богу не каялася...

Заколыхалось море голов мужицких, сердобольные бабы раздавали слепцам баранки о погибшей душе — может, отыщется такая, сама выкликнет.

Заунывно тянули нищие:

— Без-род-но-о-о-му по-дай-те ко-пе-е-е-чку...

— Ка-леке убогому, не-ви-ду-у-ще-му...

— Слепым подайте Христа ради, да не оставит вас господь...

Звенели медяки в протянутые костлявыми руками деревянные чашки, а когда монета падала между двумя нищими, оба сразу кидались к ней, подползая и ругаясь шепотом, отталкивая один другого, пока кто-нибудь не схватит первым.

Потом начали выходить из гостиниц городские — появились монахи и юродивые, и толпа стала гуще и суетливее — хлынула в святые ворота и через конный двор и сзади через те, что у реки, и выехали конные жандармы и казаки.

Из новой гостиницы, не смотря на калек и нищих, прошло духовенство — торжественное и степенное, и когда к станции подошел экстренный царский поезд и по лесу впереди едущего великого князя пронеслись конные — зазвонили колокола у святых ворот, торжественно встретили губернские власти и духовенство и двинулись в старый собор.

Всю дорогу Костицына оглядывалась на богомольцев и нищих — испуганно вглядываясь в мутные лица слепцов и калек, и все время чувствовала, что это ее вина — и слепые и нищие и калеки, и когда подъехала к монастырю и проходила сквозь стонущий ряд с протянутыми руками,— видела только руки, скрюченные пальцы, изломанные, вывихнутые руки, сожженные каленым железом, красные, кровавые, слезящиеся веки и вывернутые, может быть, и проткнутые глаза стариков и детей — шла и бросала серебро, не в чашки, а прямо на землю и видела, как эти руки и тела бросались к блестящим точкам и, толкая друг друга, вырывали у более беспомощных серебро. Боялась взглянуть и увидеть мальчика и черного косматого мужика.

Потом быстро обернулась к Барманскому и, может быть, не ему сказала:

— Господи, и это православная церковь!.. Неужели вы не чувствуете этот ужас!

И, повернув голову, у самого входа в святые ворота, там, где сидели ноющие слепцы, увидела мальчика, слабый, вздрагивающий, плачущий голосок без конца повторял заученное:

— Подайте безродному калеке невидущему.

Сзади него сидел черный мужик и басом гудел вслед за мальчиком.

На один момент ей показалось, что она не выдержит и упадет в обморок; рванула из серебряной сумочки горсть монет, зацепила обручальным кольцом за нее и, не заметив, вместе с золотым ободком бросила деньги.

С другой стороны запела старуха нищая:

— Сохрани тебя царица небесная, преподобный старец...

В монастыре у ворот заметила лабаз с иконками, крестиками, пузырьками, чашками и торгующих монахов — рвавших у баб из рук деньги за людскую святыню — отвернулась и, стараясь отвлечь свой взгляд хоть чем-нибудь, увидела у собора толпу и в ней — узкий коридор из людей с блестящими пуговицами и бляхами. У входа стоял, загораживая руками проход — полицеймейстер; увидев Барманского и Костицыну, он разулыбался и, опустя руки, мигнул околоточному проводить вошедших. В этот момент она увидела высокого, черного монаха, опередившего ее и взглянувшего из-под нависшего лба своими черными, жесткими глазами, и сразу вспомнилось что-то далекое, позабытое, колыхнулось испуганно сердце и забилося тоскою и горечью тяжело и глухо. Вся ощутила, что ее кто-то несет на руках, потом вспомнила вечера, когда смеялась над неуклюжей любовью угрюмого человека, и еще ярче — клобук и опущенные черные глаза, застывшие и суровые — и все это мелькнуло в одно мгновение и пронеслось, — он, Андрей Лазарев, — и сердце еще глуше падало отчаяньем в темноту. Искалеченный мальчик, черный монах, бессонная ночь и стон нищих — стонала душа ее и слабо тело. Вошла в храм, хотела идти за расталкивающим полицейским, но в этот момент — толпа колыхнулась, пронесся шепот, — несут, — и ее отделили от Барманского и околоточного — затерли в бок, давя со всех сторон.

Не было сил двигаться и говорить, чувствовала, что ее несут и несет он, Андрей, из вертепа, — отдалась этому чувству и двигалась куда-то, сама не зная.

Братия не спала почти всю ночь, ожидая торжественного часа, когда понесут мощи основателя пустыни в новый собор. С восходом солнца слились с богомольцами, и шепотом передавали о том, что

когда понесут, когда вынесут только из старого собора — упадет колокол. Тревога росла вместе с приближением этого момента. Васька бродил среди монахов и богомольцев и тихо бормотал о том же, о чем шептались монахи, и начали перешептываться богомольцы, с тревогою поглядывая на колокольню. Потом иноки вошли в храм, за ними хлынули богомольцы и в собор никого не впускали больше, оставив место для великого князя, титулованных гостей и своих и приезжих. Вместе с наступлением великой минуты, когда подымут гроб старца и запоют в первый раз тропарь преподобному,— должно наступить самое страшное — обрушится колокол,— теперь даже уже говорили, за что покарает обитель господень гнев — за блудную жизнь инока, настоятеля обители, игумена и архимандрита Гервасия, одевшего сегодня в первый раз золотую митру с драгоценными камнями, по особой грамоте из синода. Правда, об этом говорили не все, но о том, что случится несчастье великое — знал каждый и ждал гнева господня с трепетом, как неизбежного. И в то же время у каждого было чувство, что должно случиться великое чудо Симеона-старца — колокол будет звонить, но господь покарает великого грешника,— кое-кто из монахов знал, что игумена.

И когда стали выносить мощи и по лестнице медленно заколыхался дубовый, тяжелый гроб, окруженный вычищенными рипидами и свечами иподиаконских дикириев и трикириев и золотом митр, облачения и мундиров, когда первые вышли уже из храма и ударил серебряный звон большого колокола, а за ним на разные голоса подголоски, заливаясь вперебой смехом и радостью,— не выдержал кто-то из иноков давившего целый день напряжения, крикнул, сходя с порожков соборных: — «Звонит, звонит»,— и сейчас же за этим понеслось сперва шепотом, а потом все громче и громче: — «Чудо, великое чудо!» — и волна хлынула увидеть великое чудо Симеона-старца и того, кого покарал господь, навалила на идущих впереди и понесла в своем потоке тех, кто ослабел от духоты и усталости. И в этот же момент Костицына почувствовала, что у ней нет больше сил стоять на ногах — ее выносила куда-то толпа, ноги беспомощно задевают за что-то, спотыкаясь, и когда на лестнице уже, не видя порожков, она оступилась, сердце упало еще сильнее и глуше, и она поняла, в один и тот же момент, что действительно совершилось чудо — она снова нашла Андрея, и что она куда-то падает. В этот же момент она вскрикнула, стоявшие за нею на мгновение отшатнулись и дали упасть ей, а задние, услышав крик, подумали, что совершилось чудо — старец покарал великого грешника, и колокол велегласно звонит,— сдавили передних и

переступали через бьющуюся в белом женщину, окровавленную уже и стонущую.

Толпа схлынула; около полураздавленной женщины собралось несколько монахов, и она, открыв на одну минуту глаза, встретила большие, черные, в смертельной тоске зрачков, холодных, замкнутых и молчаливых,— потом ей стало так хорошо и легко, на одну минуту она почувствовала, что он с нею, и даже промелькнула молнией мысль, что он и теперь спасет ее — второй раз от смерти, а тогда настанет большое счастье и новая жизнь, потом снова наступила бессознательность, и она только чувствовала, что ее кто-то несет. Не было сил открыть глаза и взглянуть, но во всей была уверенность, что это он несет ее на руках к себе.

Черный монах еще больше сдвинул лоб, черные волосы из-под клобука свисли змеями от склонившейся головы, и он стал сутулым, мрачным.

Женщину понесли за трапезу и позади келий внесли к Поликарпу.

Очнулась она на минуту, вечером, когда торжество окончилось, но по-прежнему еще гудел народ в монастырских стенах и стонали нищие. Увидела над собою черные большие глаза, и ей казалось, что крикнула, но Поликарп наклонился над ней еще ниже, чтобы расслышать шепот.

— Спаси меня,— ты можешь, спаси, Андрей!

Потом еще тише и медленней:

— Я всю жизнь искала тебя, ждала,— спаси.

И неслышно почти, одними губами:

— Одного тебя любила — всю жизнь.

Монах закаменел и впился в нее глазами. Ждал, что она еще что-нибудь скажет, и не дождался. Встал, взглянул за стоявшего у двери Бориса и сказал, рванув из нутра, два слова:

— Кончено. Умерла.

О случившемся старались молчать, все знали, что случилось несчастье, кого-то задавили, но кого — не знали, и только, когда она умерла, сообщили княжне Рясной, перенесли в гостиницу и дали телеграмму мужу, провожавшему с губернатором великого князя, и инженеру Дракину.

Утром около гостиницы затарахтел автомобиль, бритый, высокий человек в английском пальто и кепке с каменным застывшим лицом

вынес на руках женщину, бережно положил ее, вскочил к рулю, рывкнул рожком и скрылся за гостиницей, ускоряя ход.

VII

И снова начались монастырские будни — монахи ходили теперь в положенный день к казначею за жалованьем, по установленной очереди в новый собор, к службе, в лавке Аккиндин торговал иконками, бусами, ложками, рассказывая о чудесах старца и всовывая каждому, кому мог, житие старца. Снова появились купчихи, только монахи научились прятать грехи свои, и в келии приводили для духовной беседы и не гнушались молодыми огурчиками, виноградом, дынями, завели себе шелковые рясы, мантии и не выходили в монастырь в скуфейках. Игуменом разрешено даже было, кто по усердию из богомолков пожелает послужить обители, допускать в келии мыть полы, но чтобы иноки не выносили напоказ прегрешения. Следил за всем Поликарп и приятель его, оставшийся в монастыре, Николка блаженствовал, появляясь в митре в сослужении с иеромонахами у мощей старца. Один раз был и на хуторе — навестить Аришу, благословил ее и, будто никогда между ними не было ничего, говорил спокойно и деловито, расспрашивал о хозяйстве и только уходя спросил о деньгах:

— Целы они у тебя? Хорошо спрятаны?.. Смотри, береги!

О ребенке ни слова не спросил, не заметил даже. Арише горько стало, обида серою пеленой легла на глаза, закутав печалью туманную, подумала, — чужой теперь стал и ребенка не приласкал своего, взглянул только, боится за деньги свои, — целый вечер говорила мальчику сказки и думала, — лучше бы взял эти деньга свои, и без них проживу — с ребенком не пропаду, — и не вышла его проводить. Николка возвращался степенно и ходил теперь не в подряснике и скуфейке, а всегда носил мантию и клобук. Зашел на мельницу, деловито осмотрел монастырские сети, заметил, что не починены, и начал выговаривать старому мельнику:

— У тебя, отец Маврикий, непорядки пошли, — ты бы приказал послушникам починить, да просушивали бы на солнце — загниют они у тебя.

В белом мучном подряснике, в скуфейке с подвернутыми в нее волосами, бородатый, сильный и изворотливый, ладивший с полпенскими мужиками и выпивавший с ними по-дружески, монах покосился на игумена и обрезал его, но так, будто кается в своей нерадивости:

— Порядки наши известные, отец игумен,— не доглядеть одному за всеми — намедни целую неделю работали не покладая рук — стало просачивать, загатили заново,— не доглядеть одному за всем, раньше бывало и вы почаще наведывались, с хутора идете бывало,— нет, нет и заглянете.

В монастыре зазвонили к вечерне и Николка заспешил в монастырь.

— Сам знаешь, отец Маврикий, сколько теперь у меня забот, на то ты и поставлен тут,— сам хозяин и сам должен блюсти достояние нашей обители,— теперь другие времена, а не нравится — просись в обитель. Догляди за послушниками, да прикажи им!..

Маврикий поежился и не ответил игумену,— больше двадцати лет он мельницу вел, еще при Савве игумене пришел работать сюда из той же Полпенки, после смерти жены. Маврикий помнил Николку послушником, катающим по озеру дачниц, когда еще первые годы на мельнице был помощником, считал его, как и всех, погубителем и искушителем,— в монастырь он пошел из-за выгоды и добился ее у Николки же молчанием своим, когда у игумена завелась на хуторе монашенка, выгораживая и защищая от монахов, блюдя свою выгоду — не допускал Николку в хозяйство мельничное и теперь в первый раз от него услышал наставление. Хотел и большее сказать, да вспомнил, что теперь он в почете и может в самое неудобное время помешать его ребятам обзаводиться своим хозяйством,— из монастырского лесу рубить избы. Проводил игумена и отплюнулся, крикнув послушникам, чтоб развесили просушить сети.

Когда увозил инженер Костицыну из монастыря, Поликарп не вышел из кельи, заперся и Борису разрешил делать что хочет — два дня не ходил за трапезу, ничего не ел, пока к нему не зашел Ксенофонт,— Борис ему не решился отказать, открывая дверь.

Ксеиофорт вбежал, изумленно посмотрел на товарища, лежавшего на диване с неподвижными черными глазами, ушедшими еще глубже от поста и бессонницы и, всплеснув руками, начал его поднимать:

— Что с тобою случилось?! Что, милый друг?! Видишь, вот и у тебя нервы не выдержали... Нехорошо распускаться,— бери лучше с меня пример — что бы ни было — никогда не унываю. Царствие божие внутри нас, а ты все ждешь его и творишь?! Неужели смерть женщины поколебала тебя?.. Ты ведь сильнее жизни.

И нельзя было понять — смеется Ксенофонт над Поликарпом или это только вечная несходящая улыбка доброты на его лице. Он тоже

запомнил умершую девушкой, приходившую в лавру и спросившую у него о студенте Лазареве,— так хорошо запомнил, что сразу узнал ее, когда Костицыну несли к Поликарпу в келию, но в ту минуту не подошел к нему, а только улыбнулся, а теперь пришел навестить товарища и главное посмотреть, как принял он эту смерть. У него даже шевельнулось где-то, что это он ее и убил, виновником смерти был, поэтому и уколол его, сказав, что сильнее жизни. Но ни одним звуком не выдал себя, что узнал ее, приходившую в лавру к Лазареву. А вопрос — неужели тебя смерть женщины поколебала, тоже звучал уколом товарищу, который в своей замкнутости и одиночестве, с теорией грядущего царствия, казалось, мог устоять перед чем угодно, а, может быть, и до жестокости дойти христианской. Ксенофонт хорошо помнил, когда Поликарп, защищая степень свою, говорил: грядущее царство Христа для верующих, для его учеников и последователей — безмятежная радость добра и непротивления, любовь к ближнему, как к самому себе, но ближний только тот, кто принял учение о грядущем царствии, а все остальные враги его,— плевелы,— которые надо вырвать с корнем и сжечь огнем. И когда Поликарп после получения степени принял монашество и сделался яростным церковником, чуть ли не подвижником и аскетом, как про него говорили, Ксенофонт отказался понимать его и старался только о том, чтобы быть ближе к нему и выяснить для своих особых целей — зачем это делается, что общего между церковным фанатизмом и его трудящим царствием.

Поликарп быстро поднялся, отстранил объятия.

— Смерть всегда налагает свою печать, против нее смертному трудно пройти спокойно... Она всегда заставляет задуматься о своем конце.

— Да, да-а, мне вот некогда о себе подумать... Ты, милый друг, счастливый, у тебя есть время на это, а я...

— Тебе кто-нибудь мешает?

— Ты счастливый, а я должен сочинять проповеди, печататься в церковных журналах, спорить до пены у рта, до потери сознания с сектантами,— тебе хорошо — ты только делаешь, а говорить, писать — страшно ответственно. Ты один раз написал, поразил отцов церкви и приступил к делу, а мне, милый друг, писать, говорить, без конца спорить...

— Я не умею говорить и не люблю. Многословие не есть спасение...

— Знаешь, зачем я пришел к тебе? Хочу в лес и одному неловко идти, пойдем, посмотрим, как они называют это — шапка мономаха,

царственная елка... в каждой обители есть своя красота и святость...
А ты, вероятно, и не был еще...

— Был и все знаю!

— Прости, милый друг, прости, я позабыл, запомнил...

Поликарп вместе с Ксенофонтом прошел через пустыньку старца, где томились богомольцы,— длинная очередь стояла за стружками,— монах выдавал в конце хибарки, а два послушника строгаи их от бруска — потные, красные, отхлебывая холодный квас из стоявшего подле них кувшина.

— Батюшка, а мне-то, мне — сделай милость, дай еще...

— Становись в очередь.

Баба шла и терпеливо ждала, пока длинная вереница не сокращалась и она снова не получала золотое смолистое кольцо стружки.

— Истинно чудо господне — нетленные...

Из-под корней выгребали песок пригоршнями и завязывали в узелки от головной боли, от всякой немочи.

Ксенофонт умилялся вере,— простой, наивной — и говорил Поликарпу:

— Видишь, милый друг, это все ты, все ты,— ради грядущего царствия делаешь, а моя участь — говорить, спорить, доказывать.

Поликарп всю дорогу молчал, иногда бросал односложные фразы и, насупившись, шел к царственной елке,— перед глазами стояла умирающая и шепчущая последние слова о своей любви, и закаменевшее сердце не приняло слов, только душа унеслась к прошлому, к собственной муке. И еще — хорошо запомнился презрительный взгляд приехавшего в автомобиле высокого, сухого человека с бритым лицом, быть может, по-своему, такого же сурового, как и сам Поликарп.

И до осени ходил навещать Поликарпа Ксенофонт — ласковый, многоречивый, только не было в словах его искренности. Ходил по лесу молча — не верил товарищу Поликарп, хранил от всех мечту свою о грядущем царствии, на все вопросы Ксенофонта отвечал,— ты знаешь.

— А может быть, милый друг, мы вдвоем бы искали этот путь грядущего, а ты не веришь мне, думаешь, что я подослан следить за тобою. Ты скажи, самое главное мне скажи, и я уверую. Мне дар слова дан от господа, ты не знаешь, что могли бы мы вдвоем сделать, за нами бы и другие пошли — уверовали...

Ходили всегда к мельнице. Поликарп молча стоял на плотине и подолгу смотрел на отражающиеся сосны и ели, на затоны белых мелей с золотыми бусами кувшинок и постоянно слышал восхищение Ксенофонта и безмолчный голос его со вздохами.

Возвращались к вечеру в монастырь ужинать.

И в этот раз пришли, когда ударили повесть к трапезной.

Около гостиницы суетились деревенские богомолки, плача от какого-то неожиданного и большого горя. Около подъездов стояли линейки, монахи растерянно смотрели на уходивших, игумен что-то говорил гостинику, широко размахивая руками и показывая на прилепленное розовое объявление у дверей гостиницы. Многие бабы плакали, причитая:

— Не увижу я соколика моего ясного, без меня уйдет...

— И как же это, случилось-то как!..

Мужики торопили баб:

— Скорее ты,— потом помолишься, на чугунку-то не поспеешь, гляди народу-то сколько...

Ксенофонт подбежал к игумену и начал читать розовое объявление, с трудом разбирая напечатанное. Потом подбежал к Поликарпу — взволнованный и тоже растерянный.

— Что случилось?

— Мобилизация, милый друг, объявлена, а мы тут сидим, ничего не знаем... я тоже должен ехать, я приписан к полку,— покину тебя, милый друг,— собираться пойду... Но мы встретимся, я найду тебя, обязательно!

Поликарп проводил Ксенофонта до кельи эконома, где тот остановился, и, войдя в келию, сказал Борису:

— Восстанет народ на народ и царство на царство и будут глады и смятения, и во всех народах прежде должно быть проповедано евангелие. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Горе беременным и питающим сосцами в те дни! И если бы господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых он избрал, сократил те дни. И тогда он соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. А что вам говорю всем: бодрствуйте!

Послушник удивленно посмотрел на своего учителя.

— Ты ничего не знаешь?

— Ничего, учитель!

— Объявлена мобилизация и будет война,— всеевропейская.
— Господи!..
— Не плакать, а радоваться должно, ибо приблизится грядущее царствие.

VIII

Послушники, строгавшие золотую стружку, запасные солдаты, ушли на войну; увели с конюшни жеребцов, числившихся в ремонтной комиссии, снова опустел монастырь и приуныли без богомольцев монахи. Одиноко стояла в левом приделе нового собора серебряная рака преподобного старца и глухим шепотом читали схимники бесконечные, заученные наизусть псалмы. Николка ходил опущенный,— мечтал, что монастырские доходы потекут вместе со славою о чудесах и о его игуменстве. Потом приехал исправник и пошел прямо в игуменские покои,— послушники испуганно зашептались, боясь призыва в армию. Костя молча открыл дверь и впустил начальство, остался в прихожей и слышал, как исправник говорил игумену:

— Ничего не могу сделать, отец игумен,— распоряжение губернатора, нельзя же людей оставлять без крова!

— Но ведь это же великий соблазн братии, наш монастырь строгий!..

— Приказано вас уведомить. Я сам небольшое лицо и обязан исполнять распоряжения...

— Но куда же их разместить?

— В дачи, у вас дачи пустуют, а потом в людские бараки... Завтра придет первый поезд, пусть иноки помогут несчастным людям!

— А кто же их кормить будет? У нас монастырь бедный, братия питается скудно...

Исправнику надоело слушать и уговаривать, и он приказал:

— Вышлите линейки на станцию и разместите в дачах,— теперь все подчиняются распоряжениям военных властей и никуда никакие просьбы не могут помочь.

Растерянный Николка прибежал к Поликарпу, рассказал ему...

— Вы говорите беженцы?

— Братии великое искушение... Составьте просьбу в синод, спасите обитель нашу. Объедят они нас, обидят...

— Мы должны подчиниться!..

Рано утром на запасном пути остановился товарный поезд и люди начали выгружать из вагонов корзины, кульки, свертки, оглядываясь на лес и платформу. Поезд ушел, и все остались дожидаться, приставая к станционному монаху, обычно бегавшему около вагонов пассажирских поездов и собиравшему даяние на обитель, позванивая колокольчиком.

Люди сидели на тюках, семьями, развязывали корзинки и ели, запивая водой из чайников; на платформе появились очистки, какие-то бумажки. Мимо проходили воинские поезда, начальник станции метался, выбегая с путевыми и снова исчезал в телеграфной комнате, постукивая аппаратом.

— Вышел воинский номер 269.

С соседней станции снова его вызывал телеграф, и он кричал сторожу:

— С Мылинки на запасный принять эшелоны.

Беженцы толкались по станции, ловили начальника:

— Когда же нас повезут?

— Ничего не знаю. Некогда мне! Не мое дело.

— К кому же нам обратиться, мы уже целую неделю в вагонах, у нас дети.

Белокурая девушка звонким, слегка поющим акцентом голосом спрашивала, кокетливо играя глазами:

— Какой вы невнимательный!.. Скажите, куда нас повезут? Где монастырь этот?

От семафора раздавался свисток, и начальник станции, отчаянно махая руками, бежал на станцию.

Монах испуганно смотрел на приехавших и не знал что делать.

— Отцом игуменом ничего не было сказано... Ничего не знаю.

— Не можем же мы оставаться здесь!

— А монастырь ваш далеко?

Монах мотал головой, широко расставляя руки.

— Далеко, очень далеко... монастырь далеко!

— Мы бы пошли...

— Болота у нас... Утопнете... Не зная дороги, в лесу заблудитесь.

На запасном пути остановился эшелон, солдаты высыпали из вагонов, бежали за кипятком с манерками. Начальник эшелона воинственно-торжественный подходил к начальнику станции,— оба козыряли: один — коротко, по-военному, а другой растопыривая пальцы и смешно выворачивая руку.

Вместе шли на станцию в телеграф, снова стучал аппарат, потом офицер торопливо шел к поезду, махал рукою,— горнист выкрикивал пронзительно на рожке — са-дись! — по всему лесу долго перекидывалось, звеня, эхо, и после свистка паровоза эшелон трогался. Солдаты выглядывали из вагонов на беженцев, кричали ура и начинали петь.

Станционный монах послал в монастырь послушника и ждал, что придет сам игумен и скажет, что монастырь не может принять столько людей.

Послушник прибежал в монастырь запыхавшись.

Вратарь Авраамий остановил его:

— Ты что? Чего ты?

— Приехали!

— Кто приехал?

— Беженцы эти, полна платформа — девать некуда.

И по монастырю шептали по келиям с любопытством.

Николка не ждал, что так скоро, и побежал к Поликарпу.

— Что же нам делать,— приехали?!

— Посылайте линейки на станцию.

Игумен побежал на конюшню и на ходу приказал Паисию приготовить обед.

— Голодные, должно быть,— от немцев бежали — накормить надо.

На станцию выслал монахов на трех линейках и Мисаила гостиника.

Седая дама, в шляпе и завитая, приставала к монаху и обиженным голосом, с польским акцентом, говорила — сразу и дочери и Мисаилу:

— Подожди, Зося,— нам батюшка сам поможет.

На две линейки нагрузили багаж, на третью посадили стариков и тронулись, молодые шли пешком около.

Карчевская всю дорогу жаловалась, что она устала и не может идти, острые каблуки туфель вязли в песок, и он насыпался в них, она ежеминутно останавливалась, опиралась о сосну, высыпала песок и кричала визгливо дочери:

— Зося, Зося, подожди меня, подожди, я не могу, не могу больше.

Девушка улыбалась, махала рукой и отвечала капризным голосом:

— Я с багажом, мама,— а вы разуйтесь.

Снова раздавался визгливый голос матери:

— Господи, боска матка, я помру... я не дойду,— Зося!

Девушка не отвечала и капризно подергивала плечами, продолжая идти около багажа.

Николка встретил беженцев и начал размещать приехавших. В крайней даче, в угловой комнате, окнами в лес, поместил Карчевскую с дочерью и приказал Мисаилу о них позаботиться.

Светлые голубые глаза, белокурые волосы, задорно вздернутый носик и капризный, раздражающий голос девушки поманул Гервасия. Взглядывая на нее, он думал, что это вот настоящая барышня, но сейчас же вспоминал, что он игумен и что ему непристойно теперь думать и говорить с Зосею, и отходил от нее к приехавшим.

Беженцы надоедали монахам, плакались на свою судьбу, что раньше жили они спокойно и хорошо, а теперь ютятся в одной комнате, одной семьей и что выдаваемый казною паек на жизнь не хватает. Монахи отмахивались от непрошенных гостей, Николка ходил по монастырю злой, видя, что приехавшие стараются проникнуть к монахам в келии из любопытства и нарушают монастырский устав; он привык к внешней строгости монастырской и считал, что все сделано им — Поликарп только говорил, а делать-то приходилось ему и все неприятности выносить с братией. Говорил досадливо Мисаилу:

— Заперся в келии и сидит с этим беглым студентом, а ты бегай целый день, ни минуты покоя нет, помолиться некогда.

И каждый день бегал на дачи — взглянуть, устроились ли беженцы, мирно ли живут, и будто нечаянно заходил в угловую комнату.

Мать ноющим и плаксивым голосом говорила ему:

— Вы не знаете, как тяжело, как трудно, — Зося, подай стул батюшке.

Девушка вздергивала капризно плечами и подавала стул, улыбаясь задорно.

— Разрешите нам молочка, батюшка?

— Я скажу скотнице,— молока можно...

— Мне для дочери, Зося не может ничего есть, она слабая очень, больная...

Зося кривила губы за спиной монаха и лицо становилось злым, презрительным. Целые дни она ругалась с матерью, ничего не хотела делать и требовала, чтобы мать подавала ей, убирала за ней, мыла белье.

— Не могли меня выдать замуж, а теперь хотите из меня кухарку сделать.

— Ты хоть, Зосенька, за собою прибери...

— Не забывайте, что я барышня и дворянка, за мною ухаживал пан Гебун,— это вы виноваты, что я не вышла замуж, и теперь хотите, чтоб я работала на вас,— не буду и не хочу.

— Твоему пану Станиславу деньги были нужны, а ты знаешь, что у нас нет денег...

— Как же другие имеют приданое! Из-за вас пан Станислав ушел от меня.

— Сама виновата, удержать не сумела в руках мужчину.

— Чем же я могла удержать его?

— Польская девушка знает, чем удержать любимого, а ты — горе мое — за русского вышла я, и в тебе кровь эта поганая, я вот умела держать мужчин, знала чем.

— Я ему и так отдалась... Вы же меня научили.

— Не умела держать его, ты не умела, ты!

Целые дни Зося сидела у окна и пилила мать, потом начинался обычный разговор и ссора, доходившая до истерики. Зося плакала, билась головой о стол и готова была броситься на мать, но та замолкала и вечно растрепанная, в старом капоте, безмолвно двигалась по комнате и не разговаривала с дочерью. В комнате был вечный беспорядок, платья разбросаны, убиралось все наспех — лишь бы на глазах не лежало, поскорее заткнуть и отделаться от работы. Зося валялась до полдня в постели, мечтая о мужчинах, о тех днях, когда ее целовал пан Станислав, а она капризничала с ним и все-таки отдавалась. С заспанными глазами, утомленными и ленивыми, она долго потягивалась, снова дремала, когда начинал мучить голод, кривила лицо и кричала матери:

— Что же вы не дадите мне кофе?

— Да ты встань, оденься!

— С голоду меня уморить хотите, сами давно напились, вам бы только пасьянсы раскидывать.

— Я целый день на ногах, с утра раннего, только присела...

— Дадите мне, наконец, кофе или нет?

Вскакивала с постели и в одной рубашке садилась за стол.

Мать подавала ей кофе, Зося отхлебывала, кривила рот и шумно отставляла обратно чашку.

— Опять холодный — сами напились горячего, а мне подаете бурду! Не буду пить, и есть ничего не буду, лучше умру с голоду.

Снова начинались слезы и ругань. Мать зажигала коптящий примус, подогревала кофе и подавала дочери, уткнувшейся в подушку и всхлипывающей.

— Иди пей, а то снова остынет, больше подогревать не стану.

Зося, зло поглядывая на мать, пила кофе. Рубашка соскальзывала с плеча, обнажая круглую грудь, как у женщины, волосы расплескивались вместе с кофе через плечо на стол, путались, Зося откидывала их назад, подходила, не поправляя рубашку, к окну и лениво смотрела на лес, заплетенный паутиною осеннего дождя.

Мать снова кричала ей:

— Бесстыдница, голая показываешься монахам.

— Никого там нет,— ни души, в берлогу заткнули нас! А хоть бы и видели,— разве вы ксендзу Завиховскому не показывались?..

Карчевская багровела, и снова начинала скандал:

— Не смей говорить, подлая,— пан ксендз Казимир святой человек, святой!

— То-то он для святости приглашал по вечерам на исповедь,— разве не знаю я про него.

— Тебя же от него спасала, а ты смеешь мне говорить.

— А вас просил кто об этом. После пана Станислава мне все равно было,— была бы экономкою у пана ксендза Завиховского и счастливее была бы. А теперь не смей смотреть,— что я девушка, что ли!

Мать убирала со стола, наспех растыкивала по углам лежавшие на стульях вещи. Зося завивалась, пудрилась, подводила глаза, брови и подмазывала губы кармином, одевала открытую блузку с глубоким вырезом и садилась скучать у окна, ожидая, не зайдет ли красивый монах — игумен. Мать раскладывала бесконечный пасьянс, бережно беря с колоды засаленные карты. Сидели молча.

Перед Николкой рано состарившаяся полька была любящей матерью, рассказывала ему о несуществовавшем богатстве с польским гонором, об успехах дочери, и о том, что ее Зосенька имела богатого жениха, пана Станислава, и если бы не война, могла бы жить королевою, но эта война — эти швабы, всю жизнь ее искалечили.

Николка поглядывал на Зосю и краснел, глаза его опускались невольно в вырез блузы, когда девушка наклонялась и груди вздрагивали у ней, колыхаясь мягко, вздыхал, переводил взгляд на мать и говорил, растягивая слова бархатно:

— Великое испытание послал людям господь, великое!.. Не предавайтесь унынию. Господь милостив — великое счастье послал вам сохранить дочь единственную от врага лютого...

Подолгу не решался Николка засиживаться у беженцев и заходил по очереди ко всем, навещать, оставаясь на несколько минут в угловой комнате.

Вечером мать продолжала раскладывать пасьянс, а Зося раздевалась и укладывалась в постель — перед сном поваляться и помечтать. Мирно беседовала с матерью. Карчевская намекнула дочери на взгляды игуменские и сказала:

— Русские монахи богатые, Зося!

Девушка кусала губы и злилась...

— То-то вы заглядываетесь на игумена. И тут не можете позабыть пана ксендза.

— Как тебе не стыдно,— нельзя же девушке сразу бросаться на шею мужчине, хоть он и богат, и красив, ты не знаешь монахов русских...

— Монахи все одинаковы!

Николка уходил в монастырь и вспоминал бирюзу Зосиных глаз, локоны и завитки, темные брови подведенные, холеные руки в дешевых перстнях, задорные взгляды и вздрагивающие розоватые ноздри. Чувствовал запах каких-то острых духов, исходивший от тела девушки, и зажмуривал глаза, видя глубокий вырез груди.

Монастырь еще держался устава — по-прежнему запирали спозаранка святые ворота, по-старому в полупустом новом соборе служили обедни и первое время ходили беженцы, а потом опустел храм, обволакивая стены черными неподвижными мантиями,— все еще боялись черного иеромонаха Поликарпа, редко выходившего из своей келии, и только в келии стали чаще заходить беженки, из корысти наживаться монашеским, пока иноки не раскусили хитрости, а потом — вместо беженек льстивых и плачущих — начали забегать молодые солдатки с Полпенки лишний раз полы вымыть в келии.

И к весне, когда потянулись из болот и лесов туманы, приехала в монастырь комиссия — осмотреть гостиницы пустовавшие. Военные вошли к Гервасию и объявили ему:

— Приготовьте гостиницы для лазарета.

Николка покорно смотрел на приехавших и спросил нерешительно:

— А что же братия?

— Санитарами будут, милосердными братьями.

И в первый раз за все время первый пришел Поликарп к игумену в клобуке и в рясе, с серебряным академическим значком у ворота. Коротко благословил военных, снова выслушал и спокойно, уверенный в каждом слове своем — предложил:

— Разрешите братии послужить и полезными быть во имя человеколюбия.

Старший врач повторил, что монахи будут санитарами, и спросил:

— Что же еще?

— Я думаю, что монастырь должен взять на себя доставку со станции,— мы организуем, с вашего разрешения, это своими силами, — у нас лошадей достаточно.

Полковник отозвался первый:

— Великолепная мысль, батюшка, не нужно будет лишних расходов. А кто же возьмется за это?

— Я и отец игумен.

Николка кивнул головой и пропел бархатом:

— Для родины братия охотно трудиться будет.

Полковник перебил игумена, обращаясь к Поликарпу:

— Может быть, монастырь возьмется и хлеб печь для раненых и персонала?

— И хлеб и варку пищи. При монастыре живут беженцы — многие женщины сиделками могут быть...

И, осматривая гостиницы, Поликарп вместе с комиссией распределял уже помещения для госпиталя и персонала, Гервасий ходил за ним молча, поддакивая и соглашаясь с каждым словом его, думая, что опять черный монах будет в монастыре хозяином.

А когда вечером Поликарп вызвал к себе Гервасия — говорил ему:

— Труд спасет иноков от искушения, а если и согрешит кто — трудом искупит.

— Вы сами знаете,— доходов нет у монастыря и дела нет и мы должны трудиться. Помощников я найду. С хутора все хозяйство переведите к монастырю на скотный двор. Мать Арефия стара для хозяйства. Для раненых потребуются молочные продукты, монастырь их будет продавать лазарету. Учет будет вести хуторская хозяйка.

Николка вздрогнул, но Поликарп не упомянул имя Ариши и кончил:

— Лошадей будет казна кормить; хлебный припек должен получить монастырь за труды — половина братии будет сыта. Призывных послушников монастырь сохранит у себя, как санитаров,— но они, по желанию, могут теперь же принять рясофор.

Николка вышел от Поликарпа молча, подумал только: «Сатана, истинный сатана, прости господи, обвел вокруг пальца эту комиссию, — хозяин не я тут, а он».

А послушник Борис, закрыв за игуменом дверь, вошел к Поликарпу и земно ему поклонился.

— Что ты?

— Благословите принять рясофор.

Поликарп посмотрел долго и внимательно на Бориса и сказал каким-то глубоким, особенным голосом:

— Только помни всегда — ты для жизни и жизнь для тебя!

Потом встал и обычным суровым голосом кончил:

— Принимай,— будешь моим помощником.

И со следующего дня потянулись послушники за благословением в рясофор не к игумену, а к монаху ученому, но он каждого посылал к Гервасию:

— Игумен благословлять должен, ступай к игумену.

На всю жизнь запомнился Борису день рясофора, когда его — в белой длинной рубахе, с расчесанными волосами, омытого банею водною и чистотой — окружили черными крыльями смерти мантии рясофорных монахов и повели его к алтарю с пением о непорочности и об отречении от земли и от жизни, шепчущего восторженно:

— Иду к тебе, навсегда иду!

Имя произнести боялся, но чувствовал его дыханием, мыслью и каждым мускулом.

IX

Из белой комнаты — по-монашески: белые стены монастырские и заунывный колокол панихидный протяжно по лесу, через лес к станции, к городу, к заводам дымящимся — перекличкою орудийных выстрелов с полигона от арсенала, что еще при Петре на Десне заложен, и каждый день в сосновом гробу искалеченный, изрезанный труп солдата на монастырское кладбище у ограды скитской. И черные, как мертвецы, монахи, протяжно под колокол,— вечная

память, вечная память. Сырая земля в могилу комьями, гулко и мерно с лопат монашеских и могилы рядами — на смотр небесный.

Белая комната, белый стол, железная кровать и корзина с вещами и все чужое и сама девушка, как чужая, в белой косынке — мохнатые глаза еще больше и ярче, углубленнее и сосредоточеннее.

С раннего утра голос старшей сестры:

— Сестра Белопольская, выпишите слабым молока!

С записной книжкой из палаты в палату в переделанной под лазарет новой гостинице и на скотный двор к матушке Арише.

Певчим голосом встречала Зину:

— Здравствуйте, сестрица, милая...

В нижнем этаже, где в номерах врачи, сестры — около самоварной белая келья Бориса-Евтихия, около постели телефон со станции и в полночь, на заре утром,— «подайте лошадей, эшелон раненых».

Евтихий бежал на конный двор, торопил монахов и вместе с послушниками и санитарями, с дежурным врачом — принимать раненых. Помогал выносить из вагонов, заставлял в погожие дни на носилках нести через лес в госпиталь, вечером приходила в келию сестра Белопольская с записной книжкой — хлеба на тысячу пятьсот человек, слабым — просфоры, на кухню расчет.

Не поднимая глаз на сестру, заносил в ведомость, а мохнатые глаза девушки вглядывались в Евтихия, вспоминая Бориса-послушника, и не выдержала сестра, спросила:

— Вы Смолянинов Борис,— я помню вас...

Монах вздрагивал,— пощечина Барманского оживала и его слезы и слезы девушки.

Не отвечал, еще ниже склоняя голову.

Неожиданно появлялся черный монах, сухой, пронизывающий обоих взглядом, от которого они вздрагивали, как пойманные. Зина вставала быстро и собиралась уходить. Поликарп говорил:

— Я на минуту — мешать не буду вам. Лошадям надо овса выписать.

Внимательно смотрел на Евтихия и уходил молча.

Борис не знал, отчего краснел, и мучился, думая, что учитель начал сомневаться в нем. Зина, уходя, говорила ему:

— Я боюсь его взгляда, он думает...

В белой комнате, окнами на монастырские стены-саваны, беспрестанно ходила из угла в угол, вспоминала письмо Петровского и перечитывала.

«Я не стану доказывать и уверять вас в том, что Гракиной я был близок. Мы совершенно чужие, мы, просто, товарищи, она и Кирилл Кириллович спасли меня. Ребенок не от меня. Его отец — студент Смолянинов, бежавший от нее в монастырь...»

Снова просыпалась мысль увести его из монастыря, вернуть к жизни,— письму Никодима верила.

В нижнем этаже раздавался звонок,— быстро поправляла косынку, пряча под нее выбившиеся волосы, и, сжимаясь вся, шла в столовую.

Место ее рядом с старшим врачом,— любезным, ласковым, назойливо ухаживающим за Белопольскою.

Напротив Карчевская Зося — подведенные губы, глаза, из-под косынки белокурые завитки кокетливо и беззастенчивый смех всякой шутке врачей.

Вечером, когда в дежурной комнате полумрак и настороженный слух — старший врач навестить приходит сестру Белопольскую; сверкают белки глаз и придушенный голос шепчет, обволакивая противным и липким:

— Зинаида Николаевна, Зиночка, ну, скажите мне — да, скажите! И я уйду от вас. Мне только нужно одно это слово.

Девушка испуганно жмется в угол, — вырваться от надоедливых слов; обрывает его горячо:

— Доктор, вы не уважаете служения ближнему, — я сестра милосердия.

Обиженный язвит, обливая сплетнею, как помоями:

— К отцу Евтихию пойдете — поэтично, монах — соблазнить инок...

— Уйдите отсюда или я брошу все и уйду!

Доктор хлопает дверью и, уходя, думает: «Не верю, не верю ей, представляется недотрогой! Кривляка противная», и засыпая мечтает о ней, докуривая папиросу. Окурок шлепается в умывальник и начинается храп.

Темная лестница с коптящей ночной лампочкой, запах камфары, карболки и внизу, у лестницы, в темноте, черный спрятавшийся

силуэт гостиника. Цепкие руки хватают сзади, трясутся и волокут в ночной тишине в сумраке:

— Сестрица, избавьте от искушения, от искушения сатанинского... Я курочку вам пришлю, вкусную, белую... спасите инок...

Глаза плавают от лампадного масла жирными пятнами, лицо обдает запахом лука и прогорклой каши.

Вырывается, дыша гневом, отталкивает руками, а вслед шепот:

— К Евтихию можно ходить, к паскуднику.

Со слезами прячется в своей комнате, а за стеною, рядом, через тонкую переборку раскатистый смех Карчевской, потом осторожный скрип двери и шлепанье лазаретных туфель, удаляющихся в офицерскую палату.

Наутро у дежурной сестры, и каждый день у Карчевской провалившиеся в черноту глаза.

Выздоровливающих солдат водили к мощам прикладываться, монахи служили молебны и говорили раненым:

— Невидимо старец творит чудеса, невидимо,— скольким послал исцеление, от смерти избавил, молитесь ему, молитесь.

Николка забегал в гостиницы и просил разрешить христолюбивых воинов понуждать к церковной службе.

— У нас там скамеечки есть у стен,— кто немощен и слаб, посидеть может, господь простит по болезни своим воинам...

В палатах, когда раздавался звон колокола и старшая сестра собирала желающих помолиться — наставительно и приказывающе, солдаты бурчали:

— Что мы, монахи, что ль! Помолился раз и довольно с тебя, а то каждый день? Делать им нечего.

— Небось на фронте в окопах не молятся и про бога забывают, а тут поклоны бухать.

Уходя из собора, солдаты перешептывались:

— Потрогать бы руками его, а может там чего зря положено.

— Что-то из простого звания не бывают святые, а все князья да архиереи да вот монахи еще, а разве простой человек не трудится,— может, еще больше.

О неверии узнали монахи и жаловались игумену. ГERVасий за советом пошел к Поликарпу. Черный монах сидел за столом и разбирался в счетах, откидывая на счетах цифры. Выслушал молча и начал говорить о пекаре и о мельнике:

— Вы лучше, чем братию тревожить, следили бы за хозяйством: у отца Маврикия при размоле просыпка.

Николка вспыхнул, покраснел и в первый раз осмелился возразить:

— Что же он — крадет?.. Больше десяти лет он на мельнице.

— Проверьте его. Хлеб выпекается плохо, пекарь недопеченный выдает в госпиталь.

Николка знал все и видел, но боялся слово сказать братии — зерно и овес закупал подставной купец — молодой корчмарь, а главное — видел его черный монах в госпитале в Зосиной комнате и ничего не сказал, только брови угрюмо сдвинул.

Мать осталась в дачах с беженцами, а дочь сестрою устроилась, — найти жениха — офицера раненого и при госпитале комнату себе у старшего врача выпросила.

Заходил изредка на минуту к ней.

Слизывая языком помаду губную вместе с конфетами, привезенными из отпуска женихами из офицерской палаты, говорила Гервасию:

— Попробуйте, батюшка, — шоколадные.

Николка смиренно отказывался:

— Они, сестрица, скромные, — не вкушаем мы теперь.

— Молоко разрешается вам...

Брала конфету, подносила к губам его, подходя вплотную, так, что чувствовал грудь ее, и надушенной рукой клала в рот — пальцы обжигали губы ему — половел, вздрагивая.

Зося отбегала от него и смеялась:

— Правда, ведь очень вкусные! Хотите еще? Только меня не съешьте — я скромная...

Николка пыхтел, вспоминал, что он игумен, боялся, не вошел бы нечаянно кто, и отказывался, чувствуя, что не выдержит, думая, — может, ей поиграть только, еще закричит.

Вопросы Поликарпа о муке и хлебе за живое задела, подумал, что донесли ему, может быть, тихоня, помощник его — Евтихий и снова спросил:

— Сомневаются в святости и нетленности преподобного.

Поликарп, не отрываясь от счетов, взглянул искоса, ответил Гервасию:

— Вы — игумен, вы сами должны знать, что делать.

— Пелену открою.

Черный монах сверкнул глазами и лицо стало еще угрюмее...

— Вы игумен.

Сомневающимся и неверующим при старцах и сестрах милосердия открыли после молебна пелену и сквозь черную мантию с нашитыми черепами чувствовалось тяжелое, неуклюжее,— Белопольская отшатнулась и несколько дней снились ей мощи — в черной мантии белый скелет и ноги как палки негнущиеся, на которых качалось костлявое туловище с черным черепом. И в каждом монахе ей чудился этот скелет черной дырою рта. Идя к Евтихию, останавливалась около келии и часто видела сквозь маленькое незанавешенное оконце в дверь молящимся, с прозрачными, устремленными куда-то глазами, клавшего земные поклоны. Видела, как вздрагивал, когда стучала в дверь, быстро обертывался, одевал скуфейку и сразу казался ей мертвецом с черным черепом.

Мохнатые глаза вглядывались в монаха, подходила к нему, брала за руку и, не задерживая свою мысль, порывисто говорила:

— Зачем вы здесь? Хотите быть живым мертвецом...

Спокойно отстранял ее руки и ровным, беззвучным голосом спрашивал:

— Сколько сегодня выписывать?

Зина рылась в записной книжке, смотрела на монаха, вспоминая о смерти Костицыной, и спрашивала:

— Вы были послушником у Поликарпа?..

Борис отвечал беззвучно:

— Да, был!

— Что с вами, матушка?!

С трудом себя пересиливая, начала певуче:

— Забегалась я, измоталась,— должно быть, от этого плохо мне, — сразу вот стало, как в сердце ударило что...

Переводила глаза с коврика на сестру, а в голове горело,— должно быть, невеста его, невесте своей подарил работу мою, слезами ее, ласкою вышивала, своей любовью, в каждой шерстинке сердце мое,— хоть буду знать, кого выбрал Володичка, кого полюбил милый.

И чем дольше смотрела на Зину, тем ласковей голос был; думала, что должно быть целовал ее, эту барышню, и захотелось самой поцеловать ее, от любви своей к незабвенному поцеловать избранницу его и любить ее.

— Я уж сама, сестрица, пришла к вам,— сколько молока выписано, давайте листочек, чего вам беспокоить себя понапрасну, бегать на скотный двор?

— А мальчик здоров?

Сразу отшатнуло Аришу от прошлого к монастырскому и сразу почувствовала себя брошенной и ненужною и вопрос о ребенке ее не обрадовал, ответила как заученное.

— Спасибо, сестрица,— бегают, играет с салазками.

И, уходя от Белопольской, говорила ей, взглядывая на коврик:

— А вы не трудитесь, сестрица, сами ходить на скотный. Мне добежать ничего не стоит. Морозы стоят лютые — не дай бог, простудитесь!.. Когда вам удобней, чтоб я приходила за выпиской,— может, с вечера?!

— Зачем же вам приходиться, Ариша? Это моя обязанность!

— Да разве мне трудно, сестрица милая,— вы только скажите когда,— я с радостью прибегу, погляжу на вас, а то там и слова сказать некогда, мытарят меня, да и вам тоже...

— Если хотите, Ариша,— вечером! Только напрасно вы!

И, не дав ей окончить, подбежала к ней поцеловала в плечо.

— Что вы, Ариша, что вы!

— Сестрица милая,— люблю я вас, ласковая вы, приветливая.

— Это вы ласковая, Ариша...

Ответила ей поцелуем в губы. Ариша покраснела и заторопилась уходить, говоря:

— Так я вечером прибегу, сестрица! Спасибо вам, милая,— счастье-то мне какое!.. Душу свою отведу с вами!

В свободные дни любила сидеть в сумерках, снимала косынку белую, чтоб не давили тугие завязки голову — локоны разбегались струями и мысли становились спокойными. Зажигала свечу, опускала штору и доставала Никодимовы письма — чувствовать, его, близко, в своей душе. Бралась за перо написать — душу очистить и не было слов, рвала и снова перечитывала его письма — широкий размашистый почерк, прямой, ровный, грубоватый в нажиме и простые слова.

Вспомнила об Евтихье,— боль ему причинила, в душу вошло смятение, и не знала, чем искупить правду свою горчей полыни.

Может быть, это спасет его... возвратит к жизни!

За стеною Зосин смех и певучий баритон монашеский.

Искала жениха среда раненых офицеров, водила в лес на прогулку и вечером возвращалась в госпиталь возбужденная и ослабевшая; уехал — писала письма ему на фронт, как женщины

пишут, вспоминая ласки и маня ими снова в разлуке,— не дождалась ответа и снова начала Николку манить, зазывая вечером.

Достал из подрясника бутылку вина, смиренно на стол поставил.

— Чтоб конфеты были вкуснее, сестра!

— Наконец-то решились,— снимайте шапку свою — угощу шоколадом.

Неловко поставил кlobук на пустой стул, расчесал кудри.

Пил из кофейной чашки коньяк и чокался с Зосею,— дразнили глаза, брови, красные пятна губ от вина у ней сочные, точно ягоды.

Ломал шоколад — дрожали руки.

— Вы не умеете, батюшка,— не умеете.

Вопросительно посмотрел.

— Я сама угощу вас...

Взяла в рот длинный ломтик...

— Берите!

Николка не понял.

— Руками нельзя,— кусайте!

За тонкою переборкой у Зины, прислушиваясь к баритону сочному, жалостный голос скотницы.

— Полюбились вы мне, сестрица милая... С первого раза, как увидела вас...

Смотрела на Зину, на стенной коврик и раскаленными молотками за стеною слова Николкины,— это он, его голос — погубитель мой,— мучение заглушить словами.

— Можно мне Зиною вас называть, милая барышня, потому я вся перед вами, сестрица, душу свою отвести пришла. Да какая же вы чистая, точно ангел небесный — непорочная, а я-то, моя душа.

Быстро схватила Зинину руку и начала ее целовать.

— Разрешите мне барышня... Разрешите мне! Я хуже грешницы нераскаянной,— не знаете вы меня... я недостойна поцеловать и руки-то вашей, а вы меня давеча целовали в губы.

— Что вы, Ариша, что с вами?

— Я, барышня, ведь потерянная, вы думаете, вы думаете, что мальчик-то этот племянник мой?! Я его родила — невинного, жизнь свою погубила, а вы чистая, как невеста, вас и любить надо каждому, молиться на вас, Зиночка, голубчик вы мой, барышня. Монастырь меня довел до греха. А только я сама знала, что делала, сама знала на что иду,— от любви не могла отказаться — сама пошла. Любовь-то один раз к человеку приходит...

— Один раз, Ариша!

Рыже-золотые волосы выбились из платка у Ариши, теплая шаль упала на плечи. Зина не отняла у Ариши руку, но целовать ее не позволила больше. Ариша прижала ее к глазам и, прислушиваясь к баритону сочному, заглушенному, зажмурившись, сдерживая слезы, исповедывалась Белопольской:

— А любила-то я, любила — от счастья себя позабыла, и вы, барышня, тоже любить будете,— ведь меня за любовь... не расскажешь вот...

За стеною голос пропел глухо:

— Хочу еще шоколаду!

Снова подошла к нему с шоколадом во рту...

— Берите!..

Загремел стул; держал ее и клонил, целуя,— смеялась, отталкивая и шепча:

— Что вы, батюшка, что вы... оставьте меня, пустите.

Потом голос замолк, и снова что-то загремело, падая.

Ариша быстро встала и сказала:

— Лучше я в другой раз приду, милая барышня, а то на дворе-то метель — не дай господи, ничего не видно...

Николка схватил клубок, одел, выбежал в коридор, хлопнув дверью, и в ту же минуту увидел Аришу, выходящую из Зининой комнаты.

Вздрогнул,— дрожащим голосом, не отдышавшись, весь багровый, с налитыми кровью глазами, прошипел Арише:

— Ты зачем тут?

Ариша, онемевшая, испуганная, прислонилась к стене, хватаясь вытянутыми руками за нее, чтоб не упасть, смотрела на Николку с ужасом.

— Подслушивать?! За мною подглядывать?!

Вырвалось шепотом у Ариши:

— Мучитель ты!

Николка озверел и в полутемном коридоре бросился к ней и, ничего не говоря, начал толкать ее, приговаривая:

— Выгоню, из монастыря выгоню...

Ариша остановилась, быстро обернулась к нему и сказала шепотом гневным:

— Завтра ребенка к тебе приведу и сама отсюда уйду,— все знают, что твой.

Николка на мгновение остолбенел, потом всплеснул руками, замахал ими и, убегая от Ариши, надрывался шепотом:

— Не смей, не смей!

С другого конца коридора вышел из келии Евтихий и, постучав к старшей сестре, сказал в дверь приоткрытую:

— Сестра, приготовьте постели — на станцию пришел эшелон с ранеными.

Х

Целый день Евтихий ходил потерянный, не мог позабыть сказанного — нарастали слова о ребенке и тихая мысль об умершей — ушла, умерла, хотел воскресить в себе ее образ и вместо Лины — зима, мутные улицы Питера, болезнь и кошмар белой ночи. Хотел зайти к Поликарпу, — взойти, поклониться ему и сказать: «Учитель, спаси», но знал, что глаза его будут суровы и слова коротки, — звучало в ушах — ты для жизни и жизнь для тебя. Но жизнь — это ужас...

Забурчал телефон, — испуганно взял трубку, чей-то голос журчал, заикаясь: «Эшелон, подавайте лошадей».

Заметался по келии, надел ватный подрясник и сразу стало тревожно и жутко. Торопил запрягать линейки и повозки, позабыл, что ничего не ел.

Санитары-монахи просили поговорить со станцией, — нельзя ли до утра — непогода. Пошел к старшему врачу, — госпиталь был на ногах, готовили перевязочную и операционную. Во дворе стучало динамо.

— Звонили опять, батюшка, — нельзя — метель, кажется, утихает.

В коридоре встретил торопившуюся Белопольскую и опустил глаза — стало еще тревожнее.

Ехали с фонарями, наощупь. Лошади ступали осторожно и тяжело, уныло позванивая бубенцами. На станции ждали, пока уляжется хоть немного метель, и когда снег начал хлопьями падать — расчистили тропинку к поезду, окна его горели теплом, но когда начали выносить раненых — слышались стоны и свет из вагонов казался из преисподней.

Евтихий в спешке позабыл одеть валенки — ноги в сапогах мерзли, каляли. Двигался, как заведенный, и когда линейки и повозки наполнились, сказал, — что готово.

Остался ожидать на станции второй очереди. Сестры из поезда звали обогреться и выпить чаю, отказался и пошел в келью к станционному монаху в душную и натопленную комнату и не раздеваясь сидел, прислушиваясь, не заноют ли обратные бубенцы. Ноги отошли, стало жарко. Вышел на платформу. Под навесом пронизывая свистел ветер, обдавая лицо снегом.

Снова нагрузил приехавших.

— Готово!

Тронулись, бубенцы заныли.

Из вагона вырвался звонкий голос и на ветру погас:

— Подождите, еще один,— тяжелый.

Подошли и не знали, что делать.

— Возьмите на носилках с кем-нибудь. Ему нужна операция!

Уговорили станционного монаха нести следом, пока бубенцы слышны.

Накинул лямку на шею и по взрыхленному лошадьми снегу понес с монахом.

Раненый, закутанный в шинель, покрытый полушубком, глухо стонал.

На ручку носилок повесил фонарь,— красный полукруглый зрачок света ложился на снегу кровавым пятном. Еле слышно издали звякали бубенцы и пропадали снова. Была одна только мысль — лишь бы горел фонарь и слышать бы ехавших.

Пятно на снегу вздрагивало и качалось, из просека рванул ветер и фонарь погас.

— Отец Евтихий, есть спички?..

— Нету.

— Подожди, я погляжу у себя...

Носилки утонули в снегу, пока монах шарил в карманах.

— Нету! пропадать нам теперь.

— Донесем...

Подняли. Раненый застонал, качнувшись.

— А где мы теперь?

— Просеку прошли, поворот скоро.

По памяти повернули — ни бубенцов, ни огней госпиталя. Закоченели руки, одеревеневшие ноги еле двигались, потеряли счет времени.

В госпитале старший врач, поверяя списки, не досчитался тяжелого, начал опрашивать:

— Поручика Белопольского нет, Владимира. Оперативный!..

Зина услышала фамилию брата,— чужие,— а кровь и страдание связывают.

— Доктор, ради бога пошлите за ним...

— Это ваш брат?

— Это все равно, пошлите за ним.

Сестры переполошились, вызвались ехать.

В одноколке выехали с фонарями. На станции дежурный сторож сказал:

— Понесли его, на носилках, приказали из поезда. Старший понес.

Обратно, шаг за шагом с фонарями по следам — красные пятна и черные тени монахов и Зина — брат и Евтихий, близкие оба, в эту минуту ближе всех.

Следы заметало,— будто кто полз и падал.

— Скорее, скорее! Замерзнут они.

Почти у самого монастыря, сзади гостиниц — на стон вышли, — носилки в снегу, монах и Евтихий, обессиленный, остановились отдохнуть, присели на снег — занесло хлопьями, облепило.

— Несите его, несите.

Качнулись фонари, носилки, и снова стон.

— Несите его... Двухолку сюда!..

Бабым плачем скрипели на морозе колеса — лошади снег по горло.

Тонкие пальцы отдирали от тела примерзшее полотно, вспотевшее и закаляневшее, и спиртом растирали ладони горячо, пока не полуоткрылись глаза и не вернулось сознание. Вздогнул, полилась горячо кровь толчками, розовым стало тело.

Из-под белой косынки выбился завиток и упал на лоб, повиснув над глазами — мохнатыми, горячими и самоотверженными.

Увидел ее и — стыд смятенный.

Откуда-то голос монаха черного:

— Лежи! Идите, сестра.

Была только мысль,— спасти, к жизни вернуть,— ею горели глаза и не видели ни Евтихия, ни Бориса,— жизнь за жизнь, может быть, даже о брате не думала так, как об иноке.

Поликарп помогал одеваться, затопил печку, велел принести вина и чаю.

Ночью стучали во сне зубы, не мог согреться, кутался и до утра, одна только мысль — стыд и отчаяние, потом заснул и во сне

метался, бредил, приходил в себя и снова томил жар. Издалека всплыло бредом прошлое, дремавшее где-то в мозгу, кольнув остриями:

— Сына привести: сына... она приведет... к волхву мудрому! Не побивайте камнями душу грешную... причастницу... умерла она, умерла!..

Поликарп слушал и взглядывал на Зину, позвал се сам к больному.

Прожег глубину взглядом, спросил девушку:

— Кто это? Вы?

Не поняла вопроса, переспросила шепотом:

— Кем он бредит?..

Точно камень занес над душою, шепотом содрогнулась, сложив умоляюще руки.

— Не я, не я... у меня жених... Сами спросите его! Он скажет потом. Надо спасти, спасти надо.

— Позовите доктора! Жизнь берегите его.

Лежал в келии; несколько дней в забытии,— лицо обтянулось, глаза стали громадными — прозрачный лежал, беспомощный. Днем приходил Поликарп, сменяла Зина. Почти не спала — от брата шла к иноку, оставляя в палате сестру Карчевскую. Успокоилась, когда сказали, что Владимиру не нужно будет отнимать ноги, и посвятила себя больному Евтихию.

Очнулся после долгого бреда, пошевелил пересмяклыми запекшимися губами,— подняла голову, напоила — жизнью глаза блеснули, еще в полусне спросил:

— Это вы, Феня?!

И снова полузакрылись глаза,— долгий и крепкий сон к жизни.

Утром узнал Поликарпа, протянул руку...

— Учитель...

Благословил его, не давая поцеловать руки.

— Жизнь для тебя, и ты для жизни!

На скотный двор со списком пришла Карчевская.

— Сестрица, милая, скажите, правда, что у сестры Зины несчастье случилось?

— У Белопольской?! Брата привезли раненого, чуть в лесу не замерз... Владимира.

Ноги ослабли, спросила шепотом:

— Белопольская? Она — Белопольская?! Так это брат их?..

— А вы разве не знали?..

И снова поющим голосом, точно не ее коснулось:

— Вас тут много, сестрица, все вы беленькие, одна на другую похожи,— знаю, что по хозяйству Зиночка, а фамилии — каждой я говорю — сестрица...

Каждый день на огне,— спросить бы, узнать, один раз взглянуть на него и ночи без сна,— ребенок — мука, и шалости его и смех и улыбка — Николенькины,— не смотрела бы. Старуха Арефия упрекает Аришу:

— Ты бы смотрела за ним... Совсем бросила!.. Младенец-то ведь невинный.

— А он разве смотрит?! Придет когда?..

— Он — игумен, монах... Прельстила его сатанинским образом...

— Мука моя... мучище!..

— Сама виновата, сама...

Заохает старуха, уйдет и мальчика к себе уведет в келию.

Весенняя ростепель белые шапки посбила с сосен, на солнце ручьи, проталины и мох курчавый крошится. С утра туманы, а к полдню подымутся облака из лесу белыми стаями. Солнце землю томит испариной, золотит сосну, смолой дышит.

На порожки гостиниц выползают костыли, облепляют шинели серые, и в скуфейке монах греется и звон по умершим для живых песнею. На скамейках, у стены, погоны блестят офицерские — плавят золотом сердце сестры Карчевской и подруг ее.

Вывели на солнце Евтихия, и черный монах пришел.

А к вечеру в лазарете дышится веселей и без старшей сестры в офицерской палате из-под косынок кудряшки задорные,— белокурые, подле Владимира, а может быть, еще и жених Зосе?!

Евтихий беспомощно шепчет учителю в келии:

— Возьмите меня в свою келию...

— От жизни бежишь?

— Господь меня покарал!

— Пусть тебе указывает!

— Хочу подвига!.. Молитвы хочу... покаяться...

— Без земного врача не исцелит небесный! И не примет подвига. Выздоровливай!

По вечерам приходила Зина — наведать, молчал покорно.

Снова ходила на скотный к Арише.

Скотница похудела, веснушки у глаз — сияние из темноты и рыжее золото под платком — лучи солнечные.

Зазвала в келию к себе и заплакала.

— Ариша, что с вами?

— Несчастье у вас, сестрица,— я слышала, знаю... Привезли раненого.

— Чего же вы плачете?

— Полюбила я вас, Зиночка, как родную, мне ваше горе больней своего, и он-то мне ближе родного, лучше б я за него мучилась...

Хотела выплакать любовь свою, боялась, не знала как, целовала плача руки и глаза сияли радостью.

— Повидать бы его... какой он...

— Приходите, Ариша, вечером!.. Только мы с братом разные и чужие...

— Что вы, сестрица,— вы сами не знаете, что он вам родной... А только мне приходить не велено, запретил игумен в гостиницу.

— Вечером сама за вами приду...

— Сестрица, барышня, да неужто увижу его?!

Зина подумала, что не только, как говорят, она странная, но вот и Ариша, может быть, и другие тоже есть — странные, оттого что искренние. Может быть и Карчевская — тоже искренняя, оттого что несчастная — ищет любви своей, себя не жалеет, обманывается и, может быть, несчастнее всех — заманивать должна свое счастье, перед людьми унижаться; только за это унижение перед каждым и не любила она Карчевскую.

Карчевская выводила на солнце поручика, болтала без умолку, играя глазами, нежно его касалась — от кармина губы горели маком, дразнили каждого.

Забегала к Зине, обнимала ее, говоря:

— Какой у вас брат интересный, вы простите мне, Зиночка, но я в него влюблена!

Зина отмалчивалась.

Весною Владимир начал без костылей ходить,— вечера у Зоси, через тонкую переборку смех, поцелуи, возня,— Зине бежать — к Евтихию в келью и молча смотреть на молитвенное лицо больного.

Зеленоватое небо матовое дынуло смолистой хвоей, месячный рог зацепился за сосны и повис беспомощно.

Мычали коровы, звенели молочные ведра, пахло парным молоком и навозом.

— Пойдемте, Ариша, пойдемте. Вы идите ко мне...

Повела за руку...

Точно на монастырское кладбище шла Ариша,— к нему, к Владимиру. Тем же душа теплилась,— увидеть его, только бы увидеть — теперь ничего не нужно иного. И оттого, что увидит его — беспомощная была, безвольная, не знала как взглянет в глаза ему,— лишь бы не подумал, что упрекнуть его хочет,— сама знала зачем и тогда и теперь идет — душу свою оживить прежним счастьем, освободиться хоть на минуту от всего, что было с нею потом, казалось, что стоит только взглянуть на него, и на всю жизнь останется чувство радости, благодарное к прошлому,— лишь бы не подумал, что пришла укорять — взглянуть на него, последний раз в жизни взглянуть, навсегда запомнить.

И коврик — живое, прошло, в каждой шерстинке душа девичья.

Взглянула на него — глаза занялись радостью, не выдержала.

— И коврик мой цел!.. Я ж думала, что жених его вам подарил... Радовалась — не только я вас люблю, сестрица, и он, для кого вышла его...

— Это вы для него вышивали, вы?!

— Я, Зиночка, я... учила его, а потом кончила...

Вспомнила Зина далекое, была девочкой,— слышала как мать укоряла брата, стыдила его, уговаривала не убить своею любовью девушки.

Вспыхнула вся,— мохнатые глаза загорелись.

— Ребенок тоже его?

Горечью, полыней обожгло Аришу — подруга, кровавые сгустки, плач и потом долгая скука,— заплакала. За стеною Зосин смех и мужской голос.

— Не его, не его, барышня... Того унесли, мертвенький был, всего минутку слышала слезы его безвинные... Этого тут родила,— а тот в девичьем... похоронен... маленький...

Подбежала к стене и с отчаянием застучала, выкрикнув...

— Владимир, пойді сюда!

Смех оборвался, недовольный голос сказал: — Фантазии!

— Что тебе?

— Ты знаешь кто это?!

В памяти мелькнуло лицо и расплылось, сжал брови, и снова тот же недовольный голос:

— Что тебе от меня нужно, сестра?

— Ты не знаешь ее? Кто коврик тебе вышивал? Не знаешь?! Где твой ребенок, спроси ее?! Ариша, где он?!

— Барышня, сестрица, не мучайте вы себя, мне только взглянуть — я знала сама на что иду, сама своего счастья хотела, мне теперь от них ничего не нужно — только взглянуть хотела.

Голос плакал и умолял. Всего один раз взглянула на него и опустила голову.

— У них барышня есть, молоденькая,— невестою будет им,— Зосенька...

— Гм, не ожидал встретиться в мужском монастыре с монашкой...

— Я тебе не сестра,— вон, вон!

— Фантазии, Зиночка!

За переборкою шепот шелестом: «Сумасшедшая, она всегда такая была, вдолбит себе в голову и верит глупости»...

— Барышня, да не плачьте же вы, я виновата всему, бестолковая...

— Для него человек — насекомое и сердце его — червивое... Зачем его сюда привезли?!

— Из-за меня вам мучение, глазки свои пожалейте бархатные — красоту свою ясную... И я-то пошла, бесстыдница, поглядеть захотелось... Простите вы мне...

Уговаривала, утешала, дождалась пока успокоится, заставила лечь спать и ушла на скотный. Мисаил, закрывая дверь, прошипел:

— Все игумену расскажу, до капельки!

Долго не выходила Зина из номера, по вечерам не слышала больше смеха, возни и шепота. С того дня, когда привезли Владимира и заболел Евтихий — жизнь ушла далеко куда-то. Не знала, что март звенел в лесу тяжелыми каплями душистой смолы, не заметила, что монахи в монастыре притихли, попрятались в кельи.

Длинные письма Никодима стали короткими, писал, что в училище, и нет время написать все что хочется, потом и письма его перестала получать. Машинально работала в перевязочной, не замечала солдатских лиц и не знала, что в госпитале солдатский комитет и монахи реже и реже отзванивают погребальное.

Через несколько дней Карчевская принесла от брата записку с заплаканными глазами.

«Можешь радоваться и сходить с ума — уезжаю в отпуск в имение. Социалисты твои устроили революцию, скоро будешь у ней поломойкою».

Не поняла письма, обиженная, измученная, спросила Зосю:

— Правда, уехал — не будет мучить?!

Ухаживали за Зиной старшая сестра и Карчевская. Доктор все время говорил:

— Как можно больше на воздухе быть Белопольской.

Зося водила гулять по лесу, терпеливо ходила с нею и не знала о чем говорить.

Монахи шептали:

— Сумасшедшая!

— В беглого студента влюбилась,— в паскудника!

— Брата родного выгнала из-за скотницы... Все они такие-то, все такие...

— Из-за них и царь отказался от престола — и его довели...

— А все это студенты,— не хуже беглого. Прижился у черного...

— К мощам его посадили,— слова не смей сказать. Святошей сидит,— растерзать его мало, прости господи!

Из города перевезли тяжелых — на долгое время, чтобы лечить спокойнее.

Газеты в госпиталь запаздывали — перехватывали монахи на станции и прятали, думали, что все временно и что царь временно отказался, чтобы восстать гневом на отступников и покарать судом праведным.

Поликарп молчал и зорко следил за хозяйством, объяснял Гервасию:

— Мы ничего не знаем,— не знаем ни часа, ни дня, когда придет сын человеческий,— должны ко всему быть готовы, как благоразумные девы, и братия должна о себе заботиться.

— Что же будет теперь?

— Братия должна своими силами засадить огород. Больше всего берегите хозяйство. Вы хозяин, на мне заботы по госпиталю.

Монастырские ворота с вечера запирались рано, и черные муравьи кишели за каменными стенами. Снова начали служить по-уставному и старики не выходили до полночи из собора.

За обеднями поминали по-старому царя Николая, и только когда комитет госпитальный вместе со старшим врачом предупредили игумена — на ектении стали растягивать,— державу Российскую.

Майские зори тихим теплым лесным, убаюкивающим шумом успокоили девушку,— снова начала помогать старшей сестре.

Письмо,— последнее,— от Владимира не показали Зине.

«Радуйся,— мужики разгромили нас,— можешь искать место себе — поломойки».

Вспомнила о Борисе, спросила Зосю:

— Где Евтихий? Здоров он,— что с ним?!

— У черного монаха живет...

Кто-то добавил:

— Днем около мощей в соборе сидит.

Средний колокол звал на трапезу. Зина зашла в монастырь,— взглянуть на Евтихия,— хотела войти в собор — с порошков спускался схимник, высокий монах, звякая связкой ключей, запирает чугунные двери, монахи гуськом тянулись из келий к трапезной, вратарь Авраамий сурово глядел на белую косынку сестры и, когда она входила в святые ворота, пробурчал сердито:

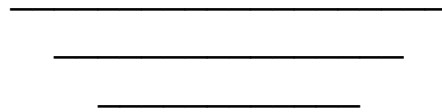
— До полночи ходят тут!

Вышла из святых ворот,— порошки монастырских гостиниц облепили солдаты.

Пели песню. По лесу перекашивалось раздольное эхо, сосны баюкали его и шумели верхушками.

Глубоко вздохнула и сказала шепотом:

— Зачем он здесь?!



СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе.....	3
Повесть первая Житие бренное.....	6
Повесть вторая Мирское странствие.....	81
Повесть третья Звезда Вифлеемская.....	151
Повесть четвертая Отроча непорочный.....	212
Повесть пятая Обитель тихая.....	273
Повесть шестая Мощей обретение.....	355
Повесть седьмая Житейское море.....	460
Повесть восьмая Инок смиренномудрый.....	549

ИОСИФ ФЁДОРОВИЧ
КАЛЛИНИКОВ

МОЩИ

роман

Книга подготовлена к печати
издательско-компьютерным центром МПИК

Редактор Н. Е. Пахмутова
Технический редактор Н. С. Спицына
Художник А. А. Бакулевский
Корректоры В. М. Стребкова,
Л. Н. Шатунова

Сдано в набор 27.02.95. Подписано к печати 23.06.95. Формат 84x108/32. Бумага типографская. Гарнитура Таймс. Компьютерный набор. Печать высокая. Усл. печ. л. 34,44. Учетно-изд. л. 40,80. Тираж 10000. Заказ № 355. ИКЦ. Изд. № 750. ЛР № 010069 от 10.10.91

Марийский полиграфическо-издательский комбинат
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В серии книг "Библиотека забытого романа" Марийский полиграфическо-издательский комбинат в ближайшее время планирует выпустить в свет произведения Шарля-Луи Филиппа, М. Арцибашева и других.

Свои отзывы о романе И.Каллиникова "Мощи" и коллективные заявки на наши издания направляйте по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, ул. Комсомольская, 112, полиграфкомбинат, тел. 5-77-38, 5-04-66, 5-75-49.

Издательско-компьютерный
центр полиграфкомбината.